А. ЛУНАЧАРСКИЙ
К. РАДЕК
Л. ТРОЦКИЙ



СИЛУЭТЫ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ











А. ЛУНАЧАРСКИЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

Л. Д. ТРОЦКИЙ

О ЛЕНИНЕ

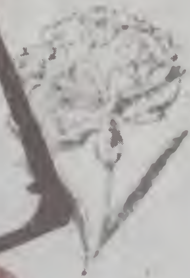
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФА



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВОРОТ

ОКТЯБРЬСКАЯ)
ЕВОЛЮЦИЯ)



СПЕЦ.
Хранение

КАРЛ РАДЕК

ПОРТРЕТЫ
и
ПАМФЛЕТЫ

Карл Радек

ПОРТРЕТЫ
и
ПАМФЛЕТЫ

Книга вторая

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ





Л. ТРОЦКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СИЛУЭТЫ





Карл Радек.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ
К. РАДЕК
Л. ТРОЦКИЙ

СИЛУЭТЫ:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

13 07

Москва
Издательство
политической литературы
1991

ББК 63.3(2)
Л84

Под общей редакцией
В. В. Журавлева, В. Т. Логинова,
А. П. Ненарокова

Луначарский А. В. и др.
Л84 Силуэты: политические портреты / А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий.— М.: Политиздат, 1991.— 463 с.: ил.
ISBN 5—250—01317—1

В очерках А. Луначарского, К. Радека, Л. Троцкого, чей публицистический талант бесспорен, читатель найдет объемные портреты таких ярких и своеобразных исторических личностей, как Г. Зиновьев, Л. Каменев, Л. Рейснер, Л. Мартов, Б. Савинков, П. Струве, П. Милюков и другие. Оригинальность видения прошлого страны проявляется и в неповторимости восприятия авторами творчества писателей-демократов, гигантской фигуры В. И. Ленина.

С большинством помещенных в книгу литературных силуэтов наш современник познакомится впервые, ибо они не переиздавались более 60 лет и не были доступны широким кругам читателей, будучи скрытыми в библиотеках спецхрана.

Л $\frac{0503020000—300}{079(02)—90}$ 109—91 **ББК 63.3(2)+66.61(2)2**

ISBN 5—250—01317—1

ОТ РЕДАКЦИИ

Размышляя над итогами первых десятилетий XX столетия, Владимир Ильич Ленин отметил одну из наиболее характерных особенностей новой эпохи — необычайное ускорение исторического процесса. Основная причина этого ускорения, считал он, «есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллионов людей». Именно оно повлекло за собой качественные изменения в характере, темпах, масштабах мирового освободительного движения.

И если некоторые западные философы и политологи увидели в этом господство безликой толпы и черни, то для Ленина такие понятия, как «народ» или «полетариат», никогда не были сухими и абстрактными «историческими категориями». По этому поводу Клара Цеткин, одна из наиболее известных деятелей международного рабочего и коммунистического движения, вспоминала: «Революционная масса, победоносно разрушающая старое и долженствующая создать новое, не была для Ленина чем-то серым и безличным, не была рыхлой глыбой, которую может лепить по своему желанию маленькая группа вожаков. Он оценивал массу как сплочение лучшего, борющегося, стремящегося ввысь человечества, состоящего из бесчисленных отдельных личностей».

Однако так же как революционная масса, вдохновленная и сплоченная осознанной идеей, отличается от оболваненной истеричными призывами толпы, так и подлинная личность не имеет ничего общего с фанатизмом, самовлюбленностью и политиканством. На рубеже столетия, наблюдая суетность и мелкое тщеславие профессиональных буржуазных политиков, многие вполне соглашались с английским философом и историком Томасом Карлейлем, считавшим Наполеона последним великим человеком и государственным деятелем на земле.

Российские революции 1905—1907 годов, а затем в феврале и октябре 1917 года внесли в эти представления свои поправки. «История давно уже показывала,— говорил В. И. Ленин,— что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и

развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными». Революционное движение в России породило могучую плеяду гигантов, которыми могла бы гордиться история любой страны и любого народа. Но и среди этой плеяды В. И. Ленин стоит особо.

Для современников он неразрывно связан с пролетарской революцией и той ролью, которую в ней сыграл. Вместе с тем все великолепно понимали, что Ленин занял столь выдающееся место в Великой революции прежде всего потому, что был личностью гениальной. «Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту...» — так характеризовали его многие.

Но и ленинское окружение не было безликой «стальной когортой» исполнителей воли вождя. «Когда происходит истинно великая революция,— писал А. В. Луначарский,— то великий народ всегда находит на всякую роль подходящего актера, и одним из признаков величия нашей революции является, что Коммунистическая партия выдвинула из своих недр или позаимствовала из других партий, крепко внедрив их в свое тело, столько выдающихся людей, как нельзя более подходящих к этой или другой государственной функции».

Величие революции в выдающихся лидерах, которые были готовы к прогностически выверенным и вместе с тем прагматически обусловленным решениям. Достаточно вспомнить хотя бы состав первого правительства Советской республики. Сошлемся на свидетельство со стороны. Американский полковник Раймонд Робинс, находившийся в Петрограде в 1917—1918 годах, неоднократно встречавшийся с большевистскими лидерами, человек, которого трудно заподозрить в предвзятости, подчеркивал: «...Совет Народных Комиссаров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми они владели, по своей культуре и образованности был выше любого кабинета министров в мире».

При общности принципиальной платформы каждый из них вносил в решение любой проблемы свое индивидуальное видение, свои подходы, взгляды, оценки. Истина рождалась в спорах. Причем каждый ощущал себя наследником прекрасных традиций как мировой, так и российской демократии. Лишь навязанная Сталиным догматизация чисто временных решений и подходов, отказ от диалектики и научного анализа действительности положили конец поиску путей и форм осуществления революционных преобразований, знаменовали отход от ленинизма и предопределили судьбу многих из тех, кого пролетарская революция в России выдвинула в качестве лидеров.

Политическая борьба никогда не бывает анонимной. Она не сводится к борьбе только программ, философских доктрин или «учений». Она всегда персонифицирована. И если, говоря «ленинцы», все, естественно, подразумевали большевиков, то столь же определенны и такие понятия, как «мартовцы», «плехановцы», а позже

«сталинцы», «брежневцы» и т. п. Вот почему и в публицистике важнейшее оружие политической борьбы — жанр политического портрета занимал и занимает видное место.

В настоящем сборнике этот жанр представлен очерками трех авторов — А. В. Луначарского, К. Б. Радека и Л. Д. Троцкого — публицистов талантливых и в свое время широко известных. Самый старший из них по возрасту Луначарский. Троцкий был моложе его на четыре года, Радек — на десять лет. Все они принимали участие в революционном движении с юношеских лет. Каждый прошел сложный и трудный путь, встречался с политическими деятелями различных направлений. Каждый был личностью незаурядной и яркой. Наблюдения их метки и точны. Владение словом безупречно.

Писались очерки в разные годы и по разным поводам. В поле зрения их авторов — как современники, так и далекие предшественники: учителя, соратники и друзья, политические оппоненты и явные противники или ренегаты. Из их биографий проницательный взгляд публицистов выхватывал наиболее яркие эпизоды и события, стремясь проявить политические, психологические и личностные черты, характеризующие не только того или другого героя, но и то идейное направление или социальную группу, которые стояли за ними.

Настоящий художник, создавая портрет, менее всего претендует на зеркально-фотографическое отображение «натуры». Он передает свое отношение к ней. В публицистическом жанре политического портрета эта тенденция выражена еще определенней. Она составляет саму его суть. И авторы очерков, включенных в предлагаемый сборник, не пытаются прикрыть свою тенденциозность, свою позицию, не скрывают своих симпатий и антипатий. Читатель без труда заметит свидетельства их политических привязанностей к некоторым коллегам по партии — как отражение внутрипартийной борьбы в 20-е годы и, уверены, сам разберется, чем, например, диктовался апологетический тон статей А. Луначарского и К. Радека о Л. Троцком. Это зарисовки, сделанные непосредственными участниками событий, людьми пристрастными, иногда — чрезмерно.

Даже в тех случаях, когда авторы писали портреты политических деятелей XIX столетия, они стремились не только осмыслить исторический опыт предшественников. Одновременно искались ответы и на вопросы, как выражались тогда, «текущего момента». Авторская общественно-политическая позиция, несущая на себе отпечаток времени, во многом определяла общую оценку и угол зрения их публицистических зарисовок. В этом их сила и слабость.

Ныне большинство этих оценок, отражавших уровень знаний и представлений тех лет, требуют существенной корректировки либо просто устарели. С вековой и полувековой высоты прожитого перипетии той далекой борьбы и роль тех или иных действующих лиц

видятся по-иному. Но... не будем уподобляться тому ослу, что лягал мертвого льва. Не будем купировать текст отточиями и оговаривать свои расхождения и несогласия. Приведем все очерки полностью, ограничившись лишь фактическими или сугубо информационными комментариями. Особенность предлагаемого сборника и в том, что по большей части мы видим портреты одних и тех же лиц, написанные людьми разными по темпераменту и личностным качествам.

Читатель времени перестройки, используя богатейший материал, содержащий широкую палитру непосредственных, живых наблюдений и субъективных, подчас даже субъективистских оценок, вправе делать самостоятельные выводы как о героях вошедших в книгу очерков, так и об их авторах. И те и другие были сынами неповторимой революционной эпохи, одинаково богатой взлетами и падениями, прозрениями и заблуждениями. В своем первозданном виде, разворачивая перед читателем галерею портретов участников российского революционного движения, материалы сборника дают вместе с тем достаточно яркое представление и о самом времени, о целой революционной эпохе. Недаром книги, что легли в основу данной публикации, разделили судьбу их авторов. В 1934 году Троцкий писал о «Силуэтах» Луначарского, увидевших свет в 1923 году: «Книжка появилась... крайне несвоевременно: достаточно сказать, что имя Сталина в ней даже не называлось. Уже в следующем году «Силуэты» были изъяты из оборота, и сам Луначарский чувствовал себя опальным». Как известно, Сталин в начале 1927 года не постеснялся отнести первого советского наркома просвещения к числу «мертвых вождей большевизма».

А вскоре опальными, а затем оболганными стали и два других автора. Книги их надолго оказались заточенными в спецхранах. Свобода пришла к ним и к нам одновременно.

Сведения о первой публикации того или иного очерка, сборники, в которые они входили ранее, указаны в примечаниях. Все ссылки на литературу даны по современным правилам библиографического описания. Цитаты из работ В. И. Ленина приведены по Полному собранию сочинений, остальные выверены по первоисточникам, все неточности оговорены в комментариях.

Составители сборника и авторы комментариев — сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС *Т. Н. Кузнецова* и *О. В. Наумов*.

О ЛЕНИНЕ







8'

Л. Троцкий

ЛЕНИН И СТАРАЯ «ИСКРА»

Раскол 1903 г. был, так сказать, антиципацией (предвосхищением)...
Слова Ленина из беседы 1910 г.

Несомненно, что для будущего большого биографа Ленина период старой «Искры» (1900—1903 гг.)[1] представит исключительный психологический интерес и, вместе с тем, большие трудности: ибо именно за эти короткие годы Ленин становится Лениным. Это не значит, что он дальше не растет. Наоборот, он растет — и в каких пропорциях! — и до Октября и после Октября. Но это уже рост более органический. Велик был прыжок из подполья к власти 25 октября 1917 года; но это был внешний, так сказать, материальный прыжок человека, который все, что можно взвесить и измерить, измерил и взвесил. А в том росте, какой предшествовал расколу на II съезде партии[2], есть незаметный внешнему глазу, но тем более решительный внутренний прыжок.

Настоящие воспоминания имеют своей целью дать будущему биографу некоторый материал, относящийся к этому чрезвычайно знаменательному и значительному периоду в духовном развитии Владимира Ильича. Сейчас, когда пишутся эти строки, с того времени прошло уже более двух десятилетий, и притом десятилетий, весьма обременительных для человеческой памяти. Это может породить естественные опасения: в какой мере то, что здесь рассказано, правильно воспроизводит то, что было на деле. Скажу, что такое опасение было отнюдь не чуждо мне самому и не покидало меня во все время этой работы, неряшливых воспоминаний и неточных свидетельств и без того слишком много! Под руками у меня, когда писался этот очерк, не было решительно никаких документов, справочников, материалов и пр. Думаю, однако, что это к лучшему. Мне приходилось опираться только на память, и я надеюсь, что ее самопроизвольная работа при таких условиях была несколько более ограждена от непроизвольной ретроспективной ретуши, которой так трудно избежать даже при самой критической самопроверке. Да и будущему исследователю облегчается этим проверка, когда он займется ею, взявши в руки документы и всякие вообще материалы, относящиеся к тому времени.

Местами я привожу тогдашние беседы и споры в диалогической форме. Разумеется, вряд ли можно претендовать на точную передачу диалогов два с лишним десятилетия спустя. Но суть, как мне кажется, я передаю вполне верно, а некоторые наиболее яркие выражения — дословно.

Так как речь идет о материалах для биографии Ленина, следовательно, о деле исключительной важности, то, может быть, мне позволено будет сказать несколько слов о некоторых свойствах моей памяти. Я очень плохо запоминал расположение городов и даже квартир. В Лондоне, например, я не раз плутал на небольшом сравнительно расстоянии между квартирой Ленина и своей собственной. Долгое время я очень плохо запоминал человеческие лица, но в этом смысле я сделал весьма значительные успехи. Зато я очень хорошо запоминал и запоминаю идеи, их сочетание и беседы на идейные темы. Что эта оценка не субъективна, я имел возможность убедиться путем проверки много раз: другие лица, присутствовавшие при той же беседе, что и я, передавали ее нередко менее точно, чем я, и принимали мои поправки. К этому нужно прибавить то обстоятельство, что в Лондон я прибыл молодым провинциалом и очень хотел как можно скорее все узнать и понять. Естественно, если разговоры с Лениным и другими членами редакции «Искры» крепко врезывались в память. Вот соображения, которых не сможет не учесть биограф при оценке степени достоверности печатаемых ниже воспоминаний.

* * *

В Лондон я приехал осенью 1902 года, должно быть в октябре, ранним утром. Нанятый мною мимическим путем кеб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира Владимира Ильича. Меня заранее научили (должно быть, еще в Цюрихе) стукнуть соответственное число раз дверным кольцом. Дверь мне открыла, насколько помню, Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более опытный и, так сказать, более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час-два, вместо того чтобы ни свет ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего побега из Верхоленска[3]. Таким же приблизительно образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Владимир Ильич находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир Ильич и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра (М. Г. Кржижановский), который в Самаре, так сказать, официально ввел меня в организацию

«Искры» под прозвищем «Перо». Так я и был встречен: приехало, мол, «Перо»... Меня напоили чаем, кажется в кухне-столовой. Ленин тем временем оделся. Я рассказывал о побеге и жаловался на плохое состояние искровской границы: она оказалась в руках гимназиста-эсера, который к искровцам, ввиду разгоревшейся жестокой полемики, относился без большой симпатии; к тому же контрабандисты жестоко обобрали меня, превысив всякие тарифы и нормы. Надежде Константиновне я передал скромный багаж адресов и явок, вернее, сведения о необходимости ликвидации некоторых негодных адресов. По поручению самарской группы (Клэр и др.) я посетил Харьков, Полтаву, Киев и почти везде, во всяком случае в Харькове и в Полтаве, мог установить крайне слабое состояние организационных связей.

Не помню, в то же ли утро или на другой день я совершил с Владимиром Ильичем большую прогулку по Лондону. Он показывал мне Вестминстер (снаружи) и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: это *у них* знаменитый Вестминстер. «У них» означало, конечно, не у англичан, а у врагов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, об устройстве Британского музея, о богатстве информации «Times'a» [4] или много лет позже — о немецкой артиллерии или французской авиации: *умеют или имеют, сделали или достигли,— но какие враги!* Незримая тень эксплуататорского класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Насколько могу припомнить, я проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз и воспринимал Вену, Париж и Лондон лишь очень суммарно, и мне было еще не до «деталей», вроде Вестминстерского замка. Да и Владимир Ильич не за тем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и проэкзаменовать. И экзамен был действительно «по всему курсу». На вопросы его я рассказывал о составе ленской ссылки и о внутренних в ней группировках. Главной линией водораздела было тогда отношение к активной политической борьбе, к централистической организации и к террору.

— Ну, а теоретических разногласий, в связи с бернштейнианством, не было? — спросил В. И. Я рассказал, как мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав. Но связи между теоретической борьбой, разверты-

вавшейся тогда в международном масштабе, и нашими организационно-политическими спорами мы не проводили никакой и даже над ней не задумывались, по крайней мере до появления на Лене первых номеров «Искры» и книжки Ленина «Что делать?» [5]. Рассказывал еще я, что мы с большим интересом читали первые философские книжки Богданова. Помню очень твердо смысл замечания В. И.: и ему книжка об историческом взгляде на природу показалась очень ценной, но вот Плеханов * не одобряет, говорит, что это не материализм. В. И. тогда на этот вопрос своего взгляда еще не имел и только передавал взгляд Плеханова с уважением к его философскому авторитету, но и с неудомением. Меня плехановская оценка тогда также очень удивила. Спрашивал В. И. и об экономике. Я рассказал, как мы в московской пересыльной коллективно штудировали его книгу «Развитие капитализма в России» [6], а в ссылке работали над «Капиталом» [7], но остановились на втором томе. Я упомянул об огромном количестве статистических данных, разработанных в «Развитии капитализма».

— Мы в московской пересылке не раз с удивлением говорили об этой колоссальной работе.

— Так ведь это же делалось не сразу,— ответил Ленин.

Ему, видимо, было приятно, что молодые товарищи с вниманием относились к его важнейшей экономической работе.

Заговорили о махаевщине [8], о том, какое произвела она впечатление на ссылку, многие ли поддались. Я рассказал, что первая гектографированная тетрадь Махайского, доставленная нам «сверху» по Лене, произвела на большинство из нас сильное впечатление резкой критикой социал-демократического оппортунизма и в этом смысле совпадала с тем ходом наших мыслей, который вызывался полемикой между Каутским и Бернштейном. Вторая тетрадь, где Махайский «срывает маску» с марксовых формул воспроизводства, усматривая в них теоретическое оправдание эксплуатации пролетариата интеллигенцией, вызвала в нас теоретическое возмущение. Наконец, полученная нами позже третья тетрадь, с положительной программой, в которой пережитки экономизма сочетались с зародышами синдикализма, произвела впечатление полной несостоятельности.

Насчет моей дальнейшей работы разговор был в этот раз, разумеется, лишь самым общим. Я хотел, прежде всего, ознакомиться с вышедшей литературой, а затем предполагал нелегально вернуться в Россию. Решено было, что я должен сперва «осмотреться».

Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов в дом, где проживали Засулич, Мартов **

* О Г. В. Плеханове см. с. 253—269 настоящего издания.— *Ред.*

** О Л. Мартове (Ю. О. Цедербауме) см. с. 269—276 настоящего издания.— *Ред.*

и Блюменфельд, заведовавший типографией «Искры». Там нашлась свободная комната и для меня. Квартира эта, по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально: в нижней комнате жила хозяйка, а затем друг над другом жильцы. Была еще одна свободная общая комната, которую Плеханов окрестил после своего первого посещения вертепом. В комнате этой, не без вины Веры Ивановны Засулич, но и не без содействия Мартова, царил большой беспорядок. Тут пили кофе, сходились для разговоров, курили и пр. Отсюда и название.

Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышедшие номера «Искры» и книжки «Зари» [9]. К этому же времени относится начало моего сотрудничества в «Искре».

К 200-летнему юбилею Шлиссельбургской крепости я написал заметку, кажется первую мою работу для «Искры». Кончалась заметка гомеровскими словами или, вернее, словами гомеровского переводчика Гнедича насчет «необорных рук», которые революция наложит на царизм (по дороге из Сибири я начитался в вагоне «Илиады» [10]). Ленину заметка понравилась. Но насчет «необорных рук» он впал в законное сомнение и выразил мне его с добродушной усмешкой. «Да это гомеровский стих»,— оправдывался я, но охотно согласился, что классическая цитата необязательна. Заметку можно найти в «Искре», но без «необорных рук».

Тогда же я выступил с первыми докладами в Уайт-Чепеле, где сразился со «стариком» Чайковским (он и тогда уже был стариком) и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. В результате я был искренне удивлен тем, что именитые седобородые эмигранты способны нести такую явную околесицу... Связью с Уайт-Чепелем служил лондонский «старожил» Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к редакции «Искры». Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. Помню, как я после обстоятельного разговора с Алексеевым по пути в Уайт-Чепел и обратно передал Владимиру Ильичу два мнения Алексеева насчет смены государственного режима в России и насчет последней книжки Каутского [11]. У нас смена произойдет не постепенно, говорил Алексеев, а крайне резко, ввиду *рижидности* самодержавия. Слово «рижидность» (жестокость, твердость, несгибаемость) я твердо запомнил. «Что ж, это он, пожалуй, прав»,— сказал Ленин, выслушав рассказ. Второе суждение Алексеева касалось книжки Каутского: «На другой день после социальной революции». Я знал, что Ленин книжкой очень интересуется, что он, по его собственным словам, читал ее дважды и читает в третий раз; кажется, им же был проредактирован русский перевод. Я только что прилежно проштудировал книжку по рекомендации Владимира Ильича. Между тем Алексеев находил книжку Каутского оппортунистической. «Ду-рак»,—

неожиданно сказал Ленин и сердито надул губы, что с ним бывало в случае недовольства. Сам Алексеев относился к Ленину с величайшим уважением: «Я считаю, что он для революции важнее Плеханова». Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не ответил.

Редакция «Искры» и «Зари» состояла, как известно, из шести лиц: трех «стариков» — Плеханова, Засулич и Аксельрода и трех молодых — Ленина, Мартова и Потресова. Плеханов и Аксельрод проживали в Швейцарии. Засулич — в Лондоне, с молодыми. Потресов в это время находился где-то на континенте. Такая разбросанность представляла технические неудобства, но Ленин нисколько не тяготился ими, даже наоборот. Перед моей поездкой на континент он, посвящая меня осторожно во внутренние дела редакции, говорил о том, что Плеханов настаивает на переводе всей редакции в Швейцарию, но что он, Ленин, против перевода, так как это затруднит работу. Тут впервые я понял, но лишь чуть-чуть, что пребывание редакции в Лондоне вызывается соображениями не только полицейского характера, но и организационно-персональными. Ленин хотел в текущей организационно-политической работе максимальной независимости от стариков, и прежде всего от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты, особенно при выработке проекта программы партии [12]. Посредниками в таких случаях выступали Засулич и Мартов: Засулич — в качестве секунданта от Плеханова и Мартов — в таком же качестве от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, очень дружны между собою. Об острых столкновениях между Лениным и Плехановым по вопросу о теоретической части программы я узнавал лишь постепенно. Помню, Владимир Ильич спрашивал меня, как я нахожу программу, тогда только что опубликованную (кажется, в № 25 «Искры») [13]. Я, однако, воспринял программу слишком оптовым порядком, чтобы ответить на тот внутренний вопрос, который интересовал Ленина. Разногласия шли по линии большей жестокости и категоричности в характеристике основных тенденций капитализма, концентрации производства, распада промежуточных слоев, классовой дифференциации и пр.— на стороне Ленина и большей условности и осторожности в этих вопросах — на стороне Плеханова. Программа, как известно, изобилует словами «более или менее»: это от Плеханова. Насколько вспоминаю, по рассказам Мартова и Засулич, первоначальный набросок Ленина, противопоставленный наброску Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: «Жорж

(Плеханов) — борзая: потреплет, потреплет и бросит, а вы — бульдог: у вас мертвая хватка». Очень хорошо помню эту фразу, как и заключительное замечание Засулич: «Ему (Ленину) это очень понравилось. «Мертвая хватка?» — переспросил он с удовольствием». И Вера Ивановна добродушно передразнила интонацию вопроса.

При мне в Лондон приезжал на короткое время Плеханов. Тогда-то я и увидел его впервые. Он приходил на нашу общую квартиру, был в вертепе, но меня не было дома.

— Приехал Жорж,— сказала мне Вера Ивановна,— хочет вас видеть, зайдите к нему.

— Какой Жорж? — спросил я с недоумением, решив, что есть еще одно крупное имя, мне неизвестное.

— Ну, Плеханов... Мы его Жоржем зовем.

Вечером я зашел к нему. В маленькой комнатке кроме Плеханова сидели довольно известный немецкий писатель социал-демократ Бер и англичанин Аскью. Не зная, куда меня девать, так как стульев больше не было, Плеханов — не без колебания — предложил мне сесть на кровать. Я считал это в порядке вещей, не догадываясь, что европеец до конца ногтей Плеханов мог только ввиду крайности обстоятельств решиться на такую чрезвычайную меру. Разговор шел на немецком языке, которым Плеханов владел недостаточно и потому ограничивался односложными замечаниями. Бер говорил сперва о том, как английская буржуазия умело обхаживает выдающихся рабочих, а затем разговор перешел на английских предшественников французского материализма. Бер и Аскью вскоре ушли. Георгий Валентинович вполне основательно ожидал, что уйду с ними и я, так как час был поздний и нельзя было беспокоить хозяев квартиры разговором. Я же, наоборот, считал, что теперь-то только настоящее и начинается.

— Очень интересные вещи говорил Бер,— сказал я.

— Да, насчет английской политики интересно, а насчет философии — пустяки,— ответил Плеханов.

Видя, что я не собираюсь уходить, Георгий Валентинович предложил мне выпить по соседству пива. Он задал мне несколько беглых вопросов, был любезен, но в этой любезности был оттенок скрытого нетерпения. Я чувствовал, что внимание его рассеяно. Возможно, что он просто устал за день. Но я ушел с чувством неудовлетворенности и огорчения.

В лондонский период, как и позже в женевский, я гораздо чаще встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве — обедая и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз в день, тогда как с Лениным, который жил семейным порядком, каждая встреча вне официальных заседаний была уже как бы маленьким событием.

Засулич была человеком особенным и по-особенному очаровательным. Писала она очень медленно, переживая подлинные муки творчества. «У Веры Ивановны ведь не писание, а мозаика»,— сказал мне как-то в ту пору Владимир Ильич. И действительно она наносила на бумагу по отдельной фразе, много ходила по комнате, шаркая и притаптывая своими туфлями, без конца дымила свернутыми от руки папиросами, нашвыривала во всех углах, на всех окнах и столах окурки и просто недокуренные папиросы, осыпала пеплом свою кофту, руки, рукописи, чай в стакане, а при случае и собеседника. Была она и осталась до конца старой интеллигенткой-радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке. Статьи Засулич свидетельствуют, что теоретические элементы марксизма она усвоила превосходно. Но в то же время нравственно-политическая основа русской радикалки 70-х годов осталась в ней неразложенной до конца. В интимных беседах она позволяла себе будировать против известных приемов или выводов марксизма. Понятие «революционер» имело для нее самостоятельное значение, независимое от классового содержания. Помню свой разговор с ней по поводу ее «Революционеров из буржуазной среды» [14]. Я употребил выражение *буржуазно-демократические революционеры*. «Да нет,— с оттенком досады или, вернее, огорчения отозвалась Вера Ивановна,— не буржуазные и не пролетарские, а просто революционеры. Можно, конечно, сказать *мелкобуржуазные* революционеры,— прибавила она,— если причислять к мелкой буржуазии все то, что некуда девать»...

Идейным средоточием социал-демократии была тогда Германия, и мы напряженно следили за борьбой ортодоксов с ревизионистами в немецкой социал-демократии. А Вера Ивановна нет-нет да и скажет:

— Все это так. Они и с ревизионизмом покончат, и Маркса восстановят, и станут большинством, а все-таки будут жить с кайзером.

— Кто «они», Вера Ивановна?

— Да немецкие социал-демократы.

На этот счет, впрочем, Вера Ивановна не так ошибалась, как казалось тогда, хотя все произошло по-иному и по иным причинам, чем она думала...

К программе земельных отрезков [15] Засулич относилась скептически,— не то что отвергала, а добродушно посмеивалась. Помню такой эпизод. Незадолго до съезда приезжал в Женеву Константин Константинович Бауэр, один из старых марксистов, но крайне неуравновешенный человек, друживший одно время со Струве *, а в этот период колебавшийся между «Искрой» и «Освобождени-

---

* О П. Б. Струве см. с. 220—226 настоящего издания.— *Ред.*

ем»[16]. В Женеве он стал склоняться к «Искре», но отказывался принять отрезки. Ходил он к Ленину, с которым, возможно, был знаком и ранее. Вернулся от него, однако, не убежденным, вероятнее всего потому, что Владимир Ильич, зная его гамлетическую природу, не давал себе труда убеждать его. У меня с Бауэром, которого я знал по ссылке, был длиннейший разговор о злополучных отрезках. В поте лица я развернул перед ним все те доводы, которые успел накопить за полгода бесконечной при с эсерами и всеми вообще супостатами «искровской» аграрной программы. И вот вечером того же дня Мартов (помнится, он) сообщил на заседании редакции при мне, что приходил к нему Бауэр и заявился окончательно «искровцем». Троцкий, мол, рассеял все его сомнения...

— И насчет отрезков убедился? — спросила почти с испугом Засулич.

— Насчет отрезков особенно.

— Бе-е-едный,— произнесла Вера Ивановна с такой неподражаемой интонацией, что мы все дружно расхохотались.

«У Веры Ивановны многое построено на морали, на чувстве»,— говорил мне как-то Ленин и рассказал, как она с Мартовым склонились было к индивидуальному террору, когда виленский губернатор Валь применил розги к демонстрантам-рабочим. Следы этого временного «уклона», как сказали бы мы теперь, можно найти в одном из номеров «Искры». Дело было, кажется, так. Мартов и Засулич выпускали номер без Ленина, который находился на континенте[17]. Получилось агентское телеграфное сообщение о виленских розгах. В Вере Ивановне проснулась героическая радикалка, стрелявшая в Трепова за порку политических. Мартов поддержал... Получив свежий номер «Искры», Ленин возмутился: «Первый шаг к капитуляции перед эсеровщиной»[18]. Одновременно получилось протестующее письмо и от Плеханова. Этот эпизод разыгрался тоже до моего приезда в Лондон, и потому в фактической стороне могут быть какие-либо неточности, но существо инцидента помню хорошо. «Конечно,— объяснялась в разговоре со мною Вера Ивановна,— тут дело совсем же не в терроре, как в системе; а думается, что от порок террором отучить можно»...

Спорить по-настоящему Засулич не спорила, публично выступать тем более не умела. На доводы собеседника она прямо никогда не отвечала, а что-то там внутри у себя прорабатывала и затем, зажегшись, выбрасывала из себя быстро и захлебываясь ряд фраз, причем обращалась она не к тому, кто ей возражал, а к тому, кто, как она надеялась, способен ее понять. Если прения были оформленными, с председателем, то Вера Ивановна никогда не записывалась, так как ей, чтобы сказать что-нибудь, нужно было вспыхнуть. Но уж в этом случае она говорила, совершенно не считаясь с так называемой записью ораторов, к которой относилась с полнейшим презрением,

и всегда перебивала и оратора, и председателя и договаривала до конца то, что хотела сказать. Для того чтобы понять ее, нужно было хорошенько вдуматься в ход ее мыслей. А мысли ее — были ли они верны или были ошибочны — всегда были интересны и принадлежали только ей. Не трудно себе представить, какую противоположность Вера Ивановна, со своим расплывчатым радикализмом и своим субъективизмом, со своей неряшливостью, представляла по отношению к Владимиру Ильичу. Между ними не то что не было симпатии, а было чувство глубокого органического несходства. Но силу Ленина Засулич, как тонкий психолог, чувствовала, не без некоторого оттенка неприязни, уже в ту пору; это она и выразила в своей фразе о мертвой хватке.

Сложные отношения, существовавшие между членами редакции, становились мне доступны лишь постепенно и не без труда. Приехал я в Лондон, как уже сказано, большим провинциалом, и притом во всех смыслах. Не только за границей, но и в Петербурге я до того никогда не бывал. В Москве, как и в Киеве, жил только в пересыльной тюрьме. Литераторов-марксистов знал только по статьям. В Сибири прочитал несколько номеров «Искры» и «Что делать?» Ленина. Об Ильине [19], авторе «Развития капитализма», я смутно слышал в московской пересыльной (кажется, от Ванновского) как о восходящей социал-демократической звезде. О Мартове знал мало, о Потресове — ничего. В Лондоне, штудируя с остервенением «Искру», «Зарю» и вообще заграничные издания, я натолкнулся в одном из номеров «Зари» на направленную против Прокоповича блестящую статью о роли и значении профессиональных союзов. «Кто этот Молотов?» — спрашивал я Мартова. «Это Парвус *». Но я ничего не знал о Парвусе. Я брал «Искру» как целое, и мне в те месяцы была чужда и даже как бы внутренне враждебна мысль искать в ней или в ее редакции различные тенденции, оттенки, влияния и пр.

Помню, я обратил внимание на то, что некоторые передовые статьи и фельетоны в «Искре» хотя и не подписаны, но ведутся от местоимения «я»: «в таком-то номере я сказал», «я уже об этом тогда-то писал» и пр. Я справился, чьи это статьи. Оказалось, все Ленина. В разговоре с ним я заметил, что есть, по-моему, литературное неудобство в неподписанных статьях говорить от местоимения «я».

— Почему неудобно? — спросил он с интересом, предполагая, может быть, что я выражаю тут же случайное и не свое лишь личное мнение.

— Да так как-то,— ответил я неопределенно, ибо никаких определенных мыслей на этот счет у меня и не было.

* О Парвусе (А. Л. Гельфанде) см. с. 248—253 настоящего издания.— *Ред.*

— Я этого не нахожу,— сказал Ленин и как-то загадочно засмеялся. *Тогда* в этом литературном приеме мог почудиться душок «эгоцентризма». На самом деле выделение своих статей, хотя бы и неподписанных, было страховкой своей линии, как результат неуверенности насчет линии ближайших сотрудников. Тут перед нами в малом виде та настойчивая, упорная, попирающая все условности, ни перед чем формальным не останавливающаяся *целеустремленность*, которая составляет основную черту Ленина-вождя.

Политическим руководителем «Искры» был Ленин, но главной публицистической силой был Мартов. Он писал легко и без конца, так же как и говорил. Ленин же проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически.

Помню, как Ленин писал в библиотечном зале статью против Надеждина, который имел тогда в Швейцарии собственное свое небольшое издательство, где-то между социал-демократами и социалистами-революционерами. Между тем Мартов успел уже накануне ночью (он вообще работал преимущественно по ночам) написать большую статью о Надеждине и передать ее Ленину.

— Вы читали статью Юлия? — спросил меня Владимир Ильич в музее.

— Читал.

— Как находите?

— Кажется, хорошо.

— Хорошо-то хорошо, да недостаточно определенно. Выводов нет. Я вот тут набросал кое-что, да не знаю теперь, как быть: пустить разве дополнительным примечанием к статье Юлия?

Он передал мне четвертушку бумаги, исписанную карандашом. В ближайшем номере «Искры» статья Мартова появилась с подстрочным примечанием Ленина [20]. И статья и примечание без подписи. Не знаю, вошло ли это примечание в Собрание сочинений Ленина. Что оно написано им, за это ручаюсь.

Несколькими месяцами позже, уже в предсъездовские недели, в редакции эпизодически вспыхнуло разногласие между Лениным и Мартовым по вопросу о тактике в связи с уличными демонстрациями, точнее говоря, о вооруженной борьбе с полицией. Ленин говорил: нужно создавать небольшие вооруженные группы, нужно приучать рабочих-боевиков драться с полицией. Мартов был против. Спор перенесли в редакцию. «А не вырастет ли из этого нечто вроде группового террора?» — сказал я по поводу предложения Ленина. (Напоминаю, что в тот период борьба с террористической тактикой эсеров играла большую роль в нашей работе.) Мартов подхватил это соображение и стал развивать ту мысль, что нужно учиться защищать массовые демонстрации от полиции, а не создавать отдельные группы для борьбы с ней. Плеханов, на кото-

рого я, да и другие, вероятно, смотрели с ожиданием, уклонился от ответа и предложил Мартову набросать проект резолюции, чтобы обсуждать спорный вопрос уже с текстом в руках. Эпизод этот потонул, однако, в событиях, связанных со съездом.

Ленина и Мартова не на собраниях и совещаниях, а в частной беседе мне довелось наблюдать очень мало. Длинных споров, бесформенных бесед, превращавшихся сплошь да рядом в эмигрантское калякание и судачение, к чему Мартов был так склонен, Ленин не любил и тогда. Этот величайший машинист революции не только в политике, но и в теоретических своих работах, и в занятиях философией, и в изучении иностранных языков, и в беседах с людьми был неизменно одержим одной и той же идеей — целью. Это был самый, может быть, напряженный утилитарист, какого когда-либо выпускала лаборатория истории. Но так как его утилитаризм — широчайшего исторического захвата, то личность от этого не сплющивалась, не оскудевала, а, наоборот, по мере роста жизненного опыта и сферы действия непрерывно развивалась и обогащалась... Бок о бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на «ты», но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостями и разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Какие-либо различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться; лишь задним числом их можно прощупать. Позже, при расколе на II съезде, искровцы разделились на *твердых и мягких*. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу, свидетельствуя, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности идти до конца. Возвращаясь к отношениям Ленина и Мартова, можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был «твердый», а Мартов — «мягкий». И оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стекленели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенсне. И когда Владимир Ильич со мною говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок: «Это что ж, Юлий сказал?», причем имя Юлия

произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением: «хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок». А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина. Разумеется, все это больше обобщенная психологическая характеристика, чем фактический материал, и притом характеристика, даваемая 22 года спустя. За это время многое легло на память, и в изображении невесомейших моментов из области личных отношений могут быть и неправильности, и нарушения перспективы. Что́ тут воспоминание и что́ невольная реконструкция задним числом? Но думается мне, что в основном все же память восстанавливает то, что было, и так, как было.

После моих «пробных», так сказать, выступлений в Уайт-Чепеле (Алексеев давал о них «отчет» членам редакции) меня отправили с рефератом на континент — в Брюссель, Льеж, Париж. Реферат у меня был на тему: «Что такое исторический материализм и как его понимают социалисты-революционеры». Владимир Ильич очень заинтересовался темой. Я давал ему на просмотр подробный конспект с цитатами и пр. Он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки «Зари», но я не отваживался.

Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию по мысли Владимира Ильича: оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей, и, кажется, Клэр требовал моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был изменен. Л. Г. Дейч, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне впоследствии, как он «вступился» за меня, доказывая, что «юноше» (иначе он меня не называл) нужно пожить за границей и поучиться, и как Ленин после некоторого спора согласился с этим. Очень заманчиво было работать в русской организации «Искры», но я тем не менее охотно остался еще на некоторое время за границей.

В одно из воскресений я отправился с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в социалистическую лондонскую церковь, где социал-демократический митинг чередовался с пением революционно-благочестивых псалмов. Оратором выступал наборщик, вернувшийся на родину, кажется, из Австралии. Владимир Ильич переводил нам шепотом его речь, которая звучала довольно революционно, по крайней мере, по тому времени. Затем все поднимались и пели: «Всесильный боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей»... или что-то в этом роде. «В английском пролетариате рассеяно множество элементов революционности и социализма,— говорил по этому поводу Владимир Ильич, когда мы вышли из церкви,— но все это сочетается с консерватизмом, религией, предрассудками и никак не может пробиться наружу и обоб-

щиться»... Здесь небезынтересно отметить, что Засулич и Мартов жили совершенно в стороне от английского рабочего движения, целиком поглощенные «Искрой» и тем, что ее окружало. Ленин же совершал время от времени самостоятельные разведки в область английского рабочего движения.

Незачем говорить, что жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и ее матерью более чем скромно. Вернувшись из социал-демократической церкви, мы обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из двух комнат. Помню как сейчас поданные на кастрюльке ломтики зажаренного мяса. Пили чай. Шутили, как всегда, по поводу того, попаду ли я один к себе домой: я очень плохо разбирался в улицах и, из склонности к систематизации, называл это свое качество «топографическим кретинизмом».

Срок, назначенный для съезда, приближался, и было в конце концов решено перенести искровский центр в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась несравненно дешевле и связь с Россией была легче. Ленин скрепя сердце согласился на это. Меня направили в Париж, с тем чтобы оттуда я прибыл вместе с Мартовым в Женеву. Началась усиленная подготовка к съезду.

Через некоторое время в Париж прибыл и Ленин [21]. Он должен был прочитать три лекции по аграрному вопросу в так называемой Высшей школе [22], организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами. На приглашении Ленина настояла марксистская часть студенчества, после того как в школе выступал Чернов. Профессора беспокоились и просили колючего лектора по возможности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не связал себя на этот счет и первую свою лекцию начал с того, что марксизм есть теория революционная, следовательно, полемическая по самому своему существу, но что эта его полемичность ни в каком случае не противоречит его научности. Помню, что перед первой лекций Владимир Ильич очень волновался. Но на трибуне он сразу овладел собою, по крайней мере, внешним образом. Профессор Гамбаров, пришедший его послушать, формулировал Дейчу свое впечатление так: «Настоящий профессор!» Любезный человек думал таким образом выразить наивысшую похвалу. Будучи насквозь полемическими — против народников и аграрного социал-реформиста Давида, которых Ленин сопоставлял и сближал,— лекции оставались все же в рамках экономической теории, не затрагивая текущей политической борьбы, аграрной программы социал-демократии, социал-революционеров и пр. Такого рода ограничение лектор на себя наложил, считаясь с академическим характером кафедры. Но по окончании третьей лекции Ленин сделал политический доклад по аграрному вопросу, кажется, на rue Choisy, 110, организованный уже не Высшей школой, а парижской группой «Искры». Зал был битком набит. Все студенчество Высшей школы явилось, чтобы послушать

практические выводы из теоретических лекций. Речь шла о тогдашней искровской аграрной программе, и в частности о возвращении земельных отрезков. Не помню, кто возражал. Но помню, что в заключительном слове Владимир Ильич был великолепен. Один из парижских искровцев сказал мне при выходе: «Ленин сегодня превзошел себя». После доклада, как полагается, искровцы отправились с лектором в кафе. Все были очень довольны, а сам лектор весело возбужден. Казначей группы с удовлетворением сообщал цифру дохода, полученного от доклада кассой «Искры»: что-нибудь, вероятно, между 75 и 100 франками, сумма нешуточная! Происходило все это в начале 1903 года. Более точно сейчас время определить не могу, но думаю, что это нетрудно сделать, а может быть, уже и сделано.

В тот же приезд Ленина решено было показать ему оперу. Устроить это было поручено Н. И. Седовой, члену искровской группы. Владимир Ильич шел в театр (Opéra Comique) и из театра с тем же самым портфелем, который сопровождал его на лекции в Высшей школе. Шла опера Массне (?) «Луиза», очень демократическая по сюжету. Сидели мы группой на галерее. Кроме Ленина, Седовой и меня был, кажется, и Мартов. Остальных не помню. С этим посещением оперы связано маленькое, совершенно немузыкальное обстоятельство, которое, однако, крепко запомнилось. Ленин купил себе в Париже ботинки. Они оказались ему тесны. Он промучился в них несколько часов и решил от них освободиться. Как на грех, и моя обувь настойчиво требовала смены. Я получил эти ботинки, и на первых порах мне на радостях показалось, что они мне в самый раз. Я решил их обновить, отправляясь в оперу. Дорога *туда* прошла благополучно. Но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. Может, это и есть причина, почему я не помню, какое впечатление произвела опера на Ленина, да и на меня самого. Помню только, что он был очень расположен, шутил и смеялся. На обратном пути я уже жестоко страдал, а Владимир Ильич безжалостно подшучивал надо мною всю дорогу. Под его шутками скрывалось, однако, компетентное сочувствие: он сам, как сказано, промучился в этих ботинках несколько часов.

Я упомянул выше о волнении Владимира Ильича перед парижскими лекциями. На этом следует остановиться. Такого рода волнения при выступлениях были у Ленина и значительно позже тем сильнее, чем менее «своя» была аудитория, чем формальнее был повод для речи. Внешним образом Ленин всегда говорил уверенно, напористо и быстро, так что речи его являлись жестоким испытанием для стенографов. Но когда ему было не по себе, голос его звучал каким-то не своим, а отраженным и обезличенным звуком, похожим на эхо. Когда же Ленин чувствовал, что *этой* именно аудитории крепко нужно именно то, что он имеет сказать, голос его приобре-

тал чрезвычайную живость и гибкую убедительность, не «ораторскую» в собственном смысле, а разговорную, только доведенную до масштабов трибуны. Это было не ораторское искусство, но нечто бо́льшее, чем ораторство. Можно, правда, возразить, что всякий оратор лучше говорит в «своей» аудитории. В такой общей форме это, конечно, верно. Но весь вопрос в том, какую аудиторию и в каких условиях оратор чувствует, как свою. Европейские ораторы типа Вандервельде, воспитанные на парламентских образцах, нуждаются именно в торжественной обстановке и в формальных поводах для пафоса. На юбилейных собраниях и чествованиях они как раз в своей тарелке. А для Ленина каждое такое собрание было маленьким личным несчастьем. Ярче и убедительнее всего он бывал при разборе боевых вопросов политики. Может быть, лучшими образцами его устной речи были его выступления в Центральном Комитете перед Октябрем.

До парижских докладов я слышал Ленина, кажется, только раз в Лондоне, в самом конце декабря 1902 года[23]. Странное дело, у меня не осталось никакого воспоминания ни о характере выступления, ни о теме его. Я почти готов был бы усомниться, точно ли это был его доклад? Но, по-видимому, так: большое для Лондона русское собрание, где присутствовал Ленин; если бы не его доклад, вряд ли он явился бы. Провал памяти объясняю так: доклад был, вероятно, посвящен, как это обычно бывало, той же теме, что и печатавшийся очередной номер «Искры»; соответственную статью Ленина я уже успел, следовательно, прочесть, и потому в докладе для меня не было ничего нового; прений не было: слабые лондонские противники не решались выступать против Ленина; аудитория, отчасти бундистская, отчасти анархистская, была не очень благодарной,— и в результате всего этого доклад прошел бледно. Помню только, что к концу собрания подходили ко мне Б., муж и жена[24], из бывшей петербургской группы «Рабочей мысли»[25], жившие уже довольно долго в Лондоне, и приглашали: «Приходите к нам под Новый год» (поэтому-то я и помню, что собрание было в конце декабря). «Зачем?» — спросил я с варварским недоумением. «Проведем время в товарищеском кругу. Ульянов будет, Крупская». Помню, что сказали *Ульянов*, а не Ленин, и я даже не сразу сообразил, о ком идет речь. Приглашенными оказались и Засулич и Мартов. На другой день в «вертепе» происходило обсуждение, как быть: справлялись у Ленина, пойдет ли он. Кажется, никто не пошел. А жаль: это был бы единственный в своем роде случай посмотреть Ленина с Засулич и Мартовым в обстановке новогодней вечеринки.

По приезде из Парижа в Женеву я был приглашен к Плеханову с Засулич и с Мартовым; кажется, был и Владимир Ильич. Но об этом вечере у меня крайне смутное воспоминание. Во всяком случае, он имел не политический, а «светский», чтобы не сказать обыва-

тельский, характер. Помню, что я довольно беспомощно и уныло сидел на стуле и в промежутках между знаками внимания со стороны хозяина или хозяйки убежденно не знал, что̀ с собою делать. Дочери Плеханова разносили чай и печенье. Во всем была какая-то натянутость, и от нее не мне одному, вероятно, было не по себе. Разве что по молодости лет я ощущал холодок острее других. Это посещение было первым и последним. Разумеется, мои впечатления от этого «визита» были очень беглыми и, весьма возможно, чисто случайными, как беглыми и случайными были все мои встречи с Плехановым. Блестящую фигуру марксистского первоучителя в России я пытался кратко охарактеризовать в другом месте. Здесь я ограничиваюсь только разрозненными впечатлениями первых встреч, в которых мне — увы! — явно не повезло. Засулич, которую все это очень огорчало, говорила мне: «Жорж, я знаю, бывает несносен, но по существу это ужасно милое животное» (любимая ее похвала).

Не могу тут же не отметить, что в семье Аксельрода господствовала атмосфера простоты и искреннего товарищеского участия. Я и сейчас с благодарностью вспоминаю о часах, которые я провел за гостеприимным столом Аксельродов во время своих нередких наездов в Цюрих. Бывал там не раз и Владимир Ильич и, насколько знаю из рассказов самой семьи, чувствовал себя в ее среде тепло и хорошо. Мне с ним у Аксельродов встречаться не приходилось.

Что касается Засулич, то простота ее и душевность в отношении к молодым товарищам были поистине вне сравнения. Если нельзя говорить в прямом смысле слова о ее гостеприимстве, то только потому, что она больше нуждалась в нем, чем могла его оказывать. Она жила, одевалась и питалась, как скромнейшая из студенток. В области материальных ценностей ее высшими радостями были табак и горчица. Она потребляла и то и другое в огромном количестве. Когда она смазывала тончайший ломтик ветчины толстым слоем горчицы, мы говорили: «Вера Ивановна кутит»..

Очень хорошо и внимательно относился к молодежи четвертый член группы «Освобождение труда» — Л. Г. Дейч. Я не упоминал до сих пор, что в качестве администратора «Искры» он присутствовал с совещательным голосом на заседаниях редакции. Дейч обыкновенно шел с Плехановым, держась в вопросах революционной тактики более чем умеренных взглядов. Однажды, к величайшему моему изумлению, он заявил мне: «Никакого вооруженного восстания, юноша, не будет и не нужно его. На каторге у нас были петухи, которые по первому поводу лезли в драку и погибали. Я же занимал такую позицию: держаться твердо, давать администрации понять, что дело может дойти до большой драки, но в драку не лез. Этим путем я добивался и уважения со стороны администрации, и смягчения режима. Подобную же тактику нам нужно

применять и к царизму, иначе нас разобьют и уничтожат без всякой пользы для дела».

Я так был поражен этой тактической проповедью, что рассказывал о ней по очереди и Мартову, и Засулич, и Ленину. Не помню, как реагировал Мартов. Вера Ивановна сказала: «Евгений (старое прозвище Дейча) всегда был таким: лично человек исключительно смелый, а политически — крайне осторожный и умеренный». Ленин, выслушав, сказал что-то вроде: «М-м... да-а», и оба мы рассмеялись — без дальнейших комментариев.

В Женеву съезжались первые делегаты будущего II съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Шли заседания редакции «Искры», заседания организации «Искры», отдельные совещания с делегатами по группам и общие. Часть делегатов приехала с сомнениями, возражениями или с групповыми претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени.

На съезд прибыло всего трое рабочих. Ленин очень подробно беседовал с каждым из них и завоевал всех троих. Одним из них был Шотман из Петербурга. Он был еще очень молод, но осторожен и вдумчив. Помню, вернулся он после разговора с Лениным (мы с ним жили на одной квартире) и все повторял: «А как у него глазенки светятся, точно насквозь видят»...

Делегатом из Николаева был Калафати. Владимир Ильич меня подробно расспрашивал о нем (я его знал по Николаеву) и затем, лукаво улыбаясь, прибавил:

— Он говорит, что знал вас чем-то вроде толстовца.

— Ну вот, чепуха какая-то,— почти что возмутился я.

— Да что ж тут такого? — не то успокаивая, не то дразня, возражал Ленин.— Вам тогда было, кажется, лет 18, а люди ведь не рождаются марксистами.

— Так-то так,— отвечал я,— но уж с толстовством я не имел решительно ничего общего.

Большое место в совещаниях уделялось уставу, причем одним из крайне важных моментов в организационных схемах и спорах были взаимоотношения ЦО [26] и ЦК. Я приехал за границу с той мыслью, что ЦО должен «подчиняться» ЦК. Таково было настроение большинства «русских» искровцев, не очень, впрочем, настойчивое и определенное.

— Не выйдет,— возражал мне Владимир Ильич.— Не то соотношение сил. Ну как они будут нами из России руководить? Не выйдет... Мы — устойчивый центр, и мы будем руководить отсюда.

В одном из проектов говорилось, что ЦО обязан помещать статьи членов ЦК.

— Даже и против ЦО? — спрашивал Ленин.

— Конечно.

— К чему это? Ни к чему. Полемика двух членов ЦО могла бы еще при известных условиях быть полезной, но полемика «русских» цекистов против ЦО недопустима.

— Так это же получится полная диктатура ЦО? — спрашивал я.

— А что же плохого? — возражал Ленин.— Так оно при нынешнем положении и быть должно.

Много в тот период было возни вокруг так называемого права кооптации [27]. На одном из совещаний мы, молодежь, договорились до положительной и отрицательной кооптации. «Да ведь отрицательная кооптация — это по-русски называется «выгнать»,— смеялся на другое утро в разговоре со мною Владимир Ильич.— Это не так просто. Попробуйте-ка произвести — ха-ха-ха! — отрицательную кооптацию в редакции «Искры»!»

Самый острый для Ленина вопрос состоял в том, как организовать в дальнейшем Центральный Орган, который должен был играть, по существу, одновременно и роль Центрального Комитета. Ленин считал невозможным сохранить старую шестерку. Засулич и Аксельрод во всяком спорном вопросе почти неизменно становились на сторону Плеханова, и тогда в лучшем случае получалось трое против трех. Ни та, ни другая тройка не согласилась бы на удаление кого-либо из коллегии. Оставался противоположный путь — расширение коллегии. Ленин хотел меня ввести седьмым, с тем чтобы затем из семерки, как широкой редакции, выделить более узкую редакционную группу в составе Ленина, Плеханова и Мартова. В этот план Владимир Ильич вводил меня постепенно, ни словом, впрочем, не упоминая о том, что он предложил именно меня седьмым членом редакции, что это предложение принято всеми, кроме Плеханова, в лице которого весь план натолкнулся на решительное сопротивление. Включение седьмого уже само по себе означало в глазах Плеханова майоризацию группы «Освобождение труда»: четверо «молодых» против трех «стариков»!

Думаю, что этот план был важнейшей причиной крайне неблагожелательного отношения ко мне Георгия Валентиновича. А тут, как на грех, присоединились еще небольшие открытые столкновения наши на глазах у делегатов. Началось, кажется, из-за популярной газеты. Некоторые делегаты настаивали на необходимости поставить наряду с «Искрой» популярный орган, по возможности в России. Такова была, в частности, мысль группы «Южного рабочего» [28]. Ленин был решительным противником этого. Соображения у него были разного порядка, но главную роль играло опасение особой группировки, которая может сложиться на почве «популярного» упрощения идей социал-демократии, прежде чем окрепло, как

следует быть, основное ядро партии. Плеханов выступал решительно за создание популярного органа, противопоставляя себя Ленину и явно ища поддержки у делегатов с мест. Я поддерживал Ленина. На одном из совещаний я развивал ту мысль — правильную или неправильную, сейчас это все равно,— что нам нужен не популярный орган, а ряд пропагандистских брошюр и листовок, которые помогли бы передовым рабочим подняться до уровня «Искры»; что популярный орган оттеснит «Искру» и смажет политическую физиономию партии, снизив ее до экономизма и эсеровщины. Плеханов возражал. «Почему же смажет? — говорил он.— Разумеется, в популярном органе мы всего сказать не сможем. Мы будем там выдвигать требования, лозунги, а не заниматься вопросами тактики. Мы скажем рабочему, что нужно бороться с капитализмом, но мы не станем, разумеется, теоретизировать о том, *как* бороться с капитализмом». Я ухватился за эту аргументацию: «Но ведь и «экономисты», и эсеры говорят, что нужно бороться с капитализмом. Расхождение начинается именно с того, *как* бороться. Если мы в популярном органе на этот вопрос не отвечаем, мы тем самым смазываем различие между нами и эсерами»... Возражение имело очень победоносный вид. Плеханов не нашелся. Ясно, что этот эпизод не улучшил его ко мне отношения. Вскоре произошел второй конфликт, на заседании редакции, которая постановила до решения съездом вопроса о составе редакции привлечь меня на заседание с совещательным голосом. Плеханов категорически против этого возражал. Но Вера Ивановна сказала ему: «А я его приведу». И действительно «привела» меня на заседание. Сам я узнал об этой закулисной стороне дела только значительно позже, а на заседание явился, ничего не зная, не ведая. Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Как на грех, редакции пришлось в этом же заседании разбирать конфликтный вопрос между Дейчем и упомянутым уже выше Блюменфельдом. Дейч был администратором «Искры». Блюменфельд заведовал типографией. На этой почве возникла борьба компетенций. Блюменфельд жаловался на вмешательство Дейча во внутренние дела типографии. Плеханов, по старой дружбе, поддерживал Дейча и предлагал ограничить Блюменфельда типографской техникой. Я возражал: нельзя заведовать типографией только в области техники, есть еще организаторские и административные задачи, и Блюменфельд должен иметь во всех этих вопросах автономию. Помню ядовитейшее возражение Плеханова: «Хотя т. Троцкий и прав, что на технике вырастают различные надстройки, административные и иные, как учит теория исторического материализма, но...» и пр. Ленин и Мартов поддержали, однако, осторожно меня и провели соответственное решение. Это переполнило чашу. В обоих этих случаях сочувствие Владимира

Ильича было, как мы видели, на моей стороне. Но в то же время он с тревогой следил за тем, как портились мои отношения с Плехановым, что грозило окончательно сорвать намеченный им план реорганизации редакции. На одном из ближайших совещаний с вновь подъехавшими делегатами Ленин, отведя меня в сторону, говорил мне: «По вопросу о популярном органе пускай уж лучше Плеханову возражает Мартов. Мартов будет смазывать, а вы станете рубить. Пусть уж лучше смазывает». Эти выражения: *рубить* и *смазывать* помню твердо.

После одного из заседаний редакции в кафе «Ландольт», возможно, что после того самого заседания, о котором только что шла речь, Засулич особенным, ей в таких случаях свойственным, робко-настойчивым голосом стала жаловаться, что мы «слишком» нападаем на либералов. Это было ее самое больное место.

— Вот смотрите, как они стараются,— говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его.— В последнем номере «Освобождения» Струве ставит нашим либералам в пример Жореса, требует, чтобы русские либералы не порывали с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикал-социалистов.

Ленин стоял у стола в надвинутой на лоб мягкой соломенной шляпе «под панаму» (заседание уже кончилось, и он собирался уходить).

— Тем больше их надо бить,— сказал он, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну.

— Вот так так,— воскликнула она с полным отчаянием,— они идут нам навстречу, а мы их бить!

— Вот именно. Струве говорит своим либералам: надо против нашего социализма принимать не грубые немецкие меры, а более тонкие французские, привлекать, задабривать, обманывать, развращать на манер левых французских радикалов, заигрывающих с жоресизмом.

Я, разумеется, передаю эту знаменательную беседу не дословно. Но смысл и дух ее врезались в память в высшей степени отчетливо. У меня под руками нет сейчас материалов для проверки, но проверку сделать нетрудно: нужно просмотреть весенние номера «Освобождения» за 1903 год и найти статью Струве, посвященную вопросу об отношении либералов к демократическому социализму вообще и жоресизму в особенности. Об этой статье я помню именно со слов Веры Ивановны в рассказанной только что сцене. Если к числу, обозначенному на соответственном номере «Освобождения», прибавить срок, нужный для того, чтобы «Освобождению» добраться до Женевы, попасть в руки Веры Ивановны и быть прочитанным, то есть дня три-четыре, то можно довольно точно установить и дату

описанного только что спора в кафе «Ландольт». Помню, что был весенний (а может быть, уже и ранний летний?) день, солнце весело светило, и весел был картавый смешок Ленина. Помню весь его спокойно-насмешливый, уверенный в себе и «прочный» вид, именно прочный, хотя тогда Владимир Ильич был гораздо худощавее, чем в последний период своей жизни. Вера Ивановна, как всегда, вскидывалась, оборачиваясь то к тому, то к другому. Но никто, кажется, не вмешался в спор, который, впрочем, и длился недолго, во время шапочного разбора.

Возвращались мы с ней вместе. Засулич была удручена, чувствуя, что карта Струве бита. Я не мог доставить ей никакого утешения. Никто из нас, однако, не предчувствовал тогда, в *какой мере*, в какой превосходной степени бита была карта русского либерализма в этом маленьком диалоге у дверей кафе «Ландольт».

* * *

Я вижу всю недостаточность сообщаемых мною выше эпизодов: получилось беднее, чем мне рисовалось, когда я приступал к этой работе. Но я собрал тщательно все, что сохранила память, даже и менее значительное, ибо уже сейчас почти некому более подробно рассказать об этом периоде. Умер Плеханов. Умерла Засулич. Умер Мартов. И умер Ленин. Вряд ли кто-либо из них оставил свои мемуары. Разве что Вера Ивановна? Но об этом ничего не слышно. Из состава тогдашней редакции «Искры» остались Аксельрод и Потресов. Но оба они, не говоря уже о всяких других соображениях, в редакционной работе участвовали мало и на собраниях редакции были редкими гостями. Кое-что может рассказать Л. Г. Дейч, но и он прибыл за границу скорее к концу описываемого периода, незадолго до меня, и к тому же в редакционной работе прямого участия не принимал. Неоценимые сведения может дать и, надеемся, даст Надежда Константиновна. Она стояла тогда в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах нагретой бумаги. И она нередко жаловалась со своей мягкой настойчивостью на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку, и пр. Еще важнее, конечно, то, что в этой организационной работе, рука об руку с Лениным, Надежда Константиновна могла изо дня в день наблюдать все, что происходило в нем и вокруг него. Но тем не менее и эти строки, надеюсь, не окажутся лишними, в частности и потому, что на заседаниях редакции Н. К., по крайней мере при мне, бывала редко. А главное потому, что иногда свежий глаз со стороны замечает то, чего не видит глаз привычный. Так или иначе, то, что я мог рассказать, рассказано.

А теперь я хочу высказать еще несколько общих соображений насчет того, почему, на мой взгляд, должен был за время старой «Искры» произойти решающий перелом в политическом самочувствии Ленина, в его, так сказать, самооценке; почему этот перелом был неизбежен и почему он стал необходим.

Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признавали все, с которыми он встречался и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажом, с серьезным запасом политического опыта и весь насквозь пронизанный той целеустремленностью, которая составляла его духовную природу. За границей его ждало сотрудничество с группой «Освобождение труда» и прежде всего с Плехановым, с глубоким и блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором европейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета: Засулич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Нет, это был проницательнейший ум с широким, преимущественно историческим образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич шла в свое время связь «группы» со стариком Энгельсом. В отличие от Плеханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксельрод представлял в «группе» идеи и опыт германской социал-демократии. Это различие «сфер влияния» выражалось также и в месте их жительства. Плеханов и Засулич жили преимущественно в Женеве, Аксельрод — в Цюрихе. Аксельрод сосредоточился на вопросах тактики. У него, как известно, нет ни одной теоретической или исторической работы. Он и вообще писал мало. Но то, что он писал, почти всегда имело своей темой тактические вопросы социализма. В этой области Аксельрод проявлял и самостоятельность, и проницательность. Из многочисленных разговоров с ним (одно время мы были с ним очень дружны, как и с Засулич) я ясно себе представляю, что многое из написанного Плехановым по вопросам тактики было плодом коллективной работы и что в этой работе доля Аксельрода была гораздо более значительна, чем может показаться только по печатным документам. Сам Аксельрод не раз говорил Плеханову, несомненному и любимому вождю «группы» (до разрыва в 1903 г.): «У тебя, Жорж, длинный хобот, ты везде достаешь, что тебе нужно»... Аксельрод, как известно, написал предисловие к присланной из России рукописи Ленина «Задачи русских социал-демократов»[29]. Этим актом «группа» как бы усыновляла молодого даровитого русского работника, но в то же время этим самым как бы свидетельствовала, что дело идет об

ученике. Именно в таком звании Ленин прибыл за границу вместе с двумя другими учениками. Я не присутствовал при первых встречах учеников с учителями, при тех беседах, где вырабатывалась основная линия «Искры». Нетрудно, однако, понять, в свете наблюдений описанного полугодия и особенно в свете II съезда партии, что самая острота конфликта, помимо своей только-только намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина.

В течение II съезда и сейчас же после него негодование Аксельрода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением: «Как мог он на это решиться?» Недоумение еще более возросло, когда, после разрыва Плеханова с Лениным, что произошло уже вскоре после съезда, Ленин продолжал тем не менее борьбу. Настроение Аксельрода и других, может быть, можно было бы вернее всего выразить словами: *какая его муха укусила?* «Ведь не так давно он приехал за границу,— рассуждали старшие,— приехал учеником и держал себя, как ученик (на этом особенно настаивал Аксельрод в своих рассказах о первых месяцах «Искры»). Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он решиться? И пр. Затем догадка: он подготовил себе почву в России, недаром все связи были в руках Надежды Константиновны; там-то и шла втихомолку обработка русских товарищей против группы «Освобождение труда». Не менее других негодовала, но, может быть, несколько более других понимала Засулич. Недаром она говорила Ленину еще задолго до раскола, что у него, в отличие от Плеханова, «мертвая хватка». И кто знает, какое впечатление произвели в свое время эти слова? Не повторил ли себе Ленин: «Да, это верно: кому же, как не Засулич, знать Плеханова? Он потреплет, потреплет и бросит, а задача совсем не такова, чтобы трепать и бросать... Тут нужна мертвая хватка». В какой мере и в каком смысле верны слова о предварительной «обработке» *русских* товарищей, об этом, конечно, лучше, чем кто бы то ни было, может рассказать Надежда Константиновна. Но в более широком смысле можно и без фактических справок сказать, что такая подготовка совершалась. Ленин всегда готовил завтрашний день, утверждая и укрепляя сегодняшний. Его творческая мысль никогда не застывала, а бдительность не успокаивалась. И когда он убедился, что группа «Освобождение труда» не способна взять в свои руки непосредственное руководство боевой организацией пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции, он сделал отсюда для себя все практические выводы. Старики ошиблись, и не одни только старики: это был уже не просто молодой, выдающийся работник, которого Аксельрод отметил дружественно-покровительственным предисловием, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он в работе стал бок о бок со старшими,

с учителями, и убедился, что он сильнее и нужнее их. Правда, и в России Ленин, по выражению Мартова, был первым среди равных. Но там дело шло все же лишь о первых социал-демократических кружках, о молодых организациях. Русские репутации носили еще на себе печать провинциализма: сколько тогда значилось русских Лассалей и русских Бебелей! Другое дело группа «Освобождение труда»: Плеханов, Аксельрод и Засулич стояли в том же ряду, что Каутский, Лафарг, Гед и Бебель, подлинный немецкий Бебель! Измерив в работе свои силы рядом с ними, Ленин измерил себя большой европейской меркой. Именно в столкновениях с Плехановым, когда редакция группировалась по двум осям, Ленин должен был получить тот закал уверенности, без которого он в дальнейшем не был бы Лениным.

А столкновения со стариками были неизбежны. Не потому, что налицо были заранее две различные концепции революционного движения. Нет, в тот период этого еще не было. Но самый угол подхода к политическим событиям, организационным и вообще практическим задачам, следовательно, и ко всей надвигавшейся революции был глубоко различен. Старики успели к этому времени провести в эмиграции уже 20 лет. Для них «Искра» и «Заря» были прежде всего литературным предприятием. Для Ленина же — непосредственным инструментом революционного действия. В Плеханове, как это обнаружилось несколькими годами позже (1905—1906 гг.) и еще более трагически — в эпоху империалистской войны, глубоко сидел революционный скептик: он сверху вниз глядел на ленинскую целеустремленность, имея на этот счет в запасе не одну снисходительно-ядовитую шутку. Аксельрод, как уже сказано, ближе стоял к проблемам тактики, но мысль его упорно не хотела выходить из круга вопросов подготовки к подготовке. Аксельрод нередко с величайшим искусством анализировал тенденции и оттенки внутри разных социалистических группировок революционной интеллигенции. Он был гомеопатом дореволюционной политики. Его методы и приемы носили аптечный, лабораторный характер. Величины, которыми он оперирует, всегда очень малы: это кружки, ему приходится класть на весы мельчайшие гирьки. Недаром Л. Г. Дейч относил Аксельрода к типу Спинозы, и недаром Спиноза был гранильщиком алмазов: эта работа, как известно, требует увеличительного стекла. А Ленин брал события и отношения оптом, учился мыслью охватывать социальные глыбы и этим отражал надвигавшуюся революцию, которая и Плеханова и Аксельрода застигла врасплох. Непосредственнее всего из стариков приближение революции чувствовала, пожалуй, Вера Ивановна Засулич. Ее живое, чуждое педантства, насыщенное интуицией историческое образование помогло ей в этом. Но она чувствовала революцию, как старая радикалка. Она была до глубины души убеждена в том, что все

элементы революции у нас уже налицо, за вычетом «настоящего», уверенного в себе либерализма, который должен взять в руки руководство, и что мы, марксисты, своей преждевременной критикой и «травлей» только запугиваем либералов и этим самым играем, в сущности, контрреволюционную роль. В печати Вера Ивановна этого, правда, не говорила. И в личных беседах не всегда договаривала до конца. Но это тем не менее было ее задушевным убеждением. И отсюда вытекал ее антагонизм с Павлом (Аксельродом), которого она считала доктринером. Действительно, в пределах тактической гомеопатии Аксельрод неизменно отстаивал революционную гегемонию социал-демократии. Он только отказывался перевести эту точку зрения с языка групп и кружков на язык классов, когда классы пришли в движение. Тут-то и открывалась пропасть между ним и Лениным.

Ленин приехал за границу не как марксист «вообще», не для литературно-революционной работы «вообще», не просто для продолжения 20-летней работы группы «Освобождение труда». Нет, он приехал как потенциальный вождь, и не вождь «вообще», а вождь той революции, которая нарастала, которую он чувствовал и осязал. Он приехал, чтобы в кратчайший срок создать для этой революции идейную оснастку и организационный аппарат. И не в том смысле я говорю о его неистовой и дисциплинированной в то же время целеустремленности, что он, Ленин, стремился содействовать торжеству «конечной цели»,— нет, это слишком общо и пусто,— а в том конкретном, прямом, непосредственном смысле, что он поставил себе практической целью: ускорить пришествие революции и обеспечить ее победу. Когда Ленин в своей заграничной работе оказался плечом к плечу с Плехановым, когда исчезло то, что немцы называют пафосом дистанции, для «ученика» не могло не стать физически ясным, что в том вопросе, который он считал для данного времени основным, ему не только почти нечему учиться у учителя, но что выжидательно-скептический учитель способен, благодаря своему авторитету, затормозить спасительную работу и оторвать от него, от Ленина, более молодых сотрудников. Отсюда зоркая забота Ленина о составе редакции, отсюда комбинации семерки и тройки, отсюда стремление отделить Плеханова от группы «Освобождение труда», создать руководящую тройку, в которой Ленин всегда имел бы Плеханова в вопросах революционной теории и Мартова — в вопросах революционной политики. Личные комбинации менялись; но «антиципация» оставалась в основном неизменной и в конце концов стала костью, плотью и кровью.

На II съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно; одновременно он потерял Мартова и — потерял навсегда. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на II съезде; по крайней мере, он сказал тогда Аксельроду в ответ на его горькие и недоуменные

упреки по поводу плехановского союза с Лениным: «Из такого теста делаются Робеспьеры». Я не знаю, приводилась ли когда-либо эта замечательная фраза в печати и известна ли она вообще в партии; но за точность ее я ручаюсь. «Из такого теста делаются Робеспьеры!» И даже нечто гораздо большее, Георгий Валентинович! — ответила история. Но, очевидно, это историческое откровение очень скоро поблекло в сознании самого Плеханова. Он порвал с Лениным и вернулся к скептицизму и к едким шуткам, впрочем, утрачивавшим от времени свою едкость.

Но в «раскольнической» антиципации дело шло не об одном Плеханове и не об одних стариках. II съездом вообще завершалась некоторая первоначальная стадия подготовительного периода. То обстоятельство, что «искровская» организация совершенно неожиданно раскололась на съезде почти пополам, само по себе свидетельствует о том, что в этой первоначальной стадии было еще много недоговоренности. Классовая партия только-только пробивала скорлупу интеллигентского радикальства. Приток интеллигенции к марксизму еще не прекратился. Студенческое движение левым своим флангом примыкало к «Искре». В среде интеллигентской молодежи, особенно за границей, группы содействия «Искре» были очень многочисленны. Все это было молодо-зелено и в большинстве неустойчиво. Студентки-искровки задавали референту вопрос: «Можно ли искровке выйти замуж за морского офицера?» На II съезде участвовало только трое рабочих, да и те были привлечены не без труда. «Искра», с одной стороны, собирала и воспитывала кадры профессиональных революционеров и привлекала под свое знамя молодых, героически настроенных рабочих. С другой стороны, значительные группы интеллигенции лишь проходили через «Искру», чтобы вскоре затем вылинять в «освобожденцев». «Искра» имела успех не только как марксистский орган строящейся пролетарской партии, но и просто как боевая политическая, крайняя левая публицистика, которая не лезет за словом в карман. Более радикальные элементы интеллигенции соглашались сгоряча бороться за свободу под знаменем «Искры». Наряду с этим постепеновски-педагогическое недоверие к силам пролетариата, которое раньше находило свое выражение в экономизме, теперь успело, и притом довольно искренне, перекраситься под «Искру», не меняя своего существа. В конце концов блестящая победа «Искры» была гораздо шире, чем ее реальные завоевания. В какой мере ясно и полно Ленин отдавал себе в этом отчет еще до II съезда, я сейчас судить не берусь, но во всяком случае яснее и полнее, чем кто бы то ни было. В тех довольно пестрых настроениях, которые группировались под знаменем «Искры», находя свое преломление и в самой редакции, Ленин один представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и неисчислимыми жертвами. Отсю-

да его настороженность и боевая подозрительность. Отсюда отчетливая постановка организационных вопросов, нашедшая свое символическое выражение в вопросе о членстве партии (§ 1 Устава). Вполне естественно, если на II съезде, который собирался пожать плоды идейных побед «Искры», именно Ленин начал работу нового расслоения, нового, более требовательного, более сурового отбора. Чтобы решиться на такой шаг, имея против себя половину съезда, имея Плеханова ненадежным полусоюзником и всех остальных членов редакции открытыми и решительными противниками; чтобы решиться в таких условиях на новый отбор, нужно было иметь уже совершенно исключительную веру не только в свое дело, но и в свои силы. Эту веру дала Ленину та опытом проверенная самооценка, которая выросла из совместной работы с «учителями» и из первых конфликтных зарниц, предвещавших будущие громы и молнии раскола. Нужна была вся могущественная целеустремленность Ленина, чтобы начать такое дело и довести его до конца. Ленин неутомимо натягивал тетиву до предела, до отказа и в то же время осторожно пробовал пальцем: не слабеет ли где, не грозит ли рассучиться? «Нельзя так натягивать, лопнет лук!» — кричали с разных сторон. «Не лопнет,— отвечал мастер.— Лук наш из неломкого пролетарского материала, а партийную тетиву нужно натянуть еще и еще, ибо придется далеко посылать тяжелую стрелу!»

А. Луначарский

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Я плохо знаю биографию Ленина и поэтому не буду пытаться здесь восстановить ее, так как для этого найдется, конечно, немало других источников. Я буду говорить только о тех отношениях, которые непосредственно у меня с ним были, и о тех наблюдениях, которые я непосредственно производил.

В первый раз я услышал о Ленине после выхода книжки Тулина [1], от Аксельрода. Книжки я еще не читал, но Аксельрод мне сказал: «Теперь можно сказать, что и в России есть настоящее социал-демократическое движение и выдвигаются настоящие социал-демократические мыслители».— «Как? — спросил я.— А Струве, а Туган-Барановский?» Аксельрод несколько загадочно улыбнулся (дело в том, что раньше он очень высоко отзывался о Струве) и сказал мне: «Да, но Струве и Туган-Барановский — все это страницы русской университетской науки, факты из истории эволюции русской ученой интеллигенции, а Тулин — это уже плод русского рабочего движения, это уже страница из истории русской революции».

Само собой разумеется, книга Тулина была прочитана за границей, где я в то время был (в Цюрихе), с величайшей жадностью и подверглась всяческим комментариям.

После этого до меня доходили только слухи о ссылке Ленина, о его жизни в Красноярске с Мартовым и Потресовым.

Ленин, Мартов и Потресов казались совершенно неразлучными личными друзьями, с одинаковой окраской, чисто русскими вождями молодого рабочего движения. Странно видеть, какими разными путями пошли эти «три друга»!

Книга Ленина по истории русского капитала произвела на меня гораздо меньшее впечатление. Я, конечно, сознавал ее статистическую солидность, талантливость и большой политический интерес, который она представляла, но я как раз меньше всего интересовался подробным цифровым доказательством развития капитализма в России, так как для меня лично факт этот был бесспорен,

а в моей пропагандистской и агитационной деятельности пером и словом экономические вопросы занимали самое последнее место.

Я был в ссылке [2], когда до нас начали доходить известия о II съезде. К этому времени уже издавалась и окрепла «Искра». Во время разрыва «Искры» с «Рабочим делом» [3], хотя кое-кто из моих друзей, например Николай Аносов, резко стоял на стороне «Рабочего дела», я лично не колеблясь объявил себя искровцем. Но самую «Искру» знал я плохо: номера доходили до нас разрозненно, хотя все же доходили.

Во всяком случае, у нас было такое представление, что к нераздельной троице: Ленин, Мартов и Потресов — так же точно интимно припаялась заграничная троица: Плеханов, Аксельрод и Засулич.

Поэтому известие о расколе на II съезде ударило нас как обухом по голове. Мы знали, что на II съезде будут последние акты борьбы с «Рабочим делом», но, чтобы раскол прошел такой линией, что Мартов и Ленин окажутся в разных лагерях, а Плеханов «расколется» пополам,— это нам совершенно не приходило в голову.

Первый параграф устава? Разве стоит колоться из-за этого. Размещение кресел в редакции? Да что они, с ума там сошли за границей.

Мы были скорей всего возмущены этим расколом и старались, на основании скудных данных, которые доходили до нас, разобраться, в чем же тут дело? Не было недостатка и в слухах о том, что Ленин, склочник и раскольник, во что бы то ни стало хочет установить самодержавие в партии, что Мартов и Аксельрод не захотели, так сказать, присягнуть ему в качестве всепартийного хана.

Но этому в значительной мере противоречила позиция Плеханова, как известно, вначале весьма дружественная и союзная с Лениным.

Вскоре, впрочем, Плеханов переметнулся на сторону меньшевиков, но это уже всеми было принято в ссылке (не только вологодской, думаю) как нечто дурно характеризующее Георгия Валентиновича. Такие быстрые перемены позиции не в авантаже у нас, марксистов.

Словом, мы были до некоторой степени в ночи. Я должен сказать, что русские товарищи, поддержавшие Ленина, тоже не совсем точно представили себе, в чем дело. Самую могучую поддержку, несомненно, оказал ему А. А. Богданов, если говорить о личностях. В этой плоскости присоединение Богданова к Ленину имело, можно сказать, решающее значение. Не присоединись он к Ленину — дело пошло бы, вероятно, гораздо медленней.

Но почему Богданов присоединился к Ленину? Он понял борьбу, разразившуюся на съезде, во-первых, как борьбу за дисциплину: раз за формулы Ленина голосовало как-никак большинство (хотя 1 голос), то меньшинство должно было подчиниться, а во-вторых, как борьбу русской части партии против заграничников. Ведь вокруг

Ленина не было ни одного именитого имени, но зато почти сплошь приехавшие из России делегаты, а там, после перехода Плеханова, собрались все заграничные божки.

Богданов не совсем точно воспроизвел картину так: заграничная партийная аристократия не желает понять, что у нас теперь действительно партия и что прежде всего надо считаться с коллективной волей русских практических работников.

Несомненно, что эта линия, вылившаяся, между прочим, в лозунг — единый центр и притом в России,— подкупающе действовала на многие русские комитеты, в то время довольно густою сетью раскинувшиеся по России.

Вскоре сделалось известным, среди кого имеет успех та или другая линия. К меньшевикам примкнуло большинство марксистской интеллигенции столиц — они имели несомненный успех среди наиболее квалифицированных рабочих; к большевикам прежде всего примкнули именно комитеты, то есть провинциальные работники — профессионалы революции. И это была, конечно, главным образом интеллигенция, несомненно, другого типа — не марксиствующие профессора, студенты и курсистки, а люди, раз и навсегда бесповоротно сделавшие своей профессией революцию.

Главным образом этот элемент, которому Ленин придавал такое огромное значение, который он называл бактерией революции, и сплотился вокруг Богданова в знаменитое организационное Бюро Комитетов Большинства [4], которое и дало Ленину его армию.

Богданов в то время уже окончил ссылку, побывал за границей [5]. Я был совершенно убежден, что он должен был более или менее правильно разобраться в вопросах, и поэтому, отчасти из доверия к нему, тоже занял позицию, дружественную большевикам.

Еще раз напомню здесь, что по приглашению тогдашнего ведшего соглашательскую линию ЦК я ездил в Смоленск. Перед этим я виделся в Киеве с товарищем Кржижановским, в то время игравшим довольно большую роль, близким приятелем товарища Ленина, однако колебавшимся между чисто ленинской позицией и позицией примиренчества.

Он-то и рассказал мне более подробно о Ленине. Характеризовал он его с энтузиазмом, характеризовал его огромный ум, нечеловеческую энергию, характеризовал его как необыкновенно милого, веселого товарища, но в то же время отмечал, что Ленин прежде всего человек политический и что, разойдясь с кем-нибудь политически, он сейчас же рвет и личные отношения. В борьбе же, по словам Кржижановского, Ленин был беспощаден и прямолинеен.

И в то время, как мне рисовался соответственный довольно-таки романтический образ, Кржижановский прибавил: «А на вид он похож на ярославского кулачка, на хитрого мужичонку, особенно когда носит бороду».

Едва после ссылки приехал я в Киев, как получил от Бюро Комитетов Большинства прямое предписание немедленно выехать за границу и вступить в редакцию центрального органа партии. Я сделал это.

Напомню, что несколько месяцев я прожил в Париже отчасти потому, что хотел ближе разобраться в разногласиях. Однако в Париже я все-таки стал немедленно во главе тамошней очень небольшой большевистской группы и стал уже воевать с меньшевиками.

Ленин писал мне раза два короткие письма, в которых звал торопиться в Женеву. Наконец он приехал сам [6].

Приезд его для меня был несколько неожидан. Лично на меня с первого взгляда он не произвел слишком хорошего впечатления. Мне он показался по наружности своей как будто чуть-чуть бесцветным, а так ничего определенного он не говорил, только настаивал на немедленном отъезде в Женеву.

На отъезд я согласился.

В то же время Ленин решил прочесть большой реферат на тему о судьбах русской революции и русского крестьянства.

На этом реферате я в первый раз услышал его как оратора. Здесь Ленин преобразился. Огромное впечатление на меня и на мою жену произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей, становящиеся почти мрачными и впивающиеся, как бурава, глаза, это монотонное, но полное силы движение оратора то вперед, то назад, эта плавно текущая и вся насквозь зараженная волей речь.

Я понял, что этот человек должен производить как трибун сильное и неизгладимое впечатление. А я уже знал, насколько силен Ленин как публицист — своим грубоватым, необыкновенно ясным стилем, своим умением представлять всякую мысль, даже сложную, поразительно просто и варьировать ее так, что она отчеканилась наконец даже в самом сыром и мало привыкшем к политическому мышлению уме.

Я только позднее, гораздо позднее узнал, что не трибун, и не публицист, и даже не мыслитель — самые сильные стороны в Ленине, но уже и тогда для меня было ясно, что доминирующей чертой его характера, тем, что составляло половину его облика, была воля, крайне определенная, крайне напряженная воля, умевшая сосредоточиться на ближайшей задаче, но никогда не выходившая за круг, начертанный сильным умом, которая всякую честную задачу устанавливала как звено в огромной мировой политической цепи.

Кажется, на другой день после реферата мы, не помню, по какому случаю, попали к скульптору Аронсону, с которым я был в то время в довольно хороших отношениях. Аронсон, увидев голову Ленина, пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него.

Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена, купленный потом в Женевский музей.

Впрочем, было отмечено, что Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы.

Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы вместо первого впечатления простой большой лысой головы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал опять-таки, физическое излучение света от его поверхности.

Скульптор, конечно, отметил это сразу.

Рядом с этим более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Карьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блещущие умом и каким-то задорным весельем. Только когда он говорит, они становятся действительно мрачными и словно гипнотизирующими. У Ленина очень маленькие глаза, но они так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их бессознательной игрой.

У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые.

В нижней части опять значительное сходство, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. И у всех трех нижняя часть лица несколько бесформенна, сделана грубо, как бы кое-как.

Большой нос и толстые губы придают несколько татарский облик Ленину, что в России, конечно, легко объяснимо. Но совершенно или почти совершенно такой же нос и такие же губы и у Сократа, что особенно бросалось в глаза в Греции, где подобный тип придавали разве только фантастическим сатирам. Равным образом и у Верлена. Один из близких к Верлену друзей прозвал его калмыком. На лице великого мыслителя, судя по бюстам, лежит именно прежде всего печать глубокой мысли. Я думаю, однако, что если в передаче Ксенофонта и Платона есть доля истины, то Сократ должен был быть веселым и ироническим и сходство в живой игре физиономии было, пожалуй, с Лениным большее, чем дает бюст. Равным образом в обоих знаменитых изображениях Верлена преобладает то тоскливое настроение, тот декадентский минор, который, конечно, доминировал и в его поэзии, но всем известно, что Верлен, особенно в начале своих опьянений, был весел и ироничен, и я думаю опять-таки, что сходство здесь было большее, чем кажется.

Чему может научить эта странная параллель великого греческого философа, великого французского поэта и великого русского революционера?

Конечно, ничему. Она разве только отмечает, как одна и та же наружность может принадлежать, правда, быть может, приблизительно, равным гениям, но с совершенно разным направлением духа, а во-вторых, дала мне возможность описать наружность Ленина более или менее наглядным образом.

Когда я ближе узнал Ленина, я оценил еще одну сторону его, которая сразу не бросается в глаза: это поразительную силу жизни в нем. Она в нем кипит и играет. В тот день, когда я пишу эти строки, Ленину должно быть уже 50 лет, но он и сейчас еще совсем молодой человек, совсем юноша по своему жизненному тонусу. Как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет и как легко рассмешить его, какая наклонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями! В самые страшные минуты, которые нам приходилось вместе переживать, Ленин был неизменно ровен и также наклонен к веселому смеху.

Его гнев также необыкновенно мил. Несмотря на то что от грозы его действительно в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть и сотни, он всегда господствует над своим негодованием и оно имеет почти шутливую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Я много раз отмечал это внешнее бурление, эти сердитые слова, эти стрелы ядовитой иронии, и рядом был тот же смешок в глазах и способность в одну минуту покончить всю эту сцену гнева, которая как будто сама разыгрывается Лениным, потому что так нужно. Внутри же он остается не только спокойным, но и веселым.

В частной жизни Ленин тоже больше всего любит именно такое непритязательное, непосредственное, простое, кипением сил определяющееся веселье. Его любимцы — дети и котята. С ними он может подчас играть целыми часами.

В свою работу Ленин вносит то же благотворное обаяние жизни. Я никогда не скажу, чтобы Ленин был трудолюбив, мне никогда как-то не приходилось видеть его углубленным в книгу или согнувшимся над письменным столом. Пишет он страшно быстро, крупным размашистым почерком; без единой помарки набрасывает он свои статьи, которые не сто́ят ему никакого усилия. Сделать это он может в любой момент, обыкновенно утром, встав с постели, но и поздно вечером, вернувшись после утомительного дня, и когда угодно. Читал он все последнее время, за исключением, может быть, короткого промежутка за границей, во время реакции, больше отрывками, чем усидчиво, но из всякой книги, из всякой страницы он вынесет что-то новое, выкопает ту или другую нужную для него идею, которая служит ему потом оружием.

Особенно зажигается он не от родственных идей, а от противоположных. В нем всегда жив ярый полемист.

Но если Ленина как-то смешно назвать трудолюбивым, то трудоспособен он в огромной степени. Я близок к тому, чтобы признать его прямо неутомимым; если я не могу этого сказать, то потому, что знаю, что в последнее время нечеловеческие усилия, которые приходится ему делать, все-таки к концу каждой недели несколько надламывают его силы и заставляют его отдыхать.

Но ведь зато Ленин умеет отдыхать. Он берет этот отдых, как какую-то ванну, во время его он ни о чем не хочет думать и целиком отдается праздности и, если только возможно, своему любимому веселью и смеху. Поэтому из самого короткого отдыха Ленин выходит освеженным и готовым к новой борьбе.

Этот ключ сверкающей и какой-то наивной жизненности составляет рядом с прочной шириною ума и напряженной волей, о которой я говорил выше, очарование Ленина. Очарование это колоссально: люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него. Это относится к людям самых разных калибров и духовных настроений — от такого тонко вибрирующего огромного таланта, как Горький, до какого-нибудь косолапого мужика, явившегося из глубины Пензенской губернии, от первоклассных политических умов, вроде Зиновьева *, до какого-нибудь солдата и матроса, вчера еще бывших черносотенцами, готовых во всякое время сложить свои буйные головы за «вождя мировой революции — Ильича».

Это фамильярное название «Ильич» привилось так широко, что его повторяют и люди, никогда не видевшие Ленина.

Когда Ленин лежал раненый, как мы опасались смертельно, никто не выразил наших чувств по отношению к нему лучше, чем Троцкий. В страшных бурях мировых событий Троцкий, другой вождь русской революции, вовсе не склонный сентиментальничать, сказал: «Когда подумаешь, что Ленин может умереть, то кажется, что все наши жизни бесполезны и перестает хотеться жить».

Вернусь к линии моих воспоминаний о Ленине до великой революции.

В Женеве мы работали вместе с Лениным в редакции журнала «Вперед» [7], потом «Пролетарий» [8]. Ленин был очень хорошим товарищем по редакции. Писал он много и легко, как я уже говорил, и относился очень добросовестно к работам своих коллег: часто поправлял их, давал указания и очень радовался всякой талантливой и убедительной статье.

---

* О Г. Е. Зиновьеве (Радомысльском) см. с. 294—299 настоящего издания.— *Ред.*

Отношения у нас были самые добрые. Ленин очень скоро оценил меня как оратора: он чрезвычайно не любит делать какие бы то ни было комплименты, но раза два отзывался с большим одобрением о моей силе слова и, опираясь на это одобрение, требовал от меня возможно частых выступлений. Некоторые наиболее ответственные выступления он обдумывал со мной заранее.

В первой части нашей жизни в Женеве до января 1905 года мы отдавались, главным образом, внутренней партийной борьбе. Здесь меня поражало в Ленине глубокое равнодушие ко всяким полемическим стычкам, он не придавал большого значения борьбе за заграничную аудиторию, которая в большинстве своем была на стороне меньшевиков. На разные торжественные дискуссии он не являлся и мне не особенно это советовал. Предпочитал, чтобы я выступал с большими цельными рефератами.

В отношении его к противникам не чувствовалось никакого озлобления, но тем не менее он был жестоким политическим противником, пользовался каждым их промахом, раздувал всякие намеки на оппортунизм, в чем была, впрочем, доля правды, потому что позднее меньшевики и сами раздули все тогдашние свои искры в достаточно оппортунистическое пламя. На интриги он не пускался, но в политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного. Надо сказать, что подобным же образом вели себя и меньшевики. Отношения наши были довольно-таки испорчены, и мало кому из политических противников удалось в то же время сохранить сколько-нибудь человеческие личные отношения. Особенно отравил отношения меньшевиков к нам Дан. Дана Ленин всегда очень не любил, Мартова же любил и любит, но считал и считает его политически несколько безвольным и теряющим за тонкою политическою мыслью общие ее контуры.

С наступлением революционных событий дело сильно изменилось. Во-первых, мы стали получать как бы моральное преимущество перед меньшевиками. Меньшевики к этому времени уже определенно повернули к лозунгу: толкать вперед буржуазию и стремиться к конституции или в крайнем случае к демократической республике. Наша, как утверждали меньшевики, революционно-техническая точка зрения увлекала даже значительную часть эмигрантской публики, в особенности молодежь.

Мы почувствовали живую почву под ногами. Ленин в то время был великолепен. С величайшим увлечением развертывал он перспективы дальнейшей беспощадной революционной борьбы и страстно стремился в Россию.

Но тут я уехал в Италию [9], ввиду нездоровья и усталости, и с Лениным поддерживал только письменные сношения, большею частью делового политического характера, поскольку дело шло о газете.

Встретился я с ним уже затем в Петербурге [10]. Я должен сказать, что как раз петербургский период деятельности Ленина в 1905—1906 годах кажется мне сравнительно слабым. Конечно, он и тут писал немало блестящих статей и оставался политическим руководителем самой активной в политическом отношении партии — большевиков.

Лично я все время зорко присматривался к нему, ибо в то время стал внимательно изучать по хорошим источникам биографии Кромвеля, Дантона. Стараясь вникнуть в психологию революционных «вождей», я прикладывал Ленина к этим фигурам, и мне казалось, что Ленин вряд ли представил бы собой настоящего революционного вождя, каким он мне рисовался. Мне стало казаться, что эмигрантская жизнь несколько измельчила Ленина, что внутренняя партийная борьба с меньшевиками заслоняет для него грандиозную борьбу с монархией и что он в большей мере журналист, чем настоящий вождь.

Мне было горько слышать, что дискуссии с меньшевиками, какие-то попытки провести определенные межи имели место даже в то время, когда Москва изнемогала от неудачного вооруженного восстания.

К тому же Ленин, опасаясь ареста, крайне редко выступал как оратор; насколько помню, один только раз — под фамилией Карпова, причем был узнан и ему была устроена грандиозная овация [11]. Работал он главным образом в углу, почти исключительно пером и на разных совещаниях главных штабов отдельных партий.

Словом, Ленин, как мне казалось, продолжал вести борьбу немного в заграничном масштабе; она не вылилась в тех довольно-таки грандиозных границах, в какие вылилась к тому времени революция. В моих глазах он все-таки являлся самым крупным из русских вождей, и я начал бояться, что у революции нет настоящего гениального вождя.

Говорить о Носаре-Хрусталеве было, конечно, смешно. Мы все понимали, что этот внезапно вынырнувший «вождь» не имеет никакого будущего. Больше всего шума и блеска было вокруг Троцкого, но в то время мы все еще относились к Троцкому как к очень способному и несколько театральному, самовлюбленному трибуну, а не как к серьезному политическому деятелю.

Дан и Мартов чрезвычайно старались вести борьбу исключительно в самых недрах петербургского рабочего класса и опять-таки с нами, большевиками.

Я и теперь считаю, что революция 1905—1906 годов застала нас как-то врасплох и что у нас не было настоящего политического навыка. Эта позднейшая думская работа, позднейшая работа наша как эмигрантов над углублением в себе реальных политиков, над задачами широкой государственной деятельности, в возвраще-

нии которой мы были более или менее уверены, дала нам тот внутренний рост, который совершенно изменил самую манеру нашу подходить к революционной задаче, когда история снова вызвала нас. В особенности это относится к Ленину.

Ленина в обстановке финляндской [12], когда ему приходилось отгрызаться от реакции, я не видел.

Встретились мы с Лениным вновь за границей на Штутгартском конгрессе [13]. Здесь мы были с ним как-то особенно близки, помимо того, что нам приходилось постоянно совещаться, ибо, как я уже говорил, мне поручена была от имени нашей партии одна из существеннейших работ на съезде, мы имели здесь и много больших политических бесед, так сказать, интимного характера, мы взвешивали перспективы великой социальной революции. При этом, в общем, Ленин был бóльшим оптимистом, чем я. Я находил, что ход событий будет несколько замедленным, что, по-видимому, придется ждать, пока капитализируются и страны Азии, что у капитала есть еще порядочные ресурсы и что мы разве в старости увидим настоящую социальную революцию. Ленина эти перспективы искренне огорчали. Когда я развивал ему свои доказательства, я заметил настоящую тень грусти на его сильном, умном лице и я понял, как страстно хочется этому человеку еще при своей жизни не только видеть революцию, но и мощно делать ее. Однако он ничего не утверждал, он был, по-видимому, только готов реалистически признать и уклон вниз, и уклон вверх и вести себя соответственно.

Как странно, что немного позднее мы политически разошлись в противоположные стороны. Ленин приспособился ко времени реакции, которую считал длительной, высказался за думскую борьбу, приблизился к меньшевикам, в то время как я, в особенности увлекаемый моими друзьями, в первую очередь Богдановым, остался на позиции продолжения чисто революционной линии во что бы то ни стало.

У Ленина оказалось больше политической чуткости, что неудивительно. Ленин имеет в себе черты гениального оппортунизма, то есть такого оппортунизма, который считается с особым моментом и умеет использовать его в целях общей всегда революционной линии.

Эти черты действительно были и у Дантона, и у Кромвеля.

Отмечу, между прочим, что Ленин всегда очень застенчив и както прячется в тень на международных конгрессах: может быть, потому, что он недостаточно верит в свои знания языков, между тем он хорошо говорит по-немецки и весьма недурно владеет французским и английским языками. Тем не менее он ограничивает свои публичные выступления на конгрессах несколькими фразами. Мы поручили ему выступить с большой речью об отношении к войне. Отмечу здесь, что при выработке резолюции мы сильно разошлись с резолюцией Бебеля, сдвинув ее далеко налево. Я лично принимал

в этом энергичное участие, и в резолюции было принято много моих формул [14].

Плеханов на общем собрании русской фракции настаивал на том, чтобы мы примкнули к бебелевской позиции, на том же настаивал Троцкий, который говорил, что свои резолюции мы могли бы выносить, только если бы были победителями, представляя же собой эмигрантов разгромленной революции, нам надо быть скромными. Ленин с ним отнюдь не согласился. Тезисы, которые в большинстве представляли его и мои пожелания, он взялся защищать в соответственной секции, однако за несколько часов до своего выступления передал весь материал Розе Люксембург. Роза Люксембург и выступила с весьма блестящей речью, в конце которой предложила нами выработанную резолюцию, весьма серьезно определившую окончательную форму Штутгартского международного конгресса.

Я очень счастлив, что мне не пришлось, так сказать, в личном соприкосновении пережить нашу длительную политическую ссору с Лениным [15].

За время этой размолвки я с Лениным совершенно не встречался. Меня очень возмущала политическая беспощадность Ленина, когда она оказалась направленной против нас. Я и сейчас думаю, что очень многое между большевиками и впередовцами [16] создано было просто эмигрантскими недоразумениями и раздражениями, кроме того, конечно, весьма серьезными философскими разногласиями; политически же расходиться нам было нечего, ибо мы представляли только оттенки одной и той же политической мысли.

Богданов был в то время до такой степени раздражен, что предсказал Ленину неминуемый отход от революции и даже доказывал мне и товарищу Е. К. Малиновской, что Ленин неизбежно сделается октябристом.

Да, Ленин сделался октябристом, но совсем другого октября!

Я уже рассказал выше мою встречу с Лениным на Копенгагенском конгрессе [17]. Не могу не отметить здесь его чрезвычайно добродушное, в высшей степени дружеское отношение ко мне в Копенгагене. Он прекрасно знал, что я политический противник, но, как только оказалось, что мы можем вести общую линию, сразу отнесся ко мне с величайшим доверием.

Чувствовалось, как рад бы он был восстановить прежние отношения и прежнее единство. Я со своей стороны тоже почувствовал вновь прилив самой горячей симпатии к этой сильной натуре, к этому светлому уму, к этому обаятельному человеку. К сожалению, мои товарищи затормозили в то время процесс сближения и нам пришлось пережить еще немало довольно горьких столкновений.

И опять-таки эти столкновения не имели отнюдь личного характера, так как Ленин продолжал жить в Париже, а я в Италии,

а потом, когда я переехал в Париж [18], Ленин как раз переселился в немецкую Швейцарию.

В эпоху Циммервальда [19] линия, занятая Лениным, за очень малым исключением, была уже чрезвычайно близка к той, которую занимали мы — впередовцы. Поэтому, когда я вновь встретился с Лениным в Цюрихе, почва была настолько подготовлена, что мы опять стали разговаривать как ни в чем не бывало, как старые друзья и союзники.

События, касающиеся нашего переезда в Россию, уже относятся к истории нынешней революции и будут упомянуты в своем месте.

Прибавлю к этим беглым замечаниям следующее. Мне чрезвычайно часто приходилось работать с Лениным для выработки разного рода резолюций. Обыкновенно это делалось коллективно. Ленин любит в этих случаях общую работу. Недавно мне пришлось вновь участвовать в такой работе при выработке резолюции VIII съезда по крестьянскому вопросу.

Сам Ленин чрезвычайно находчив при этом, быстро находит соответственные слова и фразы, взвешивает их с разных концов, иногда отклоняет. Чрезвычайно рад всякой помощи со стороны. Сколько раз удавалось мне найти вполне подходящую формулу. «Вот, вот, это у вас хорошо сказанулось, диктуйте-ка»,— говорит в таких случаях Ленин. Если те или другие слова покажутся ему сомнительными, он опять, вперив глаза в пространство, задумывается и говорит: «Скажем лучше так». Иногда формулу, предложенную им самим с полной уверенностью, он отменяет, со смехом выслушав меткую критику.

Такая работа под председательством Ленина ведется всегда необыкновенно споро и как-то весело. Не только его собственный ум работает возбужденно, но он возбуждает в высшей степени умы других.

Я не буду ничего прибавлять здесь к этим воспоминаниям и этой характеристике, ибо фигура Ленина, как мне кажется, более всего выразится, насколько это зависит от меня, уже в изложении самих событий революции 1917—1919 годов.

К. Радек

ЛЕНИН

К 25-летию партии

Как все в природе, Ленин, наверно, родился, развивался, рос.

Когда Владимир Ильич однажды увидел, что я пересматриваю только что появившийся сборник его статей 1903 года, его лицо осветилось хитрой улыбкой и он, хихикая, сказал: «Очень интересно читать, какие мы были дураки». Но я не собираюсь здесь сравнивать форму черепа Ленина, когда ему было 10, 20, 30 лет, с тем черепом, который блестит на заседаниях Центрального Комитета партии или Совнаркома. Не о развитии Ленина-вождя идет здесь речь, а о Ленине, каков он теперь. Павел Борисович Аксельрод, родоначальник меньшевизма, который ненавидит Ленина всей душой,— на нем очень легко изучать, как любовь переходит в ненависть,— в одной из бешеных филиппик, которыми он пытался убедить меня в зловредности большевизма вообще, а Ленина в частности, рассказывал, как Ленин попал первый раз за границу [1] и как они тогда ходили совместно гулять, купаться. «Я тогда почувствовал,— говорил Аксельрод,— что имею дело с человеком, который будет вождем русской революции. Он не только был образованным марксистом — таких было очень много,— но он знал, что он хочет делать и как это надо сделать. *От него пахло русской землей*». Павел Борисович Аксельрод — очень плохой политик, и от него не пахнет землей. Он — кабинетный резонер, вся жизненная трагедия которого состояла в том, что в то время, когда не было рабочего движения в России, он выдумал схемы, как оно должно развиваться, а когда оно развивалось иначе, то он ужасно обиделся и до сегодняшнего дня разозленный кричит на непослушного ребенка. Но человек часто очень хорошо замечает в другом то, чего ему самому недостает, и Аксельрод в своих словах о Ленине неслыханно метко схватил все его качества как вождя.

Вождь рабочего класса невозможен без того, чтобы он не охватывал всю историю своего класса. Историю рабочего движения надо знать вождю рабочего класса; без этого знания нет вождя, так же как нет ни одного современного великого полководца, побеждающего

с наименьшей затратой сил, который не знал бы истории стратегии. История стратегии — это не собрание рецептов о том, как выигрывать войну, потому что описанное положение ни разу больше не повторяется. Но детальное изучение истории стратегии изощряет ум полководца, делает его военно-эластичным, позволяет ему видеть опасности и возможности, которых не видит полководец-эмпирик. История рабочего движения не говорит нам, что надо сделать, но она позволяет, сравнивая наше положение с положением в различные решающие моменты, уже пережитые нашим классом, видеть задачи и замечать опасности. Но нельзя знать истории рабочего движения без детального знакомства с историей капитализма, с его механикой во всех проявлениях, как экономическом, так и политическом, то есть без знакомства с теорией капитализма. Ленин знает теорию капитализма как немногие из учеников Маркса. Это не есть знакомство с текстами, тут, быть может, товарищ Рязанов даст ему пять очков вперед. *Ленин продумал теорию Маркса как никто.* Возьмите его маленькую брошюрку по поводу наших споров о профессиональном движении, в которой он громит Николая Ивановича Бухарина как повинного в синдикализме, эклектизме и других страшных грехах (когда Владимир Ильич кого-нибудь громит, то он находит в нем все болезни, которые числятся в известной старой медицинской книге, находящейся у него в большом почете). В этой полемической брошюрке есть маленькая страничка, посвященная разбору разницы между диалектикой и эклектикой, страничка, которую не цитируют ни в каких сборниках статей об историческом материализме, но которая о нем больше говорит, чем целые главы других толстых трудов. Ленин самостоятельно воспринял и продумал теорию марксизма как никто другой по той причине, что он изучал ее с той самой целью, с какой ее Маркс создавал. Когда-то старик Меринг написал рецензию об одной книге о Фейербахе, написанной русским, фамилии которого я не помню. В этой рецензии он спрашивал, почему такой книги не в состоянии написать немец. И Меринг ответил на этот вопрос: немцы не ставят себе задачей преобразование всего общественного и политического строя в Германии и поэтому они потеряли чутье и понимание философских систем, являющихся отражением стремления к таковому преобразованию. В России же стоит на очереди общий переворот. *Ленин вошел в движение, как персонификация воли к революции, и он изучал марксизм, изучал развитие капитализма и развитие социализма под углом зрения его революционного значения.* Плеханов был революционером, но Плеханов не был человеком воли, и при громадном его значении как учителя русской революции он был в состоянии учить ее только алгебре, а не арифметике революции. Как показала история, он сам запутался в четырех арифметических действиях русской революции, и поэтому его алгебра революции была больше преподаванием

готовых учений, чем самостоятельной борьбой мысли. В этом пункте лежит переход от Ленина-теоретика к Ленину-политику.

Марксизм связал Ленина с общей стратегией рабочего класса, но вместе с тем он подвел его самым конкретным образом *к той стратегической задаче, которая выпала на долю рабочего класса России.* Можно сказать, что в Академии Генерального штаба он изучал не только Клаузевицов, Жомини и Мольтке, но он изучал, как никто в России, и театр будущей войны русского пролетариата. *В этой небывало интенсивной интимной связи с полем своей деятельности — весь гений Ленина.* Мне придется в другом месте разбирать вопрос, почему такой великий ум, как Роза Люксембург, не была в состоянии понять правоты Ленина при возникновении большевизма. Тут я могу только предвосхитить результаты этого исследования. Роза Люксембург не понимала конкретно, чем отличается экономическая и политическая обстановка борьбы русского пролетариата от обстановки борьбы польского и западноевропейского пролетариата. Поэтому она в 1904 году сочувствовала меньшевизму в организационных вопросах. Меньшевизм был в исторической перспективе политикой мелкобуржуазной интеллигенции и наиболее мелкобуржуазных слоев пролетариата. Методологически меньшевизм был попыткой перенесения тактики западноевропейского рабочего движения в Россию. Когда читаешь статьи Аксельрода или Мартова о самостоятельности развития рабочего класса, о том, как он должен учиться ходить на собственных ногах, то все эти идеи очень подкупают всякого, кто вырос на западноевропейском рабочем движении. И я помню, как, знакомясь с полемикой русских социал-демократов во время первой революции и не зная конкретной русской действительности, я не мог понять, как это можно отрицать эти азбучные истины. Но в этом великолепном плане недоставало только условий для применения этой тактики, и теперь исторически доказано, что все разговоры меньшевиков о самостоятельности рабочего движения были на деле разговорами о том, как русское рабочее движение должно подчиниться буржуазии. Крайне интересно читать теперь споры о пресловутом первом параграфе устава партии, из-за которого произошел раскол социал-демократии на меньшевиков и большевиков. Каким сектантским казалось тогда требование Ленина, чтобы членами партии считались только члены нелегальной организации. А о чем же шло дело? Ленин боролся против того, чтобы политику рабочей партии определял интеллигентский кисель. Перед первой революцией всякий недовольный врач и адвокат почитывал Маркса и считал себя социал-демократом, будучи на деле либералом. Даже входя в нелегальную организацию, даже порвав с мещанской обстановкой, многие интеллигенты оставались, как это после доказала история, в глубине души либералами. Но сужение рамок партии до круга людей, которые шли на риск участия в нелегальной

организации, все же уменьшало опасность буржуазного засилия в рабочей партии, давало возможность революционной струе рабочего класса пробиться через сито партийной организации, которая и так в значительной мере оставалась интеллигентской. Но чтобы это понять, чтобы из-за этого расколоть партию, для этого надо было быть так связанным с русской действительностью, как был связан с нею всем своим нутром Ленин, как русский марксист, как русский революционер. Если это было неясно многим хорошим марксистам в 1903—1904 годах, то это стало уже вполне ясным с того момента, когда П. Б. Аксельрод начал подменять классовую борьбу пролетариата против русской буржуазии пресловутой земской кампанией, то есть хождением рабочих на либеральные банкеты с двойной целью: увидать буржуа и проникнуться ненавистью к классу капиталистов, которых рабочие вне банкета, как известно, не видели, а затем, чтобы воспитывать капиталистов в понимании необходимости борьбы за общенациональные интересы.

Но и в том, *как* Ленин знает русскую действительность, он отличается от всех других, которые протягивали руку к жезлу властителя дум русского пролетариата. Он русскую действительность не только знает, он ее видит и чувствует. На всех поворотных пунктах истории партии, особенно в момент, когда мы стали у власти и от решений партии зависели судьбы 150 миллионов людей, меня в Ленине поражало то, что англичане называют «common sense», то есть здравый смысл. «Вот,— скажут люди,— комплимент для человека, о котором мы убеждены, что такие являются один раз в сто лет,— признал за ним здравый смысл». Но в этом его величие, как политика. Когда Ленин решает большой вопрос, он не мыслит абстрактными историческими категориями, он не думает о земельной ренте, о прибавочной стоимости, об абсолютизме, о либерализме. Он думает о Собакевиче, о Гессене, о Сидоре из Тверской губернии и о рабочем с Путиловки, о городовом на улице и думает о том, как данная мера повлияет на мужика Сидора и на рабочего Онуфрия как носителей революции.

Я не забуду никогда своего разговора с Ильичем перед заключением Брестского мира [2]. Все аргументы, которые мы выдвигали против заключения Брестского мира, отскакивали от него, как горох от стены. Он выдвигал простейший аргумент: войну не в состоянии вести партия хороших революционеров, которые, взяв за горло собственную буржуазию, не способны идти на сделку с германской. Войну должен вести мужик. «Разве вы не видите, что мужик голосовал против войны?» — спросил меня Ленин. «Позвольте, как это голосовал?» — «Ногами голосовал, бежит с фронта». И этим дело для него было решено. Что мы не уживемся с германским империализмом, Ленин не только знал, как все

другие, но он, защищая брестскую передышку, не скрывал ни на один момент перед массами, какие бедствия она нам сулит. Но хуже немедленного разгрома русской революции она не была,— она давала тень надежды, передышки, хотя бы на несколько месяцев, и это решало. Надо было, чтобы мужик дотронулся руками до данной ему революцией земли, надо было, чтобы встала перед ним опасность потери этой земли, и тогда он будет ее защищать.

Возьмем другой пример. Это было в момент нашего поражения в польской войне [3], когда начинались переговоры в Риге [4]. Я уезжал тогда за границу и зашел к Ильичу поговорить о только что намечавшихся разногласиях по вопросу об отношении к профсоюзам [5]. Подобно тому как при решении Брестского мира Ленин видел глазами своей души мужичка из Рязанской губернии и — зная, что он решающая персона в военной драме,— равнялся по нему, так — в момент перехода от гражданской войны к хозяйственному восстановлению России — он равнялся по рядовому рабочему, без которого нельзя восстановить хозяйства. К чему сводился для него вопрос? На партийных собраниях говорили о роли профсоюзов в хозяйстве, о сращивании профессиональных организаций с хозяйственными организациями, договорились до споров о синдикализме и эклектике, а Ленин видел обтрепанного рабочего, который вынес неслыханное и невиданное и который теперь должен восстанавливать хозяйство. Что хозяйство надо немедленно восстанавливать, что надо подтянуться, что мы для этого имеем право подтянуть рабочую массу,— это для него было бесспорно. Но можем ли мы ее немедленно подтянуть, послав на фабрики тысячу самых лучших наших военных товарищей, привыкших командовать? От крика в производстве ничего не произойдет. Надо дать передышку, рабочие неслыханно устали. Вот это был решающий аргумент для Ленина. Он видел своими глазами действительного русского рабочего, каким он был зимой 1920 года, и он чувствовал всем своим существом, что возможно и что невозможно.

Во вступлении к «Критике политической экономии» [6] Маркс говорит, что история ставит перед собой только разрешимые задачи. Это означает, иными словами, что орудием истории является тот, кто понимает, какие задачи в данный момент исторически разрешимы, и не борется за желательное, а борется за возможное. Величие Ленина состоит в том, что никакая вчера созданная формула не мешает ему видеть изменяющуюся действительность и что он имеет мужество отбросить всякую, вчера им самим созданную формулу, если она сегодня мешает ему охватить эту действительность. Перед взятием власти мы, как революционные интернационалисты, выдвигали лозунг мира народов против мира правительств. И вдруг мы оказались рабочим правительством, а

многоуважаемые народы не успели еще скинуть капиталистических правительств. «Как же мы будем заключать мир с правительством Гогенцоллернов?» [7] — спрашивали многие товарищи. Ленин отвечал нам злобно: «Вы хуже курицы. Курица не решается перешагнуть через круг, начерченный вокруг нее мелом, но она может для своего оправдания хотя бы сказать, что этот круг начертала вокруг нее чужая рука. Но вы-то начертали вокруг себя собственной рукой формулу и теперь смотрите на нее, а не на действительность. Наша формула мира народов должна была поднимать массы на борьбу с капиталистическими правительствами. Теперь вы хотите, чтобы мы погибли и чтобы победили капиталистические правительства во имя нашей революционной формулы».

Величие Ленина в том, что он ставит себе цели, вырастающие из действительности. В этой действительности он намечает сильную лошадь, идущую по пути к его цели, и ей доверяется. Он никогда не садится на качели своих мечтаний. Но мало того. Его гений определяется еще одним элементом: наметив себе цель, он ищет в действительности средства, соответствующие этой цели; он не довольствуется тем, что установил цель,— он продумывает с полной конкретностью, что нужно для того, чтобы эта цель была достигнута. Он разрабатывает не только план кампании, но и организацию этой кампании. Наши только организаторы часто смеялись над Ильичем, что он не организатор. Если посмотреть, как Ильич работает у себя в кабинете в Совнаркоме, то кажется, что невозможно быть более плохим организатором. Он не только не имеет штаба секретарей, подготавливающих ему материал, но до сегодняшнего дня не научился диктовать стенографистке и даже на самопишущее перо посматривает почти так, как мужик с Дона на встреченный им впервые автомобиль. Но укажите в партии хотя бы одного человека, который сумел бы выдвинуть центральную идею о реформе нашего бюрократического аппарата в продолжение десятка лет — реформе необходимой, если мы не хотим, чтобы обиженный чиновниками мужик взвыл. Все мы знаем бюрократический аппарат, все мы воем, дебоширим по поводу «маленьких недостатков советского механизма». Но кто из руководителей партии сказал себе: новая экономическая политика подвела новый базис под союз пролетариата с крестьянством, как же позволить, чтобы бюрократия разрушала этот союз? А великий политик русского пролетариата на одре болезни, оторванный ею от мелочей действительности, все думал о центральном вопросе нашей государственной организации и наметил план борьбы на десятилетие. Это еще только первый набросок, детали будут меняться при проверке на опыте. Но чем более вдумываться в этот беглый набросок, тем более становится ясно, что он снова попал не в бровь, а в глаз, что он снова доказал, как в нем соединяется великий политик с великим политическим организатором.

Как все это в нем соединилось — бог знает (пусть меня извинят товарищ Степанов * и комиссия по борьбе с религиозностью [8]). История имеет свои самогонные аппараты, которых не откроет никакая ЧК. Германская буржуазия не сумела объединить Германии, и где-то в маленькой помещичьей усадьбе, в самогонном аппарате истории, был создан — богом ли, чертом ли,— то есть молекулярной работой истории, Бисмарк, который эту задачу исполнил. Когда читаешь первые его доклады, когда следишь шаг за шагом за развитием его политики, разводишь руками и спрашиваешь себя, откуда этот громадный охват всеевропейской действительности у прусского помещика? Та же мысль приходит всегда в голову, когда думаешь об истории нашей партии, об истории революции и об Ильиче. В продолжение 15 лет казалось, что человек борется за всякую запятую в резолюции, борется со всякими «измами», которые выдумывались на протяжении 25 лет, начиная от хвостизма [9], кончая эмпириокритицизмом [10]. Всякий такой «изм» был для Ленина отражением какого-то действительного врага, существующего в чужих классах или в рабочем классе, существующего в действительности. Эти «измы» были шупальцами действительности, и он через всю эту абракадабру втягивал в себя эту действительность, изучал, продумывал ее, пока совершилось чудо: подпольный человек оказался самым почвенным человеком русской действительности. История не знает ни одного примера такого перехода от подпольного революционера к государственному человеку. Это соединение качеств руководящего теоретика, политика и организатора сделало Ленина вождем русской революции. Но для того чтобы этот вождь был единым, общепризнанным вождем, нужно было еще что-то человеческое, за что Ленин — любимый человек русской революции.

Ибсен пытается убедить нас, что человеку абсолютно нужна правда; в ибсеновской индивидуальной формулировке эта правда очень далека от правды. Для многих людей правда убийственна, она убийственна даже для многих классов. Если бы буржуазия поняла правду о себе и усвоила бы ее нутром, то она уже сегодня была бы разбита, ибо как бороться, когда правда истории тебе говорит, что ты не только приговорен к смерти, но и что самое тело твое бросят в клоаку. Буржуазия спасается глухотой и слепотой от своей участи. Но революционный класс нуждается в правде, ибо правда есть знание действительности, и нельзя победить эту действительность, не зная ее. Частью этой действительности являемся мы, рабочий класс, коммунистическая партия. И только зная свои силы, свои слабости, мы в состоянии принимать меры, необходимые для окончательной победы. Ленин говорит пролета-

* Скворцов-Степанов И. И.— *Ред.*

риату правду и только правду, как бы печальна она ни была. Когда ее слушают рабочие, они знают, что в его речи нет ни одной фразы. Он помогает нам ориентироваться в действительности. Я жил в Давосе с помирающим от чахотки старым большевиком-рабочим. Тогда шла дискуссия о самоопределении национальностей, в которой мы, польские революционеры, боролись со взглядами Ленина. Товарищ, о котором идет речь, читая мои тезисы против Ленина [11], говорил мне: «То, что вы пишете, меня вполне убеждает, но сколько раз я был против Ильича и всегда оказывался неправым». Так думают руководящие работники партии, и это создает авторитет Ленина в партии, но не так думают рабочие. Их более связывает с Лениным не то, что он тысячу раз оказывался прав, а то, что, когда он оказывался неправ, когда под его руководством была сделана ошибка, он говорил открыто: «Мы сделали ошибку, за это нас побили, вот как ее надо исправить». Многие спрашивали: к чему об ошибках, зачем ему это нужно? Не знаем, почему это делал Ленин, но последствия этого вполне ясны. Рабочий чересчур вырос, чтобы верить в героев-спасителей. Когда Ленин говорит об ошибках, не скрывая ничего, он вводит рабочего в свою лабораторию мысли, он дает возможность принимать участие в последних решениях, и рабочие видят в нем вождя, который есть их лаборатория, который есть олицетворение борьбы их класса, который — они сами. Великий класс, которому нужна правда о себе, любит всем сердцем вождя, который — правдивый человек, который говорит ему правду о нем же самом. От него рабочий перенесет всякую правду, как бы тяжела она ни была. Человек верит в свои силы только тогда, когда он ничего в себе не замазывает, когда он знает о себе все самые тяжелые возможности и когда он может сказать о себе: а все-таки... Ленин помогает рабочему классу знать о себе все разлагающее, все падения и, несмотря на это, сказать в последнем итоге: я есмь его величество пролетариат, будущий властитель и творец жизни. И в этом последнее величие Ленина.

В день 25-летия партии, которая несет на спине своей не только ответственность за судьбы шестой части земного шара, но которая является главным рычагом победы мирового пролетариата, русские коммунисты и всё, что есть революционного в мировом пролетариате, будут иметь одну мысль, одно горячее желание, чтобы этот Моисей [12], который вывел рабов из земли неволи, вошел с нами в землю обетованную.

Март, 1923 г.

Л. Троцкий

ВОКРУГ ОКТЯБРЯ

I. ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

О том, что Ленин прибыл в Петербург и выступал на рабочих собраниях против войны и Временного правительства, я узнал из американских газет в Амхерсте, в канадском концентрационном лагере [1]. Интернированные немецкие матросы сразу заинтересовались Лениным, имя которого они впервые встретили в газетных телеграммах. Все это были люди, жадно ждавшие конца войны, который должен был открыть для них ворота концентрационной тюрьмы. Они с величайшим вниманием относились к каждому голосу против войны. До сих пор они знали Либкнехта. Но им часто говорили, что Либкнехт подкуплен. Теперь они узнали Ленина. Я рассказывал им о Циммервальде и Кинтале [2]. Выступления Ленина привели многих из них к Либкнехту.

В Финляндии проездом я нашел первые свежие русские газеты и в них телеграммы о вступлении Церетели, Скобелева и других «социалистов» в состав Временного правительства. Обстановка была, таким образом, совершенно ясна. С Апрельскими тезисами Ленина я познакомился на второй или третий день по приезде в Петербург. Это было именно то, что нужно было революции. Только позже я прочитал в «Правде» [3] статью Ленина, присланную еще из Швейцарии: «Первый этап первой революции» [4]. И сейчас еще можно и должно с величайшим интересом и с политической пользой прочитать первые, весьма расплывчатые номера пореволюционной «Правды», на фоне которых ленинское «Письмо из далека» выступает во всей своей сосредоточенной силе. Очень спокойная, теоретико-разъяснительная по тону статья эта похожа на свернутую в тугое кольцо огромную стальную спираль, которой в дальнейшем предстояло развертываться и расширяться, идейно покрывая собою все содержание революции.

С товарищем Каменевым * я условился о посещении редакции «Правды» в один из ближайших по приезде дней.

---

* О Л. Б. Каменеве (Розенфельде) см. с. 299—301 настоящего издания.— *Ред.*

Первое свидание состоялось, должно быть, 5—6 мая [5]. Я сказал Ленину, что меня ничто не отделяет от Апрельских тезисов и от всего курса, взятого партией после его приезда и что предо мной стоит альтернатива: либо сейчас же «индивидуально» вступить в партийную организацию, либо попытаться привести лучшую часть объединенцев [6], в организации которых числилось до 3 тысяч рабочих в Петербурге и с которыми связано было много ценных революционных сил: Урицкий *, Луначарский, Иоффе, Владимиров, Мануильский, Карахан, Юренев, Позерн, Литкенс ** и другие. Антонов-Овсеенко уже вступил к тому времени в партию; кажется, и Сокольников. Ленин категорически не высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Прежде всего нужно было конкретнее ориентироваться в обстановке и в людях. Ленин считал не исключенной ту или другую кооперацию с Мартовым, вообще с частью меньшивиков-интернационалистов [7], только что прибывших из-за границы. Наряду с этим нужно было посмотреть, как сложатся взаимоотношения внутри «интернационалистов» на работе. В силу молчаливого соглашения я с своей стороны не форсировал естественного развития событий. Политика была общая. На рабочих и солдатских собраниях я с первого дня приезда говорил: «Мы, большевики и интернационалисты», а так как союз «и» только затруднял речь при частом произнесении этих слов, то я вскоре сократил формулу и стал говорить: «Мы, большевики-интернационалисты». Таким образом, политическое слияние предшествовало организационному ***.

В редакцию «Правды» я заходил до июльских дней [8] раза два-три, в наиболее критические моменты. В те первые свидания, а еще более после июльских дней Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности — под покровом спокойствия и «прозаической» простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся «ничтожной кучкой». Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам...

Его выступления на I съезде Советов [9] вызвали у эсеро-меньшевистского большинства тревожное недоумение. Они смутно чувствовали, что этот человек взял прицел по какой-то очень далекой точке. Но самой точки они не видели. И револю-

---

* О М. С. Урицком см. с. 357—360 настоящего издания.— *Ред.*

** О Е. А. Литкенсе см. с. 301—304 настоящего издания.— *Ред.*

*** Н. Н. Суханов в своей истории революции строит особую свою линию в отличие от линии Ленина. Но Суханов заведомый «конструктивист».— *Прим. авт.*

ционные мещане спрашивали себя: кто это? что это? простой маньяк? или какой-то исторический снаряд небывалой разрывной силы?

Выступление Ленина на съезде Советов, когда он говорил о необходимости арестовать 50 капиталистов, не было, пожалуй, ораторски «удачным». Но оно было исключительно значительным. Короткие аплодисменты немногочисленных сравнительно большевиков провожали оратора, уходившего с видом человека, который не все сказал и, может быть, не совсем так сказал, как хотел бы... И в то же время над залом пронеслось необычное дуновение. Это было дуновение будущего, которое на момент почувствовали все, провожая растерянными взорами этого человека, такого обыкновенного и такого загадочного.

Кто он? что он? Разве Плеханов не назвал в своей газете первую ленинскую речь на революционной почве Петербурга бредом? Разве делегаты, выбиравшиеся массами, не примыкали сплошь к эсерам и меньшевикам? Разве в среде самих большевиков позиция Ленина не вызвала на первых порах острое недовольство?

С одной стороны, Ленин требовал категорического разрыва не только с буржуазным либерализмом, но и со всеми видами оборончества. Он организовал борьбу внутри собственной партии против тех «старых большевиков», которые, как писал Ленин, «не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно *заученную* формулу вместо *изучения* своеобразия новой, живой действительности» [10]. Таким образом, он на поверхностный взгляд ослаблял собственную партию. А в то же время он заявил на съезде Советов: «Не правда, будто ни одна партия не согласна ныне взять власть; такая партия есть: это наша партия» [11]. Разве не чудовищное противоречие между положением «кружка пропагандистов», который отмежевывается от всех остальных, и между этой открытой претензией на взятие власти в гигантской стране, потрясенной до дна? И съезд Советов глубочайшим образом не понимал, чего хочет и на что надеется этот странный человек, этот холодный фантаст, пишущий маленькие статьи в маленькой газете. И когда Ленин с великолепной простотой, которая показалась простоватостью подлинным простецам, заявил на съезде Советов: «Наша партия... готова взять власть целиком»,— раздался смех. «Вы можете смеяться, сколько угодно...» [12]— сказал Ленин. Он знал: «хорошо посмеется тот, кто смеется последним». Ленин любил эту французскую пословицу, ибо твердо готовился смеяться последним. И он спокойно продолжал доказывать, что нужно для начала арестовать 50 или 100 крупнейших миллионеров и объявить народу, что мы считаем всех капиталистов разбойниками и что Терещенко ничуть

не лучше Милюкова *, только поглупее. Ужасно, поразительно, убийственно простецкие мысли! И этот представитель маленькой части съезда, которая время от времени сдержанно аплодирует ему, говорит съезду: «Вы боитесь власти? А мы готовы ее взять». В ответ, разумеется, смех, в тот момент почти снисходительный, только чуть-чуть тревожный.

И для второй своей речи Ленин выбирает ужасно простые слова из письма какого-то крестьянина о том, что нужно больше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам, тогда война кончится, но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет[13]. И эта простая, наивная цитата — вся программа? Как же не недоумевать? Опять смешок, снисходительный и тревожный. И действительно, в качестве отвлеченно взятой программы группы пропагандистов эти слова: «напирать на буржуазию» — не так уж много весят. Недоумевающие не понимали, однако, того, что Ленин безошибочно подслушал нарастающий напор истории на буржуазию и что в результате этого напора ей неизбежно придется «лопаться по всем швам». Недаром же Ленин разъяснял в мае гражданину Маклакову, что «страна» рабочих и беднейших крестьян... раз в 1000 левее Черновых и Церетели, раз в 100 левее нас»[14]. Тут-то и есть главный источник ленинской тактики. Сквозь свежую, но уже достаточно мутную демократическую пленку он глубоко прощупал «страну рабочих и беднейших крестьян». Она оказалась готовой совершить величайшую революцию. Но эту свою готовность она пока еще не умеет политически проявить. Те партии, которые говорят от имени рабочих и крестьян, обманывают их. Нашей партии миллионы рабочих и крестьян еще не знают, не нашли ее еще как выразительницу своих стремлений, и в то же время сама наша партия еще не поняла всей своей потенциальной силы, и потому она «в 100 раз» правее рабочих и крестьян. Надо пригнать одно к одному. Надо открыть миллионные массы партии и партию миллионным массам. Не забегать чересчур вперед, но и не отставать. Терпеливо и настойчиво разъяснять. Разъяснять же нужно очень простые вещи. «Долой 10 министров-капиталистов!» Меньшевики не согласны? Долой меньшевиков! Они смеются? До поры до времени... Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним.

Помнится, мною было выдвинуто предложение потребовать на съезде Советов постановки в первую очередь вопроса о готовящемся наступлении на фронте. Ленин одобрил эту мысль, но хотел, очевидно, еще обсудить ее с другими членами ЦК. К первому заседанию съезда товарищ Каменев принес наспех набросан-

---

* О П. Н. Милюкове см. с. 235—239 настоящего издания.— *Ред.*

ный Лениным проект заявления большевиков по поводу наступления [15]. Не знаю, сохранился ли этот документ. Текст его показался, не помню уж, по каким причинам, неподходящим для съезда как присутствовавшим тут большевикам, так и интернационалистам. Возражал против текста и Позерн, которому мы хотели поручить выступление. Я набросал другой текст, который и был оглашен. Организация выступления была, если не ошибаюсь, в руках Свердлова *, с которым я впервые встретился именно во время I съезда Советов как с председателем большевистской фракции.

Несмотря на небольшой рост и худощавость, вызывавшую представление о болезненности, от фигуры Свердлова исходило впечатление значительности и спокойной силы. Он председательствовал ровно, без шума и перебоев, как работает хороший мотор. Секрет тут был, конечно, не в самом искусстве председательствования, а в том, что он превосходно представлял себе личный состав собрания и хорошо знал, чего хочет достигнуть. Каждому заседанию предшествовали встречи его с отдельными делегатами, расспросы, иногда увещания. Уже до открытия заседания он в общем и целом представлял себе, какими путями оно развернется. Но и без предварительных переговоров он лучше, чем кто бы то ни было, знал, как именно тот или другой работник отнесется к поднятому вопросу. Число товарищей, политический облик которых он себе ясно представлял, было по масштабам тогдашней нашей партии очень велико. Это был прирожденный организатор и комбинатор. Каждый политический вопрос представал перед ним прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации и взаимоотношения между организацией в целом и массами. В алгебраические формулы он немедленно и почти автоматически подставлял числовые значения. Этим самым он давал важнейшую проверку политических формул, поскольку дело шло о революционном действии.

После отмены демонстрации 10 июня [16], когда атмосфера I съезда Советов накалилась до чрезвычайности и Церетели грозил разоружить петербургских рабочих, я с товарищем Каменевым отправился в редакцию и там, после короткого обмена мнениями, я написал по предложению Ленина проект обращения от ЦК к Исполнительному Комитету.

На этом свидании Ленин сказал несколько слов о Церетели по поводу последней его речи (11 июня): «Был ведь революционером, сколько лет на каторге, а теперь полный отказ от прошлого». В этих словах не было ничего политического, они и сказаны были не для политики, а явились плодом мимолетно-

* О Я. М. Свердлове см. с. 320—335 настоящего издания.— *Ред.*

го раздумья над жалкой судьбой бывшего крупного революционера. В тоне был оттенок сожаления, обиды, но выраженный кратко и сухо, ибо ничто так не претило Ленину, как малейший намек на сентиментальность и психологическое рассусоливание.

4 или 5 июля я виделся с Лениным (и с Зиновьевым?) кажется, в Таврическом дворце. Наступление было отбито. Злоба против большевиков достигла у правящих последнего предела. «Теперь они нас перестреляют,— говорил Ленин.— Самый для них подходящий момент». Основной мыслью его было: дать отбой и уйти, поскольку окажется необходимым, в подполье. Это был один из крутых поворотов ленинской стратегии, основанный, как всегда, на быстрой оценке обстановки. Позже, в эпоху III конгресса Коминтерна [17], Владимир Ильич говорил как-то: «В июле мы наделали немало глупостей». Он имел при этом в виду преждевременность военного выступления, слишком агрессивные формы демонстрации, не отвечавшие нашим силам в масштабе страны. Тем более знаменательна та трезвая решительность, с какой он 4—5 июля продумал обстановку не только за революцию, но и за противную сторону и пришел к выводу, что для «них» теперь в самый раз нас расстрелять. К счастью, нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости. Они ограничились переверзевской химической подготовкой. Хотя весьма вероятно, что, если бы им удалось в первые дни после июльского выступления захватить Ленина, они, то есть их офицерство, поступили бы с ним так же, как менее чем через два года немецкое офицерство поступило с Либкнехтом и Розой Люксембург.

Прямого решения скрыться или уйти в подполье на только что упомянутом свидании принято не было. Корниловщина раскачивалась постепенно. Я лично еще в течение двух-трех дней оставался на виду. Выступал на нескольких партийных и организационных совещаниях на тему: что делать? Бешеный напор на большевиков казался непреодолимым. Меньшевики пытались всеми мерами использовать обстановку, созданную не без их участия. Мне пришлось говорить, помнится, в библиотеке Таврического дворца, на каком-то собрании представителей профессиональных союзов. Присутствовало всего несколько десятков человек, то есть самая верхушка. Меньшевики господствовали. Я доказывал необходимость профсоюзам протестовать против обвинения большевиков в связи с германским милитаризмом. Смутно представляю себе ход этого собрания, но довольно отчетливо вспоминаю две-три злорадные физиономии, поистине плюхопросящие... Террор тем временем крепчал. Шли аресты. Несколько дней я провел, укрываясь на квартире товарища Ларина. Затем стал выходить, появился в Таврическом дворце и вскоре был арестован.

Освобожден я был уже в дни корниловщины и начинавшегося большевистского прибоя[18]. За это время успело совершиться вступление объединенцев в большевистскую партию. Свердлов предложил мне повидаться с Лениным, который еще скрывался. Не помню, кто меня водил на конспиративную рабочую квартиру (не Рахья ли?), где я встретился с Владимиром Ильичем[19]. Там же был и Калинин, которого В. И. при мне продолжал допрашивать о настроении рабочих, будут ли драться, пойдут ли до конца, можно ли брать власть и пр.

Каково было в это время настроение Ленина? Если охарактеризовать его в двух словах, то придется сказать, что это было настроение сдержанного нетерпения и глубокой тревоги. Он видел ясно, что подходит момент, когда нужно будет все поставить ребром, и в то же время ему казалось, и не без основания, что на верхах партии не делаются отсюда все необходимые выводы. Поведение Центрального Комитета казалось ему слишком пассивным и выжидательным. Ленин не считал возможным открыто вернуться к работе, справедливо опасаясь, что арест его закрепил бы и даже усилил бы выжидательное настроение верхов партии, а это неминуемо повело бы к упущению исключительной революционной ситуации. Поэтому настороженность Ленина, его придирчивость ко всяким проявлениям кунктаторства, ко всяким намекам на выжидательность и нерешительность возросли в эти дни и недели до чрезвычайной степени. Он требовал немедленного приступа к правильному заговору: застигнуть противника врасплох и вырвать власть, а там видно будет. Об этом нужно, однако, сказать подробнее.

Биографу придется внимательнейшим образом учесть самый факт возвращения Ленина в Россию, соприкосновение его с народными массами. С небольшим перерывом в 1905 году Ленин более полутора десятка лет провел в эмиграции. Его чувство действительности, ощущение живого трудящегося человека не только не ослабело за это время, но, наоборот, укрепилось работою теоретической мысли и творческого воображения. По отдельным случайным свиданиям и наблюдениям он ловил и воссоздавал образ целого. Но все же он прожил эмигрантом тот период своей жизни, в течение которого он окончательно созрел для своей будущей исторической роли. В Петербург он приехал с готовыми революционными обобщениями, которые резюмировали весь общественно-теоретический и практический опыт его жизни. Лозунг социалистической революции он провозгласил, едва ступив на русскую почву. Но тут только началась на живом опыте пробужденных трудящихся масс России проверка накопленного, передуманного, закрепленного. Формулы выдержали проверку. Более того, только здесь, в России, в Петербурге, они наполнились повседнев-

ной неопровержимой конкретностью и тем самым непреодолимой силой. Теперь уже не приходилось по отдельным, более или менее случайным, образцам воссоздавать перспективную картину целого. Само целое заявляло о себе всеми голосами революции. И тут Ленин показал, а может быть и сам только почувствовал полностью впервые, в какой мере он умеет слышать хаотический еще голос пробуждающейся массы. С каким глубоким органическим презрением наблюдал он мышиную возню руководящих партий Февральской революции, эти волны «могущественного» общественного мнения, которые рикошетом шли от одной газеты к другой, близорукость, самовлюбленность, болтливость — словом, официальную февральскую Россию. Под этой уставленной демократическими декорациями сценой он слышал рокот событий иного масштаба. Когда скептики указывали ему на великие затруднения, на мобилизацию буржуазного общественного мнения, на мелкобуржуазную стихию, он стискивал челюсти, скулы его угловатее выступали из-под щек. Это значило, что он сдерживается, чтоб не сказать скептикам ясно и точно, что он о них думает. Он видел и понимал препятствия никак не хуже других, но он ясно, осязательно, физически ощущал те скопленные историей гигантские силы, которые теперь рвались наружу, чтобы опрокинуть все препятствия. Он видел, слышал и ощущал прежде всего российского рабочего, возросшего численно, еще не забывшего опыт 1905 года, прошедшего через школу войны, через ее иллюзии, через фальшь и ложь оборончества и готового теперь на величайшие жертвы и невиданные усилия. Он чувствовал солдата, оглушенного тремя годами дьявольской бойни — без смысла и без цели,— пробужденного грохотом революции и собиравшегося за все бессмысленные жертвы, унижения и заушения расплатиться взрывом бешеной, ничего не щадящей ненависти. Он слышал мужика, который все еще тащил на себе путы столетий крепостничества и который теперь, благодаря встряске войны, впервые почувствовал возможность расплатиться с угнетателями, рабовладельцами, господами, барами страшным, беспощадным платежом. Мужик еще беспомощно топтался, колеблясь между черновской болтологией и своим «средствием» великого аграрного мятежа. Солдат еще переминался с ноги на ногу, ища путей между патриотизмом и оголтелым дезертирством. Рабочие еще дослушивали, но уже недоверчиво и полувраждебно, последние тирады Церетели. Уже нетерпеливо клокотали пары в котлах кронштадтских военных кораблей. Соединявший в себе отточенную, как сталь, ненависть рабочего с глухим медвежьим гневом мужика, матрос, обожженный огнем страшной бойни, уже сбрасывал за борт тех, кто воплощал для него все виды сословного, бюрократического и военного угнетения. Февральская революция шла под откос. Лохмотья царской

легальности подбирались коалиционными спасителями, растягивались, сшивались и превращались в тонкую пленку легальности демократической. Но под нею все клокотало и бурлило, все обиды прошлого искали выхода, ненависть к стражнику, квартальному, исправнику, табельщику, городовому, фабриканту, ростовщику, помещику, к паразиту, белоручке, ругателю и заушителю готовила величайшее в истории революционное извержение. Вот что слышал и видел Ленин, вот что он физически чувствовал, с неотразимой ясностью, с абсолютной убедительностью, прикоснувшись после долгого отсутствия к охваченной спазмами революции стране. «Вы, дурачки, хвастунишки и тупицы, думаете, что история делается в салонах, где выскочки-демократы амикошонствуют с титулованными либералами, где вчерашние замухрышки из провинциальных адвокатов учатся наскоро прикладываться к сиятельнейшим ручкам? Дурачки! Хвастунишки! Тупицы! История делается в окопах, где охваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы там поднести красного петуха к помещичьей кровле. Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь,— отвечает вам история: чем богата, тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало. Вы воображаете всерьез, что история делается в ваших контактных комиссиях? Вздор, лепет, фантасмагория, кретинизм. История — да будет ведомо! — выбрала на этот раз своей подготовительной лабораторией дворец Кшесинской[20], балерины, бывшей любовницы бывшего царя. И отсюда, из этого символического для старой России здания, она подготовляет ликвидацию всей нашей петербургско-царской, бюрократически-дворянской, помещичье-буржуазной гнили и похабщины. Сюда, во дворец бывшей императорской балерины, стекаются закоптелые делегаты фабрик, серые, корявые и вшивые ходоки окопов и отсюда они развозят по стране новые вещие слова».

Горе-министры революции судили и рядили, как бы вернуть дворец его законной владелице. Буржуазные, эсеровские, меньшевистские газеты скалили свои гнилые зубы по поводу того, что Ленин с балкона Кшесинской бросал лозунги социального переворота. Но эти запоздалые потуги не способны были ни повысить ненависть Ленина к старой России, ни усилить его волю к расправе над ней: и та и другая уже достигли предела. На балконе Кшесинской Ленин стоял таким же, каким он месяцами двумя позже скрывался в стогу сена и каким несколько недель спустя занял пост Председателя Совнаркома.

Ленин видел вместе с тем, что внутри самой партии имеется консервативное сопротивление — на первых порах не столько политическое, сколько психологическое — тому великому прыжку, который предстояло совершить. Ленин с тревогой наблюдал возрас-

тающее несоответствие в настроениях части партийных верхов и миллионов рабочих масс. Он ни на минуту не удовлетворялся тем, что Центральный Комитет принял формулу вооруженного восстания. Он знал трудности перехода от слов к делу. Всеми силами и средствами, какие были в его руках, он стремился поставить партию под напор масс и Центральный Комитет партии — под напор ее низов. Он вызывал в свое убежище отдельных товарищей, собирал справки, проверял, устраивал перекрестные допросы, пускал обходными путями и наперерез свои лозунги в партию, вниз, вглубь, чтоб поставить верхи перед необходимостью действовать и дойти до конца. Чтобы отдать себе правильный отчет в поведении Ленина в этот период, нужно установить одно: он несокрушимо верил в то, что масса хочет и может совершить революцию, но у него не было этой уверенности относительно партийного штаба. А в то же время он яснее ясного понимал, что времени терять нельзя. Революционную ситуацию нельзя по произволу консервировать до того момента, когда партия подготовится, чтобы ее использовать. Мы это недавно видели на опыте Германии. Приходилось, даже недавно, слышать мнение: если бы мы не взяли власти в Октябре, мы бы ее взяли двумя-тремя месяцами позже. Грубое заблуждение! Если бы мы не взяли власть в Октябре, мы бы ее не взяли совсем. Силу нашу перед Октябрем составлял непрерывный прилив к нам массы, которая верила, что *эта* партия сделает то, чего не сделали другие. Если бы она увидела с нашей стороны в тот момент колебания, выжидательность, несоответствие между словом и делом, она отхлынула бы от нас в течение двух-трех месяцев, как перед тем отхлынула от эсеров и меньшевиков. Буржуазия получила бы передышку. Она использовала бы ее для заключения мира. Соотношение сил могло бы радикально измениться, и пролетарский переворот отодвинулся бы в неопределенную даль. Вот это именно Ленин понимал, осязал и чувствовал. Отсюда вытекали его беспокойство, тревога, недоверие и неистовый нажим, оказавшийся для революции спасительным.

Те разногласия внутри партии, которые бурно вспыхнули в дни Октября, проявились предварительно уже на нескольких этапах революции. Первая, наиболее принципиальная, но пока еще спокойно-теоретическая стычка развернулась сейчас же по приезде Ленина, в связи с его тезисами[21]. Второе глухое столкновение произошло в связи с вооруженной демонстрацией 20 апреля[22]. Третье — вокруг попытки вооруженной демонстрации 10 июня: «умеренные» считали, что Ленин хотел им подкинуть вооруженную демонстрацию с перспективой восстания. Следующий конфликт, уже более острый, вспыхнул в связи с июльскими днями. Разногласия прорвались в печать. Дальнейшим этапом в развитии

внутренней борьбы послужил вопрос о предпарламенте [23]. На этот раз в партийной фракции открыто сшиблись лицом к лицу две группировки. Велся ли какой-либо протокол заседания? Сохранился ли он? — я об этом не знаю. А прения представляли несомненно выдающийся интерес. Две тенденции: одна — на захват власти, другая — на роль оппозиции в Учредительном собрании [24] — определились с достаточной полнотой. Сторонники бойкота предпарламента остались в меньшинстве, недалеко, однако, отстоявшем от большинства. На прения во фракции и на вынесенное решение Ленин из своего убежища вскоре реагировал письмом в Центральный Комитет. Этого письма, где Ленин в более чем энергичных выражениях солидаризировался с бойкотистами «Булыгинской думы» [25] Керенского — Церетели, я не нахожу во II части XIV тома Сочинений. Сохранился ли этот чрезвычайно ценный документ? [26] Высшего напряжения разногласия достигли непосредственно пред октябрьским этапом, когда речь шла об окончательном принятии курса на восстание и о назначении срока восстания. И наконец, уже после переворота 25 октября разногласия чрезвычайно обострились вокруг вопроса о коалиции с другими социалистическими партиями.

В высшей степени интересно было бы восстановить во всей конкретности роль Ленина накануне 20 апреля, 10 июня и июльских дней. «Мы в июле наделали глупостей»,— говорил Ленин позже и в частных беседах, и помнится, на совещании с немецкой делегацией по поводу мартовских событий 1921 года в Германии [27]. В чем состояли эти «глупости»? В энергичном или слишком энергичном прощупывании, в активной или слишком активной разведке. Без таких разведок, производимых время от времени, можно было отстать от массы. Но известно, с другой стороны, что активная разведка иногда волей-неволей переходит в генеральное сражение. Вот этого едва не случилось в июле. Отбой был все же дан еще достаточно вовремя. А у врага не хватило в те дни смелости довести дело до конца. И вовсе не случайно не хватило: керенщина есть половинчатость по самому своему существу, и эта трусливая керенщина тем более парализовала корниловщину, чем больше сама боялась ее.

II. ПЕРЕВОРОТ

К концу «демократического совещания» [28] был, по нашему настоянию, назначен срок второго съезда Советов на 25 октября. При тех настроениях, какие нарастали с часу на час не только в рабочих кварталах, но и в казармах, нам казалось наиболее целесообразным сосредоточить внимание Петербургского гарнизона

на этой именно дате, как на том дне, когда съездом Советов должен будет решаться вопрос о власти, а рабочие и войска должны будут поддержать съезд, подготовившись как следует быть заранее. Стратегия наша, по существу, была наступательной: мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать съезд Советов и что нужно, стало быть, дать им беспощадный отпор. Весь этот план опирался на могущество революционного прилива, который стремился везде и всюду достигнуть одного и того же уровня и не давал противнику ни отдыха, ни срока. Наиболее отсталые полки в худшем для нас случае сохраняли нейтралитет. При этих условиях малейший шаг правительства, направленный против Петроградского Совета, должен был нам сразу обеспечить решающий перевес. Ленин опасался, однако, что противник успеет подтянуть небольшие, но решительно настроенные контрреволюционные войска и выступит первым, использовав оружие внезапности против нас. Захватив партию и Советы врасплох, арестовав руководящую головку в Петербурге, противник тем самым обезглавит движение, а затем постепенно и обессилит его. «Нельзя ждать, нельзя откладывать!» — твердил Ленин.

В этих условиях произошло в конце сентября или в начале октября знаменитое ночное заседание Центрального Комитета на квартире у Сухановых. Ленин явился туда с решимостью добиться на этот раз такого постановления, которое не оставляло бы места сомнениям, колебаниям, проволочкам, пассивности и выжидательности. Еще прежде, однако, чем напасть на противников вооруженного восстания, он стал нажимать на тех, кто связывал восстание со вторым съездом Советов. Кто-то передал ему мои слова: «Мы уже назначили восстание на 25 октября». Эту фразу я действительно повторял несколько раз против тех товарищей, которые намечали путь революции через предпарламент и «внушительную» большевистскую оппозицию в Учредительном собрании. «Если большевистский в своем большинстве съезд Советов,— говорил я,— не возьмет власти, то большевизм попросту выведет себя в расход. Тогда, по всей вероятности, не будет созвано и Учредительное собрание. Созывая после всего, что было, съезд Советов на 25 октября, с заранее обеспеченным нашим большинством, мы тем самым публично обязуемся взять власть не позже 25 октября».

Владимир Ильич стал жестоко придираться к этой дате. Вопрос о втором съезде Советов, говорил он, его совершенно не интересует: какое это имеет значение? состоится ли еще самый съезд? да и что он сможет сделать, если даже соберется? Нужно вырвать власть, не надо связываться со съездом Советов, смешно и нелепо предупреждать врага о дне восстания. В лучшем случае 25 октября может стать маскировкой, но восстание необходимо устроить заранее и независимо от съезда Советов. Партия должна захватить

власть вооруженной рукой, а затем уже будем разговаривать о съезде Советов. Нужно переходить к действию немедленно!

Как и в июльские дни, когда Ленин твердо ожидал, что «они» перестреляют нас, он и теперь продумывал за врага всю обстановку и приходил к выводу, что самым правильным, с точки зрения буржуазии, было бы захватить нас вооруженной рукой врасплох, дезорганизовать революцию и затем бить ее по частям. Как в июле, Ленин переоценивал проницательность и решительность врага, а может быть, уже и его материальные возможности. В значительной мере это была сознательная переоценка, тактически совершенно правильная: она имела своей задачей вызвать со стороны партии удвоенную энергию натиска. Но все же брать власть собственной рукою, независимо от Совета и за спиной его, партия не могла. Это было бы ошибкой. Последствия ее сказались бы даже на поведении рабочих и могли бы стать чрезвычайно тяжкими в отношении гарнизона. Солдаты знали Совет депутатов, свою солдатскую секцию. Партию они знали через Совет. И если бы восстание совершилось за спиной Совета, вне связи с ним, не прикрытое его авторитетом, не вытекающее прямо и ясно для них из исхода борьбы за власть Советов,— это могло бы вызвать опасное замешательство в гарнизоне. Не нужно также забывать, что в Петербурге, наряду с местным Советом, существовал еще старый ВЦИК, с эсерами и меньшевиками во главе [29]. Этому ВЦИК можно было противопоставить только съезд Советов.

В конце концов в Центральном Комитете определились три группировки: противники захвата власти, оказавшиеся вынужденными логикой положения отказаться от лозунга «Власть Советам»; Ленин, требовавший немедленной организации восстания, независимо от Советов, и остальная группа, которая считала необходимым тесно связать восстание со вторым съездом Советов и тем самым придвинуть его к последнему во времени. «Во всяком случае,— настаивал Ленин,— захват власти должен предшествовать съезду Советов, иначе вас разобьют и никакого съезда вы не созовете». В конце концов вынесена была резолюция в том смысле, что восстание должно произойти не позже 15 октября [30]. Насчет самого срока споров, помнится, почти не было. Все понимали, что срок имеет лишь приблизительный, так сказать, ориентировочный характер и что, в зависимости от событий, можно будет несколько приблизить или несколько отдалить его. Но речь могла идти только о днях, не более. Самая необходимость срока, и притом ближайшего, была совершенно очевидна.

Главные прения на заседаниях Центрального Комитета шли, разумеется, по линии борьбы с той его частью, которая выступала против вооруженного восстания вообще. Я не берусь воспроизвести те три-четыре речи, которые произнес Ленин во время этого

заседания на темы: нужно ли брать власть? пора ли брать власть? удержим ли власть, если возьмем? На те же темы Лениным было написано в то время и позже несколько брошюр и статей. Ход мыслей в речах на заседании был, разумеется, тот же. Но непередаваемым и невоспроизводимым остался общий дух этих напряженных и страстных импровизаций, проникнутых стремлением передать возражающим, колеблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество. Ведь решался вопрос о судьбе революции!.. Заседание закончилось поздней ночью. Все себя чувствовали примерно так, как после перенесения хирургической операции. Часть участников заседания, и я в том числе, провели остаток ночи на квартире Сухановых.

Дальнейший ход событий, как известно, сильно помог нам. Попытка расформировать Петроградский гарнизон привела к созданию военно-революционного комитета [31]. Мы получили возможность подготовку восстания легализовать авторитетом Совета и тесно связать с вопросом, жизненно затрагивавшим весь Петроградский гарнизон.

За время, отделяющее описанное выше заседание ЦК от 25 октября, я помню только одно свидание с Владимиром Ильичем, но и то смутно. Когда это было? Должно быть, около 15—20 октября. Помню, что меня очень интересовало, как отнесся Ленин к «оборонительному» характеру моей речи на заседании Петроградского Совета: я объявил ложными слухи о том, будто мы готовим на 22 октября («День Петроградского Совета») вооруженное восстание, и предупредил, что на всякое нападение ответим решительным контрударом и доведем дело до конца. Помню, что настроение Владимира Ильича в это свидание было более спокойным и уверенным, я бы сказал, менее подозрительным. Он не только не возражал против внешнеоборонительного тона моей речи, но признал этот тон вполне пригодным для усыпления бдительности врага. Тем не менее он покачивал время от времени головой и спрашивал: «А не предупредят ли они нас? не захватят ли врасплох?» Я доказывал, что дальше все пойдет почти автоматически. На этом свидании, или на известной части его, присутствовал, кажется, товарищ Сталин. Может быть, впрочем, я соединяю здесь воедино два свидания. Должен вообще сказать, что воспоминания, относящиеся к последним дням, предшествовавшим перевороту, как бы спрессованы в памяти и их очень трудно отделять друг от друга, разворачивать и распределять по местам.

Следующее свидание мое с Лениным произошло уже в самый день 25 октября, в Смольном. В котором часу? Совершено не представляю себе, должно быть, к вечеру уже. Помню хорошо, что Владимир Ильич начал с тревожного вопроса по поводу тех переговоров, которые мы вели со штабом Петроградского округа

относительно дальнейшей судьбы гарнизона. В газетах сообщалось, что переговоры близятся к благополучному концу. «Идете на компромисс?» — спрашивал Ленин, всверливаясь глазами. Я отвечал, что мы пустили в газеты успокоительное сообщение нарочно, что это лишь военная хитрость в момент открытия генерального боя. «Вот это хо-ро-о-шо-о-о,— нараспев, весело, с подъемом проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки.— Это оч-чень хорошо!» Военную хитрость Ильич любил вообще. Обмануть врага, оставить его в дураках — разве это не самое разлюбезное дело! Но в данном случае хитрость имела совсем особое значение: она означала, что мы уже непосредственно вступили в полосу решающих действий. Я стал рассказывать, что военные операции зашли уже достаточно далеко и что мы владеем сейчас в городе целым рядом важных пунктов. Владимир Ильич увидел, или, может быть, я показал ему, отпечатанный накануне плакат, угрожавший громилам, если бы они попытались воспользоваться моментом переворота, истреблением на месте. В первый момент Ленин как бы задумался, мне показалось — даже усомнился. Но затем сказал: «Пр-р-равильно». Он с жадностью набрасывался на эти частички восстания. Они были для него бесспорным доказательством того, что на этот раз дело уже в полном ходу, что Рубикон перейден [32], что возврата и отступления нет. Помню, огромное впечатление произвело на Ленина сообщение о том, как я вызвал письменным приказом роту Павловского полка, чтобы обеспечить выход нашей партийной и советской газеты.

— И что ж, рота вышла?

— Вышла.

— Газеты набираются?

— Набираются.

Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук. Потом он стал молчаливее, подумал и сказал: «Что ж, можно и так. Лишь бы взять власть» [33]. Я понял, что он только в этот момент окончательно примирился с тем, что мы отказались от захвата власти путем конспиративного заговора. Он до последнего часа опасался, что враг пойдет наперерез и застигнет нас врасплох. Только теперь, вечером 25 октября, он успокоился и окончательно санкционировал тот путь, каким пошли события. Я сказал «успокоился»,— но только для того, чтобы тут же прийти в беспокойство по поводу целого ряда конкретных и конкретнейших вопросов и вопросиков, связанных с дальнейшим ходом восстания: «А послушайте, не сделаете ли так-то? а не предпринять ли то-то? а не вызвать ли таких-то?» Эти бесконечные вопросы и предложения внешним образом не были связаны друг с другом, но все вырастали из одной и той же напряженной внутренней работы, охватывавшей сразу весь круг восстания.

Нужно уметь не захлебнуться в событиях революции. Когда прилив неизменно поднимается, когда силы восстания автоматически нарастают, а силы реакции фатально дробятся и распадаются, тогда велико искушение отдаться стихийному течению событий. Быстрый успех обезоруживает, как и поражение. Не терять из виду основной нити событий; после каждого нового успеха говорить себе: еще ничто не достигнуто, еще ничто не обеспечено; за пять минут до решающей победы вести дело с такою же бдительностью, энергией и с таким же напором, как за пять минут до открытия вооруженных действий; через пять минут после победы, еще прежде, чем отзвучали первые приветственные клики, сказать себе: завоевание еще не обеспечено, нельзя терять ни минуты — таков подход, таков образ действий, таков метод Ленина, таково органическое существо его политического характера, его революционного духа.

* * *

Я уже рассказывал однажды, как Дан, идя, должно быть, на фракционное заседание меньшевиков II съезда Советов, узнал законспирированного Ленина, с которым мы сидели за небольшим столиком в какой-то проходной комнате. На этот сюжет написана даже картина, совершенно, впрочем, насколько могу судить по снимкам, не похожая на то, что было в действительности. Такова, впрочем, уж судьба исторической живописи, да и не только ее одной. Не помню по какому поводу, но значительно позднее я сказал Владимиру Ильичу: «Надо бы это записать, а то потом переврут». Он с шутливой безнадежностью махнул рукою: «Все равно будут врать без конца»...

В Смольном шло первое заседание II съезда Советов. Ленин не появлялся на нем. Он оставался в одной из комнат Смольного, в которой, как помню, не было почему-то никакой или почти никакой мебели. Потом уже кто-то постлал на полу одеяла и положил на них две подушки. Мы с Владимиром Ильичем отдыхали, лежа рядом. Но уже через несколько минут меня позвали: «Дан говорит, нужно отвечать». Вернувшись после своей реплики, я опять лег рядом с Владимиром Ильичем, который, конечно, и не думал засыпать. До того ли было? Каждые пять — десять минут кто-нибудь прибегал из зала заседаний сообщить о том, что там происходит. А кроме того, приходили вестники из города, где, под руководством Антонова-Овсеенко, шла осада Зимнего, закончившаяся штурмом.

Должно быть, это было на другое утро, отделенное бессонной ночью от предшествовавшего дня. У Владимира Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: «Слишком резкий переход от подполья и переверзевщины [34] — к власти. Es schwindelt (кружится голова)»,— прибавил он почему-то по-немецки и сделал вращатель-

ное движение рукой возле головы. После этого единственного более или менее личного замечания, которое я слышал от него по поводу завоевания власти, последовал простой переход к очередным делам.

III. БРЕСТ-ЛИТОВСК

К мирным переговорам[35] мы подходили с надеждой раскачать рабочие массы как Германии и Австро-Венгрии, так и стран Антанты. С этой целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабочим время воспринять, как следует быть, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира. Ленин предложил мне, после первого перерыва в переговорах, отправиться в Брест-Литовск. Сама по себе перспектива переговоров с бароном Кюльманом и генералом Гофманом была мало привлекательна, но «чтобы затягивать переговоры, нужен затягиватель», как выразился Ленин. Мы кратко обменялись в Смольном мнениями относительно общей линии переговоров. Вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока отодвинули: нельзя было знать, как пойдут переговоры, как отразятся в Европе, какая создастся обстановка. А мы не отказывались, разумеется, от надежд на быстрое революционное развитие.

То, что мы не можем воевать, было для меня совершенно очевидно. Когда я в первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильны организовать сколько-нибудь значительную манифестацию протеста против чрезмерных требований Германии: окопы были почти пусты, никто не отважился говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, во время приезда из Брест-Литовска, я уговаривал представителя военной группы во ВЦИК поддержать нашу делегацию «патриотической» речью. «Невозможно,— отвечал он,— совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние»... Таким образом, насчет невозможности революционной войны у меня не было и тени разногласия с Владимиром Ильичем.

Но был еще вопрос: смогут ли воевать немцы, смогут ли они наступать на революцию, которая заявит о прекращении войны? Как узнать, как прощупать настроение германской солдатской массы? Какое действие произвели на нее Февральская, а затем и Октябрьская революция? Январская стачка в Германии[36] говорила о том, что сдвиг начался. Какова глубина сдвига? Не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны, рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны, голенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать.

«Конечно, это очень заманчиво,— возражал Ленин,— и несомненно, такое испытание не пройдет бесследно. Но это рискованно, очень рискованно. А если германский милитаризм, что весьма вероятно, окажется достаточно силен, чтобы открыть против нас наступление,— что тогда? Нельзя рисковать: сейчас нет на свете ничего важнее нашей революции».

Разгон Учредительного собрания на первых порах чрезвычайно ухудшил наше международное положение. Немцы все же опасались вначале, что мы сговоримся с «патриотическим» Учредительным собранием и что это может привести к попытке продолжения войны. Такого рода безрассудная попытка окончательно погубила бы революцию и страну; но это обнаружилось бы только позже и потребовало бы нового напряжения от немцев. Разгон же Учредительного собрания означал для немцев нашу очевидную готовность к прекращению войны какой угодно ценой. Тон Кюльмана сразу стал наглее. Какое впечатление разгон Учредительного собрания мог произвести на пролетариат стран Антанты? На это нетрудно было ответить себе: антантовская печать изображала советский режим не иначе, как агентуру Гогенцоллернов. И вот большевики разгоняют «демократическое» Учредительное собрание, чтобы заключить с Гогенцоллерном кабальный мир, в то время как Бельгия и Северная Франция заняты немецкими войсками. Было ясно, что антантовской буржуазии удастся посеять в рабочих массах величайшую смуту. А это могло облегчить, в свою очередь, военную интервенцию против нас. Известно, что даже в Германии, среди социал-демократической оппозиции, ходили настойчивые слухи о том, что большевики подкуплены германским правительством и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями. Еще более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той «педагогической» демонстрации, которая выражалась формулой: войну прекращаем, но мира не подписываем. Я посоветовался с другими членами делегации, встретил с их стороны сочувствие и написал Владимиру Ильичу. Он ответил: когда приедете, поговорим; может быть, впрочем, в этом его ответе было уже формулировано несогласие с моим предложением; сейчас я этого не помню, письма у меня под руками нет, да я и не уверен, сохранилось ли оно вообще. После моего приезда в Смольный происходили у меня с Владимиром Ильичем долгие беседы.

— Все это очень заманчиво, и было бы так хорошо, что лучше не надо, если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть

свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков, да и много ли против нас надо? Ведь вы сами говорите, что окопы пусты. А если он все-таки возобновит войну?

— Тогда мы вынуждены будем подписать мир, и тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном.

— Конечно, тут есть свои плюсы. Но это все же слишком рискованно. Сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция; ее надо обезопасить во что бы то ни стало.

К основным трудностям вопроса присоединились еще крайние затруднения внутрипартийного порядка [37]. В партии, по крайней мере в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах отчеты о переговорах питали и обостряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны. Это обстоятельство, разумеется, чрезвычайно беспокоило Ленина.

— Если Центральный Комитет решит подписать немецкие условия только под влиянием словесного ультиматума,— говорил я,— мы рискуем вызвать в партии раскол. Нашей партии обнаружение действительного положения вещей нужно не меньше, чем рабочим Европы... Если мы порвем с левыми, партия даст чрезвычайный крен вправо: ведь это же несомненный факт, что все те товарищи, которые занимали боевую позицию против октябрьского переворота или за блок социалистических партий, оказались безоговорочными сторонниками Брест-Литовского мира. А задачи наши ведь не исчерпываются заключением мира, среди левых коммунистов много таких, которые играли наиболее боевую роль в октябрьский период и пр. и пр.

— Это все бесспорно,— отвечал Владимир Ильич.— Но сейчас дело идет о судьбе революции. Равновесие в партии мы восстановим. Но прежде всего нужно спасти революцию, а спасти ее может только подписание мира. Лучше раскол, чем опасность военного разгрома революции. Левые побалуют, а затем — если даже доведут до раскола, что не неизбежно,— возвратятся в партию. Если же немцы нас разгромят, то уж нас никто не возвратит... Ну хорошо, допустим, что принят ваш план. Мы отказались подписать мир. А немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?

— Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.

— А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

— Ни в каком случае.

— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию. У меня были эстонские товарищи и рассказывали, как они хорошо подошли к социалистическому строительству в сельском хозяйстве [38]. Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонией,— шутил Ленин,— но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.

— А в случае немедленного подписания мира разве исключена возможность немецкой военной интервенции в Эстонии или Латвии?

— Положим, что так, но там только возможность, а здесь почти наверняка. Я во всяком случае буду выступать за немедленное подписание: это вернее.

Главное опасение Ленина насчет моего плана состояло в том, что, в случае возобновления немецкого наступления, мы не успеем подписать мир, то есть немецкий милитаризм не даст нам для этого времени: сей зверь прыгает быстро, много раз повторял Владимир Ильич. На совещаниях, которые решали вопрос о мире, Ленин выступал очень решительно против левых и очень осторожно и спокойно против моего предложения. Он скрепя сердце мирился с ним, поскольку партия была явно против подписания и поскольку промежуточное решение должно было явиться для партии мостом к подписанию мира. Совещание наиболее видных большевиков — делегатов III съезда Советов [39] — с несомненностью показало, что наша партия, едва вышедшая из горячей октябрьской печи, нуждалась в проверке международной обстановки действием. Если б не было промежуточной формулы, большинство высказалось бы за революционную войну.

Небезынтересно, может быть, тут же отметить, что левые эсеры [40] вовсе не сразу выступили против Брест-Литовского мира. По крайней мере, Спиридонова была в первое время решительной сторонницей подписания. «Мужик не хочет войны,— говорила она,— и примет какой угодно мир». «Подпишите сейчас же мир,— говорила она мне в первый мой приезд из Бреста,— и отмените хлебную монополию». Потом левые эсеры поддержали промежуточную формулу прекращения войны без подписания договора, но уже как этап к революционной войне — «в случае чего».

Как известно, немецкая делегация реагировала на наше заявление так, как если бы Германия не предполагала ответить возобновлением военных действий. С этим выводом мы вернулись в Москву.

— А не обманут они нас? — спрашивал Ленин.

Мы разводили руками. Как будто не похоже.

— Ну что ж,— сказал Ленин.— Если так, тем лучше: и аппарансы (видимость) соблюдены, и из войны вышли *.

* Приведенные в этой главе диалоги имеют, разумеется, лишь приблизительный характер, но фразу «об аппарансах» помню дословно.— *Прим. авт.*

Однако за два дня до истечения срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению генерала Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым получил Владимир Ильич. Я был у него в кабинете. Шел разговор с Карелиным и еще с кем-то из левых эсеров. Получив телеграмму, Ленин молча передал ее мне. Помню его взгляд, сразу заставивший меня почувствовать, что телеграмма принесла большое и недоброе известие. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтобы обсудить создавшееся положение.

— Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней... Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.

Я возражал в том смысле, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление.

— Но ведь это значит сдать Двинск, потерять много артиллерии и пр.?

— Конечно, это означает новые жертвы. Но нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский — с другой.

— Нет,— возразил Ленин.— Дело, конечно, не в Двинске, но сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя: и так у нас уже отняли 5 дней, на которые я рассчитывал. А этот зверь прыгает быстро.

Центральным Комитетом было вынесено решение о посылке телеграммы с выражением немедленного согласия на подписание Брест-Литовского договора. Соответственная телеграмма была отправлена.

— Мне кажется,— сказал я в частном разговоре Владимиру Ильичу,— что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоминдел [41], подал в отставку.

— Зачем? Мы ведь этих парламентских приемов заводить не будем.

— Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей действительной на этот раз готовности подписать мир и соблюдать его.

— Пожалуй,— сказал Ленин, размышляя.— Это серьезный политический довод.

Не припоминаю, в какой момент получилось сообщение о десанте немецких войск в Финляндии [42] и о начавшемся разгроме финских рабочих. Помню, я столкнулся с Владимиром Ильичем

в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видал его таким никогда, ни раньше, ни позже.

— Да,— сказал он,— по-видимому, придется драться, хоть и нечем. Но иного выхода на этот раз, кажется, нет...

Такова была первая реакция Ленина на телеграмму о разгроме финской революции [43]. Но уже минут через 10—15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал:

— Нет, нельзя менять политики. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это во всяком случае, единственный путь, на котором еще возможно спасение.

И спасение действительно оказалось на этом пути.

* * *

Решение не подписывать мира вовсе не вытекало, как теперь иной раз пишут, из абстрактного соображения, будто вообще немыслимо соглашение между нами и империалистами. Достаточно посмотреть в книжке товарища Овсянникова произведенные Лениным в высшей степени поучительные голосования по этому вопросу, чтобы убедиться, что сторонники прощупывательной формулы «ни войны ни мира» ответили положительно на вопрос, вправе ли мы, как революционная партия, подписать в известных условиях «похабный» мир. На самом деле мы говорили: если есть хоть 25 шансов на 100, что Гогенцоллерн не решится или не сможет воевать с нами, нужно, хотя бы и с известным риском, пойти на этот опыт.

Три года спустя мы шли на риск — на этот раз по инициативе Ленина — прощупывания штыком буржуазно-шляхетской Польши [44]. Мы были отброшены. В чем тут разница с Брест-Литовском? Принципиальной разницы нет, но есть разница в степени риска.

Помнится, товарищ Радек писал как-то, что могущество тактической мысли Ленина ярче всего выражается в размахе между подписанием Брест-Литовского мира и походом на Варшаву. Все мы теперь знаем, что поход на Варшаву был ошибкой, которая обошлась страшно дорого. Она не только привела нас к Рижскому миру, который отрезал нас от Германии, но и дала, наряду с другими событиями того же периода, могущественный толчок консолидации буржуазной Европы. Контрреволюционное значение Рижского договора для судеб Европы можно яснее всего понять, представив себе обстановку хотя бы одного только 1923 года, при условии, что у нас с Германией имелась бы общая граница: слишком многое говорит за то, что развитие событий в Германии развернулось бы в этом случае совершенно другим путем. Нельзя

сомневаться также и в том, что в самой Польше революционное движение пошло бы несравненно более благоприятным темпом без нашей военной интервенции и ее крушения. Ленин сам, насколько я знаю, придавал огромное значение «варшавской» ошибке. И тем не менее Радек в своей оценке ленинского тактического размаха совершенно прав. Разумеется, после того как «прощупывание» трудящихся масс Польши было произведено и не дало ожидавшихся результатов; после того как нас отбросили назад — и не могли не отбросить, ибо при сохранении спокойствия в Польше наш поход на Варшаву был только партизанским набегом; после того как мы оказались вынужденными подписать Рижский мир,— нетрудно сделать вывод, что правы были противники похода и что лучше было бы остановиться вовремя и обеспечить за собою общую границу с Германией. Но ведь все это стало ясно лишь задним числом. А то, что знаменательно для Ленина в идее варшавского похода, это — мужество замысла. Риск был велик, но цель превосходила риск. Возможная неудача плана не несла с собою опасности самому существованию Советской республики, а только ее ослабление...

Можно предоставить будущему историку оценивать, стоило ли рисковать ухудшением условий Брест-Литовского мира в целях демонстрации перед европейскими рабочими. Но совершенно очевидно, что, после того как эта демонстрация была проделана, должно и обязательно было подписать навязанный мир. И здесь отчетливость позиции Ленина и его могучий напор спасли положение.

— А если немцы будут все же наступать? А если двинутся на Москву?

— Отступим дальше на восток, на Урал, заявляя о готовности подписать мир. Кузнецкий бассейн богат углем. Создадим Урало-Кузнецкую республику, опираясь на уральскую промышленность и на кузнецкий уголь, на уральский пролетариат и на ту часть московских и питерских рабочих, которых удастся увезти с собой. Будем держаться. В случае нужды уйдем еще дальше на восток, за Урал. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Международная обстановка будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики снова расширимся и вернемся в Москву и Петербург. А если мы ввяжемся сейчас без смысла в революционную войну и дадим вырезать цвет рабочего класса и нашей партии, тогда уж, конечно, никуда не вернемся.

В тот период Урало-Кузнецкая республика занимала большое место в аргументации Ленина. Он иногда прямо-таки огорошивал оппонентов вопросом: «А вы знаете, что в Кузнецком бассейне у нас огромные залежи угля? В соединении с уральской рудой и сибирским хлебом мы имеем новую базу». Оппонент, не всегда

ясно себе представлявший, где находится Кузнецк и какое отношение имеет тамошний уголь к последовательному большевизму и революционной войне, таращил глаза или смеялся от неожиданности, полагая, что Ильич не то шутит, не то хитрит. А на самом деле Ленин нисколько не шутил, а — верный себе — продумывал обстановку до ее крайних последствий и наихудших практических выводов. Концепция Урало-Кузнецкой республики ему органически необходима была, чтобы укрепить себя и других в убеждении, что ничто еще не потеряно и что для стратегии отчаяния нет и не может быть места.

До Урало-Кузнецкой республики дело, как известно, не дошло, и хорошо, что не дошло. Но можно сказать все же, что неосуществившаяся Урало-Кузнецкая республика спасла РСФСР.

Во всяком случае, понять и оценить брест-литовскую тактику Ленина можно, только связав ее с его октябрьской тактикой. Быть против Октября и за Брест значило в обоих случаях быть, по существу, выразителем одних и тех же капитулянтских настроений. Вся суть в том, что Ленин развил за брест-литовскую капитуляцию ту же самую неистощимую революционную энергию, которая обеспечила партии победу в Октябре. Именно это естественное, органическое сочетание Октября с Брестом, гигантского размаха с мужественной осторожностью, напора с глазомером дает меру ленинского метода и ленинской силы.

IV. РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном собрании.

— Надо отсрочить,— предложил он,— надо отсрочить выборы. Надо расширить избирательные права, дав их 18-летним. Надо дать возможность обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся: множество случайной интеллигенции, а нам нужны рабочие и крестьяне. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона.

Ему возражали:

— Неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании Учредительного собрания.

— Пустяки! — возражал Ленин.— Важны факты, а не слова. По отношению к Временному правительству Учредительное собрание означало или могло означать шаг вперед, а по отношению к Советской власти, и особенно при нынешних списках, будет низбежно означать шаг назад. Почему неудобно отсрочивать? А если Учредительное собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно?

— Но к тому времени мы будем сильнее,— возражали другие,— а сейчас мы еще слишком слабы. О Советской власти в провинции почти ничего не знают. И если туда теперь же попадет весть о том, что мы отсрочили Учредительное собрание, это нас ослабит еще более.— Особенно энергично против отсрочки выступал Свердлов, более нас связанный с провинцией.

Ленин со своей позицией оказался одиноким. Он недовольно поматывал головой и повторял:

— Ошибка, явная ошибка, которая может нам дорого обойтись! Как бы эта ошибка не стоила революции головы...

Но когда решение было принято: не отсрочивать! — Ленин перенес все свое внимание на организационные меры, связанные с осуществлением Учредительного собрания.

Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве даже с левыми эсерами, которые шли в общих списках с правыми и были кругом обмануты.

— Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание,— говорил Ленин,— но вот как насчет левых эсеров?

Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам «посоветоваться» и с первых же слов сказал:

— А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой.

— Браво! — воскликнул Ленин.— Что верно, то верно! А пойдут ли на это ваши?

— У нас некоторые колеблются, но я думаю, что в конце концов согласятся,— ответил Натансон.

Левые эсеры тогда переживали медовые недели своего крайнего радикализма: они действительно согласились.

— А не сделать ли нам так,— предложил Натансон,— присоединить вашу и нашу фракции Учредительного собрания к Центральному Исполнительному Комитету и образовать таким образом Конвент? [45]

— Зачем? — с явной досадой ответил Ленин.— Для подражания французской революции, что ли? Разгоном учредилки мы утверждаем советскую систему. А при вашем плане все будет спутано: ни то ни се.

Натансон попробовал было доказывать, что при его плане мы присоединим к себе часть авторитета Учредительного собрания, но скоро сдался.

Ленин занялся вопросом об учредилке вплотную.

— Ошибка явная,— говорил он,— власть уже завоевана нами, а мы между тем поставили сами себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее снова.

Подготовку он вел со всей тщательностью, продумывая все детали и подвергая на этот счет пристрастному допросу Урицкого,

назначенного, к великому его прискорбию, комиссаром Учредительного собрания. Ленин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу [46].

— Мужик может колебнуться в случае чего,— говорил он,— тут нужна пролетарская решимость.

Большевистские депутаты Учредительного собрания, съехавшиеся со всех концов России, были — под нажимом Ленина и руководством Свердлова — распределены по фабрикам, заводам и воинским частям. Они составляли важный элемент в организационном аппарате «дополнительной революции» 5 января. Что касается эсеровских депутатов, то те считали несовместимым с высоким званием народного избранника участие в борьбе: «Народ нас избрал, пусть он нас и защищает». По существу дела, эти провинциальные мещане совершенно не знали, что с собой делать, а большинство и просто трусило. Зато они тщательно разработали ритуал первого заседания. Они принесли с собой свечи на случай, если большевики потушат электричество, и большое количество бутербродов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась на бой с диктатурой — во всеоружии бутербродов и свечей. Народ и не подумал о поддержке тех, которые считали себя его избранниками, а на деле были тенями уже исчерпанного периода революции.

Во время ликвидации Учредительного собрания я был в Брест-Литовске. Но в день моего ближайшего приезда на совещание в Петроград Ленин говорил мне по поводу разгона учредилки: «Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва, очень, очень неосторожно. Но, в конце концов, вышло лучше. Разгон Учредительного собрания Советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твердый». Так теоретическое обобщение шло рука об руку с применением латышского стрелкового полка. Несомненно, что в то время должны были окончательно сложиться в сознании Ленина те идеи, которые он позже, во время I конгресса Коминтерна, формулировал в своих замечательных тезисах о демократии [47].

Критика формальной демократии имеет, как известно, свою длинную историю. Межеумочный характер революции 1848 года [48] и мы и наши предшественники объясняли крушением политической демократии. Ей на смену пришла демократия «социальная». Но буржуазное общество сумело заставить эту последнюю занять то место, которого уже не в силах была удерживать чистая демократия. Политическая история прошла через длительный период, когда социальная демократия, питаясь критикой чистой демократии, фактически выполняла обязанности последней и пропиталась насквозь

ее пороками. Произошло то, что не раз бывало в истории: оппозиция оказалась призванной для консервативного разрешения тех задач, с которыми не могли уже справиться скомпрометированные силы вчерашнего дня. Из временного условия подготовки пролетарской диктатуры демократия стала верховным критерием, последней контрольной инстанцией, неприкосновенной святыней, то есть высшим лицемерием буржуазного общества. Так было и у нас. Получив смертельный материальный удар в октябре, буржуазия пыталась еще воскреснуть в январе, в призрачно-священной форме Учредительного собрания. Дальнейшее победоносное развитие пролетарской революции после открытого, явного, грубого разгона Учредительного собрания нанесло формальной демократии тот благодетельный удар, от которого ей уже не подняться никогда. Вот почему Ленин был прав, говоря: «В конце концов, лучше, что так вышло!»

* * *

В лице эсеровской учредилки февральская республика получила оказию умереть вторично.

На фоне общего моего впечатления от официальной февральской России, от тогдашнего меньшевистски-эсеровского Петроградского Совета ярко вырисовывается и сейчас, точно это было вчера, одна физиономия эсеровского делегата. Ни кто он, ни откуда он, я не знал и не знаю. Должно быть, из провинции. Видом он был похож на молодого учителя из хороших семинаристов. Курносое, почти безусое лицо, простовато-скуластое, в очках. Это было на том заседании, где министры-социалисты впервые представлялись Совету [49]. Чернов пространно, умильно, рыхло, кокетливо и тошнотворно объяснял, почему именно он и другие вошли в правительство и какие из этого воспоследуют благие последствия. Помню одну надоедливую фразу, повторявшуюся оратором десятки раз: «Вы нас вдвинули в правительство, вы нас можете и выдвинуть». Семинарист глядел на оратора глазами сосредоточенного обожания. Так должен чувствовать и смотреть верующий богомолец, попавший в преславную обитель и сподобившийся услышать поучение пресвятого старца. Речь лилась бесконечно, зал моментами уставал, поднимался шумок. Но у семинариста источники благоговейного восторга казались неиссякаемыми. Вот как она выглядит, наша или, вернее, их революция! — говорил я себе на этом первом увиденном и услышанном мною Совете 1917 года. По окончании черновской речи зал бурно аплодировал. Только в одном уголке недовольно переговаривались немногочисленные большевики. Эта группа сразу выделилась на общем фоне, когда она дружно поддержала мою критику оборонческого министериализма меньшевиков и эсеров. Благоговейный семинарист был испуган и

встревожен до последней степени. Не возмущен: в те дни он еще не смел чувствовать возмущение против прибывшего на родину эмигранта. Но он не мог понять, как можно быть против такого во всех отношениях радостного и прекрасного факта, как вступление Чернова в состав Временного правительства. Он сидел в нескольких шагах от меня, и на лице его, которое служило для меня барометром собрания, испуг и недоумение боролись с еще не успевшим сползти благоговением. Это лицо навсегда осталось в памяти как образ Февральской революции — ее лучший образ, простовато-наивный, низовой, мещански-семинарский, ибо у нее был и другой, худший, дано-черновский.

Недаром ведь и не случайно Чернов оказался председателем Учредительного собрания. Его подняла февральская Россия, лениво-революционная, еще полуобломовская, республикански-маниловская и ох какая (в одной части) простоватая! и ах какая (в другой части) жуликоватая!.. Спросонок мужик поднимал и выпирал наверх Черновых через посредство благоговейных семинаристов. И Чернов принимал этот мандат не без расейской грации и не без расейского же плутовства.

Ибо Чернов — и к этому я веду речь — в своем роде тоже национален. Я говорю «тоже» потому, что года четыре тому назад мне пришлось писать о национальном в Ленине *. Сопоставление или хотя бы косвенное сближение этих двух фигур может показаться неуместным. И оно действительно было бы грубо, неуместно, если бы дело шло о личностях. Но речь тут идет о «стихиях» национального, об их воплощении и отражении. Чернов есть эпигонство старой революционной интеллигентской традиции, а Ленин — ее завершение и полное преодоление. В старой интеллигенции сидел и дворянин, кающийся и многоречиво размазывающий идею долга перед народом; и благоговейный семинарист, приоткрывший из лампадной тятенькиной квартиры форточку в мир критической мысли; и просвещенный мужичок, колебавшийся между социализацией и отрубным хутором; и одиночка-рабочий, понатершийся вокруг господ студентов, от своих оторвавшийся, к чужим не приставший. Вот это все есть в черновщине, сладкогласой, бесформенной и межеумочной насквозь. От старого интеллигентского идеализма эпохи Софьи Перовской в черновщине почти ничего не осталось. Зато прибавилось кое-что от новой промышленно-купеческой России, главным образом по части «не обманешь, не продашь». Герцен ** был в свое время огромным и великолепным явлением в развитии русской общественной мысли. Но дайте Герцену застояться на полстолетия, да выдерните из него радужные

* См. с. 110—113 настоящего издания.— *Ред.*
** Об А. И. Герцене см. с. 139—168 настоящего издания.— *Ред.*

перья таланта, превратите его в своего собственного эпигона, поставьте его на фоне 1905—1917 годов,— и вот вам элемент черновщины. С Чернышевским * такую операцию проделать труднее, но в черновщине есть элемент карикатуры и на Чернышевского. Связь с Михайловским гораздо более непосредственная, ибо в самом Михайловском эпигонство уже преобладало. Под черновщиной, как и под всем нашим развитием, подоплека крестьянская, но преломившаяся через недозревшее полуинтеллигентное городское и сельское мещанство или через перезревшую и изрядно прокисшую интеллигенцию. Кульминация черновщины была по необходимости мимолетной. Пока толчок, данный первым февральским пробуждением солдата, рабочего и мужика через целый ряд передаточных ступеней из вольноопределяющихся, семинаристов, студентов и адвокатов, через контактные комиссии и всякие иные премудрости успел поднять Черновых на демократические высоты, в низах произошел уже решающий сдвиг, и демократические высоты повисли в воздухе. Поэтому-то вся черновщина — между Февралем и Октябрем — сосредоточилась в заклинании: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!» Но мгновенье не останавливалось. Солдат «сатанел», мужик становился на дыбы, даже семинарист быстро утрачивал февральское благоговение — и в результате черновщина, распустив фалды, совсем-таки неграциозно спускалась с воображаемых высот во вполне реальную лужу.

Крестьянская подоплека есть и под ленинизмом, поскольку она есть под русским пролетариатом и под всей нашей историей. К счастью, в истории нашей не только ведь пассивность и обломовщина, но и движение. В самом крестьянине — не только предрассудок, но и рассудок. Все черты активности, мужества, ненависти к застою и насилию, презрения к слабохарактерности,— словом, все те элементы движения, которые скопились ходом социальных сдвигов и динамикой классовой борьбы, нашли свое выражение в большевизме. Крестьянская подоплека преломилась тут через пролетариат, через самую динамическую силу нашей, да и не только нашей, истории, и этому преломлению Ленин дал законченное выражение. В этом именно смысле Ленин есть головное выражение национальной стихии. А черновщина отражает ту же национальную подоплеку, но не с головы, и даже совсем не с головы.

Трагикомический эпизод 5 января 1918 года (разгон Учредительного собрания) был последним принципиальным столкновением ленинизма и черновщины. Но именно лишь «принципиальным», ибо практически никакого столкновения не было, а была маленькая и жалконькая арьергардная демонстрация сходящей со сцены

---

* О Н. Г. Чернышевском см. с. 137—139 настоящего издания.— *Ред.*

«демократии», во всеоружии свечей и бутербродов. Раздутые фикции лопнули, дешевые декорации обвалились, напыщенная моральная сила обнаружила себя глуповатым бессилием. Finis!

V. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОТА

Власть в Петербурге завоевана. Надо формировать правительство.

— Как назвать его? — рассуждал вслух Ленин.— Только не министрами: это гнусное, истрепанное название.

— Можно бы — комиссарами,— предложил я,— но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары?.. Нет, «верховные» звучит плохо. Нельзя ли «народные»?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

— Совет Народных Комиссаров?

— Совет Народных Комиссаров,— подхватил Ленин,— это превосходно: пахнет революцией.

Последнюю фразу помню дословно *.

За кулисами шли тягучие переговоры с Викжелем [50], с левыми эсерами и пр. Об этой главе могу, однако, сказать немногое. Помню только неистовое возмущение Ленина по поводу наглых викжельных претензий и не меньшее возмущение теми из наших, кому эти претензии импонировали. Но переговоры мы продолжали, так как с Викжелем до поры до времени приходилось считаться.

По инициативе товарища Каменева был отменен введенный Керенским закон о смертной казни для солдат [52]. Я сейчас не могу твердо припомнить, в какое учреждение Каменев внес это предложение, вероятнее всего, в Военно-революционный комитет, и, по-видимому, уже утром 25 октября. Помню, что это было в моем присутствии и что я не возражал. Ленина при этом еще не было. Дело происходило, очевидно, до его прибытия в Смольный. Когда он узнал об этом первом законодательном акте, возмущению его не было конца.

— Вздор,— повторял он.— Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?

* Тов. Милютин рассказал этот эпизод несколько иначе [51]; но приведенная выше редакция кажется мне более правильной. Во всяком случае, слова Ленина «пахнет революцией» относятся к моему предложению назвать правительство в целом Советом Народных Комиссаров.— *Прим. авт.*

Каменев пробовал доказывать, что дело идет лишь об отмене смертной казни, предназначавшейся Керенским специально для дезертиров-солдат. Но Ленин был непримирим. Для него было ясно, что за этим декретом скрывается непродуманное отношение к тем невероятным трудностям, которым мы идем навстречу.

— Ошибка,— повторял он,— недопустимая слабость, пацифистская иллюзия и пр. Он предлагал сейчас же отменить этот декрет. Ему возражали, указывая на то, что это произведет крайне неблагоприятное впечатление. Кто-то сказал: лучше просто прибегнуть к расстрелу, когда станет ясным, что другого выхода нет. В конце концов на этом остановились.

Буржуазные, эсеровские и меньшевистские газеты представляли собой с первых же дней переворота довольно согласный хор волков, шакалов и бешеных собак. Только «Новое время» [53] пыталось взять «лояльный» тон, поджимая хвост между задних ног.

— Неужели же мы не обуздаем эту сволочь? — спрашивал при всякой оказии Владимир Ильич.— Ну какая же это, прости господи, диктатура!

Газеты особенно ухватились за слова «грабь награбленное» и ворочали их на все лады: и в передовицах, и в стихах, и в фельетонах.

— И далось им это «грабь награбленное»,— с шутливым отчаянием говорил раз Ленин.

— Да чьи это слова? — спросил я.— Или это выдумка?

— Да нет же, я как-то действительно это сказал,— ответил Ленин,— сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую программу.— И он юмористически замахал рукой.

Всякий знает, кто что-нибудь знает о Ленине, что одна из сильнейших его сторон состояла в умении отделить каждый раз существо от формы. Но очень не мешает подчеркнуть, что он чрезвычайно ценил и форму, зная власть формального над умами и тем самым превращая формальное в материальное. С момента объявления Временного правительства низложенным Ленин систематически, и в крупном и в малом, действовал как правительство. У нас еще не было никакого аппарата; связь с провинцией отсутствовала; чиновники саботировали; Викжель мешал телеграфным переговорам с Москвой; денег не было, и не было армии. Но Ленин везде и всюду действовал постановлениями, декретами, приказами от имени правительства. Разумеется, он был при этом дальше, чем кто бы то ни было, от суеверного преклонения перед формальными заклинаниями. Он слишком ясно сознавал, что наша сила в том новом государственном аппарате, который строился с низов, из петроградских районов. Но для того чтобы сопрячь работу, шедшую сверху, из опустевших или саботировавших канцелярий, с творческой работой, шедшей снизу, нужен

был этот тон формальной настойчивости, тон правительства, которое сегодня еще мечется в пустоте, но которое завтра или послезавтра станет силой и потому выступает уже сегодня как сила. Этот формализм необходим был также и для того, чтобы дисциплинировать нашу собственную братию. Над бурлящей стихией, над революционными импровизациями передовых пролетарских групп постепенно натягивались нити правительственного аппарата.

Кабинет Ленина и мой были в Смольном расположены на противоположных концах здания. Коридор, нас соединявший или, вернее, разъединявший, был так длинен, что Владимир Ильич, шутя, предлагал установить сообщение на велосипедах. Мы были соединены телефоном, матросы часто прибегали, перенося замечательные ленинские записки, на небольших кусочках бумаги, из двух-трех крепких фраз, поставленных, каждая, на ребро, с двух- и трехкратным подчеркиванием наиболее существенных слов и с заключительным вопросом — тоже ребром. Я несколько раз на дню проходил по бесконечному коридору, походившему на муравейник, в кабинет к Владимиру Ильичу на совещания. В центре стояли боевые вопросы. Заботы по министерству иностранных дел я целиком предоставил товарищам Маркину * и Залкинду. Сам я ограничился написанием нескольких агитационных нот да немногочисленными приемами.

Немецкое наступление [54] поставило нас перед труднейшими задачами, а средств для их разрешения не было, как не было и элементарнейшего умения найти эти средства или создать их. Мы начали с воззвания. Написанный мною проект — «Социалистическое отечество в опасности» — обсуждался вместе с левыми эсерами [55]. Эти последние, в качестве новобранцев интернационализма, смутились заголовком воззвания. Ленин, наоборот, очень одобрил: «Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо!» В одном из заключительных пунктов проекта говорилось об уничтожении на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам [56]. Левый эсер Штейнберг, которого каким-то странным ветром занесло в революцию и даже взметнуло до Совнаркома, восставал против этой жестокой угрозы, как нарушающей «па́фос воззвания».

— Наоборот,— воскликнул Ленин,— именно в этом настоящий революционный пафо́с (он иронически передвинул ударение) и заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?

Это был период, когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины [57], халатности — а всего этого

* О Н. Г. Маркине см. с. 306—308 настоящего издания.— *Ред.*

было хоть отбавляй — возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. «Им,— говорил он про врагов,— грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошедших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, «революционеры» воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?» Такие тирады можно было слышать десятки раз на дню, и они всегда метили в кого-нибудь из присутствующих, подозрительного по «пацифизму». Ленин не пропускал ни одного случая, когда говорилось при нем о революции, о диктатуре, особенно когда это происходило на заседаниях Совнаркома или в присутствии левых эсеров или колеблющихся коммунистов, чтобы не заметить тут же: «Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас — каша, а не диктатура». Слово «каша» он очень любил. «Если мы не сумеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Да вы смотрите, как у нас буржуазная шваль пишет в газетах? Где же тут диктатура? Одна болтовня и каша»... Эти речи выражали его действительное настроение, имея в то же время сугубо умышленный характер: согласно своему методу, Ленин вколачивал в головы сознание необходимости исключительно суровых мер для спасения революции.

Бессилие нового государственного аппарата обнаружилось ярче всего с момента перехода немцев в наступление. «Вчера еще прочно сидели в седле,— говорил наедине Ленин,— а сегодня только лишь держимся за гриву. Зато и урок! Этот урок должен подействовать на нашу проклятую обломовщину [58]. Наводи порядок, берись за дело, как следует быть, если не хочешь быть рабом! Большой будет урок, если... если только немцы с белыми не успеют нас скинуть».

— А что,— спросил меня однажды совершенно неожиданно Владимир Ильич,— если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Бухарин со Свердловым справиться?

— Авось не убьют,— ответил я шутя.

— А черт их знает,— сказал Ленин и сам рассмеялся. На этом разговор и кончился.

В одной из комнат того же Смольного заседал штаб [59]. Это было самое беспорядочное из всех учреждений. Никогда нельзя было понять, кто распоряжается, кто командует и чем именно. Тут впервые встал (в общей своей форме) вопрос о военных специалистах [60]. Мы уже имели некоторый опыт на этот счет

в борьбе с Красновым, где командующим мы назначили полковника Муравьева, а он в свою очередь поручил руководство операциями под Пулковом полковнику Вальдену. При Муравьеве состояло четыре матроса и один солдат, с инструкцией — глядеть в оба и не снимать руки с револьвера. Таков был зародыш комиссарской системы. Этот опыт лег в известной мере в основу создания Высшего военного совета [61].

— Без серьезных и опытных военных нам из этого хаоса не выбраться,— говорил я Владимиру Ильичу каждый раз после посещений штаба.

— Это, по-видимому, верно. Да как бы не предали...

— Приставим к каждому комиссара.

— А то еще лучше двух,— воскликнул Ленин,— да рукастых. Не может же быть, чтобы у нас не было рукастых коммунистов.

Так возникла конструкция Высшего военного совета.

Вопрос о переезде правительства в Москву [62] вызвал немалые трения. Это-де похоже на дезертирство из Петрограда, основоположника Октябрьской революции. Рабочие-де этого не поймут. Смольный-де стал синонимом Советской власти, а теперь его предлагают ликвидировать и пр. и пр. Ленин буквально из себя выходил, отвечая на эти соображения: «Можно ли такими сентиментальными пустяками загораживать вопрос о судьбе революции? Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если же правительство — в Москве, то падение Петербурга будет только частным тяжким ударом. Как же вы этого не видите, не понимаете? Более того, оставаясь при нынешних условиях в Петербурге, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы толкая немцев к захвату Петербурга. Если же правительство — в Москве, искушение захватить Петербург должно чрезвычайно уменьшиться: велика ли корысть оккупировать голодный революционный город, если эта оккупация не решает судьбы революции и мира? Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный — потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся ваша символика перейдет к Кремлю». В конце концов оппозиция была сломлена. Правительство переехало в Москву. Я еще оставался некоторое время в Петербурге, кажется, в звании председателя Петербургского военно-революционного комитета. По приезде в Москву я застал Владимира Ильича в Кремле, в так называемом Кавалерском корпусе [63]. «Каши», то есть беспорядка и хаоса, тут было никак не меньше, чем в Смольном. Владимир Ильич добродушно поругивал москвичей, проникнутых великим местничеством, и постепенно, шаг за шагом, натягивал вожжи.

Правительство, довольно часто обновлявшееся по частям [64], развертывало тем временем лихорадочную декретную работу. Каждое

заседание Совнаркома первого периода представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать сначала, воздвигать на чистом месте. «Прецедентов» отыскать нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Даже простые справки наводить было трудно за недостатком времени. Вопросы выдвигались не иначе как в порядке революционной неотложности, то есть в порядке самого невероятного хаоса. Большое причудливо перемешивалось с малым. Второстепенные практические задачи вели к сложнейшим принципиальным вопросам. Не все, далеко не все декреты были согласованы друг с другом, и Ленин не раз иронизировал, и даже публично, по поводу несогласованности нашего декретного творчества. Но в конце концов эти противоречия, хотя бы и очень острые с точки зрения практических задач момента, утопали в работе революционной мысли, которая законодательным пунктиром намечала новые пути для нового мира человеческих отношений.

Незачем говорить, что руководство всей этой работой принадлежало Ленину. Он неутомимо председательствовал по пять и по шесть часов подряд в Совнаркоме (а заседания Совнаркома происходили в первый период ежедневно), переходя с вопроса на вопрос, руководя прениями, строго отпуская ораторам время по карманным часам, которые позже были заменены председательским секундомером. Вопросы (по общему правилу) ставились без подготовки и всегда, как сказано, в порядке срочности. Очень часто самое существо вопроса было неведомо и членам Совнаркома и председателю до начала прений. А прения были всегда сжатые, на вступительный доклад полагалось 5—10 минут. И тем не менее председатель прощупывал необходимое русло. Когда участников заседания было много, и среди них спецы и вообще незнакомые лица, Владимир Ильич прибегал к своему любимому жесту: приставив ко лбу правую руку козырьком, глядел сквозь пальцы на докладчиков и вообще на участников собрания, и, вопреки смыслу поговорки «глядеть сквозь пальцы», глядел очень зорко и внимательно, высматривая, что ему нужно. На узенькой полоске бумаги — мельчайшими буквами (экономия!) — заносилась запись ораторов, один глаз глядел на часы, которые время от времени показывались над столиком, чтобы напомнить оратору о необходимости кончать. И в то же время председатель быстро набрасывал на бумаге резолютивные выводы из тех соображений, которые он нашел наиболее значительными в процессе прений. Обычно к тому же еще Ленин в целях экономии времени посылал участникам собрания коротенькие записочки, требуя тех или других справок. Эти записки представляли собой очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент в технике советского законодательства. Большая часть их, однако, погибла, так как ответ писался сплошь

да рядом на обороте вопроса и записочка тут же подвергалась председателем аккуратному уничтожению. В известный момент Ленин оглашал свои резолютивные пункты, выраженные всегда с намеренной резкостью и педагогической угловатостью (чтоб подчеркнуть, выдвинуть, не дать смазать), после чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в конкретное русло практических предложений и дополнений. Ленинские «пункты» и ложились в основу декрета.

Для руководства этой работой помимо других необходимых качеств требовалось огромное творческое воображение. Это слово может показаться на первый взгляд неподходящим, но оно тем не менее выражает самую суть дела. Человеческое воображение бывает различного рода: оно так же необходимо инженеру-конструктору, как и необузданному романтику. Один из драгоценных видов воображения состоит в умении представить себе людей, вещи и явления такими, каковы они в действительности, даже и тогда, когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим жизненным опытом и теоретической установкой, соединить отдельные, мелкие сведения, схваченные на лету, проработать их, связать воедино, дополнить по каким-то неформулированным законам соответствия и воссоздать таким путем во всей ее конкретности определенную область человеческой жизни — вот воображение, которое необходимо законодателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху революции. Сила Ленина была в огромной мере силой реалистического воображения.

Целеустремленность Ленина всегда была конкретной, иначе, впрочем, она бы не была настоящей целеустремленностью. Ленин, кажется, в первый раз в «Искре» высказал ту мысль, что в сложной цепи политического действия нужно уметь выделить центральное для данного момента звено, чтобы, ухватившись за него, дать направление всей цепи. Позже Ленин не раз возвращался к этой мысли, а нередко и к самому образу цепи и кольца. Этот метод из сферы сознания как бы перешел у него в подсознательное, став в конце концов второй природой его. В наиболее критические моменты, когда дело шло об ответственном или рискованном тактическом повороте, Ленин как бы отметал все остальное, второстепенное или терпящее отлагательство. Это никак не надо понимать в том смысле, что он брал центральную задачу лишь в ее основных чертах, игнорируя детали. Наоборот, ту задачу, какую он считал неотложной, он ставил во всей конкретности, подходя к ней со всех сторон, продумывая детали, иногда совершенно третьестепенные, ища повода для новых и новых толчков и импульсов, напоминая, вызывая, подчеркивая, проверяя, нажимая. Но все это было подчинено тому «звену», которое он считал решающим для данного момента. Он отметал при этом не только все,

что прямо или косвенно противоречило центральной задаче, но и то, что просто могло рассеять внимание, ослабить напряжение. В наиболее острые моменты он как бы становился глухим и слепым по отношению ко всему, что выходило за пределы поглощавшего его интереса. Одна уже постановка других, нейтральных, так сказать, вопросов ощущалась им как опасность, от которой он инстинктивно отталкивался. После того как критический этап благополучно оставался позади, Ленин не раз по тому или по другому поводу восклицал: «А ведь мы и забыли совсем сделать то-то», «А ведь мы тут дали маху, занятые главным вопросом»... И когда ему иной раз возражали: «Да ведь этот же вопрос ставился и это самое предложение вносилось, только вы тогда и слушать не хотели».— «Да неужели? — отвечал он,— что-то я не помню»,— разражаясь при этом лукавым, немножко «виноватым» смехом и делая особый, свойственный ему жест рукою сверху вниз, который должен был означать: всех дел, видно, никак не переделаешь. Этот его «недочет» был только оборотной стороной его способности к величайшей внутренней мобилизации всех сил, а именно эта способность сделала его величайшим революционером в истории.

В ленинских тезисах о мире[65], написанных в начале января 1918 года, говорится о необходимости «для успеха социализма в России, известного промежутка времени, *не менее нескольких месяцев*[66]». Сейчас эти слова кажутся совершенно непонятными: не описка ли, не идет ли тут речь о нескольких годах или о нескольких десятилетиях? Но нет, это не описка. Можно, вероятно, найти ряд других заявлений Ленина в таком же роде. Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм и мы станем самым могущественным государством. Левые эсеры, и не только они одни, поднимали вопросительно и недоумевающе головы, переглядывались, но молчали. Это была система внушения. Ленин приучал всех брать отныне все вопросы в рамках социалистического строительства, и не в перспективе «конечной цели», а в перспективе сегодняшнего и завтрашнего дня. И он прибегал тут при этом крутом переходе к столь свойственному ему методу перегибания палки: вчера говорили, что социализм есть «конечная цель», а сегодня должны мыслить, говорить и действовать так, чтобы обеспечить господство социализма через несколько месяцев. Значит, это только педагогической прием? Нет, не только. Надо к педагогической настойчивости присоединить еще одно: могучий идеализм Ленина, его напряженную волю, которая на резком повороте двух эпох сжимала этапы и сокращала сроки. *Он верил в то, что говорил.*

И этот фантастический полугодовой срок для социализма представляет собой такую же функцию ленинского духа, как и его

реалистический подход к каждой задаче сегодняшнего дня. Глубокое и неукротимое убеждение в могущественных возможностях человеческого развития, заплатить за которое можно и должно любой ценой жертв и страданий, составляло всегда главную пружину ленинского духа.

В труднейших условиях — промежду повседневных изнурительных работ, среди затруднений продовольственного и всякого иного характера, в кольце гражданской войны — Ленин с величайшей тщательностью работал над советской Конституцией, скрупулезно уравновешивая в ней второстепенные и третьестепенные практические потребности государственного аппарата с принципиальными задачами пролетарской диктатуры в крестьянской стране.

Конституционная комиссия решила почему-то переработать ленинскую Декларацию прав трудящихся [67], «согласовав» ее с текстом Конституции [68]. В приезд свой в Москву с фронта я получил от комиссии в числе других материалов и проект переработанной Декларации, или, по крайней мере, части ее. С материалами я знакомился в кабинете Ленина, в присутствии его самого и Свердлова. Шла подготовка к V съезду Советов [69].

— А к чему, собственно, переделывать Декларацию? — спросил я Свердлова, который руководил работами Конституционной комиссии [70].

Владимир Ильич с интересом приподнял голову.

— Да вот комиссия нашла, что в Декларации есть несогласованности с Конституцией и неточные формулировки,— ответил Яков Михайлович.

— По-моему, это зря,— ответил я.— Декларация была уже принята, стала историческим документом, какой же смысл ее перерабатывать?

— Совершенно верно,— подхватил Владимир Ильич,— и, по-моему, это дело затеяно было напрасно. Пусть уж сей младенец, непричесанный и вихрастый, так и живет: каков он ни на есть, он все-таки — порождение революции... Вряд ли он станет лучше, если его послать к парикмахеру.

Свердлов попытался было «по обязанности» защищать решение своей комиссии, но скоро согласился с нами. Я понял, что Владимир Ильич, которому приходилось не раз выступать против тех или других предложений Конституционной комиссии, не хотел поднимать борьбу по поводу редактирования Декларации прав, авторство которой принадлежало ему самому. Он, однако, очень обрадовался поддержке «третьего лица», неожиданно явившейся в последний момент. Мы сговорились втроем не менять Декларации, и превосходный вихрастый младенец был избавлен от парикмахерской...

Изучение советского законодательства в его развитии — с выделением в нем принципиальных моментов и поворотных вех,

в связи с ходом самой революции и классовых в ней отношений — является задачей огромной важности, ибо для пролетариата других стран выводы ее могут и должны получить первостепенное практическое значение.

Сборник советских декретов представляет в известном смысле часть, и отнюдь не маловажную, Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина.

VI. ЧЕХОСЛОВАКИ И ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ

Весна 1918 года была очень тяжелая. Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. С одной стороны, было совершенно очевидно, что страна загнила бы надолго, если бы не Октябрьский переворот. Но с другой стороны, весной 1918 года невольно вставал вопрос: хватит ли у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима? Продовольствия не было. Армии не было. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры. Чехословацкий корпус [71] держал себя на нашей территории как самостоятельная держава. Мы ничего, или почти ничего, не могли ему противопоставить.

Однажды, в очень тяжелые часы 1918 года Владимир Ильич мне рассказывал:

— Сегодня у меня была делегация рабочих. И вот один из них на мои слова * отвечает: видно и вы, товарищ Ленин, берете сторону капиталистов. Знаете, это в первый раз я услышал такие слова. Я, сознаюсь, даже растерялся, не зная, что ответить. Если это не злостный тип, не меньшевик, то это — тревожный симптом.

Передавая этот эпизод, Ленин казался мне более огорченным и встревоженным, чем в тех случаях, когда приходили, позже, с фронтов черные вести о падении Казани [72] или о непосредственной угрозе Петербургу [73]. И это понятно: Казань и даже Петербург можно было потерять и вернуть, а доверие рабочих есть основной капитал партии.

— У меня такое впечатление,— сказал я в те дни Владимиру Ильичу,— что страна после перенесенных ею тягчайших болезней нуждается сейчас в усиленном питании, спокойствии, уходе, чтобы выжить и оправиться; доконать ее можно сейчас небольшим толчком.

— Такое же впечатление и у меня,— ответил Владимир Ильич.— Ужасающее худосочие! Сейчас опасен каждый лишний толчок.

Между тем история с чехословаками грозила сыграть роль такого рокового толчка. Чехословацкий корпус врезался в рыхлое тело

---

* К сожалению, я никак не могу вспомнить вопроса, по поводу которого явилась делегация.— *Прим. авт.*

юго-восточной России, не встречая противодействия и обрастая эсерами и другими деятелями еще более белых мастей. Хотя у власти везде уже стояли большевики, но рыхлость провинции была еще очень велика. И немудрено. По-настоящему Октябрьская революция была проделана только в Петрограде и в Москве. В большинстве провинциальных городов Октябрьская революция, как и Февральская, совершалась по телеграфу. Одни приходили, другие уходили потому, что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. Появление на сцене чехословацких частей изменило обстановку — сперва против нас, но в конечном счете в нашу пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. В ответ началась настоящая революционная кристаллизация красных. Можно сказать, что только с появлением чехословаков Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию. Однако это произошло не сразу.

3 июля Владимир Ильич позвонил по телефону ко мне в Военный комиссариат.

— Знаете, что случилось? — спросил он тем глуховатым голосом, который означал волнение.

— Нет, а что?

— Левые эсеры бросили бомбу в Мирбаха; говорят, тяжело ранен. Приезжайте в Кремль, надо посоветоваться.

Через несколько минут я был в кабинете Ленина. Он изложил мне фактическую сторону, каждый раз справляясь по телефону о новых подробностях.

— Дела! — сказал я, переваривая не совсем обычные новости.— На монотонность жизни мы пожаловаться никак не можем.

— Д-да,— ответил Ленин с тревожным смехом.— Вот оно — очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа...— Он так иронически и сказал: *колебнутие*.— Это то самое состояние, о котором Энгельс выразился: «der rabiat gewordene Kleinbürger» (закусивший удила мелкий буржуа).

Тут же спешные разговоры по телефону — короткие вопросы и ответы — с Наркоминделом, с ВЧК и с другими учреждениями. Мысль Ленина, как всегда в критические моменты, работала одновременно в двух плоскостях: марксист обогащал свой исторический опыт, с интересом оценивая новый выверт — «колебнутие» — мещанского радикализма; в то же время вождь революции неутомимо натягивал нити информации и намечал практические шаги. Шли сведения о восстании в войсках ВЧК [74].

— Как бы, однако, левые эсеры не оказались той вишневой косточкой, о которую нам суждено споткнуться...

— Я как раз об этом думал,— ответил Ленин,— ведь в том и состоит судьба колебнувшегося мелкого буржуа, чтобы послужить

вишневой косточкой для нужд белогвардейца... Сейчас надо во что бы то ни стало повлиять на характер немецкого донесения в Берлин. Повод для военного вмешательства предостаточный, особенно если принять во внимание, что Мирбах, вероятно, все время доносил, что мы слабы и что не хватает лишь толчка...

Скоро прибыл Свердлов, такой же, как всегда.

— Ну что,— сказал он мне, здороваясь с усмешкой,— придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому.

Ленин тем временем продолжал собирать справки. Не помню, в этот ли момент или позже получилось сообщение, что Мирбах скончался. Нужно было ехать в посольство выражать «соболезнование». Решено было, что поедут Ленин, Свердлов и, кажется, Чичерин. Возник вопрос обо мне. После летучего обмена мнениями меня освободили.

— Как еще там скажешь,— говорил Владимир Ильич, покачивая головой.— Я уж с Радеком об этом сговаривался. Хотел сказать «Mitleid», а надо сказать «Beileid» *.

Он чуть-чуть засмеялся, вполтона, оделся и твердо сказал Свердлову: «Идем». Лицо его изменилось, стало каменисто-серым. Недешево Ильичу давалась эта поездка в гогенцоллернское посольство с выражением соболезнования по поводу гибели графа Мирбаха. В смысле внутренних переживаний это был, вероятно, один из самых тяжких моментов его жизни.

В такие дни познаются люди. Свердлов был поистине несравненен: уверенный, мужественный, твердый, находчивый — лучший тип большевика. Ленин вполне узнал и оценил Свердлова именно в эти тяжкие месяцы. Сколько раз, бывало, Владимир Ильич звонит Свердлову, чтоб предложить принять ту или другую спешную меру и в большинстве случаев получает ответ: «Уже!» Это значило, что мера уже принята. Мы часто шутили на эту тему, говоря: «А у Свердлова, наверно, *уже*!»

— А ведь мы были вначале против его введения в Центральный Комитет,— рассказывал как-то Ленин,— до какой степени недооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас на съезде поправили и оказались целиком правы **...

---

* — сочувствие, соболезнование (*нем.*).— *Ред.*

** Кстати, Свердлова почему-то неизменно называют *первым* председателем пооктябрьского ВЦИК. Это неверно. Первым председателем был, хотя и недолго, тов. Каменев. Свердлов заменил его по инициативе Ленина, в эпоху обострения внутрипартийной борьбы, связанной с попытками достигнуть соглашения с социалистическими партиями. В примечаниях к 14-му тому Сочинений Ленина говорится, будто замена тов. Каменева Свердловым вызвана была отбытием первого на переговоры в Брест-Литовск. Это объяснение неправильно. Переизбрание вызвано было, как уже сказано, обострением внутрипартийной борьбы. Я помню это тем тверже, что мне, по поручению ЦК, пришлось вносить во фракцию ВЦИК предложение об избрании Свердлова председателем.— *Прим. авт.*

Левоэсеровский мятеж лишил нас политического попутчика и союзника, но в последнем счете не ослабил, а укрепил нас. Партия наша сгрудилась плотнее. В учреждениях, в армии поднялось значение коммунистических ячеек. Линия правительства стала тверже.

В том же направлении влияло, несомненно, и чехословацкое восстание, которое выбило партию из того угнетенного состояния, в котором она находилась, несомненно, со времени Брест-Литовского мира. Начался период партийных мобилизаций на Восточный фронт [75]. Первую группу, в состав которой входили еще левые социалисты-революционеры, мы отправляли с Владимиром Ильичем совместно. Тут намечалась, еще в довольно смутном виде, организация будущих политотделов. Однако сведения с Волги продолжали поступать неблагоприятные. Измена Муравьева и восстание левых эсеров внесли новое временное замешательство на Восточном фронте. Опасность сразу обострилась. Вот тут и начался радикальный перелом.

— Надо мобилизовать всех и все и двинуть на фронт,— говорил Ленин.— Надо снять из завесы все сколько-нибудь боеспособные части и перебросить на Волгу.

Напоминаем, что «завесой» назывался тонкий кордон войск, выставленных на западе, против района немецкой оккупации.

— А немцы? — отвечали Ленину.

— Немцы не двинутся,— им не до того, да они и сами заинтересованы в том, чтобы мы справились с чехословаками.

Этот план был принят, и он доставил сырой материал для будущей 5-й армии. Тогда же решена была моя поездка на Волгу. Я занялся формированием поезда, что в те времена было непросто. Владимир Ильич и тут входил во все, писал мне записки, телефонировал без конца.

— Есть ли у вас сильный автомобиль? Возьмите из кремлевского гаража.

И еще через полчаса:

— А берете ли с собой аэроплан? Нужно бы взять на всякий случай.

— Аэропланы будут при армии,— отвечал я,— и, если понадобится, я воспользуюсь.

Еще через полчаса:

— А я все-таки думаю, что вам нужно бы иметь аэроплан при поезде, мало ли что может случиться.

И т. д. и пр.

Наспех сколоченные полки и отряды, преимущественно из разложившихся солдат старой армии, как известно, весьма плачевно рассыпались при первом столкновении с чехословаками.

— Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще

боевиков,— говорил я Ленину перед отъездом на восток.— Надо *заставить* сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет.

— Конечно, это правильно,— отвечал он,— только опасаюсь, что и заградительные отряды не проявят должной твердости. Добёр русский человек, на решительные меры революционного террора его не хватает. Но попытаться необходимо.

Весть о покушении на Ленина и об убийстве Урицкого застигла меня в Свияжске [76]. В эти трагические дни революция переживала внутренний перелом. Ее «доброта» отходила от нее. Партийный булат получал свой окончательный закал. Возрастала решимость, а где нужно — и беспощадность. На фронте политические отделы рука об руку с заградительными отрядами и трибуналами вправляли костяк в рыхлое тело молодой армии. Перемена не замедлила сказаться. Мы вернули Казань и Симбирск [77]. В Казани я получил от выздоравливавшего после покушения Ленина телеграмму по поводу первых побед на Волге [78].

Побывав вскоре после того в Москве, я вместе со Свердловым проехал в Горки к Владимиру Ильичу, который быстро поправлялся, но еще не возвращался в Москву к работе. Мы застали его в прекрасном настроении. Он подробно расспрашивал про организацию армии, ее настроения, роль коммунистов, рост дисциплины и весело повторял: «Вот это хорошо, вот это отлично. Укрепление армии немедленно же скажется на всей стране — ростом дисциплины, ростом ответственности»... С осенних месяцев действительно произошла большая перемена. Того похожего на бледную немочь состояния, которое определилось в весенние месяцы, теперь уже не чувствовалось. Что-то сдвинулось, что-то окрепло, и замечательно, что на этот раз революцию спасла не новая передышка, а, наоборот, новая острая опасность, которая вскрыла в пролетариате подспудные источники революционной энергии. Когда мы садились со Свердловым в автомобиль, Ленин, веселый и жизнерадостный, стоял на балконе. Таким веселым я его помню еще только 25 октября, когда он узнал в Смольном о первых военных успехах восстания.

Левых эсеров мы политически ликвидировали. Волгу очищали. Ленин выздоравливал после ран. Революция крепла и мужала.

VII. ЛЕНИН НА ТРИБУНЕ

После Октября фотографы снимали Ленина не раз, точно так же и кинематографщики [79]. Голос его запечатлен на пластинках фонографа. Речи застенографированы и напечатаны. Таким образом, все элементы Владимира Ильича налицо. Но только элементы. А живая личность — в их неповторном и всегда динамическом сочетании.

Когда я мысленно пытаюсь свежим глазом и свежим ухом — как бы в первый раз — увидеть и услышать Ленина на трибуне, я вижу крепкую и внутренне эластическую фигуру невысокого роста и слышу ровный, плавный, очень быстрый, чуть картавый, непрерывный, почти без пауз и на первых порах без особой интонации голос.

Первые фразы обычно общи, тон нащупывающий, вся фигура как бы не нашла еще своего равновесия, жест не оформлен, взгляд ушел в себя, в лице скорее угрюмость и как бы даже досада — мысль ищет подхода к аудитории. Этот вступительный период длится то больше, то меньше — смотря по аудитории, по теме, по настроению оратора. Но вот он попал на зарубку. Тема начинает вырисовываться. Оратор наклоняет верхнюю часть туловища вперед, заложив большие пальцы рук за вырезы жилета. И от этого двойного движения сразу выступают вперед голова и руки. Голова сама по себе не кажется большой на этом невысоком, но крепком, ладно сколоченном, ритмическом теле. Но огромными кажутся на голове лоб и голые выпуклины черепа. Руки очень подвижны, однако без суетливости или нервозности. Кисть широкая, короткопалая, «плебейская», крепкая. В ней, в этой кисти, есть те же черты надежности и мужественного добродушия, что и во всей фигуре. Чтоб дать разглядеть это, нужно, однако, оратору осветиться изнутри, разгадав хитрость противника или самому с успехом заманив его в ловушку. Тогда из-под могучего лобно-черепного навеса выступают ленинские глаза, которые чуть-чуть переданы на одной счастливой фотографии 1919 года. Даже безразличный слушатель, поймав впервые этот взор, настораживался и ждал, что будет дальше. Угловатые скулы освещались и смягчались в такие моменты крепко умной снисходительностью, за которой чувствовалось большое знание людей, отношений, обстановки — до самой что ни на есть глубокой подоплеки. Нижняя часть лица с рыжевато-сероватой растительностью как бы оставалась в тени. Голос смягчался, получал большую гибкость и — моментами — лукавую вкрадчивость.

Но вот оратор приводит предполагаемое возражение от лица противника или злобную цитату из статьи врага. Прежде чем он успел разобрать враждебную мысль, он дает вам понять, что возражение неосновательно, поверхностно или фальшиво. Он высвобождает пальцы из жилетных вырезов, откидывает корпус слегка назад, отступает мелкими шагами, как бы для того, чтобы освободить себе место для разгона, и — то иронически, то с видом отчаяния — пожимает крутыми плечами и разводит руками, выразительно отставив большие пальцы. Осуждение противника, осмеяние или опозорение его — смотря по противнику и по случаю — всегда предшествует у него опровержению. Слушатель как бы предуведомляется заранее, какого рода доказательство ему надо ждать и на какой тон

настроить свою мысль. После этого открывается логическое наступление. Левая рука попадает либо снова за жилетный вырез, либо — чаще — в карман брюк. Правая следует логике мысли и отмечает ее ритм. В нужные моменты левая приходит на помощь. Оратор устремляется к аудитории, доходит до края эстрады, склоняется вперед и округлыми движениями рук работает над собственным словесным материалом. Это значит, что дело дошло до центральной мысли, до главнейшего пункта всей речи.

Если в аудитории есть противники, навстречу оратору поднимаются время от времени критические или враждебные восклицания. В девяти случаях из десяти они остаются без ответа. Оратор скажет то, что ему нужно, для кого нужно и так, как он считает нужным. Отклоняться в сторону для случайных возражений он не любит. Беглая находчивость несвойственна его сосредоточенности. Только голос его, после враждебных восклицаний, становится жестче, речь компактнее и напористее, мысль острее, жесты резче. Он подхватывает враждебный возглас с места только в том случае, если это отвечает общему ходу его мысли и может помочь ему скорее добраться до нужного вывода. Тут его ответы бывают совершенно неожиданны — своей убийственной простотой. Он начисто обнажает ситуацию там, где, согласно ожиданиям, он должен был бы маскировать ее. Это испытывали на себе не раз меньшевики в первый период революции, когда обвинения в нарушениях демократии сохраняли еще всю свою свежесть. «Наши газеты закрыты!» — «Конечно, но, к сожалению, не все еще! Скоро будут закрыты все. (*Бурные аплодисменты.*) Диктатура пролетариата уничтожит в корне эту позорную продажу буржуазного опиума». (*Бурные аплодисменты.*) Оратор выпрямился. Обе руки в карманах. Тут нет и намека на позу, и в голосе нет ораторских модуляций, зато есть во всей фигуре, и в посадке головы, и в сжатых губах, и в скулах, и в чуть-чуть сиплом тембре несокрушимая уверенность в своей правоте и в своей правде. «Если хотите драться, то давайте драться, как следует быть».

Когда оратор бьет не по врагу, а по своим, то это чувствуется и в жесте, и в тоне. Самая неистовая атака сохраняет в таком случае характер «урезонивания». Иногда голос оратора срывается на высокой ноте: это когда он стремительно обличает кого-нибудь из своих, устыжает, доказывает, что оппонент ровнешенько ничего в вопросе не смыслит и в обоснование своих возражений ничего, ну так-таки ничегошеньки не привел. Вот на этих «ровнешенько» и «ничегошеньки» голос иногда доходит до фальцета и срыва, и от этого сердитейшая тирада принимает неожиданно оттенок добродушия.

Оратор продумал заранее свою мысль до конца, до последнего практического вывода,— мысль, но не изложение, не форму, за

исключением разве наиболее сжатых, метких, сочных выражений и словечек, которые входят затем в политическую жизнь партии и страны звонкой монетой обращения. Конструкция фраз обычно громоздкая, одно предложение напластовывается на другое или, наоборот, забирается внутрь его. Для стенографов такая конструкция — тяжкое испытание, а вслед за ними — и для редакторов. Но через эти громоздкие фразы напряженная и властная мысль прокладывает себе крепкую, надежную дорогу.

Верно ли, однако, что это говорит глубочайше образованный марксист, теоретик-экономист, человек с огромной эрудицией? Ведь вот кажется, по крайней мере моментами, что выступает какой-то необыкновенный самоучка, который дошел до всего этого своим умом, как следует быть, все это обмозговал, по-своему, без научного аппарата, без научной терминологии, и по-своему же все это излагает. Откуда это? Оттуда, что оратор продумал вопрос не только за себя, но и за массу, провел свою мысль через ее опыт, начисто освобождая изложение от теоретических лесов, которыми сам пользовался при первом подходе к вопросу.

Иногда, впрочем, оратор слишком стремительно взбегает по лестнице своих мыслей, перепрыгивая через две-три ступени сразу: это когда вывод ему слишком ясен и практически слишком неотложен и нужно как можно скорее подвести к нему слушателей. Но вот он почувствовал, что аудитория не поспевает за ним, что связь со слушателями разомкнулась. Тогда он сразу берет себя в руки, спускается одним прыжком вниз и начинает свое восхождение заново, но уже более спокойным и соразмеренным шагом. Самый голос его становится иным, освобождается от излишней напряженности, получает обволакивающую убедительность. Конструкция речи от этого возврата вспять, конечно, страдает. Но разве речь существует для конструкции? Разве в речи ценна какая-либо другая логика, кроме логики, понуждающей к действию?

И когда оратор вторично добирается до вывода, приведя на этот раз к нему своих слушателей, не растеряв в пути никого, в зале физически ощущается та благодарная радость, в которую разрешается удовлетворенное напряжение коллективной мысли. Теперь остается пристукнуть еще раза два-три по выводу, для крепости, дать ему простое, яркое и образное выражение, для памяти, а затем можно позволить и себе и другим передышку, пошутить и посмеяться, чтобы коллективная мысль получше всосала в себя тем временем новое завоевание.

Ораторский юмор Ленина так же прост, как и все прочие его приемы, если здесь можно говорить о приемах. Ни самодовлеющего остроумия, ни тем более острословия в речах Ленина нет, а есть шутка, сочная, доступная массе, в подлинном смысле народная. Если в политической обстановке нет ничего слишком тревожного,

если аудитория в большинстве своем «своя», то оратор не прочь мимоходом «побалагурить». Аудитория благодарно воспринимает лукаво-простецкую прибаутку, добродушно-безжалостную характеристику, чувствуя, что и это не так себе, не для одного лишь красного словца, а все для той же цели.

Когда оратор прибегает к шутке, тогда больше выступает нижняя часть лица, особенно рот, умеющий заразительно смеяться. Черты лба и черепа как бы смягчаются, глаз, переставая сверлить, весело светится, усиливается картавость, напряженность мужественной мысли смягчается жизнерадостностью и человечностью.

В речах Ленина, как и во всей его работе, главной чертой остается целеустремленность. Оратор не речь строит, а ведет к определенному действенному выводу. Он подходит к своим слушателям по-разному: и разъясняет, и убеждает, и срамит, и шутит, и снова убеждает, и снова разъясняет. То, что объединяет его речь, это не формальный план, а ясная, строго для сегодняшнего дня намеченная практическая цель, которая должна занозой войти в сознание аудитории. Ей подчинен и его юмор. Шутка его утилитарна. Яркое словечко имеет свое практическое назначение: подстегнуть одних, попридержать других. Тут и «хвостизм», и «передышка», и «смычка», и «драчка», и «комчванство», и десятки других, не столь увековеченных. Прежде чем добраться до такого словечка, оратор описывает несколько кругов, как бы отыскивая нужную точку. Найдя, наставляет гвоздь и, примерив, как следует быть, глазом, наносит с размаху удар молотком по шляпке — и раз, и другой, и десятый,— пока гвоздь не войдет, как следует быть, так что его очень трудно бывает выдернуть, когда уж минует в нем надобность. Тогда Ленину же придется — с прибауткой — постукать по этому гвоздю справа и слева, чтобы расшатать его и, выдернув, бросить в архивную ломь — к великому огорчению тех, которые к гвоздю привыкли.

Но вот речь клонится к концу. Итоги подведены, выводы закреплены. Оратор имеет вид работника, который умаялся, но дело свое выполнил. По голому черепу, на котором выступили крупинки пота, он проводит время от времени рукой. Голос звучит без напряжения, как догорает костер. Можно кончать. Но не надо ждать того венчающего речь подъемного финала, без которого, казалось бы, нельзя сойти с трибуны. Другим нельзя, а Ленину можно. У него нет ораторского завершения речи: он кончает работу и ставит точку. «Если поймем, если сделаем, тогда победим наверняка» — такова нередкая заключительная фраза. Или: «Вот к чему нужно стремиться — не на словах, а на деле». А иногда и того проще: «Вот все, что я хотел вам сказать»,— и только. И такой конец, полностью отвечающий природе ленинского красноречия и природе самого Ленина, нисколько не расхолаживает аудиторию. Наоборот, как раз

после такого «неэффектного», «серого» заключения она как бы заново, одной вспышкой сознания охватывает все, что Ленин дал ей в своей речи, и разражается бурными, благодарными, восторженными аплодисментами.

Но, уже подхватив кое-как свои бумажки, быстро покидает кафедру Ленин, чтобы избегнуть неизбежного. Голова его слегка втянута в плечи, подбородком вниз, глаза скрылись под брови, усы топорщатся почти сердито на недовольно приподнятой верхней губе. Рокот рукоплесканий растет, кидая волну на волну. Да здра... Ленин... вождь... Ильич... Вот мелькает в свете электрических ламп неповторимое человеческое темя, со всех сторон захлестываемое необузданными волнами. И когда, казалось, вихрь восторга достиг уже высшего неистовства — вдруг через рев, и гул, и плеск чей-то молодой, напряженный, счастливый и страстный голос, как сирена, прорезывающий бурю: *Да здравствует Ильич!* И откуда-то из самых глубоких и трепетных глубин солидарности, любви, энтузиазма поднимается в ответ уже грозным циклоном общий безраздельный, потрясающий своды вопль-клич: *Да здравствует Ленин!*

VIII. ФИЛИСТЕР О РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

В одном из многих сборников, посвященных Ленину, я наткнулся на статью английского писателя Уэллса под заглавием «Кремлевский мечтатель» [80]. Редакция сборника отмечает в примечании, что «даже такие передовые люди, как Уэллс, не поняли смысла происходящей в России пролетарской революции». Казалось бы, это еще недостаточная причина для помещения статьи Уэллса в сборнике, посвященном вождю этой революции. Но не стоит, пожалуй, к этому так уж придираться: по крайней мере, я лично прочитал несколько страничек Уэллса не без интереса, в чем, однако, автор их, как видно будет из дальнейшего, совершенно не повинен.

Живо представляется тот момент, когда Уэллс посетил Москву. Это была голодная и холодная зима 1920/21 года. В атмосфере — тревожное предчувствие весенних осложнений. Голодная Москва в сугробах. Хозяйственная политика накануне крутого перелома. Помню очень хорошо то впечатление, которое вынес Владимир Ильич из беседы с Уэллсом: «Ну и мещанин! Ну и филистер!!» — повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека. «Ах, какой филистер»,— повторял он, заново переживая свою беседу. Этот наш разговор происходил перед открытием заседания Политбюро и ограничился, в сущности, повторением только что приведенной краткой характе-

ристики Уэллса. Но и этого было за глаза достаточно. Я, правда, мало читал Уэллса и совсем не встречал его. Но английский салонный социалист, фабианец, беллетрист на фантастические и утопические темы, приехавший взглянуть на коммунистические эксперименты,— этот образ я себе достаточно ясно представлял. А восклицание Ленина и особенно тон этого восклицания без труда доделали остальное. И вот теперь статья Уэллса, неисповедимыми путями попавшая в ленинский сборник, не только оживила в моей памяти ленинское восклицание, но и наполнила его живым содержанием. Ибо если Ленина в статье Уэллса о Ленине нет почти и следа, зато сам Уэллс в ней, как на ладони.

Начнем хотя бы со вступительной жалобы Уэллса: ему пришлось, видите ли, долго хлопотать, чтобы добиться свидания с Лениным, что его (Уэллса) «чрезвычайно раздражало». Почему собственно? Разве Ленин вызывал Уэллса? обязывался принять его? или разве у Ленина был такой избыток времени? Наоборот, в те архитяжелые дни каждая минута его времени была заполнена; ему очень нелегко было выкроить час на прием Уэллса. Понять это нетрудно было бы и иностранцу. Но вся беда в том, что Уэллс, в качестве знатного иностранца и, при всем своем «социализме», консервативнейшего англичанина империалистской складки, насквозь проникнут убеждением, что оказывает, в сущности, своим посещением великую честь этой варварской стране и ее вождю. Вся статья Уэллса, от первой строки до последней, воняет этим немотивированным самомнением.

Характеристика Ленина начинается, как и следовало ждать, с откровения. Ленин, видите ли, «вовсе не писатель». Кому же, в самом деле, решить этот вопрос, как не профессиональному писателю Уэллсу? «Короткие резкие памфлеты, выходящие в Москве за его (Ленина) подписью (!), полные неправильных представлений о психологии западных рабочих... очень мало выражают истинную сущность мышления Ленина». Почтенному джентльмену, конечно, неведомо, что у Ленина есть ряд капитальнейших работ по аграрному вопросу, теоретической экономии, социологии, философии. Уэллс знает одни «короткие резкие памфлеты», да и то отмечает, что они лишь выходят «за подписью Ленина», то есть намекает на то, что пишут их другие. Истинная же «сущность мышления Ленина» раскрывается не в десятках написанных им томов, а в той часовой беседе, к которой так великодушно снизошел просвещеннейший гость из Великобритании.

От Уэллса можно бы ждать, по крайней мере, интересной зарисовки внешнего облика Ленина, и ради одной хорошо подмеченной черточки мы готовы были бы простить ему все его фабианские *

* Фабианское общество [81] объединяет в Англии интеллигентов-социалистов и названо так ими самими в честь Фабия Кунктатора (медлителя).— *Прим. авт.*

пошлости. Но в статье нет и этого. «У Ленина приятное смуглое (!) лицо с постоянно меняющимся выражением и живая улыбка»... «Ленин очень мало похож на свои фотографии»... «Он немного жестикулировал во время разговора»... Дальше этих банальностей набившего руку заурядрепортера капиталистической газеты Уэллс не пошел. Впрочем, он еще открыл, что лоб Ленина напоминает удлиненный и слегка несимметричный череп Артура Бальфура и что Ленин в целом — «маленький человечек: когда он сидит на краю стула, его ноги едва касаются пола». Что касается черепа Артура Бальфура, то мы ничего об этом почтенном предмете сказать не можем и охотно верим, что он удлинен. Но во всем остальном — какая неприличная неряшливость. Ленин был рыжеватым блондином,— назвать его смуглым никак нельзя. Роста он был среднего, может быть, даже слегка ниже среднего; но что он производил впечатление «маленького человечка» и что он еле достигал ногами пола — это могло показаться только Уэллсу, который приехал с самочувствием цивилизованного Гулливера в страну северных коммунистических лилипутов. Еще Уэллс заметил, что Ленин при паузах в разговоре имеет привычку приподымать пальцем веко. «Может быть, эта привычка,— догадывается проницательный писатель,— происходит от какого-нибудь дефекта зрения». Мы знаем этот жест. Он наблюдался тогда, когда Ленин имел перед собою чужого и чуждого ему человека и быстро вскидывал на него взор промежду пальцев руки, прислоненной козырьком ко лбу. «Дефект» ленинского зрения состоял в том, что он видел при этом собеседника насквозь, видел его напыщенное самодовольство, его ограниченность, его цивилизованное чванство и его цивилизованное невежество и, вобрав в свое сознание этот образ, долго затем покачивал головой и приговаривал: «Какой филистер! Какой чудовищный мещанин!»

При беседе присутствовал товарищ Ротштейн, и Уэллс делает мимоходом открытие, что присутствие его «характерно для современного положения дел в России»: Ротштейн, видите ли, контролирует Ленина от лица Наркоминдела, ввиду чрезмерной искренности Ленина и его мечтательской неосторожности. Что сказать по поводу этого неоценимого наблюдения? Входя в Кремль, Уэллс принес в своем сознании весь мусор международной буржуазной информации и своим проницательным глазом — о, разумеется, без всякого «дефекта»! — открыл в кабинете Ленина то, что выудил заранее из «Times'a» или из другого резервуара благочестивых и прилизанных сплетен.

Но в чем же все-таки состоял разговор? На этот счет мы узнаем от Уэллса довольно-таки безнадежные общие места, которые показывают, как бедно и жалко ленинская мысль преломляется через иные черепа, в симметричности которых мы не видим, впрочем, основания сомневаться.

Уэллс пришел с мыслью, что «ему придется спорить с убежденным доктринером-марксистом, но ничего подобного на самом деле не оказалось». Это нас удивить не может. Мы уже знаем, что «сущность мышления Ленина» раскрылась не в его более чем тридцатилетней политической и писательской деятельности, а в его беседе с английским обывателем. «Мне говорили,— продолжает Уэллс,— что Ленин любит поучать, но со мною он этого не делал». Где же, в самом деле, поучать джентльмена, столь преисполненного высокой самооценки? Что Ленин любил поучать — вообще неверно. Верно то, что Ленин умел говорить очень поучительно. Но он это делал только тогда, когда считал, что его собеседник способен чему-либо научиться. В таких случаях он поистине не щадил ни времени, ни усилий. Но насчет великолепного Гулливера, попавшего милостью судьбы в кабинет «маленького человечка», у Ленина должно было уже после 2—3 минут беседы сложиться несокрушимое убеждение, примерно в духе надписи над входом в дантовский ад: «Оставь надежду навсегда».

Разговор зашел о больших городах. Уэллсу в России впервые, как он заявляет, пришла в голову мысль, что внешность города определяется торговлею в магазинах и на рынках. Он поделился этим открытием со своими собеседниками. Ленин «признал», что города при коммунизме значительно уменьшатся в своих размерах, Уэллс «указал» Ленину, что обновление городов потребует гигантской работы и что многие огромные здания Петербурга сохранят лишь значение исторических памятников. Ленин согласился и с этим несравненным общим местом Уэллса. «Мне кажется,— прибавляет последний,— ему приятно было говорить с человеком, понимающим те неизбежные последствия коллективизма, которые ускользают от понимания многих из его собственных последователей». Вот вам готовый масштаб для измерения уровня Уэллса! Он считает плодом величайшей своей проницательности то открытие, что при коммунизме нынешние концентрированные городские нагромождения исчезнут и что многие из нынешних капиталистических архитектурных чудовищ сохранят лишь значение исторических памятников (если не заслужат чести быть разрушенными). Где же, конечно, бедным коммунистам («утомительным фанатикам классовой борьбы», как их именует Уэллс) додуматься до таких открытий, давно, впрочем, разъясненных в популярном комментарии к старой программе германской социал-демократии. Мы уж не говорим, что обо всем этом знали утописты-классики.

Теперь вам, надеюсь, понятно, почему Уэллс «вовсе не заметил» во время разговора того ленинского смеха, о котором ему так много говорили: Ленину было не до смеха. Я опасаюсь даже, что челюсти его сводило рефлексом, прямо противоположным смеху. Но здесь Ильичу служила необходимую службу его подвижная и умная

рука, которая всегда умела вовремя скрывать от слишком занятого собою собеседника рефлекс неучтивой зевоты.

Как мы уже слышали, Ленин Уэллса не поучал — по причинам, которые мы считаем вполне уважительными. Зато Уэллс тем настойчивее поучал Ленина. Он внушал ему ту совершенно новую мысль, что для успеха социализма «нужно перестроить не одну только материальную сторону жизни, а и психологию всего народа». Он указал Ленину, что «русские по природе своей индивидуалисты и торговцы». Он разъяснял ему, что коммунизм, «чересчур спешит» и разрушает прежде, чем может что-либо выстроить, и прочее в том же духе. «Это привело нас,— рассказывает Уэллс,— к основному пункту расхождения между нами, к различию между эволюционным коллективизмом и марксизмом». Под эволюционным коллективизмом надо понимать фабианское варево из либерализма, филантропии, экономного социального законодательства и воскресных размышлений о лучшем будущем. Сам Уэллс существо своего эволюционного коллективизма формулирует так: «Я верю в то, что путем планомерной системы воспитания общества существующий капиталистический строй может цивилизоваться и превратиться в коллективистический». Сам Уэллс не поясняет, кто собственно и над кем будет проводить «планомерную систему воспитания»: лорды ли с удлиненными черепами над английским пролетариатом, или же, наоборот, пролетариат пройдется по черепам лордов? О нет, все, что угодно, только не это последнее. Для чего же существуют на свете просвещенные фабианцы, люди мысли, бескорыстного воображения, джентльмены и леди, мистер Уэллс и мистрисс Сноуден, как не для того, чтобы путем планомерного и длительного извержения того, что скрывается под их собственными черепами, цивилизовать капиталистическое общество и превратить его в коллективистическое с такой разумной и счастливой постепенностью, что даже великобританская королевская династия совершенно не заметит этого перехода?

Все это Уэллс излагал Ленину, и все это Ленин выслушивал. «Для меня,— милостиво замечает Уэллс,— было прямо отдыхом (!) поговорить с этим необыкновенным маленьким человеком». А для Ленина? — о, многотерпеливый Ильич! Про себя он, вероятно, произносил некоторые очень выразительные и сочные русские слова. Он не переводил их вслух на английский язык не только потому, что столь далеко не простирался, вероятно, его английский словарь, но и по соображениям вежливости. Ильич был очень вежлив. Но он не мог ограничиться и вежливым молчанием. «Он был принужден,— рассказывает Уэллс,— возражать мне, говоря, что современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен и что научить его ничему нельзя». Ленин сослался на ряд фактов, заключающихся, между прочим, в новой книге Моней: капитализм

разрушил английские национальные верфи, не позволил разумно эксплуатировать угольные копи и пр. Ильич знал язык фактов и цифр.

«Признаюсь,— неожиданно заключает господин Уэллс,— мне было очень трудно с ним спорить». Что это значит? Не начало ли капитуляции эволюционного коллективизма перед логикой марксизма? Нет, нет. «Оставь надежду навсегда». Эта неожиданная на первый взгляд фраза отнюдь не случайна, она входит в систему, она имеет строго выдержанный фабианский, эволюционный, педагогический характер. Она рассчитана на английских капиталистов, банкиров, лордов и их министров. Уэллс говорит им: видите, вы поступаете так дурно, так разрушительно, так своекорыстно, что мне в спорах с кремлевским мечтателем трудно бывает защитить принцип моего эволюционного коллективизма. Образумьтесь, совершайте еженедельные фабианские омовения, цивилизуйтесь, шествуйте по пути прогресса. Таким образом, унылое признание Уэллса не есть начало самокритики, а лишь продолжение воспитательной работы над тем самым капиталистическим обществом, которое столь усовершенствованным, морализированным и фабианизированным вышло из империалистской войны и Версальского мира [82].

Не без покровительственного сочувствия Уэллс замечает о Ленине: «Его вера в свое дело неограниченна». Против этого спорить не приходится. Запас веры в свое дело у Ленина был достаточен. Что верно, то верно. Этот запас веры давал ему, между прочим, терпение беседовать в те глухие месяцы блокады с каждым иностранцем, который способен был служить хотя бы и кривой связью России с Западом. Такова беседа Ленина с Уэллсом. Совсем, совсем иначе говорил он с английскими рабочими, приходившими к нему. С ними у него было живое общение. Он и учился и учил. А с Уэллсом беседа, по существу, имела полувынужденный дипломатический характер. «Наш разговор кончился неопределенно»,— заключает автор. Другими словами, партия между эволюционным коллективизмом и марксизмом закончилась на этот раз вничью. Уэллс уехал в Великобританию, а Ленин остался в Кремле. Уэллс написал для буржуазной публики фатоватую корреспонденцию, а Ленин, покачивая головой, повторял: «Вот мещанин! Ай-я-яй, какой филистер!»

* * *

Пожалуй, могут спросить, почему и зачем, собственно, я остановился теперь, почти четыре года спустя, на столь незначительной статье Уэллса. То обстоятельство, что статья его воспроизведена в одном из сборников, посвященных смерти Ленина, конечно, не основание. Недостаточным оправданием служит и то, что эти стро-

ки писались мною в Сухуме, во время лечения. Но у меня есть более серьезные причины. Сейчас ведь в Англии у власти стоит партия Уэллса, руководимая просвещенными представителями эволюционного коллективизма. И мне показалось — думаю, не вполне безосновательно,— что посвященные Ленину строки Уэллса, может быть, лучше, чем многое другое, раскрывают нам душу руководящего слоя английской рабочей партии: в конце концов, Уэллс не худший среди них. Как эти люди убийственно отстали, нагруженные тяжелым свинцом буржуазных предрассудков! Их высокомерие — запоздалый рефлекс великой исторической роли английской буржуазии — не позволяет им вдуматься, как следует быть, в жизнь других народов, в новые идейные явления, в исторический процесс, который перекатывается через их головы. Ограниченные рутинеры, эмпирики в шорах буржуазного общественного мнения, эти господа развозят по всему миру себя и свои предрассудки и умудряются вокруг себя ничего не замечать, кроме самих себя. Ленин жил во всех странах Европы, овладевал чужими языками, читал, изучал, выслушивал, вникал, сравнивал, обобщал. Став во главе великой революционной страны, он не упускал случая добросовестно и внимательно поучиться, расспросить, узнать. Он не уставал следить за жизнью всего мира. Он свободно читал и говорил по-немецки, французски, английски, читал по-итальянски. В последние годы своей жизни, заваленный работой, он на заседаниях Политбюро потихоньку штудировал чешскую грамматику, чтобы получить непосредственный доступ к рабочему движению Чехословакии; мы его на этом иногда «ловили», и он не без смущения смеялся и оправдывался... А лицом к лицу с ним — Уэллс, воплощающий ту породу мнимообразованных, ограниченных мещан, которые смотрят, чтобы не видеть, и считают, что им нечему учиться, ибо они обеспечены своим наследственным запасом предрассудков. А господин Макдональд, представляющий более солидную и мрачную пуританскую разновидность того же типа, успокаивает буржуазное общественное мнение: мы боролись с Москвой и мы победили Москву. Они победили Москву? Вот уж поистине бедные «маленькие человечки», хотя бы и высокого роста! Они и сейчас, после всего, что было, ничего не знают о своем собственном завтрашнем дне. Либеральные и консервативные дельцы без труда помыкают «эволюционными» социалистическими педантами, находящимися у власти, компрометируют их и сознательно подготовляют их падение, не только министерское, но и политическое. Вместе с тем, однако, они подготовляют, но уже гораздо менее сознательно, приход к власти английских марксистов. Да, да, марксистов, «утомительных фанатиков классовой борьбы». Ибо и английская социальная революция совершится по законам, установленным Марксом.

Уэллс, со свойственным ему тяжеловатым, как пудинг, остроумием, грозил некогда взять ножницы и остричь Марксу его «доктринерскую» шевелюру и бороду, англизировать Маркса, респектабилизировать и фабианизировать его. Но из этой затеи ничего не вышло и не выйдет. Маркс так и останется Марксом, как Ленин остался Лениным, после того как Уэллс подвергал его в течение часа мучительному воздействию тупой бритвы. И мы берем на себя смелость предсказать, что не в столь уж отдаленном будущем в Лондоне, например на Трафальгар-сквере [83], воздвигнуты будут рядом две бронзовые фигуры: Карла Маркса и Владимира Ленина. Английские пролетарии будут говорить своим детям: «Как хорошо, что маленьким человечкам из Labor Partu не удалось ни постричь, ни побрить этих двух гигантов!»

В ожидании этого дня, до которого я постараюсь дожить, я закрываю на мгновение глаза и отчетливо вижу фигуру Ленина на кресле, на том самом, на котором его видел Уэллс, и слышу — на другой день после свидания с Уэллсом, а может быть и в тот же день — слова, произносимые с задушевным кряхтением: «Ну и мещанин! Ну и филистер!»

6 апреля 1924 г.

О ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕМ

Национальное в Ленине

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Он лучше всего характеризуется непримиримым разрывом — в первые дни мировой войны — с той подделкой под интернационализм, которая господствовала во II Интернационале [84]. Официальные вожди «социализма» примиряли с парламентской трибуны интересы отечества к интересам человечества отвлеченными доводами в духе старых космополитов. На практике это вело, как мы знаем, к поддержке грабительского отечества силами пролетариата.

Интернационализм Ленина — никак не формула словесного примирения национального с интернациональным, а формула международного революционного действия. Мировая территория, захваченная так называемым цивилизованным человечеством, рассматривается как единое поле гигантской борьбы, составными элементами которой являются отдельные народы и их классы. Ни один крупный вопрос не замыкается в национальные рамки. Видимые и невидимые нити соединяют его действенной связью с десятками явлений во всех концах мира. В оценке международных факторов и сил Ленин свободнее, чем кто-либо, от национальных пристрастий.

Маркс считал, что философы достаточно истолковывали мир, и видел задачу в том, чтобы переделать его. Но сам он до того не дожил — гениальный предтеча. Переделка старого мира ныне в полном ходу, и первым ее работником является Ленин. Его интернационализм есть практическая оценка и практическое вмешательство в ход исторических событий в мировом масштабе и в мировых целях. Россия и ее судьба — только один из элементов этой грандиозной исторической тяжбы, от исхода которой зависит судьба человечества.

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Но в то же время сам Ленин глубоко национален. Он корнями уходит в новую русскую историю, собирает ее в себе, дает ей высшее выражение и именно таким путем достигает вершин интернационального действия и мирового влияния.

На первый взгляд характеристика фигуры Ленина, как «национальной», может показаться неожиданностью, но, в сущности, это разумеется само собой. Для того чтобы руководить таким небывалым в истории народов переворотом, какой переживает Россия, нужна, очевидно, неразрывная, органическая связь с основными силами народной жизни — связь, идущая от глубочайших корней.

Ленин олицетворяет собой русский пролетариат — молодой класс, которому политически, пожалуй, не больше лет, чем Ленину, от роду, но класс глубоко национальный, ибо в нем резюмируется все предшествующее развитие России, в нем все ее будущее, с ним живет и падает русская нация. Свобода от рутины и шаблона, от фальши и условности, решимость мысли, отвага в действии — отвага, никогда не переходящая в безрассудство, характеризуют русский пролетариат и с ним вместе Ленина.

Природа русского пролетариата, которая делает его ныне важнейшей силой международной революции, подготовлена всем ходом национальной русской истории: варварской жестокостью самодержавного государства, ничтожеством привилегированных классов, лихорадочным развитием капитализма на дрожжах мировой биржи, выморочным характером русской буржуазии, упадочностью ее идеологии, дрянностью ее политики. Наше «третье сословие» [85] не имело и не могло иметь ни своей реформации [86], ни своей великой революции [87]. Тем более всеобъемлющий характер приобрели революционные задачи русского пролетариата. Наша история не дала в прошлом ни Лютера, ни Фомы Мюнстера, ни Мирабо, ни Дантона, ни Робеспьера. Именно поэтому русский пролетариат имеет своего Ленина. Что потеряно в традиции, то выиграно в размахе революции.

Ленин отражает собой рабочий класс не только в его пролетарском настоящем, но и в его столь еще свежем крестьянском прошлом. У этого самого бесспорного из вождей пролетариата не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека.

Перед Смольным стоит памятник другому большому человеку мирового пролетариата: Маркс на камне, в черному сюртуке. Конечно, это мелочь, но Ленина даже мысленно никак не оденешь в черный сюртук. На некоторых портретах Маркс изображен с широко открытой крахмальной манишкой, на которой болтается что-то вроде монокля. Что Маркс не был склонен к кокетливости, это слишком ясно для тех, кто имеет понятие о духе Маркса. Но Маркс родился и вырос на иной национально-культурной почве, дышал иной атмосферой, как и верхи немецкого рабочего класса своими корнями уходят не в мужицкую деревню, а в цеховое ремесло и в сложную городскую культуру средних веков.

Самый стиль Маркса — богатый и прекрасный, сочетание силы и гибкости, гнева и иронии, суровости и изысканности — несет в себе литературные и эстетические накопления всей предшествующей социально-политической немецкой литературы, начиная с Реформации и ранее. Литературный и ораторский стиль Ленина страшно прост, утилитарен, аскетичен, как и весь его уклад. Но в этом могучем аскетизме нет и тени моралистики. Это не принцип, не надуманная система и уж конечно не рисовка — это просто внешнее выражение внутреннего сосредоточения сил для действия. Это хозяйская мужицкая деловитость — только в грандиозном масштабе.

Маркс — весь в «Коммунистическом манифесте» [88], в предисловии к своей «Критике» [89], в «Капитале». Если б он даже не был основателем I Интернационала, он навсегда остался бы тем, чем является сейчас. Наоборот, Ленин весь в революционном действии. Его научные работы только подготовка к действию. Если бы он не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда вошел бы в историю таким, каким входит теперь: вождем пролетарской революции, основателем III Интернационала.

Ясная научная система — материалистическая диалектика — необходима для действия того исторического размаха, какой выпал на долю Ленина, необходима, но недостаточна. Тут нужна еще та подспудная творческая сила, которую мы называем интуицией: способность на лету оценивать явления, отделять существенное и важное от шелухи и пустяков, заполнять воображением недостающие части картины, додумывать за других, и прежде всего за врагов, сочетать все это воедино и наносить удар одновременно с тем, как в голове складывается «формула» удара. Это — интуиция действия. Одной стороной своей она сливается с тем, что по-русски зовется сметкой.

Когда Ленин, прищурив левый глаз, слушает радиотелеграмму, заключающую в себе парламентскую речь одного из империалистических вершителей судеб или очередную дипломатическую ноту — сплетение кровожадного коварства с полированным лицемерием,— он похож на крепко умного мужика, которого словами не проймешь и фразами не обманешь. Это — мужицкая сметка, только с высоким

потенциалом, развернувшаяся до гениальности, вооруженная последним словом научной мысли.

Молодой русский пролетариат мог совершить то, что совершает, только рванув за собой на своих корнях тяжелую глыбу крестьянства. Все наше национальное прошлое подготовило этот факт. Но именно потому, что ходом событий у власти поставлен пролетариат, революция наша сразу и радикально преодолела национальную ограниченность и провинциальную захолустность прежней русской истории. Советская Россия стала не только убежищем Коммунистического Интернационала, но и живым воплощением его программы и его методов.

Теми неведомыми, наукой еще не раскрытыми путями, какими формируется человеческая личность, Ленин впитал в себя из национальной среды все, что понадобилось ему для величайшего в человеческой истории революционного действия. Именно потому, что через Ленина социалистическая революция, давно имеющая свое интернациональное теоретическое выражение, нашла впервые свое национальное воплощение, Ленин стал в самом прямом и самом непосредственном смысле революционным руководителем мирового пролетариата. Таким его застиг день его 50-летия.

О РАНЕНОМ

Речь на заседании ВЦИК
2 сентября 1918 года

Товарищи, те братские приветствия, какие я слышу, я истолковываю так, что сейчас, в эти трудные дни и часы, мы все, как братья, испытываем глубокую потребность плотнее примкнуть друг к другу, к нашим советским организациям, ближе стать под наше коммунистическое знамя. В эти исполненные тревогой дни и часы, когда наш и, можно ныне сказать с полным правом, мировой знаменосец пролетариата лежит на постели в борьбе со страшным призраком смерти, мы ближе друг другу, чем в часы побед...

Весть о покушении на товарища Ленина застигла меня и ряд других товарищей в Свияжске, на Казанском фронте. Там были удары — удары справа, удары слева, были удары в лоб. Но этот новый удар был удар в спину из глубокого тыла. Этот предательский удар открыл новый фронт — самый болезненный, самый тревожный для нас в настоящий момент: фронт, на котором жизнь Владимира Ильича борется со смертью. И какие бы поражения нас ни ожидали на том или другом фронте — я твердо верю в близкую победу вместе с вами,— но отдельные частичные поражения не оказались бы для рабочего класса России и всего мира такими тяжкими, такими трагическими, каким оказался бы роковой исход

борьбы на том фронте, который проходит через грудную клетку нашего вождя. Можно понять — стоит лишь вдуматься — всю ту силу сосредоточенной ненависти, какую вызывала и будет вызывать эта фигура у всех врагов рабочего класса. Ибо природа поработала на славу, для того чтобы создать в одной фигуре воплощение революционной мысли и непреклонной энергии рабочего класса. Эта фигура — Владимир Ильич Ленин. Галерея рабочих вождей, революционных борцов, очень богата и разнообразна, и мне, как и многим другим товарищам, которые насчитывают третий десяток лет революционной работы, доводилось встречать в разных странах много разновидностей типа рабочего вождя, революционного представителя рабочего класса. Но только в лице товарища Ленина мы имеем фигуру, которая создана для нашей эпохи крови и железа. За нашей спиной осталась эпоха так называемого мирного развития буржуазного общества, когда противоречия накапливались постепенно, когда Европа переживала период так называемого вооруженного мира и кровь протекала почти только в колониях, где хищный капитал терзал наиболее отсталые народы. Европа наслаждалась так называемым миром капиталистического милитаризма. В эту эпоху формировались и складывались виднейшие вожди европейского рабочего движения. Среди них мы знаем такую превосходную фигуру, как Август Бебель, великий покойник. Но он отражал эпоху постепенного и медленного развития рабочего класса; ему, наряду с мужеством и железной энергией, свойственна была крайняя осторожность в движениях, ощупывание почвы, стратегия выжидания и подготовки. Он отражал процесс постепенного, молекулярного накопления сил рабочего класса,— его мысль шла вперед шаг за шагом, как и немецкий рабочий класс в эпоху мировой реакции лишь постепенно поднимался снизу, освобождаясь от тьмы и предрассудков. Его духовная фигура росла, развивалась, становилась крепче и выше, но все на той же почве выжидания и подготовки. Таков был Август Бебель в своих мыслях и методах — лучшая фигура прошлой, уже отошедшей в вечность эпохи.

Наша эпоха соткана из другого материала. Это эпоха, когда старые накопленные противоречия пришли к чудовищному взрыву, когда они прорвали оболочку буржуазного общества, когда все основы мирового капитализма потрясены до дна чудовищной европейской бойней народов,— эпоха, которая обнаружила все классовые противоречия, которая поставила народные массы перед страшной реальностью гибели миллионов во имя обнаженных интересов барыша. Вот для этой эпохи история Западной Европы позабыла, не догадалась или не сумела создать своего вождя,— и недаром: ибо все вожди, которые накануне войны пользовались наибольшим доверием европейского рабочего класса, отражали его вчерашний, но не сегодняшний день...

И когда наступила новая эпоха, она оказалась не по зубам прежним вождям — эта эпоха страшных потрясений и кровавых боев. Истории угодно было — не случайно — создать в России фигуру из одного цельного куска, фигуру, отражающую в себе всю нашу суровую и великую эпоху. Повторяю, не случайно. В 1847 году отсталая тогда Германия выдвинула из своей среды фигуру Маркса, величайшего борца-мыслителя, предвосхитившего пути новой истории. Германия была тогда отсталой страной, но волею истории интеллигенция Германии переживала тогда период революционного развития, и величайший представитель интеллигенции, богатый всей ее наукой, порвал с буржуазным обществом, встал на почву революционного пролетариата и выработал программу рабочего движения и теорию развития рабочего класса. То, что предрекал Маркс в эту эпоху, то наша эпоха призвана исполнить. А для этого ей нужны новые вожди, которые были бы носителями великого духа нашей эпохи, когда рабочий класс, поднявшись до высоты своей исторической задачи, ясно увидел перед собой великий рубеж, через который ему необходимо перешагнуть, если человечеству суждено жить, а не гнить, как падали, на большой исторической дороге. Для этой эпохи русская история создала нового вождя. Все, что было в старой революционной интеллигенции лучшего — ее дух самопожертвования, дерзания, ненависти к гнету,— все это сосредоточилось в этой фигуре, которая однако, бесповоротно, еще в период юности, порвала связь с миром интеллигенции, ввиду ее связи с буржуазией, и воплотила в себе смысл и сущность развития рабочего класса. Опираясь на молодой революционный пролетариат России, пользуясь богатым опытом мирового рабочего движения, превратив его идеологию в рычаг действия, эта фигура ныне поднялась на политическом небосклоне во весь рост. Это — фигура Ленина, величайшего человека нашей революционной эпохи. (*Аплодисменты.*)

Я знаю, и вы вместе со мной, товарищи, что судьба рабочего класса не зависит от отдельных личностей; но это не значит, что личность безразлична в истории нашего движения и развития рабочего класса. Личность не может лепить рабочий класс по образу и подобию своему и не может указать пролетариату по произволу тот или другой путь развития, но она может способствовать выполнению его задач, ускорять достижение его цели. Карлу Марксу указывали его критики, что он предвидел революцию гораздо ближе, чем она осуществляется на деле. На это отвечали с полным основанием, что он стоял на высокой горе и потому расстояния ему казались короче. Владимира Ильича многие — и я в том числе — критиковали не раз за то, что он как бы не замечал многих второстепенных причин, побочных обстоятельств. Я должен сказать, что для эпохи «нормального», медленного развития это, может быть, было бы недостатком для политического деятеля; но это — величайшее

преимущество товарища Ленина как вождя новой эпохи, когда все побочное, все внешнее, все второстепенное отпадает и отступает, когда остается только основной непримиримый антагонизм классов в грозной форме гражданской войны. Устремив вперед свой революционный взор, подмечать и указывать главное, основное, самое нужное — этот дар свойствен Ленину в высшей степени. И те, кому, как мне, суждено было в этот период близко наблюдать работу Владимира Ильича, работу его мысли, те не могли не относиться с прямым и непосредственным восторгом — я повторяю: именно с восторгом — к этому дару проницательной, сверлящей мысли, которая отметает все внешнее, случайное, поверхностное, намечая основные пути и способы действия. Только тех вождей рабочий класс научается ценить, которые, открыв путь развития, идут непоколебимо, хотя бы даже предрассудки самого пролетариата становились временами препятствием на этом пути. К дару могучей мысли у Владимира Ильича присоединяется непоколебимость воли, и вот эти качества в соединении создают подлинного революционного вождя, слитого из мужественной, непреклонной мысли и стальной непоколебимой воли.

Какое счастье, что все, что мы говорим, и слышим, и читаем в резолюциях о Ленине, не имеет формы некролога. А ведь до этого было так близко... Мы уверены, что на том близком фронте, который проходит там, в Кремле, победит жизнь и что Владимир Ильич скоро вернется в наши ряды.

Если, товарищи, я сказал, что он воплощает собой мужественную мысль и революционную волю рабочего класса, то можно сказать, что есть внутренний символ, как бы сознательный умысел истории в том, что в эти трудные часы, когда русский рабочий класс на внешних фронтах, напрягши все силы, борется с чехословаками, белогвардейцами, наемниками Англии и Франции, наш вождь борется против ран, нанесенных ему агентами тех же белогвардейцев, чехословаков, наемниками Англии и Франции. Тут внутренняя связь и глубокий исторический символ! И точно так же, как мы все уверены, что в той нашей борьбе на чехословацком, англо-французском и белогвардейском фронтах мы крепнем с каждым днем и с каждым часом (*аплодисменты*) — об этом я могу сказать, как очевидец, непосредственно прибывший с театра военных действий,— да, мы крепнем с каждым днем, мы завтра будем сильнее, чем были вчера, послезавтра сильнее, чем завтра, и я не сомневаюсь, что близок день, когда мы сможем сказать вам, что Казань, Симбирск, Самара, Уфа и другие временно захваченные города возвратятся в нашу советскую семью,— так же мы надеемся, что одновременно и быстрым темпом пойдет процесс восстановления товарища Ленина. Но и сейчас его образ, прекрасный образ раненого вождя, на время вышедшего из строя, стоит неотразимо перед нами. Мы знаем: ни на минуту он

не уходил из наших рядов, ибо, даже подкошенный предательскими пулями, он будит нас всех, призывает и толкает вперед. Я не наблюдал ни одного товарища, ни одного честного рабочего, у которого под влиянием известия о предательском покушении на Ленина опускались бы руки, но я видел десятки, у которых сжимались кулаки, протягивались руки к оружию; я слышал сотни и тысячи уст, которые клялись беспощадной местью классовым врагам пролетариата. Нет надобности рассказывать, как отозвались сознательные борцы на фронте, когда узнали, что Ленин лежит с двумя пулями в теле. О Ленине никто не мог сказать, что в его характере не хватает металла; сейчас у него не только в духе, но и в теле металл, и таким он будет еще дороже рабочему классу России.

Я не знаю, дойдут ли сейчас наши слова и биения наших сердец до постели товарища Ленина, но я не сомневаюсь все же, что он их чувствует. Я не сомневаюсь, что в своей лихорадочной еще температуре он знает, что и наши сердца бьются сейчас удвоенным, утроенным темпом. Все мы сознаем теперь ярче, чем когда бы то ни было, что мы члены одной коммунистической советской семьи. Никогда собственная жизнь каждого из нас не казалась нам такой второстепенной и третьестепенной вещью, как в тот момент, когда жизнь самого большого человека нашего времени подвергается смертельной опасности. Каждый дурак может прострелить череп Ленина, но воссоздать этот череп — это трудная задача даже для самой природы.

Но нет, он встанет вскоре — для мысли и творчества, для борьбы вместе с нами. Мы же со своей стороны обещаем дорогому вождю, пока в наших собственных черепах есть еще сила мысли и в сердцах наших бьется горячая кровь, мы останемся верны знамени коммунистической революции. Мы будем бороться с врагами рабочего класса до последней капли крови, до последнего издыхания. (*Шумные и долго не смолкающие аплодисменты покрывают речь тов. Троцкого.*)

О БОЛЬНОМ

Из доклада на VII Всеукраинской партийной конференции[90]
5 апреля 1923 года

Товарищи, в отношении ясности мысли и твердости воли нашей партии мы имели некоторую дополнительную проверку за этот год. Проверка была тяжела, потому что она была дана фактом, который и сейчас тяготеет над сознанием всех членов партии и широчайших кругов трудящегося населения, вернее сказать, над всем трудящимся населением нашей страны, а в значительной части — всего мира. Я говорю о болезни Владимира Ильича. Когда последовало

ухудшение в начале марта и Политбюро ЦК собралось обменяться мнениями о том, что нужно довести до сведения партии, до сведения страны об ухудшении в здоровье товарища Ленина, то, товарщи, я думаю, что вы все отдадите себе отчет, в каком настроении проходило заседание Политбюро, когда мы должны были сообщить партии и стране этот первый тяжкий, тревожный бюллетень [91]. Разумеется, и в такую минуту мы оставались политиками. Никто в этом не сделает нам упрека. Мы думали не только о здоровье товарища Ленина — конечно, в первую голову мы были заняты в те минуты его пульсом, его сердцем, его температурой,— но мы думали также о том, какое впечатление это число ударов его сердца произведет на политический пульс рабочего класса и нашей партии. С тревогой и вместе с тем с глубочайшей верой в силы партии мы сказали, что нужно в первый же момент обнаружения опасности поставить о ней в известность партию и страну. Никто не сомневался, что наши враги постараются использовать это известие для того, чтобы смутить население, особенно крестьян, пустить тревожные слухи и пр., но никто из нас ни на секунду не сомневался в том, что нужно немедленно сказать партии, как обстоит дело, потому что сказать, что есть,— значит повысить ответственность каждого члена партии. Партия наша — большая, полумиллионная партия, большой коллектив, с большим опытом, но в этом полумиллионе людей Ленин занимает свое место, которое, товарищи, ни с чем не сравнимо. Нет и не было в историческом прошлом влияния одного лица на судьбы не только одной страны, но на судьбы человечества, не было такого масштаба, не создан он, чтобы позволил нам измерить историческое значение Ленина. И вот почему факт, что он отошел длительно от работы и что положение его тяжко, не мог не внушать глубокой политической тревоги. Конечно, конечно, конечно, мы знаем твердо, что рабочий класс победит. Мы поем: «Никто не даст нам избавленья» — в том числе и «ни герой»... И это верно, но лишь в последнем историческом счете, то есть в конечном счете истории рабочий класс победил бы, если бы на свете не было Маркса, если бы на свете не было Ульянова-Ленина. Рабочий класс вырабатывал бы те идеи, которые ему нужны, те методы, которые ему необходимы, но медленнее. То обстоятельство, что рабочий класс на двух хребтах своего потока поднял такие две фигуры, как Маркс и Ленин, является колоссальным плюсом революции. Маркс — пророк со скрижалями, а Ленин — величайший выполнитель заветов, научающий не пролетарскую аристократию, как Маркс, а классы, народы, на опыте, в тягчайшей обстановке, действуя, маневрируя и побеждая. Этот год в практической работе нам пришлось провести лишь при частичном участии Владимира Ильича. В идейной области мы от него услышали недавно несколько напоминаний и указаний, которых хватит на ряд лет,— по вопросу о крестьянстве, о государственном

аппарате и по национальному... И вот, говорю, нужно было сообщить об ухудшении его здоровья. Мы спрашивали себя с естественной тревогой, какие выводы сделает беспартийная масса, крестьянин, красноармеец, ибо крестьянин в нашем государственном аппарате верит в первую голову Ленину. Помимо всего прочего, Ильич есть великий нравственный капитал госаппарата во взаимоотношениях между рабочим классом и крестьянством. Не подумает ли крестьянин, спрашивали себя иные в нашей среде, что с длительным отстранением от работы Ленина переменится его политика? Как же реагировала партия, рабочая масса, страна?.. После того как появились первые тревожные бюллетени, партия в целом сомкнулась, подтянулась, нравственно приподнялась. Конечно, товарищи, партия состоит из живых людей, у людей есть недостатки, недочеты, и у коммунистов в том числе, есть много «человеческого, слишком человеческого», как говорят немцы, есть групповые и личные столкновения, серьезные и мелочные, есть и будут, ибо без этого большая партия жить не может. Но нравственная сила, политический удельный вес партии определяется тем, что всплывает — при такого рода трагической встряске — наверх: воля к единству, дисциплина или же второстепенное и личное, человеческое, слишком человеческое. И вот, товарищи, я думаю, что этот вывод мы можем теперь уже сделать с полной уверенностью; почувствовал, что она на длительный период лишилась руководства Ленина, партия сомкнулась, отмела все, что могло бы угрожать опасностью ясности ее мысли, единству ее воли, ее боеспособности.

Перед тем как сесть в вагон для поездки сюда, в Харьков, я разговаривал с нашим московским командующим Николаем Ивановичем Мураловым, которого многие из вас знают как старого партийца, о том, как воспринимает красноармеец положение в связи с болезнью Ленина. Муралов мне сказал: «В первый момент весть подействовала как удар молнии, все откликнулись, а затем задумались больше и глубже о Ленине». Да, товарищи, беспартийный красноармеец задумался теперь по-своему, но очень глубоко о роли личности в истории, о том, что мы, люди старшего поколения, когда были гимназистиками, студентиками или молодыми рабочими, изучали по книжкам, в тюрьмах, на каторге, в ссылке, размышляли и спорили об отношении «героя» и «толпы», субъективного фактора и объективных условий и пр. и пр. И вот ныне, в 1923 году, наш молодой красноармеец конкретно задумался об этих вопросах сотнями тысяч умов, а с ним вместе задумался всероссийский, всеукраинский и всякий иной крестьянин сотней миллионов умов о роли личности Ленина в истории. А как же отвечают наши политруки, наши комиссары, секретари ячеек? Они отвечают так: Ленин — гений, гений рождается раз в века, а гениев — вождей рабочего класса — их два только насчитывает мировая история: Маркс и Ленин. Создать гения нельзя даже

и по постановлению могущественнейшей и дисциплинированной партии, но попытаться в наивысшей мере, какая достижима, заменить его во время его отсутствия можно: удвоением коллективных усилий. Вот теория личности и класса, которую в популярной форме наши политруки излагают беспартийному красноармейцу. И это правильная теория: Ленин сейчас не работает — мы должны работать вдвое дружнее, глядеть на опасности вдвое зорче, предохранять от них революцию вдвое настойчивее, использовать возможности строительства вдвое упорнее. И мы это сделаем все — от членов ЦК до беспартийного красноармейца...

Работа у нас, товарищи, очень медлительная, очень частичная, хотя бы в рамках большого плана, методы работы «прозаические»: баланс и калькуляция, продналог и экспорт хлеба — все это мы делаем шаг за шагом, кирпичик к кирпичику... нет ли тут опасности крохоборческого перерождения партии? А подобного перерождения мы также не можем допустить, как и нарушения ее действенного единства, хотя бы в малейшей степени, ибо если даже нынешний период затянется еще «всерьез и надолго», то ведь не навсегда. А может быть, даже и ненадолго. Революционная вспышка широкого масштаба, как начало европейской революции, может явиться раньше, чем многие из нас теперь думают. И если мы из многих стратегических поучений Ленина что должны особенно твердо помнить, так это то, что он называет *политикой крупных поворотов*: сегодня на баррикады, а завтра — в хлев III Государственной думы [92], сегодня призыв к мировой революции, к мировому Октябрю, а завтра — на переговоры с Кюльманом и Черниным, подписывать похабный Брест-Литовский мир. Обстановка переменилась, или мы по-новому учли ее — поход на Запад, «даешь Варшаву»... Обстановку переучли — Рижский мир, тоже довольно похабный мир, как вы знаете все... А затем — упорная работа, кирпичик к кирпичику, экономия, сокращение штатов, проверка: нужно ли пять телефонисток или три, если достаточно трех, не смей сажать пять, ибо мужику придется дать несколько лишних пудов хлеба,— мелкая повседневная крохоборческая работа, а там глядь, из Рура полыхнет пламя революции; что же, оно застигнет нас переродившимися? Нет, товарищи, нет! Мы не перерождаемся, мы меняем методы и приемы, но революционное самосохранение партии остается для нас превыше всего. Балансу учимся и в то же время на Запад и на Восток глядим зорким глазом, и врасплох нас события не застанут. Путем самоочищения и расширения пролетарской базы укрепляем себя... Идем на соглашательство с крестьянством и с мещанством, допускаем нэпманов, но в партию нэпманов и мещанство не пустим, нет, серной кислотой и каленым железом выжжем его из партии. (*Аплодисменты.*) И на XII съезде [93], который будет первым съездом после Октября без Владимира Ильча и вообще одним из немногих съездов

в истории нашей партии без него, мы скажем друг другу, что к числу основных заповедей мы в наше сознание острым резцом впишем, врежем: не окостеневай, помни искусство крутых поворотов, маневрируй, но не растворяйся, входи в соглашение с временным или длительным союзником, но не позволяй ему вклиниться внутрь партии, оставайся самим собой, авангардом мировой революции. И если раздастся с Запада набат — а он раздастся,— то, хоть мы и будем по сию пору, по грудь, погружены в калькуляцию, в баланс и в нэп, мы откликнемся без колебаний и без промедления: мы — революционеры с головы до ног, мы ими были, ими останемся, ими пребудем до конца. (*Бурные аплодисменты, все стоя аплодируют.*)

ОБ УМЕРШЕМ

Ленина нет. Нет более Ленина. Темные законы, управляющие работой кровеносных сосудов, оборвали эту жизнь. Медицина оказалась бессильной совершить то, чего от нее со страстью ждали, требовали миллионы человеческих сердец.

Сколько среди них таких, которые отдали бы, не задумавшись, свою собственную кровь до последней капли, только бы оживить, возродить работу кровеносных сосудов великого вождя, Ленина, Ильича, единственного, неповторимого. Но чудо не совершилось там, где бессильной оказалась наука. И вот Ленина нет. Слова эти обрушиваются на сознание, как гигантская скала в море. Можно ли верить, мыслимо ли признать?

Сознание трудящихся всего мира не захочет принять этот факт, ибо страшно силен еще враг, долог путь, не закончена великая работа — величайшая в истории; ибо Ленин нужен мировому рабочему классу, как, может быть, никогда никто не нужен был в человеческой истории.

Более 10 месяцев длился второй приступ болезни, более тяжкий, чем первый. Кровеносные сосуды, по горькому выражению врачей, все время «играли». Это была страшная игра жизнью Ильича. Можно было ждать и улучшения, почти полного восстановления, но можно было ждать и катастрофы. Мы все ждали выздоровления, а пришла катастрофа. Дыхательный центр мозга отказался служить — и потушил центр гениальнейшей мысли.

И вот нет Ильича. Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. Именно это чувство порождается прежде всего вестью о смерти учителя, вождя.

Как пойдем вперед, найдем ли дорогу, не собьемся ли? Ибо Ленина, товарищи, с нами больше нет!

Ленина нет, но есть ленинизм. Бессмертное в Ленине — его учение, его работа, его метод, его пример — живет в нас, в той партии,

которую он создал, в том первом рабочем государстве, которое он возглавлял и направлял.

Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все — великой милостью истории — родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него. Наша партия есть ленинизм в действии, наша партия есть коллективный вождь трудящихся. В каждом из нас живет частица Ленина — та, что составляет лучшую часть каждого из нас.

Как пойдем вперед? С фонарем ленинизма в руках. Найдем ли дорогу? Коллективной мыслью, коллективной волей партии найдем!

И завтра, и послезавтра, и через неделю, и через месяц мы будем спрашивать себя: неужели Ленина нет? Ибо невероятным, невозможным, чудовищным произволом природы долго еще будет казаться его смерть.

Пусть тот же укол иглы, который мы чувствуем, который будет каждый раз чувствовать сердце при мысли о том, что Ленина более нет, станет для каждого из нас напоминанием, предостережением, призывом: твоя ответственность повысилась. Будь достоин воспитавшего тебя вождя.

В скорби, в трауре, в горе сомкнем наши ряды и сердца, сомкнем их теснее для новых боев.

Товарищи, братья, Ленина с нами нет. Прощай, Ильич! Прощай, вождь!..

Тифлис, вокзал,
22 января 1924 г.

О ПИСАТЕЛЯХ-ДЕМОКРАТАХ













А. Луначарский

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ

«Я оглянулся окрест меня. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала» [1].

Какой величавой и торжественной скорбью веет от этих простых, старинных слов. Вы видите картину: первый человек в своей стране, который оглянулся вокруг, посмотрел человеческим, любящим, критикующим оком и... ужаснулся.

Эти слова произнес пророк и предтеча революции Александр Николаевич Радищев, первый, еще в царствование Екатерины, в пламенных строфах воспевший вольность и восславивший грозный суд народный над царями.

Слава ему!

А. Н. Радищев родился в 1749 году. Он был сын небогатого, но гуманного помещика. Однако вокруг царил весь ужас крепостничества. Понимал ли его маленький Радищев? Это вероятно, как вероятно то, что и родители его, люди добрые, могли осуждать своих диких соседей и рано заронить зерно мучительной жалости и огненного негодования в сердце подрастающего человека великой совести.

Радищев получил очень хорошее образование, сперва под кровом новооткрытого в то время Московского университета [2], а потом в Лейпциге. За границей его прельстила, однако, не столько полусхоластическая немецкая философия, сколько блестящая и свободная мысль великих предшественников Французской революции. Гельвеций, Мабли, Монтескье, Руссо, открывавшие разуму новые горизонты, потрясавшие своей критикой устои старого порядка и мощно двигавшие сознание народов к идеалам народовластия, стали тогда и остались на всю жизнь учителями Радищева.

Сперва это вольномыслие не казалось опасным. Ведь сама Екатерина кокетничала с либерализмом. Но так было лишь, покуда ей и дворянству либерализм этот не стал казаться гибельной угрозой. По мере приближения революции русские власти все круче относились к свободной мысли, еле теплившейся в России, а когда революция во Франции разразилась, императрица ответила на нее свирепыми репрессиями против своих недавних друзей.

Вольнодумный таможенный чиновник Радищев, уже раньше ратовавший за справедливость и имевший столкновения с непосредственным начальством, оказался на самом дурном счету.

Но это его не остановило. Наоборот, революция звала его своим гремящим голосом, и — верный сын и ученик ее — он ответил.

Свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» он начал еще в 1785 году, но кончил и выпустил как раз в дни, когда бушевало во Франции революционное пламя, в 1790 году [3]. Книга разошлась всего в ста экземплярах, но весь Петербург говорил о ней. Редко кто с восхищением: большинство читателей, за безграмотностью народа, принадлежало к врагам идей, которые проводил этот отщепенец своего класса, этот опасный перебежчик в лагерь угнетенного и слепого народа, видимо, затеявший разбудить его.

Екатерина была права, когда она всполошилась. Екатерина была права, признав Радищева мятежником. Он был им, и в том — его немеркнущая слава.

Нет, то был не только гуманист, потрясенный зверствами крепостного права, предшественник кающегося дворянина, вроде либерального Тургенева, то был революционер с головы до ног, в сердце своем носивший эхо мятежного и победоносного Парижа. Не от милости царей ждал он спасения, а «от самого излишества угнетения» [4], то есть от восстания. В своей яркой книге, которую и сейчас читаешь с волнением, он не только, то бичуя, то рыдая, то издеваясь, рисует нам мрак помещичьей и чиновничьей России, он замахивается выше, он прямо грозит самодержавию, он зовет к борьбе с ним всяким оружием и радуется плахе для царей.

О помещиках он говорит:

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем: то, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух! Отъемлем нередко от него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон воспрещает отъяти жизнь, но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у крестьянина постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Се жребий заклепанного в узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола в ярме!» [5]

Так тоном библейского пророка клеймит Радищев свое сословие. В оде «К вольности» он разражается грозою:

О, дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность — дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
В свет рабства тьму ты претвори,
Да Брут и Тель еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся

От гласа твоего цари...
Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордою главой паря.
Ликуйте, скованы народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.
И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его как гражданина
К престолу, где народ воссел... [6]

Печатая в открытой, легальной книге те отрывки из «Вольности», которые я привел, Радищев еще добавляет, что такое будущее ждет именно наше отечество.

Удивительно ли, что по появлении книги автор был арестован и заключен в Петропавловскую крепость [7]? Удивительно ли, что обвинителем против него выступила сама императрица? Удивительно ли, что крамольник приговорен был к смертной казни?

Скорее удивительно, что он все-таки был помилован и смерть заменена ему была десятилетней каторгой в Илимске.

Радищев вернулся лишь при Павле в 1796 году и поселен был в Саратовской губернии [8]. Тело его было сломлено лишениями сибирской жизни. «Взглянув на меня,— пишет он,— всяк может сказать, колико старость предварили мои лета» [9].

Но вот воцарился Александр, в воздухе опять повеяло той вредоносной весной, которою самодержцы порой угощали народ. Она принесла с собой смерть великому человеку, душой пребывавшему верным своим идеям.

Вот что рассказывает об этом Пушкин:

«Император Александр приказал Радищеву изложить свои мысли касательно некоторых гражданских установлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним своим мечтам. Граф Заводовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич! Охота тебе пустословить по-прежнему, или мало тебе было Сибири?» [10]

В этих словах Радищев увидел угрозу; огорченный и испуганный он вернулся домой и... отравился».

Убежденный, как никогда, в неисправимости самодержавия и чувствуя, как далек еще предсказанный им революционный рассвет,

Радищев сказал: «Уйду я лучше от вас, звери, а заветы мои пребудут до лучших дней».

Эти дни пришли.

Победоносная трудовая русская революция ведет беспощадную войну с помещиками, и на ту часть интеллигенции, которая осмелилась стать ей поперек дороги, она наложила тяжелую руку трудовой диктатуры, но не случайно, что первый памятник, воздвигаемый ею, отдает честь помещику и интеллигенту. Ибо тут стоит перед вами образ помещика, отрясшего прах дворянский от ног, с ужасом отошедшего от них и народу принесшего сердце, полное святого гнева и горячей любви. Тут перед вами интеллигент, который знанием своим воспользовался, чтобы бросить яркий луч в ад старого порядка и осветить перед всеми его гнойные язвы.

Вы видите, товарищи: мы заставили для Радищева посторониться Зимний дворец, былое жилище царей. Вы видите: памятник поставлен в бреши, проломанной в ограде дворцового сада. Пусть эта брешь являет собою для вас знамение той двери, которую сломал народ богатырской рукой, прокладывая себе дорогу во дворцы. Памятнику первого пророка и мученика революции не стыдно будет стоять здесь, словно стражу у Зимнего дворца, ибо мы превращаем его во дворец народа: в его кухнях будем готовить для трудящихся пищу телесную, в его Эрмитаже, в его театре и великолепных залах обильно дадим пищу духовную.

Теперь смотрите на величественное и гордое, смелое, полное огня лицо нашего предвестника, как создал его скульптор Шервуд. В нем живет нечто смятенное, вы чувствуете, что бунт шевелится в сердце этого величаво откинувшего орлиную голову человека.

Радищев сам дал характеристику своей души. Вот что говорит он о людях, ему подобных:

«Люди сии, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных путей и вдаются в неизвестные и непреложные. Деятельность есть знаменующее их отличие, и в них-то сродное человеку беспокойство является ясно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно даже до пределов невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану и бога» [11].

Могучую душу носил в себе этот человек, но когда подбирал выражения для общей ее характеристики, то называл ее «умом изящным», и черты этого изящества сумел рядом с мощью и мятежностью придать его голове Шервуд.

Пока мы ставим памятник временный.

Наш вождь Владимир Ильич Ленин подал нам эту мысль: «Ставьте, как можно скорее, хотя бы пока в непрочном материале, возможно больше памятников великим революционерам и тем

мыслителям, поэтам, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и прямоту их чувства. Пусть изваяния предшественников революции послужат краеугольными камнями в здании трудовой социалистической культуры».

В исполнение этого плана [12] мы и ставим здесь первый памятник нашей серии монументальной пропаганды. Но памятник так прекрасен, что мы сейчас же приступим к работе, для того, чтобы открыть его в бронзе на долгие века.

Товарищи! Пусть искра великого огня, который горел в сердце Радищева и отсвет которого ярко освещает вдохновенное лицо его, упадет в сердце каждому из вас, присутствующих на этом открытии, и в сердце всех тех многочисленных прохожих, которые в этом людном месте Петербурга остановятся перед бюстом и на минуту задумаются перед доблестным предком *.

А. Луначарский

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Моя задача будет иметь довольно скромные пределы. В своей статье я ограничусь той новой оценкой Белинского, которая вытекает из нашей великой революции, то есть я постараюсь сделать попытку определить место Белинского в истории русской культуры с точки зрения класса, являющегося носителем Октябрьской революции. Впрочем, и здесь я буду делать не новое дело, так как работа эта проделана еще до революции Г. В. Плехановым [1].

Прежде всего такая крупнейшая фигура, как Белинский, характеризующая собой все, что есть лучшего в русской интеллигенции, могла проявиться только в исключительную эпоху социальной биографии народа вообще и этой его интеллигенции в частности.

Время Белинского было в некотором отношении эпохой пробуждения нации.

Каждая национальная культура с нашей марксистской точки зрения всегда носит классовый характер, то есть определяется культурно-доминирующим классом. Низшие слои русского народа весьма мало влияли на его национальную культуру. Участие, которое крестьянство в своих казацких и сектантских ветвях принимало в истории русской мысли, было смутно и стихийно, да и вообще пробуждение нации совпадает обыкновенно с возникновением осо-

---

* К сожалению, прекрасный бюст уже не стоит перед Зимним дворцом. Скоро придет время, когда мы вернемся к постановке памятников великим революционерам уже в бронзе. Многие из временных памятников в Петербурге были хороши, в Москве они были гораздо менее удачными.— *Прим. авт.*

бого класса носителей культуры, сливающегося с высшими классами или близкого к ним.

Русское дворянство в общем и целом играет в истории русской общественности антикультурную роль, и тем не менее первые 10 лет самосознание в России совпало с возникновением такого самосознания в передовых группах дворянства.

Весна русской поэзии и русской мысли ознаменовалась появлением Пушкина и группы поэтов и писателей, носивших на себе печать дворянской культуры и дворянских подходов в этом творческом акте, которым они подарили весь народ.

Белинский это прекрасно сознавал, и вы, конечно, помните ту яркую характеристику Пушкина, как дворянина, которую Белинский неоднократно повторял [2].

Но если бы это было только дворянское самосознание, то период дворянского культурничества мог бы не входить вовсе в историю русского национального сознания. Надо сказать, однако, что господствующий класс в эпоху своего расцвета, выражая самым ярким образом свои классовые тенденции, в то же время в значительной мере отражает и судьбы всего руководимого ими целого. Дворянство, худо или хорошо, было все же организатором всех сил народа. К этому надо прибавить, что в России с ее азиатским самодержавием передовые группы дворянства быстро определились как оппозиционные. Это тоже давало этим группам право на некоторое время ставить себя как бы во главе всего угнетенного народа.

Дворяне сознавали, конечно, что они принадлежат к господствующему классу, и отсюда патриотический душок, присущий им всем, даже наиболее радикально настроенным. Но все же перед мыслью дворян раскрылись некоторые горизонты, и многие из них далеко опередили казематное самодержавие и крепостную розгу. И еще одно замечание. Если передовой класс какого-нибудь большого народа начинает свою сознательную жизнь, то он, конечно, становится прежде всего перед самыми общими проблемами, перед вопросами природы, жизни и смерти, любви и т. д. В таком смысле он может проделать много общечеловеческого и элементарно важного. И действительно, передовики русской культуры, почти сплошь дворяне, проделали в этом отношении гигантскую работу. Можно сказать, что первые гении каждого народа хватаются, естественно, за самое важное, между тем как последующие, хотя они и не уступают им в гениальности, переходят уже к вопросам более детальным. Позднее появляются эпигоны, которые при всей талантливости вынуждены либо повторять зады, либо придумать новые формальные ухищрения за исчерпанием большинства общеинтересных тем. Только крутые сдвиги самой жизни могут создать в этом отношении совершенно новую, так сказать, весну.

5 Заказ № 1206

Вообще в эпоху Белинского дворянство продолжало играть значительную роль. Лучшие слои дворянства все с большим отвращением относились к собственному своему социально-политическому положению, и это потому, что все более ощущалось давление всей массы русского народа, который как будто начинал просыпаться. Конечно, нельзя было ждать, что народ непосредственно выступит на арену культурной деятельности. Лучшие из дворян как будто служили до некоторой степени ему рупором, и тем не менее было ясно, что необходимо появление новой общественной группы, лишенной дворянских предрассудков, более близкой к народу и в то же время, в отличие от масс, способной овладеть в значительной мере образованием.

В Европе таким классом явилась буржуазия. Широкое развитие городской жизни привело с собою планомерную смену феодализма. В России буржуазия не сыграла очень заметной культурной роли. У нас нет ни одного писателя, который был бы, так сказать, с ног до головы буржуа и который сыграл бы видную роль в истории нашей мысли или нашего искусства. Нужно удивляться прозорливости Белинского, который тем не менее отводил буржуазии большую роль в будущем. Так, он говорит: «Противная вещь буржуазия, но нельзя думать, что буржуазия не нужна. Наоборот, крайне нужна она нам, она может создать почву для развития культуры»[3]. Это свидетельствует о замечательном уме Белинского.

Но, так сказать, замбуржуазией в России оказалась мелкая буржуазная интеллигенция. Я не хочу сказать, чтобы подобный слой не играл никакой роли в Западной Европе. Наоборот, роль его и там очень велика. Но у нас народническая интеллигенция выступила с известной независимостью от классовой тенденции именно в силу известной слабости буржуазии.

В состав интеллигенции новой формации, сменившей собою начиная с конца 50-х годов интеллигенцию дворянскую, во главе народа входили разночинцы[4]. Тут были дети духовных лиц, фельдшеров, мелких чиновников, которые жаждали знания. Правительство, считаясь с непобедимой потребностью государства и хозяйства в образованных людях, вынуждено было открывать перед ними двери школ и сознать, что старого служивого класса недостаточно. Пришлось вызвать нового студента, так сказать, из недр народных или из слоев, близких к этим недрам.

Он пришел оттуда с необыкновенной яркой физиономией, и самым главным представителем его был именно Виссарион Григорьевич Белинский. Типичный интеллигент, разночинец средины XIX века, он был, в сущности говоря, почти пролетарий. Он был нищ, ни с кем и ни с чем не связан. С самых детских годов своих он видел вокруг себя угнетение всего окружающего. Такие люди, как только начинали мыслить, мыслили оппозиционно или даже

революционно. Конечно, разночинцы были верхушками масс. Но все же они принадлежали к этим массам, и знание преломлялось у них враждебно к верхам дворянским и бюрократическим.

Символично, что этот полуобразованный Белинский, которого выгнали из университета[5] за неспособность, обогнал потом своих гениальных собратьев из дворянского класса.

Начиная с 40-х годов он каждую молекулу впитанного им знания превращает в орудие борьбы за самосознание народных масс.

Но тут уже нужно сказать, что такой оппозиционер из народа фатально попадает в невыносимое положение.

«Для чего ты вызван из народа? — может спросить таких людей история. — Тебя вызвали для того, чтобы служить самодержавию».

«Но я не хочу».

«Чего же ты хочешь?»

«Я хочу разрушить эту тюрьму для себя и для народа».

«А есть ли у тебя силы для этого?»

«Я критически мыслящая личность, моя сила в яркости моей идеи и страсти моей эмоции. Я выйду и буду кричать, криком моего сердца я разбужу кого-то сильного».

Кого же сильного мог желать разбудить разночинец? Конечно, такой силой могла быть только народная масса, и в первую голову крестьянство. Позднее разночинцы и перешли к этой работе.

Белинский же уже с самого начала не доверял возможности вызвать в ускоренном порядке пробуждение народных масс. Он был одинок и сознавал свое одиночество. Он говорил: «Мы сделались зрячими. История открыла нам глаза. Не лучше ли было бы, чтобы они закрылись навсегда». Он познал всю скверну мира, для него выявилась пропасть, которая требовала его к переустройству жизни. Он слышал призыв прекратить страдания народа, из которого вышел, и не видел к этому решительно никаких путей. Это одиночество сказывается не только на его внутреннем, но и на его внешнем существовании. Белинский был больше всех одинок. Его мучила эта татарская цензура, постоянная опасность непосредственного давления власти на его судьбу. Что только случайно не обрушивалось на голову Белинского! Его терзала и бедность, преследовавшая его до конца жизни. Он преждевременно умер.

Личность Белинского исторически состоит приблизительно из таких элементов:

1) Резкая критика существующего.

2) Поиски опоры для того, чтобы низвергнуть его гнет.

3) Социалистический идеал, который навязывается сам собою, как наилучшее разрешение вопроса.

4) Известная национальная гордость.

Разночинцам присуще было сознание, что они впервые строят настоящую культуру своего народа и что они должны сделать это дело независимо от правительства и от растущего капитала.

Люди передовые, как Белинский, полагали, что Россия вступит последней в семью демократии, но она сократит все этапы и отольется в новейшие формы человеческой общественности раньше, чем Запад.

То, что Белинский отдался почти целиком литературной критике, непосредственно связано с огромным значением, какое изящная литература играла тогда в России, и, конечно, это не потому, что то поколение было особенно даровито в художественном отношении. Выдающаяся роль литературы объясняется тем, что это была единственная трибуна, с которой можно было говорить сколько-нибудь свободно. Художественное творчество во всех странах, в особенности в Германии, явилось таким же образом языком проснувшихся новых классов. В такую пору искусство всегда стремится к идее и сочетанию эстетических запросов с запросами мысли. Все общественные порывы устремляются через этот клапан.

Реалистическая художественная литература России получает свое полное объяснение из этих соображений. Русская литература чувствовала, несмотря на нажим самодержавия, под собою народную почву. Люди мучались, падали, умирали, но оставались реалистами, они не хотели звать к себе утешительницу-фантазию, они оставались выразителями определенного протеста. В этом особенность физиономии русской литературы того времени. Реализм, необычайная трезвость, яркий смех, карикатура и внутренняя мука доминируют в этой литературе. Белинский был пророком и предтечей русской интеллигенции.

Мне предстоит сказать теперь в кратких словах, как старался он разрешить упомянутые выше, стоявшие перед ним во весь рост проблемы.

В трудах Белинского замечается, во-первых, непосредственная критика существующего, во-вторых, готовность на всякие жертвы для ее исправления.

Если Белинский был бы только романтиком, интеллигентом, поставленным в железные тиски, он решил бы вопрос теоретично. Ведь один раз, опираясь на философию Гегеля, он заявил, что готов примириться с действительностью, облобызать ее и прижать к своей груди. Но каждый нерв кричал в нем, что этого нельзя, что он будет всю жизнь каяться в этом, что действительность отнюдь не разумна. Он признал ее разумной на мгновение, вовсе не потому, что хотел помириться, что мужество покинуло его. Нет, никогда, быть может, не был он так морально прекрасен, как когда писал свое «Бородино» [6]. Он внутренне сознавал свою правоту, ибо что утверждал он? Он утверждал, что всякая критика, всякий идеал, который не поддерживает реальная сила, бесплоден.

Нет, он не был фантастом. Он был настолько борцом, что ему нужны были реальные результаты в этом мире. Он был поклонником силы, энергии и победы. Все это в нем было настолько живо, что он согласился было признать право силы, чтобы только не казаться поклонником бессильного права. Эти металлические элементы в сердцах и душах лучших разночинцев существовали вообще, иначе не могла бы выделиться грандиозная фигура Чернышевского, которую почтительно приветствовал сам Маркс [7]. Будь Белинский несколько менее умен, несколько менее страстен, он не договорился бы до этих чудовищных вещей, но тут и сказалась именно сила его ума.

Конечно, скоро ужас перед кумиром, которого он воздвиг, сразил Белинского и заставил его искать другого исхода. Он вновь возвращается к острой критике, но уже на новой стадии развития, он уже понимает, что критическая личность не может удовлетвориться проповедью, он заявляет, что любит человечество по-маратовски, он увлекается Робеспьером. Вспомните знаменитый разговор его с чиновником у Грановского в изложении Герцена. Чиновник заговорил об образованных странах, где людей критикующих сажают в тюрьму. Тогда Белинский, весь трепеща, возразил: «А в еще более образованных странах защитников старины посылают на гильотину» [8]. Все вплоть до Герцена были тогда испуганы. Да, это был критик, готовый пустить в ход критику оружия — гильотину, как инструмент критики. Он любил человечество той активной любовью, которая в определенные эпохи приводит вождей народных масс к террористическим методам борьбы. Террорист жил в Белинском, но рядом с этим Белинского одолевает тоска. Он чувствует, что еще не пришло время, он гадает о том, когда оно придет, и в этих поисках занимает совершенно оригинальное положение. Он говорит: «Я молюсь на народ, но ждать, чтобы крестьянство само устроило свою жизнь, это то же, что ждать самоорганизации волков в лесу» [9]. Иногда он говорит о народе с настоящей злобой: «Масса инертна. Она сложиться в активную организацию не может. Но ждать другого. Чего?»

И он останавливается на реформах Петра. Он прославляет меньшинство, во главе которого стоял Петр и который в мучительном насильственном процессе толкнул вперед инертную массу. Дело было, конечно, не в том, чтобы благословлять самый петровский строй. Но, по Белинскому, надо принять его как факт, исходить из него. Отсюда мечта Белинского, вокруг которой он всегда ходит. Меньшинство монтаньяров [10], меньшинство якобинцев [11], ясно понимающих интересы народа и защищающих их всеми средствами. Ему мечтается именно такое меньшинство, опирающееся на глухое сочувствие народа. Ему хочется, чтобы оно шло дальше путями Петра [12].

Однако Белинский видел рыхлость окружающей его интеллигенции, знал, что дворянство даже в лучших своих представителях отжило свое время, и готов был приветствовать даже прогресс буржуазии, как подготовляющий почву для культуры. Перспектива у Белинского довольно правильная, почти марксистская. Да и вообще от сугубого идеализма, с которого он начал, его всегда и всего тянуло к материализму. Весь последний период его жизни протекал под знаком Фейербаха. Он совсем ушел от Гегеля. Такова была эволюция Белинского.

Так как Белинский больше высказался как художественный ценитель, чем как публицист, то приходится сказать два слова о его основных тенденциях в этой области.

Белинский, как сын своей эпохи, обладает большим художественным инстинктом. Он звал русских людей к работе в области искусства и старался подготовить их к правильному пониманию художественных задач. Белинский часто колеблется в своих суждениях, но никогда не останавливается на ошибках, сам исправляет их. С этой точки зрения, не останавливаясь на промежуточных этапах, нужно сказать,что Белинский никогда не потворствовал тенденциозному искусству, то есть мнимо художественному выражению голых мыслей. Искусство для Белинского есть особая область, для которой есть свои законы, ничего общего не имеющие с публицистикой. Белинский был во многом настоящим эстетом, но все же он знал, что искусство есть выражение идеи. Он учил, что идеи эти должны проникать сверху донизу произведения искусства и давать ему цельность. Народный художник для него — глашатай народных мыслей, нужд и чувств. Подлинная литература есть, в сущности, творчество народа через его избранников. Искусство для Белинского есть величайшее служение жизни, но служение на особом языке. Отсюда напряженнейшая любовь Белинского к правде, к реализму и неменьшая любовь к чистой художественности, к убедительности. Вы помните знаменитое место из письма к Гоголю, где Белинский пишет: «Мистической экзальтации у нашего мужика нет, у него слишком много смысла и положительного в уме».

На этом зиждутся надежды Белинского на будущие судьбы мужика. Ему кажется, что народ атеистичен, что он против того, чтобы его кормили фантазиями.

«Он прозаичен,— пишет Белинский,— ясен и страшно требователен к жизни» [13]. Белинский ждет, что он пойдет по пути осуществления своих идеалов, а не мечтаний о потустороннем мире.

Мы знаем свидетельства Кавелина о том, что Белинский первый говорил, что Россия по-своему скорей, лучше и мощнее разрешит вопрос о взаимоотношении труда и капитала, чем Западная Европа [14].

В этом была своеобразная национальная гордость Белинского.

Вы помните, что Добролюбов в своем отзыве о Белинском говорит: «Что бы ни случилось с русской литературой, Белинский будет ее гордостью, ее славой и украшением» [15].

Плеханов не удовлетворился этим, он прибавляет: «К этому необходимо прибавить, что Белинский оплодотворил общественную мысль и открыл новые горизонты чутьем гениального социолога». Добролюбов хочет сказать: Белинский всегда останется для нас дорогим памятником лучших начинаний нашей молодости. А Плеханов утверждает: «Он еще не закончен, Белинский. Это какой-то угол, который раскрывается дальше, и вся русская общественность есть продолжение проблемы, поставленной Белинским» [16].

И мы скажем после Плеханова, что русская общественность разрешает, начиная с Октябрьской революции, практически разрешает ту же проблему. Маркс, ставя ее, в свою очередь говорил: «Только идеал, опирающийся на массу, становится силой» [17].

В чем заключалось ликование 90-х годов? В том, что гора пришла наконец к Магомету. Социалистическая мысль обрела опору в рабочем классе. Рабочий класс — руководящий маяк социалистической мысли. Когда наши оппортунисты утверждали, что рабочий класс сам найдет свой путь, Ленин опровергал это и требовал от передовой интеллигенции, от «революционных микробов» сократить пути исканий рабочего класса, прививая им высшие формы сознания, открытые на Западе [18].

Мечта Белинского об опирающемся на массы, остро мыслящем активном дисциплинированном меньшинстве осуществлена Российской Коммунистической партией. В этом нашли мы реальное разрешение проблемы Белинского. Постепенно, начиная со времени Белинского, все шире вливается в намеченное его проблемой русло большая и большая ширь народной силы. Мы находимся посредине полноводья этой реки, но у истоков ее все еще видна колоссальная фигура Белинского, с глазами, впиренными в туман. Он стоит там, величественный пророк с орлиными очами, первый апостол нашего народного сознания.

А. Луначарский

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

В наше горячее революционное время мы привыкли к тому необыкновенному явлению, когда совсем молодые люди в ничтожный, короткий срок своей деятельности выполняют громаднейшие задачи и оставляют позади себя глубокий светлый след, но в тяжелое душное время худшей эпохи царского режима суметь в несколько лет, умерев совсем еще молодым, составить себе

всероссийское имя, потрясти сердца современников, переделать тысячу умов, вписать свое имя бессмертными штрихами в историю своей родины и заслуженно завоевать себе право в дни пробуждения российского трудового народа получить из его рук памятник — мог только человек гениальный.

Добролюбов был гениальный человек. В нем мы замечаем очаровательное соединение крупных черт характера и таланта, редко встречающихся вместе. Его считали холодным, насмешливым, разрушительным, своего рода Мефистофелем [1],— это отчасти было так. Ум его был острый, проницательный и беспощадный. Некоторые черты своего нигилиста Базарова [2] Тургенев списал с него. Своими издевательствами сверху вниз Добролюбов выводил из себя розовых либералов-идеалистов. Он знал цену фразам и с горьким смехом разбивал хрупкий фарфор всякого барского прекраснодушия. В то же время это был человек с нежнейшим сердцем. Смолоду, с тех школьных годов, к которым относится позднее найденное Чернышевским влюбленное письмо к своему учителю [3], и в течение всей своей жизни Добролюбов был человеком золотого сердца, трогательной и кроткой нежности по отношению ко всем близким. В то же время сердце его было преисполнено горячей страсти, а это толкало его часто на вспышки гнева, всегда благородные, всегда лишенные какого бы то ни было оттенка личных счетов, но жгучие и карающие.

Гордый, казалось, вполне знающий себе цену, имеющий возможность в сотнях литературных схваток оценить свою силу, он был вместе с тем до странности скромен и еще незадолго до своей смерти писал: «Я не дорожу своими трудами, не подписываю их и очень рад, что никто их не читает» [4]. А между тем после его смерти сочинения его разошлись в семи изданиях [5]. Его место обеспечено теперь в каждой библиотеке, и в то время как многие и многие по тому времени знаменитые ученые и профессора давно и основательно забыты, Добролюбов не будет забыт никогда, пока звучит где-нибудь русская речь.

Центр тяжести деятельности Добролюбова заключается в его литературно-критических статьях. Он обладал большим вкусом и редко ошибался в своих художественных этических суждениях, тем не менее в его сочинениях важна не эта сторона. Всякая критико-литературная статья его есть, в сущности, трактат по социальному вопросу. В то время в России проповедовать социализм открыто было, конечно, невозможно. Чернышевский одевал его то в форму романа, то в ту же, что у Добролюбова, форму критических статей, но он всегда отдавал должное изумительному искусству, с которым Добролюбов по поводу того или другого романа или драмы развертывал с ослепительным остроумием и огромной убедительностью целые трактаты, полные социалистической пропаганды.

Добролюбов — один из величайших русских социалистов, соратник, равный Чернышевскому. В великих людях трогательно умение ценить друг друга. Добролюбов благоговел перед Чернышевским, а Чернышевский неизменно отдавал пальму первенства своему молодому другу.

Рядом с такого рода критическими статьями, как «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», незабываемыми публицистическими поэмами, нельзя не отметить также юмористических стихотворений и набросков Добролюбова в приложении к «Современнику»[6] — «Свистке»[7]. Никоим образом нельзя допустить, чтобы «Свисток» Добролюбова был забыт. По форме он всегда очарователен, остроумен, как эпиграммы Гейне или Пушкина, а по содержанию он очень часто так весок и так меток, что многие и многие из этих стихотворений заслуживают быть источником цитат, которыми сейчас красный Петроград хочет украсить свои монументальные стены. Порою среди этих ядовитых стрел разящего остроумия молодого семинариста попадаются задушевные лирические вещи, вроде «Милый друг, я умираю».

Русский народ должен был переносить постановку неуклюжих памятников неуклюжим царям в то время, как не почтёнными оставались имена его борцов в пору предрассветных сумерек; теперь мы начинаем низвергать медных истуканов, позорящих города России, и ставить для вечной чести и памяти монументы[8] великим сынам народа, имевшим мужество поднять смелый голос в тяжелую эпоху и прокладывавшим тропинки в тех местах, где теперь общими силами трудовые массы строят свою широкую дорогу к счастью и свободе.

А. Луначарский

К ЮБИЛЕЮ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Юбилей Николая Гавриловича Чернышевского не может пройти бесследно для нас. Дело здесь не только в официальной чести, которую воздаст ему Советская власть; необходимо, чтобы население — пролетариат и крестьянство — почувствовало, каким родным для них был этот великий человек, крупнейший из предтеч коммунизма в нашей стране.

Сейчас любят вести споры о том, был ли Чернышевский марксистом до Маркса — во всяком случае, до прочтения великих произведений Маркса — или, наоборот, социалистом-утопистом. Мы думаем, что эти вопросы, имея известный научный интерес, ни в какой мере не являются решающими для определения величия Чернышевского как революционного мыслителя.

Чернышевский был, конечно, революционером домарксистского периода. В его сочинениях мы находим очень много идей, неприемлемых для нас, с нашей точки зрения, отсталых. Но даже эти идеи были самыми передовыми для того времени, в особенности для России.

Рядом с этим мы находим, однако, такое проникновение в сущность социальной жизни, такой глубокий анализ, который поднимает самостоятельную мысль Чернышевского почти до уровня марксистской мысли, несмотря на то что базой для него была отсталая Россия. Это почувствовал и понял прежде всего сам Маркс, внимательно читавший произведения Чернышевского, не всегда с ним соглашавшийся, но в сумме, в итоге признававший его великим экономистом-мыслителем [1].

Плеханов, критически относившийся к Чернышевскому, которого в то время считали своим богом и учителем народники, естественно, должен был прежде всего подчеркнуть ошибки Чернышевского и доказать, что именно эти ошибки восприняты его выродившимися эпигонами [2]. Нам нечего отнимать Чернышевского у народников, у эсеров. Мы прекрасно понимаем, что Чернышевский наш. Мы признаем правильность критических замечаний Плеханова. Но если даже Плеханов, которому пришлось отчасти развенчивать Чернышевского, находить на нем пятна, все-таки проникнут был величайшим к нему уважением и несомненной горячей симпатией, то мы безоговорочно можем провозгласить Чернышевского нашим идейным предком по прямой линии. Влияние на формирование мысли передовых людей нашей страны, на наш материализм, на нашу революционную ненависть к гнету и мраку, влияние на устремление лучших сил нашей страны к социализму, которое оказал Чернышевский, было необъятно и, вероятно, превышает влияние какого бы то ни было другого мыслителя, предшествовавшего марксизму и ленинизму.

Рядом с этим мы не можем не восстановить истину о Чернышевском как о человеке. Сколько вздору наговорили либеральные дворяне вокруг его личности! Говорили об его сухости, об отсутствии в нем всякой эстетики, об его угловатом семинарском нигилизме [3]. Теперь, когда мы начинаем проникать в самую глубину человеческой натуры Чернышевского, когда мы имеем множество свидетельств о нем, его собственные дневники, мы останавливаемся перед этой фигурой совершенно очарованными. Рядом с резкостью полемиста, рядом с глубоким жизненным реализмом передового, материалистически мыслящего человека мы находим в Чернышевском трогательную нежность по отношению к друзьям (например, Добролюбову), горячую поэтическую любовь по отношению к женщине (к Ольге Сократовне Чернышевской), поразительное отсутствие личного честолюбия, пламенную преданность вели-

ким революционным идеям, задушевное понимание тончайших форм искусства (знаменитое письмо Чернышевского к Некрасову [4]). Облик Чернышевского встает перед нами в таком изумительном благородстве, в такой законченности, что мы и сейчас можем личность Чернышевского ставить в образец нашей молодежи, ищущей, между прочим, и путей для своей личной этики, для своего индивидуального облика.

Я бережно ношу в себе слова Надежды Константиновны Крупской, сказанные ею мне недавно, в пору моей интенсивной работы над Чернышевским: «Владимир Ильич очень любил Чернышевского, может быть, больше всех других мыслителей и деятелей прошлого, и мне кажется, что было нечто общее между Владимиром Ильичем и Чернышевским».

Да, несомненно, было общее. Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи, которая соответствовала громадной подвижности мысли, в широте и глубине суждений, в революционном пламени, который никогда, однако, не перерождался в трескучую фразу, в этом соединении огромного содержания и внешней скромности и, наконец, в моральном облике обоих этих людей. Если мы справедливо называем Ленина первым человеком-социалистом, то мы можем сказать, что в этом житейско-этическом отношении, в этом облике прежде всего коллективиста Чернышевский был предшественником Ленина. Несмотря на то что деятельность его относится к далекому прошлому, что многое в его сочинениях уже превзойдено, избранное собрание его сочинений и его биография являются живейшим источником для нашей собственной мысли, для нашего собственного творчества.

В Чернышевском мы чтим отнюдь не великого мертвеца, а все еще живого соратника в общем для него и для нас деле.

А. Луначарский

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

I

Юбилей Герцена проходит с симптоматическим подъемом. Судя по газетам, несмотря на некоторые «независящие препятствия», и в России состоялся ряд торжественных чествований, а пресса помянула великого отца прогрессивной мысли в России целым морем восторженных статей, среди которых есть и искренно прочувствованные и глубокие.

В нашей несчастной зарубежной России, в этом случае счастливой, потому что беззапретной, интерес подросшего ныне

поколения к Герцену сказался с значительной яркостью. На чествовании великого писателя в Париже [1], в котором пишущий эти строки принимал участие, было не менее полутора тысяч публики, по преимуществу молодежи. Но Париж, русский Париж, этим не удовлетворился и повторил чествование при участии Максима Горького [2]. Этот вечер собрал совершенно неслыханное количество почитателей чествуемого — около шести тысяч!

Таких многолюдных собраний почти никогда не устраивает и сам французский Париж. С большим подъемом прошло, по слухам, и чествование в Ницце, где говорил Плеханов [3]. В Женеве и Лозанне, где мне лично пришлось читать юбилейные рефераты,— опять исключительное число слушателей.

Думаете ли вы, читатель, что так же обстояло бы дело, если бы столетие рождения нашего идейного родоначальника случилось на два-три года раньше? Я не думаю.

Да, Герцен, к великой радости нашей, воскресает. Пожелаем от всей души великого успеха воскресающему.

Молодой читатель или, скажем, вообще мало знакомый с Герценом читатель из внимательного и любовного изучения, быть может, вновь открывающегося для него классика русской литературы вынесет не только бездну самого возвышающего художественного наслаждения, не только наглядное, несравненное по яркости знакомство с той глубоко знаменательной эпохой, свидетелем которой был Герцен, но почувствует и освобождающую силу этого до дна свободного гения.

Герцен — непреклонный враг всяких догм — может способствовать, во-первых, освобождению ума.

У нас принято значительной частью передовых людей гордиться догматизмом и ортодоксальностью. Некоторый оттенок «чести» в этом отношении оправдывается, когда дело идет о таких величественных синтезах, как, скажем, марксовские. Но как бы ни была величественна и богата идея — замкнувшись в себе, огородив себя столь чуждыми самим Марксу и Энгельсу представлениями правоверия и ереси, готовая преследовать всякую критику под предлогом борьбы с «буржуазными влияниями», и она неминуемо обречена была бы на омертвение. Правда, в передовом миросозерцании пролетариата столько мощи и молодости, столько есть объективных оснований верить в его будущее, что не бояться за него приходится, а просто жалеть тех, особенно молодых, кто по неразумию охотно продает за сектантское отличие, особливо нерассуждающего правоверия, право свободы мысли. О, Герцен тут может быть полезен чрезвычайно, ибо чувство свободы — это стихия его, нашедшая себе подкупающее прекрасное выражение во многих вдохновенных страницах.

Но еще важнее то, что Герцен может нам помочь раскрепостить наше чувство. Позор тому, кто в наши дни не только осмелился бы стараться усадить чувство на законный трон разума с его объективными мерилами, с его победоносными индуктивными методами, его строжайше обоснованными, не могущими обмануть дедукциями, но и тому, кто романтический трон чувства попытался бы поставить рядом с троном научного реализма. Такого рода переворот в духе психологического двоевластия чреват был бы бедами, из пояса которых мы лишь недавно и с трудом вышли, покончив с утопизмом.

Но мы словно стараемся целиком превратиться в рассуждальщиков и вычисляльщиков, мы словно конфузимся живого чувства, непосредственной страсти, пафоса, он нам кажется подозрительным и как бы неприличествующим нашему исторически зрелому возрасту *. Эта односторонность горестна и некрасива. Мы обедняем нашу внутреннюю жизнь, мы забываем, что лишь то прочно вошло в нас, лишь с тем прочно связаны мы, что чувственно нами постигнуто, что волнует нас, что мы *полюбили*. Надо любить, надо ненавидеть — и не так, что это, мол, как-то там само собой сделается, а мы займемся лишь конторой, помещающейся у нас в верхнем этаже. Нет, чувство не должно быть предоставлено стихийному самоопределению, оно должно быть *воспитано*. Воспитание чувства в духе любви к великим целям жизни есть дело, по важности следующее непосредственно за уяснением характера этих целей и путей к ним.

Герцен был человеком огромных, ослепительно ярких чувствований, все окрашивавших для него в живейшие, бурнопламенные краски. Это и делало его, конечно, тем несравненным художником-публицистом, каким он был. И лично его знавший Белинский, и чутко понимавший его Толстой отмечают в нем преобладание сердца, а между тем и об уме его Белинский восклицал: «И на что дает бог одному человеку столько ума!» [4]

Сила чувства делала возможными для Герцена чудеса: интимнейшие переживания свои умеет он превращать в ценности общезначимые, личную драму в трагедию, в психологическую эпопею общечеловеческой значительности, и равным образом отдаленнейшие пространственно и временно события, абстрактнейшие, общественнейшие вопросы переживать как нечто глубоко личное, волнующее все страсти, да и нас заставить так переживать.

Мы должны учиться у Герцена страстному, личному, кровному отношению к общественности. Не бойтесь, это не помешает нашему объективизму!

---

* Революция, конечно, сильно ослабила это явление, но не устранила его.— *Прим. авт., 1923 г.*

Я не предполагаю в небольшой статье растекаться по всем направлениям многоветвистой натуры и мысли Герцена. Я хочу сосредоточить внимание читателя на одном: на титаническом конфликте в душе великана двух одинаково необходимых человеку, но принципиально противоположных начал, примирить которые на правильном компромиссе — это вечно новая, пластическая, творческая задача для каждой культуры, каждого класса, каждого поколения.

При этом мы примем во внимание главным образом период жизни Герцена, в который конфликт этот принял наиболее мучительный и вместе с тем глубокий и плодотворный характер, то есть время после страшного потрясения, перенесенного Герценом, вследствие поражения в июне 48 года французского пролетариата, а вместе с ним революционных надежд Европы [5].

Изумительная книга, которая остается вечным памятником этой бесконечно поучительной внутренней трагедии, книга, которую сам автор считал лучшим своим произведением,— «С того берега» — несколько хаотична: мысли бегут, сталкиваются, кружатся в бешено роскошном изобилии, клокочут полные муки, то обгоняя, то отставая, не только без логической стройности от статьи к статье этого сборника, писавшегося 12 лет [6], но и без строгой последовательности зачастую в той же статье.

Нет сомнения, конечно, что это — книга великих и тяжелых мыслей, но это также книга настоящих бурь, разнообразнейших и интенсивнейших эмоций.

Мы постараемся, так сказать, схематически вытянуть страстные размышления искателя истины в одну более или менее строгую логическую линию, представить переживания Герцена как повторные попытки решения все той же проблемы, попытки, увенчавшиеся наконец относительным успехом, то есть решением, давшим Герцену довольно длительное успокоение.

Один несчастный крепостной назвал маленького Сашу «добрым отпрыском гнилого древа» [7]. Отщепенец барской среды, Герцен явился величественным знамением того факта, что сознание русское — на вершинах своих, по крайней мере,— мощно переросло русскую действительность.

Николаевский режим [8], крепостное право, тусклая обывательщина, вся страшная казарменность замордованной России были фоном для отчаянного, буйного протеста личности, жаждущей выпрямиться, стремящейся к собственному широкому счастью и к счастью окружающих. Естественное благородство сильной юности, окрыленное слухами об эпопее освободительной борьбы на Западе, вознеслось бесконечно высоко над унылой равниной мрачного тогдашнего быта. И молодому орлу ничто не могло служить путами. Он несся прямо к солнцу. Отрицая то, что он вокруг себя видел, Герцен старался формулировать свои требова-

ния, свое «желание», свое «должное» в самых абсолютных, опьяняющих широтой и богатством формулах.

Уже в более позднее время Герцен так характеризовал свой молодой идеализм, свой первоначальный романтизм:

«Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии... Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением. Что собственно мы проповедовали — трудно сказать. Но пуще всего проповедовали ненависть ко всему злу, ко всякому произволу» [9]. «Новый мир,— говорил он,— толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном» [10].

Идеи утопического социализма [11] стали религией Герцена, и этот варвар из грязной России, с ее курными избами, розгами и казематами, на меньшем ни за что бы не помирился.

И ненависть, и любовь с детства принимают у Герцена известную картинность, нисколько не мешавшую искренности, а, напротив, легко доводившую до состояний экстатических, в которых расходившиеся волны чувства легко топили огонь критики. Сцена самопосвящения Герцена и Огарева еще мальчиками в рыцари свободы — эта всем нам памятная и дорогая сцена — останется типичной для Герцена на всю жизнь, и весь его змиемудрый, мефистофелевский скептицизм не поможет ему стать слишком старым для этой благородной, вечно молодой экзальтации.

Помните?

«Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался в необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» [12].

И оба исполнили свою клятву.

Непримиримость на малом, яркость фантазии, могущей как бы воочию рисовать будущее, готовность всем сердцем отдаться любимому делу, отзывчивость неистовая, почти, как у Белинского,— вот силы, которые делали романтизм Герцена неискоренимым. Мы видим, что он колеблется порой и как будто готов совсем пасть под ударами своего леденящего противника, но в конце концов он всегда побеждает у Герцена. И это значит, что побеждает жизнь, хотя бы ценою иллюзии.

Герцен от природы был одарен огромной наблюдательностью, так часто идущей об руку с иронией, действительно рано проглянувшей в нем: ведь умный наблюдатель человечества не может же не улыбаться его слабостям! А Герцен был умен чрезвычайно. Ослепляемый собственными страстями, беспомощный часто перед

иллюзиями, порожденными его собственной любовью, он превращался в беспощадного критика, вооруженного великолепно отточенными скальпелями и усовершенствованными микроскопами, когда дело шло об ироническом анализе чужих увлечений. Стоило только, чтобы какая-нибудь идея оторвалась от герценовского сердца, перестала быть живою частью его организма — и он клал ее на анатомический стол и препарировал великолепно. Этот дар критики предрасполагал Герцена с самых юных лет к недоверчивому отношению перед лицом всяких горячих или только подогретых верований. Поэтому он легче и глубже, чем другие славные и даровитые друзья его, проник в дух великой объективной философии Гегеля.

Мы здесь лишены возможности заниматься сравнениями гегельянства [13] отдельных людей 40-х годов. Скажем лишь, что реализм, объективизм гегелевской системы поразил Герцена не менее, чем присущая ей непоколебимая уверенность в постепенном торжестве высших начал в истории человечества.

В отличие от Фихте, Гегель с издевательствами обрушился на заносчивых критиков действительности и ее переделывателей. Это не значит, конечно, что Гегель проповедовал апатию, атараксию, индифферентизм, неделание. Нисколько. Он звал, наоборот, к живой деятельности, но в рамках объективного движения общества вперед. Смешны с его точки зрения попытки обогнать свое время или задержать величавый марш прогресса: надобно понять разумное, то есть то, что разрешает противоречие сегодняшнего дня и может нашими усилиями превратиться в действительность дня грядущего. В этом смысле все разумное является действительной силой, действенной. Все же неразумное в действительности, изжившее себя — отмирает, быть может, медленно, но неизбежно. Поэтому действительность вся разумна в ее течении, в ее борении, где молодое, сильное — победоносно.

Гегельянец — революционер, но революционер не во имя *своей* страсти, не во имя *личных* чаяний, а во имя объективно понятых противоречий общества, активно предугаданных путей его развития.

Герцен старался быть гегельянцем в этом смысле, то есть в том, в каком гегельянцем был Маркс.

Герцен сделал даже еще один шаг в том направлении, в котором так гигантски высоко уйдет вперед Маркс: он признал вместе с Фейербахом, что законы развития среды не могут быть постигнуты по простой аналогии с законами мышления, но должны быть открыты эмпирическим путем и формулированы с бесстрастной точностью.

Между реализмом и романтизмом Герцена не было строго определенной связи. В тех случаях, когда линии желательного

и действительного расходились катастрофически резко, две души Герцена входили между собой в острейший конфликт. Самую сильную такую бурю Герцен перенес после июньской революции.

Июньское поражение погрузило Герцена в глубокое отчаяние. Уже предшествовавшие впечатления достаточно питали прирожденный его скептицизм. Но подобного крушения он не ожидал. Крушения не только политического, но и морального.

«Страшное опустошение. Половина надежд, половина верований убито, мысли отрицания, отчаяния бродят в голове, укореняются. Предполагать нельзя было, что в душе нашей, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого!» [14]

«От этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни» [15].

«После таких потрясений живой человек не остается по-старому: душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение — и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, нося смерть в груди, или он, мужественно и скрепя сердце, отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий весенний ветер. Что лучше? Мудрено сказать. Одно ведет к блаженству безумия. Другое — к несчастью знания. Я избираю знание — и пусть оно лишит меня последних утешений: я пойду нравственным нищим по белому свету, но с корнем вон детские надежды! Все их под суд неподкупного разума!» [16]

Таким образом, Герцен решительно вступает на путь воинственного реализма. Да, конечно, скрепя сердце, но все же решительно.

И прежде всего нападает на самый дух романтизма, как таковой. Он обвиняет в переживаемом им крахе идеалистическое воспитание, «клятвы, данные раньше познания» [17].

«Мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает, *возмущаемся против естественных условий жизни* и покоряемся произвольному вздору» [18].

Разве тут не звучит уже гегельянство почти по образу увлечений Белинского? Идеал — произвольный вздор, не надо возмущаться против естественных условий жизни!

«Наша цивилизация завершила весь свой путь с двумя знаменами в руках: «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» — на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не любим простого, мы

не уважаем природы по преданию, хотим распоряжаться ею... а жизнь и природа равнодушно идут своим путем»[19].

Конечно, в этом нет отказа от всякой деятельности, ибо Герцен прибавляет, что природа покоряется человеку «по мере того, как он научается действовать ее же средствами»[20]. Но не ясно ли по всему контексту, что это значит — самому подчиниться природе? Реализм Герцена здесь еще активный. Это своего рода поссибилизм[21], но он не остановится и перед тем, чтобы осудить всякую активность. В боли своего разочарования он в ослеплении бьет молотом в лицо всем своим богам и бросает осколки их под ноги «Природе».

Он старается научиться «уважать природу».

«Кто ограничил цивилизацию забором? Она бесконечна, как мысль, как искусство, она чертит идеал жизни, она мечтает апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанности исполнить ее фантазии и мысли, тем более, что *это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Природа* рада достигнутому и *домогается высшего.* Вот отчего так трудно произведения природы вытянуть в прямую линию. Природа ненавидит фрунт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед»[22].

Итак, Герцен исповедует веру в высшую мудрость, красоту и широту природы, так что ему как будто вовсе не трудно отказаться от мысли, что цивилизация, «мечтая свою апотеозу», не занимается только детскими грезами. Какова наша человеческая роль в этом процессе? Существует ли рядом с ним, со стихийным процессом,— в котором нет ни худшего, ни лучшего,— разумный прогресс, результат сознательного творчества?

Нет! Герцен с особенным озлоблением обрушивается на идею прогресса. Она обманула его — и он мстит ей. Прогресс — романтизм. Реализм знает лишь процесс.

Приведу in extenso знаменитое место, в котором публицисты, вроде г. Иванова-Разумника, видят верх мудрости, а мы — полное тоски самозаклание Герцена-романтика перед Герценом-реалистом.

«Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который по мере приближения к нему тружеников вместо награды пятится и на все жалобы изнуренных и обреченных на гибель отвечает лишь горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Уже одна идея бесконечности прогресса должна была насторожить людей. Цель бесконечно далекая — не цель, а если хотите — уловка. Цель должна быть ближе, по крайней мере, заработанная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства»[23].

Герцен неоднократно возвращался к этой идее *самодовлеющего смысла индивидуальной жизни*. Если нет прогресса, то это, конечно, единственное, что мы можем признать ценным. Но присмотритесь даже к выписанным нами тирадам. Герцен согласен допустить награду в виде наслаждения трудом. Но если человек получает такое наслаждение, лишь строя колоссальное, закладывая фундамент, на котором здания будут возводить сыновья и внуки? Что, если труд мелкого масштаба, не связанный с бесконечным ростом культуры, не дает такого захватывающего наслаждения? Должен ли всякий человек действовать согласно правилу après moi le déluge *? Или, может быть, работать иначе, работать *исторически* всегда значит обманывать себя? Но, ведь, по Герцену, «развиваются новые требования, отыскиваются новые средства». Но или я совершенно не понимаю, что значит прогресс, или *по-человечески* он означает постоянный рост потребностей и рост возможностей удовлетворить их или, как выражался Маркс, рост богатства человеческой природы [24]. И Герцену так хочется придать своему процессу все четыре прогресса, что он добавляет: «Наконец, само вещество мозга улучшается».

Правда, Герцен приводит при этом в пример быков [25]. Ему хочется придать своей мысли оттенок, так сказать, пассивности, отметить просто дар, премию природы в смене самодовлеющих поколений. Но «церебрин» улучшается у людей не таким образом, а вследствие усложнения сознательными усилиями завоевывается. И конечно, в обществе, где старое поколение больше заботится о новом, чем о себе, этот «процесс-прогресс» идет особенно быстро.

Но Герцен опомнился. Скорее восстановить природу в ее апрогрессивности. «Цель для каждого поколения — оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами достижения будущего, но она вовсе о будущем не заботится: она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину, лишь бы потешиться настоящим, у нее сердце баядеры и вакханки» [26].

Пусть так. Но должно ли и человечество сделаться такой баядерой? Нужно отказаться от предвидения? Не в этом ли отличие наше от стихий и наша гордость и залог наших побед? Урезать предвидение, заставить человека не смотреть дальше своего носа — разве это не ужасающий обскурантизм?

Вы видите, как Герцен смел.

«Сердитесь, сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе. Он идет своим путем, и никто не в силах сбить его с дороги» [27].

С великим азартом бунтовщик против идеалов восклицает: «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить

---

* — после меня хоть потоп! *(франц.)* — *Ред.*

в человечество не смешно, верить в царство небесное глупо, а верить в земные утопии умно. Отбросивши положительную религию, мы останемся при старых привычках и, утратив рай на небе, хвастаемся нашей верой в рай на земле!» [28]

Дальше идти некуда. Думаете ли вы, что Герцен доволен своей мудростью? Нет, он страшно тоскует.

Свою мудрость абсолютного или близорукого реализма Герцен вкладывает в уста пожилому собеседнику неких горько сетующих и романтично-пессимистически настроенных молодых людей и дам. Нетрудно, однако, заметить, что в уста этим молодым Герценом вложено много слишком сильных лирических жалоб, чтобы нельзя было заподозрить его тайного сочувствия им.

Один из победоноснейших реалистических диалогов кончается так:

— У нас остается одно благо — спокойная совесть, утешительное сознание, что мы не испугались истины.

— И только?

— Будто этого не довольно? Впрочем, нет... У нас могут быть еще личные отношения... если при этом немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климат... Чего же больше?

— Но такого спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.

— Я поеду в Америку.

— Там очень скучно.

— Это правда [29].

Но Герцену было бы скучно во всяком тихом и теплом углу! То, чем он рекомендует утешаться, ведь это богадельня для духовных инвалидов!

Вот почему Герцен, особенно в этот период своей жизни, так часто говорит о трагизме положения тех, кто обогнал свое время, да и вообще критически мыслящих единиц.

Но могучая натура его не удовлетворилась этим решением вопроса, не дававшим утешения ему по плечу, констатировавшим безысходность, а не открывавшим выход.

Кроме первой антиномии — реализм contra романтизм — и выше ее Герцен строит другую: новый мир против старого.

Что же такое старый мир? Тут надо удивляться остроте критического анализа Герцена. Тут он гениально перерастает большинство величайших современников. Старый мир — это не только все то, против чего боролись адепты свободомыслия, глашатаи демократии, паладины республики,— нет. Старый мир также и все эти столь долго лелеянные, стольких жертв стоившие принципы. С сожалением, отчасти даже с презрением смотрит Герцен на тех, кто и после июня не понял пустоты, отсталости, коренной недостаточности буржуазного радикализма.

Старый мир, словом, не только твердыни добуржуазного порядка, не только вновь возведенные окопы порядка крупнобуржуазного, но и сама революция, как понимали ее вожди республиканской демократии, передовой мелкой буржуазии.

Герцен все яснее приходит к истине, что, критикуя строительство будущего и идею прогресса, он разрушает собственно лишь специфическое, мелкобуржуазно-утопическое строительство и ледрю-ролленовскую схему прогресса [30].

С этой точки зрения положение не кажется уже ему столь безнадежным. Новый мир подымается на глазах среди хаоса и распада — и вместо того, чтобы искать теплого и спокойного лазарета в Америке, нельзя ли поискать путей к этому новому миру, к новому строителю и его новому прогрессу?

Иные хвалят Герцена за его критику буржуазно-демократических идеалов, соглашаются с ним, что именно его варварская русская «свобода» от традиций помогла ему раньше западных вождей демократии освободиться от иллюзий «свободы, братства и равенства» в их буржуазной абстрактности, но отрицают возможность для Герцена, кроме критики, найти и положительное обетование, полагают, что нового мира он совсем не видал.

Это ошибка. Не только параллельно Марксу Герцен до дна прозрел ограниченность и утопичность демократизма, как решения социальной проблемы, но параллельно ему указал именно на пролетариат, как на носителя дальнейшего движения, новой фазы общественного развития. На это у Герцена можно найти вполне недвусмысленные указания.

«Сила социальных идей велика,— пишет он,— особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского порядка — пролетарий, работник, которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все плоды ее» [31].

«Работник не хочет больше работать на другого,— говорит он далее,— вот вам и конец антропофагии *, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники еще не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании: когда они протянут друг другу руку, тогда вы распроститесь с вашей роскошью, вашим досугом, вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на выработание светлой жизни меньшинству. В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком, кончена потому, что никто не считает ее справедливой» [32].

Итак, весь вопрос — когда и как кончится она и реально. Что кончится — в этом у Герцена нет сомнений.

Не вышел ли измученный искатель на дорогу? *Здесь* не окажется ли совпадения между активным прогрессом и объективным

---

* — людоедство.— *Ред.*

процессом? Не скажет ли он с Марксом сначала, что соединение силы пролетариата и идеи социализма есть гарантия успеха обоих? А потом не откроет ли, хотя бы следом за Марксом, что и стихии развития производственной основы общества имеют тенденцию, совпадающую с идеалами пролетариата?

Нет.

Герцен ясно видит «другой берег», но не может на него попасть. Он ему чужд и страшен. Постоянно различает он — «мы» и «они», то есть пролетарии. Казалось, сбросил прах этого берега с ног, а нет — какое-то болото засосало и не пускает. Казалось бы, с очевидностью видит, куда стремится постепенно крепнущий и организующий свои силы пролетариат, а нет — боится, куда-то еще пойдет этот страшный, привлекательный, могучий, но чужой такой незнакомец.

«Выход? Тут-то и остановка. Куда? Что там, за стенами старого мира? Страх берет. Пустота, ширина, воля! Как идти, не зная, куда, как терять, не видя приобретений?» [33]

Правда, романтизм под влиянием этих идей достаточно окреп, чтобы устами «скептического» Герцена воскликнуть: «Отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости!» [34] Но разве во всем этом не чувствуется недоверия, страха.

«Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений для будущего — мы не имеем достояния ни в том, ни в другом — и в этом свидетельство нашей ненужности» [35].

«Массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим им и в голову не приходит (?). Вот отчего освободители гораздо ближе к современным переворотам, чем всякий свободный человек. Свободный человек, может быть, вовсе ненужный человек» * [36].

Да, Герцен не понимает пролетариата; великий свободолюбивый барин, с одной стороны, посланец сермяжной, землеробной России — с другой, он не знает, с какой стороны мог бы он подойти к этому столь нерусскому по тогдашним временам персонажу.

Пролетариат психологически, идеологически едва-едва определялся. Угадать его тенденции, заключенные в нем потенции сколько-нибудь конкретно, полюбить их, положиться на них, исходя из психологического исследования тех данных, какие реальный пролетариат того времени давал, было вообще невозможно. У Герцена между тем был лишь один этот метод исследования общественных явлений. Его психологическая чуткость отказывалась здесь

---

* Если под свободным человеком принято понимать либерала, хотя бы эсерствующего либо меньшевиствующего, то Герцен вполне прав.— *Прим. авт., 1923 г.*

служить ему. Все так неоформлено, все так шатко, так темно. Ведь в ту пору пролетариат был еще, по выражению Маркса, почти исключительно *классом для других, не классом для себя*[37], рассеянной разновидностью человеческого рода, а не сплоченным коллективным субъектом.

Если Маркс так уверенно разбирался в грядущих судьбах рабочего класса, то это в силу более глубокого реализма, чем тот, до которого мог додуматься Герцен.

Признавал ли Герцен мировой субстанцией материю или склонялся к своеобразному пантеизму — это в его конкретном реализме ничего не меняло. Маркс также не считал мировую субстанцию материей; более того, он считал нелепой самую постановку вопроса о субстанции. Но он открыл, что общественные идеологии возникают и развиваются в зависимости от *общественного бытия*, то есть от коренной формы социальной жизни — труда в его развитии.

Это давало возможность Марксу заменять социально-психологическое исследование экономическим и ясно видеть те пути, по которым пролетариат, каков бы он в то время ни был, неизбежно *должен будет* пойти.

Итак, Герцен, открывший новый пролетарский мир, увидевший «другой берег», не приходит от этого в восторг, ибо берег этот кажется ему неприступным. Отсюда длительное колебание между «мужественным реализмом» вышеизложенного типа, весьма недалеко ушедшим от скорбного романтизма, и надеждами на обновление человечества путем вторжения в цивилизацию «варваров».

Национальная гордость, сильно присущая Герцену и пришпориваемая общей ненавистью к официальной России и презрением даже таких людей, как Гарибальди или Мишле, к «попустителю»-народу, горячая, с детства сложившаяся любовь к русскому простонародью привлекли внимание Герцена к новым возможностям. Во имя пролетариата и его неизведанного еще «нового» Герцен уже осмелился откинуть старую Европу даже со всем передовым, что она в себя включала. Но Россия? Быть может, под слоем унизительного варварства в России сохранилось что-либо, могущее облегчить прямой союз русского народа, еще не завоевавшего ни тени политической свободы, с пролетариатом Запада, ставящим цели гораздо более грандиозные, чем самая широкая политическая свобода?

Так сказать, из глубины своего отчаяния перед падением родной ему по духу культурной Европы, из глубины сознания оторванности своей от героя завтрашнего дня — пролетария Герцен создает гениальный миф о русской общине как возможном фундаменте социализма в России, о русском мужике как не сознавшем еще себя, но способном легко преобразиться брате и соратнике западного рабочего.

Конечно, миф этот возник бы и без Герцена. Тому было много объективных причин. Но Герцен первый во всем блеске изложил его, защищал с пафосом и страстью. Куда девался скептицизм! Любовь и надежда порождают пламенную, фанатическую веру.

Но реализм не оставляет Герцена. Теперь, когда Герцен-романтик обрел под ногами столь прочную, как ему казалось, почву,— реализму отводится иное место, иная работа.

Прочно веря в будущее общины, Герцен задается целью помочь ей высвободиться из-под того чрезмерного гнета, который останавливает в ней всякую жизнь,— из-под крепостного права. Такова конкретная задача. Программа-минимум. Не в смысле того небольшого, на чем можно на худой конец помириться, не в смысле минимализма ползучего, реформистского, либерального, а в смысле начала, развязывающего впервые силы, достаточные для дальнейшей, все ускоряющейся борьбы.

В знаменитом письме к Мишле Герцен говорит это ясно: «Правительство поняло, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли, а оно, в свою очередь, явится началом социальной революции, провозглашением сельского коммунизма»[38].

Конечно, и это была иллюзия. Не тем темпом и не теми путями пошло общественное развитие России. Но кто же усомнится сейчас в огромном значении политической и воспитательной работы, проделанной на почве этих иллюзий «Колоколом»?[39]

У Герцена надо учиться не конкретным решениям вопросов, а их живой, страстной, огромно-широкой постановке. *Силе* критики и *силе* любви.

Мы имеем великий светильник перед нами. Мы не окружены такой тьмой, какая царила в те времена. Но это не освобождает нас от обязанности, от необходимости постоянно вновь и вновь зондировать и глубины окружающего, и глубины собственного нашего духа, стремясь к выработке и охране гармоничного созерцания и мирочувствования, способного порождать в нас высшую меру активности. И здесь Герцен — великий учитель.

II

В течение долгого времени значительная часть русской интеллигенции знала о Герцене только понаслышке. Я помню даже, как удивлялись некоторые вполне образованные люди, прочитавшие у Толстого в его отзыве о великих русских писателях, что едва ли не самым влиятельным из них был в его глазах Герцен[40]. Что касается народных масс, то до них в большинстве случаев не доходило даже имя Герцена. Настоящим образом воскресает он только теперь, после революции. Только теперь с достаточной для нашего тяжелого в материальном отношении

времени быстротою том за томом выходит полное, хорошо проверенное собрание его сочинений [41] и Герцен выступает перед нами как своеобразный наш современник.

Что же представляет собою позднее воскресение? Отдадим ли мы ему дань уважения, как одному из отцов наших, оставим ли его сочинения на полках книжных шкафов, как украшение, от времени до времени поглядывая на старика с чувством известной почтительности? Ведь такова судьба очень и очень многих так называемых классиков.

Умереть 50 лет тому назад и не устареть в наше быстротечное время бесконечно трудно. Но конечно, я не буду оспаривать тех, кто станет указывать на многое устарелое в Герцене.

Но это устарелое так неважно. При бурной жизненности Герцена, при его пьянящем темпераменте, при его фейерверочной многоцветности, увлекательном благородстве, его чувстве, широте его обхвата эти устарелые черты в области его философского или политического мышления придают ему только как бы еще больше интереса, заставляя читателя спорить с ним, сравнивать его мысли со своим credo и лучше, чем на каком-нибудь другом примере, чувствовать протекшее время и ценность приобретенных за этот период новых методов знания и лозунгов.

Нет, Герцен, из своей официально отодвинутой куда-то подальше могилы, встает перед нами полный такой молодости и такой красоты, что, право, он во сто раз живее и во сто раз более подходящ к пожарному фону нашего революционного времени, чем многие-многие живые полумертвецы, нашей недавней вообще довольно полумертвой литературы, ошеломленной сейчас неудобной для нее, слишком острой, слишком горячей атмосферой.

Был бы тысячу раз не прав тот герценист, который хотел бы навязать Герцена пролетариату в качестве его непререкаемого учителя, который пытался бы выправить, а на самом деле искалечить те или другие соотношения герценовского духа, дабы приблизить его к современной доктрине пролетариата. Искать в Герцене систему, стараться создать герценизм — было бы нелепо.

Но конечно, еще менее прав был бы тот, кто, согласившись, пожалуй, со мной относительно жизненной силы Герцена, старался бы превратить его в своего рода беллетриста, которого можно не без восхищения почитать от времени до времени.

Нет, конечно, Герцен является великим учителем жизни. Герцен — это целая стихия, его нужно брать всего целиком, с его достоинствами и недостатками, с его пророчествами и ошибками, с его временным и вечным, но не для того, чтобы так целиком возлюбить и воспринять, а для того, чтобы купать свой собственный ум и свое собственное сердце в многоценных волнах этого кипучего и свежего потока. Одним вы восхититесь, другое

сильнейшим образом вас оттолкнет, третье вам что-то напомнит, четвертое заставит вновь и вновь критически пересмотреть какое-нибудь ваше убеждение, вы все время будете волноваться за чтением Герцена, и вы всегда после этого чтения выйдете освеженным и более сильным. Согласно свидетельству греческих легенд, даже боги перед всевластным временем чуяли себя иногда ослабленными, тогда они бросались в пенный, жизненно-мощный поток Ихор.

Вот таким целебным потоком, играющим на солнце, всегда представляются мне сочинения Герцена.

Пролетариат не отказывается от культуры прошлого. Нет такой черты в этой культуре, к которой пролетариат был бы, смел бы быть равнодушным. Пролетариат должен овладеть прошлым, вникнуть в прошлое, но, конечно, в этом прошлом есть разноценные материалы: есть отталкивающие плоды, выросшие из корня эксплуататорства, есть безразличные обветшавшие вещи, характерные только для своей эпохи, есть непреходящие сокровища, которые словно ждали в пластах прошлого, чтобы их отрыли настоящие люди.

Как в эпоху возрождения люди, в коих вновь проснулось понимание красоты, жажда живой жизни и земного счастья, с восторгом отрывали старых Венер [42] и Аполлонов [43], которых деды их толкли на цемент для конюшен,— так и пролетариат в прошлом отыщет целую массу книг, произведений искусства, чувств и мышлений, которые спали, как спящая царевна, ожидая прихода своего царевича.

Буржуазные ученые приходили тоже, выкапывали, классифицировали и изучали, снабжали комментариями — и честь им за это, но красавицы прошлого оставались мумиями. Они воскресают только от прикосновения героя утреннего, героя весеннего — свободного человека.

Так и Герцен спал, как великое забытое озеро, посещаемое от времени до времени туристами. А теперь вокруг него закипит жизнь, он будет втянут в эту жизнь, как органическая ее часть. Наши дети с 10—12 лет уже будут читать избранные страницы Герцена. Душа каждого из нас будет некоторыми гранями своими шлифоваться об алмазно-многогранную душу Александра Ивановича Герцена.

Передадим вкратце биографию Герцена, впрочем, в настоящее время почти общеизвестную.

Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года. Конечно, характерным является, что Герцен был незаконнорожденным сыном большого барина. С барством Герцен до известной степени навсегда остался связан, аристократические черты запали в него глубоко; кое в чем они были ему вредны и сыграли не последнюю роль в некотором разладе между ним и той волной

вполне демократической разночинской интеллигенции, которая пришла ему на смену, кое в чем, наоборот, они были для него чрезвычайно полезны. Они помогли ему чутко понимать весь ужас буржуазного мещанства и внушили ему ко всей капиталистической полосе непобедимую брезгливость.

Но еще больше помогли ему те обстоятельства, что он был сыном незаконнорожденным. Гордый и до крайности впечатлительный, он еще ребенком на себе самом испытал коренную несправедливость нашего общественного строя. Быть может, ему было бы гораздо труднее стать в пока еще немом конфликте между рабами и господами на сторону рабов, если бы в мире господ положение его не было неопределенным и порою мучительным.

События 14 декабря 1825 года и позднее казнь декабристов [44] застали Герцена 14-летним мальчиком. Он обливался слезами, слушая эту печальную повесть, и еще тогда клялся отомстить за этих первых борцов за свободу.

Вообще мальчик развивался быстро и главным образом на великих писателях Запада: Шиллер, Гете, Вольтер были его любимцами. В общем, ему повезло и относительно учителей. У колыбели его разума стояли две чрезвычайно символические фигуры: француз Бушо, энтузиаст, хранивший в себе светлый огонь лучших традиций Великой французской революции, и русский семинарист Протопопов, предвестник великой серии наших ясных разумом, чистых сердцем, близких народу разночинцев 60-х и 70-х годов.

К этому же времени относится то событие, которое явилось как бы кульминационным пунктом ранней молодости Герцена,— знаменитая клятва на Воробьевых горах: «Садилось солнце, купола блестели, город стлался в необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

Университетское время Герцена было временем могучего кипения чувств и мыслей. Уже в это время он перешагнул через то политическое свободомыслие, которое явилось отражением либерального движения послереволюционной эпохи, перешагнул и через чистый якобинизм, восторженно приветствуя прекрасное, как заря, учение Сен-Симона. Небольшой кружок студентов, обсуждавший великие идеи своего времени, обратил на себя неблагосклонное внимание начальства, и в ночь на 20 июня 1834 года 22-летний Герцен был арестован [45].

Ввиду принадлежности его к знатному дворянству, бичи и скорпионы правительства были для него смягчены, и ссылка его была, в сущности говоря, только скучной канителью, в то же

время, быть может, давшей ему возможность сосредоточиться, узнать лучше провинциальную жизнь. Серьезным страданием или серией лишений она, конечно, не была [46].

Относящаяся к этому времени переписка между юным Герценом и Н. А. Захарьиной — его невестой — одарила русскую литературу нежным и благоуханнейшим шедевром, написанным не для публики, но в настоящее время обогащающим каждую молодую душу, которая захочет погрузиться в этот ароматный дуэт любви двух исключительных натур [47].

Наступают 40-е годы. Герцен вступает в русскую литературу с громом и блеском. Он чувствует, что «назначен для трибуны, форума, как рыба для воды» [48]. Но в России душно, огни, горящие над Европой, кажутся более ослепительными, чем они есть на самом деле. Хочется вольно подышать более свободным воздухом, и Герцен, испытывая необыкновенно счастливое волнение, уезжает за границу в 1847 году.

В Россию он больше вернуться не смог.

Накануне взрывов революционных сил 48-го года, накануне страшной катастрофы, которая погребла под собою большую часть надежд революционеров того времени, мучительнейшим образом пережил Герцен эту катастрофу. Он пересмотрел многое и многое в своей душе. В значительной мере потерял он веру в революционность Запада. Ему казалось, что страшное время трезвенного либерализма и лжедемократии восторжествует надолго, а торжество это вызвало у него тошнотворное чувство.

Как прежде с нашего тусклого северо-востока обращал он тоскливые взоры на Запад, откуда ждал ослепительных молний, оживления мира, так теперь постепенно западник Герцен, живущий на Западе, все с большей тоскою смотрит в туманы покинутой им России. Постепенно эта надежда на Россию, эта вера в нетронутость ее сил превращается в целую своеобразную систему какого-то анархо-социалистического патриотизма, сближающего Герцена с Михаилом Бакуниным.

Как всякий великий человек, как всякий настоящий исторический деятель, Герцен соединял в себе способность видеть самые далекие дали, верить в самые огромные цели и идеалы и вместе с тем, когда нужно, быть оппортунистом и делать то дело, которое указывается временем.

Когда в июне 57-го года Герцен стал издавать «Колокол», он преследовал, главным образом, цели времени, он хотел стать чернорабочим своей эпохи, он хотел влиять непосредственно на деятельность, а не летать над нею с песней о еще далекой весне.

Писательский гений Герцена, возвышенность его духа сделали из «Колокола» перл публицистики, но, несомненно, все первое время журнал велся в таком направлении, чтобы реально повлиять

на волю власть имущих: помещиков, честных бюрократов и даже самого правительства. Это обеспечило за «Колоколом» часто странное влияние в разных высокопоставленных кругах, но это же с самого начала оттолкнуло от Герцена некоторые группы революционно настроенной интеллигенции.

Если начиная с 60-х годов Герцен придает «Колоколу» все бо. ее революционный характер, то не потому, что он хотел подладиться к вкусам бурно вступившего тогда на общественную арену разночинства, скорей потому, что он изверился окончательно в способности высших кругов хотя бы к сколько-нибудь рациональному улучшению жизни. Но тут Герцен попал в какую-то щель между правыми и левыми. С ужасом оттолкнулись от «Колокола», когда он стал звучать революционным набатом, его розово-либеральные поклонники, и с недоверием прислушивались к его слишком серебристому, слишком музыкальному тону те, которые самоотверженно ринулись в самую гущу кровавой борьбы с правительством.

Герцен умер 21 января 1870 года, 50 лет тому назад, несколько разочарованный, как будто оттертый от жизни, потерявший власть над ней. Герцен умер, оставив величайшее наследие. Этим наследием является не публицистическая деятельность Герцена, а весь клад его идей и чувств, вложенный в многочисленные его сочинения, в особенности в непревзойденные воспоминания «Былое и думы».

Герцен — величайший художник слова. Когда мы говорим «художник», мы не впадаем в те вырожденческие суждения, согласно которым художник есть что-то вроде особенно талантливого обойщика или развлекателя. А ведь к этому в конце концов сводятся многие высокие слова об искусстве для искусства. Художником не может быть человек, за формой теряющий содержание. Художник есть, прежде всего, многосодержательный человек. Первое условие художественного дарования — громадная чуткость к жизни, второе условие — умение выразить этот организованный материал с величайшей простотой, силой и убедительностью. Только к этому и сводится понятие «художник», и вне этого никаких художников быть не может, вне этого могут быть только ремесленники или ловкачи, рутинеры или фокусники, но не художники.

Бросается в глаза, что поэзия, например, есть способ особенно сильного, убедительного и простого выражения духовного богатства поэта.

Но поэзия может быть разной, она может восходить до эпической объективности, автор теряется за своим образом, на первый план выступают сами картины; и наоборот, поэт может быть настолько лириком, что и личные, и гражданские чувства, и любовь, и ненависть прорываются в нем с клокочущей силой и приобретают характер проповеди, исповеди, призыва, пророчества. Великие публицисты являются великими поэтами с этой точки зрения.

Но как революционер-практик Герцен гораздо ниже. Это не значит, чтобы он не был интересен и в этом отношении. В высшей степени поучительно, как это большое благородное сердце, как этот широкий светлый ум гигантскими шагами поднимался по лестнице общественного сознания, быстро оставляя под ногами так называемую демократию. Не менее поучительно, быть может, это страстное стремление Герцена при всей общественной широте своих идеалов отдаться строительству сегодняшнего дня, применяясь ко всей его ограниченности, чуть ли не готовый повторять щедринское: «Наше время не время великих задач», опять-таки по-щедрински почти применяясь к подлости [49],— не иначе объясняются разные заигрывания его с Александром II.

Раз ты не чувствуешь под ногами никакой силы, то ты должен понять, что нет тебе спасения и должен ты или покончить с собою, для того чтобы не жить жизнью бесполезной, или как-то суметь хоть что-нибудь вырвать у окружающих тебя чудовищ.

Но Герцен не способен был, намечая свою программу-максимум, связать ее с действительными живыми силами своего времени. Он понимал, он догадывался, какую роль сыграет пролетариат, он присматривался к концу своей жизни к тому, как Маркс закладывал исполинский фундамент для научно революционного социализма, но преданно любящий свой идеал, всем сердцем к нему устремленный, Герцен как будто неясно видел пути, к нему ведущие. Равным образом как деятель своей эпохи, эпохи, впрочем, слишком безотрадной, Герцен часто не проявляет того чутья, такта, той интуиции, которые нужны вождю, непосредственно шествующему во главе колонны, слабой, окруженной врагами.

Но если Герцен не был вождем, руководителем революции, ни как тактик, ни как теоретик, то он был одним из величайших пророков революции. Здесь самое лучшее будет просто прочесть вам некоторые из этих пророчеств, тем более что никакое ораторское искусство не может сравниться с яркостью герценовского стиля.

«Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели — кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гуситов [50]. И тут — на краю гибели и бедствий — начнется другая война — домашняя, своя — расправа неимущих с имущими» [51].

Эта расправа будет еще более жестокой. Герцен не сомневается в том, что пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили.

«Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Середь грома и молний, при зареве горящих дворцов на развалинах фабрик и присутственных мест — явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры. Они сочетаются на тысячи ладов с историческим бытом; но как бы ни сочетались они, основной тон будет принадлежать социализму; современный государственный быт со своей цивилизацией погибнут — будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы. Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, невежества и унижения» [52].

«Или вы не видите новых христиан, идущих строить; новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея [53] исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому,— ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время, когда мы с вами, шампанским вафли запивая, толкуем о социализме» [54].

Россия, по мнению Герцена, должна сыграть при этом какую-то исключительную роль.

«Я жду великого от вашей родины; у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то!» [55].

Итак, Герцен с трепетом предвидел наступление великой коммунистической революции. В этих словах: «Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне, но ее не жаль массам» — вы видите страшную боязнь культурного человека перед наступающими «варварами». Он всей душой с этими варварами, ибо он сознает гниение культуры, сознает, как запачкана она своими владельцами, сознает, как гнусно то, что самое лучшее в ней отдается ничтожному меньшинству, но он сознает в то же время то, чего, как он думает, не в состоянии сознать эти варвары, а именно: неисчерпаемого величия тех сокровищ, которые созданы в прошлом человеческим родом и которых временными, часто равнодушными владельцами являлось привилегированное сословие.

С великим ужасом спрашивает себя Герцен о перевороте будущего: «Будет ли он культурным, будет ли он согрет порывом к творчеству в области истинной красоты и человеческих взаимоотношений? А вдруг коммунистическая революция оставит по себе только

раздробление всех больших имуществ на мелкие?» Результатом этого, говорит Герцен, «будет то, что всем на свете будет мерзко, мелкий собственник — худший буржуй из всех». И мы знаем, что эта опасность самым реальным образом грозит, кто знает, быть может, и сейчас еще нам. Чисто крестьянская революция, на которую в России только и мог рассчитывать Герцен, почти неминуемо низверглась бы в эту бездну.

Пролетариат обеспечивает нас от нее. Пролетариат не может быть сторонником раздачи машин и железных дорог по частям на слом и пропой, не может быть сторонником разрыва на мелкие клочки образцовых имений. Пролетариат — сторонник еще большего единства хозяйств, не разрознивать, не разламывать, а создавать, слагать в одно гигантское, в последнем счете всю землю обнимающее хозяйство. Таков инстинкт, такова воля, такова мысль рабочего класса.

Но ведь и социализм централизованный и планомерный может быть бездушным. Царство сытых лучше, чем царство голодных, но царство сытых не есть идеал подлинно человеческий, а на Герцена эта перспектива всеобщего довольства, это зрелище человека, облизывающего жирные губы и прислушивающегося к урчанию в собственном своем накормленном желудке, производило омерзительное впечатление.

«Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту»,— пророчествовал он. Горе тому перевороту, который из всего великого и нажитого «сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании»[56].

Напрасны, однако, опасения Герцена. Кто не поймет, что после предсказанного им военного разрушения, разрушения, вызываемого гражданской войной, культура не может не покачнуться, не может не понизиться. Но мы смело отвечаем всем нынешним врагам коммунизма, которые готовы, превратив в клевету благородные слова Герцена, бросать их нам в качестве ядовитого упрека, мы можем с гордостью ответить им, что ни на минуту не грызло нас сомнение в неизбежности огромного культурного подъема тотчас же вслед за действительной победой пролетариата.

Какое счастье, что мы празднуем 50-летие [смерти] Герцена не тогда, когда железное кольцо реакции душило нам горло, не тогда, когда мы, отбиваясь из последних сил, и думать не могли о правильно поставленной культурной работе, когда мы могли опасаться, что злые силы прошлого расстроят наши планы и что нам так и не дотянуться до той цели, ради которой произошла революция и которая заключается не в простом человеческом благосостоянии, а в бесконечном росте человеческой природы во всех ее возможностях.

Мы празднуем 50-летие [смерти] Герцена в момент, когда враги почти чудесным образом разбиты сильной рукой вооруженного рабочего и крестьянина, мы празднуем его в тот момент, когда западноевропейская и американская буржуазия, ненавидящая нас органически, как хищный зверь ненавидит охотника, вынуждена тем не менее склониться перед нами и признать нас неизбежной бедой своей.

Мы празднуем его в тот момент, когда мы можем уже с уверенностью повторить слова товарища Ленина на VII съезде: «Самое страшное позади, задачи мирного строительства выдвигаются на первый план» [57].

Мы докажем теперь, что мы вовсе не варвары. Правда, у нас мало знаний, мало навыков у пролетариев, у крестьян, но зато какая у нас жажда знания, зато как быстро мы все воспринимаем и как хотим мы учиться. Мы докажем, что сделали революцию не для грабежа и хищения, мы и сейчас с великим усилием сохранили все главное в художественном и научном достоянии, мы докажем, что способны, восприняв все живое из прошлого, начать творить наше будущее.

Как народный комиссар по просвещению, я, выражая эту мою уверенность, в то же время жутко чувствую, какую ответственность возлагает на нас время, какая неслыханная работа должна лечь на плечи тех доверенных лиц пролетариата, которым он вручил руль своего культурного корабля, велики будут требования, с которыми обратятся к нам пославшие нас, то есть трудящийся народ.

Мы не сомневаемся, что интеллигенция, пережив свою дурную болезнь скептицизма, саботажа и белогвардейства, придет к нам посильно на помощь, ее знания, ее навыки пригодятся нам как нельзя больше, но мы знаем также, что она внесет немало своей рутины и своего малодушия. Трудности, окружающие нас, бесконечно велики, главную помощь приходится ожидать от зреющих снизу сил. Но, оглядываясь вокруг, ища поддержки, мы невольно обращаем взоры в этот день больше, чем когда-нибудь, к великанам прошлого, которые предвидели наши проблемы, которые создали вечно живые ценности, которые начали музыку победного марша, создающую живой воздух вокруг борцов.

Мы зовем на помощь тебя, великий писатель, великое сердце, великий ум, мы зовем на помощь тебя, воскресающего ныне из своей могилы, помоги нам в годину грандиозных событий, которые ты предвидел, обогнуть мели и рифы, которые рисовались уже твоему пророческому духу, помоги нам, чтобы торжество справедливости, наступление великого нового жизненного уклада, без которого, как ты говорил, всякая революция остается пустой и обманчивой, означали бы собою также великую победу культуры, как ты понимал ее, культуры как великого торжества человека.

Карл Маркс говорил: «Все события могут быть расцениваемы только с точки зрения последнего критерия наиболее богатого раскрытия всех возможностей, заложенных в человеческой природе»[58]. Такова внутренняя сущность животворящей борьбы за справедливое распределение благ и за планомерное их производство.

Людям настоящего часа великую помощь оказывают идеалы: путеводные звезды, которые блестят перед нами; великую помощь оказывают им гиганты прошлого. Высоко подняв факелы, они, как исполинские маяки, освещают перед нами путь горением своего сердца и сиянием своей мысли.

Пусть вечно горит и освещает нам путь наш великий революционный пророк России Александр Иванович Герцен.

Л. Троцкий

ГЕРЦЕН И ЗАПАД

К 100-летию со дня рождения

«...Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич, по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцом[1] революции 1848 г.»[2]

Такими словами характеризует Герцен политическую картину Европы в 1849 году. Два года перед тем он ждал совсем иного, когда за его спиною спускался отечественный шлагбаум.

Революция 1848 года разбилась не о механическое сопротивление реакции, а о свои внутренние социальные противоречия. Ошибки и нелепости вождей были только отражением исторического тупика.

«Порядок» был восстановлен мало-помалу во всей Европе, и шпионы контрреволюции, проникнутые духом чистого полицейского космополитизма, съезжались на свои международные конгрессы для выработки норм круговой поруки.

Эмиграция приняла необычайные размеры. Выходцы были разбиты на национальные группы и политические секты. Поражение революции 48-го года было прежде всего поражением якобинских традиций 93-го года. Революция передвигалась отныне на новые классы. Но вожди движения 48—49-го годов терялись в новых условиях, ждали близкого прилива, надеялись все «начать сначала», повторяли старые слова. Ожесточенной полемикой друг с другом поддерживали свой падающий дух. Образовавшийся в Лондоне «Европейский центральный комитет», с Мадзини и Ледрю-Ролленом во главе[3], выпустил торжественный манифест, в котором прогресс

и свобода братались со священной собственностью, братство подпиралось требованием мелкого кредита, народ провозглашался основою, а бог — увенчанием европейской демократии. Для этих почтенных людей вся мораль событий свелась к ошибкам отдельных вождей и к недостатку среди них согласия. Так как перед 48-м годом они в течение ряда лет повторяли известные революционные формулы, то теперь они надеялись упорным повторением старых заклинаний вызвать повторение событий.

Мадзини приглашал Герцена примкнуть к европейскому комитету и прислал ему для ознакомления манифест и другие документы. Герцен отказался.

«Что *нового*,— спрашивал он Мадзини,— в прокламациях, что в Proscrit? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы, это эпилог, а не пролог».

Герцен не только вошел как равноправный в среду европейской эмиграции, в круг ее «горних вершин»; стоя рядом с поляком Ворцелем, с итальянцем Мадзини, которых он любил и нравственно обожал, рядом с французами Ледрю-Ролленом и Луи Бланом, которых он очень ценил, Герцен чувствовал себя богаче мыслью, проницательнее, смелее, всестороннее их. Или, чтобы говорить его словами, *свободнее* их. «Та революционная эра,— пишет Герцен,— к которой стремились либеральная Франция, юная Италия, Мадзини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему, эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь?»

Но почему же они сами, вожди европейской демократии, не видят того, что дано было понять чужому, политическому новобранцу, москвичу, варвару? Да именно потому, что они — каждый из них — действительно представляют кусок своей национальной истории, за ними — классы, партии, организации, события, вчерашние или позавчерашние. Их взгляды и методы действий выработали в себе большую силу внутреннего сопротивления. А за Герценом, если не считать нескольких идейных друзей в двух столицах, нет ничего, кроме его таланта, проницательности, гибкости ума и... превосходного знания европейских языков. Он ничем не связан. В его взглядах нет того упорства, которое дается взаимодействием слова и дела. Над ним не тяготеют традиции. Он не знает над собою властного контроля единомышленников и последователей. Он «свободен». Он — *зритель*. «Равноправный» среди «горних вершин» демократии, он, однако же, никого в ней не представляет, ни от чьего имени не говорит, он citoyen du monde civilisé (гражданин цивилизованного мира), он отражает только историю этой самой европейской демократии — в «свободном» сознании талантливого, с проблесками гениальности, интеллигента из московских дворян.

Почему Джемс Фази, победоносный женевский революционер, или Мадзини, «бывшие социалистами прежде социализма», сделались потом его ожесточенными врагами? — не понимает и удивляется Герцен. Он много спорил с ними, но бесплодно. Почему? — спрашивает он. «Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться?»... Он хотел бы, чтоб их сознание было так же свободно, как его, в выборе между либерализмом и социализмом или в сочетании обоих. Но для них это не бесплотные принципы, а политический вопрос — опоры на те или другие классы. Оттого они не просто дискутируют, а «горячатся» и даже борются на жизнь и на смерть.

Сталкиваясь с упорством чужих политических взглядов и предрассудков, Герцен приходит к выводу, что главное преимущество его — «незасоренность» психики: «мыслящий русский человек самый свободный человек в мире»,— пишет он Мишле.

«Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский, тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России... Они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен»... Это уж не Герцен говорит, а Версилов у Достоевского, в «Подростке», но ведь так именно сознавал себя по отношению к Европе Герцен: всех понимает, в их силе и в их слабости, а сам — «свободен».

«Я ни во что не верю здесь,— пишет Герцен своим русским друзьям в 1849 году,— кроме как в кучку людей, в небольшое число мыслей, да в невозможность остановить движение».

Но «кучка людей» топталась на месте и жила с капитала старых репутаций, «небольшое число мыслей», входивших в идейный обиход близкой Герцену «кучки людей», было полно противоречий и недоговоренностей, слишком очевидных для такого проницательного «наблюдателя со стороны», каким был Герцен. А «невозможность остановить движение» — слишком неопределенное и неустойчивое верование, если оно опирается лишь на кучку фанатически не оглядывающихся или, наоборот, безнадежно растерянных людей, да на небольшое количество уже отработанных историей мыслей. И действительным ответом Герцена на опыт 48—49-го годов явился общественный скептицизм. Крах старых надежд, ожиданий и верований означал для него неизбежность крушения всей цивилизации под натиском отчаявшихся масс.

> Вам жаль цивилизации?
> Жаль ее и мне.
> Но ее не жаль массам.
> Смирение пред неотвратимыми судьбами!

Даже Прудон, презрительно глядевший на крушение политической демократии и носившийся со своей худосочной утопией все-

спасающего банка, отшатнулся от этих настроений Герцена. «Посоветуйте ему,— писал Прудон своим друзьям,— не делаться сообщником контрреволюции, проповедуя какое-то смешное consumatum est (свершилось)».

Герцен безошибочно отгадывал то, что было скрыто от Ледрю и Мадзини, от Руге и Блана: фатальное крушение старых программ, партий и сект. Но — наблюдатель со стороны, не связанный с внутренними изменениями в европейской общественности — он не видел, что под этой лопавшейся и расползавшейся оболочкой совершался более глубокий процесс: политическое самоопределение масс путем преодоления старой опеки. Крушение *старого* было для Герцена крушением *всего*. Не имея в Европе социальной опоры, чтобы от разбитых иллюзий идти вперед, Герцен оборачивается назад, на то, что оставил за собою, за отечественным шлагбаумом. «Начавши с крика радости при переезде через границу,— пишет он,— я окончил моим духовным возвращением на родину». Герцен становится *социальным русофилом.*

В начале 40-х годов Герцен, как и Белинский, резко выступает против «славянобесия». Но этот западнический взлет мысли оказался для русской интеллигенции еще не по плечу.

Славянофильство [4], как идея исторического мессианизма [5], как пророчество особого призвания народа русского, еще надолго должно было — в том или другом виде — овладеть мыслью образованного русского авангарда: это нравственная компенсация за бедность и мерзость окружающего, за невозможность вмешаться в историю *сегодня* же, это единственный путь примирения со своими общественными судьбами; наконец, это временные идейные ходули, на которых интеллигенция выбиралась из стоячего болота отечественного быта и шла... в Европу. Народничество, то есть славянофильство минус славянофильская политика и славянофильская религия, было не чем иным, как первым, *негативным* — свет вместо теней и тени вместо света! — отражением превосходства и могущества европейской культуры во встревоженном сознании мыслящего русского человека. Чтобы перевести негатив на позитив, понадобились еще десятилетия тягчайшей учебы, взлетов и падений.

В своих открытых письмах к Гервегу, Мадзини и Мишле Герцен становится после краха 49-го года провозвестником русского мессианизма. Он объявляет крестьянскую общину залогом социальной справедливости в будущем и обещает Европе спасение — с Востока. Не только образованные русские — «самые свободные люди», но и народ русский оказывается самым свободным в выборе своих путей. В социальном вопросе, то есть в основном вопросе всей эпохи, мы «потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее». Раз объявив отсталость и варварство за величайшее историческое преимущество славянства над миром старой европейской культуры,

Герцен доходит до самых крайних и рискованных выводов и в области международной политики.

«Время славянского мира настало,— пишет он в 49-м году.— Настоящая столица соединенных славян — Константинополь... Во всяком случае, война это (война России за Константинополь) — introduzione maestosa et marziale (торжественное вступление) мира славянского во всеобщую историю и с тем вместе una marcia funebre (похоронный марш) старого света».

Приветствуя трубными звуками захват Константинополя как могущественное вступление славянства во всеобщую историю, Герцен верил, что это будет последним усилием старой России,— но для кого эта вера могла быть обязательной? Какие такие внутренние силы мог указать тогда в России Герцен, этот «свободный наблюдатель», всегда открыто и честно заявлявший, что он ни от чьего имени не говорит и никого не представляет, что он — сам по себе? В глазах демократов Запада завоевание Россией Константинополя могло означать только одно: усиление крепчайшего из оплотов реакции.

В лице своих молодых сил и их идеалов старая Европа ни на минуту не собиралась слагать оружие и ждать спасения со стороны «славной славянской федерации» и русской общины. Отсюда — непримиримая враждебность между Герценом и творцами научной системы социального развития.

* * *

Маркс с пренебрежением отзывался о Герцене, о «полурусском и вполне москвиче», который «открыл русский коммунизм не в России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена» [6]. Не менее саркастически отзывался и Энгельс о «раздувшемся в революционера панславистском беллетристе» [7], который собирается обновлять и возрождать гниющий Запад — даже при помощи русского оружия. В свою очередь Герцен тоже не слишком мягко характеризовал сторонников Маркса как «шайку непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины, Маркса».

Вражду к себе со стороны «марксидов» Герцен объяснял мотивами не весьма высокого порядка. «Меня приносили,— говорит он,— в жертву фатерланду из патриотизма».

На самом деле тут были причины, ничего общего с «патриотизмом» не имеющие. В «Былом и думах» Герцен пытается объяснить свой антагонизм с немецкой эмиграцией причинами бытовыми: грубостью и невоспитанностью немцев — и идейными: бесплотной абстрактностью немецкого радикализма. Но ни то, ни другое объяснение не может относиться к Марксу. «Германский ум,— пишет Герцен,— в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется,

в ее безусловном, то есть недействительном значении, и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята»...

Эта характеристика как нельзя лучше охватывает тот самобытный мессианистический немецкий социализм, с которым Маркс и Энгельс свели теоретические счеты. Но в марксизме «германский» ум окончательно преодолел идеалистическую бестелесность абсолютных отрицаний и абсолютных утверждений, свел идеологические противоречия к борьбе материальных общественных сил и отнюдь не верил, что «вещь сделана, если она понята». Нет, причины идейного антагонизма были другие. В то время как Герцен усматривал даже в военном нашествии России на Европу благодетельную встряску для этого полутрупа, Маркс с ненавистью относился не только к официальному, но и к демократическому панславизму [8], видя в нем страшную угрозу для европейского развития.

В 1848—1849 годы значение России, как оплота европейской реакции, сказалось с небывалой силой. И так как в самой России ничто не шевелилось, то ненависть европейской демократии к официальной России слишком легко превращалась в недоверие ко всему русскому, во вражду к «нации рабов», которая через свое правительство поддерживает рабство во всем мире. А так как и австрийские славяне сыграли в событиях 48—49-го годов усмирительную роль, то пропаганда панславизма в данных исторических условиях знаменовала не фантастическую свободную общинную федерацию, а сплочение славянской реакции вокруг Петербурга. Отсюда ненависть Маркса ко всем разновидностям панславизма [9], ненависть, которая временами ослепляла его и позволяла ему верить нелепой клевете, будто Герцен и Бакунин на нужды панславистской агитации получают деньги от петербургского правительства [10].

* * *

Народничество, от Герцена ведущее свою родословную, не было отвращением от Запада. Наоборот: можно сказать, что народничество наше было не чем иным, как *нетерпеливым западничеством.* Страшил длинный путь от бескультурности и бедности нашей до тех целей, которые наметила мысль европейская. «Народу русскому,— так думал Герцен,— не нужно начинать снова этот тяжкий труд... Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, ссылкою, разорением»... («Старый мир и Россия».) Увы! В то время как «мы» думали *за* народ, кто-то другой действовал *за* народ. Только народ, научившийся думать сам за себя, способен отучить других действовать за него. Мы теперь слишком хорошо знаем, что если вещь понята, то это еще не значит, что вещь сделана.

Герцен говорит, что недостаточно признать науку, надо воспитать себя «в науку». Сам Герцен был одним из вдохновеннейших наших воспитателей «в Европу». Его коллизии с Европой, его анафемы Европе были только порождением его благородной и нетерпеливой ревности к Европе. Некоторые не по разуму усердные зовут «назад — к Герцену!». Мы этого не повторим за ними. Вперед — от Герцена! А это значит: воспитание народа — «в Европу».

А. Луначарский

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Проклятому царизму предстояло еще догнивать до 1917 года, чтобы кончить распутинщиной [1] и бесславным падением, но крепостное право ко времени зрелости Некрасова уже созрело для смерти.

Основным фактором, который осудил крепостное право, было развитие капитализма в России. Подневольный труд становился менее выгодным для эксплуататоров, чем труд наемный. Не только выросший индустриальный капитал требовал себе свободных рук, но и наиболее прогрессивные в экономическом отношении помещики понимали, что малоземельный вольный крестьянин окажется более удобным для эксплуатации метериалом, чем крестьянин-раб.

Однако в сознании различных классов России готовившийся знаменательный переворот, крупный шаг от грубого феодализма к капитализму, хотя еще и заключенному в слегка лишь расширившиеся рамки, отражался не только в голом экономическом учете.

Рядом с людьми, уверенными в том, что крепостное право — невыгодно, рядом с такими помещиками и капиталистами, рядом с государственными людьми, сознававшими, что крепостное право стало поперек дороги железнодорожному развитию и военной мощи России и при этом может разразиться целым рядом крестьянских восстаний, рядом с экономически передовыми слоями крестьянства, крупно- и мелкокулаческими, заранее рассчитывавшими свободу на звонкую монету,— мучительно, торжественно и трогательно развертываются романтические чувства. За такую романтику нельзя, конечно, считать тот официальный патриотический восторг, из которого вынырнуло грошовое умиление вокруг царя-освободителя, но, несомненно, в самом дворянстве, в гении крепостного права сильнее и сильнее развертывалось мучительное сознание чудовищности самого факта рабства и особенно на всяком шагу проявлявших себя злоупотреблений им. Всеми красками переливает это дворянское покаяние. Еще Радищев берет из глубины прочного крепостничества

острую революционную ноту, которую потом подхватывают Рылеевы и Пестели и в некоторой степени передают ее Некрасову. Рядом с этим гуманное барство с целой серией крупных представителей, венчающееся Тургеневым, и, наконец, слезливое покаяние с каким-то нарочитым преклонением перед выпоротым мужиком и его исконной мудростью, причем в мужиковстве этом часто сильно сказывался страх дворянства перед наступавшей на него капиталистической культурой. Мужиковствующее кающееся дворянство тоже увенчалось грандиозной фигурой Толстого.

Одно перечисление этих дворянских, частью крупно дворянских имен показывает, что русские феодалы действительно очень глубоко переживали неправду своего положения. Этому способствовало, конечно, то, что они сами были холопами. Русское крепостное право почти на таких же началах подчиняло конюха помещику, как шталмейстера — царю. Дворяне, побывавшие за границей, начитавшиеся вольных книг, утонченные, талантливые сыны уже клонящегося к упадку, уже перезрелого, но тем более рафинированного класса, мучительно сознавали свою бесправность перед самодержавием. Это не могло не заставить их оглянуться на самодержавие свое над бесправным крестьянством. Люди острой оппозиции, а подчас революционеры, они не могли не чувствовать неразрывного единства самодержавия с крепостным правом. Да и нервы людей офранцузившихся, тонко воспитанных, художественно развитых не переносили соседства толстого и длинного хвоста помещичества, более отставшего, чем его небольшая голова, и состоявшего из насильников и подлецов.

Иными были романтики разночинцы. В то время как помещики, даже наиболее левые, даже герценовского типа, в значительной степени ограничивались оппозиционным словом, боялись прямого обращения к крестьянской революционной стихии, за совершенно ничтожными исключениями не знали, как подойти к грозному чудовищу самодержавия,— разночинцы, непосредственные выходцы из народа со свежими нервами, сильные мужичьей кровью, хотели схватить врага за горло.

Неправильно относить разночинцев к буржуазии, утверждать, что будто именно первые волнения «буржуазной революции» выдвинули фалангу типичных людей 60—70-х годов. Буржуазия тогда, более чем когда-либо, готова была мириться с самодержавием. Неправильно зачислять разночинцев в мелкую буржуазию, разумея под этим сознательную защиту промышленного и кулацкого слоя городов и деревни. Единичные случаи проникновения этой идеологии в общую идеологию руководящей группы разночинцев ничтожны. Неправильно, наконец, говорить о разночинцах как об интеллигенции в качестве междуклассовой группы, которая-де своими непосредственными интересами сталкивалась с самодержавием и, естественно, искала себе опоры в массах. В ком же еще?

Все подобные подходы не попадают в цель. Конечно, разночинство должно было потом породить из себя интеллигенцию, определенным образом уравновесившись между различными социальными явлениями, определенным образом развернувшись потом вследствие тяготения к тем или иным классам. Но в разночинце тогдашней России, в том, который жил с Чернышевским, зачитывался Добролюбовым, сторона идеологическая, по самым условиям его быта, перевешивала его экономические, классовые или групповые интересы. Он чувствовал себя настоящим авангардом народных масс. В своем сознании он оценивал себя как неразрывную часть всей народной трудовой массы, в первую голову — крестьянства. Он, вышедший из народа,— дитя семьи трудовой — добился положения критически мыслящей личности, и это значило, что он вооружен сознанием гражданина, выплеснутого темной массой, и, стало быть, он орган этой темной массы, стало быть, он должен отдать перед массой долг, превратить свою критическую мысль в острое оружие в руках масс.

Огромная скорбь кипела в сердце такого человека, когда он оглядывался назад на море страданий и унижений своих непосредственных братьев и родичей. Огромная надежда захватывала его дух, так как, чувствуя родство свое с этой стихией, он предполагал вполне возможным, вполне естественным повести ее, непобедимую, всесокрушающую, на приступ твердыни крепостничества и самодержавия.

Все казалось возможным, и мысль разночинца лишь ненадолго остановилась на освободительном, но индивидуалистическом оптимизме Писарева. Это нужно было, только чтобы самому встать прочнее на ноги. Но и Писарев уже звал от «разумной жизни» вперед к задаче «одеть голого, накормить голодного» [2]. Как одеть голого, как накормить голодного? Как устроить народ после того, как он в великой буре сбросит с себя все цепи, как можно справедливее, как можно счастливее, как можно светлее?

Откуда взять краски для того, чтобы представить себе и тем, кого надо учить как можно конкретнее, это светлое будущее? Откуда же, как не у западноевропейских мыслителей, выражающих желания тамошних народных масс, то есть у последних утопических социалистов, у Оуэна, Виктора Консидерана, у молодого Маркса.

Я, конечно, не хочу сказать, что все русские разночинцы были, таким образом, юношески социалистическим авангардом народа. Такими были руководители разночинства, но редко когда руководители имели такое большое влияние на всю социальную группу, как во время «Современника» и «Отечественных записок» [3]. Беда, конечно, была в том, что крестьянство, глотая подчас слезы обиды и злобы после расправы на конюшне, после увода на барскую усадьбу новых наложниц, после отдачи в солдаты, было и идеологически, и

экономически настолько еще слабо организовано, что все надежды на его поддержку оказались тщетными, зародышевый же пролетариат еще не играл сколько-нибудь серьезной роли.

Вот почему эта весна русской первой революции, этот первый натиск кучки вышедших из народа мыслителей и борцов фатально должен был выродиться в бессильный призыв к народным массам, а потом в трагический поединок «Народной воли» [4] с самодержавием.

Некрасов в своей поэзии живейшим образом отразил это знаменательное явление.

Некрасов — дворянин. Как дворянин, самой судьбой поставленный как будто бы в такое положение, чтобы обнять все противоречия дворянства. Мать — русокудрый, голубоглазый ангел, пани Закревская, сказочница, повествовавшая о рыцарях, монахах и королях, нежный, благоуханный цветок дворянской культуры, обвеянный дыханием Запада, мать — сама крепостная по отношению к своему извергу-мужу, горько и кротко осуждавшая ад, который был кругом. Отец — сатана в этом аду. Отец — помещик, офицер, исправник, картежник, развратник, самодур. Как будто нарочно выбраны эти два типа, чтобы в еще детском сердце Некрасова укоренить пафос дистанции между высокой дворянской гуманностью и низким дворянским тиранством.

И на народ насмотрелся молодой Некрасов, на народ деревни. Непрерывным ужасом текли картины страданий народа под ударами режима, и тем не менее между этими ужасами проскальзывала та радость жизни, на которую народ мог быть способным, вся поэзия крестьянского труда на лоне широкой волжской природы, крестьянские праздники, крестьянские песни, не только тоскливые, но и ликующие, соль мужицкого юмора, чудесные белые и русые головки очаровательных цветков деревни — ребятишек, все это воспринял Некрасов. Во многих его произведениях сквозь слезы, сквозь скорбь, сквозь гнев, как луч солнца среди лохматых туч, проглядывает великая жизненная радость. Некрасов так хотел бы этой радости, и все с большей болью сжимаются его кулаки, когда он вспоминает, что искалечен, кругом замучен и иссечен его народ.

Таков Некрасов-дворянин. Но Некрасов еще и разночинец. Он разночинец потому, что с ранней юности попадает в Петербург, лишается поддержки отца и становится нищим до того, что спит в ночлежках или на скамейке под открытым небом, нищим до голода, нищим до мелкой кражи, чтобы не подохнуть с голоду. И не замечательно ли, что первые его очерки посвящены именно пролетариату и полупролетариату: «Голод», «Петербургские углы», «Физиология Петербурга» [5].

Он разночинец потому, что рано начинает зарабатывать себе на жизнь и зарабатывать себе сначала не литературой, а литературной

каторгой, писанием всего, что закажут, по дешевке. Он разночинец по силе своей натуры. Не только дворяне, но близкие ему друзья-разночинцы уже удивлялись тому, как в этой школе закалился Некрасов. Крепко расчетливый, хозяин, организатор — вот каков Некрасов в своей роли в литературе. Он разночинец по своим связям. Белинский, Чернышевский, Добролюбов — вот его ближайшие друзья и единомышленники, его соратники. А маленькие Чернышевские, маленькие Добролюбовы — его читатели, его поклонники. Он разночинец по всему своему настроению, он рвется в бой, он рвется к революционной постановке вопросов.

Правда, дворянское его происхождение, одновременно и расшатавшее его волю и приковавшее его к радостям жизни, ибо этого тяготения Некрасов никогда в себе победить не мог, сделало то, что борцом он не стал. Но зато тот факт, что он в первые годы смертельной схватки народа с угнетателями только пел, что он позволял себе известную роскошь, стал внутренне грызущей болезнью Некрасова и создал в его душе страшную дисгармонию, заставил его метаться и умолять свой народ о прощении [6]. Эта черта самобичевания за то, что на плечи не взят самый тяжелый подвиг самоотвержения, за покладистость по отношению к земным соблазнам, за оппортунизм, на который Некрасов часто бывал вынужден, чтобы спасти свой журнал от полицейских водоворотов, довершает облик Некрасова. Ибо, конечно, миртовский долг [7], возложенный на себя интеллигенцией, тяжел был, как вериги, и не всякий делался подвижником, не всякий шел погибать за великое дело любви. И многие и многие, охваченные горячей проповедью пророков народничества, но не могущие вместить, каялись и бичевали себя.

В этом сказалось, конечно, безвременье. Если б поднялся вихрь революции, то и Некрасов и маленькие Некрасовы — все кинулись бы очертя голову в борьбу, но она только вскипала и замирала вновь, и это подкрепляло колебания и прибавляло к мукам народа собственную муку, стыд за свою душу, душу сына безвременья.

Но в настроении некрасовского покаяния за старые небольшие грехи — огромная революционная этическая сила.

Было бы излишне здесь говорить о поэтическом творчестве Некрасова вообще, об этом слишком много писалось и этого нельзя не заменить советом углубленно и любовно прочесть все его сочинения, но на одном необходимо остановиться.

С легкой руки эстетической критики пошло представление о Некрасове как о поэте не совсем даровитом, и сам Некрасов о своей музе говорит как о суровой, о своем стихе как о неуклюжем [8], и даже в юбилейных статьях, прочтенных мною вчера и третьего дня, я нахожу эти признания. Поэтический талант был не особенно силен, форма шероховата и т. д. А вот Чернышевский из глубины каторги,

умирая там мучительной психической смертью и узнав, что Некрасов умирает физически и мучится на своей постели угрызениями совести, послал ему письмо через Белоголового, в котором говорил: «...скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек высокого благородства души, великого ума, и как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов»[9].

Что же, в этом суждении сказывается только духовная близость людей одного поколения, людей одного лагеря? Конечно, может быть, в этом горячее преувеличение, конечно, не гениальнейший, конечно, не величайший. Русская литература числит в своих рядах несколько гениальных поэтов, которые, конечно, не уступят Некрасову, но за исключением этого горячего преувеличения, все остальное верно.

Когда прочитываешь Некрасова вот теперь зрелым человеком, видавшим виды, читавшим почти всех великих поэтов мира, то недоумеваешь, как могут люди продолжать говорить о каком-то слабом поэтическом даре, о каком-то несовершенстве формы.

Некрасов *гражданский* поэт, но это гражданский *поэт*, в том-то и вся сила. Слабые поэты с сильным гражданским чувством заслуживают уважения, но редко приносят пользу. Прежде всего искусство должно быть искусством, то есть должно, по слову Льва Толстого, заражать душевным переживанием художника, зажигать нашу душу духовным его пламенем[10]. Для этого нужны две вещи. Нужно прежде всего, чтобы в душе художника горело это пламя, чтобы его переживание было выше наших переживаний, чтобы это был великий человек. Человек не великий не может быть великим поэтом потому, что заражать нечем, и на века прав апостол Павел, сказавши, что без любви все языки человеческие — кимвалы бряцающие. И заметьте, когда я говорю, что поэт должен быть великим человеком, я не хочу этим сказать, что он должен быть таким в своей частной жизни.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен»[11].

Мало того: «Из всех детей презренных мира, быть может, всех презренней он».

Потому что таков он, как обыватель, как Иван Иванович, как Александр Сергеевич, как Николай Алексеевич. А что это такое тот момент, когда «до слуха чуткого коснется божественной глагол»? Что такое этот «божественный глагол»? Это — социальность. Поэт, когда он творит, перестает быть Николаем Алексеевичем, он становится глашатаем огромных массовых человеческих дум, ощущений и эмоций. Поэт, когда он творит, знает, что он говорит для сотен

тысяч, может быть для миллионов, что он трибун, что он перед лицом сограждан и, может быть, вечности. И вот тут-то побеждает в нем его социальная личность. Он перерождается, только лучший, только чистый металл звучит теперь в колоколе его души.

Вот этот-то перерожденный человек, вот этот социальный человек, вот этот-то человек должен быть велик в индивидууме, чтобы личность могла стать великим поэтом. Это первое условие. Оно целиком выполняется Некрасовым. Его лиризм горяч, горек, величествен, глубок. Это прекрасная душа. И, кроме того, те большие чувства, которыми он заражает нас, суть чувства, которые были бесконечно необходимы для роста русской общественности и которые необходимы еще и сейчас, ибо задачи, стоявшие перед русской разночинческой, крестьянской общественностью 70-х и 60-х годов, еще стоят и перед пролетарской общественностью 20-х годов нового века.

Но этого еще мало для того, чтобы быть великим художником. Можно представить себе великую душу, полную прекрасных страстей и ярких мыслей, но неспособную передать их в образах, словно порван провод, замыкающий ток между душой автора и душой читателя, можно быть Рафаэлем без рук.

Ничего подобного у Некрасова. Его произведения как нельзя более адекватны его мысли. С самого начала он всем понятен, все его подхватывают, все его прочитывают, все его заучивают наизусть, все его поют, даже вплоть до грамотного крестьянства. Заметьте, никогда не жаловался Некрасов, как Тютчев, что «мысль изреченная есть ложь»[12]. Совсем другая трагедия Некрасова. Он часто жалуется, что стихи его недостаточно правдивы. В каком смысле? В том, что жизнь его не стоит на высоте его проповеди, а не в том смысле, что проповедь его не стоит на высоте его замысла.

Стихи Некрасова недостаточно гладки? А кто сказал, что гладкость стиха есть непременно достоинство? Кто это доказал, что об ужасах жизни народа надо непременно писать гладкими стихами? Разве от прозы художника требуется не то, чтобы весь ритм ее соответствовал содержанию? Разве не велик художник, проза которого задыхается, прыгает, падает вместе с содержанием, о котором он повествует, и разве стихи не должны быть именно такими? Разве надо зализывать до степени салонной акварели портреты чудовищной действительности? Какие это пустяки! Если бы стихи Некрасова были более вылощены, более мелодичны, то это действовало бы, как ложь. Если человек о смерти своей матери рассказывает, соблюдая все правила синтаксиса и стилистики, то это произведет на всех впечатление чудовищного лицемерия или бессердечия. То, что сам Некрасов принимал за неуклюжесть своего стиха, было поистине только его суровостью. Неуклюж он потому, что тема его неуклюжа, потому, что он искренен, неуклюж потому,

что мощен. И было бы жалко, если бы в нем хотя бы на гран было менее этой неуклюжести.

Но зачем же тогда не проза, а стихи?

Потому что высший пафос, в котором жила душа Некрасова, просится петь. И вот вам совет, как надо проверять хороших поэтов. Если поэт не поется, то пусть бросит стихи и пишет прозой, он, быть может, окажется прекрасным прозаиком. Стихи должны петь, петь внутренне в вашей душе, если вы про себя читаете стихи, невольно ритмизироваться и мелодизироваться, если вы читаете вслух. Именитые и безымянные композиторы перелагают их на настоящую музыку. Разве все это неверно для Некрасова? Я не знаю, породили ли даже Пушкин и Лермонтов такое количество музыкальных произведений, как Некрасов. Кто из русских поэтов больше поется? Где, в каком захолустье не раздавалось «Выдь на Волгу» или полная счастья песня «Коробейники»?

Но я все еще держусь некрасовской лирики, а между тем Некрасов — живописец, Некрасов — эпик, Некрасов создает типы, которые поселяются в вас раз навсегда. Некрасов дает вам пейзажи непревзойденной убедительности. Некрасов рисует перед вами картины, которые словно стоят перед вами воочию. И он дает это не только как реалист — превосходна, незабвенна и фантастика Некрасова. Достаточно только вспомнить взлет народной фантастики в появлении воеводы Мороза в великой, изумительной поэме Некрасова этого имени. Какая удаль, какая ширь, какой демонизм!

В Некрасове таились огромные возможности, как в этой красавице-славянке, которую он нам в этой же поэме описывает. Если у него вырвался раз стих «мне борьба мешала быть поэтом» [13], то мы можем сказать: нет, она не мешала ему быть поэтом. Но, если бы он жил в счастливую пору, он пел бы счастливые песни: тогда все эти маленькие критики почувствовали бы, что и в счастливой песне, песне красоты, любви, летучей жизни Некрасов оказался бы так же, а может быть еще более, велик. Может быть, еще более велик в том смысле, что дал бы еще более великие, еще более чарующие образы, но более ли велик был бы он тогда в том огромном уроке, который он преподал? Рыдая, грозя, он поднял рыдания и угрозы до степени высокой музыкальной и живописной красоты и ни на минуту их не ослабил.

В краткой статье нельзя исчерпать и десятой доли урока, который дает нам Николай Алексеевич Некрасов. Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим — нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед которым с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова.

А. Луначарский

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился в 1826 году и скончался в 1889 году. Мы празднуем столетнюю годовщину рождения величайшего сатирика, какого знает мировая литература.

Правда, Щедрин был настолько писателем своего народа и своей эпохи, что не только иностранцам очень трудно понять его, но даже и для нашего поколения многое в его сочинениях нуждается в раскрывающих комментариях. Конечно, писатель, слишком конкретно идущий в уровень со своим временем и своей средой, всегда рискует не остаться достаточно интересным вне этого времени и вне этой среды, но ведь, с другой стороны, прав и Гёте, когда он говорит: «Тот, кто верен своему времени, легче других добивается бессмертия».

Щедрин, конечно, бессмертен. То, что понятно в нем сразу (а таких страниц много), будет сразу же и оценено, а то, что заключено в скорлупу иносказания или связано с забытыми нами фактами, будет спасено для будущих поколений внимательным и любовным комментарием.

Наш старый уважаемый товарищ М. Ольминский долго носился с идеей создания щедринского словаря. Кажется, им даже была выполнена значительная часть работы в этом направлении [1]. Такой словарь, конечно, понадобится в скором времени, ибо я убежден, что Щедрин скоро сделается одним из любимых писателей нашей молодежи.

Общее значение Щедрина заключается в том, что он был поистине величайшим сатириком. Все соединялось для того, чтобы обеспечить за ним это место.

Что такое, по существу, сатира?

Этот вопрос можно поставить еще в другом виде: возможно ли смеяться над злом? Ведь зло должно возбуждать прежде всего желание искоренить его. Если его нельзя искоренить, то оно должно внушать ужас. Если это зло огромно и обнимает жизнь, то бессильный ужас перед этим злом должен дойти до отчаяния. Щедрин был со всех сторон объят ужасным злом царизма и соответственной общественности, он был бессилен не то что искоренить это зло, а даже хоть сколько-нибудь ослабить его. Мало того, он не видел около себя силы, способной победоносно вести с ним борьбу. Конечно, он ужасался, конечно, он был именно близок к отчаянию.

Но в том-то и дело, что и сам Щедрин, и те передовые силы русского народа, которые он представлял, безмерно переросли в умственном и моральном отношении господствующие силы официальной общественности и государства. Они переросли их настолько,

что могли смотреть на них сверху вниз. И поэтому как политическая сила, скажем даже — как физическая сила, Щедрин смотрел на ужасного истукана зла снизу вверх и был беспомощен. Но как моральная и умственная сила он смотрел на этого же истукана как на нечто лишенное всякого внутреннего оправдания, как на нечто, столь неуклюжее, столь косолапое, столь тупое, столь дезорганизованное, что все это могло вызвать в нем только презрение.

Конечно, Щедрин считал, что теория и практика правительства, консерваторов и либералов не заслуживает ни в малейшей мере серьезного отношения: нельзя относиться ни с любовью, ни с негодованием к такой жалкой тупости. Их можно было бы лишь осмеивать, если бы они не были ужасны. Если бы они не душили народ, его мысль, его совесть, его быт, то к ним можно было бы отнестись юмористически, как всегда относится стоящий выше описываемого явления писатель, когда желает дать этому явлению достодолжную оценку. Но в данном случае, несмотря на смехотворность, то есть глубочайшую несерьезность (с точки зрения идеологической) всего этого маскарада «свиных рыл», они в то же самое время являлись грозной, подавляющей силой. В результате получился смех, исполненный презрения, часто почти переходящий в юмор, победоносный смех, смех сверху вниз, смех, в плоскости идей и чувств уже победивший, раздавливающий осмеянный кошмар, и в то же время смех надрывный, смешанный со слезой, смех, в котором дрожит негодование, который прерывается удушьем бессилия, смех, блистающий внутренней победой и весь пронизанный злобой, еще более ядовитой от сознания своего реального бессилия.

Великая сатира возникает только там, где сам сатирик освещен каким-то, может быть, не совсем ясным, но тем не менее живущим в нем и в тех, кого представителем он выступает, идеалом. У Щедрина был такой идеал.

Великая сатира вырастает там, где этот идеал нельзя практически выполнить. В таком положении и был Щедрин.

Великая сатира возникает там, где препятствующая движению к идеалу сила неизмеримо ниже в культурном отношении, чем сатирик. Так это и было с Щедриным.

Великая сатира возникает там, где осужденная и осмеиваемая сила фактически оказывается победительницей, возбуждая тем самым новые волны желчи и злобы против себя. Так это и было с Щедриным.

И есть одно попутное обстоятельство, которое с формальной стороны довольно неожиданным образом содействовало росту нашего великого сатирика. Такая сила была — цензура. Ведь открыто смеяться нельзя, ведь вещи нельзя называть прямо своими именами, ведь надо надевать на свои идеи маску. Но идея в маске — это одна из высших форм искусства. Именно то, что свой тончайший

и ядовитейший анализ русской общественности и государственности Щедрин умел виртуозно одевать в забавные маски, спасло его от цензуры и сделало его виртуозом художественно-сатирической формы.

* * *

Михаил Евграфович Салтыков был по своему происхождению средним помещиком. Но тяжелый уклад помещичьей семьи часто ставил нелюбимых сыновей отцов-деспотов (например, Некрасова) или матерей-тиранов (как, например, Тургенева) в положение угнетенных, тем самым как бы поставленных в бо́льшую близость к рабам, чем к господам. У Щедрина была ужасная мать, которая беспощадно описана им в «Пошехонской старине». Когда маленькому Мише Салтыкову в руки попало Евангелие, даровитый ребенок совсем с ума сошел. Ведь ему говорили, что это святая книга, что в ней воля сына божьего, ведь все притворялись, что для них это закон. Миша же прежде всего вычитал там слова о любви, равенстве и братстве, и его детские глаза с ужасом открыли контраст между этим «законом» и действительностью. Он сразу понял, что такое лицемерие, и всю жизнь владевшее им чувство пропасти между желанной правдой и тем, что есть, возникло уже тогда. На самом деле, конечно, эта желанная правда была, в сущности, еще не совсем определившейся программой лучшей части буржуазной интеллигенции. Идеализм людей того времени имел много общего с идеализмом предшественников французской революции. Действительность была пока еще крепким укладом крепостников.

Салтыков учился в Александровском лицее. В этом лицее существовал обычай ежегодно выбирать «Пушкина» данного выпуска. 13-й выпуск лицея выбрал своим «Пушкиным» Мишу Салтыкова. Хотя до нас, если не ошибаюсь, не дошли его отроческие и юношеские произведения [2], но очевидно, что он уже тогда ярко выделялся на общем фоне лицеистов. Молодой Салтыков сразу становится на самом левом фланге общественности. Его привлекают по делу петрашевцев [3], первые его произведения возбуждают такой гнев властей предержащих, что его ссылают [4]. В то время любимыми писателями Салтыкова были утопические социалисты Сен-Симон, Фурье и особенно Жорж Санд. Салтыков склонялся именно к социализму, а не к политическому реформизму или даже политической революции. Он писал: «Политические новшества не затрагивают коренных основ, они скользят по поверхности, в массы народные они проникают лишь в форме отдаленного гула, не изменяя ни одной черты в их быте и не увеличивая их благосостояния» [5].

Наоборот, социальную реформу, реформу имущественных отношений Щедрин считает основной. Однако он, живший в царской тюрьме и остро защищавший свою свободу, эту свободу личности

считает необычайно ценной и выражает кое-где опасения, как бы социализм не оказался слишком государственным, как бы он не соскользнул на путь к аракчеевщине [6]. Тем не менее несомненно, что Щедрин всю свою жизнь был ближе к социализму, чем к либерализму.

Сам он определил свою борьбу так: «Против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия» [7].

Некоторое время он, дворянин, получивший сравнительно высокие должности в губернском масштабе (был вице-губернатором [8]), полагал, что на поприще чиновничества можно принести коекакую пользу, но позднее совершенно порвал с бюрократией и сделался чистым литератором.

Первая знаменитая книга Салтыкова-Щедрина, «Губернские очерки», произвела глубочайшее впечатление на общество. Если Писарев не сумел оценить ее и назвал «цветами невинного юмора», то гораздо более широкий и проницательный Чернышевский писал о Щедрине так: «Губернские очерки» вовсе не задаются целью обличать дурных чиновников, а являются правдивой художественной картиной среды, в которой заклейменные сатириком отношения не только возможны, но даже необходимы» [9]. «Никто не карал их общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью» [10].

Это глубокое замечание Чернышевского показывает некоторую тонкую родственность Щедрина с марксизмом. Действительно, гением своим Щедрин проникал в ту истину, что общественные уродства не случайны, а исторически неизбежны. Щедрин лицом к лицу стал с революционным движением и даже пережил его, так как умер в 1889 году. Сначала он, конечно, резко встретил базаровщину [11] и вообще недружелюбно относился к нигилизму, называя его мальчишеством. Потом переоценил и писал: «Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь» [12].

Недавно опубликованная переписка Щедрина [13] дает многочисленные свидетельства его крайнего уважения к революционерам. Приведу несколько примеров. Вот, например, как он передает содержание задуманного рассказа «Паршивый»: «В виде эпизода хочу написать рассказ «Паршивый». Чернышевский или Петрашевский, все равно, сидит в мурье среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже царя храни», вроде того, как Бабурин пел, и все ему говорят: «Стыдно, сударь! У нас царь такой добрый,— а вы что?» Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушным ко всем надругательствам, и старая работа, еще давно-давно до ссылки начатая, в нем все продолжается. Я скло-

няюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа заколдованной клеткой заперта. И этот человек, не доступный никакому трагизму (до всех трагизмов он умом дошел), делается бессилен против *этого* трагизма. Но в чем выражается это бессилие? Я думаю, что не в самоубийстве, но в простом окаменении. Нет ничего, кроме той прежней работы,— и только. С нею он может жить, каждый день он об этой работе думает, каждый день он ее пишет, и каждый день становой пристав по приказанию начальства отнимает работу. Но он и этим не считает себя вправе обижаться. Он знает, что так должно быть» [14].

Когда некто Соллогуб, выветрившийся писатель-аристократ, прочел в Бадене, где он встретился со Щедриным, «комедию против нигилистов», то вот что произошло, как описывает Щедрин Анненкову:

«Но оказалось, что Соллогуб не имеет никакого понятия о том, что подло и что не подло. В комедии действующим лицом является нигилист-вор. Можете себе представить, что сделала из этого кисть Соллогуба! Со мной сделалось что-то вроде истерики. Не знаю, что я говорил Соллогубу, но Тургенев сказывает, что я назвал его бесчестным человеком. Меня, прежде всего, оскорбил этот богомаз, думающий площадными ругательствами объяснить сложное дело, а во-вторых, мне представилось, что он эту комедию будет читать таким же идиотам, как и сам, и что эти идиоты (Тимашев, Шувалов и т. п.) будут говорить: «charmant!» * Ведь читал же он ее в Бадене, в кружке Баратынско-Колошинском [15] и, наверное, слышал «charmant!». И если бы вы видели самое чтение: он читает, а сам смеется и на всех посматривает. И Тургенев, как благовоспитанный человек, тоже улыбается и говорит: «Да, в этом лице есть задатки художественного характера» [16].

Пантелеев в своих воспоминаниях передает даже, что Щедрин упал в обморок после бурного нападения на автора [17].

Чем больше развивалось революционное движение, тем с большим вниманием и сочувствием присматривался к нему и Щедрин. Такое сочувствие сквозит, например, в беглом замечании в письме «о процессе 50-ти» [18]:

«А у нас, между тем, политические процессы свои чередом идут. На днях один кончился (вероятно, по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправданы, да и тех сейчас же отправили в места рождения. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. По-видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеваниями, как полагает Иван Сергеевич» [19].

---

* — очаровательно! (*франц.*). — *Ред.*

Наконец в 68-м году Салтыков-Щедрин делается вместе с Некрасовым редактором «Отечественных записок». С тех пор он становится постоянным сатирическим летописцем русской жизни. С изумительной яркостью описывает он распад и развал дворянства, дает незабываемые сатирические образы губернаторов, помпадуров, в «Господах ташкентцах» вскрывает колониальные хищничества русских правящих классов.

Но Щедрин был в то же самое время постоянным и резким врагом либералов. Земство [20], со своим крохоборством, находило в нем жесточайшее осуждение. Он называл земство «силой комариной». Тип земца — Промптов в «Благонамеренных речах» говорит у него: «В умствования не пускаемся, идей не распространяем,— так-то-с!» «Наше дело — пользу приносить. Потому — мы земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взгляд. Вот в прошлом году на Перервенском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьей помощью, и через Воплю мост соорудим» [21].

В 70-х годах определенно стала развертываться русская буржуазия. Сначала в виде «рыцарей первоначального накопления». В типах Разуваева, Колупаева, Дерунова Щедрин дает изумительные образы крупного кулака. «Убежище Монрепо», может быть, самый яркий образ крушения «вишневых садов» перед Лопахиными [22].

Весь строй, возникший после падения крепостного права, Щедрин характеризует так: «Необходимо было дать пошехонскому поту такое применение, благодаря которому он лился бы столь же обильно, как при крепостном праве и в то же время назывался «вольным» пошехонским потом» [23].

Отрицая дворянство консервативное и либеральное, бюрократию, интеллигенцию, Щедрин отнюдь не идеализировал крестьянство, и, не видя ни в чем спасения, пророчески предвидел он, что нужна предварительная выучка у капитализма, чтобы получилось что-нибудь. «Мне сдается, что придется еще пережить эпоху чумазистого творчества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастья» [24].

Щедрину присущ глубочайший пессимизм. И этот пессимизм вырастает в 80-х годах, в эпоху, которую он характеризует следующими словами в своей знаменитой «Современной идиллии»: «Посмотри кругом,— везде рознь, везде свара, никто не знает настоящим образом, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придет время, объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда, придет — и весь мир осияет».

Совершенно незабываемым, непревзойденным сочинением являются его гениальные сказки. Они могучи по своей мысли, забавны и вместе с тем трагичны по своему ядовитому ехидству, очаровывают своим языковым совершенством. И недаром такие современные пи-

сатели, как Демьян Бедный, недаром наши лучшие газетные работники постоянно черпают у Щедрина, главным образом из его «Сказок», эпиграфы, эпитеты, цитаты, образы, термины и имена. Временами и в сказках, и в особенности в типах Иудушки Головлева и Глумова Щедрин поднимается до обобщающих типов, пожалуй, даже более содержательных, чем знаменитые типы Тургенева. Иудушка и Глумов могут встречаться в разные эпохи у разных народов. И заслуживают глубокого изучения те их основные черты, которые связаны со всем классовым общественным укладом вещей и только варьируют в зависимости от вариантов этих укладов. Влияние Щедрина было и должно быть для нашего времени огромным. Редко, когда литература становилась такой действенной батареей в политической борьбе, несмотря на то что политическая борьба во время Щедрина казалась безнадежной. Может быть, именно потому Щедрин был проникнут горячей любовью к литературе и горячей верой в нее. Он пишет своему сыну: «Литература не умрет, не умрет во веки веков. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз,— одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, про который можно с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе»[25].

Другой предшественник коммунизма, другой дорогой нам человек в прошлом, о котором мы можем с гордостью сказать, как о подготовителе путей Ленина и его партии, Добролюбов писал о Щедрине: «В массе народа имя Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью»[26].

Надо теперь приложить усилия к тому, чтобы это великое имя стало как можно шире и глубже известным. Пусть столетний юбилей послужит именно этому.

А теперь мне хотелось бы, чтобы читатель, прочитавший эти строки, поставил перед собою портрет Щедрина, тот, где глядит на вас длиннобородый старик в пледе[27]. Вчувствуйтесь в это изумительное лицо. Конечно, Щедрин был болен, как он выражался со своим милым юмором, «болезнями самых различных фасонов»[28], но физические болезни не делают лицо таким вдохновенно страдальческим.

Какая суровость! Какие глаза судьи! Какая за всем этим чувствуется особенная, твердая, подлинная доброта! Как много страдания, вырезавшего морщины на этом лице, поистине лице подвижника!

Внесем это имя в список истинных подвижников человечества, повесим этот портрет на стенах наших рабочих и крестьянских клубов и, по крайней мере, избранные сочинения, написанные Щедриным, сделаем живой частью всякой библиотеки. Ведь если Щедрин труден в некоторых отношениях, то зато с ним очень легко. Вы не думайте, что этот больной старец в пледе, этот человек с колючими глазами и судья со скорбным ртом будет нам читать тяжелые, хотя и режущие проповеди,— нет, это человек неистощимой веселости, блестящего остроумия, это величайший «забавник», мастер такого смеха, смеясь которым человек становится мудрым.

А. Луначарский

К ЮБИЛЕЮ Л. Н. ТОЛСТОГО

Советское правительство в связи с приближением столетия со дня рождения Льва Николаевича Толстого поставило перед собой вопрос о формах ознаменования этого юбилея. Постановлено было придать юбилею широкообщественный характер.

Прежде всего была приведена к благополучному концу большая подготовительная работа по изданию Полного собрания сочинений Толстого. Конечно, самое издание к юбилею не может еще поспеть, дело это чрезвычайно большое, трудное и сложное; но, по крайней мере в настоящее время, выяснены и все материальные, и все идеологические, и все эдиционные проблемы, связанные с этим изданием; работа над ним уже кипит, и оно значительно продвинется вперед ко дню самого юбилея.

Помимо деятельности Всесоюзного юбилейного комитета, всякого рода специально возникшие по этому случаю и постоянно существующие организации и общественные учреждения со своей стороны готовят разные меры к ознаменованию столетия. Подготовляемые ими посмертные собрания сочинений, монографии, сборники и другие издания должны сыграть чрезвычайно крупную культурную роль.

В последнее время в прессе появились голоса, выражавшие как бы опасения относительно того, насколько наше правительство, партия, общественность, включая сюда нашу печать, нашу науку и т. д., смогут найти правильный тон по отношению к великому писателю, мыслителю и деятелю, столетие рождения которого мы будем праздновать [1]. Я думаю, что опасения относительно неправильной оценки Толстого вряд ли на чем-нибудь основаны. Само собой разумеется, огромная многосложная личность Льва Николаевича может подвергаться различным оценкам, различным толкованиям. У Толстого есть страстные, безусловные приверженцы,

но есть также и люди, которым то, что они считают отрицательными сторонами в учении Толстого, кажется превалирующим, доминирующим в нем.

Конечно, не может случиться так, чтобы юбилей Толстого не был связан со спорами. Мы уже отошли от того воззрения, что об юбиляре нужно либо молчать, либо говорить хорошо. Согласитесь, что это было бы очень плохим способом чествовать великого правдолюбца и великого человека. Мы заранее готовимся к тому, что одной из форм предстоящего чествования будет стремление углубленно и критически усвоить себе наследие Толстого. Следовательно, будут и споры и разногласия. Но та общая линия, которая в юбилее будет выдержана, для нас уже сейчас ясна. Я говорю «для нас» — это значит для представителей правительства, для Коммунистической партии, для пролетариата, для огромного большинства сознательных граждан, которые идут под знаком Октябрьской революции. И в той директиве, которая была дана от имени государства непосредственно комиссиям и комитетам, ведающим всеми вопросами юбилея, прямо было сказано: придать этому торжеству широчайший общественный характер, подчеркнув, выдвинув на первый план гигантские заслуги Толстого как великого художника, как выразителя многих ярко революционных начал цивилизации нашего времени, вместе с тем отнюдь не замалчивая, но, наоборот, вскрывая, оспаривая те черты, в которых сказался человек, принадлежавший к старой докапиталистической России, в которых сказался известный реакционный склад по отношению к капитализму и послекапиталистической эпохе. Остатки мистицизма, квиетизм учения Толстого (то есть непротивление злу насилием), равно как и огульное отрицание капиталистической культуры с отнесением к ней и безусловно положительных завоеваний новейшей цивилизации, в частности науки и техники,— все это, конечно, мы должны будем поставить под определенное критическое освещение и показать Толстого таким, каким он был,— одними своими сторонами обращенным к будущему, являющимся его пророком, от имени этого будущего нанесшим сокрушительный удар злу нашего времени, а другими своими гранями обращенным к азиатскому укладу, укладу первобытному и поэтому толковавшим неправильно уже превзойденные нами стадии и ступени цивилизации.

Высказывается далее опасение, что при подступе к чествованию Толстого будет забыта та критика, которую передовые революционеры противопоставляли учению Толстого и той критике, которую сам Толстой направлял против передовых революционеров.

Было почему-то высказано и такое опасение, что замечательно ценные по своей глубине статьи Владимира Ильича Ленина, посвященные Толстому (по поводу его 80-летия, по поводу его смерти и по поводу попытки некоторых поклонников Толстого выдвинуть

его как спасительный маяк для человечества [2], попытки, возникшей в эпоху, когда обрушилась революционная волна 1905 года и началось реакционное движение среди интеллигенции),— что эти статьи тоже будут забыты или отодвинуты в сторону. Но мы считаем, что все наши новые работы и высказывания о Толстом, которые, как надо надеяться, явятся по окончании юбилейных торжеств серьезной новой ценностью в деле усвоения Толстого, явятся большим культурным вкладом,— что все эти исследования, все эти споры, все эти работы пойдут под знаком именно данных Лениным необычайно тонких и далеко идущих указаний.

Я хочу процитировать и прокомментировать несколько отрывков из статей Владимира Ильича, посвященных Льву Николаевичу Толстому. Это будет, по-моему, лучшим введением в наши дальнейшие устные и литературные споры о Толстом, споры желательные и, надеюсь, плодотворные.

В день 80-летнего юбилея Толстого Ленин с некоторой гадливостью смотрел на попытки реакционной, синодальной, рептильной печати и на попытку реакционного правительства примазаться к юбилею Толстого и выставить его гордостью царской и бюрократической России. Не меньшее негодование и отвращение Владимира Ильича вызывала попытка умеренных либералов кадетского толка прославить Толстого как своего вождя и «петушком-петушком» пробежать за его колесницей.

Ленин указывал, что Лев Николаевич Толстой несравненно выше, революционнее всей вращающейся вокруг него, принадлежащей к верхам общества публики, независимо от того, причисляет ли она себя к сторонникам существующей власти или к оппозиции его величества.

Но, борясь за Толстого, заявляя: врете, не ваш Толстой, а гораздо скорее наш,— Ленин вместе с тем указывал на кричащие противоречия, которые заложены в Толстом и делают почти невозможным цельное суждение о нем.

«Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши,— с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий,

комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны,— юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины» [3].

Оценивая Толстого как двуликого Януса [4], революционера, с одной стороны, и человека, призывающего сложить оружие перед явным насилием, с другой стороны, указывая на эти противоречия, Ленин подчеркивал гигантский протест, чрезвычайно энергичное негодование против царящего зла и вместе с тем полное бессилие бросить этому злу иной вызов, кроме морального, который, в сущности, является уступкой тому, против которого он брошен. Обезоружить одну сторону — значит вооружить другую; сказать: «я вооружу эту сторону морально, но обезоружу физически» — это значит быть невольным пособником того дела, против которого борешься.

Это соединение огромной моральной мощи и политической слабости бросилось в глаза Ленину, и он задумался над этим явлением, над его происхождением. Может быть, это попросту индивидуальная черта Толстого, его особенность?

Ленин идет глубже, он видит в Толстом колоссальнейшее проявление социальных сил, видит в нем гораздо больше, чем личность Льва Николаевича Толстого.

В эту гигантскую личность писателя, обладающего поразительной мощью, влилась стихия, стихия, как мы видим, внутренне разобщенная, не единая, но великая, которая его подняла, воодушевила и сделала своим глашатаем. Он неизбежно должен был обладать этими обеими сторонами: мощью, грандиозностью и зародышами слабости.

«И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней» [5].

«...Века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие

свободных и равноправных мелких крестьян,— это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов»[6].

Нигде не упоминает Ленин, что Толстой барин, не говорит, что он представитель помещиков, хотя бы даже кающихся помещиков; Толстой для него гораздо больше — личность необычайной значительности, пророк, выразитель всего многомиллионного крестьянства в ту пору жизни, когда обрушились крепостные устои, а новые еще не пришли и капитализм в лице Деруновых, Разуваевых и Колупаевых стал нажимать на страну.

Но, борясь против капитала, не к крепостному же праву мог звать Толстой: крестьяне мечтали о восстановлении крестьянского уклада жизни на свободе, без капитализма и без помещиков; какой же идеал вырисовывается тогда? Круглый крестьянский человек на своем маленьком клочке земли, добывающий себе все необходимое и живущий в мире со своими соседями.

Этот идеал крестьяне выдвинули еще в библейские времена устами так называемых библейских пророков, этот же идеал был положен в основу идеологии крестьян в эпоху крестьянских войн, когда Мюнцером и левеллерами[7] выдвинут был идеал земледельцев, живущих дружно под одним небом над головой, единой верой и единым богом. Почти всегда в этих идеалах звучали черты квиетизма и некоторой политической дряблости.

Таким образом, положительные стороны учения Толстого соответствовали неясным, но монументальным принципам или смутно предугадываемым идеалам крестьянства.

«Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы... Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»,— совсем в духе Льва Николаевича Толстого!»[8]

«Толстовские идеи, это — зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости «хозяйственного мужичка»[9].

Несчастный мужик, попытки которого к протесту топились в крови под розгой губернатора, давным-давно разочаровался в возможности стихийного восстания, он видел мужицкую правду, но не знал, как за нее бороться. Поэтому он выдвигал только моральное воздействие как форму борьбы. И вот эти принципы, которые само крестьянство не могло сформулировать, были гениально сформулированы Толстым, и создана была, таким образом, знаменитая религия борьбы без борьбы, без насилия.

Когда Толстой умер, Ленин написал глубокую и знаменательную статью[10]. Характерно, что в этой статье он называет Толстого великим художником, а его произведения — гениальными. Надо это особенно принять во внимание тем революционерам, которые стоят на чересчур узкой точке зрения, называя все то, что не является стопроцентно нашим,— чужим и неправильным. Эта точка зрения чужда нашей доктрине и чужда, конечно, учению нашего великого учителя Ленина.

Вот что пишет Владимир Ильич: «...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»[11].

Вот формулировка действительно коммунистическая и марксистская. В нашей гигантской стране, где жило сто пятьдесят миллионов людей под гнетом царского правительства, готовилась революция, и вследствие этого шло гигантское брожение умов. Благодаря своему гению Толстой сумел связать все разорванные нити этого брожения. Действительно, он был гениально одаренным как художник и, может быть, прежде всего как художник, а та сила, которую он получил от этого гигантского брожения, от этого великого запаса народной мощи, дала ему возможность сделать шаг вперед в отношении художественной формы, в отношении всей художественной культуры по сравнению со всем остальным культурным человечеством. Толстой берется здесь в неразрывный связи с крестьянством. Не будь великого кризиса в совести русского народа, не будь страшных вопросов о том, как жить по правде, Толстой не мог бы быть великим художником. Но, с другой стороны, не будь гениального Толстого, его светлого мозга, его индивидуальных способностей, никто другой не смог бы так талантливо связать весь этот материал. Тут человек находит подходящую для себя среду, а среда находит подходящего для нее человека, подходящий рупор.

«Его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти»[12].

Ленин признает все эти несомненные достоинства.

Как видите, достаточно познакомиться с теми цитатами, которые я прочел, чтобы убедиться, что положительные стороны толстовства, независимо от художественной формы, в которой они изложены, ценились Владимиром Ильичем как в полном смысле слова прог-

рессивное явление, в значительной степени разбудившее в крестьянстве революционный дух.

Но можем ли мы согласиться с Толстым, когда он доказывает, что законы прогресса, провозглашенные западными учеными, нарушаются, разбиваются тем, что большая часть человечества, а именно азиатская часть, этого прогресса не знает?

Толстой нагромождает на голову этого прогресса все извращенные, все отрицательные его стороны, перенося центр тяжести не на такие положительные последствия прогресса, как наука, машина, рост продуктивности человеческого труда, а на всевозможные уродливые явления, вытекающие из современной цивилизации, как, например, присвоение орудий производства и всех связанных с этим выгод небольшой кучкой эксплуататоров. Толстой зачеркивает весь западный прогресс, утверждает, что, только обойдя его, только вернувшись к мифическому золотому веку, мы дойдем до конечной цели.

В этом воззрении сказалась земля, сказался тот азиатско-земледельческий уклад, который мертвой рукой держит Россию, который до сих пор еще накладывает на нее обломовско-крестьянские черты, который противодействует настоящей коммунистической энергии, настоящему стремлению вперед, к борьбе за наше будущее. Вот это самое отсутствие активности, которое характерно одинаково и для барина и для мужика, которое выявлено и в Обломове Гончарова и в Тюлине [13] Короленко, убеждение, что лучше отделываться мечтами там, где нужно было бы для достижения цели полезть не только в грязь, но даже и в кровь, поскольку нет иной дороги, нет иного выхода,— вот весь этот квиетизм, как будто бы и прекрасный на первый взгляд, но на самом деле предательский, должен быть отмечен как отрицательная сторона толстовства.

В отношении всякого великого человека, принадлежащего к известной исторической эпохе, мы должны выделить те его недостатки, которые связывают его с прошлым, и этим выделить те его положительные черты, которые связывают его со светлым будущим. Так мы должны поступить и в отношении Толстого.

Мы должны целиком усвоить Толстого и выделить особо те черты его учения, которые мешают нам принять Толстого.

«Умер Толстой, и отошла в прошлое дореволюционная Россия, слабость и бессилие которой выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат» [14].

К этим словам Ленина очень советую прислушаться людям, которые сомневаются в том, правильно ли мы говорим о Толстом.

«Он (пролетариат.— *А. Л.*) разъяснит массам толстовскую критику капитализма — не для того, чтобы массы ограничились проклятиями по адресу капитала и власти денег, а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу своей жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания капитализма, научились сплачиваться в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком» [15].

Эту цель мы и думаем выполнить путем издания его сочинений, путем организации юбилея.

Мы говорим: нужно, чтобы под руководством пролетариата вся народная масса проштудировала Толстого, извлекла из него огромную силу. Вбивши осиновый кол в низвергнутый нами политический строй, нужно использовать таившуюся в нем революционную энергию.

В 1911 году, в эпоху, когда у нас царила глухая реакция, когда интеллигенция в своей массе открещивалась от революции, были попытки сделать из учения Толстого указание — прочь от революции в сторону иных исканий. Ленин с особенной резкостью должен был подчеркнуть глубокую вредоносность такого течения. Разгромленные реакцией массы можно было продвинуть дальше во всяком случае не квиетизмом и непротивленством.

«Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер *такого* социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду с оценкой других видов социализма» [16].

В моих работах, часть которых опубликована, часть готовится к печати, я занимаюсь выяснением этого толстовского социалистического антикапитализма, который сопротивляется наступлению капитала, отвергая все, что тот несет с собой, между тем как победить может не эта бессильная теория, а организованная и беспощадная борьба класса, который использует все, что приносит капитализм, для того чтобы в самом деле устроить социализм. Эти две точки зрения — толстовство и марксизм — приводят к разным политическим программам, а тогда, в эпоху реакции, речь шла о том, чтобы не позволить подменить нашу революционную программу какой-нибудь другой.

«...В наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди

аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред»[17].

Можем ли мы сказать, что идеализация Толстого полезна в наши дни? Нет, конечно, она вредна, и мы с нею боремся.

Пролетариат проводит под своей классовой державой великое социалистическое строительство в нашей стране. Не говорил ли Ленин о том, как нужно относиться к Толстому в эту эпоху приближения к социализму? Ленин говорит:

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»[18].

Нужен социалистический переворот, чтобы сделать Толстого достоянием всех. Мы переворот социалистический сделали, и пора теперь сделать Толстого достоянием всех.

Ленин пишет:

«И Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов,— он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»[19].

Таким образом, Ленину не приходило в голову, что в социалистическом обществе перестанут ценить Толстого. Наоборот, он видел впереди все больший рост оценки Толстого и как художника, и как революционера.

Так что же, значит, Ленин сам себе противоречит, значит, он по прошествии трех лет отрекся от своих взглядов? Нет, разрешите быть с Лениным до конца. «Уж сколько раз твердили миру»[20], что, если находишь противоречия у Ленина, значит, они есть на самом деле у тебя самого.

Из всего того, что я цитировал, совершенно ясно отношение Ленина к Толстому как художнику, гениальному мастеру слова, великому мыслителю, общественному деятелю, который выразил гигантский революционный запас сил, таившихся в крестьянстве. но вынужден был отдать дань и реакционным чертам крестьянства, которые никогда не позволяли крестьянству выступить как творческой силе. Крестьянство могло создавать тоскливые песни бессилия, но сломить врагов и дать всему народу счастье оно не могло. У него нет организованности и боевой энергии пролетариата.

Поскольку толстовство и сейчас может быть одним из препятствий к возникновению этой организационной силы и боевой энергии, мы будем с ним бороться.

Понятно, в той небольшой речи, которую я сейчас произнес, невозможно было обнять всю огромную сокровищницу толстовского наследия. Я хотел коснуться основных вех морально-политического учения Толстого, оставив в стороне всю ту изумительную житейскую мудрость, все то проникновенное понимание конкретной жизни, которыми богат Толстой. И разумеется, нельзя, сведя все значение Толстого к тем чертам его, которые затронуты были сейчас, сказать, что этим и ограничивается содержание произведений и учения Толстого. Изучая Толстого, мы найдем бесконечное количество и других ценностей как политического, так и морального характера; мы найдем целую необъятную сокровищницу. Придется углубиться в эту сокровищницу и отделить от шлака то, что для всех нас является совершенно несомненной драгоценностью. И кто же убоится приступить к таким раскопкам и скажет: э, да тут есть и совсем некоммунистические вещи; лучше отвернемся от этого? Надеюсь, что таких людей не найдется. Но из этого, понятно, не следует, что все найденное нами в учении Толстого будет свято для нас. Наоборот, мы будем относиться ко всем дарам великого гения так критически, как и должны отнестись свободные люди.

В заключение скажу несколько слов относительно учения Толстого о непротивлении злу насилием с точки зрения той очень интересной речи, которую произнес сейчас уважаемый Горбунов-Посадов [21]. Конечно, каждый из нас подпишется обеими руками под тем, что на земле должен быть мир, что кровопролитие есть величайшее преступление, что самое существование всех этих проклятых боен и войн есть срам для человечества,— все это совершенно и абсолютно верно. Но вопрос ставится только так: как же нам освободиться от этого зла? Если бы мне сказали: сейчас ожидается попытка английского консервативного правительства создать всемирный блок для интервенции против нас (а интервенция будет обозначать попытку разгрома единственной пролетарской державы, укрепление милитаризма, может быть, еще на несколько столетий, продолжающуюся эксплуатацию человека человеком и т. д.),— так вот, не думаете ли вы, Анатолий Васильевич, что правильнее было бы свернуть сейчас Красную Армию, а вместо нее создать большой синод толстовцев и поручить ему вести энергичную пропаганду среди европейской буржуазии, с тем чтобы переубедить ее и сделать интервенцию невозможной,— я ответил бы (если бы даже был толстовцем, конечно, не таким ярым, как Горбунов-Посадов), что ничего не имею против такого синода толстовцев и против пропаганды в Англии и Америке и от души желаю синоду самого большого успеха, какой только возможен, но позвольте уж мне на всякий случай сохранить и нашу Красную Армию. (*Смех, аплодисменты.*)

Человеческое воображение, человеческое желание — это птица,

обладающая чрезвычайно могучими крыльями, легко возносящими ее над действительностью. И если не совсем права эта высоко парящая птица, когда она с презрением смотрит на нас, ползающих по земле ужей, то все же мы можем сделать некоторые выводы в ее пользу. Если сравнить полет толстовского воображения, его веру в перерождение мира, в грядущее всеобщее братство с рассуждениями какого-нибудь Пуанкаре, который считает, что война есть необходимая черта человеческой жизни до конца существования земного шара, что вообще всякого рода идеалы, кроме капиталистических, представляют собою сплошное сумасшествие, сумасбродство и т. д., то, разумеется, тут наши симпатии будут всецело на стороне толстовства.

Мы тоже любим полет, мы тоже любим великие задачи, мы тоже любим ставить перед собою широкие цели, но мы все-таки реалисты и практики. Мы знаем, что при теперешних условиях, когда мы стоим перед новой бойней, которая по своим результатам может оказаться гораздо более зловредной, чем империалистическая война 14-го года, и когда, с другой стороны, даны все условия для сплочения трудового человечества против капиталистического мира и нужно только какое-то усилие пропаганды, а затем и живого действия, чтобы вывести человечество из-под этого гнета,— в это время великие задачи рисуются с другой точки зрения и представляется почти бесполезным бормотанием вся пропаганда борьбы путем убеждения против этого зла. Царящее сейчас на земле зло — очень себе на уме, вы эту щуку никаким карасиным словом не проймете [22], она вас и слушать не станет, она представляет собою (и Толстой это знал) огромный молот, который словами сдвинуть нельзя. Стало быть, не надо тут тратить попусту слов, но надо употребить власть [23]. А для того чтобы ее употребить, чтобы реально и действительно сбросить зло, нужно иметь силу. Для нас сила эта заключается в готовности обороняться и в готовности, когда нужно, нанести решительный удар, ибо нанесение решительного удара в области революционной борьбы не есть только оборона нас самих, наших семей — это есть вообще оборона судеб нашего дела. Прав Маркс, когда говорит: «Если мы будем откладывать борьбу в долгий ящик, как бы человечество не погибло». В этом смысле совершенно верен и призыв Горбунова-Посадова и подобных ему толстовцев: давайте же не откладывать! Вот мы как раз и считаем, что если мы сейчас не будем бороться, то это будет форма «откладывания». Мы говорим: «Не будем терять времени даром; давайте проповедовать наше учение, сплачивать наши силы и готовиться к последнему бою»: и когда мы его выиграем (а это не за горами), тогда мы пойдем к толстовцам и скажем: «Пожалуйте к нам, широчайшим образом проповедуйте миру ваше учение, потому что за время борьбы сердца человеческие обросли шерстью и земля

сочится кровью; но тяжелое дело, которое должно было быть сделано,— дело убийства зла, которое само собою не хотело превратиться в ангела добра, совершено, и сейчас действительно начинается дело мира и любви».

Тот, кто действительно принцип любви провозглашает не только устами, но и сердцем и кто вместе с тем проник во внутреннюю механику нынешнего положения человечества, тот, конечно, знает, что в наше время великая любовь без великой ненависти невозможна, что великая любовь без великой самоотверженности невозможна. И он спросит еще себя — какое самоотвержение выше: сказать ли: «Я не убью и сохраню свою душу в святости» — или сказать: «Я прекрасно понимаю всю преступность убийства, но я все-таки пойду на борьбу оружием, потому что иных путей нет, всякий иной путь есть самообман».

Вопрос о том, какой путь является действительным и реальным — толстовство или марксизм,— решается тем, каковы результаты пацифистской пропаганды.

Что сделано христианством в течение веков в смысле парализации милитаризма? Действительно ли страны, на храмах которых торчит крест, сделались менее кровожадными? Этого нет. Не знаю, считают ли толстовцы, что учение Толстого выше учения Евангелия, что нынешний мир более способен к восприятию слова увещевания, чем это было раньше,— вряд ли есть основания для этого. Во всяком случае, они должны помнить, что все короли надевают на себя корону с крестами, что на грудь того, кто убил больше людей, вешают крест.

— А разве насилие,— возразят нам,— кровавая борьба привела к действительной победе?

Наша борьба за всеобщее братство могла начаться тогда, когда развилась нынешняя промышленность, наша борьба за угнетенных против угнетателей могла начаться только тогда, когда слабый и распыленный рабочий класс превратился в мощный и организованный пролетариат. Мы находимся теперь в условиях, каких еще не было в истории; внутри капитализма созрел новый рабочий мир, который жаждет разбить свои оковы. Только этот победивший пролетариат сможет создать на земле торжество справедливости — тот праздник, о котором мечтал Толстой.

Но не только наши пути расходятся с путями, предлагаемыми Толстым,— мы, кроме того, не так, как он, представляем себе и будущее.

Толстой, который был пророком крестьянства, подходил с его точки зрения и к будущей цивилизации. Она рисовалась ему как благоустроенный деревенский быт. Мы мыслим не так. Мы как раз причисляем себя к тем вавилонским строителям, детям Каина[24], которых первые толстовцы считали сатанинским отродьем.

Мы верим в науку, в технику, в то, что сам человек может устроить на земле жизнь очень богато, красиво, содержательно и превратиться в могучего повелителя природы. Мы не боимся сногсшибательных путей цивилизации, мы отчалили от азиатской неподвижности. Мы знаем, что там, позади, было много красоты в этой неподвижной, квиетически-спокойной жизни, но это не наша жизнь. Наша задача иная.

Толстой думал, что Азия надвинется на Европу и успокоит ее горячку, низведя ее к сельскому покою. Мы видим, что Толстой ошибался: спокойные прежде азиатские страны вовлекаются в историю и взрываются такой же социалистической революцией, как и Запад. Прогресс владеет земным шаром.

Но не напрасно мы произносим слово «диалектика». Оно обязывает нас рассматривать каждое явление, беря его в живой жизни. Здесь при изучении Толстого неизбежно скажется противоречие этой живой жизни, иногда в интереснейшей схватке вчерашнего дня с завтрашним.

Коммунисты не должны целиком поддаваться обаянию Толстого, но они не должны сектантски отвергать Толстого потому только, что кое-что, пусть многое, в Толстом им не нравится. Выполняя завет Ленина, надо издать сочинения Толстого и ознакомить с ними широчайшие слои населения нашей страны и содействовать их правильному усвоению. Это мы и делаем теперь.

А. Луначарский

СМЕРТЬ ТОЛСТОГО И МОЛОДАЯ ЕВРОПА *

Молодая Европа, Европа будущего, та, которая растет и развивается в недрах Европы старой, ныне господствующей, откликнулась горячо, хотя и не совсем стройно, на смерть великана, связывающего лучшие традиции старины с лучшими надеждами будущего. Это неудивительно в известных пределах. Кто может не ценить Толстого-художника?

Есть, однако, в торжественном чествовании Толстого молодой Европой и такие ноты, которые если и не вызывают удивления у вдумчивого человека, то во всяком случае наводят на серьезные мысли.

Позвоночным столбом, основной колонной строящегося здания молодой Европы является, конечно, широкое и глубокое течение марксизма. Теоретики этого направления неоднократно обвинялись в педантизме за ту непреклонную, пуританскую строгость, с которой

* Статья была написана за границей непосредственно после смерти великого писателя.— *Ред.*

они отграничивали признаваемые ими ортодоксальными истины от всяких примесей, от всяких других культурных течений, хотя бы родственных и симпатичных. По отношению к учению Толстого — говорю именно об учении прежде всего, а не об искусстве — в этом мире принято было высказываться резко отрицательно, принято было отмечать в нем те черты, которые делают его антиподом научного социализма. Можно было думать, что идейные выразители пролетариата и его передовые круги пройдут в молчании мимо гроба Толстого или просто холодно отметят свою чуждость этому человеку. Но этого не случилось.

Конечно, пролетариат не может относиться равнодушно к несомненно эстетическим ценностям, в искусстве какого бы класса, времени и общества он ни находил их. Но в многочисленных телеграммах русских рабочих говорилось не только и даже не столько о Толстом-художнике, как о Толстом — общественном деятеле. Таков же смысл телеграммы социал-демократической фракции Государственной думы [1]. И фракция была права, послав свой привет не только от своего имени, но и от имени всемирного пролетариата.

В самом деле: Каутский пишет о Толстом как о великом писателе, заслуживающем высокого почета, и явно имеет в виду при этом не один художественный гений. Ледебур в ответственной парламентской речи упоминает о Толстом как враге милитаризма, то есть опять-таки о его общественном учении, и заявляет: «Считаю за честь упомянуть об этом великом человеке». Антисемит, председательствующий в австрийском рейхсрате, отказывается почтить Толстого, и первую красноречивую речь в честь его произносит социалист.

Быть может, наиболее метко выразился Жорес, который, естественно, оказался центральной фигурой во время чествования Толстого французской палатой: «Есть живые ключи в пустыне, по которой все еще странствуют народы; у этих ключей перекрещиваются самые различные пути: таким родником живой воды был Толстой. Искренние христиане и мы, социалисты, идем разными дорогами, но мы встретились у источника любви и мудрости, который называется Лев Толстой».

Можно было бы продлить до бесконечности список показателей чуткого и любовного отношения социалистического мира к покойному великому соотечественнику нашему. Между тем никто не хочет и не может замалчивать коренных разногласий между учением Толстого и учением, связанным с не менее великим именем — Карла Маркса. Не надо только закрывать глаза и на важные совпадения, не надо подходить к толстовству без анализа: он не весь целиком союзник авангарда человечества, но и далеко не весь враг ему.

В самом деле, научный социализм исходит из положения о мучительных противоречиях нынешнего строя. Эти мучительные противоречия гениально отметил и заклеймил и Лев Толстой. Научный

социализм ищет разрешения этих противоречий в гармоническом общественном строе, поканчивающем с делением человечества на классы и нации, строе по преимуществу трудовом. Лев Толстой также ищет гармоничного строя, так же точно рисует перспективы трудового согласия людей, так же точно отвергает классы, так же точно глубоко дружествен общественным низам и враждебен верхам — не лицам, конечно, а самому принципу плутократии и аристократии.

Научный социализм считает индивидуализм порождением общественной анархии, основанной на частной собственности. Он отвергает его, предсказывая торжество коллективизма, симпатических чувств, широкого, героического мирочувствования над узким лавочническим. Лев Толстой, представлявший сам из себя богатейшую и напряженнейшую индивидуальность, бывший страдальцем индивидуализма, всю жизнь свою посвятил, однако, борьбе с ним.

Научный социализм смотрит на государство как на естественную организацию общества разрозненных эгоистов и классовых противоречий; Толстой так же смотрел на государство и предвидел, что при иных условиях оно станет совершенно излишним.

Вот главнейшие сходства между обоими идейными зданиями.

Конечно, радикальны и различия.

Научный социализм реалистичен: на индивидуализм, частную собственность, капитал и прочее он смотрит как на неизбежную фазу в развитии человеческой культуры. Выхода из этой тяжелой фазы он ждет только от развития внутренних сил нынешнего общества, старается объективно выяснить их взаимоотношение и способствовать самосознанию тех классов, которые являются естественными носителями идеалов будущего. Он призывает идти вперед по той же дороге, по которой шло человечество до сих пор, он призывает принимать активнейшее участие во всех сторонах культурной жизни, всюду помогая разрушению старого и созреванию нового мира.

Толстой как общественный философ — идеалист чистой воды. Он резко противопоставляет греховной и неразумной действительности святой и разумный идеал. Ища внешних форм для своего идеала любви, он заимствует их в прошлом, в простой правде натуральных хозяйственных отношений. Он призывает решительно сойти с большой дороги человеческого прогресса, перескочить на какие-то новые колеи. Он не верит в человеческую активность в смысле участия в нелепой и злой, по его мнению, сутолоке действительности. Прежде всего надо научиться не делать многого, что кажется естественным, но что на деле губительно. Это не значит, чтобы учение Толстого было пассивным, как думают некоторые: оно активно, но идеалистически активно. Толстой считает силу слова настолько колоссальной, что немолчной проповедью этой думает сперва остановить вакхическое шествие обезумевшего человечества, а затем направить его вспять стройным шествием, под пение псалмов в царство мира и любви.

Отсюда и другое коренное различие. Маркс борется с индивидуализмом общественными путями, пересозданием социальной обстановки, Толстой — индивидуальными же путями: личность у него сама себя приносит в жертву, в самой себе, в недрах своих, на огне любви сжигает свой эгоизм, а в результате этого преображается и весь социальный мир.

Толстой — пророк, но он родной брат тех пророков Израиля, которые боролись с потоком цивилизации, развращавшей простые нравы пастушеского народа. Они тоже звали назад, к правде и человечности, к мелкособственнической идиллии, в которой собственность не собственность уже, а временный дар бога, находящийся под контролем закона божьего. Недаром социальный учитель Толстого — Генри Джордж — поет славословие Моисееву закону как мудрейшему установлению. Толстой — родной брат тем великим еретикам, которые, во имя равенства, прославляемого в Ветхом и Новом заветах, становились поперек пути растущему накоплению богатств, не боясь противостать самой церкви. Он родной брат новых борцов против неправды капитализма, во имя старого уклада с более гуманными, невольно идеализирующимися в воспоминании отношениями: Сисмонди, Прудона, Карлейля, Рескина и других.

Но если сторонник научного социализма, при всем несогласии своем с этими людьми, не может не отдать им дань уважения, то надо помнить все же, что ни один из них не был вооружен тем несравненным оружием, каким обладал Толстой: оружием художественного гения. Толстой-художник неотделим от Толстого-мыслителя. Именно жажда внутреннего покоя, стремление разрешить противоречия могучей индивидуальности, именно беспощадность к себе и окружающему, во имя правды-истины и правды-справедливости, сделала Толстого великаном искусства. Его художественные произведения все сплошь суть морально-философские трактаты. Ему случалось иногда направлять удары своего всесокрушающего молота и на новое, им непонятое, объективно страшно ценное, но посмотрите — эти удары не повредили: то, чему суждено жить, не умрет от критики. Наоборот, старый мир весь дрожал, весь колебался от стрел могучей сатиры Толстого. Ему случалось возвеличивать, освещать лучами красоты идеалы ложные, настроения упадочные. Но такие страницы вызывают только глубокую жалость. Слишком легко чувствуются здесь заблуждения великой души, не сумевшей победить в себе ограниченность своей среды, своих традиций. Наоборот, как часто Толстой с таким всепобеждающим пафосом превозносит победу лучшего начала над пошлостью личных целей, единение с человечеством и миром, как не делал этого ни один поэт до него.

Эта сила возвышает Толстого над всеми великими собратьями его по идеям и настроениям, поэтому из всей плеяды этих экономически-реакционных революционеров, этих рыцарей любви и гармо-

нии, не нашедших прямой дороги к своему идеалу, этих врагов по недоразумению и друзей по сущности дела Лев Толстой ближе всех сердцу передовых людей, передового класса европейского общества.

Молодая Европа, конечно, шире того течения, которое мы имеем в виду в предыдущей главе [2]. И уж конечно законными представителями этой молодой Европы являются два писателя, определивших лучше других место и, так сказать, пространственную величину Толстого в царстве духа. Один из них не только стар годами, но и носит в своей душе артиста много ядов культурного стариковства. Тем не менее другими сторонами своего разнообразного и блестящего дарования он приближается вплотную к самому молодому и свежему, что только имеем мы в нынешнем нашем цивилизованном мире. Я говорю об Анатоле Франсе *. Другой достаточно неопределенен, чтобы его можно было зачислить в разные лагеря, но опять-таки лучшими струнами своей души откликающийся на новую музыку, на социальную музыку будущего — это Герхард Гауптман.

Анатоль Франс видит в Толстом великого провидца и полагает, что многое в его учении, представляющееся безумной утопией мещанскому уму, является чутким предвидением некоторых форм жизни более совершенного человечества. И в то же время он, и это важнее всего, сравнивает Толстого с Гомером.

Герхард Гауптман, посвятивший Толстому нечто вроде стихотворения в прозе, назвал два других имени: Савонаролу и Будду [3].

Вообразите же теперь, читатель, как огромен должен быть человек, прикасающийся одновременно к этим трем звездам культурного мира. Гомер — это сама объективность, созерцательная натура, с лучезарной ясностью отражающая действительность, преображающая ее лишь в том смысле, что в отражении она кажется еще более величавой, блистательной и равнодушной в своем богатстве. Савонарола — это, кажется, самое яркое выражение противоположного начала: горячего субъективизма, фанатизма, доходящего до исступленности, стремления подчинить всякий объективный эстетизм субъективному морализму, форму — духу; в его мире события — одеяние бытия — кажутся чем-то бледным, невзрачным и случайным, наоборот, величаво равнодушную судьбу и почти бесстрастного Зевса [4] заменяет любвеобильное, но вместе с тем грозное провидение, не могущее воплотиться лучше, чем в образе человека, умирающего мучительной смертью, на позорном орудии казни.

Если можно найти гения, одинаково далекого от этих полюсов, так это, конечно, Будда, одинаково вознесшийся как над радостью перед красотой жизни, так и над порывами напряженной, боевой воли, с одинаковой улыбкой жалости и презрения взирающий как

* Дальнейшая судьба величайшего из живущих писателей Франции подтвердила эту характеристику.— *Прим. авт., 1923 г.*

на призрачную Майю [5], тщетно старающуюся увлечь его пестрой, но суетной своей игрой, так и на всякую страсть, как бы высока, по своему направлению, ни была она.

Граничить с Гомером, Савонаролой и Буддой — это значит быть необъятным.

Конечно, Толстой не так наивно объективен, не так прозрачно спокоен, не так артистически простодушен, как Гомер. Ведь Гомер же и не лицо, а собирательный образ целых поколений друг на друга похожих певцов, концентрировавших в своих гекзаметрах опыт целого народа-отрока. Но и от многих поэтических картин Толстого веет такой солнцем осиянной правдой, таким непосредственным ясновидением, такой полнотой жизни, что порой кажется, будто он творит, как сама природа, будто образы сами в нем возникают во всей красоте и силе объективного бытия. Напоминает Толстой Гомера и широтой своих картин, охватывающих действительно внутреннюю и внешнюю жизнь целого народа.

Толстой не так, конечно, страстен в своей проповеди, как Савонарола, в нем нет того мрачного огня, той одержимости, граничащей то с вдохновением, то с бесноватостью. И все-таки родственные черты присущи Толстому несомненно. Та же беспощадная прямолинейность в искании правды и справедливость, не останавливающейся перед запретами какой бы то ни было земной власти, та же страстная любовь к богу, с вытекающим из нее отрицанием официальных хранителей веры, то же стремление к опрощению внешней культурной жизни во имя обогащения жизни духовной, вечной, как думали оба, то же отношение к искусству, которое не отвергается, но допускается лишь, как слуга высокой религиозной морали. И замечательно, что как религиозный морализм Савонаролы не мешал ему самому подыматься в своих проповедях до высочайших вершин ораторского искусства, не помешал склонившемуся к ногам проповедника Боттичелли написать ряд наиболее торжественных своих картин и жить в благоговейном сердце другого великана искусства — Буонарроти *, так и религиозный морализм Толстого и вся односторонность его эстетики не помешала ему написать «Воскресение» и другие великолепные произведения старости. Да и конечно, как бы односторонни ни были Савонарола и Толстой в своем религиозном отношении к искусству, они все же, как эстеты, стоят целой головой выше самых мудрых рассуждальщиков об «искусстве для искусства».

Толстой не был также так азиатски пассивен и беспечален, как при жизни еще познавший нирвану [6] Будда́, но все же бог Толстого очень начинает казаться нам светлой пучиной, в которой все единичное сладостно утопает и растворяется; любовь Толстого очень часто принимает характер жажды глубокого спокойствия и однообразного

* Микеланджело Буонарроти.— *Ред.*

разрешения всех вопросов и трудностей жизни, гранича, таким образом, с высоким равнодушием.

Таким образом, Толстой не Гомер, не Савонарола, не Будда, но в этой необъятной душе действительно были родственные черты, наведшие Франса и Гауптмана на мысль о тех трех великанах. Повторяем: приближаться одновременно к этим трем вершинам — значит быть огромным.

В Толстом сконцентрировано так много разнообразно ценного, что по суждению о нем часто можно судить о самом судящем. Это я и хочу сделать специально по отношению к молодой Италии.

Я не скажу, конечно, чтобы старая Италия, католическая, консервативная или буржуазная, Италия «уважаемых» ежемесячников и больших газет так и не сказала ни одного разумного и доброго слова по поводу смерти Толстого. Но то немногое разумное и доброе, что было сказано ее идеологами, совершенно тонет в банальных панегириках, так хорошо охарактеризованных Папини в его статье, которой будет отведено нами почетное место в нашем маленьком смотре армии молодой Италии в момент ее церемониального марша мимо могилы Толстого.

Смерть Толстого послужила поводом к искренней и действительно блестящей статье, много прибавившей к чести Папини * и возвышающейся надо всем, что было написано в Италии по этому поводу. Мы с удовольствием перевели бы всю эту статью целиком, если бы имели для этого место, но нам приходится ограничиться лишь немногими, наиболее выразительными выписками. Папини великолепно обрушивается на всю толпу итальянской официальной журналистики. «Ежедневная и повседневная бычачья тупость, которая почти не дает себя чувствовать, пока дело идет о бычачьих и ослиных делах, немедленно развертывает перед вами всю длину своих неуклюжих рог, когда в мире случается что-нибудь возвышенное. Повторять ли всю тошнотворную, унизительную некрологическую болтовню, состряпанную при помощи справок в энциклопедическом словаре, в торжественном стиле похоронных бюро первого класса? Я не стану также ополчаться на сплетничание, старавшееся низвести поступок святого до степени каприза, вызванного семейной склокой. Но как перенести, когда торгаши словом пользуются этим случаем, чтобы закатить Толстому прозвище комедианта и дилетанта? Мы готовы допустить, если это утешит вашу оскорбленную ограниченность, что Толстой был и фантазером и дилетантом, но не вам болтать об этом с видом серьезных людей, которым некогда терять времени со старым фантазером. Толстой мог высказывать неприемлемые мысли, но это как раз такие «глупости», до которых вам не додуматься

* К сожалению этот нервный, непостоянный писатель пережил потом необычайную серию метаморфоз, которые не закончились и по сию пору.— *Прим. авт., 1923 г.*

при всем напряжении ваших маленьких мозгов. А если бы вы случайно и додумались до них, то не собрались бы с духом их высказать, даже если бы для этого вам предоставлена была вечная жизнь. Перед трупом этого автора абсурдов и апостола невозможностей я советую вам стать на колени, несмотря даже на страшную опасность испортить складки ваших новеньких панталон».

После этого бурного приступа Папини раскрывает внутренний смысл жизни Толстого как жизни идеального человека вообще. Он суммирует свои идеи в таких строках: «Это человек; смотрите — это человек! Начало его жизни героично, воинственно, полно приключений, это жизнь феодала, сражающегося, преданного игре и страстям, но вот из солдата выходит художник, он начинает жить божественной жизнью творца, он воскрешает целые миры мертвецов, вкладывает душу в сотни новых созданий, движет и смущает совесть масс, читается целыми нациями, над всеми возносится и уже не видит себе равных в мире. И после этого из художника выходит апостол, пророк, спаситель людского рода, кроткий христианин, отрицатель благ жизни. После того как он столькими владел, что еще оставалось ему, как не отказаться от всего?»

Это место в статье Папини напоминает знаменитое место в философии религии Гегеля, где великий философ рисует человеческую жизнь в виде четырех ступеней: наивного *детства*, в котором уже бродит непроснувшееся будущее, мутной и горькой *юности*, с ее интенсивной радостью жизни и терзаниями безудержных страстей, *зрелого возраста*, с его спокойной, уверенной, творческой работой, и *старости* с преобладанием сознания универсальности над всем личным, величавой старости, кротости учителя, обнимающего все и отрекшегося от остатков эгоизма.

Это немножко не совсем то, что «жизнь человека» в изображении Андреева! [7] Действительно, далеко не всегда старость является четвертой, высшей ступенью, апофеозом души,— часто это печальное разложение сил, превращение духа в развалину, наряду с неизбежным распадом тела. Но лучезарные образы старцев: Микеланджело, Гёте, Гюго, Толстого — показывают, что построение Гегеля вернее самой еще слишком скорбной и ненормальной действительности.

Молодые писатели журнала «Молодая Италия» [8], органа социалистической, только еще подымающейся над землею поросли,— тоже замахнулись на Толстого. Он-де давно уже умер, старость — это долгое умирание, и философия Толстого есть психическое старчество, результат разложения этого огромного гения. Но нельзя не простить этим зеленым юнцам такого суда. Они полны сил. Было бы нехорошо, если бы они, еще только занесшие ногу на вторую ступень, уже понимали бы психику четвертой. Зато рядом с этим молодой де Анжелис, автор статьи «Ответ жизни на смерть Толстого», проникнут благоговением к Толстому-артисту. Он признает его неизме-

римую высоту, по сравнению со средним человеческим ростом, он говорит, что только осужденный Толстым Шекспир приближается к нему по богатству созданного им мира, и кончает такими словами: «Этот апостол был также героем, в настоящем, карлейлевском смысле слова. Так он жил и так умер. Но человечеству не нужны герои, проповедующие жизнеотрицание. Зато ему бесконечно нужны мощные и неутомимые художники; вот почему, следя за агонией этого старца, мы чувствуем, как трепещет наше сердце, как сердце сына у одра престарелого родителя».

Это, право, хорошая нота для того, чтобы закончить ею статью.

А. Луначарский

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

I

Имя Владимира Короленко, которому исполнилось 65 лет и который одновременно справляет сорокалетний юбилей своей писательской деятельности,— дорого каждому грамотному русскому человеку.

Нетрудно отдать себе отчет в том, чем дорог он нам; тут нет и не может быть никаких споров.

Короленко — обладатель огромного литературного дарования: его слог необычайно музыкален и прозрачен, он в одинаковой мере и гармоничный живописец, и тонкий психолог, и ласковый юморист. На его произведениях лежит печать вечности; читая их, вы чувствуете их художественное совершенство, внутреннее спокойствие, уравновешенность, меру, свойственную классическим произведениям. Никто из русских писателей не был в такой мере классиком, не обладал такой зрелой, законченно-прекрасной формой в прозе, как Короленко, кроме разве Тургенева, с которым многое роднит юбиляра.

Но сквозь эту столь радостную самой красой своей форму, сквозь этот чуткий и все в жемчужины творчества превращающийся талант художника слова — какое же содержание показывает нам мыслитель и *человек* Короленко? Мы в России требовали, требуем и будем требовать от писателя, который хочет заслужить почетную славу, чтобы он не изображал только, но учил. Чему учит Короленко — учитель жизни? Он учит разумной любви. Он учит гуманности.

У Короленко большое, матерински нежное великодушное сердце.

Кошмар русского самодержавия и русской дикости вызывал в душе его протест, но протестом были прежде всего алмазные слезы печали об обиженных. Каждый рассказ Короленко делает читателя

лучше, в каждом сблизит он вас с каким-нибудь далеким и чуждым и сделает вас его братом, объединив и вас, и его в каком-нибудь высоком или трогательном переживании.

Великолепны чудаки у Короленко, заставляющие нас смеяться таким любящим смехом. И вокруг этих жертв и злополучных существ, под грубой оболочкой носящих золотое сердце, для счастья рожденных, «как птица для полета», но с крыльями, подрезанными бедою, раскидывает у Короленко свои чары природа. И густые краски Украины, и весенние акварели севера, и величественная жестокость сибирской зимы, и многое другое — нашли в нем изобразителя несравненного.

Грустное раздумье, редко подымающееся до гнева по отношению к действительности, и святая вера в возможности, которые человек носит в груди, делают Короленко поистине благотворным учителем жизни.

Как публицист, в самые тяжкие времена, по поводу наиболее ужасных несправедливостей он «не мог молчать», и, когда звучал его голос, голос чести и правды, даже враги внимали с уважением.

Его преследовали, пока он был молод, потом, когда достиг непререкаемой славы,— терпели.

Нынче вся саботажная и полусаботажная интеллигенция хотела бы сделать эту красоту, подвиг и славу оружием против активного авангарда народа. Короленко с его мягким сердцем растерялся перед «беспорядком», исключительностью и жестокостью революции. Его *понять* могли только умы, подготовленные и умеющие обозреть настоящее, прошлое и будущее с вершины исторического познания, что редко возможно для современника. Ее *любить* могли только железные сердца, не знающие жалости, когда дело идет о решительной борьбе со злом. К ней *примкнуть* могли только сами угнетенные массы в лице своих проснувшихся передовых отрядов.

Все, кого Революция Труда низвергла,— шипели и готовили месть. Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал,— отдали свое сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее желанному «порядку». Все сентиментальные, влюбленные в право, женственные обожатели красивого,— отошли в благородном негодовании. Оно смешно. Что такое ваша любовь по сравнению с плодотворной грозой революционной ненависти, которая с грохотом, железной рукой, распахивает ворота нового мира? Что такое ваша «красивенькая красота» по сравнению с бурной, стихийной красотою творимой жизни? Но близорукие видят только изъяны, только шрамы на прекрасном лике, которого охватывают, как лилипуты, один квадратный вершок!

Горько, конечно, что во имя «справедливости» и прочих обывательски почтенных вещей, так невыразимо жалких под грозой войны и революции, зачитал против нас проповедь и Короленко. Но как

неверен был его голос! Какая скучная канитель его письмо, в котором он торжественно объявляет меня «бывшим писателем, а теперь комиссаром» и с негодованием уездного пророка клеймит наш фанатизм, радуется тому, что писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто пошел [1]. Какая все это мелочь, какая все это моральная дребедень по сравнению с мировыми событиями, их горечью и их славой! Ну вот, теперь уже немало именитых писателей с нами, хоть они все еще не без страха косятся назад, на стан шипящих и извергающих «всяк зол глагол».

Как ни много шлаков и ошибок в том, что мы сделали, мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре. Если мы погибнем, то счастливы будем погибнуть жертвами великого дела, а если победим — у скольких пророков в устах проклятие сменится хвалою?

Скучные филиппики Короленко против нас лавров в венок его не вплетут. Да они и не нужны ему — венок его густ и прекрасен. Не делайте из него себе союзника, не марайте его, люди всех мыслимых ориентаций, кроме ориентации на труд и братство народов. Не пятнайте его вашей симпатией. Отойдите. Думается, что он от вас отойдет или отошел.

Придет ли к нам? К чему? С нами трудно. Людям чистой любви нельзя идти в ногу с людьми, одержимыми духом истории, их руками борясь и творя в роковой момент сгущенной и ускоренной жизни.

Пусть останется в стороне. Мы его любим и чтим и гордимся его талантом и благородством, столь прекрасным в мирное время.

Падем — не может быть, чтобы он так и не понял. Поймет и, может быть, первый на пляске каннибалов на нашей могиле крикнет им: «Стыдно!» Победим — тогда уж, конечно, не попрекнем, но нежно, любовно скажем: «Отец наш, милый апостол жалости, правды, любви. Не сердись, что свобода и братство добываются насилием и гражданской войной. Теперь дело сделано. Войной подписали себе приговор палачи всех народов. Собирается всемирный конгресс Советов Труда. Россия, истерзанная борьбою, но победившая, всеми чтимая, заключает новые договоры со свободными сестрами».

«Вот теперь наступает весна красоты, и любви, и правды: твори, отец, учи. Грозное время, когда ты, мягкосердный, невольно растерялся,— прошло. Потоп схлынул. Вот, голубь с масляничною ветвью, иди сажать розы на обновленной земле» *.

---

* Считаю нужным выяснить здесь некоторые обстоятельства касательно писем В. Г. Короленко ко мне, писем, которые, благодаря чьей-то некорректности, оказались изданными за границей [2]. Во время пребывания моего в Полтаве в 1920 г. я несколько раз виделся с Владимиром Галактионовичем. В результате нашей беседы им предложена была такая комбинация: он-де пришлет мне несколько писем, в которых откровенно изложит свою точку зрения на происходящие в России события. Я со своей стороны по получении писем посоветуюсь с ЦК партии, удобно ли их

II *

Умер Владимир Галактионович Короленко, бесспорно, крупнейший мастер слова из всех современных писателей. Правда, по своей литературной, моральной и политической физиономии он принадлежит к прошлому поколению и является одним из русских могикан последнего расцвета русского народничества. С глубокой грустью узнает вся Россия, в том числе и русский пролетариат, о его смерти, ибо и в эти последние дни он продолжал усиленную работу над своими чрезвычайно ценными воспоминаниями, и недавно изданный том его «Записок современника» [3] займет видное место среди автобиографической русской литературы. Как мне говорил в последнее наше свидание В. Г. [4], у него заготовлены и дальнейшие тома, которые его друзья не преминут, вероятно, сделать достоянием широкой публики.

Тем не менее, повторяю, В. Г. Короленко весь в прошлом. Это, конечно, нисколько не мешает ему некоторыми звеньями своего духа быть вечным, ибо прошлое это славно и имеет общечеловеческое значение. Отличительной чертой Короленко с точки зрения содержания была всегда широчайшая гуманность. Быть может, в нашей, столь отличающейся гуманностью литературе не было более яркого ее выразителя. Мудрая доброта, которою были полны лицо, глаза покойного писателя, словно смотрела таким же ясным великодушным взором с каждой страницы его замечательных книг. Глубокий демократ, он был им не только в отношении политическом, но и в отношении моральном. «Меньшой брат» интересовал его и волновал. В народной душе он распознавал целые гаммы симпатичных душевных черт. Никогда и никто не забудет ярких и в то же время бесконечно правдивых образов сибирского Макара и ветлужского Тюлина [5]. Постоянный призыв к братству, к какому-то полету, к высоким идеалам, к истинно человеческому счастью — вот музыка души Короленко.

печатать, причем за мною оставалось право ответить на них теми аргументами, которые я найду подходящими. Таким образом, письма должны были быть изданы как письма Короленко ко мне с моими ответами. К сожалению, какие-то особенности почты или передачи писем мне вообще повели к тому, что я получил лишь первое, второе и четвертое письмо, остальные до меня не дошли. Я два раза просил Короленко дослать мне недошедшие до меня письма, но никакого ответа на это от него не получил. Затем последовала смерть писателя. Я вновь обратился к семье Короленко, прося дослать мне недополученные письма. Вновь никакого ответа, а затем появление этих писем за границей без всякого моего ответа на них. Таковы обстоятельства, о которых ходит много неправильных слухов. Отношения между мною и Владимиром Галактионовичем в течение всего моего пребывания в Полтаве были самыми сердечными.— *Прим. авт.*

* Заметка, помещаемая ниже, была написана сейчас же после известия о смерти писателя.— *Прим. авт.*

Отсюда ясно, что политически он не мог не примкнуть к левому крылу народничества, что он не мог не столкнуться с неправдой политического и общественного строя России. Неоднократно Короленко приходилось выступать в качестве как бы общественного трибуна народных прав и справедливости, и он возвышал свой голос почти так же торжественно, как Лев Толстой в своем знаменитом «Не могу молчать» [6].

Русское образованное общество и значительная часть читающего народа привыкли в этом смысле видеть в Короленко как бы представителя правды, народной чести, благородного служителя любви.

Протест Короленко всегда исходил из любви, и сторона идеалистическая преобладала в нем над гневом, над чувством мстительным. Милосердие Короленко делало его, по существу, плохим революционером и сближало его с типом либерала и идеалиста. Это была, так сказать, сияющая внутренней красотой фигура на смычке либерального идеализма и революционного народничества.

Некоторая сентиментальность этого душевного типа, к великой выгоде, скрадывалась огромным умом, исключительной наблюдательностью и проницательностью Короленко и его неподкупным реализмом.

Внутреннее сердцебиение, полное нежности, дополнялось образами полной правды.

Громадною силою обладал Короленко в чисто литературном творчестве. Русские писатели в некоторой степени разделяются как бы на две колонны: таких, которые стремились, главным образом, к безыскусственности (Достоевский, Толстой), и таких, которые заботились о певучести, о внешнем совершенстве (Пушкин, Тургенев). Короленко относился именно к этой второй линии. Его громадный музыкально-живописный талант позволил ему обогатить русскую литературу настоящими перлами, рядом с которыми могут стоять немногие жемчужины русской прозы.

Мы все любили и уважали Короленко. Но мы, коммунисты, сознавали, конечно, всю естественность отхода Короленко от нашей великой революции. В его душе, в сущности говоря, не было ни одной струны, которая могла бы звучать в унисон с суровыми бурями подлинной, жестокой, беспощадной деловой революции, в волнах потока которой неизбежно кружится много грязи и мути. Ее исступленный рев, шрамы ее лица и грязный ее подол! — все это Короленко видел. Он видел, как она расправляется с врагами, и он не верил в преследуемые ею великие цели, в огромность ее завоеваний. Ему казалось, что цель эта не оправдает пугавших его средств. Он не видел, как фатально вынуждена революция быть почти свирепой в своей естественной самозащите. Кроме мягкосердечия мешала Короленко

понять роль революции и его, можно сказать, наивная приверженность к идеям демократии, всей лживости которой он отнюдь не разгадал.

Вот почему Короленко отошел от революции, страдал, наблюдая ее, чувствовал себя отброшенным жизнью.

За год до своей смерти он предложил мне написать несколько писем о революции. Я сговорился, что я отвечу ему и что, может быть, мы решимся оба издать эту переписку. Несколько писем от него мною были получены, но, благодаря, вероятно, почтовым затруднениям, далеко не все, и мне не удалось восстановить всю их серию. В виде ответов я послал В. Г. книгу Троцкого «Терроризм и коммунизм», которая содержала в себе, на мой взгляд, победоноснейшее опровержение всех, увы, обывательских соображений, которыми он переполнял свои письма.

Я не думаю, чтобы кто-нибудь осудил Короленко за то,что он не оказался с нами в эти дни. Я не думаю, чтобы кто-нибудь вследствие этого недооценил тех великих песен любви, которые он спел миру, тех прекраснейших поэм гуманности и прогресса, какими являются не только его повести из русской жизни, но и из жизни Западной Европы и Америки. Россия вправе гордиться этим чутким сердцем, этим замечательным мастерством. В свое время, когда Короленко разразился первым письмом против коммунистов, я ответил ему статьей, которую он, как мне говорил, прочел [7]. Я писал в ней приблизительно так: «Придет время, мы, которым пришлось бороться в грязи, крови, завоюем наконец единственным путем, которым это завоевание может быть сделано, возможность великого царства правды и любви на земле; и тогда вы, пророки этой чистой любви, неспособные к борьбе, придете и насадите на земле, омытой революционным потопом, цветы той высшей человечности, о которой вы мечтаете, и, быть может, поймете тогда, кому вы обязаны этими возможностями».

Короленко не дожил до нашей победы, не смог быть призван к тому великому делу культурного строительства, фундамент которого пролетариат цементирует своей кровью, своим потом. Но тот дух великого миролюбия и братолюбия, которым был полон Короленко, он-то, конечно, переживет всех нас, и ему отпразднуется триумф, когда придет его время. Он придет, однако, только по тем дорогам, которые грудью прокладывают революционеры *.

---

* См. также мою статью о Короленко в переизданных недавно Госиздатом «Этюдах» [8].— *Прим. авт.*

ПРАВЕДНИК

Трудно представить себе более благородный человеческий и писательский облик, чем фигура Владимира Галактионовича Короленко. Мы, коммунисты, чрезвычайно резко разошлись с ним. Правда, и здесь по отношению к Октябрьской революции и к коммунизму он проявлял себя с обычной своей прямотой. Во время белых в Полтаве не гнулся, говорил им много горькой правды и наотрез отказался покинуть Полтаву при вступлении красных войск, поддерживал личные и товарищеские отношения с товарищем Раковским *. Я и сам провел с ним несколько часов в чрезвычайно содержательной и глубокой беседе, из которой я убедился, что он вдумчиво выражал целый ряд несогласий, но в общем по-товарищески относился к руководящей нашей партии. Однако все же Короленко чрезвычайно резко разошелся политически с нашими лозунгами и с нашей программой.

Мы говорили с ним в Полтаве о том, что он напишет мне ряд писем, излагающих его точку зрения, что, может быть, я отвечу на них, и впоследствии эта переписка могла бы быть изданной. К сожалению, половина писем потерялась в дороге и до меня не дошла, а затем последовала смерть Владимира Галактионовича. На мою просьбу прислать мне черновики или оставшиеся у Короленко копии писем, для того чтобы иметь перед собою их полный комплект, я не получил никакого ответа, и затем письма были изданы за границей.

Я вовсе не хочу входить здесь в разбор этих писем. В сущности говоря, они представляют собою лишнюю редакцию чисто либеральных возражений против революции. Вместо ответа на первые два письма я послал Владимиру Галактионовичу блестящую книгу товарища Троцкого о терроризме [9], которая действительно, как бы заранее предвидя возражения Короленко, заранее на них победоносно отвечала.

Но дело сейчас не в этом. Я задумался над другим вопросом. Как случилось, что такая необыкновенно благородная натура, такой недюжинный ум, такое революционное сердце могли переместиться слева направо столь заметно, то есть оказаться чуть ли не в такой же резкой оппозиции по отношению к пролетарскому правительству, в какой был Короленко по отношению к правительству царскому?

Мы много говорили в последнее время, отчасти в связи со столь удачным недавним съездом работников науки [10], об отношении интеллигенции к революции.

---

* О Х. Г. Раковском см. с. 309—310 настоящего издания.— *Ред.*

Имея в виду интеллигенцию массовую, нетрудно произвести соответственный анализ. Мы, в сущности говоря, давно предвидели то, что значительная часть интеллигенции настолько связана с буржуазным строем и так приспособлена к буржуазной демократии, что, наверное, пожелает застрять на этой позиции. Предвидели, вплоть до совершенно точных предсказаний, что даже левейшая и политически сознательнейшая часть интеллигенции, то есть эсеры и меньшевики, непременно и неизбежно превратятся в консерваторов той или другой промежуточной конституции. Предвидели мы, однако, и то, что в конце концов значительная часть интеллигенции может и даже вынуждена будет перейти на сторону пролетариата. Это чрезвычайно ярко и со всеми нужными оговорками высказал, например, товарищ Троцкий в недавно перепечатанной им его книге «Литература и революция» [11], статье по поводу работы Макса Адлера «Социализм и интеллигенция».

Массовая интеллигенция, конечно, стремится к тому, чтобы играть более или менее руководящую роль, во всяком случае, занимать почетное положение в обществе. Будучи же чрезвычайно разнородной, так как верхний конец ее упирается в высшую бюрократию, в академический мандаринат и т. д. и т. п., а низы соприкасаются с пролетариатом,— интеллигенция, конечно, разнообразна по своим настроениям и по своему отношению к буржуазному строю, в том числе и в той его форме, какой был русский царизм. Но в общем и целом отношение к грубым и отсталым формам буржуазного строя вроде того же русского царизма у интеллигенции отрицательное. По мере же того, как буржуазный строй обновляется, приближается к демократии и устремляется к более или менее внешне почтительному и хорошо оплачиваемому использованию интеллигенции, плоскость, разделяющая интеллигенцию консервативную от интеллигенции либеральной и радикальной, начинает перемещаться вниз. После Февральской революции она переместилась очень далеко вниз, и лишь немногие элементы интеллигенции оказались в решительной оппозиции к февральскому яйцу и той курице, которую хотели из него высидеть путем заседаний Учредилки. Для многих, приявших буржуазную революцию, симпатичную для большинства интеллигенции, был неожиданным кризис, превративший ее в нечто совершенно новое, для интеллигенции не виданное и страшное — в революцию пролетарскую, отбросившую обрадовавшуюся было и всем своим материком ставшую опорой власти интеллигенцию вновь в оппозицию, порой в оппозицию острую и кровавую. Но пролетарский строй упрочился. Он не только, так сказать, навязал себя насильно этой интеллигенции,— насильно мил не будешь, но он доказал ей свои государственные способности, свое искреннее стремление при маломальски сносных условиях позаботиться о всех сторонах хозяйства и культуры. Мало того, в последнее время начинают завязываться и

другие связующие нити между интеллигенцией, вплоть до ее социальных верхушек, и пролетариатом. Она, интеллигенция, начинает прислушиваться и к пролетарскому идеализму, и к его музыке будущего и прислушивается тем чутче, что рядом с русским опытом развертывается не менее поучительно германский опыт. И вот интеллигенция сменяет вехи и перекристаллизовывается. Необыкновенно ярким проявлением такой новой кристаллизации умов и чувств интеллигенции является и съезд, о котором я упоминал, таковой представляю я себе зигзагообразную линию, проделанную интеллигенцией в функциональной зависимости от чрезвычайно своеобразной линии самой революции.

Но интеллигенция есть класс, способный более какого бы то ни было другого класса представлять себе собственные свои поступки и переживания под флером чрезвычайно сложной философской или моральной идеологии. Эту идеологию интеллигенция в полной мере берет всерьез. Не нужно думать так, что интеллигент чуть-чуть обманывает себя и очень сильно обманывает других, если, выступая против пролетарской революции, настойчиво доказывает правильность своей позиции какими-нибудь правовыми или высокоэтическими соображениями. Владимир Ильич был, конечно, прав, что в бойкоте интеллигенцией пролетарской революции видел стремление удержать за собою монополию знаний, дававшую явно чрезвычайно выгодную позицию при февральском строе общества и становившуюся сомнительной, особенно при не выяснившемся еще октябрьском строе [12]. Но это был тот социальный ветер, который гнал в общем парусные лодки всей интеллигенции в одну сторону по морю житейскому, а в отдельности каждый уклонялся то в том, то в другом под незначительным углом, предполагая, что все это направление его мысли и чувств определяется исключительно его сознательной личностью.

Если дело идет о заурядном интеллигенте, то совершенно неважным представляется то, как оправдывает он идеологически свою политическую позицию, в конце концов определяющуюся его экономическими интересами. Но дело меняется, когда мы имеем перед собою крупного специалиста идеологии.

Если специалист-акробат поражает нас полным перерождением своего тела, позволяющим ему совершать недостижимые для нас трюки, то все же правы те, которые думают, что каждый человек при известных условиях и при большом напряжении может добиться чего-то подобного. Такой взгляд на вещи правилен также и для специалистов по идеологии, типа того незабвенного профессора Серебрякова, которого описал Чехов в своем «Дяде Ване». Таланты же и гении, которые заслуживают восторженного поклонения, ни в каком случае не могут добиться этого исключительного положения среди человечества только трудом, сколько бы ни утверждал Гёте,

что гений есть внимание и труд. Нет, для этого нужны еще особые свойства ума и сердца, я бы сказал, чисто биологические. Конечно, социальная жизнь формирует личность, но физиология дает социальной жизни сырой материал, и от качества этого сырого материала зависит степень совершенства того окончательного социального продукта, каким является личность. И высокий специалист по идеологии вырабатывается общественной жизнью среди тысяч, а иногда даже миллионов как их идеологический представитель и вождь именно постольку, поскольку он являет собой этот изысканный исключительный материал.

В результате появляются ценности общечеловеческого значения. Великий идеолог перерастает интересы своей группы не в том смысле, чтобы он легко достигал каких-то общечеловеческих положений и отделялся от классов и групп, из которых вышел и выразителем которых является, а в том смысле, что сила, широта и глубина, с которой он организует и внешне выражает идеологию данной группы, поражает в хорошем или дурном смысле и все остальные группы, является нотой мощной, включающей себя в мировую симфонию.

Так это было и с Короленко. Конечно, он полностью представитель русской интеллигенции. Народничество Короленко совпадает с народничеством его поколения и объясняется полной необходимостью для интеллигенции в борьбе с самодержавным Держимордой найти опору в какой-нибудь подлинной социальной силе, а такой казалось в то время только крестьянство. Глубочайшая любовь Короленко к свободе, его либерализм самой прекрасной формации тоже совершенно ясны, как меч всякого сознательного интеллигента, нуждающегося в свободе для своего правильного функционирования, но сжатого в тисках полицейского режима. Мечта о светлом счастье личного порядка, знаменитый лозунг «человек рожден для счастья, как птица для полета» как нельзя более понятен в устах критически мыслящей личности, интеллигента, который и до Короленко в веках в лице лучших своих представителей провозглашал тот же свой нормативный оптимизм, часто в то же время давая мрачные картины противоречащей этой идеологии личного счастья действительности. Призыв к солидарности, к любви, и в особенности к любви по отношению к слабым, как нельзя лучше совпадает и с основной народнической осью настроения интеллигенции, и с сознанием интеллигента, что подлинная его ценность заключается в известном высоком и тонком служении обществу, наградой за которое — внутренней и внешней — является писаревское разумное счастье.

Короленко — кость от кости и плоть от плоти русской интеллигенции. Эта интеллигенция порождала типы гораздо более сложные и, я скажу прямо, гораздо более глубокие. Если даже миновать таких представителей русской литературы, на которых в большей или мень-

шей степени сказываются помещичьи черты, то и тут у нас останутся колоссально сложные фигуры, как Достоевский, как Успенский и Лесков. Отчасти Чехов и Леонид Андреев. Можно было бы перечислить немало таких. Повторяю, они сложнее и вместе с тем мутнее Короленко.

Короленко есть тот прекрасный, абсолютно правильный, необыкновенно прозрачный кристалл, в который сложилось все типичное — лучшее, что было в прежнем интеллигенте, с весьма малой примесью индивидуальности, без каких-либо странных уродств, пояснение которым нужно искать в том или другом трагическом воздействии жизни.

Короленко очень много страдал, очень много сострадал. Но тем не менее страдания не наложили на него печати. Кристалл остался таким же ясным. У Короленко было нежнейшее сердце, и я не забуду, как сморщилось его милое старческое лицо и как по нему потекли слезы, когда вдруг он стал просить меня о каком-то заведомом спекулянте-мукомоле, к тому же уже расстрелянном накануне. Но эти движения глубочайшей сердечности не искажали души Короленко, которой всегда присуща была ясность и какая-то классическая правильность.

Именно поэтому некоторые взбаламученные натуры, среди них и очень крупные, находят Короленко сладким, говорят, что это какой-то Айвазовский или Куинджи нашей литературы. А между тем это совсем неверно. Не по недостатку талантливости Короленко не находил той царапающей остроты, даже когда изображал ужасное (за что, впрочем, редко и брался); наоборот, именно чрезвычайная писательская талантливость и художественная одаренность Короленко дали ему возможность сохранить прекрасное душевное равновесие среди испытаний русской жизни.

Я не хочу, конечно, сказать этим, что Достоевский был менее даровит. Конечно, не слабость дарования не давала Достоевскому подняться до претворения жизни в утешающую музыку, до разрешения жизненных противоречий в красоте, хотя бы и в грустной мелодии литературного произведения. Достоевский тоже искал в своем творчестве, несомненно, разрешения своих внутренних трагических конфликтов, но конфликты эти были страшными и коренились, так сказать, в антиэстетическом духовном организме Достоевского. Человек больной, с повышенной чувствительностью, с требованиями всего или ничего, сдавший свои первоначальные позиции, старавшийся оправдать эту сдачу перед самим собою, Достоевский не пел, а кричал. А Короленко поет. Груз, лежавший на сердце некоторых мрачных русских писателей, был объективно большим, чем у Короленко, но он не был мал и у Владимира Галактионовича. Но душа его была как Эолова арфа [13], и даже грубое прикосновение вызывало в ней гармоничные аккорды. Это был такой талант, которому было

необычайно легко достигать красоты, и часто в его рассказах мы присутствуем при этом процессе претворения в красоту какого-нибудь сложного, горького явления, иногда преступления. Эта черта Владимира Галактионовича делала его как бы избранным сосудом тончайшей гуманности.

Вот если мы суммируем все это полное соответствие Короленко всему лучшему и только лучшему, что имелось в среднем русском интеллигенте, разительное умение давать сразу какое-то благородное утешение в жизненных скорбях самой формой своих творческих произведений и, что не менее важно, не только глубокое сознание себя критически мыслящей личностью, которая не смеет молчать, видя общественное зло, но и реально необыкновенно чуткую совесть, то мы получаем облик этого жреца интеллигенции в чистых одеждах, этого незапятнанного праведника.

Конечно, фарисейство этому праведнику было чуждо. Все человеческое было ему более или менее доступно. Он не осуждал коммунистической революции и не благодарил создателя за то, что он не подобен этим «палачам». Он умел при всей горечи своих укоризн сохранить понимание того, что коммунисты — это великий отряд армии блага, только для него пошедшей по неправильной дороге. Но если праведничеству Короленко чуждо было фарисейство, то само праведничество, сама незапятнанность одежды, несомненно, включают в себя нечто, очевидно, глубоко неприемлемое для революционных эпох.

Ну как, в самом деле, может праведник относиться к настоящей революции! Ведь ясно же, что подлинная революция непременно космата, непременно чрезмерна, непременно хаотична. Это прекрасно предвидел, например, Достоевский. Это великолепно чувствовал и сказал нам Пушкин, но и кто из великих жрецов религии интеллигенции не содрогался заранее, лишь представляя себе вопящий концерт этой стихии? Один из последышей их, Блок, изо всех сил старался вслушаться в музыку революции, доходил иногда до полного почти понимания ее рева и все-таки в конце концов не снес ее, все-таки в конце концов оказалось, что эта адская симфония не вместима ни в какие эстетические уши. *Эстетическая мораль не для революции.* Можно представить себе художественный подход к революции, но он должен быть, так сказать, целиком динамическим, то есть *человек, способный найти красоту в революции, должен любить не законченную форму, а само движение, самую схватку сил между собою,* считать чрезмерность и безумство не минусом, а плюсом. Некоторые из нынешних писателей, вроде Пильняка и серапионовцев [14], стараются подняться до этого взгляда на революцию, но, как правильно отметил товарищ Троцкий, эстетически примиряются с революцией только, так сказать, на словах, а большею частью тонут в деталях этого огромного хаоса, способствуя лишь более или менее

(скорей менее, чем более) правдивому опознанию революции в ее отдельных случайных проявлениях.

Короленко с его классицизмом и с его непобедимым тяготением в сторону законченной формы, в сторону изящества жизни может необыкновенно красиво стонать под ударами врага, который был чужд его сердцу и который и удары-то наносил все-таки монотонные. Когда же в качестве чудовища, ворвавшегося в его художественные круги, перед ним предстала революция, то есть нечто все-таки родное, а удары стали часто болезненны и беспорядочны, Короленко не выдержал и запротестовал с большой и глубокой болью.

Но если не Короленко, конечно, было осилить эстетическую революцию, дело вообще непомерное и могущее прийтись по плечу лишь первоклассному гению, да и то при благоприятных для его развития условиях, то не мог Короленко принять революцию и этически, и опять-таки в силу прекрасных свойств своей этики. Разве мы отрицаем этику братолюбия? Нисколько. Конечно, нам, поколению, призванному делать дело правой вражды, немножко как-то неловко, когда мы видим образ прекраснодушия, елейно пропахнувшего христианством. А такой елей именно был и, так сказать, в воскресном облике Толстого, да и в постоянном облике Короленко. Короленко не просто кокетничал с христианством, он был этически самым настоящим христианином, и, повторяю, тут нет ничего плохого. Этическое христианство, именно в одной своей части, именно в провозглашении братства и любви, приемлемо и для социалистов. Разница только та, что все эти псевдохристиане (Толстой, Короленко и им подобные) принимают норму любви за нечто, могущее быть установленным сейчас же и зависящим только от доброй воли людей. Конечно, и Толстой, и не менее его Короленко понимали, что превратить людей сразу в белых голубей невозможно. Но тем не менее им казалось, что каждый при известных условиях и большом желании белым голубем сделаться может и что любвеобильное воркование таких белых голубей есть превосходное выполнение своего социального долга. А мы полагаем, что, во-первых, достижение праведности в наше время чрезвычайно трудно и в конце концов доступно только для баловней судьбы, а во-вторых, что и завидовать праведнику в наших условиях нечего, ибо *праведническое воркование вовсе не есть исполнение своего социального долга в наше время.* Даже, наоборот, в такие годы, когда закипает окончательная борьба между трудом и завтрашним днем, с одной стороны, эксплуатацией и днем вчерашним — с другой, всякое миротворчество, всякое размахивание масляничными ветвями досадно обеим враждующим сторонам, а для нашей, пока еще более слабой, прямо несносно и вредно. И прекрасно понимая, что именно воины, а не праведники нужны сейчас священнейшим знаменам человечества, мы можем осудить с достаточной суро-

востью этические нарекания или укоризненные воркующие советы праведника.

Праведники в ужасе от того, что руки наши обагрены кровью. Праведники в отчаянии по поводу нашей жестокости. Праведники склонны говорить, что суровая энергия и беспощадность еще так или иначе к лицу белым волкам, которые ведь вообще идут почти неприкрыто под знаменем эксплуатации человека человеком, но они прямо вопиют, что они вступают в решительный диссонанс у нас, в конце концов воюющих во имя любви. Праведник никогда не может понять, что любовь жертв искупительных просит, да не только жертв со своей стороны (это-то праведник, пожалуй, и поймет), а и принесение в жертву других, как это водится во всякой жестокой сече.

И в то самое время, когда праведник осуждает нас за это перед лицом любви, мы перед тем же лицом и не менее сурово осуждаем его. Мы для него палачи, а он для нас болтун.

Нужно сохранить спокойствие и меру во взаимных отношениях, тогда, пожалуй, возможны еще разговоры, тогда праведник поймет, как понимал это Короленко, что за всем тем, что кажется ему скопищем ошибок, бьется тем не менее благородное сердце. *Это Короленко понимал.* И мы в свою очередь стараемся понять и поняли, что «болтовня» Короленко, его либеральные разглагольствования в то время, когда Россия горела с двенадцати концов и когда слабеющая рука пролетариата держала уже колеблющееся знамя, вытекали все же из его прекрасных социалистических свойств. *Только ту этику, которая будет обязательной на послезавтрашний день, на день после победы, Короленко переносил в суровую подготовительную эпоху.*

При этом отрицательном эстетическом и этическом подходе Короленко и политически никак не мог принять нашей революции. Из его гармонизма и из его праведничества вытекало, что освобожденный народ какой-то толпой в воскресных рубахах и с умасленными головами соберется на Всероссийское сходбище и путем абсолютно свободного голосования выберет излюбленных старост, которые будут правильно и гармонично руководить его судьбами. В оппортунизме Короленко масса утопизма. Он потому казался нам оппортунистом, что ему хотелось той демократии, которой и нам хочется, той демократии, где каждая кухарка, по словам Ильича [15], сможет участвовать в управлении государством. Но он никак не может понять, что для достижения этой демократии, полного уничтожения классов, смерти всякой диктатуры, смерти всякого государства нужно много предпосылок, политых человеческой кровью.

Короленко был прекраснодушен. Это был настоящий рыцарь прекраснодушия. Говорил он красиво, писал красиво, думал и чувствовал красиво, и революционный Базаров не мог не повторить ему: «Не говори красиво».

Этим не отвергается значительность короленковской гармонической красоты. Этим он даже прикасается к нам, а не просто отсылается в будущее время. Действительно, сейчас, в наше время, когда сердца наши немножко обросли шерстью, когда и молодежь-то наша — волчата, очень не мешает прислушаться к чудесным и благородным мелодиям, *родственным тому будущему*, к *которому мы стремимся.*

Худо кому-нибудь из сынов революции сделаться короленковцем, но воспитать в себе кое-что от Короленко, от этого прекрасного, чистого, светящегося, ласкового, теплого гуманизма, весьма и весьма следует, ибо чем более прочной и широкой будет наша победа, тем ценней будет становиться для нас Короленко.

Кремль, 4/X 1923 г.

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТАХ И ПРОТИВНИКАХ



Л. Троцкий

ГОСПОДИН ПЕТР СТРУВЕ

ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЯ

После того как Струве бросил свою «асемитическую» петарду, прошло уже довольно много времени. Сперва ахнули — больше, впрочем, из приличия. Затем лениво пожевали челюстями полемики и, наконец, проглотили. Обыватель, полумистическое существо, ради которого одни журналисты бросают свои петарды, а другие изумленно ахают, решил попросту принять к сведению, что Струве — «асемит»... что-то вроде антисемита, впрочем, в высшем идеологическом смысле, так сказать, самого лучшего качества. Но и после этого пассажа Струве остается несколько, правда, неопределенной, однако же в высшей степени почтенной фигурой: марксист-интернационалист — либерал-идеалист — «государственный» консерватор — националист — славянофил — империалист — «асемит»... Титул немножко длинный. Но это объясняется тем, что его носитель никогда не знал открытого, прямого разрыва со старыми взглядами: он только непрерывно и неутомимо накоплял новые. Известно, что длинные титулы вообще образуются путем исторического «накопления».

В субъективном сознании, если оно очень счастливо устроено, все может уживаться со всем. Не то в политической практике. Здесь Струве на протяжении ряда лет ведет с собой непрерывную и неутомимую борьбу: сегодня — со своим завтрашним, завтра — со своим вчерашним днем. Куда бы он ни направлял свою рапиру, направо или налево, он за бумажной занавесью полемической арены, как Гамлет — Полония, поражает... самого себя. И не только марксист сражается в нем с идеалистом — это было бы только в порядке вещей,— но и либерал смертельно поражает в нем либерала.

В июне 1903 года, после грандиозной избирательной победы германской социал-демократии [1], ссылаясь на судьбу «выродившегося» и «убившего себя» немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии», Струве делает решительный вывод по отношению к России. «Русскому либерализму не поздно еще,— заклинает он,— занять правильную политическую позицию — не против социальной демократии, а рядом и в союзе с ней»

(Освобождение, № 25). А после 17 октября 1905 года [2] он в главную вину кадетской партии поставил ее пагубное устремление налево, которое он сам рекомендовал, вместо спасительного равнения направо, от которого он предостерегал. С тех пор никто с такой настойчивостью, как Струве, не толкал нашу либеральную оппозицию на путь немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии».

Мы не собираемся составлять каталог противоречий Струве: задача была бы слишком легкой, а каталог вышел бы слишком длинным. Но мы не можем не привести здесь еще одного примера, благо он бросает сноп света на инцидент последних недель.

По свежим следам кишиневского погрома [3] Струве сурово обличал сионизм, «воспитывающий идею еврейской национальности и даже государственности и тем недомысленно идущий навстречу «подлому антисемитизму» (Освобождение, № 22). Опираясь на тот факт, что еврейская культура растворяется в культуре других наций, он заявлял, что ему вообще «непонятна идея еврейской национальности» (Освобождение, № 28). Позже, в период реакции [4], он нашел эту национальность — методом от обратного. Где оказался бессилен культурно-исторический анализ, там на выручку пришли стихийные «отталкивания». Износивши не бог весть сколько пар башмаков со времени кишиневского погрома, наш идеалист ныне идет навстречу «подлому антисемитизму» как естественному выражению своего собственного «национального лица».

По поводу этого последнего обогащения политической физиономии г. Струве не только забавно, но и поучительно вспомнить один забытый эпизод.

В № 9886 «Нового времени» (1903 г.) г. Виктор Буренин писал не более и не менее как следующее: «Г-н Петр Струве, как показывает его фамилия, принадлежит к разряду инородцев, охотно позорящих Россию и ненавидящих ее». Инородчества своего Струве отрицать не стал, а, сославшись на Энциклопедический словарь Брокгауза [5], чистосердечно покаялся в своем происхождении от «гольштинских выходцев». Если принять в соображение, что Струве состоит теперь проповедником неопанславизма, то есть особой системы национально-племенных «притягиваний» и «отталкиваний» — отталкиваний прежде всего от германизма, то сами собою станут напрашиваться соблазнительные вопросы: в какой именно степени из-под действия законов расовых отталкиваний освобождаются гольштинские выходцы? Или иначе: в каком именно поколении гольштинские выходцы превращаются в... «немцев по происхождению, но православных славян по духу», как язвительно писал тот же Струве по адресу Плеве (Освобождение, № 28).

Всю политико-писательскую биографию Струве можно бы расчленить на ряд таких эпизодов, под исторической оболочкой которых

скрывается (по-видимому?) ряд личных трагедий. И каждой из этих идейных трагедий, казалось бы, достаточно, чтобы довести политика и писателя до морального банкротства и отчаяния. Но пред нами психологическое чудо: из всех своих идейных катастроф и политических крахов Петр Струве выходит точно из легкой кори — невредимым, жизнерадостным и даже пополневшим. Разгадка чуда, однако, проста, как разгадка всех чудес: как *личность* Струве не знает банкротства, ибо как личность он не участвует в борьбе. Его политические убеждения никогда не сливаются с его духовной физиономией. Он пишет чернилами, а не кровью артерий. Он никогда не подставляет под удары противника своей собственной, личной, живой, человеческой груди. Он выполняет свои очередные идеологические обязанности — и только. И своими «убийственными» противоречиями он убивает себя так же мало, как Гамлет Полония на подмостках театра: не живое тело свое прокалывает он, а только ту личину, которую пришлось надеть на себя по ходу исторической пьесы.

Главный талант Струве или, если хотите, проклятие его природы в том, что он всегда действовал «по поручению». Идеи-властительницы никогда не знал; зато всегда стоял к услугам выдвигающихся классов — для идеологических поручений. Еще совсем юношей пишет он от имени земцев — хоть сам нимало не земец! — «открытое письмо» по весьма высокому адресу (1894 г.) [6]. Это, кажется, первый взятый им на себя политический мандат. Но вот в подполье 90-х годов завозились, заскребли марксисты. Молоды-зелены они, да и плохо еще свой марксизм проштудировали, но они стоят на очереди,— и Струве садится за стол, чтобы написать для них «манифест» (1898 г.) [7]. В этом манифесте он говорит — не ужасайтесь: ведь не от себя! — о предопределенном ничтожестве русского либерализма. В 1901 году он, от имени социал-демократии, обращается в «Искре» (№ 4) с призывом к земцам, и, верный тону социал-демократической газеты, он пишет о «железной поступи рабочих батальонов». Но зашевелились либералы, и Струве уже через год ставит «Освобождение», где от имени умеренно-либеральных земцев рекомендует уже не «железную поступь», а ту политическую иноходь, в которой «дерзание» соединено с «мудростью» (Освобождение, № 62). Теперь вот Струве со своего обсервационного поста опытным глазом приметил, что Крестовников в Москве без национальной идеологии ходит и стеариновые свечи продуцирует без философских предпосылок. И Струве садится создавать для Крестовникова философию, в которой стеариновый барыш принимает облик национально-государственной идеи, а эта национально-стеариновая идея, в целях самообороны, вооружается защитным запахом антисемитизма. Eins, zwei... drei... Das ist keine Hexerei! (Раз-два-три... фокус сделан чисто!)

Когда некий простец справился у Струве: в какую графу его биографии отнести написанный им социал-демократический манифест? — Струве объяснил ему, что идеи написанного им самим «манифеста» он никогда не разделял, а просто «по просьбе» формулировал господствующие предрассудки марксистской «церкви». Отчего бы и нет? Простец так и пропечатал. И может быть, года через два другой простец догадается сообщить нам, что Струве никогда сам не испытывал собственно расовых притягиваний и отталкиваний — скажем, стихийного притягивания к черногорскому князю и непреодолимого отталкивания от И. Гессена,— нет, он лишь «по поручению» формулировал господствующие предрассудки славянофилов и антисемитов в терминах всемирного тяготения...

* * *

Может быть, в моменты приступов высокомерия Струве воображает себя не связанным ни с одним классом, ни с одной партией, ни с одной идеей, а непосредственно состоящим в распоряжении Матери-Истории генерал-инспектором по делам идеологии. Нет ничего высокомернее доктринера! А Струве был и остается доктринером до мозга костей.

Доктринером он называл себя сам в предисловии к своей первой книжке «Критические заметки» [8], и хоть против доктринерства он вел с той поры не одну кампанию, однако же этой своей черте, вернее, *сущности* своей, не изменял никогда... Доктринер не тот, кто ставит себе большие цели и, обгоняя события, заглядывает вперед, как хочет думать маленькая мудрость, которая своим назойливым фальцетом издевается над всем, чего не понимает. Доктринер — тот, кто боится или не умеет материю жизни брать в ее материальности: интересы как интересы, страсти как страсти, борьбу как борьбу, пощечину как пощечину,— кто всю нашу великолепную, хаотическую, беззастенчивую жизнь должен предварительно пропустить сквозь призму идеологии (права, морали, философии), прежде чем откроет в ней вкус. А в этом и состоит единственная подлинная «страсть» Струве, роднящая его с немецкими профессорами доброго старого времени: ночным колпаком и полами своего философского шлафрока законопачивать все дыры мироздания.

Эстет требует от жизни только «красивости»; он думает, что Варфоломеевская ночь [9] происходила для того, чтобы впоследствии послужить материалом для бурной оперы. *Доктринер* видит в жизни лишь внешние схемы. Точь-в-точь, как дон Гусман-Бридуазон, судья у Бомарше [10], он готов повторить: «Форма, форма-с... святое дело». «Суть тяжбы принадлежит тяжущимся, но форма ее составляет неотъемлемую собственность господ судей». Доктринер думает, что разрешил смысл великой социальной тяжбы, когда установил юридический смысл манифеста 17 октября. Практический делец укры-

вается за такие идеи, как «национальное величие» или «свобода в порядке», а доктринер верит, что они действительно способны регулировать жизнь. Верит и Струве, по крайней мере, хочет верить.

При всем своем доктринерстве и на девять десятых благодаря ему Струве благополучно выполнил в высшей степени «реалистическое» поручение: помог широкому слою русской интеллигенции долгим и кружным, но верным путем освободиться и от идеи «долга народу», и от «трудового начала», и от «идеи четвертого сословия», и от других старых идей, которые были заповедями, а стали словами; освободив же, помог придвинуться к новым идеям: «Великой России», «дисциплины труда» и «национального лица»... Через болото политического отступничества он неутомимо перебрасывал для интеллигенции идеологические мостки,— да не преткнется ногою своею... Этим исчерпываются его исторические заслуги.

* * *

У г. Струве есть одна в высшей степени — как бы сказать? — неуместная черта. При своей доктринерской черствости он весьма склонен к лирике и пафосу дурного тона (ремесленная подделка под Герцена!), очень любит о «честности высокой» говорить, о «незыблемых» убеждениях, о «раз избранном пути» и даже об «Аннибаловых клятвах» [11]. Никто, как он, не любит клеймить беспринципность, нравственный оппортунизм, переметчивость, ренегатство.

Когда Витте в борьбе с Плеве начал играть неожиданными красками политической палитры, Струве заявил о своей органической неспособности понять психологию человека, руководящегося обстоятельствами, а не «убеждениями и принципами». Когда г. А. Гучков *, пребывавший дотоле в тиши, впервые показал в декабре 1905 года свои натуральные мануфактурные уши, Струве сурово призвал его к ответу. «А. И. Гучков в лагере русского общества,— писал он,— начинает делаться тем, чем граф Витте окончательно определился в лагере русского правительства». При этом Струве удивительным образом умел не видеть, что сам он в лагере русской интеллигенции выполняет ту именно роль, что Гучков в лагере капиталистической буржуазии. И наконец, пример последних недель. Когда на старца Суворина обрушился позор его пятидесятилетнего юбилея, кто бросил ему в лицо «слабость его нравственной природы»? Кто говорил о «националистическом мускусе», который Суворин впрыскивал в тело старого порядка? Кто предлагал издание исторической хрестоматии «Нового времени»?.. Кто швырнул в блудницу первый камень? Тот, кто сам без греха: господин Петр Струве, рыцарь незыблемых принципов, которому не страшны никакие «исторические хрестоматии» в мире!..

---

* Об А. И. Гучкове см. с. 239—242 настоящего издания.— *Ред.*

Как хотите, это поразительно! Казалось бы, в тот момент, когда все рефлекторы прессы направлены на Суворина, именно Струве следовало бы с достоинством постоять в тени. Ибо в конце-то концов: Незнакомец — Суворин начал свою карьеру как национал-либерал, а полувековой юбилей свой встретил как консервативно-националистический антисемит. А Струве начал как интернациональный социалист, а через десять — пятнадцать лет определился как консервативный, антисемитски окрашенный национал-либерал. Путь, пройденный Струве, никак не короче. Что же кроется в пафосе его негодования? Грубое лицемерие? Или святая простота доктринера? Струве первый затруднился бы ответить на такой вопрос, если бы захотел над ним задуматься...

Конечно, во время самых высоких нот его нравственного возмущения вам непременно послышится, что у него нравственный зуб со свистом. И слух ваш не обманет вас. Но все-таки невозможно отрицать, что его «незыблемые начала» и «Аннибаловы клятвы» — не просто фальшь, а искреннее (почти искреннее) самовнушение. Ибо время от времени ноет — не может не ныть — зуб его политической совести, ноет и требует успокоения. Пиная Витте или Суворина, Струве думает, что этим он утверждает свое нравственное *право* пинать. И он уже не успокаивается, пока не разыщет маститого ренегата, чтобы поставить себя рядом с ним, как обличителя и судью. Доктринер до конца, он в доктринерском характере своего отступничества видит свое высшее нравственное оправдание. Смотрите: в то время как Суворин, в погоне за чистоганом успеха, на брюхе прополз путь от Незнакомца до счастливого антрепренера «Нового времени», он, Петр Струве, перекочевал от социализма к национализму по млечному пути бескорыстной идеологии. Разве не приобрел он этим право судить Суворина и осуждать его?

Нравственный пафос Струве служит ему средством духовного самосохранения. Это форма приспособления его неизменного в своем безразличии нравственного лица к его вечно меняющимся политическим личинам. А если самый пафос у него второго сорта, так это уже зависит от размеров его нравственного лица.

* * *

Нет страсти, гнева, веры, натиска, стиснутых зубов упорства — всего того, что придает ценность не только истине, но и заблуждению. Похотливое резонерство, готовое на все услуги. Анемическое бескорыстие, идущее в хвосте обнаженной корысти и «бескорыстно» заметающее за ней следы или угодливо забегающее вперед и выравнивающее ей дорогу. Бескорыстие, которое нынче служит Крестовникову против рабочих, как вчера — рабочим против Крестовникова. Не похоже ли, наконец, оно, это бескорыстие, на то священное целомудрие

полудев, которое от приключения к приключению заботливо охраняется, как неразменный капитал?..

А между тем пробовали Струве сравнивать с Белинским. С Белинским! — какая скверная безвкусица это сопоставление!.. Представим себе только на одну минуту, что побывавший у Струве простец появляется к Белинскому и спрашивает: «Ваш разбор «Горе от ума» и «Бородинскую годовщину» вы от себя писали? С действительностью от себя пробовали примиряться? Или только выражали чьи-то посторонние вам взгляды?» Как ужаленный отвратительным тарантулом, вскочил бы Белинский и закричал бы своим пронзительно-чахоточным голосом: «Ступайте вон! Я пишу по внушению духа святого — и да будет проклят тот, кто пишет иначе!» И может быть, неистовый Виссарион запустил бы даже в простеца чернильницей, как Лютер в черта, а потом долго и упорно кашлял бы жестоким, непримиримым, фанатическим кашлем...

* * *

О Струве можно писать почти спокойно, ибо весь он позади. Будущего у него нет.

В те времена, когда мы как «нация» были еще политически безличной, индивидуальная безличность Струве позволила ему стать, как сам он выразился в счастливую минуту, «регистратором» всех нарождавшихся течений. Надевая на себя их схематические личины, он способствовал сложению их действительных политических обликов. В этом его значение. Но эпоха первозданного хаоса оставлена позади. Основные политические грани проведены, и их уже не сотрет никакая сила в мире. Как бы ни неистовствовала реставрация, исторический процесс нельзя вернуть к пункту отправления, политическая бесформенность уже никогда не вернется,— и услуги Струве больше никому не понадобятся. Он получает от истории «вольную» и может идти на все четыре стороны.

Какое употребление сделает он из себя? Не все ли равно? После того как он выполнил свое предназначение, вопрос о его личной судьбе становится совершенно безразличным. Одно можно сказать с уверенностью: Петра Струве ждет черная неблагодарность. Его научно-философские усилия, в свое время учтенные для совершенно нефилософских целей, сегодня уже окончательно позабыты, а для практики в стиле «Великой России» он непригоден. Тут непреодолимой помехой выступает доктринерская неприспособленность натуры. Незаметно для себя он заживо выходит, вернее, уже вышел, в тираж и в будущем сможет утешаться разве лишь длинным политическим титулом своим в новом издании словаря Брокгауза: сперва марксист, затем либерал-идеалист, а после того славянофил-антисемит и великороссийский империалист... из гольштинских выходцев.

Л. Троцкий

ЕВНО АЗЕФ

В Париже вышло недавно «Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа» [1] в виде брошюры в 108 страниц Судебно-следственная комиссия под председательством А. Баха имела 73 заседания, опросила 31 лицо. Следственный материал занимает более 1300 страниц in folio *. Печатное «Заключение» представляет собою краткую сводку наиболее важных данных, добытых расследованием, и основные выводы из них.

С живейшим интересом читал я эту брошюру. С января 1909 года, когда Евно Филиппович ** Азеф, член боевой организации и центрального комитета партии социалистов-революционеров, был объявлен профессиональным провокатором, вокруг этой фигуры выросла обширная международная литература. Она стояла главным образом под знаком сенсации. И немудрено: слишком уж чудовищно-сенсационен был самый факт, слишком уж он раздразнил воображение. В душе каждого почти человека, особливо же в душе филистера, живет этакая — как бы выразиться? — романтическая глиста, которая в сутолоке обыденщины замирает, но, раз пробужденная сенсацией, требует новой и новой пищи, все более чрезвычайной. Это и есть то любопытство, от которого сосет под ложечкой. В наше беспощадно-газетное время каждое событие доходит до читателя в бесчисленном количестве отражений, все более и более удаляющихся от источника. Лишенная новой пищи, сенсация питается отражением отражений — второй, третьей... n + первой степени. Наконец проходит положенное время, определяемое психофизиологической природой глисты романтизма, сенсация набивает оскомину, и событие, ее породившее, погребается под холмом газетной бумаги.

Раздраженная сенсацией общественная психика не только требует все более чрезвычайных вариантов, но и с некоторой обидой даже отмечает такие объяснения, которые вводят событие в реалистические пределы. Она вообще не хочет в таких случаях объяснений, она требует загадочного, проблематического. Могущественнейший террорист, состоящий при департаменте полиции; довереннейший агент, организующий убийства министра внутренних дел и великого князя,— разве это не титаническая по своим внутренним противоречиям фигура, далеко выходящая за рамки человеческого и только человеческого? Самые трезвомыслящие люди с каким-то психологическим сладострастием разводили руками перед проблематикой «величайшего провокатора». У них к этому чувству даже примешивался некоторый оттенок национальной гордости. «Азефом

---

* — формат книги или журнала (*лат.*).— *Ред.*

** — Фишелевич.— *Ред.*

вполне, можно сказать, утерли нос Европе». В интернациональном обществе европейских кафе многие русские глядели в то время прямо-таки именинниками.

Были и протестующие, и даже весьма. Один мой приятель, человек от природы желчный и даже не окончивший университета, чрезвычайно злобствовал по поводу культа азефского демонизма. «Азефа не знаю,— говорил он,— доселе и не слыхал о нем никогда, но позволяю себе думать и даже осмеливаюсь эту мысль высказать вслух, что никаких демонических качеств за ним не может числиться, ибо по натуре своей он должен быть совершеннейшим бревном. Чтоб 17 лет вести дьявольскую игру, врать, не провираясь, обманывать, не попадаясь, нужно быть либо гением семи пядей во лбу, либо, наоборот, человеком с упрощенной до крайности механикой головы и сердца, попросту тупоумцем, который ведет свою игру грубо, прямолинейно, нагло, не приспособляясь к чужой психологии, не растрачиваясь на детали, и именно поэтому выходит победителем. Но согласитесь, что несравненно натуральнее предположить в Азефе тупицу, чем гения. Во-первых, потому, что тупицы встречаются в природе несравненно чаще, а во-вторых, и главное, потому, что гении имеют обыкновение находить для своих сил применение вне стен охранки».

Эта парадоксальная гипотеза, казавшаяся мне очень заманчивой с самого начала, получила в моих глазах высокую степень вероятности по сопоставлении ее с одним поучительным анектодом, рассказанным г. Струве à propos Азефа. Анекдот относился к той почти дилювиальной эпохе [2], когда красный радикал Струве редактировал марксистский журнал «Начало» [3] и был еще весьма далек от намерения легонько потрепать жида (разумеется, в высшем асемитическом смысле). Тогда будущий консервативный национал-либерал наш еще сам был лакомым куском для департамента полиции, который и командировал к нему в «сотрудники» Гуровича. Невежественный шпик оказался соиздателем почтенного журнала, не уплатив, кстати сказать, в издательскую кассу ни гроша, хотя причитавшийся с него пай с казны получил, надо думать, полностью, о чем можно бы навести справку у тогдашнего министра финансов г. Витте, ныне занимающегося разоблачениями. В своем промахе г. Струве оправдывался тем, что Гурович очень уж глуп, так что никакому разумному человеку даже и в голову не могло прийти, чтобы департамент полиции мог пользоваться для уловления образованнейших литераторов столь отпетым дураком. Со всей серьезностью неисправимого доктринера г. Струве даже слегка потыкал этой гуровичской глупостью департамент в лицо: «Стыдитесь, мол,— называетесь государственное учреждение, а не сумели умного человека выставить!» Однако подите же: при всей своей глупости Гурович обошел просвещенных умников, величался их сотоварищем, подписывал своим именем левый

журнал, да еще сверх всего положил себе в карман издательский пай, так что и своих работодателей заодно уж накрыл. Значит, дурак-то для этой миссии вовсе не так плох оказался. И г. Струве, как идеологу консервативной государственности, менее всего полагалось бы недооценивать, а тем более унижать дураков...

Благослови, Господь, людскую глупость.
Смела она. Ее не устрашишь
Словами громкими. Считает горы
За бугорки. И так искусно глупо
Песчинку на пути кладет, что умник
Вниз кубарем летит...

Ум и чуткость не всегда преимущество. Если б Азеф стал плести тонкое психологическое кружево в том обществе людей, интеллигентных, проницательных и видавших виды, в каком он вращался, он неизбежно стал бы на каждом шагу прорываться и провираться. Из-под маски идейного человека, стоящего на равной ноге с другими, непременно просовывалась бы, точно грязная онуча из продырявленного лакированного ботинка, таксированная физиономия шпика. Но другое дело, раз Азеф вовсе и не покушался на такую игру, а открыто носил свою харю, физическую и духовную. Он заставил привыкнуть к себе — не силою продуманного и построенного по плану поведения, а единственно автоматическим давлением тупоумной своей неспособности подменить себя. Его сотоварищи на него смотрели и говорили себе (должны были себе говорить): «Ведь вот субъект: хам чистейший,— и, однако же, дела его свидетельствуют за него». Не все, конечно, решались называть его хамом, хотя бы и про себя только, но все должны были чувствовать приблизительно так. И это спасло его. Он приобрел раз навсегда право диссонировать со своей средой и открыто носить с собой свою азефскую сущность.

В материалах «Заключения» рассыпаны указания на то, что Азеф «выглядел» человеком недалеким, тупым и невежественным. Почти все жалуются на первое впечатление, им производимое. Одно из опрашивавшихся лиц резюмирует это «первое впечатление» так: «Посмотреть на человека, так гроша за него не дашь, а на самом деле вот какие бывают люди». «Еле-еле бормочет»,— отзывался об Азефе Гоц, очень его ценивший. Сама «судебно-следственная комиссия», очень добросовестная в подборе материала, но крайне половинчатая во всех своих выводах, считает «крайностью» мнение об Азефе как об умственном ничтожестве. Она ссылается при этом на показание одного из свидетелей о речи, которую Азеф «взволнованным голосом» произносил в 1901 году в московском марксистском кружке в защиту идей Михайловского и особенно его «борьбы за индивидуальность». Но мало ли какие речи произносились за и против Михайловского в 1901 году! А уж один тот факт,

что в интеллектуальный формуляр Азефа оказалось возможным занести после тщательного расследования одну лишь «взволнованную» речь, десять лет тому назад произнесенную, лучше всего показывает, что умственное творчество его не било фонтаном. Да и могло ли быть иначе? Субъект, все привыкший переводить на целковые, и голову Плеве, и голову Гершуни, спекулировавший на браунингах и динамите, точно на прованском масле, был абсолютно не способен имитировать сколько-нибудь серьезный интерес к вопросам социализации, кооперации и борьбы за индивидуальность. Он поэтому на всяких партийных совещаниях больше молчал, иногда «еле-еле бормотал» — и не мыслями, и не речами он импонировал своим товарищам. Наоборот, он совершенно не скрывал своего деляческого презрения ко всякого рода умственности, даже бравировал им, всячески выставляя его напоказ. И это ставилось ему идеологами, теоретиками и литераторами партии в своего рода плюс, как знаменующее отношение истинно военного человека к штатским занятиям. А если затем на фоне этого твердо установившегося отношения к нему он обронит какое-нибудь «теоретическое» соображение, пусть совершенно грошовое, одно из тех, какие можно на улице поднять,— все переглядываются между собою с тем иронически-почтительным видом, с каким Остап думал об отце своем Тарасе: только, мол, прикидывается дураком, а сам в латинской премудрости собаку съел.

Но если «Заключение» без большой уверенности говорит об умственно-теоретических достоинствах Азефа, которые могли бы до некоторой степени объяснить его влияние, то тем энергичнее следственная комиссия настаивает на Азефе как на гениальном лицемере. Свою роль истинно партийного человека Азеф играл будто бы «в совершенстве», свой план проводил будто бы с поразительным искусством: не выскакивая, не выдвигаясь и не навязываясь. Однако же данные самой комиссии не вполне подтверждают такую характеристику. Оказывается, что «иногда» Азеф прорывался и выказывал присущие его натуре жесткость и черствость. Так, например, сообщения об ужасах пыток и тюремных истязаний совершенно не трогали его, что не могло не производить странного впечатления на его друзей. Но, давя на всех своей тупой неподвижностью, он заставлял брать себя таким, каков он есть: «странности его характера» объяснялись, по словам «Заключения», «недостатком душевной чуткости и той твердостью, которая в известных пределах является долгом человека, несущего ответственность за боевую организацию». Значит, все-таки жесткость и черствость и другие «странности характера» торчали наружу, смущали и рождали потребность в объяснении? Но где же, в таком случае, «совершенство игры»?

Совершенно не подтверждается также материалами комиссии ее утверждение, будто Азеф не высовывался и не навязывался, со-

блюдая свой «план». На самом деле Азеф не высовывался только в самый первый период, когда он, как и всякий шпион, робел и терялся. Да и высовываться особенно некуда было, так как партии социалистов-революционеров еще не существовало и Азефу приходилось иметь дело с отдельными лицами и группами. Но, поскольку начинало пахнуть где-нибудь жареным, Азеф выскакивал вперед уже в ту пору и притом весьма неуклюже. В Швейцарии он афишировал себя в 1893 году «крайним террористом». Когда Бурцев, никем не поддерживаемый, поднял в 90-х годах из Лондона агитацию за возобновление террора, Азеф, тогда еще мало кому известный, письмом приветствовал его и *предложил свои услуги*. Значит, и афишировался и навязывался. Много позже, уже после «дела Плеве», когда Азеф оказался не только во главе боевой организации, но и во главе всей партии, по крайней мере организационно, он начал действовать с такой деспотической наглостью зазнавшегося шпика, что возбудил у некоторых товарищей своих серьезное опасение, не сошел ли великий конспиратор с ума. Значит, и зарывался и терял всякую меру.

Но не попадался! Вот где загадка всех загадок. С изумлением ссылались на то — и это изумление обошло буквально все газеты мира,— что Азеф ни разу не выдал себя... даже в бреду своих сновидений. Разве ж это не сверхчеловеческое самообладание, не демоническая сила? Но, во-первых: кто стенографировал азефские сновидения и кто подвергал их затем судебно-следственному анализу? Во-вторых, разве не могут в этом отношении соперничать с дьяволом провокации неверные жены, о которых тоже не установлено, чтоб они во сне занимались доверчивыми признаниями обманутым мужьям?

Но как бы ни обстояло дело с азефскими сновидениями, факт остается фактом: в течение ряда лет своей провокаторской «работы» Азеф не попадался, и это одно уже должно, очевидно, служить лучшим доказательством его из ряда вон выходящей выдержки. Как, однако, понимать это сакраментальное *«не попадался»*? Значит ли это: не делал промахов, по крайней мере грубых? Или же это надо понимать просто в том смысле, что и самые грубые промахи в тех условиях, какие создались вокруг Азефа, неспособны были погубить его? Вот где корень всего вопроса. И стоит подойти к загадке с этой стороны, чтобы сразу бросилось в глаза одно поистине поразительное обстоятельство: почти во все продолжение карьеры Азефа по пятам за ним шли слухи и прямые обвинения в провокации. Еще в Дармштадте, где Азеф был студентом, один из профессоров отзывался о нем в частном разговоре словами: «dieser Spion» («этот шпион»).

В 1903 году выдвигает против Азефа обвинение в провокации какой-то студент. В августе 1903 года видный социал-революционер

получает анонимное письмо (написанное, как теперь известно, Меньщиковым — не тем, что служит в «Новом времени», а тем, что служил в департаменте полиции) с весьма определенными и убедительными указаниями на «инженера Азиева» как провокатора. Азеф, который с письмом был ознакомлен, испугался до истерики: рвал на себе рубаху, икал и плакал. Но убедившись, что шансы его не поколеблены, пришел «в шутливое настроение». В начале 1906 года получаются партией показания против Азефа со стороны агентов саратовской охранки. Осенью 1906 года — такого же рода показания со стороны охранного чиновника одного южного города. Осенью 1907 года выступает на сцену так называемое «саратовское письмо»[4] с совершенно определенными, фактического характера указаниями, легко поддававшимися проверке; однако проверке оно, как и все предшествующие, подвергнуто не было. Наконец, когда уже *после всего этого* Бурцев начинает в 1908 году свою разоблачительную кампанию, он встречает отчаянное сопротивление со стороны руководящих сфер партии. Более того, уже когда известно было, что Лопухин целиком подтвердил подозрения Бурцева и этот последний собирался распубликовать Азефа как провокатора в печатном листке, член центрального комитета вернул Бурцеву корректурный оттиск его листка с словами: «Азеф и партия — одно и то же... Действуйте, как хотите».

Ввиду всех этих фактов приходится спросить: какое же значение могли иметь те или иные косвенные промахи Азефа в сравнении с этими прямыми обвинениями? Если не верили в высшей степени убедительным охранным донесениям с изложением обстоятельств дела, если так были настроены, что не верили данным Меньщикова, Бакая и Лопухина, могли ли, способны ли были заметить прорехи в поведении самого Азефа, его неловкие жесты и даже его грубые ошибки?

Ясно, что не в дьявольской ловкости крылась тайна азефского успеха и никак не в его личном обаянии: мы уже знаем, что внешность у него отталкивающая, первое впечатление он производит всегда неприятное, иногда отвратительное, он свободен от идейных интересов, еле-еле бормочет. Лишен чуткости, жесток, груб в своих чувствах и в их внешнем выражении, сперва икает от страху, а успокоившись, впадает в «шутливое настроение»...

Тайна азефщины — вне самого Азефа; она — в том гипнозе, который позволял его сотоварищам по партии вкладывать перст в язвы провокации и — отрицать эти язвы; в том коллективном гипнозе, который не Азефом был создан, а террором как системой. То значение, какое на верхах партии придавали террору, привело, по словам «Заключения», «с одной стороны, к построению совершенно обособленной надпартийной боевой организации, ставшей покорным

оружием в руках Азефа; с другой — к созданию вокруг лиц, удачно практиковавших террор, именно вокруг Азефа атмосферы поклонения и безграничного доверия»...

Уже Гершуни окружил свое место полумистическим ореолом в глазах своей партии. Азеф унаследовал от Гершуни свой ореол вместе с постом руководителя боевой организации. Что Азеф, который несколько лет перед тем предлагал Бурцеву свои услуги для террористических поручений, теперь разыскал Гершуни, это немудрено. Но немудрено и то, что Гершуни пошел навстречу Азефу. Прежде всего выбор в те времена был еще крайне мал. Террористическое течение было слабо. Главные революционные силы стояли в противном, марксистском лагере. И человек, который не знал ни принципиальных сомнений, ни политических колебаний, который готов был на все, являлся истинным кладом для романтика терроризма, каким был Гершуни. Как все-таки идеалист Гершуни мог нравственно довериться такой фигуре, как Азеф? Но это старый вопрос об отношении романтика к плуту. Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочный и пошлый практицизм плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик, что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей — по образу и подобию своему.

Судебно-следственная комиссия обнаруживает явное стремление отвести как можно более широкое поле «субъективному фактору» за счет объективных обстоятельств. В частности, она настойчиво повторяет, что изолированность и замкнутость боевой организации явились результатом сознательно продуманной и искусно проводившейся политики Азефа. Однако от той же комиссии мы слышали ранее, что изолированность боевой организации вытекала из самого характера ультраконспиративной и замкнуто-кружковой практики терроризма. И это как нельзя лучше подтверждается следственными материалами. Организационную позицию Азефа не только подготовил, но и целиком создал Гершуни. Создатель боевой организации, в которой он сам, по словам «Заключения», являлся диктатором, Гершуни связывал ее с центральным комитетом чисто личной связью и тем превращал ее в надпартийное учреждение; а затем всем авторитетом боевой организации, который он в себе воплощал, Гершуни и в ЦК приобрел решающее влияние. Когда механизм был создан, Гершуни оказался изъят,— его заместил Азеф, которого сам Гершуни наметил себе в преемники. Заняв позицию, изолированную от партии и высившуюся над партией, Азеф оказался как бы в блиндированной крепости: всем остальным членам партии к нему и приступу не было. В создании этой позиции мы не находим личного «творчества» Азефа: он просто взял то, что ему давала система.

Доверие к Азефу росло как к «великому практику». А главный, если не единственный практический талант его состоял в том, что он не попадался в руки политической полиции. Это преимущество принадлежало не его личности, а его профессии; но оно ставилось в счет его ловкости, находчивости и выдержке. По отзывам «боевиков», Азеф «не знал даже, что такое боязнь». Отсюда их преклонение пред Азефом, который в их глазах олицетворял идеал «боевика», как в глазах остальной партии — боевую организацию в целом. Затем все шло почти автоматически. Тот, кто совершает при содействии Азефа покушение, гибнет — тоже при содействии Азефа; а отблеск совершенного остается на Азефе как на неуловимом организаторе и вожде. За границей в идейно-руководящих кругах партии Азеф, по рассказу комиссии, «появлялся, как метеор, появлялся, окруженный ореолом подвигов, в подробности которых были посвящены весьма немногие».

Тех, которые выдвигались против него или работали помимо него, он выдавал; это было естественным, почти рефлекторным жестом самообороны; а в результате — рост азефского авторитета в обоих лагерях. После слишком крупных выдач он — возможно, что с ведома своих ближайших контрагентов справа — давал совершиться таким террористическим актам, которые должны были упрочить его позицию пред лицом его контрагентов слева. Это снова развязывало ему руки для выполнения его полицейских обязательств. Он предавал, а за его спиною работало его начальство, направлявшее все свои усилия на то, чтобы сохранить своего «сотрудника» и замести за ним следы. И шпион поднимался вверх с силой почти фатальной.

Сказанного не нужно понимать в том смысле, что Евно Азеф никакими сторонами своей личности не входил в ту игру безличных политических сил, которая сделала его исторической фигурой. Было, значит, что-то такое в нем, что выделило его из ряда Иуд, не менее подлых, но еще более ничтожных. Более уверенная в себе тупость, бо́льшая хитрость, более высокое общественное звание (дипломированный за границей инженер), все это необходимо было Азефу, чтобы зубцам террористического и полицейского колес было за что зацепиться в этой человеческой фигуре и поднять ее на такую высоту ужаса и позора. Но разгадка этой поразительной судьбы — не в самой фигуре, а в строении зубчатых колес и в их сцеплении. Потрясающее сидит в азефщине, не в Азефе. «Величайший провокатор» не имеет в себе ничего демонического,— он был и оставался прохвостом tout court *.

* — просто-напросто (*франц.*).— *Ред.*

Л. Троцкий

МИЛЮКОВ

В одном из сатирических журналов 1906 года карикатурист дал портрет г. Милюкова. Хитро прищуренный глаз, самодовольная улыбка превосходства и уверенно прижатый к груди портфель лидера кадетской партии или просто портфель редактора «Речи» [1] — не сказано. Но на вид портфель хороший, солидного качества и вместительный.

Похож ли Милюков на свой портрет, не знаю, но думаю, что следовало бы ему быть похожим. Просвещенная ограниченность и обывательское лукавство, поднявшиеся на высоты политической «мудрости»,— эти черты как нельзя более к лицу лидеру кадетской партии.

Г-н Милюков очень гордится своей устойчивостью. Не последовательностью мысли, не широтой захвата, не энергией наступления, а устойчивостью. Сам он устойчивый, и партия у него устойчивая. И г. Милюкову трудно даже решить, кто тут кому больше обязан: он ли партии, или партия ему.

Не то чтобы г. Милюков так-таки совсем не колебался и не противоречил себе. Нет, и очень колебался, и весьма противоречил. Но всегда в пределах: в надежных пределах собственной политической ограниченности.

От Выборга до Лондона [2], от призыва не платить податей до голосования за третьеиюньский бюджет — дистанция большая. Милюков проделал ее. Правда, он потом разъяснял, что Выборг был, в сущности, не Выборг, а так... полу-Выборг, совсем пассивный и почти что на точном основании основных законов; и что Лондон тоже ничего не менял, кроме падежа: была оппозиция режиму, стала оппозиция при режиме, только и всего.

Но все-таки разницы между Выборгом и Лондоном не смахнешь. Ведь в программе кадетской партии самый вопрос о форме государственной власти оставляется открытым (в случае чего мы, мол, и фригийский колпак [3] наденем!), а лондонское паломничество предполагало, уж конечно, не фригийский колпак, а картуз с позументами. Ведь мы-то знаем, что в 1904 году Милюков тоже ездил в Лондон, но совсем для иной цели: для знакомства с левыми; а после первых двух дум он разрешился своими счастливейшими политическими афоризмами: о левом осле и о красной тряпке. Правда, он сам разъяснил, что о тряпке он говорил совсем «не в том смысле», что красное знамя он «уважает». Но ведь это опровержение он сделал только недавно, после того как на «крылатом» осле, этом духовном сыне Милюкова, пять лет ездили взад и вперед жокеи «Нового времени», конюхи «России» [4] и конокрады «Русского знамени» [5].

Пять лет молчал устойчивый Милюков, молчал — не разъясняя, а вот после ленского движения, после первомайского выступления [6], после появления открытой рабочей прессы [7] — и все это ввиду надвигавшихся выборов — взял да и разъяснил: осел не осел и тряпка не тряпка.

Под толчками событий и Милюков качался — как не качаться? — но в конце концов благополучно восстанавливал каждый раз утраченное равновесие. У других — перелом, ренегатство, резкая смена идеологии, барабанный бой «Вех» [8], а у г. Милюкова все плавно и округлено, все рассчитано, все введено в пределы просвещенной ограниченности. Он и шуточку-то свою про «осла» пустил не в минуту острой схватки с левыми, не в порыве гнева, а тогда, когда политический отлив достиг самой низкой точки своей, когда левые были связаны по рукам и по ногам, юстиция работала не покладая рук, а правые улюлюкали и лязгали зубами... Вот тогда г. Милюков и пошутил насчет демократии.

Но так как шуточка разъяснена, то отчего бы демократии и не голосовать за г. Милюкова.

* * *

Устойчивость Милюкова — оборотная сторона его политической «мудрости». А мудрость Милюкова, которою так сытно питается его самодовольство, состоит в органическом презрении к «утопии». Он живет сегодняшним и еще немножко — завтрашним днем. Утопия же — это все то, что относится к послезавтрашнему или еще более далекому дню. И оттого левые для него не просто политические противники и не только классовые враги,— они психологически враждебная для него человеческая порода.

«В Европе рабочие перестали уже верить, что сами они активными выступлениями добьются чего-нибудь».

«Идея диктатуры пролетариата — ведь это идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать».

Если бы этими афоризмами разрешился г. Родичев, дело другое. Г-н Родичев состоит при своем темпераменте, а темперамент г. Родичева, в свою очередь, давно стал его профессией. Г-н Родичев — человек так называемого экстаза, г. Родичев с Русью на «ты». Когда умрет Хавронья Прыщова [9], которая давно уже сделалась из легитимистки кадеткой, на сердце ее, несомненно, найдут начертанным имя г. Родичева. Словом, с г. Родичева взятки гладки.

Но ведь эти афоризмы высказал на одном из петербургских предвыборных собраний не кто другой, как Милюков — ученый историк, политический вождь. Изумительно? Нисколько. Не по программе своей только, а и по всей натуре г. Милюков — juste milieu, золотая середина. Он не вмещает пространного. Он считает возможным и

осуществимым только то, что «разумно». А разумно то, что вмещается в рамки политической ограниченности — его собственной и его круга. Ну кто же в редакции «Речи» верит в самостоятельную политику европейского пролетариата? Г-н Гессен не верит, г. Левин не верит, г. Изгоев не верит. Когда Милюков ездил в Лондон и там имел беседу (из-за спины октябристов и националистов) с тузами биржи и биржевой журналистики, ни один из них не заявил себя убежденным сторонником диктатуры пролетариата. Асквит не верит. Клемансо не верит. Пуанкаре не верит. «Ни один человек в Европе» не верит.

А Европа Бебеля, Виктора Адлера, Жореса, Геда, Кэр-Гарди? * Но ведь это же Европа «утопии», Европа социалистического пролетариата, Европа послезавтрашнего дня. Какое дело руководящему политику выморочного русского либерализма до той единственной европейской партии, которая владеет сердцем массы и ключом от ворот будущего!..

* * *

До III думы [10] фигура г. Милюкова была окружена в глазах его политической паствы дымкой таинственности. В I думу он не попал, во II — не попал — и руководил «ходом событий» из невидимой суфлерской будки. Но вот, наконец, он избран в III думу. Кадеты при встрече друг с другом поднимали вверх указательные пальцы: «Погодите, теперь он себя покажет: у него есть план». О, у него есть план!

Так же точно, как известно, говорили некогда про французского генерала Трошю, защитника Парижа в 1870 году,— а плана-то у Трошю, как на грех, и не оказалось: он просто сдал Париж пруссакам.

Но Милюков не Трошю. У него есть план. У Кутлера — у того выдающийся административный опыт (школы Витте), у Маклакова — дар оптовой и розничной искренности (по прейскуранту Тагиева [11]), у Родичева — ну, ему поручено «глаголом жечь сердца людей»…. Зато уж у Милюкова — у Милюкова есть «план».

И вот г. Милюков начал свою парламентскую карьеру с того, что принял демонстративное участие в овации Столыпину, которого «обидел» Родичев. В интересах «плана» Родичев немедленно поперхнулся огненным глаголом и — по поручению Милюкова — обещал премьеру, что «больше, не будет». Бедный, бедный Мирабо!

Эту сцену следовало бы увековечить для синематографа, и теперь можно было бы не без успеха показывать ее во всех собраниях, где Онорэ Габриэль Рикетти Родичев повествует о том «мужестве, которое кадеты проявляли 5 лет — в дни тяжких испытаний и невзгод»...

---

* Харди (Гарди) Джеймс Кейр.— *Ред.*

Милюков искал общего языка с октябристами и Столыпиным. Вяще изломившись (самодовольство почти покинуло его в те дни), он суетливо предъявлял людям 3 июня свой патриотизм, он вторил Извольскому, он презрительно отмахивался от социал-демократической фракции, не желавшей замечать «новый курс» русской дипломатии, он тревожно стучался в комиссию государственной обороны, он развил необузданную германофобскую и славянофильскую фразеологию. Увы! Все надежды Милюкова на роль покровительствуемого левого резерва при столыпинско-октябристском законодательстве рухнули. Ничего из этого не вышло, если не считать срама. Милюков стал строго уличать Столыпина в отсутствии государственного разума,— и все увидели, что никакого «плана» у Милюкова нет.

Но это нисколько не пошатнуло его роли лидера. Наоборот, даже упрочило. Да ведь он совсем наш — нашей плоти и нашего духа! — решила его паства. Попробовал бы, в самом деле, Милюков создавать стратегические планы! — ведь армия его состоит сплошь из людей отяжелевших, с жирной складкой самодовольства и серьезным доходом. «Речь» они читают охотно, особенно сытенькое остроумие Азова, охотно подают оппозиционный бюллетень,— но и только. С какой бы предвыборной благожелательностью Милюков ни похлопывал сейчас приказчиков и прочих «маленьких людей» по плечу, все же мы ведь прекрасно знаем, что вся политика Милюкова, все расчеты и надежды его не к приказчикам и к конторщикам приурочены, а к солидному, «устойчивому», дипломированному обывателю, который хочет культуры и прогресса, но еще больше хочет порядка и спокойствия. Какие же тут наступательные планы? Сиди у моря и жди погоды.

Г. Милюков сидит и ждет. Спорит с министрами, иногда недурно спорит, и пишет статьи, в которых обстоятельно доказывает, что г. Кассо лишен истинного государственного смысла.

А попытайтесь его спросить: что же дальше? какие у него дальнейшие перспективы? что думает он противопоставить людям 3 июня, которые не хотят слушать либеральных резонов? — г. Милюков пожует глубокомысленно губами и ответит: «Об этом мы поговорим в следующий раз».

* * *

О, достопочтенный либеральный обыватель, ты, который ни холоден, ни горяч! Милюков — твой неоспоримый, твой прирожденный вождь. Что бы делал ты, несчастный, если бы природа забыла создать Милюкова? Но она не забыла. И ему нужно только оставаться верным самому себе, чтобы давать законченное выражение твоей ограниченности и твоему эгоизму.

Милюков — твой вождь. Владей им безраздельно, держись за него крепко, он — твой. Но скажи ему вместе с тем, чтобы он не со-

вался туда, где «маленькие люди» горят душою над большими вопросами, где требуют прямых ответов, где не любят шуточек о красных тряпках, где умеют хотеть, и бороться, и верить в победу.

Скажи ему, обыватель, что там ему делать нечего!

Л. Троцкий

ГУЧКОВ И ГУЧКОВЩИНА

Сотруднику одной петербургской газеты Гучков прямо сказал: «Петух должен перед восходом солнца прокричать, а взойдет ли оно или нет, это уже не его дело». Слова эти Гучков про себя сказал, про свое киевское выступление с оппозиционной резолюцией[1]. Сравнение с петухом надо, разумеется, «понимать духовно», и во всяком случае надлежит представлять себе при этом не русского петуха,— ибо тогда в голову полезет мысль, что Гучков петушится,— а галльского петуха[2], у которого самое кукареку выходит под «Марсельезу». Но самое привлекательное в выступлении Гучкова, им самим истолкованном, это нравственный стоицизм и абсолютное политическое бескорыстие. Не потому Гучков предложил свою резолюцию, чтобы «это было кому-нибудь на руку или комунибудь пришлось не на руку». Играть кому-либо в руку,— помилуйте, разве это вообще в нравах Гучкова? («Не на таких я правилах основан-с» — как говорит Аполитка у Островского.) Он, Гучков, просто выполнил свой нравственный долг, не останавливаясь мыслью на практических последствиях. Он перешагнул через всякие партийные интересы. Ибо что такое партии! Преходящая пена перед лицом вечных нравственных начал. «Пена» — Гучков так и сказал. Петух должен перед восходом солнца петь, повинуясь петушиному категорическому императиву. А взойдет ли солнце или нет, он не в ответе. Fais ce que dois, advienne que purra! (Выполняй свой долг, а там будь что будет!) Совершенно ясно: Гучков стал на точку чистого кантианства[3] в политике. Откуда бы это? — соображает озадаченный россиянин. Ведь руководящим правилом Гучкова и гучковщины в политике было старое московское наше, из-за прилавка вынесенное *не обманешь — не продашь*. И вдруг от этого в высшей степени утилитарного руководящего начала сразу махнуть на высоты абсолютного долга, одним, так сказать, прыжком от козлиной бороды — к Канту!

Может быть, тут влияние Петра Струве? — догадывается обыватель-идеалист. Ведь года три тому назад отчаявшийся октябристский философ Гарт требовал для русского народа новой морали, «прочно сдерживающей индивидуальные и групповые стремления к самонасыщению», и взывал к новому неведомому «славянскому

Канту». Не сыграл ли г. Струве и впрямь за спиною реакции этой благодетельной роли? Может, он посредством кружковой пропаганды привил московской плутократии мораль категорического императива и тем ограничил ее «стремление к самонасыщению»? И может быть, кружковый период закончился и Гучков признал своевременным перенести воспринятые начала в большую политику?

Прежде чем удалось разрешить этот вопрос, обнаружилось, что предутренний крик Гучкова прозвучал не в пустыне,— немедленно же послышался мелодический отклик Маклакова. Почтенный депутат настойчиво предлагает всем оппозиционным силам примкнуть к программе Гучкова, которую он, согласно доброму старому, но — увы! — совершенно пустопорожнему методу, приравнивает к общему политическому коэффициенту, подлежащему выведению за скобки. «Соглашение (на программе Гучкова), наверно, распадется после первой победы,— разъясняет г. Маклаков,— но предварительно эту победу доставит». Стало быть, за восход солнца Маклаков ручается вполне.

Г-н Маклаков — политик особенный. Главный ресурс его политики состоит в способности «в последний раз» питать надежду на вразумление начальствующих и им услуживающих. «Последняя надежда» у Маклакова вроде неразменного рубля: начальствующие не вразумляются, а последняя надежда остается. Предъявлять такую надежду, ввиду самой деликатности ее, приходится всегда с проникновенной искренностью, так, чтобы, например, г.Кассо, вернувшись домой из Думы, вынужден был сказать себе: «Вот Маклаков все еще надеется на меня, в последний раз надеется, и если я надежды сей не оправдаю, то отравлю навсегда его душу»...

Но так как сессия следует за сессией и прения повторяются, то во избежание убийственной монотонности г.Маклаков вынужден предъявлять в Думе искренность все большей и большей силы напряжения. В этом его тяжкий крест, ибо находить все новые и новые вибрации надеющейся из последнего и уже почти отчаивающейся искренности — это, согласимся, нелегко. Зато в ореоле этой концентрированной искренности он как бы возносится над всеми партиями. В чтении его речи производят нередко такое впечатление, будто глазами слушаешь по нотам «Молитву Девы».

Пьеса, бесспорно, несколько устарелая, но не лишенная привлекательности. Было бы, однако, ошибочно думать, будто это трогательная мелодия проникнута нравственным платонизмом. Нет, в ней совершенно явно звучит тоска девы по оплодотворению. Так и в политических речах г.Маклакова. Можно не разделять его «последней надежды» и не заражаться его искренностью, но нельзя не слышать, как настойчиво тоскующая дева оппозиции зовет к себе мужа власти. Само по себе это в порядке вещей. Странным только

может показаться, почему именно выступление Гучкова, который сам отводит вопрос о практических последствиях, в такой мере оживило «последнюю надежду» Маклакова. Это противоречие мы уже отметили выше. В противовес кантианцу Гучкову, Маклаков выступает как политический утилитарист. От союза с Гучковым он ждет не отвлеченных нравственных благ, а практических результатов, непосредственной, ближайшей победы, и он ни на минуту не сомневается, что союз «эту победу доставит».

Получается такое qui pro quo (недоразумение).

— Во имя практических завоеваний откажемся (временно!) от программы, то есть от того, что считаем нашим долгом,— предлагает г. Маклаков,— и станем под киевское знамя Гучкова.

— Я не потому развернул это знамя,— говорит г. Гучков,— что надеялся на практические завоевания, а потому, что хочу выполнить свой долг!

Не нужно, однако, это противоречие брать слишком трагически, ибо цену гучковскому кантианству мы ведь знаем достаточно, как и цену самому Гучкову. Из породы малых «великих людей», Гучков попал у истории в случай, потому что ей нечем было заткнуть дыру бесплоднейшей и бездарнейшей эпохи. Гучков не произнес на своем веку ни одной значительной политической речи, не написал ни одной статьи и, уж конечно, не совершил ни одного действия, которое можно было бы записать в книгу общественного развития. В качестве исторической затычки он присвоил себе внешнюю значительность оговорками к чужим действиям, речам и статьям. Гучков всегда ходит вокруг да около, глубокомысленно молчит, а если говорит, то обиняками, уклоняется, где можно, от голосования или ретируется в трудную минуту на Дальний Восток. Воплощение политического паразитизма, он хотел пользоваться всеми выгодами, какие давал ему и его клике режим 3 июня, стремясь в то же время свести к минимуму свою ответственность за этот режим. Но это ему не удалось и не могло удасться.

Разве же не Гучков на глазах всей страны состоял в течение всей черной эпохи усердным компером из общества при бюрократии,— как при фокусниках бывают помощники «из публики»? 3 июня, скорострельные суды, поход на Финляндию, поход на поляков, поход на евреев,— везде и всюду Гучков свою руку приложил если не как инициатор, то как соучастник или злостный попуститель. То, что характеризует истекающую эпоху: надутый, как пузырь, патриотизм и радение родному человечку; героические удары в грудь и жирные концессии; разнузданное бахвальство ничтожеств; грубое щеголяние физическим «мужеством» при полном отсутствии мужества нравственного; эксплуатация самых низменных и диких инстинктов под прикрытием джентльменского сюртука; и, наконец, лживость и лживость на каждом шагу,— все это

одним своим концом упирается в Гучкова. И ненависть к Гучкову тем сильнее и законнее, что он ведь призван был и явился олицетворением начала земщины при опричнине. Гучковщина — это гниль и ложь, это подобострастное пресмыкательство перед торжествующими и глумление над разбитыми, затравленными.

И когда *этот* Гучков вносит оппозиционную резолюцию, «не задумываясь» о том, кому она на руку и не на руку, когда этот непримиримый рыцарь принципа не хочет Коковцова отличать от Кассо и Щегловитова, а, наоборот, главный свой удар направляет на Коковцова, то слишком наивно думать, что он, Гучков, просто «ищет популярности»,— где он найдет ее и что она даст ему? Нет, можно безошибочно предположить, что он ищет завоевания каких-то весьма конкретных позиций, ключ к которым находится в руках у министра финансов. Но все равно. Какими бы мотивами ни руководился Гучков: действительно ли он заносит на всякий случай левую ногу через борт третьеиюньского корабля или же, как думаем мы, пробует лишь паразитически использовать начавшийся общественный подъем для давления на прижимистого государственного казначея (а деньги теперь так дороги и биржа в них так нуждается!),— это, по существу дела, ничего не меняет. Гучков есть Гучков. Это имя звучит как эхо целой эпохи и как политический приговор.

Кто с благодарностью и надеждой заглядывает в глаза Гучкову за его оппозиционный жест, кто верит Гучкову, кто строит на Гучкове, кто призывает набросить покров забвения на то, чего забыть нельзя, тот совершает тягчайший грех перед будущим страны.

Г-н Маклаков, случайный политик из хороших адвокатов, хочет «первой победы» и не знает к ней другого пути, как приспособление к гучковскому приспособленчеству. Между тем путь к первой, и ко второй, и к третьей победе один: оздоровление общественного сознания. Ликвидация политического наследства реакционной эпохи предполагает в первую голову ликвидацию нравственного октябризма, очищение общественной совести от растлевающего духа гучковщины.

К. Радек

БОРИС САВИНКОВ

Трагическим аккордом кончилась эта бурная жизнь мещанского революционера-индивидуалиста, жизнь, полная неожиданностей, полная романтических эпизодов, полная великого геройства и великих падений и при этом так чуждая действительного революционного содержания.

Савинков родился в Варшаве в чиновничьей семье. Он не принимал участия ни в рабочем, ни в крестьянском движении этой чужой ему страны. Но гнет царизма был в Польше сильнее, подлее, чем во всей России. Семья Савинкова не мирилась с этим гнетом, хотя и бороться против него не решалась. Бесконечно добрая мать Савинкова заронила в его душе семена протеста, и Савинков сделался бунтарем. До него дошли отклики революционного движения в Польше и толкнули его сердце на путь революции. После короткого пребывания в социал-демократических кружках он из них бежит. Ему было скучно среди социал-демократической интеллигенции. Буйный темперамент его требовал «дела», немедленного, яркого протеста. Ему не хотелось терять время на умственную подготовку. Что ему марксизм, что изучение действительности, против которой надо бороться? Он знает, что надо бороться, и этого достаточно. Иосиф Пилсудский, по характеру во многом сходный с Савинковым, рассказывает в своей короткой автобиографии, напечатанной 22 года тому назад, что непонятно было ему, зачем люди научно обосновывают необходимость социализма. «Раз я его хочу, то он необходим». Так, наверно, думал и Савинков. Но социализм, приверженцем которого он себя признавал, на деле был фразой, прикрывающей только то, что он не хотел царизма, что он бунтовал против царизма. Дело, которого добивался Савинков, он нашел в слагавшейся тогда партии социалистов-революционеров. В ее рядах, будучи одним из самых выдающихся членов боевой организации, Борис Савинков совершил ряд террористических покушений, которые покрыли имя его славой великого революционера. В этих покушениях он проявил огромное мужество, самоотвержение. Падающая волна революции увидела Савинкова в полном раздумье. Роман его «Конь бледный», напечатанный в 1909 году, является доказательством, что в буре революции Савинков потерял всю свою молодую веру. Более того, по существу, он был человек без чувства социальной связи. «Счастлив, кто верит в воскресение Христа, воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. *Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают.* Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая *жалкая свобода*... И зачем мне она? *Во имя чего я иду на убийство?* Во имя крови? Для крови?» — так спрашивал герой «Коня бледного», которым был сам автор. Роман этот, как доказало дальнейшее развитие Савинкова, был автобиографическим.

Буржуазный революционер Савинков пошел в бой под знаменем социализма, ибо европейская действительность, подлость буржуазного уклада жизни не позволяли ему бороться под знаменем буржуазии. Ему нужна была утешающая иллюзия — социализм! Но террорист, работающий без связи с рабочим классом, без связи

с борющимся крестьянством, не мог понять смысла их борьбы, не мог впитать в себя прометеева огня, воодушевляющего рабочий класс. Он борется за то, чтобы не быть голодным, и называет это социализмом. Но я, Савинков, не голоден,— и разве я от этого счастлив? Крестьянин протягивает руки к земле,— но что великого в 15 десятинах земли? Французский крестьянин имеет землю,— и разве он претворил в жизнь мечты Савинкова о красоте жизни? Не став социалистом, Савинков потерял всякое чувство общественной связи вообще. И буржуа имел когда-то это чувство, когда во время великих революций верил, что буржуазия создает новое великое дело. Даже теперь, когда буржуазия опаршивела, когда докатилась к врангелевщине, к цанковщине, еще многие ее руководители, ее борцы убеждены, что борьба имеет какой-то смысл выше того, чтобы держаться у власти, только жрать. Достаточно прочесть книгу Шульгина, чтобы видеть, как лучшие люди буржуазии (лучшие в классовом смысле) верят еще в то, что буржуазная система есть единственно возможная, что пролетарская революция есть хаос, который затопит мир и себя в крови. Савинков, потеряв веру в капитализм и не приобретя веры в социализм, остался одиноким индивидуумом, остался с мучившей его мыслью: кровь, во имя чего кровь? Во главе своей книги «Конь бледный» он поставил, как мотто, слова священного писания: «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому *имя смерть*, и ад следовал за ним». Ему посмотрела смерть в глаза, и ад господствовал в его груди.

В следующей своей книге, изданной в 1912 году,— «То, чего не было» — он, мертвый революционер, занялся похоронами своего собственного идейного трупа. Что такое революция? «Никто не знал, когда это будет, и никто не мог бы сказать, что для этого нужно сделать... Как это произошло, никто не знал и никто не сумел бы объяснить». Революция — это «сонное царство». Приходит неизвестно когда, неизвестно зачем, неизвестно, каково ее содержание, каков ее смысл. Раз борьба пролетариата за социализм, крестьянства за землю Савинкову безразлична, то для него революция даже не просто сонное царство, а сонное царство без смысла. А если революция — сонное царство без смысла, то чем же может быть революционная партия, к которой он принадлежал, под знаменем которой сражался? Бессмыслица бессмыслицей,— и он дает картину своей партии, напоминающей суетню мелких людишек, которые сами себе кажутся важными, но жизнь и дело которых не имеют никакого веса. «Болотов воочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно-важное, необычайно-решительное, что-то такое, что не зависит ни от его, ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не *власть партии*, не его, Болотова, власть всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему

жалкими, смешными». Мы не знаем, почему московское восстание[1] казалось ему чем-то неслыханно важным, раз освобождение крестьян от ига помещиков и рабочих от ига капиталистов неважно и не могло его прельщать. Видно, что геройство сражающихся московских рабочих наэлектризовало его фантазию. Но это только момент подъема, быстро угасающий, огонь соломы, ибо это не привело его к пониманию революции, а тем меньше роли в ней партии.

Хорошо. Московское восстание было плохо организовано: революцией вообще дьявольски трудно руководить. Но если бы Савинков действительно понял важность революции, ее социальный смысл, то ему не могла бы казаться работа партии полной бессмыслицей. Он бы не удивлялся, что члены центрального комитета революционной партии «говорили с уверенностью, что от их разговоров зависит судьба тысячи солдат». Он не мог бы относиться так пренебрежительно к внутрипартийной борьбе, как это он делал, когда писал: «Три направления боролись между собою, и борьба эта была источником озлобленных споров. Одни, изучив крестьянский и рабочий вопрос и хозяйственные отношения России, требовали социализации земли; другие, опираясь на те же условия, требовали социализации фабрик и заводов; третьи, прочитав еще десяток томов, не требовали ни того ни другого, соглашались на принудительный выкуп земли. И «умеренным», и «правым», и «левым»... разногласия эти казались решающими и важными. Они искренне верили, что партийные разговоры, как разделить по совести землю и распорядиться судьбою России, умножат силу и ускорят шествие революции и определят будущее стомиллионной страны... Никто из товарищей не понимал *бесплодности безрассудных раздоров*, и все с надеждой и нетерпением ожидали исторического события — общепартийного съезда». В этой тираде Савинков расписался в своем банкротстве как революционер. Если революция есть сонное царство, то партия есть бред во сне, а внутрипартийная жизнь и борьба, искание путей — это невольные движения сонного человека, улыбающегося сонному миражу, борющегося против сонного кошмара.

Разочарованный революцией, разуверившийся после обнаруженного предательства Азефа в своих боевых товарищах, Савинков гнил в парижских кафе, пока не пришло время войны. Вихрь войны сдвинул с места слабенький атом разложившегося буржуазного общества. Индивидуум Савинков, который считал, что существует он, Савинков, жалкая свободная личность, личность, не знающая, чего хочет, не могущая этого знать, не нуждающаяся в знании объективного смысла жизни, живущая как хочет, личность, сегодня рискующая головою во имя неизвестного, а завтра расцарапывающая свой мозг когтями сомнения: стоит ли убивать,— Борис Савинков очутился членом русского буржуазного общества. Да,

членом международного буржуазного общества. Савинков воодушевляется войной. Как корреспондент буржуазной газеты, он воспевает смысл грабительской империалистической войны, геройство ее безвольных жертв. *Нельзя жить атомом. Общество существует*. Его раздирают классы, и, кто не понимает великого смысла борьбы рабочих и крестьян против рабства, тот должен — хочет ли он или нет — признать величие в борьбе против рабочих и крестьян.

Пришла Февральская революция. Савинков вернулся в Россию и сразу перестал быть Гамлетом революции. Споры о социализации земли или социализации фабрик, о выкупе земель, которые когда-то казались ему, индивидуалисту-террористу, такими бесплодными, получили теперь смысл. То, что когда-то было спором горсточки вождей в конспиративной квартире центрального комитета партии эсеров, сделалось предметом вооруженной борьбы миллионов людей. Рабочие, поднявшиеся против капитализма, крестьяне, поднявшиеся против помещиков, капиталисты и помещики, защищающие свою собственность, белый генералитет, ставший на сторону эксплуататоров, партия эсеров, расколовшаяся на две части,— все это было уже не вопросом ученых книг, а вопросом кровавой жизни. Практически Савинков отдал свой голос за помещиков и за капиталистов. Перед судом Верховного трибунала он сказал (совершенно искренне, наверно), что он всегда боролся за рабочих и крестьян. Но это был самообман. Он не боролся за них в 1905 году, когда героическая натура бунтаря толкнула его на террористическую борьбу против царизма. Отрицая позже значение борьбы рабочих и крестьян, он уже стал на сторону помещиков и капиталистов. В качестве товарища военного министра, в 1917 году, он стал активно на сторону буржуазии, сражаясь с оружием в руках против народных масс, требуя смертной казни для тех, которые не хотели сражаться за цели русского империализма. Подоплекой этого последнего решительного поворота Савинкова был *буржуазный патриотизм*. Савинков был патриотом в 1904 году. Он мучился при известиях о русских поражениях в Маньчжурии [2]. Во время империалистической войны этот буржуазный патриотизм им овладел вполне. Во имя его, во имя победы русского буржуазного отечества он стал на сторону врагов трудящихся масс. Савинков пытался объяснить свою борьбу против большевиков после Октябрьской революции тяжелыми личными переживаниями, тем, что Советской властью был убит близкий ему офицер, муж его сестры. Это было не только неверно, как доказала его сестра в письме, направленном в «Последние новости». Этого объяснения совсем не нужно. Савинков, не понимающий смысла пролетарской революции, должен был быть ее врагом, и Савинков, человек дела, будучи врагом Советской власти, не мог зубоскалить, а должен был сражаться с оружием в руках против диктатуры пролетариата.

И он сражался. От Ярославля [3] до польской войны Савинков принимает участие во всех деяниях контрреволюции. То, что он видел в ее рядах, наполняет его ужасом. В 1905 году его мысль о том, что хорошо, когда люди борются за то, чтобы не быть голодными, ибо, освобождая мозг свой от терзания голода, они освобождают его для творческой работы,— эта мысль не смогла согреть его души. Тем меньше могла его воодушевить для контрреволюции мысль о том, что помещики и капиталисты борются за то, чтобы миллионы жили в голоде и холоде. Картина внутреннего развала белых, борьбы клик за место, за наживу — от всего этого его тошнило. Неспособность белых победить рабочих и крестьян вызывала в нем ощущение, что он связался с мертвецом. Последний день пришел для него, когда он, патриот, убедился, что все они, белые, являются игрушками в руках иностранных капиталистов. Одним из наиболее трагических моментов его исповеди перед Верховным трибуналом Республики был рассказ о том, как английский военный министр Черчилль, указывая ему на карте деникинский фронт, сказал: «Вот расположение *нашей* армии». Русская белая армия как участок фронта английского империализма! Савинков остался снова одиноким со своими переживаниями. Он написал «*Коня вороного*» [4]. Этот роман дает картину его полного разочарования в белых, но в нем нет еще даже проблеска понимания смысла великой русской революции, этого начала новой эры в истории человечества.

Что же делать? Борис Савинков не может оставаться в Париже со своими разочарованиями. Его тянет в Россию. Он хочет ее нащупать руками. Понять головой, что происходит, Савинков не в состоянии. Ему надо посмотреть собственными глазами. Он едет, не зная, что будет делать: будет ли искать опоры в крестьянском движении для борьбы с Советской властью или примирится с Советской властью. Когда он был арестован и перед судом выступал с покаянием и заявлением о признании Советской власти, то всякому было ясно, что в этих словах нет еще переворота. Ведь он новой России еще не видел. Ведь он немедленно после перехода границы был арестован. Почему же он ее признал? Струсил ли он? Вряд ли. Савинков не струсил перед лицом царского суда, не трусил в сражениях. Почему ему трусить перед трибуналом революции? *Он испугался не смерти, а приговора революции.* Ему легко было принять смерть из рук царского трибунала, но, разуверившись в контрреволюции, он испугался не меча, а приговора революции. И в мучительных ночах он пытался преодолеть свои сомнения, он пытался поверить в революцию, и перед приговором он поднялся, дабы закричать революции: я в тебя верую. Оторвавшийся от буржуазного общества атом искал матери-земли, класса, к которому можно было бы присоединиться, дела, в которое можно уверовать,

искал объединения с великим целым, общим, для которого стоит жить.

Его помиловали. Революция не казнит тех, которые отреклись от борьбы с ней. Но этого было мало Савинкову. Он хотел работать. Он хотел жить. Он ожидал освобождения, и он ожидал участия в жизни. Он пишет об этом Дзержинскому *. Почему он не дождался ответа? Потому что в бессонных ночах, когда думал о том, почему ему не верят, он должен был задать себе вопрос: а что будет, если ему даже поверит Советская власть, освободит его и даст ему работу,— поверят ли ему другие, найдет ли он место в новой жизни? Он пришел к убеждению, что нет! И, прыгая с пятого этажа, он спасался *перед бездной*. Для него не было места среди трудящихся масс.

14 мая 1925 г.

К. Радек

ПАРВУС

В Берлине скончался от удара в возрасте 55 лет Гельфанд-Парвус. Молодое поколение знает это имя как имя предателя рабочего класса, как имя не только социал-патриота, но человека, объединяющего в своем лице вдохновителя германской социал-демократии и спекулянта. Но старое поколение революционеров, старое поколение русских социал-демократов и участников рабочего движения Германии помнит Парвуса другим, помнит его как одного из лучших революционных писателей эпохи II Интернационала. Парвус — это часть революционного прошлого рабочего класса, втоптанная в грязь.

Он родился в 1869 году на юге России и, поработав там в революционных кружках, попал молодым студентом в Швейцарию, где поступил в университет. Скоро обратили на себя внимание статьи его, появлявшиеся под псевдонимом Унус в научном органе германской социал-демократии, в «Нейе цейт». Переехав в Германию, Парвус издает «Саксонскую рабочую газету», дрезденский орган германской социал-демократии. Эта газета под его редакцией являлась первой и притом блестящей попыткой постановки революционной ежедневной марксистской газеты. В этой газете в первый раз после Маркса и Энгельса давалось действительно марксистское объяснение мировых событий.

О Парвусе можно сказать, что он в первый раз после Маркса и Энгельса обратил внимание рабочего класса не только на то, что происходит на заводе и в парламенте, но и на то, что происходит

---

* О Ф. Э. Дзержинском см. с. 283—293 настоящего издания.— *Ред.*

на мировом рынке, что происходит в колониях. Русский читатель может еще теперь в работе его «О мировом рынке и аграрном кризисе», изданной, если не ошибаюсь, в 1896 году, найти образчик глубины марксистского анализа молодого Парвуса.

Парвус первый обратил внимание на новое явление 90-х годов — на громадный рост профессиональных союзов — и сумел увидеть в этой массовой организации пролетариата, связанной с ежедневной борьбой рабочего класса, великий рычаг революционного движения. В работах Парвуса, посвященных профессиональному движению — они перепечатаны в изданной в 1906 году в Петербурге книге его «*В рядах германской социал-демократии*»,— читатель найдет образчик марксистского отношения к профессиональным союзам: связь их с экономическими переменами страны и с революционными задачами рабочего класса. Когда в 1896 году саксонская реакция, испугавшись роста рабочего движения в красной Саксонии, этом рабочем муравейнике, отняла у пролетариата избирательное право в саксонский сейм, Парвус первый в германской социал-демократии поставил на очередь вопрос *о всеобщей забастовке*. Изгнанный, как русский, из Саксонии, он переезжает в Мюнхен, где начинает издавать газетную корреспонденцию «*Из мировой политики*». Если когда-нибудь будут переизданы эти статьи Парвуса, публикуемые им в продолжение многих лет, то они дадут блестящую картину рождающегося империализма и боев революционного крыла социал-демократии с зарождающимся реформизмом. Статьи Парвуса против реформизма были глубже статей Каутского по силе анализа этих мещанских идей. Но больше еще, чем глубиной анализа, они отличаются от статей Каутского революционной энергией, размахом, революционными перспективами. Это не статьи начетчика, сравнивающего учение с учением, а статьи смотрящего далеко революционера, ищущего за идеями движущие их социальные силы! Парвус видел в реформизме, как он выражался в одной из своих статей, *национал-либеральную рабочую политику*, то есть полное предательство революционного рабочего класса из-за крох, падающих со стола буржуазии.

Когда создавалась «Искра», ее издатели пригласили Парвуса к сотрудничеству. Статьи его по мировой политике, по русским финансам — они перепечатаны в книге «*Россия и революция*», появившейся в 1906 году в Петербурге,— украшали этот боевой орган русской социал-демократии, принадлежавший к лучшему, что знала мировая публицистика пролетариата.

Когда начался раскол русской социал-демократии, Парвус стал на сторону меньшевиков. Как это случилось, об этом поговорить стоит для того, чтобы вдуматься в причины, почему многие революционные марксисты этого времени не могли понять революционного смысла организационной теории Ленина. Парвус не знал

русского рабочего движения из практики. Он эмигрировал раньше, чем оно началось как массовое движение. Организационная теория Ленина была выкована на наковальне молодого русского пролетариата, выступившего стихийно на борьбу с капиталом и царизмом. Ленин, объединявший в себе глубочайшее марксистское образование с громадным практически-политическим смыслом, обобщил эти потребности и создал науку о железной централизованной партии, каковая была нужна русскому пролетариату для того, чтобы сбросить гнет царизма и приготовиться к борьбе за коммунизм. Ленин, выросший не только в потоке рождавшегося русского рабочего движения, но и среди русской революционной интеллигенции, видел наглядно, что эта интеллигенция, читающая и пропагандирующая марксизм, является в большинстве своем мелкобуржуазным осколком буржуазии и что марксизм она принимает как идеологию, объясняющую необходимость перехода России к капитализму, а не как науку о борьбе с капитализмом. Партийная организация была для Ленина не только железным корсетом, объединяющим передовиков рабочего класса, но и стеною, которая должна была его отделить от колеблющейся по нутру своему либеральной интеллигенции, идущей в данный момент под знаменем марксизма.

Парвус, выросший политически в рядах германской социал-демократии, с ее широкой организацией, принимающей всякого и всех, видел в демократически построенной организации единственную возможную форму организации, позволяющей пролетариату осознать самого себя. Он, как многие другие, *не понял различия организационных форм мобилизации пролетариата в стране с демократическими свободами и в стране господства царизма*, где вообще все разговоры об «европеизации» рабочего движения кончались ничем, открывая только путь мелкобуржуазной интеллигенции к руководству пролетариатом.

Но когда начали выкристаллизовываться различия между меньшевиками и большевиками в области политики, Парвус шарахнулся от меньшевиков. В то время когда они из своей оценки движущих сил революции в России метили к союзу с либеральной буржуазией, ему политический опыт западноевропейского рабочего движения не позволял верить в революционную роль буржуазии в такой стране, как Россия, где капитализм уже подвинулся очень далеко и создал молодой, бурный революционный пролетариат. Но снова Парвус не сумел посмотреть на Россию *без европейских очков*. В Западной Европе мужик играл роль консервативную. Самостоятельной политики мужик на Западе не вел. Поэтому Парвус недооценивал революционных возможностей крестьянского движения в России. Это непонимание революционной роли русского крестьянства объясняет лозунг Парвуса: «Долой царя, а правительство — рабочее» (он

является автором этого лозунга) и концепцию «перманентной революции». Видя надвигающуюся в России рабочую революцию и не видя в крестьянстве ее союзника, он спасался от меньшевистских выводов, от искания коалиции с буржуазией прыжком в воздух: приисканием в скором будущем в короткий срок союзника для русского пролетариата в революции западноевропейского пролетариата, в котором тогда революционные тенденции были еще очень слабы. Таким образом, его теория базировалась на недооценке собственных сил русской революции и на переоценке темпа развития революции на Западе. Ленин, который в это время очень высоко ценил Парвуса, был вполне прав, отклоняя решительно его теорию.

В 1905 году Парвус отправился нелегально в Россию и был после ареста Хрусталева-Носаря председателем Петроградского Совета [1]. Арестованный на этом посту и сосланный, он бежал из ссылки и вернулся в конце 1907 года в Германию. Вернувшись, он написал свою блестящую книгу *«Колониальная политика»*, которая принадлежит к лучшим работам марксизма, посвященным империализму. Эта книга была апогеем Парвуса как революционера.

С этой книги, после которой он издал еще работу о банках и социализме [2] (значительно слабее) и ряд прекрасных брошюр о революционном социализме, начинается падение Парвуса. Причины этого падения были заложены в личных качествах этого незаурядного человека. Этот страстный тип эпохи Ренессанса не мог вместиться в рамках спокойной германской социал-демократии, в той социал-демократии, в которой после падения волны русской революции, революционные тенденции пошли на убыль. Ему нужно было или крупное дело, или... новые ощущения.

Парвус бежал от вырождающейся германской социал-демократии в Константинополь, где только что победоносно кончилась молодая турецкая революция [3]. Изучение империализма привело его к убеждению, что новый крупный толчок для рабочего движения придет с Востока. Еще в Германии он дал блестящий очерк движущих сил *китайской* революции [4]. Из Константинополя он начал писать замечательные характеристики *турецкого освободительного движения*. Но атмосфера Константинополя погубила его.

Он сблизился с турецкими кругами и начал печатать в правительственном органе «Молодая Турция» прекрасные боевые статьи против всех проделок финансового капитала в Турции. Его первая статья начиналась очень характерно: «Пишущий эти слова — революционный марксист».

Эти его статьи обратили на него внимание финансовых кругов. Они пытались купить этого глубокого знатока финансовых вопросов, который мог сделаться им опасным. Мы не имеем никаких данных утверждать, что Парвус продался им тогда, но он вошел во всякие сношения с русскими и армянскими дельцами в Константинополе,

которым служил советом, зарабатывая на этом крупные деньги. Имея всегда тягу к широкой жизни, он начал теперь жить, разбрасывая деньги направо и налево. В начале войны он заработал первые миллионы на поставках хлеба в Константинополь.

Не подлежит ни малейшему сомнению, что это выбило его из колеи и повлияло на идейную позицию, занятую им в великом кризисе социализма. Но и в его идеологии были налицо элементы, которые толкали его к социал-патриотизму. Неверие в самостоятельные силы русской революции толкнуло его к мысли, что неважно, кто разобьет царизм: пусть это сделает Гинденбург. Русские рабочие используют поражение царизма. А что сделают германские рабочие перед лицом победоносного германского империализма? На этот вопрос Парвус отвечал: война настолько ухудшит положение германских рабочих, что они поднимутся и справятся со своими Гинденбургами. Он не понимал только одного — что для этого нужно еще одно условие: чтобы германская социал-демократия подготовляла восстание рабочего класса, вместо того чтобы развращать его массы социал-патриотической проповедью. Не понимал, или уже не мог понимать, застряв в трясине буржуазной жизни.

Вернувшись из Константинополя в 1915 году, Парвус пытался завязать сношения с Лениным и Розой Люксембург. Получив от них обоих и от Троцкого ответ, что он предатель и что с ним не может иметь никаких политических дел революционер, Парвус покатился безудержно по наклонной плоскости. Журнал «Колокол», который он начал издавать, начал с критики оппортунистического прошлого социал-демократии, дабы кончить в той же самой статье проповедью поддержки войны.

Во время войны Парвус был одним из главных советников Центрального Комитета германской социал-демократии. Одновременно он занимался громадными коммерческими делами, на которых заработал большое состояние. Был еще один момент в его жизни, когда он думал, что спасется из грязного болота, в котором тонул. Когда пришли известия об Октябрьской революции, он приехал от имени Центрального Комитета германской социал-демократии в Стокгольм и обратился к заграничному представительству большевиков, предлагая от имени пославших его, в случае отказа германского правительства заключить мир, организовать всеобщую забастовку. В личном разговоре он просил, чтобы после заключения мира ему было разрешено Советским правительством приехать в Петроград; он готов предстать перед судом русских рабочих и принять приговор из их рук, он убежден, что они поймут, что он в своей политике не руководствовался никакими корыстными интересами, и позволят ему еще стать в ряды русского рабочего класса, чтобы работать для русской революции. Приехав в Петроград с известиями о положении в Германии, я передал Ильичу и просьбу Парвуса.

Ильич ее отклонил, заявив: нельзя браться за дело революции грязными руками. Как видно из брошюры Парвуса, изданной после брест-литовских переговоров, он думал, что большевики пойдут на сделку с германским империализмом и что ему, окруженному ореолом человека, который помог заключить компромиссный мир, удастся еще сыграть крупную роль в русской революции. Это была уже мечта политического банкрота.

В последние годы жизни Парвус не принимал участия даже в социал-демократическом движении и был занят полностью своими коммерческими делами; его политическая роль состояла во влиянии на Эберта. Он расходовал значительные деньги на ряд социал-демократических издательств, но сам в них участия не принимал; политически он совершенно опустился. Он сказал несколько лет тому назад: «Я Мидас наоборот: золото, к которому я прикасаюсь, делается навозом».

Конец Парвуса как спекулянта является как бы глубоким символом вырождения II Интернационала. Вся политика II Интернационала, начавшего с революционных решений — праздника 1 Мая — и кончившего поддержкой замаранного кровью и грязью капитализма, нашла выражение в лице этого человека, начавшего как великий революционный писатель и кончившего в болоте спекуляции и в роли советника Эберта — президента кровавой капиталистической республики, республики дельцов, республики без республиканцев, республики, гноящей в тюрьмах лучших сынов рабочего класса.

Октябрь, 1924 г.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ ПЛЕХАНОВА

Товарищи! Мы живем в такую эпоху, когда отдельная человеческая жизнь кажется ничем или почти ничем в колоссальном водовороте событий. Во время войны гибли и умирали миллионы, и сотни тысяч погибли во время революции. В таком движении и в такой борьбе человеческих масс отдельная личность незаметна. Тем не менее и в эпоху величайших массовых событий бывают отдельные смерти, которые не позволяют пройти мимо них молча, не отметив их. Такова смерть Г. В. Плеханова.

В этом большом собрании, наполненном сверху донизу, нет ни одного человека, который бы не знал имени Плеханова.

Плеханов принадлежал к тому поколению русской революции и к той поре ее развития, когда на революционную борьбу выступали только небольшие отряды интеллигенции. Плеханов прошел через Землю и Волю [1], через Черный Передел [2] и в 1883 году вместе со

своими ближайшими сотрудниками, Верой Засулич и Павлом Аксельродом, он организовал группу «Освобождение труда», которая стала первой ячейкой русского марксизма, на первых порах только идейной. Если нет здесь ни одного товарища, который не знал бы имени Плеханова, то среди нас, марксистов старшего поколения, нет ни одного, который не учился бы на работах Плеханова.

Именно он доказывал за 34 года до Октября, что русская революция может восторжествовать лишь в виде революционного движения рабочих. Он стремился положить факт классового движения пролетариата в основу революционной борьбы первых интеллигентских кружков. Этому мы учились у него, и в этом основа не только деятельности Плеханова, но и всей нашей революционной борьбы. Этому мы остаемся верны и до сегодняшнего дня. В дальнейшем развитии революции Плеханов отошел от того класса, которому он так превосходно служил в тягчайшую эпоху реакции. Нет и не может быть большей трагедии для политического деятеля, который неустанно доказывал в течение десятилетий, что русская революция может развиваться и прийти к победе лишь как революция рабочего класса,— не может быть большей трагедии для такого деятеля, как отказаться от участия в движении рабочего класса в самый ответственный исторический период, в эпоху победоносной революции. В таком трагическом положении оказался Плеханов. Он не щадил ударов против Советской власти, против пролетарского режима и против той партии коммунистов, к которой я принадлежу, как и многие из вас, и, разумеется, мы отвечали ударами на его удары. И перед раскрытой могилой Плеханова мы остаемся верны своему знамени, не делаем никаких уступок Плеханову соглашателю и националисту, не берем назад ни одного из ударов, которые наносили, не требуя и от противников, чтобы они щадили нас. Но в то же время сейчас, когда в наше сознание остро вошел тот факт, что Плеханова больше нет среди живых, мы ощущаем в себе наряду с непримиримой революционной враждой ко всем тем, кто стоит поперек пути рабочего класса, достаточно идейной широты, чтобы вспомнить сейчас Плеханова не таким, против которого мы боролись со всей решительностью, а таким, у которого мы учились азбуке революционного марксизма. В железный инвентарь рабочего класса Плеханов включил не один отточенный им меч и не одно копье, которое беспощадно разит. В борьбе с нашими классовыми врагами и с их сознательными и бессознательными прислужниками, как и в борьбе с самим Плехановым в последний период его жизни, мы пользовались и будем пользоваться и впредь лучшей частью духовного наследства, которое нам оставил Плеханов. Он умер, но идеи, которые он выковывал в лучшую пору своей жизни, бессмертны, как бессмертна пролетарская революция. Он умер, но мы, его ученики,

живем и боремся под знаменем марксизма, под знаменем пролетарской революции. И прежде чем мы перейдем к очередным задачам нашей сегодняшней борьбы с гнетом и эксплуатацией, с ложью и клеветой, я призываю вас всех молчаливо и торжественно почтить память Плеханова вставанием.

Л. Троцкий

БЕГЛЫЕ МЫСЛИ О Г. В. ПЛЕХАНОВЕ

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова. Это был большой человек. Обидно думать, что все нынешнее молодое поколение пролетариата, примкнувшее к движению с 1914 года и позже, знает Плеханова только как покровителя Алексинских, сотрудника Авксентьевых, почти единомышленника пресловутой Брешковской *, то есть Плеханова эпохи «патриотического» упадка. Это был большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской общественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь. А это заслуга огромной важности. Нужно было победить революционно-самобытнические предрассудки русской интеллигенции, в которых находило свое выражение высокомерие отсталости. Плеханов «национализировал» марксистскую теорию и тем самым денационализировал русскую революционную мысль. Через Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности и перспективы, найдя для них опору в объективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовались величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мысли. С этими качествами Плеханов соединял еще блеск изложения и талант шутки. Первый русский крестоносец марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! Некоторые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества Михайловскому, имели смертельный характер. Для того чтобы оценить силу плехановской мысли, нужно иметь представление о плотности той

* Брешко Брешковская Е. К.— *Ред.*

атмосферы народнических, субъективистских, идеалистических предрассудков, которая царила в радикальских кружках России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собою самое революционное, что выдвинула из себя Россия второй половины XIX века.

Духовное развитие нынешней передовой рабочей молодежи идет (к счастью!) совсем другими путями. Величайший в истории социальный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэль Бельтова — Михайловского *. Вот почему форма лучших, то есть как раз наиболее ярко полемических, произведений Плеханова устарела, как устарела форма энгельсовского «Анти-Дюринга». Взгляды Плеханова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе, чем те взгляды, которые Плеханов разбивает. Поэтому молодому читателю приходится тратить гораздо больше внимания и воображения на то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и субъективистов, чем на то, чтобы понять силу и меткость плехановских ударов. Вот почему книги Плеханова не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, который имеет возможность правильно работать над расширением и углублением своего миросозерцания, непременно будет обращаться к первому истоку марксистской мысли в России — к Плеханову. Для этого придется каждый раз ретроспективно вработаться в идейную атмосферу русского радикальства 60—90-х годов. Задача нелегкая. Зато и наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, косностью и глупостью.

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский — Герцен — Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклониться в сторону и развлечь читателя по пути шуткой, цитатой — и еще одной шуткой... Для нашего «советского» времени, которое режет слишком длинные слова на части и потом прессует их осколки вместе, плехановская манера кажется устарелой. Но она отражает целую эпоху и в своем роде остается превосходной. Французская школа наложила на нее свою выгодную печать в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения.

В качестве оратора Плеханов отличался теми же свойствами, как и писатель, к выгоде и к невыгоде своей. Когда вы читаете книги Жореса, даже его исторические труды, вы чувствуете записанную ораторскую речь. У Плеханова — наоборот. В его речах вы слышали

---

* Под псевдонимом *Бельтова* Плеханову удалось в 1895 г. провести через царскую цензуру самый свой победоносный и блестящий памфлет «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».— *Прим. авт.*

говорящего писателя. Ораторское писательство, как и писательское ораторство, может дать очень высокие образцы. Но все-таки писательство и ораторство — две разные стихии и два разных искусства. Оттого книги Жореса утомляют своей ораторской напряженностью. И по той же причине Плеханов-оратор производил нередко двойственное и потому расхолаживающее впечатление искусного чтеца своей собственной статьи.

Выше всего он был на теоретических диспутах, в которых так неутомимо купались целые поколения русской революционной интеллигенции. Здесь самая материя спора сближает писательство и ораторство. Слабее всего он бывал в речах чисто политического характера, то есть в таких, которые имеют своей задачей связать слушателей единством действенного вывода, слить воедино их волю. Плеханов говорил как наблюдатель, как критик, как публицист, но не как вождь. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее. Его слабые стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга: он был предтечей, первым крестоносцем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только «История русской общественной мысли»; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный: соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода успели, по крайней мере частично, подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в безысходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директивы вне теории классовой борьбы — то в национальном интересе, то в отвлеченных этических принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее критерием политики («оборонительная война — справедливая война»). Во введении к своей «Истории русской общественной мысли» он ограничивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для международных отношений национальной солидарностью *. Это уже не по Марксу, а по... Зомбарту. Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще, нормативной философии в особенности, против школы Брентано и ее марксистско-подобного фальсификатора

---

* «Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений»//*Плеханов Г. В.* История русской общественной мысли. М., 1919. С. 11.

9 Заказ № 1206

Зомбарта,— только тот и может оценить глубину теоретического падения, совершенного Плехановым под тяжестью национально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено. Повторяем, несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга: он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Прожив несколько десятков лет в Швейцарии, он оставался русским эмигрантом. Оппортунистический, муниципальный и кантональный швейцарский социализм, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти не интересовал. Русской партии не было. Ее заменяла для Плеханова группа «Освобождение труда», то есть тесный кружок единомышленников (Плеханов, Аксельрод, Засулич и Дейч, находившийся на каторге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей позиции, чем более ему не хватало политических корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения он оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие политические проявления крохоборства, малодушия, соглашательства социалистических партий; но всегда был на страже по части теоретических ересей социалистической литературы.

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался неподготовленным, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу, обывательского глазомера, чувствовал себя неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определенных ответов, отделываясь алгебраическими формулами или остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидел Плеханова в конце 1902 года, то есть в тот период, когда он заканчивал свою превосходную теоретическую кампанию против народничества и против ревизионизма и оказался лицом к лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. Другими словами, для Плеханова начиналась эпоха упадка. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе и во всей славе его: это было в программной комиссии II съезда партии (в июле 1903 года, в Лондоне). Представители группы «Рабочего дела» [1] Мартынов и Акимов, представители Бунда [2] Либер и другие, кое-кто из провинциальных делегатов пытались внести поправки, в большинстве неправильные теоретически и малопродуманные, к проекту программы партии, выработанному, главным образом, Плехановым. В комиссионных прениях Плеханов

был неподражаем и... беспощаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросику он без всякого усилия мобилизовал свою выдающуюся эрудицию и заставлял слушателей и самих оппонентов убеждаться в том, что вопрос только начинается там, где авторы поправки думали закончить его. С ясной, научно отшлифованной концепцией программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своей силе, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими и тоже веселыми усами, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Отблеск его вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том же съезде Плеханов был несравненно слабее, иногда казался прямо-таки беспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, которые любовались им в программной секции.

Еще на Цюрихском международном конгрессе 1893 года [3] Плеханов заявил, что революционное движение в России победит как рабочее движение или не победит вовсе. Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить, в России нет и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная пролетариатом, не может закончиться иначе как переходом власти в руки пролетариата. От этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от своих старых теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсюда его политическая беспомощность, его шатание, завершившиеся его тяжким патриотическим грехопадением.

В эпоху войны, как и в эпоху революции, для верных учеников Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу.

* * *

Сторонники и почитатели Плеханова эпохи упадка, нередко неожиданные и без исключения малоценные, после смерти его собрали все наиболее ошибочное, что им было сказано, в отдельном издании. Этим они только помогли отделить мнимого Плеханова от действительного. Большой Плеханов, настоящий, целиком и безраздельно принадлежит нам. Наша обязанность восстановить для молодого поколения духовную фигуру Плеханова во весь рост. Настоящие беглые строки не являются, разумеется, даже подходом к этой задаче. А ее надо разрешить, и она очень благодарна. Пора, пора написать о Плеханове хорошую книгу.

25 апреля 1922 г.

А. Луначарский

ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ

Несколько встреч с Георгием Валентиновичем Плехановым

Личных воспоминаний о Георгии Валентиновиче у меня немного. Я встречался с ним не часто. Встречи эти, правда, не лишены были некоторого значения, и я охотно поделюсь моими воспоминаниями.

В 1893 году я уехал из России в Цюрих, так как мне казалось, что только за границей я смогу приобрести знания необходимого для меня объема и характера. Мои друзья Линдфорс дали мне рекомендательное письмо к Павлу Борисовичу Аксельроду.

Сам Аксельрод и его семья приняли меня с очаровательным гостеприимством. Я был уже к этому времени более или менее сознательным марксистом и считал себя членом социал-демократической партии (мне было 18 лет, и работать как агитатор и пропагандист я начал еще за два года до отъезда за границу). Все же я чрезвычайно многим обязан Аксельроду в моем социалистическом образовании, и, как ни далеко мы потом разошлись с ним, я с благодарностью числю его среди наиболее повлиявших на меня моих учителей. Аксельрод в то время был преисполнен благоговения и изумления перед Плехановым и говорил о нем с обожанием. Это обожание, присоединяясь к тем блестящим впечатлениям, которые я сам имел о «Наших разногласиях» и некоторых статьях Плеханова, преисполняло меня каким-то тревожным, почти жутким ожиданием встречи с человеком, которого я без большой ошибки считал великим.

Наконец Плеханов приехал из Женевы в Цюрих [1]. Поводом был большой конфликт между польскими социалистами по национальному вопросу [2]. Во главе национально окрашенных социалистов в Цюрихе стоял Иодко. Во главе будущих наших товарищей стояла уже тогда блестящая студентка Цюрихского университета Роза Люксембург. Плеханов должен был высказаться по поводу конфликта. Поезд каким-то образом запоздал, и поэтому первое появление Плеханова обставилось для меня самой судьбой несколько театрально. Уже началось собрание, Иодко уже с полчаса с несколько скучным эмфазом (пафосом.— *Ред.*), защищал свою точку зрения, когда в зал союза немецких рабочих «Eintracht» вошел Плеханов.

Ведь это было 28 лет тому назад! Плеханову было, вероятно, лет тридцать с небольшим. Это был скорее худой, стройный мужчина в безукоризненном сюртуке, с красивым лицом, которому особую прелесть придавали необычайно блестящие глаза и чрезвычайно большие своеобразные густые косматые брови. Позднее, на Штутгартском съезде одна газета говорила о Плеханове: Eine Aristokratishe Erscheinung *. И действительно, в самой наружности Плеханова, в его произношении, голосе и во всей его конструкции было что-то коренным образом барское,— с ног до головы барин. Это, разумеется, могло бы раздражить пролетарские инстинкты, но, если принять во внимание, что этот барин был крайним революционером, другом и пионером рабочего движения, то, наоборот, аристократичность Плеханова казалась трогательной и импонирующей: «Вот какие люди с нами».

Я здесь не хочу заниматься характеристикой Плеханова,— это другая задача,— но отмечу мимоходом, что в самой внешности Плеханова и в его манерах было что-то такое что невольно меня, тогда еще молодого, заставило подумать: должно быть, и Герцен был такой.

Плеханов сел за стол Аксельрода, где и я сидел, но мы обменялись только несколькими фразами.

Что касается самого выступления Плеханова, то оно меня несколько разочаровало, может быть после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи Розы. Когда прекратились громкие аплодисменты в ответ на ее речь, старик Грейлих, уже тогда седой, уже тогда похожий на Авраама[3] (а между тем я и 25 лет после видел его таким же почти энергичным, хотя, увы, вместе с Плехановым уже не принадлежавшим к нашей передовой колонне социализма), так вот Грейлих взошел на кафедру и сказал каким-то особенно торжественным тоном: «Сейчас будет говорить товарищ Плеханов. Говорить он будет по-французски. Речь его будет переведена, но вы, друзья мои, все-таки старайтесь сохранить безусловную тишину и следите со вниманием за его речью».

И это призывавшее к благоговейному молчанию выступление председателя, и огромные овации, которыми встретили Георгия Валентиновича — все это взволновало меня до слез и я, юноша,— так что простительно было,— был необычайно горд великим соотечественником. Но, повторяю, сама речь его меня несколько разочаровала.

Плеханов хотел по политическим соображениям занять промежуточную позицию. Ему, очевидно, неловко было, как русскому высказаться против польского национального душка, хотя

* — аристократическая внешность (*нем.*) — *Ред.*

вместе с тем он был целиком теоретически на стороне Люксембург. Во всяком случае, он с большой честью и с большим изяществом вышел из своей трудной задачи, сыгравши роль многоопытного примирителя.

Георгий Валентинович остался тогда на несколько дней в Цюрихе, и я, конечно, рискуя даже быть неделикатным, просиживал целые дни у Аксельрода, ловя всякую возможность поговорить с ним.

Возможностей представлялось много. Плеханов разговаривать любил. Я был мальчишка начитанный, неглупый и весьма задорный. Несмотря на свое благоговение перед Плехановым, я петушился и, так сказать, лез в драку, особенно по разным философским вопросам. Плеханову это нравилось, иногда он шутил со мной, как большая собака со щенком, каким-нибудь неожиданным ударом лапы валил меня на спину, иногда сердился, а иногда весьма серьезно разъяснял.

Плеханов был совершенно несравнимым собеседником по блеску остроумия, по богатству знаний, по легкости, с которой он мог мобилизовать для любой беседы огромное количество духовных сил. Немцы говорят: Geistreich — богатый духом. Вот именно таким и был Плеханов.

Должен, впрочем, сказать, что мою веру в громадное значение левого реализма, то есть эмпириокритики Авенариуса Плеханов не поколебал, ибо и трудно было ему ее критиковать, так как он не дал себе труда познакомиться с философией Авенариуса. Шутливо иногда говорил мне: «Давайте лучше поговорим о Канте, если вы уж хотите непременно барахтаться в теории познания,— этот, по крайней мере, был мужчина». Может быть, Плеханов и мог бы нанести сокрушительный удар, он часто попадал вправо и влево, как он сам любил говорить,— мимо Сидора в стену».

Зато неизмеримо огромное влияние на меня имели эти беседы, поскольку они в конце концов свернули на великих идеалистов Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Я, конечно, уже тогда превосходно знал, какое огромное значение имеет Гегель в истории социализма и насколько невозможно правильное историческое понимание марксистской философии и истории без хорошего знакомства с Гегелем.

Позднее Плеханов укорял меня в одном из наших публичных диспутов за то, что я не проштудировал, как следует, Гегеля. Отчасти благодаря Плеханову я все-таки это довольно тщательно проделал, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим долгом, как человек, готовившийся стать теоретиком социализма. Другое дело Фихте и Шеллинг. Мне казалось за глаза достаточным знакомство с ними по истории философии, я считал,

что это уже совсем превзойденная стадия, и мало интересовался их учением. Плеханов же с неожиданным для меня восторгом отозвался о них. Ни на одну минуту не впадая, конечно, в какую-либо ересь, вроде: назад к Фихте! — что потом провозгласил Струве,— он, однако, произнес передо мной такой пламенный, глубокий и великолепный дифирамб Фихте и Шеллингу, нарисовал такие монументальные портреты их, как носителей определенных мировоззрений и мирочувствований, что я немедленно же побежал оттуда в Цюрихскую национальную библиотеку и погрузился в чтение великих идеалистов, наложивших на все мое миросозерцание, могу сказать больше, на всю мою личность огромную, неизгладимую печать.

Бесконечно жаль, что Плеханов только бегло высказывался по поводу великих идеалистов. Знал он их чрезвычайно основательно, даже до удивительности точно, и мог бы написать книгу о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга о материалистических предшественниках марксизма. Правда, я думаю, что в общем все же несколько базаровскому уму Плеханова его вечные друзья Гольбах и Гельвеций из предшественников марксизма были роднее, чем великие идеалисты. Но глубоко погрешил бы против Плеханова тот, кто подумал бы, что другой мощный корень марксизма им игнорировался.

Георгий Валентинович предложил мне переехать к нему, чтобы продолжить наши беседы; но только уже значительно позднее, может быть, даже приблизительно через год, точно не помню, я смог приехать в Женеву из Парижа. Это тоже были счастливые дни. Георгий Валентинович писал в то время свое предисловие к «Манифесту Коммунистической партии»[4] и очень интересовался искусством. Я им интересовался всегда со страстью. И поэтому в этих наших беседах вопрос зависимости надстройки от экономической базы, в особенности в терминах мира искусства, был главным предметом наших разговоров. Я встречался с ним тогда у него в кабинете на rue de Candole, а также в пивной Ландольта, где мы, меняя немало кружек пива, проводили иногда несколько часов.

Помню, какое огромное впечатление произвело на меня одно обстоятельство. Плеханов хóдил по своему кабинету и что-то мне втолковывал. Вдруг он подошел к шкафу, вынул большой альбом, положил его на стол передо мною и раскрыл. Это были чудесные гравюры Буше, крайне фривольные и, по моим тогдашним суждениям, почти порнографические. Я немедленно высказался в том смысле, что вот это-де типичный показатель распада правящего класса перед революцией.

«Да,— сказал Плеханов, смотря на меня своими блестящими глазами,— но вы посмотрите, как это превосходно, какой стиль, какая жизнь, какое изящество, какая чувственность».

Я не стану передавать дальнейшей беседы,— это значило бы написать целый маленький трактат об искусстве рококо[5]. Я могу сказать только, что важнейшие выводы Гаузенштейна были более или менее предвосхищены Плехановым, хотя не помню, чтобы он совершенно определенно сказал мне, что искусство Буше являлось, в сущности говоря, искусством буржуазным, вылившимся лишь в рамки придворного быта.

Для меня, главным образом, был удивителен эстетический дар — эта свобода суждений в области искусства. У Плеханова был огромный вкус, как мне кажется, безошибочный. О произведениях искусства, ему не нравившихся, он умел высказываться в двух словах с совершенно убийственной иронией, которая обезоруживала, выбивая у вас шпагу из рук, если вы с ним были не согласны. О произведениях искусства, которые он любил, Плеханов говорил с такой меткостью, а иногда с таким волнением, что отсюда понятно, почему Плеханов имел такие огромные заслуги в области именно истории искусства. Его сравнительно небольшие этюды, обнимающие не так много эпох, стали краеугольными камнями в дальнейшей работе в этом направлении.

Никогда ни из одной книги, ни из одного посещения музея не выносил я так много действительно питающего и определяющего, как из тогдашних моих бесед с Георгием Валентиновичем.

К сожалению, остальные наши встречи происходили уже при менее благоприятных условиях и на политической почве, где мы встречались более или менее противниками.

В следующий раз встретился я с Плехановым только на Штутгартском конгрессе. Наша большевистская делегация поручила мне официальное представительство в одной из важнейших комиссий Штутгартского конгресса, именно в комиссии по определению взаимоотношения партии и профсоюзов. Плеханов представлял там меньшевиков. Сначала у нас произошел диспут в пределах нашей собственной русской делегации. Большинство голосов оказалось за нашу точку зрения, колеблющиеся к нам присоединились. Дело шло, конечно, не о какой-либо моей личной победе над Плехановым. Плеханов с огромным блеском защищал свою тезу, но сама теза никуда не годилась. Плеханов настаивал на том, что близкий союз партии и профсоюзов может быть пагубным для партии, что задача профсоюзов в улучшении положения рабочих в недрах капиталистического строя, а задача партии — разрушение его. В общем, он стоял за независимость. Во главе противоположного направления стоял бельгиец де Брукер. Де Брукер в то время был очень левый и очень симпатично мыслящий социалист, позднее он сильно свихнулся. Де Брукер стоял на точке зрения необходимости пронизать профессиональное движение социалистическим сознанием неразрывного единства рабочего класса, руководящей роли пар-

тии и т. д. В тогдашней атмосфере горячего обсуждения вопроса о всеобщей стачке как орудия борьбы все были склонны пересмотреть свои прежние взгляды; все считали, что парламентаризм становится все более недостаточным оружием, что партия без профсоюзов революции не совершит и что на другой день после революции профессиональные союзы должны сыграть капитальную роль в устройстве нового мира и т. д. Поэтому позиция Плеханова, общим интернациональным представителем которой был Гед, была в конце концов отвергнута и комиссией конгресса, и самим конгрессом.

В то время в Плеханове меня поразила некоторая черта староверчества. Его ортодоксализм впервые показался мне несколько окостеневшим. Тогда же я подумал, что политика далеко не самая сильная сторона в Плеханове. Впрочем, об этом можно было догадаться по его странным метаниям между обеими большими фракциями нашей партии.

Дальше следует встреча на Стокгольмском съезде. Тут только что упомянутая черта политики Плеханова проявилась со всей яркостью. Плеханов отнюдь не был уверенным меньшевиком на этом съезде,— он и здесь хотел сыграть отчасти примиряющую роль, стоял за единство (ведь это был объединительный съезд), утверждал, что в случае дальнейшего роста революции меньшевики не найдут нигде союзников, как только в рядах большевиков, и т. д. Вместе с тем его пугала определенность позиции большевизма. Ему казалось, что большевизм неортодоксален. В самом деле, главной отличительной чертой между фракциями в то время была политика по отношению к крестьянству.

Схема революции перед меньшевиками была такова: в России происходит буржуазная революция, которая приведет к конституционной монархии, в лучшем случае к буржуазной республике. Рабочий класс должен поддержать протагонистов этой революции — капиталистов, в то же время отвоевывая у них выгодные позиции для грядущей оппозиции, а в конце концов — и для революции. Между революцией буржуазной и революцией социалистической предполагалась пропасть времени.

Товарищ Троцкий стоял на той точке зрения, что обе революции хотя и не совпадают, но связываются между собою так, что мы имеем перед собою перманентную революцию. Войдя в революционный период через буржуазный политический переворот, русская часть человечества, а рядом с нею и мир уже не сможет выйти из этого периода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что, формулируя эти взгляды, товарищ Троцкий высказал большую проницательность, хотя и ошибся на пятнадцать лет. Между прочим, я должен сказать, что в одной передовой статье в «Новой жизни» я тоже высказался в смысле возможности

захвата власти пролетариатом и сохранения тем не менее под его руководством быстро врастающего в социализм капитализма. Я тогда рисовал картину чрезвычайно близкую к нынешнему нэпу, но получил нагоняй от Л. Б. Красина, который нашел статью неосторожной и немарксистской.

Большевики, товарищ Ленин в первую голову, действительно были осторожны, отнюдь не говорили, что начали социальную и пролетарскую революцию, но они считали, что революцию эту надо продвинуть как можно дальше, не занимаясь теоретическими гаданиями и предсказаниями, которые вообще не в духе Владимира Ильича. Практически большевики уверенно шли по правильной дороге. Для устройства плебейской революции, революции по типу Великой французской, с возможностью продвижения дальше 93-го года,— союз с буржуазией никуда не годился, поэтому наша тактика была разрыв с буржуазией. Но мы отнюдь не хотели изолировать пролетариат. Мы указывали ему на огромную задачу — организацию вокруг него крестьянства, в первую очередь крестьянской бедноты. Плеханов этого понять не мог. Обращаясь к Ленину, он говорил ему: «В новизне твоей мне старина слышится!» Какая старина? Эсеровская. Плеханову казалось, что сближение наше с крестьянством заставит нас пойти вместе с эсерами и потерять нашу типичную пролетарскую физиономию.

Не нужно с совершенным легкомыслием относиться к этому непониманию Плеханова, с легкомыслием, которое сводило бы это все к узости и заскорузлости плехановской сверхортодоксальности. Разве в нашу великую революцию мы не вынуждены были одно время включить в правительство эсеров, хотя бы то и левых, разве это было вполне безопасно? Разве мы не радуемся сейчас, что своей мальчишеской политикой левые эсеры произвели сами отсечение от правительства? Эти опасения на счет омужичения Советской власти, которым предаются иногда товарищи Шляпников, Коллонтай и другие, неосновательны, но почва, их питающая, каждому ясна. Сейчас даже нельзя с полной уверенностью сказать, как пройдет равнодействующая рабоче-крестьянского правительства, хотя все говорит за правильность предсказания товарища Ленина на партийном съезде[6], что огромный груз крестьянства, который мы после смычки вынуждены будем нести за собою, замедлит наше движение, но, «тяжкой твердостью своею его стремление крепя», не заставит его уклониться от прямого направления на коммунизм.

Но все это выяснилось позднее. В то время было ясно одно: рабоче-крестьянская революция есть пролетарская революция, буржуазно-рабочая революция есть измена рабочему классу. Для нас это было ясно, но не для Плеханова. Я помню, что во время очень кусательной речи Плеханова сидевший рядом со мною

Алексинский, тогда крайний большевик, чуть не бросился на него с кулаками, вовремя, однако подхваченный за фалду отнюдь, впрочем, не безтемпераментным товарищем Седым*.

Увы! Печальным союзом Алексинского с Плехановым все это должно было позднее кончиться.

Я возражал Плеханову на Стокгольмском съезде. Мое возражение сводилось, главным образом, к противопоставлению его взгляду взгляда другого ортодокса — Каутского. Это было легко, ибо в то время Каутский в брошюре «Движущая сила русской революции»[7] высказался в нашем духе. Но Плеханов особенно рассердился на то, что на его упрек в бланкизме я сказал, что он имеет о практике активной подготовки и активного руководства революцией представление, почерпнутое, по-видимому, из оперетки «Дочь мадам Анго». В последней реплике по этому поводу Плеханов говорил всяческие сердитые слова.

Опять прошло несколько лет, и мы встретились на Копенгагенском международном конгрессе[8], уже после того, как надежды на первую русскую революцию были потеряны. На Копенгагенском конгрессе я присутствовал в качестве представителя группы «Вперед» с совещательным голосом, но практически я совершенно сошелся с большевиками и, так сказать, принят был в их среду и даже уполномочен ими представлять их опять-таки в одной из важнейших комиссий: по кооперативам. Здесь произошло то же самое. Плеханов стоял за строжайшее разграничение партии от кооперативов, главным образом боясь прилипчивости лавочного кооперативного духа.

Надо сказать, что Плеханов на Копенгагенском съезде стоял гораздо ближе к большевикам, чем к меньшевикам. Насколько я помню, Владимир Ильич не слишком тогда интересовался вопросами о кооперативах, но все же в русской делегации был заслушан мой доклад и возражения Плеханова. Разногласия были приблизительно параллельны тем, которые были между нами в Штутгарте по поводу профсоюзов. В этот раз, однако, Плеханов мало работал по соответственному вопросу, так что спорить с ним особенно не приходилось.

Зато у нас установились почему-то очень хорошие взаимные личные отношения. Он несколько раз приглашал меня к себе; мы оба вместе уезжали с заседаний домой, и он с удовольствием делился со мною впечатлениями, я сказал бы, главным образом, беллетристического характера, о конференции. Плеханов к этому времени уже очень постарел и был болен, болен весьма серьезно, так что мы все за него боялись. Это не мешало тому, чтобы он был по-прежнему блестяще остер, давал чудесные характери-

* Литвин-Седой З. Я.— *Ред.*

стики направо и налево, причем заметно было и сильное пристрастие. Любил он, главным образом, старую гвардию. Особенно тепло и картинно говорил он о Геде, о тогда уже покойном Лафарге. Заговаривал я с ним и о Ленине. Но тут Плеханов отмалчивался, и на мои восторги отвечал не то чтобы уклончиво, скорей даже сочувственно, но неопределенно. Помню я, как во время одной из речей Вандервельде Плеханов сказал мне: «Ну разве не протодиакон?» И это словечко так в меня запало, что для меня и до сих пор великолепные протодиаконские возглашения и ораторский жар знаменитого бельгийца сливаются воедино. Помню также, как во время речи Бебеля Плеханов поразил меня скульптурной меткостью своего замечания: «Поглядите на старика, совершенно голова Демосфена». В моей памяти выросла сейчас же известная античная статуя Демосфена, и сходство показалось мне действительно разительным.

После Копенгагенского съезда мне пришлось делать доклад о нем в Женеве, и при этом Плеханов был моим оппонентом. Еще несколько раз устраивались дискуссии, иногда философского характера (по поводу, например, доклада Деборина), и на них мы с Плехановым встречались. Я ужасно любил дискутировать с Плехановым, признавая всю огромную трудность таких дискуссий, но давать здесь какой бы то ни было отчет об этом не решаюсь, так как может быть могу быть односторонним.

После отпадения Плеханова от революции, то есть уклонения его в социал-патриотизм, я с ним ни разу не встречался.

Повторяю, здесь дело идет не о характеристике Плеханова как человека, мыслителя или политика, а о некотором взносе в литературу о нем из запасов моих личных воспоминаний. Быть может, они окрашены несколько субъективно, иначе человек писать не может. Пусть с этой субъективной окраской и примет их читатель. Такую большую фигуру объективно вообще не в силах охватить один человек. Из ряда суждений выяснится в конце концов этот монументальный образ. Но одно могу сказать, часто мы сталкивались с Плехановым враждебно, его печатные отзывы обо мне в большинстве случаев были отрицательными и злыми, и, несмотря на это, у меня сохранилось о Плеханове необычайно сверкающее воспоминание, просто приятно бывает подумать об этих полных блеска глазах, об этой изумительной находчивости, об этом величии духа, или, как выражается Ленин, физической силе мозга, об аристократическом челе великого демократа. Даже самые огромные разногласия в конце концов, приобретя исторический интерес, скинутся в значительной мере с чаши весов; блестящие же стороны личности Плеханова останутся навеки.

В русской литературе Плеханов стоит в самом близком соседстве с Герценом в истории социализма в том созвездии (Каутский,

Лафарг, Гед, Бебель, старый Либкнехт), которое лучисто окружает два основных светила, полубогов Плеханова, о которых он, сильный, умный, острый, гордый, говорил, однако, не иначе как в тоне ученика: Маркс и Энгельс.

Л. Троцкий

МАРТОВ

Мартов, несомненно, является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, прошедший марксистскую школу, Мартов войдет тем не менее в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности недоставало воли. Цепкость не заменяла их. Это погубило его. Марксизм есть метод объективного анализа и вместе с тем предпосылка революционного *действия*. Он предполагает то равновесие мысли и воли, которое сообщает самой мысли «физическую силу» и дисциплинирует волю диалектическим соподчинением субъективного и объективного. Лишенная волевой пружины, мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть без всякой иронии назван виртуозом. Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауэр, Реннер и сам Каутский являются, однако, в сравнении с Мартовым неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о *политической* фальсификации марксизма, то есть об истолковании пассивности, приспособления, капитуляции как самых высоких форм непримиримой классовой борьбы.

Несомненно, что в Мартове заложен был революционный инстинкт. Первый его отклик на крупные события всегда обнаруживает революционное устремление. Но после каждого такого усилия его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, дробится на части и оседает назад. Это можно было наблюдать в начале столетия, при первых признаках революционного прибоя («Искра»), затем в 1905 году, далее в начале империалистической войны, отчасти еще в начале революции 1917 года. Но тщетно! Изобретательность и гибкость его мысли расходовались целиком на то, чтобы обходить основные вопросы и выискивать все новые доводы в пользу того, чего защитить нельзя. Диалектика стала у него тончайшей казуистикой. Необыкновенная, чисто кошачья цепкость — воля безволия,

упорство нерешительности — позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях. Обнаружив при решительной исторической встряске стремление занять революционную позицию и возбудив надежды, он каждый раз обманывался: грехи не пускали. И в результате он скатывался все ниже. В конце концов Мартов стал самым изощренным, самым тонким, самым неуловимым, самым проницательным политиком тупоумной, пошлой и трусливой мелкобуржуазной интеллигенции. И то, что он сам не видит и не понимает этого, показывает, как беспощадно его мозаическая проницательность посмеялась над ним. Ныне, в эпоху величайших задач и возможностей, какие когда-либо ставила и открывала история, Мартов распял себя между Лонге и Черновым. Достаточно назвать эти два имени, чтобы измерить глубину идейного и политического падения этого человека, которому дано было больше, чем многим другим.

А. Луначарский

ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ МАРТОВ (ЦЕДЕРБАУМ)

Как я уже писал, в первый раз я услышал о Мартове как об одном из неотделимых лиц троицы: Ленин, Мартов, Потресов.

Это были три русских социал-демократа, которые влили новые соки в заграничный социал-демократический генеральный штаб, которые создали и поддерживали «Искру».

Когда я приехал в Париж по пути в Женеву, где должен был войти в центральную редакцию большевиков, то я встретил там связанную со мной свойством О. Н. Черносвитову, хорошую знакомую Мартова. Она с большим восторгом отзывалась о нем как о человеке невероятно увлекательном по широте своих интересов.

«Я уверена,— говорила она мне,— что вы очень близко сойдетесь с Мартовым; он не похож на всех социал-демократов, которые все узковаты и фанатичны. Мартов обладает умом широким и гибким, и ничто человеческое ему не чуждо». Такая характеристика действительно очень расположила меня к Мартову. Однако между нами уже лежала в то время политическая рознь. Встреча моя с Мартовым была как нельзя менее удачна. Товарищи меньшевики затеяли какой-то мелкий неприятный скандал на одном из моих рефератов, кричали, волновались, старались сорвать собрание. Тут же произошло какое-то острое столкновение между Мартовым и моей женой, в которое вмешался Лядов, а потом я, и мы наговорили друг другу каких-то резкостей.

Несмотря на столь неприятное столкновение, отношения наши никогда не были очень враждебны. Во время пребывания моего в Швейцарии мы встречались редко, и вообще большевики и меньшевики жили совершенно врозь. Встречались, можно сказать, только на поле битвы, то есть на митингах и дискуссиях, но мы, конечно, постоянно слышали друг о друге. Я привык относитьс к Мартову как к симпатичному богемскому типу, по внешности чем-то вроде вечного студента, по нравам — завсегдатая кафе, небрежному ко всем условиям комфорта, книгочею, постоянному спорщику и немножко чудаку.

Это впечатление, если говорить именно о внешнем очерке натуры Мартова, оказалось совпадающим с истиной, когда я гораздо короче познакомился с ним. Как писателя и как оратора я мог более или менее полно оценить Мартова и в Швейцарии.

С внешней стороны Мартов читал свои рефераты скучно, у него слабый голос, своеобразная манера глухо отрубать, откусывать отдельные фразы, и вся его бессильная фигура с несколько свисшими с крупного носа стеклами пенсне казалась столь типично интеллигентской и теоретичной, что о зажигательном действии его как трибуна не могло быть и речи. Бывало даже так, что, когда Мартов выступал утомленным, его голос становился совсем малоразборчивым и речь делалась убийственно скучной. А между тем Мартов редко умеет говорить коротко, ему нужно так сказать, ораторски разложить локти на кафедру. Это делает подчас его выступления серыми и монотонными, несмотря на то что они никогда не бывают пусты.

Если следить за мыслью Мартова даже во время самых скучных его докладов, то и тогда можно вынести нечто обогащающее. Но у него бывают и чрезвычайно удачные моменты. Больше всего загорается он в непосредственной полемике, и поэтому Мартов сильней всего как импровизатор, во время реплик своим противникам после реферата, в последнем слове. Я знаю много мастеров слова, особенно опасных в этом последнем ответе. Едок и блестящ был Плеханов, не брезгавший при этом всеми преимуществами последнего слова, на которое уже нельзя ответить. Умеет как-то расплющивать, резюмировать и презрительно уничтожать, как мелочь, все возражения Владимир Ильич, но вряд ли кто-нибудь в этом отношении превосходит Мартова. Если Мартов имеет последнее слово, вы не можете чувствовать себя в безопасности, как бы ни были уверены в правоте вашего дела и как бы лично вы ни были хорошо вооружены.

Во-первых, Мартов всегда оживает во время последнего слова, весь переполняется иронией, поднимает до настоящего блеска вспышки своего тонкого ума, умеет расчленить все, что сказал противник, и использовать абсолютно каждый промах и каждый

мельчайший уклон. Аналитик он превосходный, и если в кольчуге вашей есть какая-нибудь дыра, то вы можете быть уверены, что мартовский кинжал без промаха ужалит вас именно сюда.

И как оратор он становится при этом бесконечно оживленней, заставляет смеяться аудиторию или вызывает в ней ропот негодования. Так же бывает с Мартовым, когда он говорит на какую-нибудь особенно волнующую его тему, что часто случалось в трагические дни нашей революции. Некоторые его речи в Петроградском Совете в меньшевистскую эпоху, на отдельных съездах меньшевиков и делегатов Совета, вообще, главным образом, речи, направлявшиеся направо, были поистине превосходны не только по своему содержанию, но и по пафосу негодования и благородному чувству революционной искренности. Я помню, как Мартов, после произнесения речи за Гримма против Церетели, вызвал даже у Троцкого громовое восклицание: «Да здравствует честный революционер Мартов!»

Когда говоришь о таких людях, как Ленин, Троцкий, Зиновьев, то не можешь не отметить бóльшую силу их как ораторов, чем как писателей, хотя все три эти вождя русской революции являются большими мастерами пера. У Мартова это, конечно, наоборот. Как оратор он имеет успех только вспышками от времени до времени, когда он в ударе, и «непосредственное исполнение» затушевывает подчас большую даровитость рисунка речи и глубину мысли. Все это выступает на первый план в статьях Мартова. Стиль Мартова как писателя чрезвычайно благороден. Он не любит уснащать свою писаную речь словечками, остротами, украшать ее всякими фигурами и образами. Отдельная страница Мартова не кажется в этом смысле яркой, потому что она не изузорена. Вместе с тем в ней нет той особенной грубоватой простоты, своеобразной вульгаризации формы без вульгаризации мысли, однако,— в которой силен подлинно народный вождь Ленин. Мартов пишет как будто несколько одноцветным языком, но нервным, подкупающе искренним, облекающим мысль как будто тонкими складками греческого хитона. Именно эта мысль во всех изящных пропорциях своего логического строения выступает на первый план. В сущности говоря, очаровывает не Мартов-писатель, а Мартов-мыслитель, и заметьте при этом, что Мартов, в сущности, не способен порождать большую мысль. Говорить о Мартове-мыслителе, скажем, сколько-нибудь рядом я уже не говорю с Марксом, но, например, с Каутским — просто невозможно.

В области революционной тактики циклопические сооружения Ленина подавляют своей величиной хитроумные постройки Мартова. Нет, дело не в крупности его лозунгов, не в широте его революционного обхвата, дело именно в необычайной тонкости его аналитического дарования, в умении работать с лупой, чеканить

свои мысли. Ум Мартова шлифующий; и его тактические или политические строения всегда имеют характер очень законченной, до полной ясности доведенной обработки избранной им темы.

Политические предпосылки Мартова, конечно, неправильны Для роли политического вождя у него не хватает темперамента, смелости и широты обхвата. Он теряется на относительных мелочах и поэтому заранее, так сказать, предоставлен к той осмотрительности и осторожности, которая переходит в робость и отравляет революционную душу, придавая ей несносный, у иных обывательский, а у других кабинетный характер. Такие черты кабинетного политика, несомненно, присущи Мартову. Скажу больше, свой несравненный политический дар и свою убедительную публицистику Мартов большей частью дает на служение не собственным мыслям. Мартов — великолепный идейный костюмер, с большим вкусом и как раз по росту кроит и шьет идейное одеяние лозунгов, которые вырабатываются за его спиной более решительными меньшевиками. Ведь и в нерешительности нужна известная решимость. У меньшевиков типичных, коренных их политическая нерешительность вытекает вовсе не из отсутствия характера личного,— лично они могут быть людьми чрезвычайно мужественными и властными,— она вытекает из классовых интересов промежуточных групп. Промежуточные группы нерешительны по самому существу своему, историческая судьба толкает их на среднюю линию между непримиримыми классами. Отсюда отсутствие какой бы то ни было героичности в их позиции. Но свои компромиссы люди эти могут проводить иногда с большой решительностью и так как в период революционный они являются последней надеждой весьма хитрого и все еще влиятельного полюса привилегированных, то и становятся, на манер Носке, порою людьми с железной рукой на службе у своих классовых полуврагов для преодоления своих левых братьев, причем собственная левизна превращается в революционную фразу, служащую ширмой для их порою прямо палаческой работы. Мартов на такую роль не способен, но все узорное шитье, столь присущее стилю Мартова, весь умонаклон его, обращенный на отдельные факты, не могущий перенести тех грубых и резких линий, которые, разрушая всякие геометрические чертежи, прокладывает революционная страсть,— делает его крайне мало приспособленным к работе в титаническом лагере подлинных революционеров.

Эти особенности натуры толкают его неудержимо — хотя он порой барахтается против этого — в лагерь оппортунистов, и тогда костюмерный талант Мартова служит к изготовлению изящных туалетов для составленных из месива произведений ума всякого рода либерданов[1].

Сколько раз Мартов, влекомый своим подлинно демократическим духом, поднимался почти до заключения союза с левой социал-демократией, но каждый раз его отталкивало от нас то, что он называет грубостью, каждый раз ему претил тот размах, в котором иные находят полное удовлетворение и наслаждение, с которым иные считаются как с чертой, коренным образом присущей стихийному великому перевороту, но который не вмещает дух Мартова.

И вновь Мартов падал в либердановское болото, и утонченный ум его опять начинал носиться над этим болотом, украшающим его блуждающим огоньком.

Во время первой революции Мартов ничем не изменил себе и полностью выявил все те черты, которые я старался сейчас обрисовать.

Я не могу сказать, чтобы он играл во время этого первого столкновения народных масс с правительством выдающуюся роль, как настоящий политический вождь, он был тем же превосходным журналистом-аналитиком, тем же спорщиком, тем же внутрипартийным тактиком.

Новая эмиграция нанесла Мартову очень тяжелый удар, быть может, никогда колебания Мартова не были так заметны и, вероятно, так мучительны. Правое крыло меньшевизма стало быстро разлагаться, уклоняясь в так называемое ликвидаторство[2]. Мартову не хотелось идти в этот мещанский развал революционного духа. Но ликвидаторы держались за Дана, Дан за Мартова, и, как обычно, тяжелый меньшевистский хвост тащил Мартова на дно. Был момент, когда он словно бы заключил союз с Лениным, побуждаемый к тому Троцким и Иннокентием, мечтавшим о создании сильного центра против крайних левых и крайних правых.

Эту линию, как известно, очень сильно поддерживал и Плеханов, но идиллия длилась недолго, правизна одержала верх у Мартова, и вновь началась та же распря между большевиками и меньшевиками.

Мартов жил в то время в Париже. Мне говорили, что он даже стал несколько опускаться, что всегда грозит эмигрантам, политика приобрела слишком мелочной характер, характер мятежной дрязги, а страсть к богеме и жизни кафе начала как будто бы грозить ему упадком его духовных сил. Однако, когда пришла война, Мартов не только встряхнулся, но и занял спервоначала весьма решительную позицию.

Нет никакого сомнения, что интернационалистское крыло во II Интернационале обязано Мартову некоторыми своими успехами. И речами, и статьями, и своим влиянием и связями Мартов сильно поддержал интернационалистов и перетянул почти всех заграничных меньшевиков (за исключением плехановцев, которые

считались до тех пор левыми, а тут сразу ринулись в антантовский империализм) в лагерь Циммервальда и Кинталя. Правда, в Циммервальде Мартов занял позицию центра и довольно определенно разошелся тут с Лениным и Зиновьевым.

Тем не менее он стал своим человеком, и вот тут вновь сказалось пагубное шатание Мартова. Я уже достаточно писал об этом и не стану здесь повторяться. Очень отчетливо понимая весь ужас социалистического оборончества, Мартов тем не менее надеялся увлечь за собой самих оборонцев и не решался порвать с ними организационные связи. Это политически погубило Мартова, погубило с морально-политической точки зрения, ибо Мартов мог бы сыграть чрезвычайно блестящую роль подлинного вождя и вдохновителя правой группы внутри Коммунистической партии, если бы в то время он направил свою волю по левой стороне водораздела.

В начале революции после приезда Троцкого в Россию, в мае—июне, Ленин мечтал о союзе с Мартовым и понимал, сколько в нем было выгоды, но колеблющийся, однако, всегда преобладающий наклон Мартова направо предрешил еще в Париже дальнейшую судьбу его: быть непризнанным ни в сех, ни в тех, и вечно прозябать в качестве более или менее кусательной, более или менее благородной, но всегда бессильной оппозиции.

Этим Мартов сам обесцветил себя и в историю войдет гораздо более бесцветным, чем мог бы по своим политическим дарованиям.

Большая близость с Мартовым создалась у меня в 1915—1916 годы в Швейцарии. Мы были близкими соседями, Мартов часто гостил у моих друзей Кристи, и в это время мы зачастую беседовали не только на политические темы, которые всегда заставляли нас ссориться, но и на темы литературные, вообще культурные. Я мог оценить здесь большой вкус Мартова и действительно значительную широту его подхода к жизни. Я должен сказать, однако, что к этому времени, по крайней мере, Мартов был уже гораздо односторонней, чем я ожидал. Большого полета любви к искусству, большой глубины в интересах философских у него не было. Он все читал, обо всем мог говорить, говорить интересно, умно и порою ново, но все это он делал как-то машинально, душа его при этом отсутствовала,— если в это время получалась газета, то он прекращал вся́кие разговоры и немедленно в нее углублялся; если даже в это время читалось вслух что-нибудь очень увлекательное, что Мартов сам хвалил и любил,— он все же заслонялся газетным листом с какой-то запойной страстью. Настоящее увлечение проявлялось у Мартова только в разговорах политических и особенно узкополитических, внутрипартийных.

Тем не менее я не могу не отметить, что в личных отношениях у Мартова проявляется много очаровательных черт. В нем есть большая симпатичность глубокоинтеллектуальной натуры, много

непосредственности и искренности, так что в целом его близостью невозможно не дорожить, и люди нейтральные в политическом отношении всегда проникаются к нему великим уважением и горячей симпатией. Политические же его союзники относятся к нему если не с таким горячим обожанием, какое внушает к себе Ленин, то, во всяком случае, с искренней любовью и своеобразным поклонением.

Еще раз скажу, взвешивая все в моей памяти: я с глубокой грустью констатирую, что этот большой человек и большой ум в силу черт, присущих, правда, самому его душевному типу, не сыграл и десятой доли той благотворной роли, которую мог бы сыграть.

Будущее? Но что загадывать о будущем. Если коммунистический строй победит и укрепится, быть может, Мартов займет роль лояльной оппозиции справа и окажется вместе с тем одним из творческих умов нового мира — этого я, конечно, от души желаю; если же до победы коммунизма предстоят еще перерывы и пробелы, то Мартов или погибнет, потому что он слишком благороден, чтобы молчать в эпоху реакции, или будет безнадежно путаться на задворках революции, как он путается в них сейчас.

О ТОВАРИЩАХ ПО ПАРТИИ













А. Луначарский

ВОЛОДАРСКИЙ

С товарищем Володарским я познакомился вскоре после приезда моего в Россию [1].

Я был выставлен кандидатом в Петербургскую городскую думу, и на выборах, если не ошибаюсь, в июне месяце был выбран гласным. На первом же собрании объединенной группы новых гласных большевиков и межрайонцев я встретил Володарского. Надо сказать, что эта объединенная группа включала в себя немало более или менее крупных фигур. Ведь к ней принадлежали и Калинин, и Иоффе, и такие товарищи из межрайонцев, как Товбина и Дербышев, входили в нее товарищи Закс, Аксельрод и многие другие. Но я не мог не отметить сразу на этом далеко не заурядном фоне фигуру Володарского.

Яков Михайлович Свердлов был, так сказать, инструктором группы и дал ей некоторые общие указания, а вслед за тем мы стали обсуждать все предстоящие нам проблемы, и в обсуждении этом сразу выдвинулся Володарский. С огромной сметливостью и живостью ума ухватывал он основные задачи нашей новой деятельности и обрисовывал, каким образом можем мы объединить реальное и повседневное обслуживание пролетарского населения Петрограда с задачами революционной агитации. Я даже не знал фамилии Володарского. Я только видел перед собою этого небольшого роста ладного человека, с выразительным орлиным профилем, ясными живыми глазами, чеканной речью, точно отражавшей такую же чеканную мысль.

В перерыве мы вместе с ним пошли в какое-то кафе, расположенное напротив Думы, где мы заседали, и продолжили нашу беседу. Я там невольно и несколько неожиданно для себя сказал: «Я ужасно рад, что вижу вас в группе; мне кажется, что вы как нельзя лучше приспособлены ко всем перипетиям той борьбы, которая предстоит нам вообще и в Думе в частности». И только тут я спросил его, как его фамилия и откуда он. «Я — Володарский,— ответил он,— по происхождению и образу жизни рабочий из Америки. Агитацией занимаюсь уже давно и приобрел некоторый политический опыт».

Володарский очень скоро отошел от думской работы. Еще до Октября он определился как одна из значительных агитаторских сил нашей партии и несмотря на лихорадочную и подчас ослепительно яркую работу таких агитаторов нашей партии, как Троцкий, Зиновьев и другие.

Но больше всего он развернулся после Октября. Тут его фигура стала в некоторой степени наиболее ярко представлявшей всю нашу партию в Петрограде. Таким положением он обязан был и своему выдающемуся агитаторскому таланту, и своей мужественной прямолинейности, и своей совершенно сверхчеловеческой трудоспособности, наконец, и тому, что поистине гигантскую агитацию он соединял с деятельностью редактора «Красной газеты» [2], создателем которой являлся.

Прежде всего постараюсь хоть несколько охарактеризовать Володарского как оратора и агитатора.

С литературной стороны речи Володарского не блестели особой оригинальностью формы, богатством метафор, которыми дарил слушателей от своего преизбытка Троцкий. Его речи с этой стороны были как бы суховаты. Они должны были бы особенно восхитить нынешних конструктивистов, если бы, впрочем, эти конструктивисты были настоящими, а не путаниками. Речь его была как машина, ничего лишнего, все прилажено одно к другому, все полно металлического блеска, все трепещет внутренними электрическими зарядами. Быть может, это — американское красноречие, но Америка, вернувшая нам немало русских, прошедших ее стальную школу, не дала все же ни одного оратора, подобного Володарскому.

Голос его был словно печатающий, какой-то плакатный, выпуклый, металлически-звенящий. Фразы текли необыкновенно ровно, с одинаковым напряжением, едва повышаясь иногда. Ритм его речей по своей четкости и ровности напоминал мне больше всего манеру декламировать Маяковского. Его согревала какая-то внутренняя революционная раскаленность. Во всей этой блестящей и как будто механической динамике чувствовался клокочущий энтузиазм и боль пролетарской души. Очарование его речей было огромное. Речи его были не длинны, необычайно понятны, как бы целое скопище лозунгов, стрел, метких и острых.

Казалось, он ковал сердца своих слушателей. Слушая его, больше чем при каком угодно другом ораторе понималось, что агитаторы в эту эпоху расцвета политической агитации, какого, может быть, мир не видел, поистине месили человеческое тесто, которое твердело под их руками и превращалось в необходимое оружие революции.

Ораторская сторона дарования Володарского была наибольшей, но эта блестящая натура не исчерпывала его. Володарский был также превосходным организатором — редактором и в своем роде

незаменимым публицистом. Его «Красная газета» сразу сделалась действительно боевой газетой, лагерной газетой революции, необычайно доступной массам, еще более доступной, чем даже тогда столь изумительная своей всенародностью «Правда». Вся его газетка стала такая же, как он. Ладная, по-американски слаженная и изящная отсутствием всего излишнего, простая и в простоте своей разительная, могучая. Писал он необыкновенно легко, так же как говорил. За особой оригинальностью не гонялся. Посылал свои статьи, как и слова, словно пули, а никто ведь, отстреливаясь и нападая, не думает о том, чтобы пули были оригинальные. Но зато его слова-пули, написанные и напечатанные, пробивали всякие препятствия.

Володарский был вообще хорошим организатором.

Как он чудесно и с легкостью инстинкта сразу организовывал любую речь на любую тему, а вокруг нее организовывал случайную толпу слушателей, так, думаю я, удалось бы ему ладно организовать любой аппарат. Но ему не пришлось проявить во всей полноте эту свою сторону, так как он скоро был убит, и мы смогли до его смерти использовать его вне области агитации только как организатора «Красной газеты» и как заведующего Отделом печати в тогдашнем Исполкоме Союза северных коммун. Как «цензора» буржуазия ненавидела его остро.

Ненавидела его буржуазия и все ее прихвостни и как политика. Я думаю, никого из нас не ненавидела она тогда так, как его. Ненавидели его остро и подколодно эсеры. Почему так ненавидели Володарского? Во-первых, потому, что он был вездесущ, он летал с митинга на митинг, его видели и в Петербурге, и во всех окрестностях чуть ли не одновременно. Рабочие привыкли относиться к нему как к своей живой газете. А он был *беспощаден*. Он был весь пронизан не только грозой Октября, но и пришедшими уже после его смерти грозами взрывов красного террора. Этого скрывать мы не будем, Володарский был террорист. Он до глубины души был убежден, что, если мы промедлим со стальными ударами на голову контрреволюционной гидры, она не только пожрет нас, но вместе с нами и проснувшиеся в Октябре мировые надежды.

Он был борец абсолютно восторженный, готовый идти куда угодно. Он был вместе с тем и беспощаден. В нем было что-то от Марата в этом смысле. Только его натура в отличие от Марата была необыкновенно дневной, отнюдь не желавшей как-то скрываться, быть таинственным учителем из подполья, наоборот, *всегда сам*, со своим орлиным клювом и зоркими глазами, всегда со своим собственным металлическим клекотом горла, всегда на виду в первом ряду, мишень для врагов, непосредственный командир.

И вот его убили.

Оглядываясь назад, видишь, что это было совершенно естественным. Тогдашним Петербургом правил, конечно, Зиновьев. Его

терпеть не могли враги и, вероятно, тоже убили бы, если бы представился хороший случай. Железной рукой, которая реально держала горло контрреволюции в своих пальцах, был Урицкий, и его тоже вскоре убили. Но нашим знаменосцем, нашим барабанщиком, нашим трубачом был Володарский. Шел впереди не как генерал, а как тамбурмажор, как великий тамбурмажор титанического движения. Уже многие пали в это время, но пали в открытом бою. Володарский был первым павшим от пули убийцы. Мы все поняли, что это дело эсеров, как оно и оказалось. Ведь это была самая решительная часть буржуазии.

Но не буржуазная рука сразила Володарского, преданного трибуна, рыцаря без страха из ордена пролетариата. Да, его сразила рабочая рука. Его убийца был маленький, болезненный рабочий, большой идеалист. Годами этот тихий человек со впалой грудью мечтал о том, чтобы послужить революции своего класса, послужить подвигом и, если понадобится, умереть мученической смертью. И вот пришли интеллигенты, побывавшие на каторге, заслуженные, так сказать, с грудью, увешанной революционными орденами.

Эти интеллигенты внутренне принимали революцию как свое дело, как дело продвижения своей группы, авангарда мелкой буржуазии, к власти. Эти интеллигенты уже сели в мильерановские кресла [3], они уже столковались с буржуазией, они уже вкусили от сладости быть первыми приказчиками капитала и раззолоченной розовой ширмой своей революционной фразы защищать капитал от ярости проснувшегося пролетариата. И вот во главе этого яростного народа становятся трибуны, которые ведут его вперед, опрокидывают к черту эту розовую раззолоченную ширму, опрокидывают кресла этих высокоуважаемых Черновых и Церетели, железной рукой выметают интеллигентских героев, интеллигентскую надежду вместе с наспех приспособившимися к новым порядкам капиталистами.

О, какая ненависть, какой преисполненный сентиментальности героический пафос пустозвонного фразерства горел в груди отвергнутых новобрачных революции! И эти интеллигенты, пользуясь доверием маленького рабочего со впалой грудью, говорят ему: «Ты хочешь совершить подвиг во имя твоего класса, ты готов на мученическую смерть? Пойди же и убей Володарского. Правда, мы тебе этого не приказываем, мы выберем момент, мы еще подумаем, но только в одном мы тебя уверяем, что это будет подлинный подвиг, за это стоит умереть».

И снабдив беднягу оружием и поставив его душу под пытку самоподготовки для террористического покушения против окруженного любовью его класса трибуна, господа эсеры влачат день за днем, неделю за неделей и в то же время выслеживают Володарского как красного зверя. Видите ли, убийца оказался для другой

цели в пустом месте, где должен был проехать Володарский! Видите ли, эсеры нисколько не виноваты в его убийстве, потому что они не хотели, чтобы именно в этот момент спустил курок убийца! Спустил он его просто потому, что у автомобиля лопнула шина, и убийце казалось очень удобным расстрелять Володарского. Он это и сделал. Эсеры были не только смущены, но даже возмущены и тотчас же объявили в своих газетах, что они здесь ни при чем.

И надо вспомнить, в какие дни произошло убийство Володарского. В день своей смерти он телефонировал Зиновьеву, что был на Обуховском заводе, телефонировал, что там, на этом тогда полупролетарском заводе, где заметны были признаки антисемитизма, бесшабашного хулиганства и мелкой обывательской реакции,— очень неспокойно.

В те дни эсеры — вкупе и влюбе с офицерами минной дивизии — взбулгачили ее матросов настолько, что на митинге, на котором говорили я и Раскольников, был прямо постановлен и подхвачен обманутыми матросами миноносцев лозунг: «Диктатура Балтфлота над Россией». Никто не возражал, когда мы доказывали, что за этой диктатурой стоит диктатура нескольких офицеров, помазанных жидким эсерством, и нескольких лиц, еще более неопределенных, со связями, уходившими через иронически улыбавшегося адмирала Щастного в черную глубь. Минная дивизия стала тогда за Обуховским заводом, она и протянула ему руку.

Володарский просил Зиновьева приехать лично на Обуховский завод и попытаться успокоить его своим авторитетом. Зиновьев пригласил меня с собою, и мы оба часа два, под крики и улюлюканье эсеровской и меньшевистской шайки (к эсерам и меньшевикам налипло тогда все, что было реакционного на заводе), старались ввести порядок в настроение возбужденной массы. Мы возвращались с Обуховского завода и по дороге, не доезжая Невской заставы, узнали, что Володарский убит.

Горе и ужас охватили пролетарское население. Пуля, убившая Володарского, убила также и всю минно-обуховскую затею. Петербургский исполком разоружил минную дивизию, и вся буря Обуховского завода сразу улеглась.

В Большом Екатерининском зале Таврического дворца, утопая в горе цветов, пальмовых ветвей и красных лент, лежал Володарский, застреленный орел. Как никогда резко, словно у бронзового римского императора, выделялось его гордое лицо. Он молчал важно. Его уста, из которых в свое время текли такие пламенные, острые, металлические речи, сомкнулись как бы в сознании того, что сказано достаточно. Неизгладимое впечатление произвело на меня отношение старых работниц к покойнику. На моих глазах некоторые из них подходили с материнскими слезами, долго с

любовью смотрели на сраженного героя и с судорожным рыданием говорили: «Голубчик наш».

Шествие, хоронившее Володарского, было одним из самых величественных, которые знал видавший виды Петербург. Десятки, а может быть, и сотни тысяч пролетариев провожали его к могиле на Марсовом поле. Что чувствовали при этом убийцы-эсеры? Понимали ли они, на кого подняли руку? Признавали ли, как в глубине, внутри, весь петербургский пролетариат был с ним и с нами, с Коммунистической партией? Ни в коем случае. В это время они хотели только поднять свой револьвер выше, вели переговоры с доброхотными террористами, присматривались к тому, насколько подходяща та или иная Коноплева, та или иная Каплан для дальнейших «подвигов и жертв».

Ненависть к Володарскому сказалась и в том, что временный памятник ему, поставленный недалеко от Зимнего дворца, был взорван в дни, когда Юденич подступал к Петербургу. В последнее мое посещение Петербурга я видел этот памятник, разорванный и полуискалеченный, в вестибюле Музея Революции. Я не могу сказать, чтобы художнику памятник очень удался. Его все равно позднее пришлось бы заменить и более прочным и более художественным. Но и такой, как он есть, этот серый исполин с орлиным лицом, разорванный и раздробленный внизу, гордо смотрит в будущее победоносным челом.

К. Радек

ДЗЕРЖИНСКИЙ

Социал-демократия Польши рождена из великих забастовок, охвативших в 90-е годы польские рабочие районы, и из опыта распада полутеррористической, полузаговорщической первой социалистической партии в Польше, партии «Пролетариат» [1]. Рожденная в бою с социал-патриотическим течением в 1893 году, она скоро подверглась массовым арестам и была полностью разгромлена. Легкость, с которой удалось царской полиции ее разгромить, в значительной мере объяснялась тем, что партия насчитывала в своих рядах очень маленькую горсть интеллигенции. Отсутствие интеллигенции объяснялось ее националистическим характером и ярко антинационалистическим направлением молодой рабочей партии, которая с первого дня своего существования выдвинула лозунг единства борьбы и целей польского и русского пролетариата. Арест Ратинского, Весоловского и других социал-демократических работников и отсутствие прилива новых работников из интеллигенции порвали сеть связей, организацию транспорта и т. п.;

рабочие кружки были еще чересчур мало самостоятельны, чтобы их можно было наладить. Уцелевшая за границей группа основателей партии — *Юлиан Мархлевский, Роза Люксембург, Лео Иогихес-Тышка и Адольф Варский* — представляла собою группу идеологов, потерявших на известное время непосредственную связь со страной. Эту связь восстановил 23-летний молодой революционер *Феликс Дзержинский*, бежавший из ссылки. После разгрома 1895— 1896 годов только в начале XX века воссоздается, благодаря его усилиям, марксистская интернационалистская социал-демократия Польши и Литвы [2]. Дзержинский является ее зодчим и остается ее душой в продолжение больше 10 лет. Можно сказать, что *социал-демократия Польши и Литвы* — предшественница коммунистической партии Польши как *массовая партия — была детищем неутомимых усилий, бесконечного труда Феликса Дзержинского.* «Иосиф» — а под этим именем знали его широчайшие круги польских рабочих — был самым любимым из вождей.

Высокий, стройный, с горящими глазами, с порывистой, страстной речью — таким я узнал его осенью 1903 года, когда он приехал на время в Краков, прячась от царских сыщиков и налаживая транспорты воссозданной, главным образом по его инициативе, социал-демократической польской литературы. Он завоевал любовь и уважение не только в среде стариков, но и у молодежи, вступившей впервые в движение, в глазах которой он был окружен ореолом тюрьмы и ссылки, ореолом лучшего организатора партии. К его мнению прислушивались чутко не только Роза, но и жесткий Тышка, имевший большой организационный опыт, соединявший большое марксистское образование с необыкновенной политической чуткостью. Во всех практических вопросах движения мнение Иосифа имело почти решающее значение. Откуда взялся его авторитет? Откуда взялся он сам, этот молодой, строгий к себе, строгий к другим, волнующий и увлекающий всех революционер?

Он родился в Литве, в Ошмянском уезде, в семье мелкого польского помещика, в том же самом уезде, в котором на несколько лет раньше родился Иосиф Пилсудский. Литва была тогда прибита воспоминаниями о Муравьеве-вешателе, воспоминаниями о кровавой расправе царизма в 1863 году [3]. В дворянских домах Литвы жила мысль о тех, которых царский сатрап за участие в восстании казнил или сослал на каторгу. Интеллигентская молодежь лелеяла мысль о борьбе с царизмом за независимость страны. Штаб польской социалистической партии, созданный в последнем десятилетии XIX века, принадлежал в большинстве к молодежи из этих окраинных польских помещиков. Одним из немногих, отказавшихся от пути национализма и вступивших твердым шагом в лагерь международного рабочего движения, был Дзержинский. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что, происходя из бедной сравни-

тельно семьи, он ближе присмотрелся к крестьянской литовской массе, ближе присмотрелся к жизни маломестечковых ремесленников и почувствовал себя более связанным с ними, чем с дворянством и его идеалами.

В Литве не было фабричного пролетариата. Были еврейские и польские ремесленники, и среди них 16-летним юношей Дзержинский начал свою работу. Необходимость работы и среди польских и еврейских подмастерьев в стране, в которой крестьянство в большинстве своем было литовским, объясняет международное направление чувств и дум Дзержинского. Он учился социализму на польской и на русской литературе, а для работы среди еврейских рабочих учился по-еврейски. Мы смеялись позже, что в правлении польской социал-демократии, в которой был целый ряд евреев, читать по-еврейски умел только Дзержинский, бывший польский дворянин и католик. Аресты, которым непрерывно подвергался Дзержинский уже в первые годы своей деятельности, позволили ему изучить всю существующую тогда основную литературу социализма, и он вошел в польское движение уже с твердо выработанным мировоззрением. Литература польской социал-демократии, ее орган *«Справа работнича»* («Рабочее дело»), издававшийся в 1894—1895 годах [4] в Париже, попали в его руки позже, когда он уже на основе собственного опыта и собственной работы мысли пришел в основном к тем же самым решениям, к которым пришли наши идеологи. Основой его взглядов была русская марксистская литература. Он, можно сказать, был *выражением единства польского и русского рабочего движения.*

Но значение его для движения состояло не только в твердости его взглядов, но и в *непоколебимой революционной решительности*, которую он внес в движение. Окраинное польское дворянство, выросшее в борьбе с татарами, а позже в борьбе с литовским и украинским крестьянством, отличалось искони большой энергией. Оно представляло самый решительный тип польской общественности. Дзержинский, впитавший в себя чуждые этой среде идеи, защищал их с той энергией, с которой польское «крессовое» (окраинное) дворянство защищало свои классовые интересы. Для Дзержинского не существовало никаких затруднений и никаких поражений, как они не существовали для Скшетуских, Володыевских и других героев окраинного польского дворянства, воспеваемых в польских исторических романах. Опасности существовали только для того, чтобы их преодолевать; поражения — только для того, чтобы, изучив совершенные ошибки, ковать заново меч для новых боев. Но если из дворян, переходящих на сторону революционных классов, создавались в большинстве типы «кающихся дворян», то сила революционной мысли, овладевшей Дзержинским, позволила ему *полностью слиться с рабочим классом,*

чувствовать себя его неотделимой частью. Он не был человеком, пришедшим к рабочему классу, идеализирующим рабочий класс. Во время своих долгих нелегальных скитаний он жил у рабочих, ел с ними из одной тарелки, спал в одной кровати, знал их со всеми их историческими недостатками, но и со всем великим, что рождает социализм в рабочем классе. Во все моменты опасности он был убежден, что соберет вокруг себя рабочих, которые его не выдадут, что сумеет воссоздать с ними, при помощи их организацию, что сумеет сколотить снова боевой отряд, который пойдет заново на борьбу, не боясь голода, не боясь холода, не боясь оставить жен и детей, не боясь долгих лет одиночества в каторжной тюрьме Акатуя и в тайге сибирской. Железо его пролетарской идеи выковалось в этой работе среди рабочих в гибкую сталь, и это было то, что внес Дзержинский в польское социал-демократическое движение.

В нелегальной работе, предшествовавшей 1905 году, этот молодой революционер сделался вождем. Когда октябрьский манифест освободил его из заключения в десятом павильоне варшавской крепости, куда он попал в июле 1905 года на массовой партийной конференции, организованной им в лесах около Домбии под Варшавой, то никто уже не питал ни малейшего сомнения, что именно он, Дзержинский, является вождем социал-демократии. В течение нескольких месяцев массового движения до июльского ареста он был пламенем, одушевлявшим всю партию. Кто забудет дни, когда судился военным судом Марцин Каспшак, рабочий созидатель нашей партии, представший перед судом за вооруженное сопротивление при аресте весною 1904 года, в тайной типографии? Город, залитый войсками, массовые аресты. Дзержинский с Ганецким печатают в новой типографии прокламации, призывающие к всеобщей забастовке. Дзержинский отправляется через ряды патрулей лично в рабочие районы и разносит прокламации, привязанные к его телу. Высокий, стройный, с орлиным лицом, он проходит с поднятой головою через шеренги солдат и жандармов, обыскивающих всякого прохожего. Жандарм, которому он посмотрел смело в глаза, не решился его задержать. Таким он жил в воспоминаниях варшавских рабочих долгие годы, жил как легенда о непоколебимом революционере. Когда он попался в Домбии, он заставил товарищей отдать ему все бумаги, которых уже нельзя было уничтожить, чтобы взять на себя всю ответственность. В Домбии арестованных держали под конвоем казаков, но Дзержинский берется немедленно за агитацию среди солдат. Если бы не смена солдат, ему бы удалось подготовить побег.

В качестве организатора после октябрьских событий 1905 года он, как огонь, движется по всей стране, везде укрепляя связь с центром, везде поднимая боевое настроение, везде создавая

глубочайшую уверенность, что партия поведет рабочие массы Польши совместно с рабочими всей России на штурм против царизма. На II съезде русской социал-демократической партии социал-демократия Польши и Литвы не вошла в ряды общей русской организации из-за разногласий по национальному вопросу [5]. После раскола на большевиков и меньшевиков партия больше года колебалась в споре между обеими фракциями. Руководящая идеологическая группа партии, близко связанная с западноевропейским движением, склонялась к организационным идеям меньшевиков, которые казались ей более соответствующими опыту международного рабочего движения, чем организационные идеи Ленина. Дзержинский уже к концу 1903 года был близок к большевизму. С конца 1904 года, со времени так называемой земской кампании [6], *Дзержинский горячо добивался скорейшего объединения с большевиками*. В 1906 году во всех переговорах с русской социал-демократией он играет решающую роль в делегациях, назначаемых нашим главным правлением. Ленин тогда уже видел в нем ближайшего единомышленника в польской социал-демократии.

Пришли годы контрреволюции. Дзержинский, бежав снова из ссылки, работает бешено в Варшаве над воссозданием организации. Намечаются новые вопросы — борьба с *ликвидаторами* и *отзовизмом*. Дзержинский занимает непоколебимую ленинскую позицию борьбы на два фронта. Воссоздавая нелегальную организацию, он одновременно упорно работает над созданием легальной социал-демократической печати. В 1912 году происходит в социал-демократии Польши и Литвы *раскол* на основе споров части краевых организаций с находящимся за границей идеологическим центром по поводу ряда организационных вопросов. Этот раскол, полный жестокой политической и личной борьбы, стоившей всем ее участникам больших страданий, для Дзержинского представляет сущий ад, ибо, поддерживая основное ядро руководителей польской социал-демократии, он должен был отказаться на известное время от объединения с большевистским центром, от которого политически его ничто не отделяло. Что переживал Дзержинский, оказавшийся незадолго до войны снова за каменными стенами варшавской крепости, а позже на каторге в Орле, он не любил рассказывать. Крушение II Интернационала, разгром партии после великих ее успехов в период «Правды», черная ночь, окутавшая все рабочее движение, эхо войны, доходящее к нему через тюремные решетки, — все это не сломило его ни на одну минуту. Февраль 1917 года застает его снова в боевых рядах большевистской организации неутомимым, полным веры, жажды борьбы за Октябрь. Октябрь встречает его во главе борющихся за свою диктатуру рабочих масс в качестве *члена Военно-революционного комитета в Петрограде*.

Через великие фабричные города Польши, через Лодзь, Варшаву и угольный Домбровский бассейн, через ссылку и каторгу он пришел к путиловцам и обуховцам и во главе их стал в ряды правительства Союза Советских Республик.

В дни, когда еще шла борьба за Петроград и Москву, Дзержинский создает комиссию для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем [7]. Выкованный в пятнадцатилетних боях, Феликс Дзержинский поднимает меч революционной решимости на защиту пролетарской революции. Этот меч опускается с ошеломляющей силой на классового врага, когда тот пытается поднять голову. Днем и ночью сторожит неутомимо верный страж революции, ища врага, преследуя его по пятам, хватая его врасплох. Дзержинский создает организацию революционной бдительности так, как когда-то создавал рабочие организации.

Враги наши создали целую легенду о всевидящих глазах ЧК, о всеслышащих ушах ЧК, о вездесущем Дзержинском. Они представляли себе ЧК в качестве какой-то громадной армии, охватывающей всю страну, просовывающей свои щупальца в их собственный стан. Они не понимали, *в чем сила Дзержинского.*

Сила Дзержинского была, во-первых, в том, в чем состояла сила большевистской партии,— в полнейшем доверии рабочих масс и бедноты, в уверенности, что Дзержинский есть *их* карающий меч, *их* бдительный глаз. Каждый рабочий, каждый бедняк считал своим долгом помогать ЧК в ее великой борьбе в защиту революции. ЧК — это не только были штаты мужественных чекистов, ЧК — *это была многомиллионная рабочая масса, бдительная и доносящая о каждом движении врага.* Кто не помнит, как во время борьбы с Юденичем был раскрыт заговор начальника штаба петроградской обороны, сносившегося с Юденичем и действовавшего по его указанию. Орудием связи негодяя был старик, натурализованный француз. Дочь его теряет сверток бумаг на улице, обыкновенный красноармеец поднимает уроненные бумаги, развертывает их, видит какие-то чертежи. Он видел уже военные чертежи, подозревает, что дело неладно, арестовывает уронившую бумаги девицу. В руках ЧК главная ячейка юденичского шпионажа. Дзержинский рассказывал мне, что арестованный француз на допросе, нахальничая, сказал ему: «Если бы не случай, вы бы меня не поймали!» — «Что же вы ему ответили?» — спрашиваю я Дзержинского. «Если бы не бдительность обыкновенного красноармейца, случайная потеря бумаг вам бы не повредила. *А эта бдительность рядового красноармейца не случай, а сила ЧК*». Лучших чекистов Дзержинский подбирал из старых рабочих-партийцев, беспрекословно преданных делу пролетарской революции.

Второй источник силы Дзержинского и ЧК была *решительность действия, рожденная из железной убежденности его в право-*

те дела пролетарской революции. Летом 1918 года Дзержинский дает интервью представителям существовавшей тогда еще буржуазной и мелкобуржуазной печати. Они спрашивали его, не допускает ли он, что ЧК может ошибаться и совершать акты несправедливости по отношению к лицам. «ЧК — не суд,— отвечает Дзержинский,— *ЧК — защита революции*, как Красная Армия, и как Красная Армия в гражданской войне не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, а должна заботиться только об одном — о победе революции над буржуазией, так и ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невинных». Спасение революции было для Дзержинского высшим законом, и поэтому он находил в душе непоколебимую силу, без которой не была бы возможна победоносная борьба с контрреволюцией.

Враги пытались представить его кровожадным. Имя его сделалось пугалом для всей международной буржуазии. Но тем, кто знал Дзержинского, известно, как нелегко давалась ему его беспощадность. Дзержинский был человеком, стремящимся всеми корнями души к социализму, к гармоническому строю, дающему простор развитию всех человеческих сил. В Дзержинском, человеке беспощадной борьбы, было всегда много мечты о том строе, когда социальные условия не будут больше рождать не только неравенства, но и преступления. В нем была глубочайшая *любовь к людям*, к работе их мысли, и недаром за тюремной решеткой в 1908 году в своем дневнике он дает выражение своему глубочайшему отвращению к насилию. Он даже в жандармах и провокаторах видит продукт социальных условий. И только глубокое убеждение в том, что *всякое мягкосердечие может причинить бедствия и страдания миллионным массам*, позволяло ему опускать непоколебимо меч революции.

Он не любил говорить о том, что происходит в его душе в бессонные ночи, но от времени до времени у него прорывались слова, показывающие, как нелегко ему было. Когда мы собирались в 1920 году, во время борьбы с белой Польшей, на фронт, надеясь на победу, надеясь на то, что поможем польским рабочим в скором времени построить свою власть, освободиться от буржуазии, Дзержинский говорил мне: «Когда победим, я возьму Наркомпрос». Товарищи, бывшие при этом разговоре, смеялись. Дзержинский съежился. Но эти слова открыли то, что ясно было всякому, знающему Дзержинского. *Разрушение, насилие было для него только средством, а самое существо Дзержинского — это была глубочайшая тоска по строительству новой жизни.*

Благодаря тому, что этот источник был в нем самым сильным, окончание гражданской войны привело его на пост строителя социализма. Не только международная буржуазия, но даже многие

товарищи были удивлены, когда услышали о назначении Дзержинского на пост руководителя нашего транспорта [8]. Но это назначение отвечало мечтам Дзержинского, отвечало всей его природе. Не выпуская из рук руководства ГПУ, ибо не исчезли опасности, угрожающие республике от внутренней и внешней контрреволюции, Дзержинский бросился с жадностью на хозяйственную работу.

В работу на хозяйственном посту Дзержинский не внес ни технической, ни экономической особенной подготовки. Он имел то образование, какое имел всякий наш выдающийся партиец из старых кадров. Его университетом была тюрьма, где он зачитывался, как все, марксистской литературой. Специального уклона к изучению экономики у него не было. Почему же он, человек великой внутренней скромности, абсолютно чуждый чванству, мог взяться за неслыхано трудное дело воссоздания хозяйства? Когда Центральный Комитет поставил его во главе Наркомпути, многие думали, что дело в том, что он *ударник*, что он своей бешеной энергией преодолеет первые затруднения постройки аппарата, первые затруднения, стоящие на пути к тому, чтобы двинуть массу железнодорожников. Но скоро стало видно, что Дзержинский иначе понимает свою задачу, что он изучает не только организацию железных дорог, но и все экономические вопросы, связанные с развитием транспорта, что он вникает во все вопросы железа, угля, без решения которых нельзя поднять на должную высоту транспорт. Для Дзержинского работа на транспорте была только частью хозяйственного фронта, его глубочайшим образом интересовали, волновали вопросы *строительства социализма*.

Он в эти вопросы вошел полностью, как в жизненную задачу всякого коммуниста. Это не было для него специальностью, это была для него *задача задач*. Дзержинский глубоко верил в то, что мы можем, что мы в состоянии не просто поднимать хозяйство, но и строить социализм, несмотря на затяжку международной революции. Веря в это непоколебимо, он считал своим долгом вложить всю душу в это строительство. Он знал, как трудно строить. Ему пришлось учиться днями и ночами для того, чтобы уяснить себе картину хозяйственных связей перед войною, чтобы уяснить себе изменения, происшедшие во время войны и революции, чтобы выбрать звено, за которое можно ухватиться. И он учился и работал с таким рвением, с таким напряжением, как только мог работать человек его веры и его энергии. Он рос на этой работе, ибо она была *задачей, в которой выразились все основные устремления Дзержинского как революционера*.

Недавно на маленьком товарищеском собрании группы хозяйственников мне пришлось говорить с Дзержинским об очередных наших экономических вопросах. Другие рассуждали, доказывали,— Дзержинский горел, горел энтузиазмом, горел верой, горел

железным убеждением. Один из присутствующих товарищей, знающий Дзержинского как и я, больше 20 лет, сказал, когда мы возвращались домой: *«Он не растратил за всю свою жизнь ни одного атома социалистических своих убеждений и социалистической своей веры».*

Бешено работая, заражая всех вокруг себя этой своей верой, Дзержинский понимал великолепно, что работа его будет иметь успех, работа партии будет увенчана победой, если, кроме всего прочего, мы не забудем, что *победа невозможна без использования всего наследства буржуазной науки.* И Дзержинский, который умел беспощадно ломать всякую попытку саботажа спецов, сумел бороться за условия работы для специалистов, за охрану их от чванства, от предрассудков и даже от законного недоверия рабочих масс. Лучшие из специалистов научились уважать и любить Дзержинского, присматриваясь к его великой работе. Но одновременно Дзержинский понимал, что самая совершенная *наука не поможет нам построить коммунизма, если она не охватит рабочие массы, если рабочие массы не воспламенятся стремлением к постройке социализма, если они не будут втянуты в разработку всех вопросов нашего строительства.* В последнем официальном документе, подписанном Дзержинским, в обращении ВСНХ и ВЦСПС по поводу необходимости усиления работы производственных совещаний, Дзержинский писал: *«Хозяйственники должны знать, что ни одно мероприятие, ни один сколько-нибудь крупный вопрос не может быть проведен в жизнь, не может дать необходимых результатов, если он проводится через голову рабочей массы, если он не понят рабочей массой».* Эти слова Дзержинского являются его завещанием, завещанием строителя социализма, который, связав жизнь свою с рабочими массами, пройдя ее в их рядах и во главе их, отбив врага, еще одною рукою опираясь на меч, другой взялся за кирку.

* * *

Дзержинского нет. Для миллионных масс имя его было знаменем неустрашимого борца, было знаменем непоколебимой воли к победе, было знаменем защитника рабочих и бедноты. Имя его войдет в историю социализма как одного из лучших борцов пролетариата. *Если Ленина массы будут всегда помнить как мозг революции, то о Дзержинском будут вспоминать как о ее сердце.* Он представлял собою такую амальгаму качеств, которой в таком составе история больше не повторит. Этот коммунист, глубоко преданный рабочим массам, видящий в них и в их борьбе залог победы, коммунист, преодолевший в себе буржуазный индивидуализм, был одновременно *великой индивидуальностью*, и вся партия до последнего ее члена знает, что такого борца, как Дзержинский, с этим

сочетанием воли и веры мы больше иметь не будем. У гроба Дзержинского будут стоять, опустив головы, не только рабочие Союза Советских Республик, среди которых он работал последние 10 лет, не только рабочие Польщи, в рядах которых он боролся всю юность свою и для которых он по сегодняшний день был боевым кличем, но и томящиеся в тюрьмах рабочие всех стран, для которых его имя было лучом надежды.

Смерть Дзержинского вызовет бешеную радость в сердцах мировой буржуазии. Умер создатель и глава ЧК. Эта весть разнесется по всему миру и окрылит надеждой наших врагов. Но они ошибаются. Так же как смерть Ленина вызвала в рядах рабочих масс чувство необходимости крепче сомкнуть ряды, так и смерть Дзержинского вызовет в широких массах не только воспоминания о великих днях Октября, о героических годах борьбы против интервенции, но и волю к тому, чтобы собрать всю энергию для *завершения* того дела, которому Дзержинский посвятил пламя своих последних лет,— *дела строительства социализма.*

Июль 1926 г.

Л. Троцкий

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Отгремели последние салюты над гробом Дзержинского. Закончилась жизнь, насыщенная героическим действием. Великолепная, беспримерная жизнь эта оборвалась на ходу — без увядания старости, без долгих и мучительных болезней, предшествующих смерти. В действии и до конца, до последней частицы, израсходовал Дзержинский гигантский заряд энергии, вложенный в него природой. Воля составляла существо этого человека,— не холодная воля, а огненная, всегда прорывавшаяся толчками страсти.

Помимо исключительных даров природы, нужны были не менее исключительные исторические условия — гнет царизма, традиции революционной Польши, пример «Народной воли», борьба молодого пролетариата Варшавы и Петербурга, теория марксизма, ленинское руководство, чтобы сковать и закалить эту фигуру бесстрашного и, когда нужно, беспощадного революционера, в душе которого были непочатые источники мягкости и почти детской наивности.

Двадцать пять лет назад Дзержинский отправлялся в свою первую ссылку [1]. Весной, когда по Лене прошли льды, Дзержинский, перед посадкой на паузок в Качуге, вечером у костра читал на память свою поэму на польском языке. Большинство слушателей не понимало поэмы. Но насквозь понятно было в свете костра

одухотворенное лицо юноши, в котором не было ничего расплывчатого, незавершенного, бесформенного. Человек из одного куска, одухотворенный одной идеей, одной страстью, одной целью,— таким он прошел через всю свою жизнь борца, революционера, коммуниста.

О заслугах его, о его несокрушимой вере в пролетариат и столь же несокрушимой верности пролетариату, обо всем совершенном им будут написаны книги и книги. Не было почти поприща, на котором он не работал бы, и в то же время он работал всегда на одном и том же поприще: в передних рядах своей партии и своего класса, прокладывая дорогу будущему, сперва разрушая старое общество, а затем закладывая фундамент нового.

Героическое начало пролетарской борьбы нашло в образе Дзержинского неповторимое воплощение. Из игры его глаз, из звуков голоса, из черт лица, из движений мышц всегда излучалась воля, подталкиваемая постоянными вспышками страсти. Законченность его внешнего облика вызывала мысль о скульптуре, о бронзе. Светловолосый юноша, читавший у сибирского костра свою героическую поэму, давно превратился в мужа. Но из-под мужественных черт солдата, стража и каменщика революции просвечивал образ юноши, который не сдается времени, а покоряет его, как сырую материю, чтобы строить новую человеческую жизнь.

Бледное лицо его в гробу под светом рефлекторов было прекрасно своей скульптурной законченностью. Горячая бронза стала холодным мрамором. Глядя на этот открытый лоб, на опущенные веки, на тонкий нос, очерченный резцом, думалось: вот застывший образ мужества и верности. И чувство скорби переливалось в чувство гордости: таких людей создает и воспитывает только пролетарская революция.

Слово смерть не вяжется с этим исключительным концом — в борьбе, на ходу, после пламенной речи. Дзержинский не умер, а сменился. И провожаемый завистливой ненавистью врагов и еще более пламенной любовью миллионов, он, сойдя с поста, вошел навсегда в историю.

Имя его было — Феликс, а Феликс по-латински значит счастливый. И впрямь счастьем была его жизнь — счастьем для класса, которому он служил, для партии, к которой принадлежал, счастьем для него самого. Если бы ему была предложена на выбор вторая жизнь, он, несомненно, выбрал бы ту же самую — с ее революционным идеализмом, с тюрьмами, ссылками, каторгой, с беспощадными ударами по врагу, с первыми радостями социалистического строительства.

Но второй жизни никто ему дать не может. Будем же в нашей скорби утешать себя тем, что Дзержинский жил однажды.

А. Луначарский

ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ ЗИНОВЬЕВ (РАДОМЫСЛЬСКИЙ)

По приезде моем в Женеву в 1904 году я, как писал уже, вступил в число редакторов центрального органа большевистской части партии. Мы деятельно занимались в то время подысканием агентов и устройством ячеек по возможности во всех колониях студентов-эмигрантов. Здесь выяснилось, что дело это было не из легких, всюду было громадное засилье меньшевиков. К тому же с меньшевиками рука об руку шли многочисленные бундисты и другие национальные социалистические группы. Нас не поддерживал никто, мы были наиболее отдаленной от всех, наименее уживчивой партией. С этой точки зрения приходилось дорожить каждым союзником. Из Берна мы получили довольно восторженное письмо с предложением услуг, подписанное: «Казаков и Радомысльский».

Когда я приехал в Берн прочесть там лекцию, я прежде всего, конечно, познакомился с этими бернскими большевиками. В то время более ярким казался Казаков. Позднее он играл некоторую роль в истории нашей партии под фамилией Свиягин. Он работал в Кронштадте, был в ссылке и, кажется, на каторге. В заключение поступил во французскую армию во время войны и был там убит.

Радомысльский же не показался мне сразу особенно обещающим. Это был несколько тучный молодой человек, бледный и болезненный, страдающий одышкой и, как мне показалось, слишком флегматичный. Говорливый Казаков не давал ему произнести ни одного слова. Тем не менее, после того как у нас завязались постоянные сношения, мы убедились в том, что Радомысльский парень дельный, к Казакову же установились отношения неможко как к чересчур бойкому разговорщику.

Когда я приехал в Петербург после революции, я узнал, что Радомысльский, под именем Григория, работает в Василеостровском районе и работает очень хорошо, что он является кандидатом в Петербургский комитет, в который, если не ошибаюсь, он очень скоро после моего приезда и вошел. Такие хорошие отзывы о нашем молодом швейцарском студенте мне были очень приятны. Скоро я встретился с ним вновь лично и, между прочим, по его просьбе редактировал целый ряд его переводов. Эти переводы на русский язык (самый большой из них «История французской революции» Блоса) считаются очень плохими, и меня часто упрекали за небрежную редакцию переводов Зиновьева (они уже в то время помечены этой фамилией). Между тем в плохом переводе не виноват ни он, ни

я. Переводы из-под моей редакции вышли ухудшенными, но, повторяю, не по моей вине. Дело в том, что я делал поправки моим неразборчивым почерком, надеясь, что те ошибки, которые будут сделаны при наборе, будут мною вновь выправлены по корректуре; между тем я попал в тюрьму, и книжка вышла с моими поправками, неправильно, отчасти нелепо прочитанными. Но это сотрудничество в переводном деле было, конечно, совершенно второстепенным,— нас обоих в то время увлекала политическая ситуация.

На каком-то большом диспуте во время бурной выборной кампании к Стокгольмскому объединенному съезду[1] мы выступили вместе с Зиновьевым для защиты нашей линии. Здесь я впервые услышал его как митингового оратора. Я сразу оценил его и несколько удивился: обычно такой спокойный и рыхлый, он зажигался во время речи и говорил с большим нервным подъемом. У него оказался огромный голос тенорового тембра, чрезвычайно звонкий. Уже тогда для меня было ясно, что этот голос может доминировать над тысячами слушателей. К таким замечательным внешним данным уже тогда явным образом присоединялась легкость и плавность речи, которые, как я знаю, вытекают из известной находчивости и замечательной логики, проистекающие от умения обнимать свою речь в целом и из-за частности не упускать основной линии. Все эти достоинства оратора развились потом у товарища Зиновьева планомерно и сделали его тем замечательным мастером слова, каким мы его теперь знаем.

Конечно, Зиновьев не может в своих речах быть таким богатым часто совершенно новыми точками зрения, как истинный вождь всей революции — Ленин, он, разумеется, уступает в картинной мощи, которая отличает Троцкого. Но за исключением этих двух ораторов Зиновьев не уступает никому. Я не знаю ни одного эсера или меньшевика, вообще ни одного политического оратора в России, который мог бы стоять на одном с ним уровне (опять-таки кроме Троцкого) как оратора массового, оратора для площади или для огромного собрания.

Зиновьев как публицист отличается теми же достоинствами, что и Зиновьев-оратор, то есть ясностью и общедоступностью мысли и гладким, легким стилем, но, конечно, то, что делает Зиновьева особенно драгоценным в качестве трибуна,— его необыкновенный, неутомимый и доминирующий над каким угодно шумом голос — здесь отпадает.

Я не думаю, однако, чтобы Зиновьев обязан был тем высоким местом, которое он занял в нашей партии еще задолго до революции, и той исторической ролью, которую он играет теперь, только или главным образом своим дарованиям трибуна и публициста.

Очень рано уже Ленин стал опираться на него не только как на испытанного политического друга, действительно целиком заполненного духом Владимира Ильича, но и как на человека, глубоко понявшего суть большевизма и обладающего в высшей степени ясной политической головой. Зиновьев, несомненно, один из мужей совета нашего ЦК, я скажу прямо, один из тех 4—5 человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии.

Сам по себе Зиновьев человек чрезвычайно гуманный и исключительно добрый, высокоинтеллигентный, но он словно немножко стыдится таких своих свойств и готов заключиться в броню революционной твердости, иногда, может быть, даже чрезмерной.

Но в главной части моих мемуаров мне придется многократно касаться нашей совместной работы в течение почти года, в который он был председателем Совета Комиссаров Союза северных коммун [2], а я комиссаром просвещения этих коммун, оставаясь вместе с тем и народным комиссаром [3]. Сейчас упомяну только о том промежутке времени, который отделял новую революцию от старой.

Зиновьев выступал всегда верным оруженосцем Ленина и шел за ним повсюду. У меньшевиков установилось немножко пренебрежительное отношение к Зиновьеву именно как к преданному оруженосцу. Может быть, это отношение меньшевиков заразило и нас, впередовцев. Мы знали, что Зиновьев — превосходный работник, но как политический мыслитель он был нам мало известен, и мы тоже часто говорили о том, что он идет за Лениным, как нитка за иголкой.

В первый раз я услышал совсем другое суждение о Зиновьеве от Рязанова. Встретившись с Рязановым в Цюрихе, где жил и Зиновьев, я как-то разговорился с ним о разных наших передовых людях, и тут Рязанов сказал мне, что часто встречается с Зиновьевым: «Он колоссально много работает, работает усердно и с толком и в настоящее время в смысле уровня своей экономической и общесоциологической образованности далеко превзошел большинство меньшевиков, а пожалуй, даже всех их». Эта аттестация от такого эрудита и бесспорно ученейшего человека нашей партии, как Рязанов, была опять-таки очень приятной неожиданностью для меня.

Когда я окончательно примкнул к главному руслу большевизма, я обратился именно к Зиновьеву в Цюрих. Мы скоро припомнили наши прежние, крайне добрые отношения и сговорились о политическом союзе буквально в полчаса.

В остальном мои отношения к этому замечательному человеку уже входят более или менее в историю великой русской революции.

* * *

Эта небольшая глава из I тома «Великий переворот» столь далека от того, чтобы быть сколько-нибудь исчерпывающей даже в качестве силуэта, что я считаю необходимым прибавить здесь хоть несколько строк.

* * *

Многие большевики, может быть, даже почти все, чрезвычайно выросли за время революции: большие задачи, большая ответственность, широкие перспективы ломают только негодный материал и всегда растят людей, отличающихся сколько-нибудь достаточным запасом ума и энергии.

Но, быть может, ни одна из фигур нашей партии не выиграла во время революции так много, как Григорий Евсеевич Зиновьев.

Конечно, Ленин и Троцкий сделались популярнейшими (любимыми или ненавистными) личностями нашей эпохи, едва ли не для всего земного шара. Зиновьев несколько отступает перед ними, но ведь зато Ленин и Троцкий давно уже числились в наших рядах людьми столь огромного дарования, столь бесспорными вождями, что особенного удивления колоссальный рост их во время революции ни в ком вызвать не мог. Зиновьев был тоже окружен большим уважением. Все считали его ближайшим помощником и доверенным лицом Ленина. Зная его за талантливого оратора и публициста, за человека трудоспособного, сообразительного, горячо преданного социальной революции и своей партии, все, конечно, заранее могли предсказать, что Зиновьев будет играть крупную роль в революции и революционном правительстве. Но Зиновьев, несомненно, превзошел ожидания многих.

Я очень хорошо помню, как во время организации III Интернационала меньшевик Дан, бывший тогда еще в России, с кривой усмешкои заявил: «Какая великолепная характеристика III Интернационала — во главе Зиновьев». Конечно, I Интернационал имел в своей главе Маркса, и тут не может быть никаких сравнений, но интересно знать, кого числил во главе II Интернационала презрительно усмехавшийся Дан? II Интернационал имел в своем штабе в разное время очень больших людей, но, конечно, председатель III Интернационала не побоится сравнения ни с одним из них. Для меня за последнее время фигура Зиновьева сливается именно с этими функциями председателя III Интернационала. Здесь развернулись его огромные способности, и здесь приобрел он свой непререкаемый авторитет.

Уже с самого начала было видно, что Зиновьев не обескуражен подавляюще ответственным постом, который на него был возложен. С самого начала и чем дальше, тем больше, проявлял он

изумительное спокойствие в исполнении своих функций. Всегда уравновешенный, всегда находчивый и при этом выходящий с честью из самых трудных условий. О Зиновьеве иногда с улыбкой говорят как о человеке, приобретшем такой гигантский парламентский опыт, что ему нетрудно доминировать над какими угодно оппозициями. Действительно, председательская сноровка у Зиновьева заслуживает всяческого изумления, но, конечно, подчас довольно трудные задачи дипломатии, которые должен разрешать Зиновьев, в значительной степени облегчены ему тем, что в рядах III Интернационала весьма редки такие проявления, которые выходили бы за рамки дисциплины и глубокой дружеской связи.

Все огромное течение дел Интернационала ни в одном своем элементе не ускользает от внимания Зиновьева. Насколько одна личность может охватить мировую политику, настолько это им делается. Кто не знает революционной решимости Зиновьева во всех интернациональных контроверсах, его непримиримости, требовательности, его строгой принципиальности, которые заставляют многих заграничных соседей, а порою отщепенцев в наших собственных рядах говорить о московской железной руке, о русской диктатуре? Но вместе с тем, будучи твердым всюду, где нужно, Зиновьев проявляет максимум гибкости, умение найти компромисс, восстановить нарушенный мир и т. д.

К этому надо прибавить, что Зиновьев стяжал себе славу одного из самых замечательных интернациональных ораторов, а ведь это очень трудно. Одно дело говорить на своем родном языке, как говорит подавляющее большинство наших товарищей по Коминтерну, и другое дело выступать на чужом языке. Хорошо владея немецким языком, Зиновьев тем не менее, как он сам это подчеркивает, отнюдь не говорит на нем, как настоящий немец. Тем более удивительно и тем больше чести ему, что речи его производят всегда колоссальное впечатление не только по своему содержанию, но и по своей страстной и четкой форме. Недаром же буржуазная пресса после знаменитой трехчасовой речи Зиновьева в самых недрах Германии на партейтаге в Галле заявила: «Этот человек обладает демонической силой красноречия».

Эти же черты твердости, искусной тактики и спокойствия при самых трудных обстоятельствах вносит Зиновьев и в свое дело управления Петроградом, что сделало его и на этом посту незаменимым, несмотря на то что Коминтерн много раз возбуждал перед ЦК вопрос о том, чтобы Зиновьев целиком был отдан ему.

Я хочу отметить еще одну черту Зиновьева, его совершенно романтическую преданность своей партии. Обыкновенно в высшей степени деловой и трезвый, Зиновьев в своих торжественных речах по поводу тех или других юбилейных моментов партии подымается до настоящих гимнов любви к ней.

Нет никакого сомнения, что в лице Зиновьева русское рабочее движение выдвинуло не только крупнейшего вождя для себя, но дало в нем, рядом с Лениным и Троцким, одну из решающих фигур мирового рабочего движения.

А. Луначарский

ЛЕВ БОРИСОВИЧ КАМЕНЕВ (РОЗЕНФЕЛЬД)

Мне пришлось неоднократно упоминать фамилию Каменева в первой главе этих воспоминаний [1]. Встретился я с ним уже довольно давно, до первой революции, в период борьбы большевизма за самоопределение [2]. Тогда Каменев был очень молод, ему было, помнится, немногим более 20 лет. Он состоял тогда правой рукой при Богданове и числился одним из самых многообещающих молодых большевиков. Помимо нашей общеполитической работы нас сразу соединило и многое другое, например большая любовь Каменева к литературе, его сердечная мягкость и значительная широта взглядов, которая выгодно отличала его даже от самых крупных работников социалистического движения.

Уже тогда можно было с уверенностью сказать, что Каменев будет хорошо владеть словом, и, действительно, из него выработался интересный оратор, берущий, главным образом, простой убедительностью своей речи, при очень хорошей ораторской технике, позволяющей ему говорить на больших собраниях в течение долгого времени, прекрасно владея собою даже в самых трудных случаях.

Я думаю, однако, что настоящее призвание Каменева не столько ораторское, сколько писательское. Я очень сожалею, что в настоящее время большое строительное государственное дело вынуло перо из рук Каменева.

Как публицист, как газетный работник, как литературный критик, Каменев играл заметную роль вообще в русской литературе и очень большую в нашем большевистском кругу. Его статьи в «Правде» и в нелегальной большевистской литературе шли непосредственно вслед за ленинскими, по какой-то простой меткости их слога и их внутреннего строения, а в то же время его критические этюды бывали иногда изысканны, может быть, даже несколько чрезмерно. Они всегда очень остроумны, определенны в своей главной мысли и изящны по внешности.

Я знаю, что товарища Каменева всегда влечет к работе в области теории и истории литературы, к перу.

В той железной среде, в которой приходилось развертываться политическому дарованию Каменева, он считался сравнительно мягким человеком, поскольку дело идет о его замечательной душевной доброте. Упрек этот превращается скорее в похвалу, но, быть может, верно и то, что сравнительно с такими людьми, как Ленин или Троцкий, Свердлов и им подобные, Каменев казался слишком интеллигентом, испытывал на себе различные влияния, колебался.

Главным образом, все это относится, конечно, к началу истории нашей великой революции,— о чем в своем месте. Но я повторяю и утверждаю, что эта мягкость Каменева понятие весьма относительное и что по сравнению с политиками правого крыла социализма он представляет собою человека огромной выдержанности и спокойной уверенности. В самые трудные минуты он не терялся и с большим достоинством и сдержанностью проводил намеченную линию точно, твердо.

Пожалуй, это спокойствие и эта рассудительность во всем, что касается дела, является даже своего рода отличительной чертой Каменева как политического борца, это заставляет всех считаться с ним как с замечательным мужем совета, и в ЦК партии Каменев всегда имел и будет иметь очень большой вес. Вне деловых отношений он обладает многими очаровательными чертами: прежде всего задушевной веселостью, большим живым интересом ко всем сторонам культурной жизни и редкой сердечностью в личных отношениях.

До революции 1905 года я встречал Каменева сравнительно редко, например на III съезде партии [3]. Он работал целиком в России, я все время за границей. Встретились мы и сошлись ближе, чем прежде, в Петрограде во время революции. Как теперь, так и тогда мы часто находили время под гром и бурю политических событий делиться мыслями об искусстве, о философии. Взгляды наши, в особенности в философии, были чрезвычайно близки. Одно время Каменев даже делал мне честь считать себя чем-то вроде моего ученика.

Раскол среди большевиков, последовавший после поражения первой революции, болезненно отозвался на наших отношениях. Именно принимая во внимание известную духовную близость с Каменевым, я не мог не огорчиться тем, что по поручению ЦК ленинской части нашей партии он разразился по поводу моей книги «Религия и социализм» [4] и некоторых моих статей, относившихся к тому же периоду, весьма резкой, несправедливой полемической статьей. Я знаю, что политика вообще сурова и временами малопригглядна, что в политической борьбе беспощадность является чем-то само собой разумеющимся. Но мне казалось, что подобную роль изобличения моих «ересей» мог бы взять человек философски

более далекий от моих воззрений, по крайней мере в недалеком прошлом.

В то время как отношения мои к Ленину, в сущности говоря, не портились ни на одну минуту и вражда наша держалась целиком в плоскости политической, к Каменеву, ввиду этого его неожиданного подозрения, я чрезвычайно охладел.

Я, разумеется, сожалею об этом, не то чтобы я считал себя неправым, но жалко, что подобные временные недоразумения (кто бы ни был в них виноват) заставляют нас терять время и не давать друг другу все то, что мы можем дать.

В период времени от первой революции до второй Каменев пережил большие передряги, так как пробовал работать в России и, как известно, поплатился за это[5]. Вообще, будучи одним из трех руководителей правой, ленинской, части нашей партии, он, быть может, больше, чем другие, пережил всевозможных приключений, играя более внешнюю и более подвижную роль в главном штабе большевизма.

Деятельность его была более или менее на виду. Я же лично мало осведомлен о той ее части, которая осталась конспиративной, поэтому обо всем этом периоде мне нечего сказать.

Встретился я с Каменевым только во время нынешней революции, о чем расскажу в своем месте.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ Е. А. ЛИТКЕНСА

Еще третьего дня мы обсуждали с отцом покойного Евграфа Александровича, А. А. Литкенсом, есть ли надежда на то, что Е. А. жив и лишь находится в плену у бандитской шайки. Казалось, что такая надежда есть: ограбить его и убить не было расчета, ибо на нем и при нем никогда ничего не было. Хотелось надеяться, что бандиты захватили его в плен, чтобы получить выкуп. А. А. Литкенс собирался в Крым на розыски, я сносился с товарищем Фрунзе *, и с часу на час мы ждали какого-нибудь утешительного известия или хотя бы только намека... Но вместо этого пришла весть, не оставляющая места никаким сомнениям: Евграф Александрович убит, тело его найдено. Меньше стало одним драгоценным работником и прекрасным товарищем.

С Евграфом Александровичем, а по-тогдашнему Граней, я сблизился в начале 1905 года, когда нелегально работал в Петербурге. Через Л. Б. Красина я познакомился и близко сошел-

* М. В. Фрунзе был в то время командующим войсками Украины и Крыма. О нем см. с. 360—364 настоящего издания.— *Ред.*

ся с семьей Веры Гавриловны Аристовой и А. А. Литкенса, тогда старшего врача Константиновского артиллерийского училища. В их квартире на Забалканском проспекте, в здании училища, не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 1905 года. Там же была явка товарища Красина и моя. Иной раз в квартиру старшего врача, на глазах вахтера, приходили такие типы, каких двор Константиновского училища и его лестницы не видели никогда. Но так как низший служебный персонал относился к старшему врачу с большими симпатиями, то доносов не было и все сходило с рук благополучно. Я познакомился и близко сошелся, хотя был старше их лет на 8, на 10, с двумя братьями — Саней и Граней. Саня, которому тогда было лет 18, студент, входил уже формально в организацию большевиков, много работал, весь горел и сгорел. К концу года он оказался в Орловской губернии, развил там необыкновенно широкую и смелую агитацию среди крестьянства, приобрел величайшую популярность в нескольких уездах, стал в течение недель легендарным героем. Потом был арестован, тяжко заболел в тюрьме, молодой организм не вынес величайших потрясений, и Саня умер, вряд ли достигнув 19 лет.

Граня был на год или полтора моложе. В те времена еще гимназист, более осторожный, более критичный, но не менее самоотверженный, чем брат, он, насколько помню, не входил еще в партийную организацию, но все его молодые силы были в распоряжении революции. В подполье каждое самое маленькое действие достигается ценою величайших усилий, преодоления бесконечных трений и препятствий. Вот для этих-то задач и нужна была самоотверженная, безымянно-героическая молодежь. Граня был ее лучшим представителем. Он выполнял все, что нужно было, без вопросов, без претензий, твердо и четко.

Еще вспоминается мне, что этот юноша, чуть не подросток, с угловатыми манерами, свойственными переломному возрасту, и неустоявшимся голосом, нежно и трогательно любил маленьких детей: он ухаживал за ними в свободные часы, как хорошая няня. Это сочетание застенчивой и верной нежности с некоторой внешней суровостью и четкостью мысли и поступков он сохранил на всю жизнь, на всю свою недолгую жизнь.

В 1907 году, после побега из Сибири, проездом через Петербург, я побывал на Забалканском проспекте. Сани уже не было. Граня был студентом, много работал, но ни от чего не отказывался. А время было такое, что многие начали отказываться.

Потом началась для меня эмиграция, и я потерял Граню из поля зрения. В первое время еще переписывался с семьей его, затем оборвалась и переписка...

Встретились мы снова уже в 1917 году. Сперва я не узнал его — «помощника присяжного поверенного». Но когда он понастойчивее взглянул, я по светлым ясным глазам и улыбке признал Граню, который, как младший брат, ухаживал за мной когда-то, когда мне пришлось хворать на квартире его семьи. Мы много говорили о годах, которые разделили нас, хотя говорить приходилось урывками, меж заседаний съездов, фракционных совещаний, митингов и проч. У Евграфа Александровича была тогда осторожность в подходе к основному вопросу революции: буржуазная или социалистическая? Презирая соглашательство и меньшевистское прислужничество буржуазии, всей душой тяготея к большевикам, с которыми он был связан всем своим прошлым, Евграф Александрович колебался в вопросе о том, как сочетать хозяйственную отсталость и разоренность России с перспективами социалистического переворота. Зато он твердо решил в тот период для себя другой вопрос: о необходимости для спасения революции вырваться из адского круга войны, хотя бы и ценою сепаратного мира с Германией. А в те времена — май—июнь 1917 года — самая мысль о сепаратном мире, даже на крайнем левом фланге революции, встречала обычно гневный отпор.

Работа Е. А. Литкенса протекала в 1917 году вне Петербурга, а затем, когда партийный и правительственный центры были перенесены в Москву, Литкенса уже, кажется, не было в Москве. Таким образом, до 20—21-го года встречались мы случайно, урывками, но каждое такое свидание приносило радость. О работе Литкенса в армии, как всегда энергичной и, насколько знаю, успешной, я мог следить только издалека и по бумагам. Чаще стали встречи, когда Литкенс перешел на центральную работу в Москву. К порученной ему большой организационно-административной задаче он относился с величайшей серьезностью, не скрывая от себя всех трудностей, и объективных и субъективных. В своей потертой солдатской шинелишке и видавшем виды военном картузе не раз забегал он ко мне с чертежами, схемами, предложениями в первый период своей деятельности. Были ли эти схемы и планы правильными или нет, судить не могу за отдаленностью своей от этого дела. Думаю, что многое, и притом самое существенное, было правильно. Но больше всего подкупало и привлекало в нем стремление внести ясность, отчетливость в отношения и в работу, то есть те именно качества, которых нам не хватает. Революционер до мозга костей, он, однако, с величайшей враждебностью относился к стремлению заменить ясный план, твердый метод работы революционной импровизацией, наитием, а чаще всего непродуманной отсебятиной и хаотической самодельщиной. Такие работники нам нужнее всего. Только через них преодолеем разруху во всех областях. Такие работники действуют

не на авось, а ищут систему и вырабатывают ее, создают школу и воспитывают в ней. А без школы, без системы, без навыков, без традиций отчетливого труда нельзя создать ни социалистической организации просвещения, ни тем более социалистического общества высокой культуры.

И вот Е. А. Литкенса нет; переутомился, надорвался, заболел, поехал в Ялту на поправку, попал под бандитскую пулю, погиб. Было ему, должно быть, не более 34 лет. Мы за эти годы научились многому, и в том числе терять друзей. Но сердце тем не менее упорно не хочет признать, что Евграф Александрович убит, что нет больше среди нас милого товарища Грани.

К. Радек

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛУТОВИНОВА

Внезапная трагическая кончина товарища Юрия Лутовинова заставила некоторых товарищей говорить в печати о его личном надрыве и надломе. Я меньше встречался с товарищем Лутовиновым на работе, чем многие из членов ВЦСПС, но думаю, что знал его хорошо, что со мною он был очень искренен и что поэтому я могу о его надрыве кое-что сказать. А стоит сказать, потому что этот надрыв товарища Лутовинова не бросает ни на него, ни на нас никакой тени, а рельефно выдвигает некоторые больные вопросы пролетарской революции. Я не знаю, стоит ли смерть Лутовинова в связи с этими его переживаниями, о которых хочу говорить, но эти переживания терзали не одного Лутовинова. Пусть смерть его поможет другим вдуматься в эти вопросы.

Товарищ Аросев пишет, что Лутовинов неслыханно больно переживал всякую тяжелую мелочь рабочей жизни в советском строе. Если отбросить слово «мелочь», если сказать, что Лутовинов переживал с неслыханной мукой страдания рабочего класса в период гражданской войны, что все противоречия нэпа терзали его душу как глубочайшее личное сомнение, то это будет правда. Неравенство социального и партийного быта, бюрократические язвы причиняли ему громадные страдания. Он буквально выл против них. В этом выражалось непонимание того, что пролетариату нельзя разом прыгнуть от капитализма к социализму, да притом еще в такой мелкобуржуазной стране, как Россия. Один раз в Берлине, где он работал в качестве заместителя торгпреда товарища Стомонякова, мы долго бродили по темным улицам и говорили об этом вопросе. Я ему на следующий день принес старую статью голландского марксиста Антона Паннекука, написанную задолго

перед войной, в которой Паннекук высказывал мнение, что захват власти пролетариатом даст ему в руки только рычаг для изменения направления социального развития, но не сумеет в короткое время изменить социальных отношений; что диктатура пролетариата только предрешает, что отныне пролетарский интерес будет руководящим, но не сможет в короткое время обеспечить пролетариату удовлетворение его законнейших экономических, культурных и бытовых потребностей. Когда я перевел ему это место, он ответил мне: так-то так, но это очень трудно.

В Лутовинове выражалось нетерпение пролетариата. Столько веков он страдал, наконец захватил власть, и как же это, чтобы он не мог отряхнуть с себя весь гнет нищеты и неравенства.

Он видел мозгом все затруднения, но вся его натура бунтовала против них. И это противоречие между логикой разума и чувства накладывало на него трагический отпечаток внутренней разорванности и неуравновешенности. Лутовинов, как немногие, был привязан к партии. В самое тяжелое время борьбы в партии с направлением так называемой рабочей оппозиции он никогда не думал о разрыве с партией, но всякое столкновение на почве наболевших вопросов приводило его в глубочайшее волнение. А так как сам он не умел поладить с собой самим и своими сомнениями и высказывал их в неслыханно острой форме, то доходил часто до конфликтов с товарищами. Переходя от нападения к этой свойственной ему грубой, но сердечной искренности, он заставлял умолкнуть всю злобу и превращал товарищей, пять минут тому назад готовых взять его за глотку, в своих друзей. В нем не слышалось этой спокойной равномерной поступи рабочих батальонов, о которой когда-то говорил Лассаль, в нем были и нетерпеливость и скачки. Если бы такое настроение жило в широких рабочих массах, то в моменты затруднений это приводило бы революцию к глубоким потрясениям.

Как он не мог примириться с медленным ростом социалистических элементов после захвата власти, с медленным исчезновением нищеты, так же он не мог примириться с тем, что пролетариат, захватив власть, должен очень долго и мучительно учиться владеть ею. Я его наблюдал на посту заместителя берлинского торгпреда. Отношения между ним и товарищем Стомоняковым были не дружеские, а прямо любовные. Он страстно любил Стомонякова за его преданность делу, бескорыстие, неутомимость в работе, но когда товарищ Стомоняков, доверив ему руководство транспортной частью торгпредства, контролировал его работу, зная, что Юрий, несмотря на свой большой талант, не сможет сразу справиться с громадным и новым делом, Лутовинов бунтовал всем своим существом. Как же это он, потомственный пролетарий, луганский металлист, старый большевик, может быть под

подозрением, что не справится с делом, с которым за деньги справлялись всякие специалисты. И никакие уговоры друзей, которые, по его предложению, знакомились с вопросом, не могли его убедить, что здесь со стороны Стомонякова нет никакого высокомерия интеллигента, интеллигентского недоверия к рабочему. Он не видел проблемы, заключающейся в том, что власть есть не только власть, но и знание. Мы должны были захватить власть в свои руки, чтобы пролетариат мог приобрести себе это знание, но, взяв ее, мы должны прибегать к очень сложным мерам, которые, не позволяя собственникам буржуазного опыта вырвать эту власть у рабочего класса, в то же время помогли бы рабочему классу научиться овладеть всеми элементами этого чужого знания. Непонимание этого положения вызвало у Лутовинова неудовлетворенность работой, за которую всегда брался с большим воодушевлением.

Повторяю, я не знаю, что именно толкнуло Юрия на самоубийство. За два дня до смерти я разговаривал с ним долго, получил впечатление, что он оживлен и менее неуравновешен, чем обыкновенно. Сегодня мы его хороним. Мы сохраним о нем память не только как о хорошем революционере, преданном всей душой делу коммунизма, но как и о революционере, связанном неслыханно интимно с рабочей массой, никогда от нее не отрывавшемся, как о чутком, сердечном товарище. И многие, которые его знали и любили, над его могилой более чутко, более глубоко вдумаются во все затруднения пролетарской революции. Она не так проста, как нам всем казалось, когда мы в нее ринулись. И надо научиться решать все личные сомнения и затруднения под углом зрения ее развития. Может быть, смерть Юрия Лутовинова заставит нас говорить более открыто, более ясно об этих затруднениях развития революции.

Братская память Юрию Лутовинову!

10 мая 1924 г.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ Н. Г. МАРКИНА

Погиб Маркин, это большая потеря. Маркин был превосходный революционер и неустрашимый солдат, настоящий солдат революции. От Балтийского флота он входил в Центральный Исполнительный Комитет второго созыва. Преданный и твердый большевик, он с угрюмой решимостью — некоторая угрюмость была вообще в его характере — боролся против режима Керенского. Когда Петроградский Совет стал большевистским, Маркин сосредоточенно и неутомимо выполнял в нем самые различные работы,

и в частности поставил на ноги вечернюю газету Совета («Рабочий и солдат» [1]). В Октябрьские дни он боролся в первых рядах. Связанный со мной тесным содружеством работы, он вступил в начале ноября в Комиссариат иностранных дел. Матрос-артиллерист, он, однако, сразу превосходно ориентировался в механизме комиссариата, производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов, устраивал по-новому канцелярию, конфисковал дипломатическую контрабанду, продолжавшую поступать в вализах из-за границы, отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью отдельными брошюрами. Немецкие дипломаты в Брест-Литовске с большой жадностью набрасывались на брошюры Маркина, да и не они одни. С начала чехословацкого мятежа Маркин переходит в военное ведомство и сосредоточивает свои силы главным образом на Волжской речной флотилии. Можно сказать без всякого преувеличения, что наша крепкая флотилия на Волге — создание Маркина. Он проявил ни с чем не сравнимую энергию в деле вооружения судов, подборе команд, их воспитания; вел переговоры с профессиональными союзами, добывал для рабочих хлеб, устанавливал премии за скорейшее вооружение пароходов, производил чистку среди матросов, действовал на них словом, примером, где нужно — репрессиями, понукал по телеграфу всех медлителей, не успокаивался ни на минуту,— это был один из драгоценнейших характеров, которые не просто выполняют добросовестно возложенную на них работу, а ставят себе сами цели и всеми силами добиваются их осуществления, сламывая по пути всякие препятствия.

Если бы среди советских работников было побольше таких Маркиных, мы не сдавали бы бесславно городов; на железных дорогах, на заводах, в продовольственном деле не было бы разрухи.

Создав флотилию, Маркин занимал на ней самые боевые посты: сперва в качестве главного комиссара, затем как помощник командующего флотилией товарища Раскольникова, он неустрашимо вел суда в бой; на своем пароходе «Ваня», позже переименованном в «Коммунист» [2], как настоящий рачительный хозяин, он заботился обо всем. У него на счету был каждый снаряд. Он организовал продовольствие и в то же время сам ходил по ночам в разведку, устанавливал телефонную связь и побуждал прибрежные пехотные фланги к более решительным действиям. Под неприятельским огнем он был таков, как всегда: несколько угрюмый, твердый, решительный, честный солдат революции. Накануне взятия Казани он руководил десантом в составе 60 матросов. Ему была обещана поддержка пехотных частей; десант Маркина в ожидании пехотных подкреплений продержался свыше часа под неприятель-

ским огнем, снял замки с береговых тяжелых орудий и, не дожидаясь пехоты, покинул Адмиралтейскую пристань, уже пылавшую со всех сторон от неприятельских снарядов. Николай Григорьевич Маркин погиб в бою на своем пароходе «Коммунист». Среди многих наших утрат эта одна из самых тяжелых. Его сравнительно мало знали в партии и в общесоветских организациях, ибо он не был журналистом или оратором; но дела его были ярче и выразительнее всяких слов. Я близко знал его на деле и свидетельствую, что Маркин был одним из лучших в наших рядах. Не верится, что его больше нет с нами. Прощай, верный, хороший друг Маркин!

Л. Троцкий

В. П. НОГИН

Речь на похоронах

Товарищи! Я вспоминаю, что в первый раз увидел Виктора Павловича Ногина — «Макара» — 22 года тому назад в Лондоне, куда он приезжал по вызову Владимира Ильича и где он работал над усовершенствованием печатного нелегального станка. «Макар» поставил себе задачей создать бесшумно действующий аппарат, и с настойчивостью, которая отличала этого молодого текстильщика, он работал над маленьким делом усовершенствования техники тогдашней печати, которой скоро — я говорю об «Искре» — суждено было перевернуть сверху донизу всю нашу страну. В последний раз я видел и слышал Ногина накануне его отъезда в Америку, куда он ехал как председатель нашего текстильного синдиката, одной из самых могущественных хозяйственных организаций мира. В беседе со мной Ногин окидывал широким оком марксиста-революционера международную обстановку, положение хлопководства в Америке, пути дипломатии и перспективы революции. Это был большого исторического размаха революционер, вышедший из школы Маркса и Ленина.

Сейчас я сближаю эти два момента, разделенные 22 годами: Виктор Павлович — у рукоятки небольшого подпольного ручного станка и Виктор Павлович — у рычага величайшего текстильного синдиката. Колоссальное различие обстановки! Четверть века борьбы и глубочайших переворотов! А в начале его и в конце его Виктор Павлович один и тот же. На протяжении этого периода он жил — и материально, и духовно — с рабочим классом. Это был все тот же скромный, простой рабочий человек, накопивший большие знания, имевший большой кругозор, но оставшийся до конца сыном пролетариата. И в эти же 22 года укладывается вся история нашей партии — партии, прошедшей от ручного под-

польного станка до руководства могущественнейшим хозяйством, до переговоров с буржуазными владыками мира от имени нового государства рабочих и крестьян.

И тяжко, и отрадно. Тяжко — потому, что мы хороним соратника, друга, верного и стойкого борца, подобных которому история создает не часто. Отрадно — потому, что 26 лет работы Ногина врезались драгоценным клином в историю рабочего класса.

И перед его прахом окинув взглядом все, что сделал он, лучший из лучших, мы опустим его в могилу с этим смешанным чувством глубокой скорби и высокого нравственного удовлетворения. Надо сказать молодняку: иди по этим стопам, и ты недаром проживешь жизнь! А тебе, Виктор Павлович, от глубины наших потрясенных сердец — последнее братское прости!

Л. Троцкий

Х. РАКОВСКИЙ

В помещении редакции «Berner Tagwacht» («Бернская стража») я застал интернациональное общество совершенно необычайного для нынешнего времени состава. Здесь были два берлинских редактора, одна деятельница женского рабочего движения из Штутгарта, два французских синдикалиста — секретарь союза металлистов Мергейм и союза бондарей Бурдерон,— доктор Раковский из Бухареста, один поляк и один швейцарец. Это были первые делегаты, прибывшие на конференцию [1]. Гримма не было — он совершал небольшое агитационное путешествие по своему округу и должен был вернуться к вечеру. Моргари находился в Лондоне, и от него ждали с часу на час телеграммы о выезде англичан.

В лице Раковского я встретил старого знакомого. Христю Раковский — одна из наиболее «интернациональных» фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, но румынский подданный, французский врач по образованию, но русский интеллигент по связям, симпатиям и литературной работе (за подписью Х. Инсарова он опубликовал на русском языке ряд журнальных статей и книгу о Третьей республике), Раковский владеет всеми балканскими языками и тремя европейскими, активно участвовал во внутренней жизни четырех социалистических партий — болгарской, русской, французской и румынской — и теперь стоит во главе последней.

Политика молодой румынской социалистической партии в эту эпоху войны была до известной степени параллельна политике итальянской партии. Отстаивая нейтралитет, румынские

социалисты встречают горячие похвалы или столь же горячие порицания со стороны немцев и французов — в зависимости от того, в какую сторону клонило бухарестское правительство и против какого уклона направляли в данный момент свои удары социалистические «нейтралисты». Зюдекум приезжал прошлой осенью в Бухарест, чтобы «воодушевить» румынских социалистов к сопротивлению против вмешательства в войну на стороне держав Согласия. Его содействие было, однако, отклонено. Но, с другой стороны, когда бывший депутат Шарль Дюма, нынешний шеф кабинета Жюля Геда, обратился в мае этого года к своему старому другу Раковскому с письмом, развивающим официальную французскую точку зрения на войну, Раковский ответил ему целой политической брошюрой, мягкой по тону, но очень решительной по существу («Les socialistes et la guerre» («Социалисты и война»). Boucarest, 1915). В этой брошюре он развивает мысль, что между официальной тактикой французской и немецкой партий нет принципиальной разницы, но что внутри каждой из этих национальных партий вырисовываются две непримиримые концепции: «Мы имеем пред собою не две тактики, а два социализма. Такова истина».

— Будете ли воевать?

— Спросите об этом у болгар,— отвечает нам Раковский.— Наше правительство пока что держится за нейтралитет. Но есть слишком много оснований полагать, что вмешательство Болгарии выбьет неустойчивую доску нейтралитета из-под ног министерства Братиану *.

(*Напоминаем читателю, что этот разговор происходил в начале сентября 1915 г.*)

К. Радек

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Близится десятая годовщина того дня, когда в темной ночи человечества, над военными окопами, взошла в яром блеске красная звезда Советов. Из огня орудий, из крови павших, из пота рабочих военных заводов, из страданий миллионов, спрашивавших себя о смысле своих страданий,— родилась Октябрьская революция. Рев пушек, тявканье буржуазной и социал-демократической прессы пытались заглушить ее; но, твердая, непоколебимая, она стояла, и все человечество робко обратило на нее свой взор. Одни — с благословениями и надеждой, другие —

* Брэтиану (Братиану) Йон Младший.— *Ред.*

с проклятиями и бранью. Она была гранью двух миров — мира, погибающего в грязи, и мира, рождающегося в муках. Она была пробным камнем для духа. Все, что было «духом» буржуазного мира — не только его попы и ученые, не только писатели и художники, но и все «интеллектуальные» элементы рабочего движения, то есть громадное большинство буржуазной интеллигенции, соблаговолившей «спасать» пролетариат,— все они испугались лика пролетарской революции. Люди, как Каутский, Плеханов, Гед и другие, всю жизнь призывавшие революцию, теперь отвернулись от нее.

Та часть западноевропейской интеллигенции, которая отнеслась сочувственно к Октябрьской революции, видела в ней лишь конец войны, бунт против войны. Лишь немногие провидели начало нового мира, провидели его с трепетом. В России к большевикам примкнула лишь незначительная часть интеллигенции. Русские интеллигенты, даже те, которые близко стояли к пролетариату, не могли себе представить, чтобы эта отсталая страна могла прорвать фронт мирового капитализма.

В числе немногих, которые не только решительно примкнули к борющемуся пролетариату, но с глубоким сознанием мирового значения происходящего, с несокрушимой верой в победу, с восторженным кличем, была и Лариса Рейснер. Ей было лишь 22 года, когда пробил смертный час буржуазной России. Но ей не было дано увидеть десятую годовщину революции, в рядах которой она мужественно сражалась, битвы которой она описывала, как может описывать только тот, в ком душа большого поэта соединилась с душой большого борца.

Ряд статей и книжек — вот все литературное наследие Ларисы Рейснер. Ее единственная тема — Октябрьская революция. Но пока люди борются, мыслят и чувствуют, пока их влечет узнать, «как это было», они будут читать эти книги и не отложат их, пока не дочитают до последней страницы, ибо от них веет дыханием революции.

Еще не время писать биографию этой выдающейся женщины. Эта биография включила бы не только захватывающие страницы из политической истории Октябрьской революции, но позволила бы глубоко заглянуть в историю духовной жизни дореволюционной России, в историю рождения нового человека. Здесь я набросаю лишь несколько мыслей, лишь несколько штрихов и заметок, которые послужили бы вехами для такой работы.

Лариса Рейснер родилась 1 мая 1895 года в Люблине (Польша), где ее отец был профессором Пулавской сельскохозяйственной академии. Остзейская кровь ее отца удачно сочеталась в ней с польской кровью матери, наследие старой немецкой культуры ряда поколений строгих юристов — с пылкостью страстной Польши.

Она воспитывалась в Германии и Франции, куда уехал ее отец для научных занятий и где он остался политическим эмигрантом. На ее глазах в родительском доме протекла тяжелая душевная борьба. Из юриста, консерватора и монархиста отец выработал в себе республиканца и социалиста. Обстановка, в которой вырастала Лариса, резко переменилась. Русских профессоров сменили немецкие демократы — Брат, Трэгер — и социал-демократы.

Умные, живые глаза маленькой девочки замечали многое. Она видела Бебеля, веселого Карла Либкнехта, с которым часто встречался профессор Рейснер — главный эксперт в Кенигсбергском процессе. На всю жизнь запомнила Лариса, как она ходила в гости к старой «тетушке Либкнехт». О дымящемся кофейнике, который появлялся на столе во время этих посещений, о сладком пироге, которым потчевала ее «тетушка», она рассказывала, как будто это было вчера. Эти воспоминания послужили основой той теплой привязанности, которую Лариса Рейснер питала к Германии. Дети рабочих из Целендорфа, с которыми она ходила в школу, рассказы работницы Терезы Бенц, помогавшей ее матери по хозяйству,— все это жило в воспоминаниях Ларисы; и, когда она в 1923 году проживала нелегально в Берлине в рабочей семье, она чувствовала себя там как дома. И старушка работница, которая мыла ей голову, и ее внучка, с которой Лариса ходила гулять в Тиргартен, все они видели в ней близкого им человека, а не интеллигентку-чужестранку.

Русская революция, волны которой перекатывались через немецкую границу, находила отклик в душе маленькой девочки. Отец и мать поддерживали постоянные дружеские связи с русскими эмигрантами-революционерами. Правда, малютка не могла знать, что письма Ленина к профессору Рейснеру [1] станут впоследствии ее гордостью. Товарищи, таинственно появлявшиеся и исчезавшие, конечно, возбуждали сильнее ее воображение. Наступила революция 1905—1906 годов, отец ее мог вернуться в Россию; Лариса очутилась в Петербурге. До сих пор путь ее вел прямо к революции. Здесь он сворачивает в сторону: и удивительно, как она вообще не сбилась с верной дороги, дороги всей своей жизни. Ее отец, профессор государственного права, марксист, вступает в борьбу с либеральной профессурой Петербургского университета. Великий мир науки — это очень маленький мирок ученых. И нет той грязи, мелочи, подлости, которой бы великие ученые не пользовались в борьбе с противником. Социалиста заподозрили — да в чем же ином заподозрить социалиста? — конечно, в тайной связи с реакцией. Старая кумушка Бурцев ввязался в эти сплетни, имея к тому и личные побуждения. Годами профессор Рейснер боролся за свою полити-

ческую честь против «великого кривого» из «Пер Гюнта»[2], против клеветы, басен, шушуканья, против подозрений, которые нельзя привлечь к ответственности. Он отошел от политической жизни. Дома воцарилась нужда, заботы и, наконец, озлобление и безнадежность. Маленькая девочка, связанная с родителями тесными узами любви, отлично понимала, почему пустеет родительский дом, почему все реже слышится голос отца, почему часами не смолкают его шаги. Эти воспоминания оставили глубокий след в ее душе, но, хотя они воздвигли стену между ней и революционными кружками, они не могли отвлечь ее от проблем социализма. Еще в гимназии, пребывание в которой было настоящей мукой для талантливой, живой девочки, она пишет драму «Атлантида», напечатанную в 1913 году издательством «Шиповник». Эта драма, не выдержанная по форме, показывает уже направление мыслей Ларисы. Она изображает человека, который хочет своей смертью спасти общество от гибели. Детская драма! «Человек» никогда не сможет спасти общество от гибели. Но девочка, написавшая эту драму, долгими ночами, сидя на постели, думала о человечестве и его страданиях. Материалом для этого первого произведения Ларисы послужила книга Пёльмана «История античного коммунизма и социализма». Это тем более интересно, что Лариса находилась в то время под непосредственным влиянием Леонида Андреева. Этот крупный писатель-индивидуалист был не только ее учителем в литературе, но и влиял на ее духовное развитие. Но он не мог отклонить ее от избранного ею пути. Ни он, ни поэты кружка «акмеистов» — как Гумилев,— влиявшие на нее со стороны формы. В 1914 году, когда все эти поэты превратились в Тиртеев империалистической бойни, она, как и отец ее, не колеблясь ни минуты, решительно выступает в защиту международного социализма.

Они закладывают последнее, чтобы получить средства на издание журнала «Рудин»[3], начать борьбу с предателями международной солидарности. Только политическим одиночеством семьи Рейснер, отлично известным охранке, объясняется возможность появления подобного журнала. Иначе достаточно было бы беспощадно злых карикатур на Плеханова, Бурцева и Струве, чтобы его прикрыли. Борьбу с цензурой и с материальными затруднениями вела девятнадцатилетняя Лариса, и она же вела в журнале идейную борьбу блестяще отточенными стихами и острыми саркастическими заметками. Но эта борьба должна была кончиться. Как всякая война, она требовала денег, а денег не было. Когда уже нечего стало закладывать, журнал прекратил свое существование. Лариса начинает сотрудничать в «Летописи»[4], в единственном в то время легальном интернационалистическом журнале.

С первого момента Февральской революции Лариса приступает к работе в рабочих клубах. Кроме того, она пишет в газете Горького «Новая жизнь» [5], которая, не решаясь выдвинуть лозунги Советской власти, вела борьбу против коалиции с буржуазией. Ее памфлет против Керенского показывает, что она своим тонким художественным чутьем сразу поняла гниль и внутреннюю пустоту правительства Керенского. Очень интересны ее маленькие наброски и очерки, в которых она описывает жизнь рабочих клубов и театров в дни, предшествовавшие Октябрю. В этих очерках поражает глубокое понимание стремления народных масс к творчеству. В том, что для интеллигентского высокомерия было предметом презрительной усмешки, в неуклюжих попытках рабочих и солдат дать на сцене оформление жизни — она разглядела проявление творческих усилий нового класса, новых общественных слоев, желавших не только воспринимать действительность, но и оформлять и передавать ее. Ее глубоко творческая натура ощущала творческий порыв революции, и она последовала ее зову.

В первые месяцы после Октябрьской революции она работала по приему и инвентаризации художественных музейных ценностей. Прекрасный знаток истории искусств, она помогала спасти и сохранить для пролетариата многое из наследия буржуазной культуры. Но вот начинаются первые бои с контрреволюцией. Нужно было сперва отстоять свою жизнь, свое право на существование, для того чтобы положить основы для дальнейшего творчества революции. Лариса, вступившая теперь в партию, отправляется на чехословацкий фронт. Она не может быть только зрителем в борьбе между старым и новым миром. Она работает в Свияжске, где выковывалась в борьбе с чехословаками Красная Армия. Она участвует в борьбе нашего Волжского флота. Но она не рассказывает об этом в своей книге «Фронт». Она рассказывает здесь только о боях Красной Армии, но скромно умалчивает о своем участии в них. Так пусть о ней расскажет другой участник этих боев, А. Кремлев, товарищ Ларисы; в «Красной звезде» [6], органе Реввоенсовета [7], он пишет по поводу ее смерти:

«Под Казанью. Белый идет напролом. Узнаем, что у нас в тылу — Тюрляма — прорвались белые, уничтожили охрану и взорвали 18 вагонов со снарядами. Наш участок разрезан надвое. Штаб здесь, а что стало с теми, кто отрезан?

Неприятель идет на Волгу, в тыл не только отрядам, но и флотилии.

Приказ: идти в прорыв, узнать и связаться с отрезанными.

Идет Лариса, берет Ванюшку Рыбакова — салагу (мальчик!) и еще кого-то,— не помню,— и прут втроем.

Ночь, дрожь от холода, одиночество и неизвестность. Но Лариса идет так уверенно незнакомой дорогой!..

У деревни Курочкино кто-то заметил,— обстреливают, стреляют,— трудно ползти. Переплет! А Лариса шутила — и от скрытой тревоги был только бархатнее голос.

Выскочили из полосы обстрела — ушли!

— Вы устали, братишка?.. Ваня? А ты?

Она была недосягаемо высока в этот миг, с этой заботой. Хотелось целовать черные от дорожной пыли руки этой удивительной женщины.

Она ходила быстро, большими шагами,— чтобы не отстать, надо было почти бежать за ней...

А к утру — в стане белых. Пожарище, трупы — Тюрляма. Отсюда, изнемогая, шли на Шихраны, где стоял красный латышский полк.

Фронт связан. И эта с хрупкой улыбкой женщина — узел этого фронта.

— Товарищи, устройте моих братишек... А я?.. Нет, я не устала!

...А потом: разведки под Верхним Услоном, под двумя Сорквашами, до Пьяного Бора. По 80 верст переходы верхом без устали!

В те дни было радости мало. И только не сходила улыбка с лица Ларисы Михайловны в этих тяжелых походах.

А потом Энзели, Баку, Москва!

И не Лариса Рейснер умерла, а женщина с баррикады.

Вот что вспомнил матрос из десанта».

В походе матросы любили ее, горячо, по-братски, потому что мужество соединялось в ней с простотой и человечностью; в отношениях массы к ней не было фальши, никому не приходило в голову, что она на фронте не только товарищ по оружию, но и жена командующего флотом — она в 1918 году вышла замуж за Раскольникова. И точно так же, будучи комиссаром морского штаба в Москве в 1919 году, она умела установить прекрасные дружеские отношения со специалистами флота — адмиралами Альтфатером и Беренсом. Ее культурность, чуткость, такт не давали почувствовать адмиралам царского флота, что они находятся под контролем чужого человека.

В 1920 году она уезжает в Афганистан, куда мужа ее назначили полпредом [8]. Два года она проводит при дворе восточной деспотии, принимая вынужденное участие в блестящих дипломатических празднествах, ведя дипломатическую игру в борьбе за влияние на жен эмира. «Блестящая» и грязная работа, за которой нетрудно было оторваться от революции молодой женщине, отрезанной от борющегося пролетариата! Лариса Рейснер читает серьезную марксистскую литературу. Изучает английский империализм, историю Востока, историю освободительной борьбы в соседней Индии. Там, в горах Афганистана, она чувствует себя частицей мировой революции и

готовится к новой борьбе. Ее книга «Афганистан» доказывает, как расширяется ее горизонт, как из русской революционерки она становится бойцом международной пролетарской армии.

В 1923 году она возвращается в Советскую Россию. Страна рабочих и крестьян имеет теперь совсем иной вид, чем когда она ее покинула. Спартански-строгий «военный коммунизм», который казался непосредственным прыжком из капитализма в социализм, уступил место нэпу. Лариса понимала, как и все мы, необходимость этого шага. Нужно было дать простор хозяйственной инициативе крестьянства не только для того, чтобы получить сырье для промышленности, но просто чтобы не умереть с голоду. Лариса понимала это умом. Но можно ли этим путем прийти к социализму? Ответы, которые давали ей и партия и она сама, не могли успокоить ее душевной тревоги. Она понимала, что невозможно продолжать режим «военного коммунизма». Но в глубине души она оплакивала героическую попытку с оружием в руках пробиться к новому общественному строю. Да, правда, улицы наших городов ожили. Грузовики нагружены товаром, магазины открыты, фабричные гудки зовут к работе, но, может быть, растем не только мы,— растут и буржуазные элементы? Сможем ли мы с ними справиться? Не проникло ли разложение и в наши ряды? Не заразятся ли наши хозяйственники, вынужденные участвовать в торговле, ядом капиталистической морали? Не захватит ли гниение и организм партии? Все лето 1923 года Лариса беспокоится и с внутренним содроганием осматривается кругом.

В сентябре она приходит ко мне с просьбой помочь ей выехать в Германию. Это было после массовых забастовок против правительства Куно, когда пролетарские массы Германии снова пытались сбросить оковы. Пуанкаре занял Рур, марка падала с головокружительной быстротой, и затаив дыхание русский пролетариат следил за положением в Германии. Ларису тянуло туда. Тянуло сражаться в рядах германского пролетариата и приблизить его борьбу к пониманию русских рабочих. Ее предложение меня очень обрадовало. Если немецкие рабочие не могут создать себе ясного представления о том, что происходит в России, то и русские рабочие представляют себе борьбу немецкого пролетариата несколько упрощенно и схематично. Я был убежден, что Лариса лучше, чем кто бы то ни был, сможет установить связь между этими двумя армиями пролетариата. Ибо она не была художником-созерцателем, но художником-борцом, который видит борьбу изнутри и умеет передать ее динамику — динамику человеческих судеб. Но в то же время я чувствовал, что ее поездка в Германию — бегство от неразрешенных сомнений.

Лариса прибыла в Дрезден 21 октября 1923 года, в момент, когда войска генерала Мюллера заняли столицу красной Саксонии. Как солдат, она поняла необходимость отступления. Но, когда несколько дней спустя пришли сведения из Гамбурга о восстании [9], она вся

ожила. Она хотела сейчас же отправиться в Гамбург и ворчала, что ей пришлось остаться в Берлине. Целые дни простаивала она у лавок с толпой безработных и голодных, пытавшихся за миллионы марок купить себе кусочек хлеба, просиживала в больницах, переполненных изможденными работницами с их горькими думами и заботами. Я в то время жил конспиративно, встречаясь лишь с партийными лидерами, которые сами не имели возможности непосредственно общаться с массами. Лариса жила жизнью этих масс. В разговоре с безработным в Тиргартене 9 ноября на социал-демократической панихиде по германской революции, на серебряной свадьбе в коммунистическом кругу — всегда она находила путь к сердцам людей, всегда она умела схватить кусок их жизни. Она жила среди рабочих масс Берлина, которые были ей так же близки, как пролетарские массы Петербурга, как матросы Балтийского флота. Гордо возвращалась она с демонстрации в Люстгартене, где берлинский пролетариат наглядно доказал генералу Секту и его броневикам существование «запрещенной» коммунистической партии [10].

Наконец Лариса получила возможность уехать в Гамбург, чтобы описать и запечатлеть для германского и мирового пролетариата борьбу гамбургских рабочих.

«После всего дряблого и жирного здесь встречаешь нечто твердое, сильное и живучее,— писала она тотчас после своего приезда в Гамбург.— Сначала было трудно побороть их недоверие, предубеждение. Но как только рабочие Гамбурга увидели во мне товарища — я смогла узнать все, все их простые, великие и трагические переживания».

Она жила среди покинутых жен гамбургских борцов за свободу, разыскивала беглецов в их убежищах, ходила на судебные заседания, на социал-демократические собрания. А по ночам она читала Лауфенберга, историка Гамбурга и гамбургского движения. Целые кипы материала, собранного ею за эти недели, лежат сейчас предо мной. Они показывают, как она работала,— с чувством глубокой ответственности, с чувством человека, для которого ничтожнейший эпизод этой борьбы звучит «песнью песней» о человечестве. Уже в Москве она проводила многие часы с одним товарищем, который руководил восстанием и вынужден был затем бежать. Она проверяла с ним весь этот материал, списываясь с товарищами, когда у нее возникало сомнение относительно отдельных фактов. Маленькую книжку «Гамбург на баррикадах» писал не увлекающийся художник, но борец для борцов. Сотни сражений, битв и схваток дал германский пролетариат своим врагам, и ни одна не описана с такой любовью, с таким уважением, как эта борьба гамбургских пролетариев. Лариса Рейснер щедро одаряла тех, кого она любила, и почтенный рейхстрибунал не ошибся, когда приказал предать огню эту тоненькую книжечку русской коммунистки. Лариса Рейснер возвратилась из

Германии,— поражение не сломило ее. В Гамбурге она видела огонь под пеплом. Она видела, как поражения воспитывали сильных людей для будущих битв. Но вместе с тем она узнала, что нельзя рассчитывать на близкую победу революции в Европе.

После своего возвращения в Советскую Россию она должна была разобраться в самой себе, разобраться в том, что делалось внизу, в массах, которые в конце концов диктуют ход истории. А так как она была человеком, непосредственно воспринимающим действительность, то она не могла добиться этой ясности путем чтения и споров. Она едет в горнопромышленные и угольные районы Урала и Донецкого бассейна, она едет в текстильный район Иваново-Вознесенска, она едет в мелкобуржуазную Белоруссию. Целые дни проводит она в вагоне, в экипаже, верхом. Снова она живет в рабочих семьях, спускается в шахты, участвует в заседаниях фабричной администрации, завкомов, профсоюзов, ведет беседы с крестьянами — ежедневно, ежечасно она нащупывает путь во мраке, чутко прислушиваясь к жизни. Ее книга «Уголь, железо и живые люди» — плод этой работы,— а это была работа, тяжелая и физически и морально, за которую взялись бы немногие писатели; и все же в ней дана лишь ничтожная часть того, что она пережила, продумала, прочувствовала.

С этой книги начинается и художественно и идеологически новый период в творчестве Ларисы Рейснер. В этой книге она, как коммунистка, стала на твердую идеологическую почву, а как писательница, нашла свой стиль. Ее сомнения исчезают. Она видит, как ведут строительство рабочие массы. Они строят социализм, порой обливаясь потом у доменных печей, порой спускаясь полунагими в шахты, но в лучшей части своей они твердо убеждены, что эти муки, этот тяжелый труд, все это — во имя социализма. Она узнает в неуклюжем грубоватом хозяйственнике своего старого товарища по фронту, который и здесь должен железной рукой натягивать поводья и в то же время чутко прислушиваться к массам, чтобы учесть все пути и возможности. Она видит те колоссальные силы, которые революция пробудила в низших слоях народа. И это укрепляет в ней веру в то, что мы сможем преодолеть все затруднения, связанные с возрождением капиталистических тенденций. Она знает, что мелкобуржуазная стихия — это болото, которое может затянуть грандиознейшее сооружение, она видит, какие странные цветы распускаются на этом болоте. Но в то же время она ясно видит путь борьбы с опасностями, грозящими республике труда, плотины, которыми сумеет оградить себя пролетариат и Коммунистическая партия. И, когда она добилась этой ясности, когда она решила, что ее место в этой борьбе, она принялась точить свое оружие. Ее оружием было ее перо. Лариса раньше мало думала о том, для кого она пишет. Она прекрасно знала историю литературы и искусств; и в стиле ее — богатом и изысканном — отразилась не только присущая ей от природы наблюдатель-

ность, но и многовековая культура, нашедшая в ней такое прекрасное воплощение. Стиль «Фронта» и «Афганистана» напоминает тонкое кружево, филигранную работу. Теперь она сознательно отбрасывает часть этих украшений, упрощает узоры своих вышивок. Она не старается быть «популярной» для рабочего читателя. Она хочет создать для пролетариата полноценное произведение искусства.

Лариса много работает в конце 1924 и в 1925 году. Она перечитывает множество книг по русской и мировой экономике. Я не стану утверждать, что она любила цифры. Проработав один-два скучных учебника, она всегда умоляла дать ей что-нибудь «вкусное» о нефти или хлебе и отдыхала над книгой Делези о нефтяном тресте или эпосом Норриса о пшенице [11]. Вместе с тем она серьезно изучала историю революции. Она готовится к докладам о революции 1905 года для ячейки школы броневиков; и когда, после изучения конкретного материала, она приступает к статьям Ленина из этой эпохи (1904—1908 гг.), она открывает величие простоты в стиле нашего учителя и находит ключ к эстетскому восприятию его сочинений. Таким образом, ее искусство впитало в себя новые элементы. Достаточно прочесть описания крупповских заводов [12] и заводов Юнкерса [13] в ее «Стране Гинденбурга» или ее «Декабристы». Первые два описания выдержаны в техническом стиле. Это не значит, что она уснащает свой язык техническими терминами. Но интерес к экономике научил ее мыслить технически. Она воспринимает машину, заводское строение не только зрением, но и мыслью. На стиль «Декабристов» влияет историческая перспектива. Но опять здесь не подделка, не искусственная архаизация стиля. Она видит людей в исторической перспективе.

Но история и экономика не являются для нее исключительной самоцелью: она исследует в них человеческие взаимоотношения — как жил человек и как он боролся в данных условиях. Рядом с колоссальным заводом Круппа Лариса рисует жалкую рабочую казарму; в декабристе Каховском она выявляет «униженного и оскорбленного» человека и набрасывает незабываемый силуэт немца-законника, который выдумывает для царя идеальную бюрократию и кончает жизнь в снегах Сибири, осмеянный и забытый. Она показывает нам жалких червяков, раздавленных гигантом техники или колесом истории.

Созревшая как художница и революционерка, Лариса Рейснер готовилась к новой работе. Она задумала трилогию из жизни уральских рабочих: первая часть — крепостная фабрика во время Пугачевского бунта [14], вторая — эксплуатация рабочего во времена царизма, третья — строительство социализма. Одновременно она задумала галерею портретов предшественников социализма: не только портреты Томаса Мора, Мюнцера, Бабефа, Бланки, но и портреты незаметных героев пролетариата и кончая титанической борьбой наших

дней. Порой она пугалась задач, которые она себе ставила. Она была очень скромна и часто сомневалась в силе своего дарования. Но она, несомненно, справилась бы с этими задачами, ибо силы ее росли с каждым днем.

Но ей не было суждено выявить то, что в ней дремало. Она пала не в борьбе с буржуазией, не тогда, когда она так часто смотрела в глаза смерти, а в борьбе с природой, которую она так страстно любила. Тяжело больная, с последним проблеском сознания, она радовалась солнцу, лучи которого посылали ей прощальный привет. Она говорила о том, как хорошо будет ей в Крыму, куда она поедет по выздоровлении, и как приятно будет, когда ее измученная голова наполнится свежими мыслями. Она обещала, что будет бороться за жизнь до конца, и она отказалась от борьбы лишь тогда, когда окончательно потеряла сознание.

Ряд статей и книжек — вот все наследие Ларисы Рейснер. По газетам и журналам разбросанные статьи, несколько десятков писем — все это надо еще подобрать. Но они будут жить до тех пор, пока будет жить память о первой пролетарской революции. Они будут возвещать о том, что эта революция была для всех народов, для Запада и Востока, для Гамбурга и Афганистана, для Ленинграда и Урала. И женщина-воин, в уме и сердце которой все находило отклик, восстанет и после смерти из своих книг живым свидетелем пролетарской революции.

А. Луначарский

ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ СВЕРДЛОВ

С Яковом Михайловичем я познакомился сейчас же по приезде в Россию; раньше я о нем только слышал, знал, что это неутомимый социал-демократический, большевистский борец, знал, что он беспрестанно попадал в тюрьму и ссылку и всякий раз фатально бежал оттуда; если его ловили и водворяли вновь, он бежал опять и сейчас же, куда бы ни забрасывала его судьба, начинал организовывать большевистские комитеты или ячейки. Тип подпольного работника, то, что именно является цветом большевика-подпольщика, был в то время Яков Михайлович Свердлов, и из этой подпольной своей работы вынес он два изумительных качества, которым, быть может, нигде, как в подполье, нельзя было научиться. Первое: совершенно исключительное, необъятное знание всей партии и десятки тысяч людей, которые составляли эту партию, казалось, были насквозь им изучены. Какой-то биографический словарь коммунистов носил он в своей памяти.

Касаясь всех сторон личности в пределах годности или негодности для той или другой революционной задачи, он с необыкновенной тонкостью и верностью судил людей. В этой плоскости это был настоящий сердцевед, он ничего никогда не забывал, знал заслуги и достоинства, замечал промахи и недостатки. Это первая вынесенная из подполья черта Свердлова. Второй было несомненное организационное умение.

Конечно, я не знаю, насколько реально Свердлов оказался бы организатором живого дела хозяйства и политики после вступления революции на путь медленной и трезвой реализации наших идеалов, но в подпольной области, в интенсивной, хотя и узкой работе организатора-революционера он был великолепен, и оказалось, что этот опыт был достаточен для того, чтобы сделать из Свердлова создателя нашей конституции, чтобы сделать из него всем импонирующего председателя ВЦИК, соединявшего при этом в своих руках и главное руководство секретариатом партийного центра.

В свое время, до июльских дней, Свердлов состоял, так сказать, в главном штабе большевиков, руководя всеми событиями рядом с Лениным, Зиновьевым и Сталиным. В июльские дни он выдвинулся на передний план. Я не стану здесь распространяться ни о причинах, ни о значении июльского выступления петроградского и кронштадтского пролетариата. Но в значительной степени техническая организация, после того как выступлению помешать оказалось невозможно, проходила через руки Свердлова. Он же пропустил в гигантском смотре несколько десятков тысяч вооруженных людей, составлявших демонстрацию мимо балкона Кшесинской, давая проходившим отрядам необходимые лозунги.

В высшей степени странно, что, в то время как был отдан приказ об аресте Ленина, Зиновьева [1], Троцкий, я и целый ряд других большевиков и левых эсеров посажены были в тюрьму, Свердлов не был арестован, хотя буржуазные газеты прямо указывали на его руководящую роль в том, что они называли восстанием. Во всяком случае, это позволило Свердлову, насколько я знаю, быть главным руководителем партии в тот роковой момент и придать ей бодрый дух, несмотря на понесенные ею поражения.

Опять на гребень истории подымается Яков Михайлович в пору созыва Учредительного собрания. Ему поручено было быть его председателем до выбора президиума.

В этих самых силуэтах мне неоднократно приходилось отмечать одну черту, которая всегда восхищала меня в крупнейших революционных деятелях: их спокойствие, их безусловную уравновешенность в моменты, когда, казалось, нервы должны были бы быть перенапряжены, когда, казалось, невозможно не выйти из равновесия. Но в Свердлове эта черта достигала одновременно чего-то импонирующего и, я сказал бы, монументального и вместе с тем отличалась

необыкновенной естественностью. Мне кажется, что не только во всей деятельности Свердлова, но даже в его слегка как бы африканской наружности сказывался исключительный темперамент. Внутреннего огня в нем, конечно, было очень много, но внешне этот человек был абсолютно ледяной. Когда он не был на трибуне, он говорил неизменно тихим голосом, тихо ходил, все жесты его были медленны, как будто каждую минуту он молча говорил всем окружающим: «Спокойно, неторопливо, тут нужно самообладание».

Если поражал своим спокойствием в дни острого конфликта Советского правительства и Учредилки комиссар Учредительного собрания Моисей Соломонович Урицкий, то все же он мог показаться чуть ли не суетливым рядом с флегматичным с внешней стороны и бесконечно внутренне уверенным Свердловым.

Огромное большинство делегатов коммунистов, как и делегатов эсеров, вибрировало в тот день, и весь Таврический дворец жужжал, как взволнованный рой: эсеры распространяли слухи о том, что большевики затеяли перебить правую и центр Учредительного собрания, а среди большевиков ходили слухи, что эсеры решились на все, и кроме вооруженной демонстрации, которая, как мы знаем из процесса, действительно готовилась, но сорвалась, окажут еще вооруженное сопротивление разгону Учредительного собрания и, может быть, прямо перед лицом всего мира «со свойственной этой партии героичностью» совершат тот или другой аттентант «против опозоривших революцию узурпаторов», которые «нагло сидели на захваченных насилием скамьях правительства!».

На самом деле ни большевики, ни эсеры никаких таких эксцессов не совершили и даже не думали совершать. Разница в поведении обеих партий заключалась только в том, что большевикам вовсе не понадобилось никакого применения оружия. Достаточно оказалось одного заявления матроса Железняка *: «Довольно разговаривать! Расходитесь по домам». Со стороны же эсеров вообще проявлена была величайшая «лояльность», которую потом некоторые из них горько оплакивали как явный признак малодушия, окончательно подломившего престиж партии в глазах еще питавшей иллюзии на их счет части населения.

Так, в этой нервной обстановке, когда все заняли свои места и когда напряжение достигло высшей точки, правые и центр заволновались, требуя открытия заседания. Между тем Свердлов куда-то исчез. Где же Свердлов? Некоторыми начало овладевать беспокойство. Какой-то седобородый мужчина, выбранный, несомненно, за полное сходство свое со старейшиной, уже взгромоздился на кафедру и протянул руку к колоколу. Эсеры решили самочинно открыть заседание через одного из предполагавшихся сеньоров. А тут-то как

---

* Железняков А. Г.— *Ред.*

из-под земли вынырнула фигура Свердлова, не торопившегося сделать ни одного ускоренного шага. Обычной своей размеренной походкой направился он к кафедре, словно не замечая почтенного эсеровского старца, убрал его, позвонил и голосом, в котором не было заметно ни малейшего напряжения, громко, с ледяным спокойствием объявил первое заседание Учредительного собрания открытым.

Я потому останавливаюсь на подробностях этой сцены, что она психологически предопределила все дальнейшее течение этого заседания. С этой минуты и до конца левые все время проявляли огромное самообладание.

Центр, еще кипевший от маленького холодного душа Свердлова, как будто сразу осел и осунулся: в этом каменном тоне они сразу почувствовали всю непоколебимость и решительность революционного правительства.

Я не стану останавливаться на конкретных воспоминаниях о встречах со Свердловым и о работе с ним в течение первых лет революции, но просто суммирую все это.

Если революция выдвинула большое количество неутомимых работников, казалось, превзошедших границы человеческой трудоспособности, то одно из самых первых мест в этом отношении должно быть отдано Свердлову. Когда он успевал есть и спать, я не знаю. И днем и ночью он был на посту. Если Ленин и другие идейно руководили революцией, то между ними и всеми этими массами, партией, советским аппаратом и, наконец, всей Россией, винтом, на котором все поворачивалось, проводом, через который все проходило, был именно Свердлов.

К этому времени он, вероятно инстинктивно, подобрал себе и какой-то всей его наружности и внутреннему строю соответствующий костюм. Он стал ходить с ног до головы одетый в кожу. Во-первых, снимать не приходится надолго, а во-вторых, это установилось уже в то время как прозодежда комиссаров. Но этот черный костюм, блестевший, как полированный лабрадор, придавал маленькой, спокойной фигуре Свердлова еще больше монументальности, простоты, солидности очертания.

Действительно, этот человек казался тем алмазом, который должен быть исключительно тверд, потому что в него упирается ось какого-то тонкого и постоянно вращающегося механизма.

Лед — человек и алмаз — человек. И в этическом его облике была та же кристалличность и холодная колючесть. До прозрачности отсутствовало в нем личное честолюбие и какие-либо личные расчеты. В этом отношении он был как бы безличен. Да и идей у него своих не было. У него были *ортодоксальные идеи* на все; он был только отражением общей воли и общих директив; лично он их никогда не давал, он только *их передавал*, получая их от Центрального Комите-

та, иногда лично от Ленина. Передавал он их, конечно, четко и великолепно, приспособляясь к каждому конкретному случаю. Когда он говорил как оратор, то его речи всегда носили официальный характер, настоящая передовица официальной газеты. Все продумано, только то, что надо. Никакой сентиментальности. Никакой игры ума. В данном случае и в данном месте надо произнести такой-то «акт», он сказан, записан, скреплен, теперь, пожалуйста, дискутируйте, творите историю и т. д., официальные рамки даны.

Я не могу сказать наверное, сломился ли наш алмаз Свердлов именно в силу чрезмерной работы, это так всегда бывает трудно сказать. Мне кажется, что врачи здесь недооценивают всей интенсивности переживаний революционера. Часто приходится слышать от них: «Конечно-де, переутомление сыграло здесь значительную роль, но настоящий корень болезни другой, и при самых благоприятных условиях он, может быть, несколько позднее сказался бы». Я думаю, это не так. Я думаю, что таящиеся в организме недуги и внешние опасности, всегда его окружающие, превращаются в роковую беду именно на почве такого переутомления и оно поэтому является подлинной доминирующей причиной катастрофы. Фактически Свердлов простудился после одного из своих выступлений в провинции, но на деле, просто не сгибаясь, сломался наконец от сверхчеловеческой задачи, которую положил он на свои плечи. Поэтому, хотя умер он, как некоторые другие революционеры, не на поле сражения, мы вправе рассматривать его как человека, положившего свою жизнь в жертву делу, которому он служил.

Лучшей надгробной речью ему была фраза Владимира Ильича: «Такие люди незаменимы, их приходится заменять целой группой работников».

К. Радек

Я. М. СВЕРДЛОВ

Когда я, приехав в Петроград в ноябре 1917 года и переговорив с Владимиром Ильичем о положении за границей, спросил его, с кем переговорить насчет всей работы, он ответил мне просто: «Со Свердловым». Я о товарище Свердлове раньше уже слышал как об одном из лучших нелегальных организаторов партии, но так как работа, о которой шла речь между мною и товарищем Лениным, касалась организации наших заграничных связей, то я был немного удивлен; однако после нескольких минут разговора со Свердловым у меня исчезло всякое сомнение.

Свердлов поставил мне ряд точных и ясных вопросов: во-первых, насчет размеров наших связей из Стокгольма с Германией, Фран-

цией и Англией; во-вторых, насчет техники этих связей и, в-третьих, насчет моих наблюдений на финско-шведской границе.

Намотав это себе на ус и задумавшись немного, он указал на царскосельское радио как на новый, до того времени не находившийся в руках революционеров метод связи. «Но главное,— сказал он мне наконец,— это теперь связь через германский фронт». Он просил меня снестись с Петроградским Комитетом насчет связи с военнопленными и обдумать все прочее. Центр работы он предложил устроить в виде отдела внешних сношений при ВЦИК. Я спросил его насчет людей, которых он может мне предоставить. Он снова, не давая конкретного решения, указал на путь к нему: «Надо вам подыскать себе людей из эмиграции, знающих заграницу, и из людей, хорошо знающих фронт; деньги и все прочее получите по мере надобности. Один совет: не обволакивайтесь канцелярией, стройте аппарат в зависимости от роста работы».

Произвел на меня товарищ Свердлов впечатление человека, очень ясно ориентирующегося в условиях работы и лишенного всякого самодурства. Центральный организатор, намечающий пути, дающий задания, но не думающий, что может сам все держать в своих руках.

Я еще не успел наладить работу, а только немного осмотрелся, когда получил от Владимира Ильича приказ отправиться обратно в Стокгольм для первых предварительных переговоров с представителем германского правительства, главным советником Бетман-Гольвегом. Мы имели сведения, что военная клика в Берлине против мирных переговоров и что она пугает правительство тем, что большевики идут на конференцию только для агитации. Это их убеждение я должен был рассеять.

Перед отъездом я имел долгий разговор со Свердловым, который добродушно радовался по поводу того, что именно мне выпала на долю задача доказывать, что мы — люди, не связывающие агитацию с мирными переговорами. Смеясь, сказал он мне на прощание: «Интересно, сумеете ли вы принять очень невинный вид. Хотел бы на вас при этом посмотреть».

Когда я вернулся из Стокгольма, Свердлов вызвал меня к себе и, дав понять, что не считает меня первоклассным организатором, завел разговор о военнопленных. «Что значит агитация через брошюру? Брошюра передает схему революции, но не передает ее дыхания. Главную роль в распространении идей Советской России сыграют вначале военнопленные, когда они вернутся домой. Даже те, которые против нас настроены, когда очутятся лицом к лицу с буржуазной действительностью, сделаются рассадниками наших идей. Надо подобрать в каждой национальной группе военнопленных ударный кулак для агитации среди военнопленных. Если это удастся, удастся все. Тут стоит приналечь и не щадить себя».

В будущем предсказание товарища Свердлова вполне оправдалось. Организатор, привыкший работать через живых людей, а не через мертвую бумагу, инстинктом своим великолепно схватил сущность дела. Роль Бела Куна, Тибора Самуэли и других венгерских военнопленных, роль Муна и товарищей в Чехословакии показали, какое значение имела инициатива Свердлова.

После Брест-Литовского мира, в тяжелые месяцы борьбы Советской власти против брестского ига, Свердлов все время держал связь с работой среди военнопленных. Он интересовался не только общей постановкой работы, а приказывал присылать к нему людей для разговора, чтобы их «понюхать», как выражался Свердлов.

У Свердлова, как известно, в голове была партийная картотека со всеми живыми и мертвыми активными работниками партии. Видно было, как во время разговора о военнопленных, выдвигающихся у нас, и об известных нам заграничных товарищах он создавал в своем мозгу уже новую международную картотеку на случай победы революции в одной или другой стране.

После Брестского мира я объединял работу по руководству отделом Центральной Европы в НКИД и по руководству отделом внешних сношений при ВЦИК. Как по той, так и по другой работе мне часто приходилось иметь дело с Яковом Михайловичем.

Вспоминаю теперь ярко два момента. Совнаркомом была создана комиссия по выполнению Брестского договора. Руководителем этой комиссии назначили меня. Комиссия должна была сосредоточить надзор за работой, которую выполняли разные ведомства на основании Брестского договора. Я собрал междуведомственное совещание. Выяснив с собравшимися задачи, я попросил их наметить приблизительно, какие кредиты для этого понадобятся. По подсчету заявленных требований составлена была смета, если не ошибаюсь, в 5 или 6 миллионов рублей в месяц на организационные канцелярские расходы. Я, как человек, который раньше никогда больше 100 рублей в месяц не расходовал, ужаснулся и заявил собравшимся представителям ведомств, что никакого предварительного бюджета не надо, ибо это будет только стимулом для создания брестских канцелярий при каждом ведомстве. Я предложил выделить по одному человеку в каждом ведомстве, с которым я буду сноситься, а после посмотрим, какие он будет иметь расходы. Когда я рассказал об этом Свердлову, он ужасно обрадовался: «Если бы вы не отклонили их предложения, то мы, наверно, больше уплатили бы комиссариатам, чем немцам во исполнение мирного договора. Но сколько же денег надо вам на центральный аппарат?» — спросил он меня. Я попросил 100 000 рублей. Свердлов и Владимир Ильич ужасно смеялись.

Можно представить себе мою гордость, когда в день аннулирования Брестского договора я вернул в кассу ВЦИК 93 000 рублей из ассигнованных 100 000 рублей. Правда, мы не очень-то много

пунктов из Брестского договора исполнили, но не подлежит сомнению, что, если бы я не послушал совета Свердлова не обрастать канцеляриями, комиссариаты развели бы такую бумажную работу, что мы на нее потратили бы не один миллион рублей.

Когда был убит Мирбах и начали накопляться сведения о военном кольце, которым Германия окружает нас, Свердлов вызвал меня и сказал, что в случае немецкого наступления, перед которым придется эвакуироваться на восток, мне и товарищу Куну придется, наоборот, эвакуироваться на запад; что немцы будут нас искать в Центральной России и что поэтому базу для агитации среди немецких войск надо создать в Смоленске; что он даст поручение там же подыскать квартиру, устроить нелегальную типографию и перевезти шрифты, нам же теперь не следует отправляться туда, чтобы преждевременно не расконспироваться в качестве большевиков, но нужно быть наготове на случай опасности. Он взял все имевшиеся у нас справки о том, откуда можно добыть иностранный шрифт, и просто, ясно и спокойно выяснил со мною предстоявшие нам задачи. В этом разговоре били из него сила, уверенность и спокойствие революционера, готового исполнить свой долг на всяком посту, при всякой обстановке и требующего того же от всякого товарища. Несмотря на то что Свердлов был скуп на слова и старательно прятал свои чувства, всякий чувствовал в нем не только человека политического расчета и организатора, передвигающего шахматные фигуры на доске партии, но и революционера, связанного какими-то невидимыми нитями чувства с каждым революционером, которого он включал в свою картотеку партийного актива. Поэтому так радостно было с ним работать.

Когда вспыхнула германская революция [1], мы имели только смутные сведения о происходящем. Я пытался добиться связи по «Юзу» с министерством иностранных дел в Берлине, но Ковна, в которой сидел генерал Гофман, рвала эту нашу связь. Когда удалось ее наконец получить, у аппарата в Берлине очутился чиновник министерства иностранных дел, который на все вопросы отвечал: «Не знаю, никого нет». «Прикажите ему отвечать именем председателя ВЦИК с ответственностью перед председателем Берлинского совета рабочих и солдатских депутатов». Это не был маневр. В словах Свердлова и в его глазах чувствовалось все достоинство представителя великой русской революции и уверенность, что раз в Германии вспыхнула революция, то чинушка в министерстве иностранных дел не посмеет не послушаться, если ему твердо приказать. И чинуша послушался.

Со всех сторон на нас жали оставшиеся миссии нейтральных держав. Германия была разгромлена; ясно было, что союзники возьмутся за очередную задачу и попытаются громить Советскую Россию. Посыпались ноты и заявления протеста по поводу красного террора. Владимир Ильич поручил мне составить ответную ноту.

Свердлов, присутствовавший при разговоре, сказал мне: «Бросьте канцелярщину, напишите так, чтобы почувствовали». Я составил проект известной ноты о белом и красном терроре, которая была выдержана в совершенно недипломатическом тоне. Товарищ Чичерин немного испугался сравнения иностранных держав с шакалами и настаивал на удалении этого места. Я апеллировал к Свердлову. Свердлов, хохоча в телефон, предложил, в качестве компромисса, «шакалы» заменить «гиенами», что и было сделано.

Когда, по поручению ЦК, я написал ноту Вильсону [2] и прочел ее позже товарищам Ленину и Свердлову, Свердлов бросил слова о «послании запорожцев», которые были потом увековечены известной карикатурой.

Мы добились приглашения на съезд рабочих и солдатских депутатов в Германии [3]. Свердлов составил делегацию из Бухарина, Раковского, Иоффе, Игнатова и меня (товарищ Бухарин ошибается в своих воспоминаниях о товарище Мархлевском: товарищ Мархлевский не был в делегации, он отправился в Германию в январе 1919 г.). Мы собрались для установления линии действия. Свердлов у телефона давал распоряжения насчет снабжения нас на дорогу, сам из своих кожаных штанов вытянул пакет с деньгами (могу теперь выдать тайну, какие «кучи золота» везла эта авторитетная комиссия Советского правительства: мы получили 200 000 марок) и распределил роли, все шутя. Через час приехал и грузовик с продовольствием для нас, которые должны были подкормить и Либкнехта, Меринга, Розу Люксембург и других истомившихся в тюрьмах товарищей. Каково же было мое удивление, когда я на грузовике увидел бочку меда и крупу. Что-то перепутали в кладовых ВЦИК, и мы, как древние евреи на пути своем из Египта в Палестину, должны были питаться всю дорогу манной кашей. Между прочим, этой же манной кашей с медом и кормили немецких солдат, когда нас в Вильне арестовал генерал Фалькенгейм * и отправил в товарном вагоне в Минск. Правду говоря, я рассердился на эти две бочки и приказал их снять, но Свердлов добродушно сказал мне: «Каша так каша, может пригодиться, берите ее спокойно с собой». Мы расстались, и это был последний раз, когда я видел Свердлова. Мне пришлось с ним только еще раз говорить по «Юзу» из Минска, куда мы попали после того, как наш поезд был задержан немцами и мы были отправлены через Литву обратно в Советскую Россию.

Я по «Юзу» обратился к Свердлову с запросом, не попытаться ли мне проехать нелегально в Берлин через отступающие немецкие войска. Свердлов без единой минуты задержки дал ответ: поехать, приказав только ждать нарочного с полномочиями на мое имя как представителя ВЦИК.

---

* Фалькенхайн Э.—*Ред.*

Когда я в марте 1919 года сидел в тюрьме [4] и прочел во «Франкфуртской газете» известие о смерти Якова Михайловича, я не поверил. Так не вязалось с этой живучей личностью ее исчезновение из актива русской революции, что я считал эти сведения уткой и они не вызывали во мне никакого чувства огорчения. Только в мае месяце я получил письмо от жены, через датский Красный Крест. Она, понятно, была убеждена, что я знаю о смерти Свердлова и не писала ничего о ней. Только описывая партийный съезд [5], она заметила, что около нее прошел какой-то товарищ в кожаном костюме, роста Свердлова, и что тогда сжалось ее сердце при мысли, что если мне судьба позволит вернуться в Россию, то я больше Свердлова не увижу.

Вернувшись, я увидел только его могилу у Красной стены.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ СВЕРДЛОВА

Со Свердловым я познакомился только в 1917 году, на заседании фракции большевиков I съезда Советов [1]. Свердлов председательствовал. В те времена вряд ли многие в партии догадывались об истинном удельном весе этого замечательного человека. Но уже в ближайшие месяцы он развернулся целиком.

В первый пореволюционный период эмигранты, то есть те, которые много лет провели за границей, отличались еще от «внутренних», «туземных» большевиков. Европейский опыт и связанный с ним более широкий кругозор, а также теоретически обобщенный опыт фракционной борьбы давали эмигрантам во многих отношениях серьезные преимущества. Разумеется, это деление на эмигрантов и неэмигрантов было лишь временным, и затем различие стерлось. Но в 1917 и 1918 годах оно было во многих случаях очень ощутимым. Однако в Свердлове «провинциализма» не чувствовалось и в те времена. Он рос и креп из месяца в месяц так естественно, органически, как бы без усилий, в ногу с событиями и в постоянном соприкосновении сотрудничества с Владимиром Ильичем, что на посторонний взгляд могло казаться, будто он так и родился готовым революционным «государственником» первоклассного масштаба. Ко всем вопросам революции он подходил не сверху, то есть не от общих теоретических соображений, а снизу, под непосредственными жизненными толчками, передававшимися через организацию партии. Каждая новая революционная задача вставала перед ним прежде всего или конкретизировалась для него немедленно по возникновении как организационная задача. Иногда во время обсуждения нового политического вопроса могло казаться, что Свердлов, особенно если он молчал, что бывало

нередко, колеблется или же еще не составил своего мнения. На самом же деле он во время прений про себя проделывал параллельную работу, которую можно обозначить так: кого и куда послать? как направить и согласовать? И к тому моменту, когда определялось общее политическое решение и нужно было подумать об организационной и персональной стороне дела, почти неизменно сказывалось, что у Свердлова имеются уже готовые, очень дальнозоркие практические предложения, обоснованные на справках памяти и личном знакомстве с людьми.

Все советские ведомства и учреждения в тогдашнем первоначальном периоде своей стройки обращались к нему за людьми, и это первое, черновое распределение партийных кадров требовало исключительной личной находчивости и изобретательности. На аппарат, на записи, на архивы опираться нельзя было, ибо все это было еще в крайне слабом виде и не давало, во всяком случае, прямых путей к определению того, в какой мере профессиональный революционер Иванов пригоден в качестве главы какого-нибудь советского департамента, у которого пока что было только имя. Чтобы решить такой вопрос, нужна была особая психологическая интуиция, нужно было в прошлом Иванова найти две, три точки опоры и сделать из них выводы для совершенно новой обстановки. Причем такую пересадку приходилось производить по самым различным линиям — в поисках то народного комиссара, то заведующего типографией «Известий» [2], то члена ВЦИК, то коменданта Кремля и т. д. без конца. Организационные вопросы эти вставали, разумеется, вне всякой последовательности, то есть не от высших постов к низшим или от низших к высшим, а вперемежку, случайно, хаотически. Свердлов наводил справки, собирал или припоминал биографические сведения, созванивался по телефону, рекомендовал, посылал, назначал. Сейчас я затрудняюсь даже сказать, в каком, собственно, звании он выполнял эту работу, то есть каковы были его формальные полномочия. Но, во всяком случае, значительную часть этой работы он выполнял единолично,— при поддержке, разумеется, Владимира Ильича,— никто этого не оспаривал, потому что это требовалось всей тогдашней обстановкой.

Значительную часть своей организационной работы Свердлов вел как председатель ВЦИК, пользуясь членами ВЦИК для различных назначений и отдельных поручений. «Столкуйтесь со Свердловым!» — советовал по телефону Ильич во многих случаях, когда к нему обращались с теми или другими затруднениями. «Надо столковаться со Свердловым»,— говорил себе новоиспеченный советский «сановник», когда у него выходил разнобой с сотрудниками. Один из путей решения первостепенных практических вопросов состоял — по неписаной конституции — в том, чтобы «столковаться со Свердловым». Но сам Свердлов нисколько, разумеется, не держался за

этот персональный метод; наоборот, вся его работа подготовляла условия для более систематического и упорядоченного разрешения партийных и советских вопросов.

В те времена нужны были во всех областях «пионеры», то есть такие люди, которые умели бы самостоятельно, без прецедентов, уставов и положений орудовать среди величайшего хаоса. Вот таких пионеров и разыскивал для всевозможных надобностей Свердлов. Он вспоминал, как уже сказано, ту или другую биографическую подробность, кто, когда, как себя держал, делал отсюда заключение о пригодности или непригодности того или другого кандидата. Конечно, ошибок было очень много. Но удивительно, что их было не больше. А главное, удивительным кажется, как вообще можно было подойти к делу, стоя перед хаосом задач, хаосом трудностей и минимумом личных ресурсов. С принципиальной и политической стороны каждая задача представлялась гораздо яснее и доступнее, чем с организационной. Это наблюдается у нас и по сей день еще, вытекая из самой сущности переходного к социализму периода, а тогда, на первых порах, это противоречие между ясно понятой целью и недостатком материальных и личных ресурсов сказывалось неизмеримо острее, чем ныне. Именно когда дело доходило до практического решения, многие и многие из нас в затруднении покачивали головой... «Ну а как вы, Яков Михайлович?» И Свердлов находил свое решение. Он считал, что «дело это вполне возможное», если послать группу хорошо подобранных большевиков, да направить их как следует, да связать с кем нужно, да проверить, да подкрепить. Чтобы иметь на этом пути успех, нужно было самому быть насквозь проникнутым уверенностью в том, что каждую задачу можно разрешить и каждую трудность преодолеть. Неистощимый запас *делового оптимизма* и составлял подоплеку свердловской работы. Это, разумеется, не значит, что каждая задача разрешалась таким путем на сто процентов. Хорошо, если она разрешалась на десять процентов. По тому времени это уже означало спасение, ибо обеспечивало завтрашний день. Но ведь в этом и состояла основная работа тех первых тягчайших годов: хоть кое-как прокормить, кое-как вооружить и обучить, кое-как поддержать транспорт, кое-как справиться с тифом,— но во что бы то ни стало *обеспечить завтрашний день революции*.

Особенно ярко качества Свердлова обнаруживались в наиболее трудные моменты, например после июльских дней 1917 года, то есть белогвардейского разгрома нашей партии в Петрограде, и июльских дней 1918 года, то есть после левоэсеровского восстания. И в том и в другом случае приходилось восстанавливать организацию, возобновлять или вновь создавать связи, проверяя людей, прошедших через большое испытание. И в обоих случаях Свердлов был незаменим со своим революционным спокойствием, дальнозоркостью и находчивостью.

В другом месте я уже рассказывал *, как Свердлов прибыл из Большого театра, со съезда Советов, в кабинет Владимира Ильича в самый «разгар» левоэсеровского восстания. «Ну что,— сказал он, здороваясь, с усмешкой,— придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому».

Свердлов был, как всегда. В такие дни познаются люди. Яков Михайлович был поистине несравненен: уверенный, мужественный, твердый, находчивый — лучший тип большевика. Ленин вполне узнал и оценил Свердлова именно в эти тяжкие месяцы. Сколько раз, бывало, Владимир Ильич звонит Свердлову, чтобы предложить принять ту или другую спешную меру, и в большинстве случаев получает ответ: «Уже!» Это значило, что мера уже принята. Мы часто шутили на эту тему, говоря: «А у Свердлова, наверно, *уже*!»

— А ведь мы были вначале против его введения в Центральный Комитет,— рассказывал как-то Ленин,— до какой степени недооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас на съезде поправили и оказались целиком правы...

Несомненно, что блок с левыми эсерами, несмотря на то что о смещении партийных организаций не было, разумеется, и речи, отразился все же некоторой неопределенностью и на поведении партийных ячеек. Достаточно, например, сказать, что когда мы отправляли большую группу работников на Восточный фронт, одновременно с посылкой туда Муравьева в качестве командующего, то выборным секретарем этой группы в несколько десятков человек оказался левый эсер, несмотря на то что группа в большинстве своем состояла из большевиков. Внутри разных учреждений и ведомств отношения между большевиками и левыми эсерами отличались тем большей неопределенностью, чем больше было тогда в нашей собственной партии новых и случайных элементов. Уже один тот факт, что основным ядром восстания оказалась левоэсеровская организация внутри войск ЧК, достаточно ярко характеризует бесформенность взаимоотношений, недостаток бдительности и сплоченности со стороны партийцев, только недавно внедрившихся в свежий еще государственный аппарат. Спасительный перелом произошел здесь буквально в течение двух-трех дней. Когда в дни восстания одной правящей партии против другой все отношения стали под знак вопроса и внутри ведомств выжидательно закачались чиновники, лучшие, наиболее преданные, боевые коммунистические элементы стали быстро находить друг друга внутри всяких учреждений, разрывая связи с левыми эсерами и противопоставляя себя им. На заводах и в воинских частях сплачивались коммунистические ячейки. Это был момент исключительной важности в развитии как партии, так и государства.

---

* См.: *Троцкий Л. Д.* О Ленине. М., 1924. С. 117 и след.— *Ред.*

Партийные элементы, распределявшиеся, отчасти рассеивавшиеся в бесформенных еще границах государственного аппарата и в значительной мере растворявшие партийные связи в ведомственных, тут, под ударами левоэсеровского восстания, сразу обнаружились, сомкнулись, сплотились. Всюду строились коммунистические ячейки, к которым переходило в эти дни фактическое руководство всей внутренней жизнью учреждений. Можно сказать, что именно в эти дни партия в массе своей впервые по-настоящему осознала не только с политической, но и с организационной стороны свою роль правящей организации, руководительницы пролетарского государства, партии пролетарской диктатуры. Этот процесс, который можно бы назвать первым организационным самоопределением партии внутри ею же созданного советского государственного аппарата, протекал под непосредственным руководством Свердлова, шла ли речь о фракции ВЦИК или о гараже военного комиссариата. Историк Октябрьской революции должен будет особо выделить и внимательно изучить этот критический момент в развитии взаимоотношений между партией и государством, наложивший свою печать на весь дальнейший период, вплоть до наших дней. Причем историк, который займется этим вопросом, обнаружит на этом многозначительном повороте крупнейшую роль Свердлова-организатора. К нему стекались все нити практических связей.

Еще более критическими были дни, когда чехословаки угрожали Нижнему, а Ленин лежал с двумя эсеровскими пулями в теле. 1 сентября я получил в Свияжске шифрованную телеграмму от Свердлова: «Немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. 31/VIII 1918 г. Свердлов». Я выехал немедленно в Москву. Настроение в партийных кругах в Москве было угрюмое, сумрачное, но неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов. Ответственность его работы и его роли в эти дни повысилась во много раз. В его нервной фигуре чувствовалось высшее напряжение. Но это нервное напряжение означало только повышенную бдительность,— с суетливостью, а тем более с растерянностью оно не имело ничего общего. В такие моменты Свердлов давал свою меру полностью. Заключение врачей было обнадеживающим. Видеться с Лениным еще нельзя было: к нему никого не допускали. Задерживаться в Москве не было оснований. От Свердлова я получил вскоре по возвращении в Свияжск письмо от 8 сентября: «Дорогой Лев Давидович! Пользуюсь случаем написать пару строк, благо есть оказия. С Владимиром Ильичем дело обстоит хорошо. Через 3—4 дня смогу, вероятно, видеться с ним». Дальше следовали практические вопросы, воспроизводить которые здесь нет надобности.

Ярко запомнилась поездка со Свердловым в Горки, где после ранения выздоравливал Владимир Ильич. Это было в ближайший мой

приезд в Москву. Несмотря на ужасающе трудную обстановку того времени, крепко чувствовался перелом к лучшему. На решающем тогда Восточном фронте мы вернули Казань и Симбирск. Покушение на Ленина послужило для партии чрезвычайной политической встряской,— партия почувствовала себя более бдительной, настороженной, готовой к отпору. Ленин быстро поправлялся и готовился вскоре вернуться к работе. Все это вместе порождало настроение крепости и уверенности в том, что если партия справилась до сих пор, то тем более справится в дальнейшем. В таком именно настроении ехали мы со Свердловым в Горки. По дороге Свердлов вводил меня во все, что произошло в Москве за время моего отсутствия. Память у него была превосходная, как у большинства людей с сильной творческой волей. Его рассказ заключал в себе всегда деловой костяк, необходимые организационные справки и попутные характеристики людей,— словом, был продолжением обычной свердловской работы. И под всем этим чувствовалась подоплека спокойной и в то же время подмывающей уверенности: «справимся!»

* * *

Свердлову приходилось много председательствовать в разных учреждениях и на разных заседаниях. Это был властный председатель. Не в том смысле, что он стеснял прения, одергивал ораторов и пр. Нет, наоборот, он не проявлял никакой придирчивости или формальной настойчивости. Властность его, как председателя, состояла в том, что он всегда знал, к чему, к какому практическому решению нужно привести собрание: понимал, кто, почему и как будет говорить; знал хорошо закулисную сторону дела,— а всякое большое и сложное дело имеет непременно свои кулисы,— умел своевременно выдвинуть тех ораторов, которые нужны; умел вовремя поставить на голосование предложение; знал, чего можно добиться, и умел добиваться, чего хотел. Эти качества его как председателя неразрывно связаны со всеми вообще свойствами его как практического вождя, с его живой, реалистической оценкой людей, с его неутомимой изобретательностью в области организационных и личных сочетаний.

На бурных заседаниях он умел дать пошуметь и покричать, а затем в надлежащую минуту вмешивался, чтобы твердой рукой и металлическим голосом навести порядок.

Свердлов был невысокого роста, очень худощавый, сухопарый, брюнет, с резкими чертами худого лица. Его сильный, пожалуй, даже могучий голос мог показаться не соответствующим физическому складу. В еще большей степени это можно бы, однако, сказать про его характер. Но таково могло быть впечатление лишь поначалу. А затем физический облик сливался с духовным, и эта невысокая, худощавая фигура, со спокойной, непреклонной волей и силь-

ным, но не гибким голосом, выступала как законченный образ.

— Ничего,— говорил иногда Владимир Ильич в каком-либо затруднительном случае,— Свердлов скажет это им свердловским басом, и дело уладится...

В этих словах была любовная ирония.

В первый пооктябрьский период враги называли коммунистов, как известно, «кожаными» — по одежде. Думаю, что во введении кожаной «формы» большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась. Товарищи, знавшие Свердлова по подполью, помнят его другим. Но в моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении черной кожаной брони — под ударами первых лет гражданской войны.

Мы заседали в Политбюро, когда Свердлову, лежавшему у себя на квартире в горячке, стало совсем плохо. Е. Д. Стасова, тогдашний секретарь ЦК, явилась во время заседания с квартиры Свердлова. На Стасовой лица не было. «Якову Михайловичу плохо... совсем плохо»,— говорила она. И было достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, что дело безнадежно. Мы прервали заседание. Владимир Ильич отправился на квартиру к Свердлову, а я в комиссариат — готовиться к немедленному отъезду на фронт. Минут через пятнадцать ко мне позвонил по телефону Ленин и сказал тем особенным, глухим голосом, который означал высшее волнение: «Скончался». — «Скончался?» — «Скончался». Мы подержали еще некоторое время трубки, и каждый чувствовал молчание на другом конце телефона. Потом разъединились, так как прибавить было нечего. Яков Михайлович скончался. Свердлова не стало.

13 марта 1925 г.

Л. Троцкий

СКЛЯНСКИЙ ПОГИБ

Жизнь неистощима на злые выдумки. Кабель принес весть о гибели Склянского. Он утонул в каком-то американском озере, катаясь в лодке вместе с председателем правления акционерного общества «Амторг» Хургиным. Один телефонный звонок за другим,— и тот же тревожный, недоумевающий вопрос, как бы заранее ждущий опровержения: «Вы слышали? Погиб Склянский». Но опровержения ждать нельзя, потому что весть, к несчастью, достоверна. Тела утонувших найдены.

В моем распоряжении немногим более получаса — перед деловой поездкой, которую нельзя отложить. О Склянском, с которым революционная работа так тесно связала меня, хочу и надеюсь рассказать подробнее. А сейчас лишь несколько бегло набросанных строк.

Впервые я увидел Склянского осенью 1917 года на одном из фронтовых совещаний. Совсем молодой военный врач Склянский был одним из немногих, чуть ли даже не единственный, большевиков на этом совещании. Он больше слушал, чем говорил. Он учился. Он уже тогда умел переводить речи и мысли на язык строго практических задач. Эта его способность выросла потом в крупнейший организаторский талант, который он проявил и в военном деле, и в хозяйственном. Очень молодым еще Склянский занимал чрезвычайно ответственный пост. Он стоял непосредственно у административного аппарата армии — и в какие годы! — в годы, когда армия формировалась в дыму и пламени непрерывных боев. Так как во всяком человеческом деле большое переплетается с малым, то приходилось иногда слышать, что у Склянского много честолюбия или властолюбия. Не знаю. Не замечал. То, что мне бросалось каждый раз снова в глаза, несмотря на нашу повседневную работу бок о бок, это неистощимый запас *трудолюбия*. С утра до вечера и затем с вечера до глубокой ночи он просиживал в своем рабочем кабинете за приемами, над докладами, штатами, сметами и приказами. В годы гражданской войны можно было позвонить к Склянскому в любое время ночи: он всегда был на посту, с воспаленными глазами, но ясным и спокойным рассудком. Несмотря на молодость, это был человек исключительно ровного настроения, питавшегося несокрушимой верой в нашу окончательную победу. Утрата городов, губерний, целых областей никогда не вызывала в нем ни малейших колебаний, а только заставляла просиживать лишние часы над расчетом сил и средств для возвращения утерянного. «Прекрасный работник»,— говорил о нем десятки раз Владимир Ильич с тем особым вкусом, с каким он отзывался о преданных, стойких, настойчивых и добросовестных строителях...

Мне надо кончать. В ближайшие дни я постараюсь досказать. Здесь остановлюсь лишь на последнем нашем свидании за день до отъезда Склянского за границу. Он уже проделал к тому времени огромную работу как руководитель одного из крупнейших наших трестов (Моссукно). Я с интересом следил за этой его работой и по его собственным коротким репликам по телефону, и по отзывам других хозяйственников. Обычный отзыв был такой: «Хорошо работает Склянский». И вот он ходом своей работы подошел к необходимости посмотреть своими глазами постановку производства за границей, ибо на очередь дня у него встало создание новых фабрик. Он просидел у меня перед отъездом не менее двух часов. Большая

поездка в Европу и Америку радовала его. Он жадно хотел видеть, слышать, перенять, пересадить. В суконной промышленности он работал с той же сосредоточенной энергией и неутомимостью, с тем же организаторским талантом, как и в гражданской войне. Казалось, что этот человек только разворачивается и что трехмесячная его хозяйственная экскурсия откроет в его строительской работе новую большую главу. Но борец, который так превосходно плыл по волнам Октябрьской революции, утонул в каком-то жалком американском озере. Погиб огромный опыт строительства, который сочетался с молодой, едва початой, творческой силой. Тяжкий удар для партии, для рабочего государства, вдвойне тяжкий — для друзей.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ Э. М. СКЛЯНСКОГО

Речь в клубе Красных директоров
11 сентября 1925 года

Я бы хотел представить вам нечто более законченное и вместе с тем нечто более достойное памяти Эфраима Марковича, который был для меня не только товарищем и сотрудником, но и близким другом. К сожалению, условия и обстоятельства работы не позволяли мне еще не только собраться с документами, но и собраться с мыслями, так как настоящий вечер явился для меня неожиданным. Я попробую, однако, хотя бы и в недостаточно связных чертах, набросать образ борца, который так неожиданно, так трагически был вырван из наших рядов.

Склянский был человеком исключительным. Это ясно видели и понимали все, кто работал с ним бок о бок. Это чувствовали и широкие советские круги. Это признавали и люди иного мира, представители другого класса. Собираясь сюда, на наш вечер воспоминаний, я получил неожиданно для себя письмо из Германии от неизвестного мне текстильного деятеля, который пишет мне по поводу смерти товарища Склянского, незадолго перед тем проезжавшего через Германию и остановившегося там недели на две-три для ознакомления с германской текстильной промышленностью. Так вот, этот совершенно незнакомый человек, некто доктор Гирш (доктор означает в данном случае не врач, а окончивший университет), пишет мне: «С великим сожалением я узнал о внезапной гибели господина доктора Эфраима Склянского, и я считаю моим человеческим долгом выразить вам по поводу этой тяжелой потери свое искреннее сочувствие. Я имел великую радость вступить с господином Склянским в сношения, которые облегчили ему достижение цели его

путешествия, предпринятого для ознакомлении в Германии со всеми новыми достижениями, которые были бы полезны для русской текстильной промышленности. И в течение недели нашей совместной работы мы проводили время не только в деловых разговорах при переездах и осмотрах, но также и в частных беседах о самых различных вопросах. Из этих бесед я убедился, что встретил одного из самых значительных людей, каких я только встречал на своем жизненном пути. Я могу поэтому понять, как велика та потеря, которую вы испытываете», и пр.

Таково письмо случайного лица, человека другой среды, другого склада, которому Склянский не «товарищ», а «господин». Вот впечатление, которое получил наблюдательный немецкий мануфактурист, встретившись со Склянским, так сказать, на одном из жизненных перекрестков. Такова была эта человеческая фигура, что, поставленная на любую работу, на любой пост, в любые условия, она обнаруживала, как сказано в письме, свою исключительную значительность.

Меня свела судьба со Склянским осенью 1917 года. Он был тогда молодым зауряд-врачом. Во врачи он вышел в 1916 году, в 5-ю царскую армию. Сведения о его более ранней жизни я получил только в последнее время от одного из близких покойному Эфраиму Марковичу лиц, так как в годы, проведенные в совместной работе, было не до того, чтобы посвящать друг друга в подробности своих биографий.

Родился Эфраим Маркович в 1892 году. В нынешнем году, в августе, ему исполнилось 33 года,— значит, он только подходил к полному расцвету своих жизненных сил. Он окончил гимназию в Житомире, идя все время первым. В университете учился в Киеве, принимал участие в революционной жизни студенчества. Был марксистом, с 1913 года определенно примкнул к большевикам. Во время войны стоял на большевистской позиции, был непримиримым противником оборонцев. В 5-й армии стал средоточием подлинно революционных элементов, наиболее видным большевиком, завоевал большое влияние, был, если не ошибаюсь, представителем армейского комитета на одном из питерских совещаний в 1917 году, точно, впрочем, не могу сказать, был ли он делегирован от корпуса или от армии. На военном совещании, где он был одним из немногих большевиков, он обращал на себя внимание спокойной уверенностью, краткими репликами, саркастическими взглядами по адресу ораторов школы Керенского, которыми изобиловала тогда трибуна. Двадцатипятилетний Склянский был уже вполне законченный и зрелый революционер-большевик, который прекрасно разбирался и в общей политической обстановке, и в труднейших условиях фронтов того времени, когда на верхах большевики составляли небольшую кучку, а в низах стихийное большевистское настроение

нарастало, но не находило еще политической оформленности. Уже дело ставилось в партии на рельсы подготовки будущего восстания, и со Склянским руководившие петроградские товарищи говорили как с одним из надежнейших организаторов восстания.

Естественно, что после переворота Склянский попал из царской армии в революционную,— тогда была создана первая коллегия Народного комиссариата по военным делам. После моего перехода на эту работу я с ним познакомился теснее и ближе и могу сказать без тех преувеличений, которые допустимы в речах, посвященных памяти погибших товарищей и друзей, могу сказать, что за все годы работы, встречаясь с ним с небольшими перерывами ежедневно, ведя с ним по телефону деловые разговоры по нескольку раз в день, чувствовал, что мое уважение и любовь к этому несравненному работнику росли изо дня в день. Это была превосходная человеческая машина, работавшая без отказа и без перебоев. Это был на редкость даровитый человек, организатор, собиратель, строитель, каких мало. Да, талантливость организатора широкого масштаба, связанная с деловой уверенностью, с выдержкой, со способностью отдавать свое внимание мелочам повседневной кропотливой работы,— это встречается не часто. Между тем именно это сочетание большого творческого размаха со способностью сосредоточения на мелочах, сочетание таланта с трудолюбием — это и создает настоящих строителей, и одним из лучших представителей этого типа в наших рядах был Э. М. Склянский.

Можно подумать, что этот вчерашний юный студент сразу родился государственным человеком крупного масштаба. Оглядываясь назад и представляя себе всю обстановку того времени, приходится только дивиться всей упругости и гибкости человека, который со студенческой скамьи из провинциального украинского города попадает на фронт, а с фронта в Народный комиссариат по военным делам, где, с одной стороны, заведовали стихийно распадавшейся и разлагающейся старой армией, а с другой — приступали к созданию новой. Тут, наверху, было большое количество старых спецов, в среде которых производилась работа тщательного отбора — привлечения одних, отстранения других. Вот эта-то работа с самого начала была в огромной степени работой Эфраима Марковича. На работе строительства он сразу поднялся и сразу же сумел внушить к себе доверие и уважение своей деловитостью, своей проницательностью, своей твердой рукой, своим метким глазом. Я бы сказал, что у него был подлинно «хозяйский глаз»,— конечно, не в старом собственническом смысле, а в новом социалистическом,— глаз делового, заботливого строителя, который со всех сторон охватывает порученную ему область хозяйства, взвешивает обстоятельства, расценивает людей, знает, кого куда поставить, а кого и отстранить. Организационная выдержка, понимание схемы организации

и метода работы, умение оценить человека, понять, на что он способен, деловая твердость, всегда готовая отстранить непригодного работника,— таков Склянский. Эта твердость со стороны могла казаться иной раз жестокостью, но была только высшей деловитостью. Разве не таков дух пролетарской партии? Дело выше лица и лиц. Склянский, лично очень внимательный товарищ, умел всегда подниматься выше личных соображений, хотя бы и самых почтенных, умел быть суровым там, где этого требовало дело.

Я никогда не видел Эфраима Марковича в смятении или растерянности; тем более не видел я его никогда в испуге или панике, а между тем за все годы гражданской войны он был тем средоточием, где собирались прежде всего все сведения, донесения, рапорты о всех злоключениях и бедствиях на наших фронтах. А вы знаете, что таких злоключений было немало. Был период, когда казалось, что все рушится, рассыпается, что почва исчезает из-под ног. А Склянский непоколебимо сидел у телефона, принимал донесения, рапорты, сносился по прямому проводу, запрашивал, приказывал, проверял, верша свое для внешнего мира мало заметное, но огромное дело. В любое время дня или ночи (тогда ночь мало чем отличалась от дня) можно было позвонить по кремлевскому проводу: «Дайте Склянского»,— и Склянский всегда своим осипшим от переутомления голосом давал последние справки о том, как обстоит дело на таком-то фронте,— кратко, деловито, точно. Сколько раз, когда мне приходилось бывать у него или у Владимира Ильича, сколько раз при мне Владимир Ильич вызывал Склянского по телефону, чтобы узнать, что делается в Архангельске или на Западном фронте, под Вильной, или за Уралом,— и Склянский всегда с безошибочной точностью (у него была исключительная память!) давал последнюю информацию, называя числа и даты, потери или трофеи, а было время, когда одно перемежалось с другим. Он всегда стоял в самом средоточии той партийно-советской машины, которая строила нашу армию, которая подправляла ее после потерь, которая правильностью своей работы обеспечивала ее устойчивость и победы. История это так и запишет за ним.

Я перебирал сегодня, вернее, бегло перелистывал в течение десяти — пятнадцати минут тетради, в которых переписаны записки Владимира Ильича к Склянскому и записки Склянского Владимиру Ильичу (оригиналы этих записок сданы в Ленинский институт) [1]. Дух той эпохи живет в этих беглых случайных записках. Происхождение их, в общем, таково: на заседании СТО или на заседании ЦК партии, куда вызывался Склянский, Владимир Ильич посылал ему записку в две-три строчки, которая, резюмируя самую сущность положения данного момента, требовала того или иного ответа. И часто на той же самой бумажке Склянский отвечал и опять получал от Владимира Ильича какой-нибудь дополнительный

запрос. Сами по себе эти записки ярко отражают природу их отношений. Я беру наугад одну или две из этих записок,— они все одинаково характерны в своей яркости и простоте. Вот, например, записка от 24 апреля 1919 года. Ленин пишет Склянскому: «Надо *сегодня* дать за Вашей и моей подписью *свирепую* телеграмму и главштабу и *начзапу*, что они *обязуются* развить *максимальную* энергию и *быстроту* во взятии Вильны» [2]. Ответа нет, очевидно, он был написан на другой бумажке, которая затерялась. Насчет бумажек, как и насчет всего прочего, Владимир Ильич был очень экономен, бумажку вырезал в квадратный вершок, писал на ней мельчайшими буквами, оставляя место для ответа, а потом еще и свободный уголок заполнит новым вопросом. Вот другая записка Ленина Склянскому от 26 апреля: «Надо Вам: 1) дать *сегодня* телеграммы об экстренных мерах помощи Чистополю в Реввоенсовет *Востфронта* и 6-ю армию; 2) *самому* поговорить сегодня по прямому проводу с Востфронтом» (написано рукой товарища Ленина). «Лучше, если вы сейчас напишете телеграмму «такому-то» (написано рукой товарища Склянского). «Говорили с Рудзутаком?» [3] (написано рукой товарища Ленина).

Вот еще одна очень характерная переписка. Повод ее таков: в Черном море к нашему берегу подходил близко иностранный миноносец без спроса и разрешения, потом ушел. Он не был нами обстрелян,— возможно, что наши береговые пушки не были достаточно сильны, а возможно, что не решились или прозевали. Владимир Ильич написал на бумажке Склянскому: «Почему мы не обстреляли миноносец?» Ответ Склянского: «Вне сферы нашей досягаемости». Записка Владимира Ильича: «Надо по телефону передать такому-то и велеть подтянуть *сугубо*» [4] (слово «сугубо» подчеркнуто) [5]. Что это значит? Склянский пишет на основании доклада из Одессы: «Вне сферы нашей досягаемости». А Владимир Ильич не весьма доверяет этому докладу, думает: знаем мы вашу недосягаемость, наверное, прозевали, отсюда приписка: «подтянуть сугубо». Таких записок немало. Это осколки деловых повседневных связей и переговоров. Есть целый ряд телеграмм, написанных рукой Склянского на фронт и надписанных рукой Владимира Ильича. Это значит, что когда нужно было на фронте где-нибудь нажать, или, наоборот, воодушевить, или о чем-нибудь важном сообщить, или, наоборот, потребовать объяснения, то Владимир Ильич звонил Склянскому или, наоборот, Склянский звонил Владимиру Ильичу. Склянский составлял телеграмму. Владимир Ильич поправлял и подписывал, и телеграмма свое действие на месте производила безошибочно. Такое постоянное и тесное сотрудничество между Владимиром Ильичем и Склянским само по себе уже бросает свет на фигуру Эфраима Марковича. Не раз, а много раз приходилось по разным поводам слышать от Владимира Ильича восторженный

отзыв о Склянском: «Прекрасный работник!» Это он говорил о нем особенно в те трудные времена, когда Склянский находился в самой сердцевине военно-административного аппарата. Свои впечатления от работы Склянского, от энергии его, неутомимости, находчивости и четкости, от его деловой правдивости Владимир Ильич выражал двумя словами: «Прекрасный работник!» И этот отзыв переймет история.

В последний период своей работы — на хозяйстве — Эфраим Маркович оставался тем же, каким был в годы гражданской войны. Он внес в область своей новой работы те же качества проницательности, воли, дисциплины, трудового энтузиазма, огромный организаторский талант, беспредельную преданность партии и рабочему классу,— и все это с еще более высоким коэффициентом накопленного опыта и выросшей творческой личности.

Он выражал мне как-то сожаление, что ему не удалось начать работу в области хозяйственной с поста красного директора, что он сразу попал председателем треста, не имея того предварительного опыта, который мог бы получить непосредственно на фабрике. Но он старался докопаться в новом деле до дна. Он возглавил трест Моссукно в тот период, когда торговые операции стояли до известной степени над производственными, когда все увлекались вопросами сбыта и оборота и еще почти не подходили к вопросам более правильной, более рациональной постановки самого производства. После назначения его председателем треста я нередко разговаривал с ним, преимущественно по телефону, о промышленных делах, и на все вопросы получал, как всегда, краткие и яркие ответы, характеризующие ту или другую сторону дела,— и на этих ответах я лично многому учился.

Склянский был у меня в последний раз накануне своего отъезда в Америку, и мы провели с ним в беседе, должно быть, часа три. В нем все дышало жаждой увидеть и услышать зарубежный мир,— в сущности, он совершал свое первое путешествие за границу,— и я был глубоко уверен, что этот человек вернется из путешествия более обогащенным внутренне, чем всякий другой, что он сумеет там увидеть то, что нужно увидеть, научится тому, чему нужно научиться, принесет нам то, что нам нужно, чтобы усилить нас в области хозяйства и культуры. Но не сбылось. Переплыв океан, он утонул в озере. Выйдя невредимым из Октябрьской революции, он погиб на мирной прогулке. Такова предательская игра судьбы. И вот мы в трауре склоняемся перед памятью его...

Не потому только мы его высоко ценим, что он был наш, нет, не только поэтому. Его высоко ставили и люди другого лагеря. Не заботясь о том, он всегда показывал свой настоящий рост и тем, для кого он был чужим, для кого он был врагом. Тем более он дорог нам. Тем тяжелее утрата. Тем острее скорбь.

Поправить нельзя. Жизнь разрушена. Но тем сильнее хочется закрепить в памяти старшего поколения и в сознании младшего, хочется сохранить для будущих поколений этот прекрасный, молодой, героический образ столь богато одаренного борца. Говоря ему с болью и скорбью «прости, Эфраим Маркович», хочется вместе с тем с благодарностью прибавить: он был среди нас, он был наш, он работал с нами, боролся за то дело, которое объединяет всех нас, он — наш товарищ и друг — Эфраим Маркович Склянский.

А. Луначарский

ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ТРОЦКИЙ

Троцкий в истории нашей партии явился несколько неожиданно и сразу с блеском. Насколько я слышал, он начал свою социал-демократическую деятельность, подобно мне, еще с гимназической скамейки, и, кажется, ему не было еще 18 лет, когда он был сослан.

Это случилось, однако, значительно позже первых революционных событий в моей жизни, так как Троцкий на 5 или 6 лет моложе меня. Из ссылки он, кажется, бежал. Во всяком случае, впервые заговорили о нем, когда он явился на II съезд партии, на тот, на котором произошел раскол. По-видимому, заграничную публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого человека образованием и апломбом. Передавали анекдот, вероятно неверный, но, пожалуй, характерный, будто бы Вера Ивановна Засулич, со своей обычной экспансивностью, после знакомства с Троцким воскликнула в присутствии Плеханова: «Этот юноша, несомненно, гений», и будто бы Плеханов, уходя с того собрания, сказал кому-то: «Я никогда не прощу этого Троцкому». Действительно, Плеханов всегда ненавидел Троцкого; думается, однако, что не за признание его гением со стороны доброй В. И. Засулич, а за то, что Троцкий с необыкновенной ретивостью атаковал его непосредственно на II съезде, высказываясь о нем довольно непочтительно. Плеханов в то время считал себя абсолютно неприкосновенным величеством в социал-демократической среде, даже сторонние люди в полемике подходили к нему без шапок, и подобная резкость Троцкого должна была вывести его из себя. Вероятно, в Троцком того времени было много мальчишеского задора. В сущности говоря, очень серьезно к нему не относились по его молодости, но все решительно признавали за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не цыпленок, а орленок.

Я встретился с ним сравнительно позднее, именно в 1905 году, после январских событий[1]. Он приехал тогда, не помню уже откуда, в Женеву, должен был выступить вместе со мною на большом митинге, созванном по поводу этой катастрофы. Троцкий был тогда необыкновенно элегантен, в отличие от всех нас, и очень красив. Эта его элегантность и особенно какая-то небрежная свысока манера говорить с кем бы то ни было меня очень неприятно поразили. Я с большим недоброжелательством смотрел на этого франта, который, положив ногу на ногу, записывал карандашом конспект того экспромта, который ему пришлось сказать на митинге. Но говорил Троцкий очень хорошо. Выступал он и на международном митинге, где я первый раз в жизни говорил по-французски, а он по-немецки; иностранные языки мешали нам обоим, но кое-как мы вышли из этой беды. Потом, помню, мы были назначены — я от большевиков, а он от меньшевиков — в какую-то комиссию для раздела каких-то общих сумм[2], и там у Троцкого был сухой и надменный тон. Больше я его до возвращения в Россию после первой революции не встречал. Мало встречал я его и в течение революции: он держался отдельно не только от нас, но и от меньшевиков. Его работа протекала главным образом в Совете рабочих депутатов, и вместе с Парвусом он организовал как бы какую-то отдельную группу, которая издавала очень бойкую, очень хорошо редактированную, маленькую дешевую газету[3]. Я помню, как кто-то сказал при Ленине: «Звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек в Совете — Троцкий». Ленин как будто омрачился на мгновение, а потом сказал: «Что же, Троцкий завоевал это своей неустанной работой и яркой агитацией».

Из меньшевиков Троцкий был тогда ближе всех к нам, но я не помню, участвовал ли он хотя раз в тех довольно длинных переговорах, которые велись между нами и меньшевиками по поводу соглашения. К Стокгольмскому же съезду он уже был арестован.

Популярность его среди петербургского пролетариата ко времени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате его необыкновенно картинного и героического поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических вождей 1905—1906 годов, несомненно, показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем было печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину; он больше других чувствовал, что такое широкая государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности; ни Ленин, ни Мартов не выиграли, в сущности, ничего. Плеханов очень много проиграл вследствие появившихся в нем полукадетских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд.

Во время второй эмиграции Троцкий поселился в Вене, вследствие чего встречи мои с ним были нечасты.

Я уже говорил о роли, которую он играл в Штутгарте: он держался там скромно и нас призывал к тому же, считая нас всех выбитыми, а потому и не могущими импонировать конгрессу.

Затем Троцкий увлекся примиренческой линией и идеей единства партии. Он больше всех хлопотал по этому поводу на разных пленарных заседаниях, и свою газету «Правда»[4], и свою группу он посвятил на $^2/_3$ именно этой работе по совершенно безнадежному объединению партии.

Единственный успех, которого он в этом отношении добился, был тот пленум, который отбросил от партии ликвидаторов, почти отбросил впередовцев и сшил белыми нитками очень непрочным швом на некоторое время ленинцев и мартовцев. Этот ЦК отправил, между прочим, в качестве всестороннего надзирателя за Троцким товарища Каменева (кстати, его зятя), но между Каменевым и Троцким произошел такой бурный разрыв, что Каменев очень скоро вернулся назад в Париж. Скажу здесь сразу, что Троцкому очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя бы небольшой группы. Никаких прямых сторонников у него никогда не было, если он импонировал в партии, то исключительно своей личностью, а то, что он никак не мог уместиться в рамках меньшевиков, заставляло их относиться к нему как к какому-то практиканту-анархисту и крайне их раздражало, о полном же сближении с большевиками тогда не могло бы быть и речи. Троцкий казался ближе к мартовцам, да и все время держался так.

Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие того очарования, которое всегда окружало Ленина, осуждали Троцкого на некоторое одиночество. Подумать только, даже немногие его личные друзья (я говорю, конечно, о политической сфере) превращались в его заклятых врагов; так, например, было с его главным адъютантом Семковским, так было потом с его чуть ли не любимым учеником Скобелевым.

Для работы в политических группах Троцкий казался мало приспособленным, зато в океане исторических событий, где совершенно не важны такие личные организации, на первый план выступали положительные стороны Троцкого.

Сблизился я с Троцким во время Копенгагенского съезда. Явившись туда, Троцкий почему-то посчитал нужным опубликовать в Vorwärts'е[5] статью, в которой он, охаяв огулом все русское представительство, заявил, что оно, в сущности, никого, кроме эмигрантов, не представляет. Это взбесило и меньшевиков, и большевиков. Плеханов, жгучей ненавистью ненавидевший Троцкого,

воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над Троцким. Мне казалось это несправедливым, я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал (вместе с Рязановым) тому, что план Плеханова совершенно расстроился... Отчасти поэтому, отчасти, может быть, по более случайным причинам мы стали часто встречаться с Троцким во время конгресса: вместе отдыхали, много беседовали на всякие, главным образом политические, темы и разъехались в довольно приятных отношениях.

Вскоре после Копенгагенского конгресса мы организовали нашу вторую партийную школу в Болонье[6] и пригласили Троцкого приехать к нам для ведения практических занятий по журналистике и для чтения курса, если не ошибаюсь, по парламентской практике германской и австрийской социал-демократии и, кажется, по истории социал-демократической партии в России. Троцкий любезно согласился на это предложение и прожил в Болонье почти месяц. Правда, все это время он вел свою линию и старался столкнуть наших учеников с их крайней левой точки зрения на точку зрения среднюю и примирительную, которую, однако, он лично считал весьма левой. Но эта политическая игра его не имела никакого успеха, зато чрезвычайно талантливые лекции нравились очень ученикам, и вообще в течение всего этого своего пребывания Троцкий был необыкновенно весел, блестящ, чрезвычайно лоялен по отношению к нам и оставил по себе самые лучшие воспоминания. Он оказался одним из самых сильных работников этой нашей второй школы.

Последние встречи мои с Троцким были еще длительнее и еще интимнее. Это относится уже к 1915 году в Париже. Троцкий вошел, как я уже писал, в редакцию «Наше слово»[7], и тут, конечно, не обошлось без некоторых интриг и неприятностей: кое-кто был испуган таким вхождением,— боялись, что такая сильная личность приберет газету к рукам. Но эта сторона дела была все-таки на самом заднем плане. Гораздо более выпуклыми были отношения Троцкого к Мартову. Нам искренне хотелось действительно на новой почве интернационализма наладить полное объединение всего нашего фронта от Ленина до Мартова. Я ораторствовал за это самым энергичным образом и был в некоторой мере инициатором лозунга: долой оборонцев[8], да здравствует единение всех интернационалистов! Троцкий вполне к этому присоединился. Это лежало в давних его мечтах и как бы оправдывало всю его предшествовавшую линию.

С большевиками у нас не было никаких разногласий, по крайней мере крупных; с меньшевиками же дело шло худо: Троцкий всеми мерами старался убедить Мартова отказаться от связи с оборонцами. Заседания редакции превращались в длиннейшие дис-

куссии, во время которых Мартов с изумительной гибкостью ума, почти с каким-то софистическим пронырством избегал прямого ответа на то, рвет ли он со своими оборонцами, а Троцкий наступал на него порою очень гневно. Дело дошло до почти абсолютного разрыва между Троцким и Мартовым, к которому, между прочим, как к политическому уму, Троцкий всегда относился с огромным уважением, а вместе с тем между нами, левыми интернационалистами, и мартовской группой.

За это время между мной и Троцким оказалось столько политических точек соприкосновения, что, пожалуй, мы были ближе всего друг к другу; всякие переговоры от его лица, а с ним от лица других редакторов приходилось вести мне. Мы очень часто выступали вместе с ним на разных эмигрантских студенческих собраниях, вместе редактировали различные прокламации,— словом, были в самом тесном союзе. И эта линия связала нас так, что именно с этих пор продолжаются наши дружественные отношения. Оговорюсь, однако, что эта близость наша, которой я, конечно, горжусь, базировалась и базируется исключительно на тождественности политической позиции и на подкупающей широкой талантливости Троцкого.

Что касается других сторон духовной жизни Троцкого, то здесь, наоборот, я никак не мог нащупать ни малейшей возможности сближения с ним: к искусству отношение у него холодное, философию он считает вообще третьестепенной, широкие вопросы миросозерцания он как-то обходит, и, стало быть, многое из того, что является для меня центральным, не находило в нем никогда никакого отклика. Темой наших разговоров была почти исключительно политика. Так это остается и до сих пор.

Я всегда считал Троцкого человеком крупным. Да и кто же может в этом сомневаться? В Париже он уже сильно вырос в моих глазах как государственный ум и в дальнейшем рос все больше, не знаю, потому ли, что я лучше его узнавал и он лучше мог показать всю меру своей силы в широком масштабе, который отвела нам история, или потому, что действительно испытание революции и ее задачи реально вырастили его и увеличили размах его крыльев.

Агитационная работа весною 1917 года относится уже к главной сущности моей книги, но я должен сказать, что под влиянием ее огромного размаха и ослепительного успеха некоторые близкие Троцкому люди даже склонны были видеть в нем подлинного вождя русской революции. Так, покойный М. С. Урицкий, относившийся к Троцкому с великим уважением, говорил как-то мне и, кажется, Мануильскому: «Вот пришла великая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого»[9]. Эта оценка оказалась неверной не потому, что она

преувеличивала дарования и мощь Троцкого, а потому, что в то время еще неясны были размеры государственного гения Ленина. Но действительно, в тот период, после первого громового успеха его приезда в Россию и перед июльскими днями, Ленин несколько стушевался, не очень часто выступал, не очень много писал, а руководил, главным образом, организационной работой в лагере большевиков, между тем как Троцкий гремел в Петрограде на митингах[10].

Главными внешними дарованиями Троцкого являются его ораторский дар и его писательский талант. Я считаю Троцкого едва ли не самым крупным оратором нашего времени. Я слышал на своем веку всяких крупнейших парламентских и народных трибунов социализма и очень много знаменитых ораторов буржуазного мира и затруднился бы назвать кого-либо из них, кроме Жореса (Бебеля я слышал только стариком), которого я мог бы поставить рядом с Троцким.

Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, могучий ритм речи, громкий, совершенно не устающий голос, замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика — вот достоинства речи Троцкого. Он может говорить лапидарно, бросить несколько необычайно метких стрел и может произносить те величественные политические речи, какие я слыхал до него только от Жореса. Я видел Троцкого говорящим по $2^1/_2$ — 3 часа перед совершенно безмолвной, стоящей притом же на ногах аудиторией, которая как зачарованная слушала этот огромный политический трактат. То, что говорил Троцкий, в большинстве случаев было мне знакомо, да притом же, конечно, всякому агитатору приходится очень много своих мыслей повторять вновь и вновь перед новыми массами, но Троцкий одну и ту же идею каждый раз преподносит в новом одеянии. Я не знаю, много ли говорит теперь Троцкий в качестве военного министра великой державы,— очень вероятно, что организационная работа и неутомимые разъезды по всему необъятному фронту отвлекли его от ораторства,— но все же прежде всего Троцкий — великий агитатор. Его статьи и книги представляют собой, так сказать, застывшую речь,— он литературен в своем ораторстве и оратор в своей литературе.

Поэтому ясно, что и публицист Троцкий выдающийся, хотя, конечно, часто очарование, которое придает его речи непосредственное исполнение, теряется у писателя.

Что касается внутренней структуры Троцкого как вождя, то, как я уже сказал, он, в *малом масштабе* партийной организации, которая, однако, страшно сказалась в будущем, так как ведь именно результаты работы в подполье таких людей, как Ленин,

как Чернов, как Мартов, дали потом партиям возможность оспаривать гегемонию в России и возможность оспаривать ее в мире,— был неискусен, несчастлив. Я не знаю вообще, может ли быть Троцкий хорошим организатором. Мне кажется, что и в роли военного министра он должен действовать больше как агитатор и политический ум, чем как организатор в собственном смысле слова. Мешает же крайняя определенность граней его личности.

Троцкий — человек колючий, нетерпимый, повелительный, и я представляю себе, а очень часто и знаю, что отсюда возникает и сейчас немало трений и столкновений, которые при более уживчивом характере могли бы быть вполне избегнуты.

Зато как политический муж совета Троцкий стоит на той же высоте, что и в ораторском отношении. Да и как иначе — самый искусный оратор, речь которого не освещается мыслью, не более как праздный виртуоз, и все его ораторство — кимвал бряцающий. Любовь, о которой говорит апостол Павел, может быть, и не так нужна для оратора, ибо он может быть исполнен и ненавистью, но *мысль* нужна необходимо. Великим оратором может быть только великий политик. Так как Троцкий по преимуществу оратор политический, то, конечно, в речах его сказывается именно политическая мысль.

Мне кажется, что Троцкий несравненно более ортодоксален, чем Ленин, хотя многим это покажется странным; политический путь Троцкого как будто несколько извилист, он не был ни меньшевиком, ни большевиком, искал средних путей, потом влил свой ручей в большевистскую реку, а между тем на самом деле Троцкий всегда руководился, можно сказать, буквою революционного марксизма. Ленин чувствует себя творцом и хозяином в области политической мысли и очень часто давал совершенно новые лозунги, которые нас всех ошарашивали, которые казались нам дикостью и которые потом давали богатейшие результаты. Троцкий такою смелостью мысли не отличается: он берет революционный марксизм, делает из него все выводы, применительные к данной ситуации; он бесконечно смел в своем суждении против либерализма, против полусоциализма, но не в каком-нибудь новаторстве.

Ленин в то же время гораздо более оппортунист в самом глубоком смысле слова. Опять странно, разве Троцкий не был в лагере меньшевиков, этих заведомых оппортунистов? Но оппортунизм меньшевиков — это просто политическая дряблость мелкобуржуазной партии. Я говорю не о нем, я говорю о том чувстве действительности, которая заставляет порою менять тактику, о той огромной чуткости к запросу времени, которая побуждает Ленина то заострять оба лезвия своего меча, то вложить его в ножны.

Троцкий менее способен на это. Троцкий прокладывает свой революционный путь прямолинейно. Эти особенности сказываются в знаменитом столкновении обоих вождей великой русской революции по поводу Брестского мира.

О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, совершенный вздор. Я помню одну очень значительную фразу, сказанную Троцким по поводу принятия Черновым министерского портфеля: «Какое низменное честолюбие — за портфель, принятый в неудачное время, покинуть свою историческую позицию». Мне кажется, в этом весь Троцкий. В нем нет ни капли тщеславия, он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властностью; ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, его историческая роль. Здесь он, пожалуй, личник, как и в своем естественном властолюбии.

Ленин тоже нисколько не честолюбив, еще гораздо меньше Троцкого; я думаю, что Ленин никогда не оглядывается на себя, никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает даже о том, что о нем скажет потомство,— он просто делает свое дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для него сладостна, а потому, что он уверен в своей правоте и не может терпеть, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие вытекает из его огромной уверенности в правильности своих принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для политического вождя) становиться на точку зрения противника.

Спор никогда не является для него просто дискуссией, это для него столкновение разных классов, разных групп, так сказать, разных человеческих пород. Спор для него всегда борьба, которая при благоприятных условиях может перейти в бой. Ленин готов приветствовать, когда спор переходит в бой.

В отличие от него Троцкий, несомненно, часто оглядывается на себя. Троцкий чрезвычайно дорожит своей исторической ролью и готов был бы, вероятно, принести какие угодно личные жертвы, конечно, не исключая вовсе и самой тяжелой из них — жертвы своей жизнью, для того, чтобы остаться в памяти человечества в ореоле трагического революционного вождя. Властолюбие его носит тот же характер, что и у Ленина, с тою разницей, что он чаще способен ошибаться, не обладая почти непогрешимым инстинктом Ленина, и что, будучи человеком вспыльчивым и по темпераменту своему холериком, он способен, конечно, хотя бы и временно, быть ослепленным своей страстью, между тем как Ленин, ровный и всегда владеющий собою, вряд ли может хотя когда-нибудь впасть в раздражение.

Не надо думать, однако, что второй великий вождь русской революции во всем уступает своему коллеге; есть стороны, в которых Троцкий бесспорно превосходит его: он более блестящ, он

более ярок, он более подвижен. Ленин как нельзя более приспособлен к тому, чтобы, сидя на председательском кресле Совнаркома, гениально руководить мировой революцией, но, конечно, не мог бы справиться с титанической задачей, которую взвалил на свои плечи Троцкий, с этими молниеносными переездами с места на место, этими горячечными речами, этими фанфарами тут же отдаваемых распоряжений, этою ролью постоянного электризатора то в том, то в другом месте ослабевающей армии. Нет человека, который мог бы заменить в этом отношении Троцкого.

Когда происходит истинно великая революция, то великий народ всегда находит на всякую роль подходящего актера, и одним из признаков величия нашей революции является, что Коммунистическая партия выдвинула из своих недр или позаимствовала из других партий, крепко внедрив их в свое тело, столько выдающихся людей, как нельзя более подходящих к той или другой государственной функции.

Более же всего сливаются со своими ролями именно два сильнейших среди сильных — Ленин и Троцкий.

К. Радек

ЛЕВ ТРОЦКИЙ

Праздник пятилетия Красной Армии за нами. По его поводу появились в партийной печати сотни и тысячи статей, посвященных созданию Красной Армии. Но я думаю, что все эти статьи чересчур мало ставили дело создания Красной Армии в рамки развития нашей партии. В день юбилея партии можно и нужно дополнить этот недостаток и остановиться на роли в этом великом деле Льва Давидовича Троцкого.

История подготовляла партию к разной работе. Сколько бы ни было недостатков в нашей государственной машине, сколько бы ни было недостатков в нашей хозяйственной работе, все-таки все прошлое партии подготовляло ее психологически к работе по созиданию нового хозяйства и нового государственного аппарата. Даже для дипломатии нас подготовляла история. Незачем говорить о том, что мировая политика всегда занимала мысли марксиста. Дипломатическую технику мы вырабатывали в бесконечных заседаниях с меньшевиками, и товарищ Чичерин учился сочинению дипломатических нот в этой старой войне. Но — о, чудо! — хозяйничать мы только начинаем учиться. Государственная машина наша скрипит и спотыкается. А что у нас вышло действительно хорошо,— это Красная Армия. Создатель ее, волевой центр ее, это — РКП в лице товарища

Л. Д. Троцкого. Старый Мольтке, творец германской армии, высказывал часто опасение, что перья дипломатов испортят работу солдатских сабель. Воины всего мира, хотя между ними находились и классические писатели, всегда противопоставляли меч перу. История пролетарской революции доказала, как можно перековывать перья в мечи. Троцкий — один из лучших писателей мирового социализма, и ему эти литературные качества не помешали быть первым вождем, первым организатором первой армии пролетариата. Перо лучшего своего публициста революция перековала в меч.

Литература научного социализма мало дала Троцкому для решения задач, перед которыми поставила партию и Советскую Россию опасность со стороны мирового империализма. Если пересмотреть всю социалистическую литературу перед войной, то за исключением нескольких малоизвестных работ Энгельса и нескольких глав в прекрасной книге Меринга о Лессинге [1], посвященных военной работе Фридриха Великого, в мировой литературе социализма существовало только четыре сочинения на военные темы: брошюра Августа Бебеля о милиции [2], книга капитана Гастона Мокка о милиции [3], двухтомная история войны Шульца и книга Жореса, посвященная пропаганде идеи милиции во Франции [4]. За исключением книг Шульца и Жореса, имеющих большую ценность, все что появлялось в социалистической литературе после смерти Энгельса на военные темы, было плодом полнейшего дилетантизма. Но и работы Шульца и Жореса не отвечали на те вопросы, перед которыми стала русская революция.

Книга Шульца давала схему развития форм стратегии и военной организации в продолжение столетий. Она была попыткой применения марксистского метода исследования истории к войне и кончалась на наполеоновских временах. Книга Жореса, полная размаха и блеска, обнаружившая прекрасное знакомство с проблемами военной организации, страдала тем основным пороком, что этот гениальный представитель реформизма хотел капиталистическую армию сделать орудием национальной защиты, освободив ее от функций орудия защиты классовых интересов буржуазии. Поэтому он не был в состоянии понять тенденции развития милитаризма и в вопросе о войне, в вопросе об армии довел идеи демократии до полнейшего абсурда.

Я не знаю, насколько перед войной товарищ Троцкий занимался вопросами военной теории. Я думаю, что толчок для гениального понимания этих вопросов он получил не из книг, а тогда, когда во время Балканской войны [5] он как корреспондент присматривался к этой репетиции мировой войны. Вероятно, он углубил свое понимание механизма войны, механизма армии, будучи во время войны во Франции и составляя свои блестящие очерки войны для «Киевской мысли».

По этой работе видно уже, как великолепно он понимал душу армии. Марксист Троцкий видел не только внешнюю дисциплину армии — пушку, технику,— а он видел живых людей, обслуживающих орудия войны, видел шеренги, двигающиеся на поле сражения. Троцкий — автор первой брошюры, дающей широкий анализ причин падения Интернационала; Троцкий в момент этого величайшего падения Интернационала не потерял веры в будущее социализма, наоборот, он был глубоко убежден, что те свойства, которые буржуазия пытается для своей победы воспитать в пролетарии, одетом в шинель,— что эти качества обернутся скоро против буржуазии и будут основой не только революции, но и создания революционных армий. Одним из замечательнейших документов этого его понимания классового строения армии, понимания души армии, является его речь по поводу июльского наступления Керенского, произнесенная, кажется, на I съезде Советов или в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. В этой речи Троцкий предсказывает крушение наступления, предсказывает его не на основании известий о состоянии военной техники на фронте, а на основании анализа политического состояния армии. «Вы,— говорил он, обращаясь к меньшевикам и эсерам,— требуете от правительства пересмотра целей войны. Вы этим говорите армии, что старые цели, во имя которых царизм и буржуазия требовали неслыханных жертв, не отвечают интересам русского крестьянства и русских рабочих. Вы не добились пересмотра целей. На место царя и отечества вы не поставили ничего, и вы требуете от армии, чтобы она во имя этого ничего пошла в тяжелый бой, проливать свою кровь. Во имя ничего нельзя бороться. И ваша авантюра кончится разгромом». В этой постановке вопроса, сделанной Троцким, вся тайна величия Троцкого как организатора Красной Армии.

Все великие военные писатели подчеркивали громадное значение, решающее значение морального фактора войны. Половина бессмертной книги Клаузевица посвящена этому вопросу [6]. И вся победа наша в гражданской войне основана на том, что Троцкий сумел эту науку о значении моральных факторов войны применить на деле. Когда гибла старая царская армия, военный министр правительства Керенского Верховский предлагал отпустить все более старые возрасты, сократить тыловые учреждения и влить в армию новый, молодой элемент. Когда мы пришли к власти и когда окопы оказались пустыми, многие из нас предлагали то же самое. Но эти идеи были полны утопий. Нельзя было в бегущую царскую армию вливать новые силы. Две эти волны друг друга перерезали и распыляли. Старая армия должна была умереть; новая могла быть создана только на почве тревоги, охватившей Советскую Россию, рабочего и крестьянина, за завоевания революции. Когда в апреле 1918 года в кабинете у товарища Подвойского собрались лучшие из бывших царских офицеров,

которые не бросили рядов армии после нашей победы, дабы совместно с нашими товарищами и с рядом военных представителей союзников разработать план организации армии, Троцкий — я помню, великолепно помню эту сцену — в продолжение многих дней прислушивался к их планам молча. Это были планы людей, не понимающих переворота, на их глазах происшедшего. Каждый из них отвечал на вопрос о том, как создать армию по-старому. Они не понимали перемен, которые произошли в человеческом материале, на котором строится армия. Выслушав все предложения, Троцкий выдвинул собственное: создание добровольческой армии. Пока что военные молчали, но считали это бесполезной затеей. Старик Борисов, считающийся одним из лучших военных писателей, сто раз убеждал меня и товарища Антонова-Овсеенко, принимавших участие в редакции «Военного дела»[7], что ничего из этого предприятия не выйдет, что армия может быть построена только на началах общеобязательности, на началах железной дисциплины. Он не понимал, что добровольческие отряды были столбами, вбиваемыми в землю; вокруг которых должен укладываться кирпич, что крестьянина и рабочую массу можно будет только тогда снова призвать под военные знамена, когда опасность смерти будет смотреть в глаза народным массам. Ни на минуту не допуская мысли, что добровольческая армия может спасти Россию, Троцкий строил ее как аппарат, нужный ему для создания новой армии. Но если уже в этом выражался организаторский гений Троцкого, смелость его мысли, то еще более яркое выражение она нашла в мужественном его подходе к идее использования военных специалистов для строения армии. Всякий хороший марксист понимал великолепно, что для постройки нового хозяйственного аппарата нам все-таки нужны старые капиталистические организаторы. В своей апрельской речи 1918 года о задачах Советской власти Ленин выдвинул эту идею с полной настойчивостью[8]. В зрелых кругах партии она вообще не оспаривалась. Но идея, что мы можем создавать орудие принуждения, орудие защиты республики, каковым является армия, при помощи офицеров старого режима, встречала сильнейшее сопротивление. Как можно вооружать только что разоруженных белых офицеров? — спрашивали многие товорищи. Я помню дискуссию по этому поводу в редакции «Коммуниста»[9], органа так называемых левых коммунистов, где по поводу вопроса об использовании кадровых офицеров чуть не произошел раскол. Для того чтобы добиться ясного решения по этому основному пункту, мне пришлось поставить вопрос о выходе из редакции. А ведь редакция этого органа включала ряд наиболее образованных теоретиков и практиков партии: достаточно назвать Бухарина, Осинского, Ломова, В. Яковлеву. Еще сильнее было неверие в широких кругах наших армейских практиков, вышедших из военной организации, созданной нами во время войны в процессе разрушения царской армии. Только пламенная вера Троц-

кого в нашу социальную силу, вера в то, что мы сумеем взять у военных специалистов науку и не позволим им навязывать нам свою политику, вера в то, что революционная бдительность передовиков рабочих победит все контрреволюционные козни кадровых офицеров, могла переломить недоверие наших военных работников и научить их использовать силы кадрового офицерства. Чтобы выйти практически победителем в этом вопросе, нужно было, чтобы во главе армии стоял человек с железной волей, к которому имела бы полное доверие не только партия, но железной воле которого подчинялся бы и враг, принужденный служить нашему делу. Товарищ Троцкий не только сумел, благодаря своей энергии, подчинить себе бывшее кадровое офицерство,— он достиг большего. Он сумел завоевать себе доверие лучших элементов специалистов и превратить их из врагов Советской России в ее убежденных сторонников. Я наблюдал одну из таких побед Троцкого еще во время брестских переговоров. Военные, которые с нами были в Брест-Литовске, относились к нам более чем сдержанно. Они из-под палки выполняли роль экспертов, думая, что они присутствуют при комедии, прикрывающей давно состоявшуюся сделку большевиков с германским правительством. Но по мере того как товарищ Троцкий развертывал борьбу во имя принципов русской революции против германского империализма, по мере того как в зале заседания всякий человек почувствовал моральную и идейную победу этого славного представителя русского пролетариата, по мере того как развивалась великая брест-литовская драма, недоверие к нам военных специалистов таяло с каждым днем. Я помню ночь, когда пришел ко мне в комнату покойный адмирал Альтфатер, один из первых офицеров старой армии, который начал не за страх, а за совесть помогать Советской России, и сказал мне просто: «Я приехал сюда, потому что был принужден. Я вам не верил, теперь буду помогать вам и делать свое дело, как никогда я этого не делал, в глубоком убеждении, что служу родине».

Одна из величайших побед Троцкого состоит в том, что он сумел людям, пришедшим к нам по принуждению из вражеского лагеря, внушить убеждение, что Советское правительство есть правительство, борющееся за благо русского народа. Понятно, что эта великая победа на внутреннем фронте, эта моральная победа над противником была не только результатом железной энергии Троцкого, внушающей всем уважение, не только результатом глубокой моральной силы, великого умственного, даже военного авторитета, который умел завоевать себе этот социалистический писатель и трибун, поставленный волею революции во главе армии; для этой победы была необходима и самоотверженность десятков тысяч наших товарищей в армии, железная дисциплина в наших рядах, последовательность, с которой мы шли к своей цели,— для этого нужно было чудо массы, которая, вчера сбежавши с фронта, сегодня при гораздо более тяжелых

условиях снова стала на защиту страны. Это влияние массовых психологических и политических элементов само собою понятно, над их созданием работала вся партия, но оно находило самое сильное, самое концентрированное и, так сказать, сокрушительное выражение в лице Троцкого, которому партия доверила военное дело. Русская революция действовала тут через мозг, через нервную систему и сердце этого великого своего представителя. Когда началось первое наше вооруженное испытание — с чехословаками,— партия и с ней ее вождь Л. Д. Троцкий показали, как можно применить принцип политических кампаний, которому уже учил Лассаль, к вооруженной борьбе, к борьбе аргументами из стали. Мы сосредоточили все свои силы, материальные и моральные, на войне. Необходимость этого понимала вся партия. Но эта необходимость находит снова в стальной фигуре Троцкого свое высшее выражение. После нашей победы над Деникиным в марте 1920 года Троцкий на съезде партии сказал: «Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых» [10]. В этих нескольких словах выражено все неслыханное сосредоточение воли, которая нужна была для победы. Нужен был человек, который был бы воплощенным призывом к борьбе, который, вполне подчинив себя необходимости этой борьбы, стал бы колоколом, зовущим к оружию, волей, требующей от всех безусловного подчинения великой кровавой необходимости. Только человек, так работающий, как Троцкий, только человек, умеющий так говорить солдату, как говорил Троцкий,— только такой человек мог сделаться знаменосцем вооруженного трудового народа. Лучше всего характеризует это объединение стратега и военного организатора с политиком тот факт, что при всей этой тяжелой работе Троцкий находил в себе достаточно чуткости, чтобы понять значение для войны Демьяна Бедного или художника Моора. Наша армия была крестьянской армией, диктатура пролетариата в ней, то есть руководство этой крестьянской армией рабочими и представителями рабочего класса, осуществлялась партией в лице Троцкого и работающих с ним товарищей и осуществлялась в первую очередь таким образом, что Троцкий сумел при помощи всего аппарата нашей партии внушить крестьянской армии, усталой от войны, глубочайшее убеждение в том, что она борется за свои интересы.

Троцкий работал со всей партией над делом создания Красной Армии. Он не выполнил бы своей роли без партии. Но без него создание Красной Армии и ее победы требовали бы во много раз больше жертв. Если наша партия войдет в историю как первая партия пролетариата, которая сумела построить великую армию, то эта блестящая страница истории русской революции будет навсегда связана с именем Льва Давидовича Троцкого как человека, труд и дело которого будут предметом не только любви, но и науки новых поколений рабочего класса, готовящихся к завоеванию всего мира.

14 марта 1923.

А. Луначарский

МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ УРИЦКИЙ

Я познакомился с ним в 1901 году.

Между тюрьмой и ссылкой я был отпущен на короткий срок в Киев к родным [1].

По просьбе местного политического Красного Креста я прочел реферат в его пользу. И всех нас — лектора и слушателей, в том числе Е. Тарле и В. Водовозова,— отвели под козацким конвоем в Лукьяновскую тюрьму.

Когда мы немного осмотрелись, то убедились, что это какая-то особенная тюрьма: двери камер не запирались никогда — прогулки совершались общие и во время прогулок вперемежку занимались спортом, то слушали лекции по научному социализму. По ночам все садились к окнам, и начинались пение и декламация. В тюрьме имелась коммуна, так что и казенные пайки, и все присылаемое семьями поступало в общий котел. Закупки на базаре за общий счет и руководство кухней, с целым персоналом уголовных, принадлежало той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битье и даже ругательства.

Как же совершилось это чудо превращения Лукьяновки в коммуну? А дело в том, что тюрьмой правил не столько ее начальник, сколько староста политических — Моисей Соломонович Урицкий.

В то время носил он большую черную бороду и постоянно сосал маленькую трубку. Флегматичный, невозмутимый, похожий на боцмана дальнего плавания, он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал все, поспевал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других.

Над тюремным начальством он господствовал именно благодаря своей спокойной силе, властно выделявшей его духовное превосходство.

Прошли годы. Оба мы были за это время в ссылке, оба стали эмигрантами.

Левый меньшевик, Моисей Соломонович Урицкий был искренним и пламенным революционером и социалистом. Под кажущейся холодностью его и флегмой таилась исполинская вера в дело рабочего класса.

Он любил подтрунивать над всяким пафосом и красивыми речами обо всем великом и прекрасном; он гордился своей трезвостью и любил пококетничать ею как будто даже с некоторым цинизмом. Но на самом деле это был идеалист чистейшей воды! Жизнь вне рабочего

движения для него не существовала. Его огромная политическая страсть не бушевала и не клокотала только потому, что она вся упорядоченно и планомерно направлялась к одной цели; благодаря этому она проявлялась только деятельностью, и притом деятельностью чрезвычайно целесообразной.

Логика у него была непреклонная. Война 1914 года поставила его на рельсы интернационализма — и он не искал средних путей; как Троцкий, как Чичерин, как Иоффе, он быстро почувствовал полную невозможность удерживать хотя тень связи с меньшевиками-оборонцами, а потому радикально порвал с группой Мартова, которая этого не понимала.

Впрочем, еще до войны вместе с самым близким ему в политике человеком, Л. Д. Троцким, он уже стоял ближе к большевикам, чем к меньшевикам.

Мы свиделись с ним после долгой разлуки в 1913 году в Берлине. Опять та же история! Не везло мне с моими рефератами. Русская колония в Берлине пригласила меня прочесть пару лекций, а берлинская полиция меня арестовала, продержала недолго в тюрьме и выслала из Пруссии без права въезда в нее. И тут Урицкий опять оказался добрым гением. Он не только великолепно владел языком, но имел повсюду связи, которые привел в движение, чтобы превратить мой арест в крупный скандал для правительства; и я опять любовался им, когда он со спокойной иронической усмешечкой беседовал со следователем или буржуазными журналистами или «давал направление» нашей кампании на совещании с Карлом Либкнехтом, который тоже заинтересовался этим мелким, но выразительным фактом.

И все то же впечатление: спокойная уверенность и удивительный организаторский талант.

Во время войны Урицкий, живя в Копенгагене, играл и там крупную роль, но свою огромную и спокойную организаторскую силу он развернул постепенно во все более колоссальных размерах в России во время нашей славной революции.

Сперва он примкнул к так называемой междурайонной организации. Он привел ее в порядок, и дело ее безусловного и полного слияния с большевиками было в значительной мере делом его рук.

По мере приближения к 25 октября оценка сил Урицкого в главном штабе большевизма все росла.

Далеко не всем известна поистине исполинская роль Военно-Революционного Комитета в Петрограде, начиная приблизительно с 20 октября по половину ноября. Кульминационным пунктом этой сверхчеловеческой организационной работы были дни и ночи от 24 по конец месяца. Все эти дни и ночи Моисей Соломонович не спал. Вокруг него была горсть людей тоже большой силы и выносливости, но они утомлялись, сменялись, несли работу частичную,— Урицкий, с красными от бессонницы глазами, но все такой же спокойный и

улыбающийся, оставался на посту в кресле, к которому сходились все нити и откуда расходились все директивы тогдашней внезапной, неналаженной, но мощной революционной организации.

Я смотрел тогда на деятельность Моисея Соломоновича как на настоящее чудо работоспособности, самообладания и сообразительности. Я и теперь продолжаю считать эту страницу его жизни своего рода чудом. Но страница эта не была последней. И даже ее исключительная яркость не затмевает страниц последующих.

После победы 25 октября и следовавшей за нею серии побед по всей России одним из самых тревожных моментов был вопрос о тех взаимоотношениях, какие сложатся между Советским правительством и приближавшейся Учредилкой. Для урегулирования этого вопроса нужен был первоклассный политик, который умел бы соединить железную волю с необходимой сноровкой. Двух имен не называли: все сразу и единогласно остановились на кандидатуре Урицкого.

И надо было видеть нашего «комиссара над Учредительным собранием» во все те бурные дни! Я понимаю, что все эти «демократы» с пышными фразами на устах о праве, свободе и т. д. жгучею ненавистью ненавидели маленького круглого человека, который смотрел на них из черных кругов своего пенсне с ироническою холодностью, одной своей трезвой улыбкой разгоняя все их иллюзии и каждым жестом воплощая господство революционной силы над революционной фразой!

Когда в первый и последний день Учредилки над взбаламученным эсеровским морем разливались торжественные речи Чернова и «высокое собрание» ежеминутно пыталось показать, что оно-то и есть настоящая власть,— совершенно так же, как когда-то в Лукьяновке, той же медвежьей походкой, с тою же улыбающейся невозмутимостью ходил по Таврическому дворцу товарищ Урицкий и опять все знал, всюду поспевал и внушал одним спокойную уверенность, а другим — полнейшую безнадежность.

«В Урицком есть что-то фатальное!» — слышал я от одного правого эсера в коридорах в тот памятный день.

Учредительное собрание было ликвидировано. Но наступили новые, еще более волнующие трудности — Брест.

Урицкий был горячим противником мира с Германией. Это воплощение хладнокровия говорило с обычною улыбкой: «Неужели не лучше умереть с честью?»

Но на нервничание некоторых левых коммунистов М. С. отвечал спокойно: «Партийная дисциплина прежде всего!» О, для него это не была пустая фраза!

Разразилось февральское наступление немцев.

Вынужденный уехать, Совет Народных Комиссаров возложил ответственность за находившийся в почти отчаянном положении Петроград на товарища Зиновьева.

«Вам будет очень трудно,— говорил Ленин остающимся,— но остается Урицкий». И это успокаивало.

С тех пор началась искусная и героическая борьба Моисея Соломоновича с контрреволюцией и спекуляцией в Петрограде.

Сколько проклятий, сколько обвинений сыпалось на его голову за это время! Да, он был грозен, он приводит в отчаяние не только своей неумолимостью, но и своей зоркостью. Соединив в своих руках и Чрезвычайную комиссию и Комиссариат внутренних дел, и во многом руководящую роль в иностранных делах,— он был самым страшным в Петрограде врагом воров и разбойников империализма всех мастей и всех разновидностей.

Они знали, какого могучего врага имели в нем. Ненавидели его и обыватели, для которых он был воплощением большевистского террора.

Но мы-то, стоявшие рядом с ним вплотную, мы знаем, сколько в нем было великодушия и как умел он необходимую жестокость и силу сочетать с подлинной добротой. Конечно, в нем не было ни капли сентиментальности, но доброты в нем было много. Мы знаем, что труд его был не только тяжек и неблагодарен, но и мучителен.

Моисей Соломонович много страдал на своем посту. Но никогда мы не слышали ни одной жалобы от этого сильного человека. Весь — дисциплина, он был действительно воплощением революционного долга.

Они убили его. Они нанесли нам поистине меткий удар. Они выбрали одного из искуснейших и сильнейших врагов своих, одного из искуснейших и сильнейших друзей рабочего класса.

Убить Ленина и Урицкого — это значило бы больше, чем одержать громкую победу на фронте.

Трудно сомкнуть нам ряды: громадна пробитая в них брешь. Но Ленин выздоравливает *, а незабвенного и незаменимого Моисея Соломоновича Урицкого мы посильно постараемся заменить,— каждый удесятерив свою энергию.

Л. Троцкий

ПАМЯТИ М. В. ФРУНЗЕ

Речь на траурном заседании, посвященном памяти Михаила Васильевича Фрунзе, в г. Кисловодске 2 ноября 1925 года

За последние годы удар следует за ударом, образуя в рядах передовых борцов Советской страны одну брешь за другой. Последний удар — один из тягчайших — поразил нас 31 октября. Около

* Статья была написана после ранения Владимира Ильича.— *Ред.*

трех часов пополудни я получил из Москвы от товарища Сталина телеграмму, которая заключала короткий, но страшный текст: «Фрунзе скончался сегодня от паралича сердца». Я знал, как и все вы или, по крайней мере, многие из вас, что товарищ Фрунзе болен,— но кто же из старшего поколения революционеров здоров? — и каждый из нас думал, что болезнь его преходящая, что он вернется к своей ответственной работе. И вот — грозная телеграмма, которую несколькими часами позже, в более пространном виде, получила вся страна, весь Советский Союз. И так же как многие из вас, я держал в руках клочок бумаги с траурной вестью и старался вычитать не то, что там было написано, а нечто другое, менее грозное, менее безнадежное. Но текст не поддавался толкованиям, как и тот страшный факт, который в нем сообщен, не может быть — увы! — ни оспорен, ни отменен. Михаила Васильевича Фрунзе не стало, ушел навсегда один из храбрейших, из лучших, из достойнейших, и завтра революционная пролетарская Москва будет хоронить почившего борца на Красной площади. Первое чувство было — туда, в Москву, где протекала работа Михаила Васильевича за последний период, чтобы отдать ему последнюю дань, в рядах его ближайших соратников и друзей. Но в субботу и в воскресенье поезда в Москву не было, а тот, что ушел сегодня, придет в Москву слишком поздно [1]. Но все равно, товарищи, не одна Москва, а весь Советский Союз сегодня в трауре, склонив головы и знамена, отдает дань уважения и скорби памяти славного борца. И здесь, в Кисловодске, мы объединены одним горьким чувством, одной скорбной мыслью, которые сливаются с мыслями и чувствами всего рабочего класса и его руководительницы — Коммунистической партии, потерявшей одного из лучших своих сынов.

Молодым студентом примкнул Михаил Васильевич к делу рабочего класса. В Иваново-Вознесенске протекала его работа в дни первой революции (1905 года) и в последовавшие затем тяжкие и мрачные годы реакции. Личная отвага уже тогда отмечала этого из ряда вон выходящего молодого революционера. Он стрелял в пристава, который принимал участие в насилиях над иваново-вознесенскими рабочими, и этот акт, вместе со всей остальной его работой, привел Михаила Васильевича в 1907 году на каторгу, где он провел в тягчайших условиях, подорвавших его здоровье, долгий ряд лет. Только в 1915 году он выходит на поселение.

Условия каторги надломили его здоровье, но не сломили его духа; он вышел из ворот каторжной тюрьмы тем же, каким вошел,— твердым, несгибающимся революционером-большевиком.

Революция 1917 года застает его в том же Иваново-Вознесенске. Он снова в среде рабочих-текстильщиков. Он агитатор, он организатор, он боевой руководитель. Вокруг него собираются ряды в славные дни Октября 1917 года. Всего семь дней не дожил Михаил Васильевич до восьмой годовщины Октябрьской победы!

После Октября Фрунзе отдает свои исключительные силы главным образом организации обороны Советского государства. Он работает как руководящий военный комиссар Ярославского военного округа, из молодых рабочих-текстильщиков он создает первые крепкие, сколоченные регулярные части.

Гражданская война охватывает кольцом страну, и Михаил Васильевич является в Москву, стучится в дверь Центрального Комитета и требует отправки его на боевой фронт гражданской войны. И вот он на Востоке, в боях против Колчака. Он командует армией, он — бывший студент-революционер, каторжанин, который не прошел военной выучки,— оказывается во главе одной из революционных армий, при сомнении одних, при недоверии других, при естественном вопросе у всех: справится ли? Но он справился и с честью, и со славой. Вскоре он становится во главе группы из четырех армий. Помню, с какой любовью и гордостью пропускал он на смотру, кажется в Самаре, полк иваново-вознесенских текстильщиков. «Эти не выдадут!» И они действительно не выдали...

В области войска уральского, затем в Туркестане, затем в Бухаре проходят пути, по которым водил свои революционные полки М. В. Фрунзе. И у армии, и у партии, и у Центрального Комитета сложилось уже тогда твердое мнение: где трудно, где на фронте неустойка, где требуется из рук вон выходящее мужество, крепкая воля, быстрый глазомер,— туда послать Фрунзе. И вот он на Украине руководит боевыми действиями против последнего крупного вооруженного врага, против Врангеля. Достаточно назвать одно географическое наименование, чтобы оно ярким пламенем славы озарило имя М. В. Фрунзе: это слово — *Перекоп*! В страницах героической борьбы Красной Армии оно горит немеркнущей зарницей героизма и вместе с тем правильной, методически проведенной подготовки.

Ибо две черты одинаково характеризовали этого полководца Прежде всего личная храбрость, которая необходима каждому воину, все равно, рядовой ли это солдат или такой, который ведет в бой полки, отряды и армии. Личная храбрость отличала Михаила Васильевича как революционера и как солдата с головы до ног. Он не знал, что значит смятение души перед лицом врага и опасности. Он был в огне — и в жарком огне — не раз, и вражья пуля, которая иной раз не щадила лошади под ним, щадила его самого. Но полководцу личной храбрости мало. Ему нужно мужество решения. Перед лицом врага, когда от решения зависит столь многое, естественны сомнения: каким путем ударить? какой способ избрать? как сгруппировать силы? наступать ли сегодня или выждать? наступать ли вообще или отступать? Есть ведь десятки возможных решений, и между этими решениями колеблется мысль, отягощенная ответственностью. Фрунзе умел спокойно и трезво обдумать, выслушать и взвесить. Взвесив — твердо выбрать. А выбрав — довести до конца. У него

было мужество решимости, без которого нет военачальника, нет полководца. И он непосредственно обеспечил нашей стране блестящую победу над Врангелем. Имя Фрунзе, наряду с другим именем — Перекоп, навсегда останется в памяти людской как прекрасная революционная легенда, в основе которой лежит живой исторический факт.

Фрунзе руководит затем организацией военных сил на Украине, которую он очищает от бандитизма, сочетая политическое проникновение с военным ударом. Затем Михаил Васильевич переводится партией в Москву, где ставится во главе Красной Армии и Красного Флота. И все мы вправе были ждать, что здесь его исключительные силы и дарования развернутся в полном объеме. Но не сулила жестокая судьба. Кто прошел через испытания каторги, кто прошел невредимым через огонь гражданской войны, кто не раз, не два, где этого требовала революция, ставил свою жизнь на поле брани ребром,— тот пал под ударом судорожного сокращения небольшой мышцы, которая называется человеческим сердцем. Это мышца — мотор нашего организма. И тот, кто сам был могучим двигателем революции и армии, пал, неожиданно сраженный, когда его внутренний двигатель, сердце, оказался парализованным навсегда.

И вот завтра, товарищи, Красная Москва будет хоронить М. В. Фрунзе. И мы, здесь собравшиеся, как и многие тысячи, сотни тысяч и миллионы во всем нашем Союзе,— объединяемся с Москвой в общем горьком чувстве невозвратимой утраты. Трудно искать в эти часы слов утешения, да и нет и не может быть утешения личного, потому что исчезла, ушла навсегда героическая человеческая личность, которой не вернешь, товарищи, которой не вернешь... Но мы не только горюем и оплакиваем славного соратника. Как революционеры, мы думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. И если нет утешения личного в утрате героической человеческой личности, то есть утешение общее, коллективное, утешение политическое в глубоком сознании того, что дело, которому от молодых годов и до последнего биения своего больного сердца служил день за днем М. В. Фрунзе, что это дело торжествует и те траурные знамена, которые склонятся завтра над могилой усопшего, не выпадут из твердых рук победоносного рабочего класса. Есть утешение в том, что Красная Армия, в рядах которой, а затем и во главе которой покойный работал, боролся и служил делу пролетариата,— что эта армия растет, сплачивается и готова отразить по-прежнему — и лучше прежнего — возможные удары врагов. Да, есть утешение в том, что дело, которому служил Михаил Васильевич Фрунзе и от которого его оторвала жестокая насильница — смерть, что дело это бессмертно. Оно пройдет из народов в народы, оно пройдет из веков в века, и всюду, где наши отдаленные потомки будут вспоминать о героической борьбе пролетариата, они будут с благодарностью, с уважением,

с любовью называть того, кого завтра Москва собирается провожать в последний путь. Склоним же наши знамена и наши отягченные горестью сердца перед памятью борца и скажем: прощай, героический воин Октябрьской революции, прощай, славный военачальник Красной Армии, прощай, Михаил Васильевич, незабвенный боец, бесстрашный революционер — прощай навсегда!

А мы — оставшиеся — и на этот раз сделаем то, что революционерам надлежит делать в часы тягчайших утрат: теснее сомкнем ряды, чтобы скорее заполнить брешь. Ушел человек большого размера — двух, трех, пять поставим, но брешь заполним. Ибо борьба не знает остановки. Ибо партия, потерявшая одного из самых отважных своих знаменосцев, поведет рабочий класс вперед, к новым боям, к новым жертвам, и понесет народам всего мира то знамя, под которым славно жил и славно боролся героический воин революции Михаил Васильевич Фрунзе.

А. Луначарский

ФУРМАНОВ

Только общий мажорный тонус нашего движения, только тот боевой марш, в котором мы движемся вперед к победе, хотя и теряем на каждом шагу товарищей, может развеять острую тоску, навеваемую на каждого из нас расходившейся по нашим шеренгам смертью.

Беспрестанно раздается похоронный набат по какому-нибудь из товарищей.

Худо то, что смерть не щадит и молодых. Я прямо с каким-то ужасом узнал о смерти Фурманова.

Для меня он был олицетворением кипящей молодости, он был для меня каким-то стройным, сочным, молодым деревом в саду нашей новой культуры.

Мне казалось, что он будет расти и расти, пока не вырастет в мощный дуб, вершина которого поднимется над многими прославленными вершинами литературы.

Фурманов был настоящий революционный боец. Можно ли себе представить подлинного пролетарского писателя, который в нашу революционную эпоху не принимал бы непосредственно участия в борьбе! Но Фурманов принимал в ней самое острое участие как один из руководителей военных схваток наших со старым миром.

Это не только свидетельствует о настоящем героическом сердце, но это давало ему огромный и пламенный революционный опыт.

Замечательно то, что бросается в глаза в Фурманове и что опять-таки является характернейшей чертой того образа пролетарского пи-

сателя, который носится перед нами: он был необычайно отзывчивым на всякую действительность,— подлинный, внимательнейший реалист; он был горячий романтик, умевший без фальшивого пафоса, но необыкновенно проникновенными, полными симпатии и внутреннего волнения словами откликнуться на истинный подъем и личностей и масс. Но ни его реализм, ни его романтизм никогда ни на минуту не заставляли его отойти от его внутреннего марксистского регулятора.

Самая героическая действительность, самые хаотические впечатления не заставляют его заблудиться, не заставляют его сдаться на милость действительности, как какого-нибудь Пильняка, нет,— он доминирует над этой действительностью и от времени до времени взглядывает на марксистский компас, с которым не разлучается, и никакая романтика никогда не заставляет его опьянеть, трезвый холодок продолжает жить в его мозгу, когда сердце его пламенеет.

Он восторгается Чапаевым и чапаевцами, но он остается большевистским комиссаром при народном герое.

Вот эти-то черты Фурманова создают особенный аккорд в его произведениях. Они до такой степени аналитичны, они так умны, они такие марксистские, что некоторые близорукие люди заговаривают даже о том, будто Фурманов слишком впадает в публицистику.

Рядом с этим в произведениях Фурманова есть внутренний огонь, никогда не растрачивающийся на фейерверки красноречия, но согревающий каждую строчку, иногда до каления, и всегда в них есть зоркий взгляд подлинного художника, влюбленного в природу и в людей, дорожащего каждой минутой, когда он может занести в памятную книжку или в книгу своей памяти какой-нибудь эскиз, какой-нибудь этюд с натуры.

Фурманов так серьезен, он так понимает, что его книги создаются не для развлечения, а для поучения и для ориентации, что он готов поставить их литературно-увлекательную сторону на второй план, а на первый план — возможно более систематическое и действенное изложение интересующего его материала.

Когда народники стояли на вершине своего пафоса и своей серьезности, они создали Глеба Успенского.

Мы знаем теперь, что Глеб Иванович чистил свои произведения от одного издания к другому. Но как он их чистил? Он убирал беллетристические элементы, он делал их суше, потому что ему казалось почти недостойным занимать читателя изюминками юмора и художественными блестками.

Конечно, мы чужды этому аскетизму. Фурманов вовсе не хотел, так сказать, выжимать, выпаривать красоту, эмоции, жизненные образы из своих произведений. Он просто не им в первую очередь служил, не они были его целью.

Его целью была широкая ориентация — широко говорящий одновременно и уму и сердцу рапорт о событиях; а стиль, образы, лирика, остроумие — все это могло быть только служебными.

Однако Фурманов был и хотел быть художником. Он понимал, что в его молодых произведениях еще не достигнуто полное равновесие.

Успех его книг был огромный. Они разошлись почти в 300 000 экземпляров. Редко кто из наших классиков, самых великих, может по количеству распространенных экземпляров стать рядом с Фурмановым. Стало быть, широкий народный читатель его понял и полюбил.

Тем не менее Фурманов прекрасно знал, что ему надо еще много работать над собою.

Одно только можно сказать: никогда Фурманов не шел к художественному эффекту путем, так сказать, облегчения своей задачи, выбрасывания в качестве балласта своих наблюдений, не стремился поднять воздушный шар своего творчества выше ценою опустошения своего багажа. Нет, этого Фурманов не делал никогда. Он заботился о большей подъемной силе своего творчества — и он, несомненно, к ней пришел бы. Быть может, путь его был бы извилист, вел бы Фурманова от сравнительных неудач к сравнительным удачам, но он, конечно, пошел бы вверх.

Вот почему я считал Фурманова надеждой пролетарской литературы; среди прозаиков ее, где, несомненно, есть крупные фигуры, Фурманов был для меня крупнейшим.

Л. Троцкий

Г. И. ЧУДНОВСКИЙ

Из числа ближайших сотрудников «Нашего слова» два погибли в гражданской войне: Урицкий и Чудновский. Имя Урицкого, этого мягкого и нежного человека, который выполнил в революции столь суровую работу, знают все. Но о Чудновском нужно сказать хоть несколько слов. Он умер слишком молодым, и именно поэтому молодежь не знает его. Это был энтузиаст. Как нередко бывает с молодыми энтузиастами, он в спокойные времена прикрывал свое горение видимостью внешней выдержки, чуть ли не бесстрастия. Он очень серьезно занимался вопросами марксистской теории. Но при первом же крупном внешнем поводе Чудновский загорался с ног до головы. По прибытии из Америки вместе со мною (в начале мая 1917 г.) он, как военнообязанный по возрасту, вступил в армию Керенского и скоро завоевал руководящее положение в одном из корпусов. С первого дня Октябрьской революции он уже не разлучался с

винтовкой. Под Пулковом, в бою с казаками Керенского и Краснова, Чудновский командовал одним из отрядов: не потому, что знал военное дело лучше других, а потому, что был решительнее и мужественнее других. Раненный пулей и едва долечившись, снова ушел на линию огня и уже не выходил из нее. Так как горячее всего в то время было на Украине, то Чудновский оказался там. В рядах партизан он сражался с немецкими оккупантами и бандами Рады [1], которая приговорила его к смертной казни, но не успела повесить. Вступивши в Киев, красные войска спасли Чудновского. Но не надолго. Он погиб при отступлении из Харькова. Убила его гогенцоллернская или же демократическая пуля одного из украинских «социалистов-революционеров» или «социал-демократов», действовавших в бандах Рады совместно с войсками Гогенцоллерна, осталось неизвестным. Не все ли равно?..

24 апреля 1922 г.

Л. Троцкий

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУНАЧАРСКИЙ

За последнее десятилетие политические события развели нас в разные лагери, так что за судьбой Луначарского я мог следить только по газетам. Но были годы, когда нас связывали тесные политические связи и когда личные отношения, не отличаясь интимностью, носили очень дружественный характер.

Луначарский был на четыре-пять лет моложе Ленина и почти на столько же старше меня. Незначительная сама по себе разница в возрасте означала, однако, принадлежность к двум революционным поколениям. Войдя в политическую жизнь гимназистов в Киеве, Луначарский стоял еще под влиянием последних раскатов террористической борьбы народовольцев против царизма. Для моих более тесных современников борьба народовольцев была уже только преданием.

Со школьной скамьи Луначарский поражал разносторонней талантливостью. Он писал, разумеется, стихи, легко схватывал философские идеи, прекрасно читал на студенческих вечеринках, был незаурядным оратором, и на его писательской палитре не было недостатка в красках. Двадцатилетним юношей он способен был читать доклады о Ницше, сражаться по поводу категорического императива, защищать теорию ценности Маркса и сопоставлять Софокла с Шекспиром. Его исключительная даровитость органически сочеталась в нем с расточительным дилетантизмом дворянской интеллигенции, который наивысшее свое публицистическое выражение нашел некогда в лице Александра Герцена.

С революцией и социализмом Луначарский был связан в течение сорока лет, то есть всей своей сознательной жизни. Он прошел через тюрьмы, ссылку, эмиграцию, оставаясь неизменно марксистом. За эти долгие годы тысячи и тысячи прежних его соратников из того же круга дворянской и буржуазной интеллигенции перекочевали в лагерь украинского национализма, буржуазного либерализма или монархической реакции. Идеи революции не были для Луначарского увлечением молодости: они вошли к нему в нервы и кровеносные сосуды. Это первое, что надо сказать над его свежей могилой.

Было бы, однако, неправильным представлять себе Луначарского человеком упорной воли и сурового закала, борцом, не оглядывающимся по сторонам. Нет. Его стойкость была очень — многим из нас казалось, слишком — эластична. Дилетантизм сидел не только в его интеллекте, но и в его характере. Как оратор и писатель он легко отклонялся в сторону. Художественный образ нередко отвлекал его далеко прочь от развития основной мысли. Но и как политик он охотно оглядывался направо и налево. Луначарский был слишком восприимчив ко всем и всяким философским и политическим новинкам, чтобы не увлекаться и не играть ими.

Несомненно, что дилетантская щедрость натуры ослабила в нем голос внутренней критики. Его речи были чаще всего импровизациями и, как всегда в таких случаях, не были свободны ни от длиннот, ни от банальностей. Он писал или диктовал с чрезвычайной свободой и почти не выправлял своих рукописей. Ему не хватало духовной концентрации и внутренней цензуры, чтобы создать более устойчивые и бесспорные ценности. Таланта и знаний у него было для этого вполне достаточно.

Но как ни отклонялся Луначарский в сторону, он возвращался каждый раз к своей основной мысли не только в отдельных статьях и речах, но и во всей своей политической деятельности. Его разнообразные, иногда неожиданные качания имели ограниченную амплитуду: они никогда не выходили за черту революции и социализма.

Уже в 1904 году, через год примерно после раскола русской социал-демократии на большевиков и меньшевиков, Луначарский, прибыв в эмиграцию прямо из ссылки, примкнул к большевикам. Ленин, только что перед тем порвавший со своими учителями (Плеханов, Аксельрод, Засулич) и со своими ближайшими единомышленниками (Мартов, Потресов), стоял в те дни очень одиноко. Ему до зарезу нужен был сотрудник для экстенсивной работы, на которую Ленин не любил и не умел расходовать себя. Луначарский явился для него истинным подарком судьбы. Едва сойдя со ступенек вагона, он ворвался в шумную жизнь русской эмиграции в Швейцарии, во Франции, во всей Европе: читал доклады, выступал оппонентом, полемизировал в печати, вел кружки, шутил, острил, пел фальшивым

голосом, пленял старых и молодых разносторонней образованностью и милой сговорчивостью в личных отношениях.

Мягкая покладистость была немаловажной чертой в нравственном облике этого человека. Он был чужд как мелкого тщеславия, так и более глубокой заботы: отстоять от врагов и друзей то, что он сам признал как истину. Всю свою жизнь Луначарский поддавался влиянию людей, нередко менее знающих и талантливых, чем он, но более крепкого склада. К большевизму он пришел через своего старшего друга Богданова. Молодой ученый — естественник, врач, философ, экономист — Богданов (по действительной фамилии Малиновский) заранее заверил Ленина, что его младший товарищ Луначарский по прибытии за границу непременно последует его примеру и примкнет к большевикам. Предсказание подтвердилось полностью. Но тот же Богданов после разгрома революции 1905 года перетянул Луначарского от большевиков к маленькой ультранепримиримой группе [1], которая сочетала сектантское «непризнание» победоносной контрреволюции с абстрактной проповедью «пролетарской культуры», изготовляемой лабораторным путем.

В черные годы реакции (1908—1912 гг.), когда широкие круги интеллигенции повально впадали в мистику, Луначарский вместе с Горьким, с которым его связывала тесная дружба, отдал дань мистическим исканиям. Не порывая с марксизмом, он стал изображать социалистический идеал как новую форму религии и всерьез занялся поисками нового ритуала. Саркастический Плеханов именовал его «блаженным Анатолием». Кличка прилипла надолго! Ленин не менее беспощадно бичевал бывшего и будущего соратника. Хоть и смягчаясь постепенно, вражда длилась до 1917 года, когда Луначарский, не без сопротивления и не без крепкого давления извне, на этот раз с моей стороны, снова примкнул в большевикам. Наступил период неутомимой агитаторской работы, который стал периодом политической кульминации Луначарского. Недостатка в импрессионистских скачках не было и теперь. Так, он чуть-чуть не порвал с партией в самый критический момент, в ноябре 1917 года, когда из Москвы пришел слух, будто большевистская артиллерия разрушила церковь Василия Блаженного. Такого вандализма знаток и ценитель искусства не хотел простить! К счастью, Луначарский, как мы знаем, был отходчив и сговорчив, да к тому же и церковь Василия Блаженного нисколько не пострадала в дни московского переворота.

В качестве народного комиссара по просвещению Луначарский был незаменим в сношениях со старыми университетскими и вообще педагогическими кругами, которые убежденно ждали от «невежественных узурпаторов» полной ликвидации наук и искусств. Луначарский с увлечением и без труда показал этому замкнутому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды знакомства с ней. Не одному жрецу кафедры пришлось в те дни, широко

разинув рот, глядеть на этого вандала, который читал на полдюжине новых языков и на двух древних и мимоходом, неожиданно обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что ее без труда хватило бы на добрый десяток профессоров. В повороте дипломированной и патентованной интеллигенции в сторону Советской власти Луначарскому принадлежит немалая заслуга. Но как непосредственный организатор учебного дела он оказался безнадежно слаб. После первых злополучных попыток, в которых дилетантская фантазия переплеталась с административной беспомощностью, Луначарский и сам перестал претендовать на практическое руководство. Центральный Комитет снабжал его помощниками, которые под прикрытием личного авторитета народного комиссара твердо держали вожжи в руках.

Тем больше у Луначарского оставалось возможности отдавать свой досуг искусству. Министр революции был не только ценителем и знатоком театра, но и плодовитым драматургом. Его пьесы раскрывают все разнообразие его познаний и интересов, поразительную легкость проникновения в историю и культуру разных стран и эпох, наконец, незаурядную способность к сочетанию выдумки и заимствования. Но и не более того. Печати подлинного художественного гения на них нет.

В 1923 году Луначарский выпустил томик «Силуэты», посвященный характеристике вождей революции. Книжка появилась на свет крайне несвоевременно: достаточно сказать, что имя Сталина в ней даже не называлось [2]. Уже в следующем году «Силуэты» были изъяты из оборота, и сам Луначарский чувствовал себя полуопальным. Но и тут его не покинула его счастливая черта — покладистость. Он очень скоро примирился с переворотом в руководящем личном составе, во всяком случае полностью подчинился новым хозяевам положения. И тем не менее он до конца оставался в их рядах инородной фигурой. Луначарский слишком хорошо знал прошлое революции и партии, сохранил слишком разносторонние интересы, был, наконец, слишком образован, чтобы не составлять неуместного пятна в бюрократических рядах. Снятый с поста народного комиссара, на котором он, впрочем, успел до конца выполнить свою историческую миссию, Луначарский оставался почти не у дел, вплоть до назначения его послом в Испанию [3]. Но нового поста он занять уже не успел: смерть настигла его в Ментоне. Не только друг, но и честный противник не откажет в уважении его тени.

1 января 1934 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

О ЛЕНИНЕ

Л. Троцкий. Ленин и старая «Искра»

Впервые опубликовано в журнале «Жизнь», № 1, 1924 г. (с. 197—225). Печатается по: *Троцкий Л. Д.* О Ленине: Материалы для биографа. М., 1924.

Второму изданию книги, вышедшей в 1925 г., автор предпослал следующее предисловие:

Эта книга не закончена — и притом в двух смыслах. Прежде всего в ней никак нельзя искать биографии Ленина, или его характеристики, или законченного изложения его воззрений и методов действия. Эта работа дает только некоторые черновые материалы, наброски, эскизы для чьих-то будущих работ — может быть, и для работы автора этих строк. Подобный «эскизный» подход, однако, неизбежен и необходим. Наряду с популярными биографиями и общими характеристиками необходима сейчас уже более детальная и тщательная работа закрепления отдельных эпизодов, отдельных черт жизни и личности Ленина, какими они проходили на наших глазах. Значительнейшую часть этой книги составляют воспоминания автора о двух периодах, отделенных 15-летним промежутком: о последнем полугодии старой «Искры» и о решающем годе, в центре которого стоит Октябрьский переворот, то есть примерно с середины 1917 года до осени 1918-го.

Но эта книга не завершена и в другом, более узком смысле: я надеюсь, что обстоятельства позволят мне дальше работать над ней, вносить в нее поправки, исправлять, уточнять и дополнять ее новыми эпизодами и главами. Болезнь и вызванный ею временный отход от практической работы дали мне возможность восстановить в памяти многое из того, что рассказано в этой книге. Прочитывая первые наброски, я дальше разворачивал клубок памяти, восстановлял новые эпизоды, значительные уже тем одним, что они относятся к жизни Ленина или связаны с ним. Но этот метод работы заключает в себе то неудобство, что продукт работы остается никогда не законченным. Именно поэтому я решил в известный момент механически обрубить рукопись и в таком виде выпустить ее в свет. Вместе с тем я, как уже сказано, сохраняю за собой право работать над этой книгой и далее. Незачем говорить, что я буду весьма обязан всем участникам событий и эпизодов захваченного мною времени, которые внесут свои поправки или сделают те или другие напоминания.

Нелишне здесь же предварить, что целый ряд обстоятельств опущен мною сознательно, как имеющий слишком близкое отношение к злобам сего дня.

К двум основным частям книги, имеющим характер воспоминаний, я присоединяю те статьи и речи или части речей, в которых мне приходилось характеризовать Ленина.

Работая над воспоминаниями, я не пользовался почти никакими материалами, относящимися к изображаемой мною эпохе. Мне казалось, что, поскольку я не ставлю себе задачей дать законченный исторический очерк определенного периода из жизни Ленина, а лишь хочу представить кой-какие материалы из первоисточника,

каким в данном случае является автор этой работы, будет лучше, если я буду пользоваться лишь источниками собственной памяти.

После того как работа в основном была написана, я перечитал 14-й том Сочинений Ленина и книжку тов. Овсянникова о Брест-Литовском мире и внес в работу некоторые дополнения. Их оказалось очень немного.

Л. Троцкий

P. S. При прочтении написанного я заметил, что в воспоминаниях своих называю Ленинград либо Петроградом, либо Петербургом. Между тем некоторые другие товарищи Петроград старых времен называют задним числом Ленинградом. Мне это представляется неправильным. Можно ли, например, сказать: Ленин был арестован в Ленинграде? Ясно, что в Ленинграде не могли арестовать Ленина. Еще менее возможно сказать: Петр I основал Ленинград. Может быть, через годы или десятки лет новое название города, как вообще все собственные имена, утратит свое живое историческое содержание. Но сейчас мы слишком явно и живо ощущаем, что Петроград назван Ленинградом лишь после 21 января 1924 года — и не мог быть так назван раньше. Вот почему я в воспоминаниях сохраняю за Ленинградом то имя, каким он назывался в период описываемых событий.

Л. Т.

21 апреля 1924 г.

[1] *«Искра»* — первая общерусская политическая нелегальная марксистская газета, основанная В. И. Лениным в 1900 г. (№ 1 вышел в декабре в Лейпциге). II съезд РСДРП объявил «Искру» центральным органом партии. В связи с требованием Г. В. Плеханова включить в состав редакции всех старых редакторов-меньшевиков, отвергнутых съездом, 19 октября (1 ноября) 1903 г. В. И. Ленин вышел из состава редакции. С № 52 вместо старой, ленинской «Искры» выходила (до 1905 г.) новая, меньшевистская.— *8.*

[2] *II съезд РСДРП* состоялся 17(30) июля — 10(23) августа 1903 г. Первые 13 заседаний съезда происходили в Брюсселе, затем из-за преследований полиции были перенесены в Лондон. На съезде присутствовали 43 делегата с 51 решающим голосом и 14 делегатов с совещательным, представлявшие 26 организаций РСДРП. Важнейшими вопросами съезда были утверждение Программы и Устава партии, выборы руководящих партийных органов.— *8.*

[3] Л. Д. Троцкий совершил побег из ссылки в августе 1902 г.— *9.*

[4] *«Таймс» («Времена»)* — ежедневная газета, основанная в 1785 г. в Лондоне. Одна из крупных английских консервативных газет.— *10.*

[5] В. И. Ленин написал работу «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» осенью 1901 — в феврале 1902 г. (Полн. собр. соч. Т. 6. С. 1—192).— *11.*

[6] *Ленин В. И.* Развитие капитализма в России: Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. 1896—1899 гг. (Полн. собр. соч. Т. 3. С. 1—609).— *11.*

[7] *Маркс К.* Капитал: Критика политической экономии. 1867—1894 гг. (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23, 24, 25. Ч. 1—2).— *11.*

[8] *Махаевщина* — мелкобуржуазное течение в российском революционном движении. Возникло в конце XIX в. Названо по имени лидера, польского социалиста В. К. Махайского, считавшего интеллигенцию враждебным пролетариату паразитическим классом, а деклассированные элементы — базой революции.— *11.*

[9] *«Заря»* — русский марксистский научно-политический журнал, издававшийся легально в 1901—1902 гг. в Штутгарте редакцией «Искры». Всего вышло 4 номера (3 книги).— *12*.

[10] *«Илиада»* — древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру. Классический русский перевод Н. И. Гнедича (1829 г.).— *12*.

[11] *Каутский К*. Социальная революция. I. Социальная реформа и социальная революция. II. На другой день после социальной революции. Пер. с нем. Н. Карлова. Под ред. Н. Ленина. Изд. Лиги русск. рев. социал-демократии. Женева, тип. Лиги, 1903, 205 стр.— *12*.

[12] Разногласия между В. И. Лениным и Г. В. Плехановым по теоретической части Программы партии касались характеристики российского капитализма, определения руководящей роли рабочего класса, оценки политической роли российской буржуазии, указания о необходимости борьбы за диктатуру пролетариата, оценки крестьянства как союзника рабочего класса. Для выработки окончательного текста Программы редакцией «Искры» была выделена согласительная комиссия. Проект Программы был опубликован в № 21 «Искры» 1(14) июня 1902 г.— *13*.

[13] Имеется в виду проект Программы РСДРП, опубликованный в № 21 «Искры» 1(14) июня 1902 г.— *13*.

[14] *Засулич В*. Революционеры из буржуазной среды. (Социал-демократ. Лондон, 1890. № 1. Февраль. С. 50—87).— *15*.

[15] В Программу РСДРП, принятую на II съезде партии (1903 г.), было включено требование об учреждении крестьянских комитетов для возвращения крестьянам земель, отрезанных у них помещиками по реформе 1861 г. (отрезков). На III съезде (1905 г.) это положение было заменено требованием конфискации всей помещичьей земли.— *15*.

[16] *«Освобождение»* — нелегальный двухнедельный журнал, орган русской либеральной буржуазии, издававшийся за границей с 18 июня (1 июля) 1902 г. по 5(18) октября 1905 г. под редакцией П. Б. Струве.— *16*.

[17] В. И. Ленин был в курсе готовящейся статьи, опубликованной в № 21 «Искры» от 1 июня 1902 г. В своем письме 2 июля 1902 г. он писал Г. В. Плеханову: «Заметка в «Искре» явилась, таким образом, компромиссом: это было все, что я мог *отвоевать*...» (*Ленин В. И*. Полн. собр. соч. Т. 46. С. 191—192).— *16*.

[18] *Эсеры* (партия социалистов-революционеров) — крупнейшая мелкобуржуазная партия в России. Возникла в конце 1901 — начале 1902 г., до 1917 г. находилась на нелегальном положении. Основные требования эсеров были: демократическая республика, политические свободы, рабочее законодательство, социализация земли. Главное тактическое средство — индивидуальный террор. После Февральской революции вместе с меньшевиками составляли большинство в Советах, входили во Временное правительство. В ноябре 1917 г. левое крыло эсеров во главе с М. Спиридоновой выделилось в самостоятельную партию («левых эсеров»), действовавшую до середины 1918 г. в политическом блоке с большевиками. После Октябрьской революции эсеры поддерживали белогвардейцев, участвовали в контрреволюционных правительствах, организовывали мятежи и террористические акты. Прекратили свое существование в 1923 г.— *16*.

[19] *Ильин* — один из псевдонимов В. И. Ленина, которым он пользовался в 1895, 1903, 1909, 1913 и 1916 гг.— *17*.

[20] См.: Искра. 1902. № 30. 15 декабря.— *18*.

[21] В. И. Ленин приехал в Париж 10(23) февраля 1903 г.— *21*.

[22] В. И. Ленин прочитал в Русской высшей школе общественных наук в Париже четыре лекции на тему «Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России».— *21*.

[23] Видимо, Л. Д. Троцкий ошибается в дате, т. к. согласно «Биохронике» В. И. Ленин в декабре 1902 г. никаких докладов в Лондоне не делал.— *23*.

[24] Не установлено, кого имел в виду Л. Д. Троцкий.— *23*.

[25] *«Рабочая мысль»* — газета, орган «экономистов», выходила с октября 1897 г. по декабрь 1902 г. Вышло 16 номеров (первые два печатались в Петербурге).— *23*.

[26] ЦО — центральный орган партии. II съезд РСДРП объявил своим центральным органом газету «Искра».— *25*.

[27] *Кооптация* — введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов без проведения дополнительных выборов. Вопрос о порядке кооптации в центральные органы партии был предметом жарких дискуссий на II съезде РСДРП.— *26*.

[28] *«Южный рабочий»* — социал-демократическая группа, издавала нелегально с января 1900 г. по апрель 1903 г. газету того же названия. Вышло 12 номеров. На II съезде РСДРП делегаты группы «Южный рабочий» заняли позицию «центра». Постановлением съезда группа была распущена, как и все отдельные социал-демократические группы и организации.— *26*.

[29] *Ленин В. И.* Задачи русских социал-демократов. Конец 1879 г. (Полн. собр. соч. Т. 2. С. 433—470).— *30*.

А. Луначарский. Владимир Ильич Ленин

Печатается по тексту первой публикации: *Луначарский А. В.* Великий переворот (Октябрьская революция). Пб., 1919. Ч. 1.

[1] Имеется в виду работа В. И. Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе). *По поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Спб, 1894 г.»*, написанной в конце 1894 — начале 1895 г. и подписанной псевдонимом «К. Тулин» (Полн. собр. соч. Т. 1. С. 347—534).— *36*.

[2] В 1900 г. А. В. Луначарский был сослан на 3 года в Вологодскую губернию.— *37*.

[3] *«Рабочее дело»* — журнал «экономистов», непериодический орган «Союза русских социал-демократов за границей». Выходил в Женеве с апреля 1899 г. по февраль 1902 г. Вышло 12 номеров (9 книг).— *37*.

[4] *Бюро Комитетов Большинства* — общероссийский большевистский организационный центр, образованный по инициативе В. И. Ленина в конце 1904 г. для подготовки III съезда РСДРП.— *38*.

[5] После окончания трехгодичной ссылки в Вологде А. А. Богданов весной 1904 г. выезжал в Швейцарию, осенью 1904 г. вернулся в Россию.— *38*.

[6] В. И. Ленин приехал из Женевы в Париж для чтения рефератов о внутрипартийном положении 19—22 ноября (2—5 декабря) 1904 г.— *39*.

[7] *«Вперед»* — нелегальная большевистская газета, издававшаяся в Женеве с 22 декабря 1904 г. (4 января 1905 г.) по 5(18) мая 1905 г. Вышло 18 номеров.— *42*.

[8] *«Пролетарий»* — нелегальная большевистская еженедельная газета, центральный орган РСДРП, созданный по постановлению III съезда партии. Издавалась в Женеве с 14(27) мая по 12(25) ноября 1905 г. Всего вышло 26 номеров.— *42*.

[9] А. В. Луначарский переехал во Флоренцию в конце 1904 г.— *43*.

[10] В ноябре 1905 г. А. В. Луначарский по требованию В. И. Ленина приехал из Флоренции в Россию для совместной работы в редакции газеты «Новая жизнь».— *44*.

[11] Установить, какое именно выступление В. И. Ленина имел в виду А. В. Луначарский, не удалось, т. к. В. И. Ленин неоднократно выступал (в том числе и под фамилией Карпов) на различных митингах и собраниях.— *44*.

[12] В. И. Ленин жил в Финляндии с мая 1906 г. по декабрь 1907 г.— *45*.

[13] *Международный социалистический конгресс в Штутгарте* (VII конгресс II Интернационала) проходил с 18 по 24 августа 1907 г. В. И. Ленин и А. В. Луначарский входили в состав делегации большевиков.— *45*.

[14] Имеется в виду принятая международным социалистическим конгрессом в Штутгарте резолюция «Милитаризм и международные конфликты». Особенно активно А. В. Луначарский выступал по вопросу о взаимоотношениях профсоюзов и политических партий в соответствующей комиссии конгресса. По данному вопросу конгресс, вопреки правому крылу, принял резолюцию, подтверждавшую ленинский принцип партийности профсоюзов.— *46*.

[15] Имеется в виду период с 1908 г. до начала 1917 г., когда А. В. Луначарский входил в группу «Вперед» и проповедовал теорию богостроительства.— *46*.

[16] *«Вперед»* — антибольшевистская группа отзовистов, ультиматистов и богостроителей, организована в декабре 1909 г. по инициативе А. Богданова и Г. Алексинского. Имела печатный орган того же названия. Фактически распалась в 1913 г., формально прекратила существование после Февральской революции.— *46*.

[17] *Международный социалистический конгресс в Копенгагене* (VIII конгресс II Интернационала) проходил с 28 августа по 3 сентября 1910 г. В. И. Ленин, А. В. Луначарский вместе с Г. В. Плехановым, А. М. Коллонтай и другими представляли на конгрессе РСДРП.— *46*.

[18] С 1906 г. А. В. Луначарский жил в Италии, с 1911 г.— во Франции (в Париже), а с 1914 до 1917 г.— в Швейцарии (в Сен-Льеже).— *47*.

[19] Имеется в виду выделение и сплочение интернационалистических элементов в социалистическом движении и размежевание их с оппортунизмом и социал-шовинизмом. Первым шагом в развитии интернационального движения против войны В. И. Ленин назвал первую международную социалистическую конференцию в Циммервальде, состоявшуюся 5—8 сентября 1915 г.— *47*.

К. Радек. Ленин.
К 25-летию партии

Печатается по тексту первой публикации: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] Впервые В. И. Ленин уехал за границу 25 апреля (7 мая) 1895 г., где он установил связи с группой «Освобождение труда» (Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом), договорился об издании за границей сборника «Работник» и познакомился с западноевропейским рабочим движением (П. Лафаргом и В. Либкнехтом). 7(19) сентября 1895 г. В. И. Ленин возвратился в Россию.— *48*.

[2] *Брест-Литовский мирный договор* был заключен между Советской Россией и странами германского блока (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция) в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. и ратифицирован 15 марта IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. 13 ноября 1918 г., после свержения монархии в Германии, ВЦИК объявил об аннулировании договора.— *51*.

[3] Имеется в виду война буржуазно-помещичьей Польши и Советской России в апреле — октябре 1920 г., завершившаяся подписанием Рижского мирного договора 18 марта 1921 г.— *52*.

[4] После подписания 12 октября 1920 г. прелиминарного (предварительного) мирного договора между Польшей, с одной стороны, Советской Россией и Советской Украиной — с другой, в Риге начались переговоры об окончательном заключении мира. Переговоры длились 5 месяцев. Окончательный мирный договор был подписан в Риге 18 марта 1921 г. По Рижскому мирному договору Западная Украина и Западная Белоруссия отходили к Польше. Рижский мирный договор был аннулирован Советским правительством 17 сентября 1939 г.— *52*.

[5] Имеется в виду дискуссия о профсоюзах, происходившая в РКП(б) в конце 1920 — начале 1921 г.— *52*.

[6] *Маркс К.* К критике политической экономии. Август 1858 г.— январь 1859 г. (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 13. С. 1—167).— *52*.

[7] *Гогенцоллерны* — династия бранденбургских курфюрстов в 1415—1701 гг.; прусских королей в 1701—1918 гг.; германских императоров в 1871—1918 гг.— *53*.

[8] Имеется в виду созданная в декабре 1921 г. Антирелигиозная комиссия при Агитпропе ЦК.— *54*.

[9] *Хвостизм* — оппортунистическая идеология и тактика, проявляющаяся в сужении революционных задач рабочего класса, в проповедовании чисто тред-юнионистских методов борьбы, в преклонении перед стихийностью рабочего движения. Понятие «хвостизм» впервые введено в марксистскую литературу В. И. Лениным (в книге «Что делать?», 1902 г.) для политического определения теории и практики экономизма.— *54*.

[10] *Эмпириокритицизм* — субъективно-идеалистическое течение, основанное Р. Авенариусом и Э. Махом, форма позитивизма конца XIX — начала XX в. Несостоятельность эмпириокритицизма раскрыта В. И. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч. Т. 18. С. 7—384).— *54*.

[11] К. Б. Радек вместе с Р. Люксембург перед первой мировой войной выступали против ленинского положения о праве наций на самоопределение.— *55*.

[12] *Моисей* — пророк, в библейской мифологии предводитель израильских племен, призванный богом Яхве вывести израильтян из фараоновского рабства сквозь расступившиеся воды Черного (Красного) моря.— *55*.

Л. Троцкий.
Вокруг Октября

Публикуется по: *Троцкий Л. Д.* О Ленине (материалы для биографа). М., 1924. Отдельные главы («Ленин на трибуне» и «Филистер о революционере») были опубликованы до выхода книги в периодической печати (газеты «Правда», «Известия» и др.).

[1] В марте 1917 г., узнав о революции, Л. Д. Троцкий попытался приехать в Россию через Европу, но в Галифаксе (Канада) был задержан вместе с несколькими другими русскими эмигрантами английскими военно-полицейскими властями на основании «черных» списков, составлявшихся царской охранкой. По требованию Временного правительства после месячного заключения он был освобожден и прибыл в Петроград в первых числах мая.— *56*.

[2] Имеется в виду *«Вторая международная конференция» циммервальдцев»* — вторая международная социалистическая конференция, состоявшаяся 24—30 апреля 1916 г. в г. Кинтале (Швейцария). Конференция, на которой присутствовало 43 делегата из 10 стран, способствовала выделению и сплочению интернационалистических элементов социал-демократического движения, которые впоследствии составили ядро III Коммунистического интернационала.— *56*.

[3] *«Правда»* — ежедневная легальная большевистская газета, выходила с 22 апреля (5 мая) 1912 г. по 8(21) июля 1914 г., после Февральской революции издание возобновилось. С 5(18) марта 1917 г. выходила как орган Центрального и Петербургского комитетов РСДРП. В июле — октябре 1917 г. неоднократно меняла название.— *56*.

[4] *«Первый этап первой революции»* — первое из ленинских «Писем из далека», было напечатано с сокращениями в «Правде» № 14 и 15 от 21 и 22 марта 1917 г. (Полн. собр. соч. Т. 31. С. 11—22).— *56*.

[5] Л. Д. Троцкий приехал в Россию 5 мая 1917 г., его встреча с В. И. Лениным состоялась несколькими днями позже.— *57*.

[6] *«Межрайонцы»* (объединенцы) — члены межрайонной организации объединенных социал-демократов, возникшей в Петербурге в ноябре 1913 г., ставили своей целью создание «единой» РСДРП путем примирения различных политических течений и фракций. В 1917 г. заявили о разрыве с оборонцами и о согласии с линией большевиков. На VI съезде РСДРП(б) были приняты в партию большевиков.— *57*.

[7] *Меньшевики-интернационалисты* — левое крыло меньшевизма в период первой мировой войны. Входили в состав «межрайонцев», «объединенных социал-

демократов» и т. п., группировались вокруг газеты «Новая жизнь». После июльских дней 1917 г. порвали с оборонцами, некоторые из них вошли в большевистскую партию.— *57*.

[8] Имеется в виду политический кризис в России в июле 1917 г. 3(16) июля в Петрограде вспыхнули стихийные демонстрации солдат и рабочих. Большевики возглавили движение, стремясь придать ему мирный характер. 4(17) июля 500 тыс. рабочих, солдат и матросов с лозунгами «Вся власть Советам!» двинулись к Таврическому дворцу, где заседал ЦИК. Командующий Петроградским военным округом П. А. Половцев приказал казакам и юнкерам разогнать демонстрацию, в результате чего 56 человек было убито и около 650 ранено. 5(18) июля ЦК РСДРП(б) вынес решение прекратить демонстрации. Петроград был объявлен на военном положении. Начались аресты, разоружение рабочих и революционных солдат. Июльский кризис положил конец двоевластию.— *57*.

[9] I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов проходил в Петрограде с 3 по 24 июня (16 июня — 7 июля) 1917 г.— *57*.

[10] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 31. С. 133.— *58*.

[11] Неточное цитирование. Ср.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 267.— *58*.

[12] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 267.— *58*.

[13] Свою вторую речь на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, посвященную отношению к войне, В. И. Ленин закончил словами из письма крестьянина, опубликованного в газетах «Социал-демократ» (1917. № 59) и «Правда» (1917. № 68): «Нужно побольше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам. Тогда война кончится. Но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 291).— *59*.

[14] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. С. 35.— *59*.

[15] Имеется в виду заявление бюро фракции большевиков и бюро объединенных социал-демократов интернационалистов на I Всероссийском съезде Советов с требованием постановки на съезде в первую очередь вопроса о готовящемся Временным правительством наступлении на фронте. Предложение было отвергнуто съездом. Приказ о наступлении был отдан военным министром А. Ф. Керенским 16(29) июня, а 18 июня (1 июля) русские войска перешли в наступление на Юго-Западном фронте.— *60*.

[16] Решения I Всероссийского съезда Советов об отклонении требований большевиков о прекращении войны и передачи власти в руки Советов, а также антидемократические действия Временного правительства привели к тому, что 8(21) июня забастовали рабочие 29 заводов Петрограда. 8(21) июня ЦК и ПК РСДРП(б) на расширенном совещании с представителями районов, воинских частей, профсоюзов и фабзавкомов решили провести 10(23) июня мирную демонстрацию. Но I съезд Советов 9(22) июня запретил проведение демонстрации. ЦК РСДРП(б) в ночь с 9 по 10 (с 22 по 23) июня постановил подчиниться решению съезда. Съезд Советов решил провести 18 июня (1 июля) демонстрацию под знаком доверия Временному правительству. Однако, вопреки ожиданию соглашателей, она состоялась под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!» — *60*.

[17] *III Конгресс Коммунистического Интернационала* состоялся 22 июня — 12 июля 1921 г. в Москве. Он поставил задачу завоевания большинства рабочего класса на основе тактики *единого фронта*, одобрил доклад и тезисы В. И. Ленина о тактике РКП(б).— *61*.

[18] Л. Д. Троцкий был арестован в начале июля 1917 г. (после июльского политического кризиса), провел около двух месяцев в тюрьме и был освобожден в конце августа (начале сентября) 1917 г.— *62*.

[19] Встреча В. И. Ленина с Л. Д. Троцким произошла между 10(23) и 16(29) октября 1917 г.— *62*.

[20] С 11 марта 1917 г. до июльских дней во дворце Кшесинской располагались Центральный и Петербургский комитеты РСДРП(б).— *64*.

[21] Имеются в виду Апрельские тезисы В. И. Ленина — тезисы «О задачах пролетариата в данной революции». Они легли в основу доклада, с которым В. И. Ленин 4(17) апреля 1917 г. по возвращении в Россию выступил дважды в Таврическом дворце на собрании большевиков и затем перед участниками Всероссийского совещания Советов. Тезисы были опубликованы 7(20) апреля 1917 г. в газете «Правда» и напечатаны в других большевистских газетах (Полн. собр. соч. Т. 31. С. 113—118).— *65*.

[22] Имеется в виду демонстрация протеста рабочих и солдат Петрограда 20—21 апреля (3—4 мая) против политики Временного правительства. Поводом к выступлению послужила нота П. Н. Милюкова о готовности правительства продолжать войну.— *65*.

[23] *Предпарламент* (офиц. название — Временный совет Российской республики) — совещательный орган при Временном правительстве, создан 20 сентября (3 октября) 1917 г. на Демократическом совещании как средство отвлечения масс от революционной борьбы в качестве «представительного органа» всех российских партий до созыва Учредительного собрания; был ограничен совещательными функциями. Большевистская фракция покинула Предпарламент на первом же заседании. Днем 25 октября (7 ноября) войска ВРК окружили дворец и распустили Предпарламент.— *66*.

[24] *Учредительное собрание* — парламентское учреждение в России. Было избрано в ноябре — декабре 1917 г. и открылось 5(18) января 1918 г. в Петрограде в Таврическом дворце. После того как Учредительное собрание отказалось обсуждать предложенную от имени ВЦИК Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, не признало декреты Советской власти, большевики, левые эсеры и представители некоторых других групп покинули заседание. В ночь с 6(19) на 7(20) января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания, одобренный III Всероссийским съездом Советов.— *66*.

[25] *Булыгинская дума* — представительный законосовещательный орган, проектировавшийся манифестом от 6 августа 1905 г. в соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу» (опубликован в тот же день). Проект был разработан в министерстве внутренних дел, возглавляемом с 22 января по 22 октября 1905 г. А. Г. Булыгиным (1851—1919). Ее созыв был сорван революционными событиями октября — декабря 1905 г.— *66*.

[26] Видимо, речь идет о работе В. И. Ленина «Из дневника публициста. Ошибки нашей партии», написанной 22—24 сентября (5—7 октября) 1917 г. и впервые опубликованной в журнале «Пролетарская революция», № 3, 1924 (Полн. собр. соч. Т. 34. С. 257—263).— *66*.

[27] *Мартовские бои 1921 г. в Германии* — оборонительные вооруженные бои рабочих Средней Германии 23 марта — 1 апреля 1921 г., жестоко подавленные правительством.— *66.*

[28] *Всероссийское демократическое совещание* созвано 14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 г. в Петрограде по решению эсеро-меньшевистских ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов.— *66.*

[29] Имеется в виду ВЦИК, избранный на I Всероссийском съезде Советов 3(16)— 24 июня (7 июля) 1917 г. и просуществовавший до II съезда (25—27 октября (7—9 ноября) 1917 г.).— *68.*

[30] Видимо, имеется в виду заседание ЦК партии 10(23) октября 1917 г.— первое заседание ЦК, в котором принял участие В. И. Ленин после приезда из Выборга в Петроград. На заседании десятью голосами против двух была принята резолюция ЦК о немедленной подготовке вооруженного восстания.— *68.*

[31] *Военно-революционные комитеты* (ВРК) — боевые органы при Советах рабочих и солдатских депутатов. Созданы в октябре — декабре 1917 г. для подготовки и проведения вооруженного восстания, установления Советской власти.— *69.*

[32] *Перейти Рубикон* — сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие события, совершить решительный поступок, имеющий поворотное значение в жизни. От названия реки Рубикон, которую перешел в 49 г. до н. э., вопреки воле римского сената, Юлий Цезарь со своими легионами. Это событие послужило началом гражданской войны и привело, после захвата Цезарем Рима, к установлению в Риме империи.— *70.*

[33] В речи на собрании Московского Комитета РКП(б) по поводу 50-летия со дня рождения В. И. Ленина И. В. Сталин, тоже очевидец событий, несколько иначе описывает обстановку и слова В. И. Ленина.— *70.*

[34] *Переверзевщина* — по имени Переверзева П. Н.— министра юстиции в первом коалиционном Временном правительстве. В июле 1917 г. опубликовал сфабрикованные Алексинским совместно с военной контрразведкой фальшивые документы о связях В. И. Ленина и большевиков с германским генштабом.— *71.*

[35] 2(15) декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано соглашение о перемирии между Советской Россией и Германией. 9(22) декабря начались мирные переговоры. 12(25) декабря в связи с отказом правительств стран Антанты присоединиться к переговорам и выдвижением Германией новых условий переговоры по предложению Советского правительства были временно прерваны. 17(30) января 1918 г. они возобновились, но 28 января (10 февраля) после декларации Л. Д. Троцкого переговоры были вновь прерваны, и германская сторона заявила о прекращении перемирия. 18 февраля австро-германские войска начали наступление по всему фронту. 19 февраля Советское правительство телеграфировало о согласии подписать мирный договор на германских условиях. Но германское правительство 23 февраля выдвинуло еще более тяжелые условия. В ночь на 24 февраля 1918 г. ВЦИК и СНК РСФСР сообщили германскому правительству о принятии новых условий, и 3 марта советская делегация подписала Брестский договор.— *72.*

[36] *Январская всеобщая забастовка* в Германии (28 января — 4 февраля 1918 г.) — крупнейшее политическое выступление против аннексионистских требований немецкой военщины на советско-германских переговорах в Брест-Литовске.— *72.*

[37] Имеется в виду выступление «левых коммунистов» по вопросам внутренней и внешней политики. Так, например, Московское областное бюро РСДРП приняло 24 февраля 1918 г. резолюцию, где выражалось недоверие ЦК и было заявлено, что устранение раскола партии в ближайшее время едва ли возможно. В конце лета 1918 г. группа «левых коммунистов», открыто признав свои ошибки, активно включилась в партийную и государственную деятельность.— *74*.

[38] Имеется в виду беседа В. И. Ленина с руководителями большевистской организации Эстляндской губернии, состоявшаяся между 7(20) и 14(27) января 1918 г.— *75*.

[39] III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов состоялся 10—13 (23—26) января 1918 г. в Петрограде. Начал работу как съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 13 января объединился с III Всероссийским крестьянским съездом, что завершило процесс создания единого верховного органа Советской власти. Санкционировал роспуск Учредительного собрания.— *75*.

[40] *Левые эсеры* — мелкобуржуазная партия в России организационно оформилась в конце 1917 г. (до этого — левое крыло партии эсеров). Входили в ВРК, ВЦИК, СНК РСФСР. Вышли из правительства в марте 1918 г. после подписания Брестского мира. В июле 1918 г. подняли антисоветский мятеж, после подавления которого часть левых эсеров вышла из партии и образовала самостоятельные партии (партии «народников-коммунистов», «революционных коммунистов»). Окончательно партия левых эсеров прекратила свое существование в 1923 г.— *75*.

[41] Л. Д. Троцкий был наркомом иностранных дел с 26 октября (8 ноября) 1917 г. по 8 апреля 1918 г.— *76*.

[42] 5 марта 1918 г. германские отряды высадились на Аланских островах, 3 апреля т. н. Балтийская дивизия генерала фон дер Гольца высадилась в г. Ханко, а 7 апреля отряд в 3 тыс. человек высадился около г. Ловисты.— *76*.

[43] Революция в Финляндии началась 28 января 1918 г. За короткое время сопротивление белых было сломлено во всей южной части страны. Север и большая часть Средней Финляндии были захвачены белой гвардией. 28 января 1918 г. было сформировано революционное правительство — Совет народных уполномоченных, которое в своей практической работе осуществляло наряду с общедемократическими мероприятиями и некоторые социалистические преобразования. Революция в Финляндии была подавлена в начале мая 1918 г. объединенными силами контрреволюции и высадившихся в Финляндии немецких войск.— *77*.

[44] Имеется в виду советско-польская война, которая началась 25 апреля 1920 г. с нападения на Советскую Россию буржуазно-помещичьей Польши и наступления ее войск на Киев.— *77*.

[45] *Национальный конвент* — высший законодательный и исполнительный орган первой французской республики, созданный в период Великой французской революции, существовал с 20 сентября 1792 г. по 26 октября 1795 г.— *80*.

[46] 19 ноября (2 декабря) 1917 г. СНК по предложению В. И. Ленина постановил «немедленно выписать в Петроград один латышский стрелковый полк» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 54. С. 382). 25 ноября (8 декабря) 1917 г. прибыл в Петроград 6-й Тукумский полк, а на другой день прибыла сводная рота латышских стрелков, которая вместе с матросами и красногвардейцами охраняла Смольный и поезд, в котором Советское правительство 10—11 марта 1918 г. переезжало в Москву.— *81*.

[47] *Ленин В. И.* Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 491—509.— *81*.

[48] Имеется в виду буржуазно-демократическая революция во Франции, уничтожившая буржуазную монархию и создавшая Вторую республику.— *81*.

[49] Имеется в виду заседание Петроградского Совета вечером 5(18) мая 1917 г.— *82*.

[50] Переговоры с Викжелем (Всероссийским исполнительным комитетом железнодорожного профсоюза) по вопросу о власти велись с 29 октября (11 ноября) 1917 г. до 23 ноября (6 декабря) 1917 г. СНК, отказавшись вступать в политическое соглашение с Викжелем, постановил созвать съезд железнодорожников. Открывшийся 12(25) декабря 1917 г. в Петрограде Чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожных рабочих и мастеровых встал на платформу Советской власти, принял резолюцию недоверия Викжелю.— *85*.

[51] См.: *Милютин В.* Как произошло название «Народный Комиссар».— В кн.: Кормчий Октября. 1925. С. 47—48.— *85*.

[52] 12(25) июля 1917 г. Временное правительство ввело на фронте смертную казнь. Этот закон был отменен 26 октября (8 ноября) 1917 г. постановлением II Всероссийского съезда Советов.— *85*.

[53] *«Новое время»* — ежедневная газета, выходившая в Петрограде с 1868 по 1917 г.; первоначально либеральная, с 1905 г.— орган черносотенцев. Закрыта Петроградским ВРК 26 октября (8 ноября) 1917 г.— *86*.

[54] Имеется в виду наступление австро-германских войск по всему фронту, начавшееся 18 февраля 1918 г. после прекращения переговоров в Брест-Литовске.— *87*.

[55] *«Социалистическое отечество в опасности!»* — декрет-воззвание СНК РСФСР. Принят 21 февраля 1918 г. Призыв мобилизовать все силы для отпора наступавшим германским войскам. Вызвал массовый приток в Красную Армию. (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 357—358; Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 490—491).— *87*.

[56] Имеется в виду 8-й пункт декрета «Социалистическое отечество в опасности»: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления» (Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 491).— *87*.

[57] *Маниловщина* — мечтательное, бездеятельное отношение к окружающему, беспочвенное благодушие (по имени Манилова, одного из героев «Мертвых душ» Гоголя).— *87*.

[58] *Обломовщина* — безволие, состояние бездеятельности и лени (по имени Обломова, героя романа Гончарова).— *88*.

[59] Видимо, имеется в виду Главный штаб Красной гвардии, созданный 23 октября (5 ноября) 1917 г. и расформированный в марте 1918 г. в связи с созданием Красной Армии.— *88*.

[60] Имеется в виду вопрос о возможности и методах привлечения в Красную Армию офицеров и генералов старой армии. Внутрипартийные разногласия

по данному вопросу особенно остро проявились на VIII съезде РКП(б) (март 1919 г.).— *88*.

[61] *Высший военный совет* образован по декрету СНК РСФСР от 4 марта 1918 г. для руководства всеми военными операциями с безусловным подчинением ему всех военных учреждений и лиц. Упразднен 2 сентября 1918 г. декретом ВЦИК, его функции переданы Реввоенсовету Республики.— *89*.

[62] Вопрос об эвакуации правительства и правительственных учреждений из Петрограда в Москву в связи с наступлением немцев на Псков обсуждался на заседании СНК 26 февраля 1918 г. Окончательное решение о перенесении столицы в Москву было принято IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов в марте 1918 г.— *89*.

[63] В здании Кавалерского корпуса в Кремле В. И. Ленин и Н. К. Крупская жили в двухкомнатной квартире с 19 марта по 28 марта 1918 г.— *89*.

[64] О составе Советского правительства и переменах в нем см.: Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 826—827.— *89*.

[65] Имеются в виду «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира», оглашенные В. И. Лениным 8 января 1918 г. на совещании членов ЦК с партийными работниками. «Тезисы» были опубликованы 24 февраля 1918 г. в «Правде» (№ 34) (Полн. собр. соч. Т. 35. С. 243—252).— *92*.

[66] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 244.— *92*.

[67] Проект *«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»* был внесен на заседании ВЦИК 3(16) января 1918 г. Проект был принят за основу большинством голосов. После окончательной доработки в согласительной комиссии «Декларация» была принята ВЦИК и опубликована 4(17) января 1918 г. в «Известиях ЦИК» (№ 2) и «Правде» (№ 2).— *93*.

[68] *Первая Конституция РСФСР* была утверждена 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов.— *93*.

[69] *V Всероссийский съезд Советов* рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов проходил в Москве 4—10 июля 1918 г.— *93*.

[70] *Конституционная комиссия* была создана ВЦИК 1 апреля 1918 г. в составе представителей от коммунистической фракции ВЦИК, фракции левых эсеров, эсеров-«максималистов», а также от наркоматов.— *93*.

[71] *Чехословацкий корпус* был сформирован в России во время первой мировой войны из военнопленных австро-венгерской армии и русских подданных чешской национальности. 26 марта 1918 г. Советское правительство заключило соглашение с Чехословацким национальным Советом, которому подчинялся корпус, об эвакуации корпуса через Владивосток. Однако 25 мая 1918 г. войска чехословацкого корпуса начали контрреволюционный мятеж в Поволжье, Сибири и на Урале.—*94*.

[72] Войсками чехословацкого корпуса и белогвардейцев Казань была взята 7 августа 1918 г.— *94*.

[73] Наиболее тяжелое положение под Петроградом сложилось в мае — июне и октябре 1919 г., когда белогвардейские войска под командованием генерала Н. Н. Юденича находились в непосредственной близости от города.— *94*.

[74] Имеется в виду участие в левоэсеровском мятеже (6—7 июля 1918 г.) отряда под командованием Д. И. Попова (св. 600 чел.), числившегося в распоряжении ВЧК.— *95.*

[75] Первая партийная мобилизация на Восточный фронт была проведена в июле — августе 1918 г., когда по призыву ЦК Петроградская, Московская, Иваново-Вознесенская и др. партийные организации послали на фронт пятую часть своих членов.— *97.*

[76] *Г. Свияжск, Казанской губернии* (ныне село Верхне-Усского района Татарской АССР) — в августе 1918 г. там находилась ставка Л. Д. Троцкого как наркома по военным и морским делам и штаб 5-й армии.— *98.*

[77] Войска Красной Армии освободили Казань 10 сентября, а Симбирск — 12 сентября 1918 г.— *98.*

[78] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 95, 96.— *98.*

[79] В настоящее время имеется 379 фотографий и около 900 метров 21 киносъемки В. И. Ленина в послеоктябрьский период (см.: В. И. Ленин. Собрание фотографий и кинокадров. М., 1980. Т. 1—2).— *98.*

[80] Имеется в виду глава «Кремлевский мечтатель» из книги Г. Уэллса «Россия во мгле» (1920).— *103.*

[81] *«Фабианское общество»* — организация английской буржуазной интеллигенции. Создано в 1884 г., пропагандировало реформистские идеи постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ. В 1900 г. после создания Лейбористской партии вошло в ее состав.— *104.*

[82] *Версальский мирный договор* — империалистический договор, завершивший Первую мировую войну. Подписан в Версале (Франция) странами-победительницами и побежденной Германией 28 июня 1919 г.— *108.*

[83] *Трафальгар-сквер* — площадь в Лондоне, место проведения митингов и демонстраций.— *110.*

[84] *II Интернационал* — международное объединение социалистических партий. Основан в Париже в 1889 г. Фактически прекратил свое существование с начала первой мировой войны.— *110.*

[85] *Третье сословие* — термин, в широком смысле слова обозначающий все податное население Франции XV—XVIII вв. (купцы, ремесленники, крестьяне, позднее также буржуазия, рабочие) в отличие от первых двух сословий — духовенства и дворянства, не облагавшихся тальей.— *111.*

[86] *Реформация* — широкое, сложное по социальному содержанию и составу участников социально-политическое и идеологическое движение, принявшее форму борьбы против католической церкви и носившее в своей основе антифеодальный характер; охватило в XVI в. большинство стран Западной и Центральной Европы.— *111.*

[87] *Великая Французская революция* — буржуазно-демократическая революция 1789—1794 гг. во Франции, нанесшая решающий удар по феодально-абсолютистскому строю и расчистившая почву для развития капитализма.— *111.*

[88] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. Декабрь 1847— январь 1848 г. (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 4. С. 419—459).— *112.*

[89] *Маркс К.* Критика Готской программы. Апрель — начало мая 1875 г. (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 19. С. 9—32).— *112.*

[90] *VII конференция КП(б)У* состоялась 4—10 апреля 1923 г. в г. Харькове. На ней присутствовало 224 делегата с решающим голосом и 40 — с совещательным.— *117.*

[91] Бюллетень № 1 о состоянии здоровья В. И. Ленина был опубликован по решению Политбюро ЦК РКП(б) 14 марта 1923 г. в газете «Известия ВЦИК» (№ 56).— *118.*

[92] *III Государственная дума* — представительный законодательный орган, создан на основе царского манифеста от 3 июня 1907 г. о роспуске II Думы и об изменениях в избирательном законе. Существовала с 1 ноября 1907 г. до 9 июня 1912 г., состояла из 442 депутатов. Председателем Думы был избран октябрист Н. А. Хомяков, которого в марте 1910 г. сменил октябрист А. И. Гучков.— *120.*

[93] *XII съезд РКП(б)* состоялся 17—25 апреля 1923 г. в Москве.— *120.*

О ПИСАТЕЛЯХ-ДЕМОКРАТАХ

А. Луначарский. Александр Николаевич Радищев

Впервые напечатано отдельной брошюрой: *Луначарский А. В.* Александр Николаевич Радищев — первый пророк и мученик революции. Пг., 1918. Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

Памятник, на открытии которого 22 сентября 1918 г. выступил А. В. Луначарский, представлял собой бюст писателя работы скульптора Л. В. Шервуда.

[1] Неточное цитирование из «Путешествия из Петербурга в Москву» (ср.: *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 227. Далее по этому изданию — *Радищев*).— *124.*

[2] А. Н. Радищев в Московском университете не учился, но в течение 5 лет брал уроки у профессоров университета.— *124.*

[3] Непосредственная работа над книгой «Путешествие из Петербурга в Москву» относится к середине 80-х гг. XVIII в. В конце 1788 г. она в основном была закончена. В мае 1790 г. Радищев напечатал ее в собственной типографии тиражом около 650 экземпляров. Тираж был уничтожен.— *125.*

[4] Луначарский неточно цитирует выражение из «Путешествия из Петербурга в Москву» (ср.: *Радищев.* Т. 1. С. 352).— *125.*

[5] Луначарский цитирует с некоторыми отклонениями от авторского текста отрывок из главы «Пешки» «Путешествия из Петербурга в Москву» (ср.: *Радищев.* Т. 1. С. 378).— *125.*

[6] Цитата из оды «Вольность» приводится неточно (ср.: *Радищев.* Т. 1. С. 1, 5).— *126.*

[7] 30 июня 1790 г. Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.— *126*.

[8] По решению Павла I от 23 ноября 1796 г. Радищеву было разрешено поселиться в селе Немцово Калужской губернии, приказ дошел до ссыльного в конце января 1797 г.— *126*.

[9] Цитата из прошения Радищева на имя Павла I от 6 декабря 1797 г. (ср.: *Радищев*. Т. 3. С. 509). Радищев просил разрешение на поездку в Саратовскую губернию для свидания с родителями.— *126*.

[10] А. В. Луначарский неточно цитирует статью А. С. Пушкина «Александр Радищев» (1836 г.) (ср.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1958. Т. 7. С. 356—357).— *126*.

[11] Луначарский цитирует с некоторыми отклонениями от текста произведение Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова» (1789 г.). (ср.: *Радищев*. Т. 1. С. 180—181).— *127*.

[12] 30 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров по инициативе В. И. Ленина в соответствии с планом монументальной пропаганды принял решение установить серию памятников великим «деятелям социализма и революциии» — писателям и поэтам (см.: Известия ВЦИК. 1918. № 163. 2 августа).— *128*.

А. Луначарский.
В. Г. Белинский

В основу статьи положена речь, произнесенная А. В. Луначарским 13 июня 1923 г. на торжественном объединенном заседании Российской академии художественных наук и Общества любителей российской словесности в связи с исполнившимся 7 июня 75-летием со дня смерти В. Г. Белинского.

Впервые напечатано в: Венок Белинскому. Сборник под редакцией Н. К. Пиксанова, изд. «Новая Москва». 1924. Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

[1] Г. В. Плеханов посвятил Белинскому статьи: «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (1897 г.), «Белинский и разумная действительность» (1897 г.), «Виссарион Григорьевич Белинский» (1909 г.) и др.— *128*.

[2] В статье девятой цикла «Статей о Пушкине» Белинский писал: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика...» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 502. Далее по этому изданию — *Белинский*).— *129*.

[3] Об этом Белинский пишет В. П. Боткину 2—6 декабря 1847 г. и П. В. Анненкову 15 февраля 1848 г. (ср.: *Белинский*. Т. 12. С. 452, 468).— *130*.

[4] *Разночинцы* («люди разного чина и звания») — в России в конце XVIII— начале XIX в. межсословная категория населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т. п.), в основном занимавшиеся умственным трудом. Разночинцы являлись носителями буржуазно-демократической и революционно-демократической идеологии.— *130*.

[5] Хотя в официальном постановлении об исключении Белинского в 1832 г. из университета говорилось о его «слабом здоровье» и «ограниченности способ-

ностей», на самом деле поводом для исключения послужило написание им антикрепостнической драмы «Дмитрий Калинин» (1830 г.).— *131*.

[6] Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Бородинская годовщина» (1839 г.), в которой отразились наиболее характерные идеи Белинского периода так называемого примирения с действительностью, когда критик односторонне толковал одно из положений Гегеля «все действительное разумно».— *132*.

[7] Имеется в виду характеристика Чернышевского как великого русского ученого и критика, данная К. Марксом в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 18).— *133*.

[8] Имеется в виду эпизод, о котором рассказывается в главе XXV книги «Былое и думы» (ср.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 33—34).— *133*.

[9] Цитата из письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. (ср.: *Белинский*. Т. 12. С. 468).— *133*.

[10] *Монтаньяры* — то же, что Гора (название демократических группировок во время Великой французской революции и революции 1848 г. во Франции).— *133*.

[11] *Якобинцы* — в период Великой французской революции члены Якобинского клуба, оставшиеся в его составе после выхода из него в 1792 г. жирондистов. Якобинцы выражали интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейством. Вожди якобинцев: М. Робеспьер, Ж. П. Марат, Ж. Дантон, Л. А. Сен-Жюст и др. В 1793—1794 гг. в период якобинской диктатуры усилилась борьба течений в среде якобинцев: правым якобинцам противостояли более тесно связанные с народными низами левые якобинцы (П. Г. Шометт, Ж. Р. Эбер и др.), из которых зимой 1793—1794 гг. выделились эбертисты. Большая часть якобинцев шла за Робеспьером. Термидорианский переворот в июле 1794 г. положил конец власти якобинцев.— *133*.

[12] Эти мысли изложены во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» (ср.: *Белинский*. Т. 10. С. 8—31).— *133*.

[13] Здесь и выше Луначарский по памяти цитирует «Письмо к Н. В. Гоголю» (ср.: *Белинский*. Т. 10. С. 215).— *134*.

[14] Неточное цитирование. Ср. воспоминания о Белинском К. Д. Кавелина в: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 177.— *134*.

[15] Неточное цитирование рецензии Н. А. Добролюбова «Сочинения В. Белинского» (1859 г.) (ср.: *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 277).— *135*.

[16] Эти и предыдущие слова — неточные цитаты из статьи Плеханова «Виссарион Григорьевич Белинский» (ср.: *Плеханов Г. В.* Избранные философские произведения: В 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 541—542).— *135*.

[17] Неточное цитирование (ср.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 422).— *135*.

[18] Луначарский имеет в виду работу В. И. Ленина «Что делать?» и другие произведения, написанные в 1901—1902 гг. (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 6).— *135*.

А. Луначарский.
Н. А. Добролюбов

Впервые напечатано в газете «Петроградская правда», 1918, № 236, 27 октября. В основу статьи положена речь А. В. Луначарского на открытии памятника Н. А. Добролюбову работы К. Ф. Залита (Зале). Печатается по: *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 7.

[1] *Мефистофель (Мефисто)* — дьявол, образ злого духа в фольклоре и художественном творчестве народов Европы; литературный персонаж «Фауста» И. В. Гёте и др. произведений; спутник и искуситель Фауста, предлагающий ему власть, знания, земные блага в обмен на душу.— *136.*

[2] *Базаров* — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».— *136.*

[3] Имеется в виду письмо Н. А. Добролюбова к профессору нижегородской духовной семинарии И. М. Сладкопевцеву (см.: *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1964. Т. 9. С. 308. Далее по этому изданию — *Добролюбов*).— *136.*

[4] Цитата из письма Н. А. Добролюбова к Е. Н. Пещуровой от 8 июля 1858 г. (см.: *Добролюбов.* Т. 9. С. 308).— *136.*

[5] Первое издание сочинений Н. А. Добролюбова, подготовленное Н. Г. Чернышевским, вышло в 1862 г. и было шесть раз переиздано.— *136.*

[6] *«Современник»* — журнал, основан в 1836 г. А. С. Пушкиным, издавался в Петербурге. В 1847—1866 гг. издателями и редакторами были Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. До первой половины 1848 г. идейным руководителем «Современника» являлся В. Г. Белинский. Журнал пропагандировал революционно-демократические идеи, реалистическую эстетику. В нем сотрудничали А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов.— *137.*

[7] *«Свисток»* — сатирический отдел в журнале «Современник», созданный Н. А. Добролюбовым; выходил в 1859—1863 гг., вышло 9 номеров. В разнообразных материалах «Свистка» Добролюбов разрабатывал новые для русской литературы сатирические приемы, обогащая жанр литературного фельетона, иронической публицистики и стихотворной пародии. Литературно-политическая злободневность материалов «Свистка», полемическое мастерство их основных авторов (Н. А. Некрасова, Г. З. Елисеева, И. И. Панаева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также Козьмы Пруткова) обеспечили этому отделу «Современника» видное место в истории русской сатиры.— *137.*

[8] Открытие памятника Н. А. Добролюбову состоялось 27 октября 1918 г. в Петрограде.— *137.*

А. Луначарский.
К юбилею Н. Г. Чернышевского

Впервые под названием «Великий мертвец или живой соратник? (К 100-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского)» напечатано в ленинградской «Красной газете», 1928, № 180, 14 июня. Под названием «К юбилею Н. Г. Чернышевского» включено в сборник статей: *Луначарский А. В.* Н. Г. Чернышевский. М.; Л., 1928.

Статья написана в связи с приближавшимся 100-летием со дня рождения Н. Г. Чернышевского 12(24) июля 1928 г. Печатается по: *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 1.

[1] В послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» К. Маркс, отмечая заслуги Н. Г. Чернышевского в разоблачении банкротства буржуазной политической экономии, назвал его великим русским ученым и критиком (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 18).— *138.*

[2] Имеются в виду написанные в период борьбы с народничеством и опубликованные в 1891—1892 гг. в сборниках «Социал-демократ» четыре статьи Г. В. Плеханова о Чернышевском.— *138.*

[3] *Нигилизм* — отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. В России термин получил распространение после появления романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862 г.). В русской публицистике XIX в.: у «охранителей» — бранная кличка; у революционных демократов — название участников демократического и революционного движения 60— начала 70-х гг., отрицавших крепостнические традиции.— *138.*

[4] Вероятно, Луначарский имеет в виду письмо от 24 сентября 1856 г., в котором Чернышевский писал: «...Вы сделаете гораздо больше, нежели сделали до сих пор,— Ваши силы еще только развиваются... Вы на публику имеете влияние не менее сильное, нежели кто-нибудь после Гоголя... Первое место в нынешней литературе публика присваивает Вам...» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. XIV. С. 315).— *139.*

А. Луначарский.
Александр Иванович Герцен

Под этим названием А. В. Луначарский объединил два самостоятельных произведения.

Текст под цифрой I — статья, написанная к 100-летию со дня рождения Герцена. Впервые под названием «Памяти А. И. Герцена» она была напечатана в журнале «Новая жизнь», 1912, № 4, апрель. Включая статью в первое издание сборника «Литературные силуэты» под названием «Александр Иванович Герцен», автор сопроводил ее примечанием: «Эта статья написана была за границей в дни чествования Герцена по поводу 40-летия со дня его смерти в 1910 г. в Париже». В настоящем сборнике примечание не помещено как неточное: начало статьи свидетельствует о том, что она приурочена к 100-летию со дня рождения Герцена. О том же говорит и год ее первой публикации.

Текст под цифрой II — речь Луначарского на торжественном заседании членов ВЦИК, Моссовета и фабзавкомов в Большом театре 20 января 1920 г., посвященном 50-й годовщине со дня смерти А. И. Герцена. Впервые речь была напечатана в журнале «Творчество», 1920, № 1, январь.

Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

Как правило, Луначарский цитировал неточно, иногда излагая своими словами мысли Герцена. Отсылки к произведениям Герцена даются по изданию: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1961. (Далее по этому изданию — *Герцен*).

[1] Чествование состоялось 7 апреля 1912 г. Оно было организовано специальным интернациональным комитетом, в который, в частности, входили Г. В. Плеханов, П. А. Кропоткин, А. Франс.— *140.*

[2] 15 апреля 1912 г. русские эмигранты под руководством В. Н. Фигнер организовали в Париже, в зале Ваграм, митинг рабочих, студентов, французских

социалистов в честь А. И. Герцена. М. Горький прочел на митинге рассказ «Рождение человека».— *140*.

[3] Чествование состоялось 7(20) апреля 1912 г., где Г. В. Плеханов выступил с речью (см.: *Плеханов Г. В.* Избранные философские произведения.: В 5 т. М., 1958. Т. 4. С. 738).— *140*.

[4] Неточная цитата из письма В. Г. Белинского А. И. Герцену от 6 апреля 1846 г. (ср.: *Белинский*. Т. 12. С. 271).— *141*.

[5] Кровавая расправа французской буржуазии с восставшими рабочими в июне 1848 г., поражение революции привели Герцена к духовной драме. В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин писал: «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 256).— *142*.

[6] Все главы книги «С того берега» были написаны А. И. Герценом в 1847—1850 гг.— *142*.

[7] Об участи «несчастного крепостного», повара Алексея, Герцен рассказал в книге «Былое и думы» (ср.: *Герцен*. Т. 8. С. 44—45).— *142*.

[8] Имеется в виду время правления Николая I (1796—1855) — российского императора с 1825 г.— *142*.

[9] Неточная цитата из книги А. И. Герцена «Былое и думы» (ср.: *Герцен*. Т. 10. С. 317—318).— *143*.

[10] Цитата из книги «Былое и думы» (*Герцен*. Т. 8. С. 162).— *143*.

[11] *Утопический социализм* — учение об идеальном обществе, основанном на общности имущества, обязательном труде, справедливом распределении. Многие из социалистов-утопистов видели путь преобразования общества в пропаганде социалистических идей. Крупнейшими представителями этого учения были Т. Мор, Т. Мюнцер, Т. Кампанелла, К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье и др. Утопическими социалистами были А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский. В отличие от многих утопистов Запада они признавали необходимость революционной борьбы.— *143*.

[12] Цитата из книги «Былое и думы» (ср.: *Герцен*. Т. 8. С. 81).— *143*.

[13] *Гегельянство* — идеалистическое философское течение, исходившее из учения Гегеля и развившее его идеи. Возникло в Германии в 30—40-х гг. XIX в. В спорах по религиозным вопросам выделились консервативное «правогегельянство», истолковывавшее Гегеля в духе ортодоксального теизма, и радикальное левое «младогегельянство», подчеркивавшее в противовес гегелевскому «мировому духу» роль самосознания отдельных личностей в истории. Критика «младогегельянства» дана К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Святом семействе» и «Немецкой идеологии» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 2. С. 3—230; Т. 3. С. 7—544).— *144*.

[14] Цитата из работы Герцена «С того берега» (ср.: *Герцен*. Т. 6. С. 44). В дальнейшем цитаты из названного произведения даются с указанием лишь на том и страницу.— *145*.

[15] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 42.— *145.*

[16] Ср. там же. С. 44.— *145.*

[17] Карфагенский полководец Гамилькар заставил своего девятилетнего сына Ганнибала, впоследствии выдающегося полководца, поклясться в том, что он всю жизнь посвятит борьбе против Рима.

Имееется в виду следующее место у Герцена: «Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала со своим сыном. Оно берет обет прежде сознания...» (см.: *Герцен.* Т. 6. С. 23).— *145.*

[18] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 23.— *145.*

[19] Ср. там же. С. 23—24.— *146.*

[20] Ср. там же. С. 24.— *146.*

[21] *Поссибилисты* — оппортунистическое течение во французском рабочем движении в 80-х гг. XIX — начала XX в. Боролись против революционного марксизма, проповедовали «политику возможного». Сначала составляли мелкобуржуазное крыло Рабочей партии, в 1882 г. выделились в самостоятельную; в начале XX в. вошли в состав Французской социалистической партии.— *146.*

[22] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 31.— *146.*

[23] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 34.— *146.*

[24] Близкие по мысли высказывания К. Маркса содержатся в его работе «Экономическо-философские рукописи 1844 года» (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 42. С. 121—125).— *147.*

[25] Имеется в виду следующее место из работы Герцена «С того берега»: «Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку» (см.: *Герцен.* Т. 6. С. 34).— *147.*

[26] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 35.

Баядера — индийская танцовщица, участвующая в религиозных церемониях или праздничных увеселениях.

Вакханка — в античной мифологии спутница бога Вакха.— *147.*

[27] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 91.— *147.*

[28] Ср. там же. С. 104.— *148.*

[29] В главах I, IV, V книги «С того берега» Герцен широко использовал форму диалога. В книге «Былое и думы» Герцен указывал, что «С того берега» начинается одной из его бесед с И. П. Галаховым, в основу которой Герцен положил «долгие разговоры» и «споры», происходившие между ним и Галаховым в конце 1847 г. Отдельные реплики диалога перефразированы Луначарским (ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 106).— *148.*

[30] Имеется в виду тактика оппозиционной группы левых республиканцев (так называемой Горы), которую в 1849 г. возглавлял Ледрю-Роллен. Эта группа, как

пишет К. Маркс в работе «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.», ставила цель «сокрушить мощь буржуазии, не развязывая рук пролетариату, не давая ему показаться иначе, как в отдалении...» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 7. С. 67).— *149.*

[31] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 55.— *149.*

[32] Ср. там же. С. 57.— *149.*

[33] Ср. там же. С. 51.— *150.*

[34] Ср. там же. С. 52.— *150.*

[35] Ср. там же. С. 113.— *150.*

[36] Ср. там же. С. 124.— *150.*

[37] Вероятно, Луначарский имел в виду следующее высказывание Маркса в «Нищете философии»: «Экономические условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазах, эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 4. С. 183).— *151.*

[38] Неточная цитата из статьи «Русский народ и социализм: Письмо к И. Мишле» (ср.: *Герцен.* Т. 7. С. 325).— *152.*

[39] *«Колокол»* — первая русская революционная газета, издавалась в Лондоне в 1857—1865 гг., в Женеве — в 1865—1867 гг. Издатели газеты А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Пользовалась большим влиянием во всех сферах русского общества. До 1861 г. выступала с демократическими требованиями: освобождение крестьян с землей, отмена цензуры и телесных наказаний, затем с революционно-демократической программой. В 1868 г. издавалась на французском языке с русским приложением.— *152.*

[40] Луначарский, вероятно, имеет в виду следующий отзыв Л. Н. Толстого, сохранившийся в записи П. А. Сергеенко:

«— Если бы выразить в процентных отношениях,— сказал он [Толстой],— влияние наших писателей на общество, то получилось бы приблизительно следующее: Пушкин тридцать процентов, Гоголь пятнадцать, Тургенев десять...

Л. Н. Толстой перечислил всех выдающихся русских писателей, кроме себя, и, отчислив на долю Герцена восемнадцать процентов, с убежденностью сказал:

— Он блестящ и глубок, что встречается очень редко» (*Сергеенко П.* Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1908. С. 21).— *152.*

[41] А. В. Луначарский, вероятно, имеет в виду 22-томное издание сочинений и писем А. И. Герцена под редакцией М. К. Лемке (Пг., 1919; М.; Л., 1925).— *153.*

[42] *Венера* — в римской мифологии первоначально богиня весны и садов, впоследствии отождествлялась с греческой богиней Афродитой и почиталась как богиня любви и красоты.— *154.*

[43] *Аполлон (Феб)* — в греческой мифологии и религии сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств.— *154.*

[44] *Декабристы* — русские дворянские революционеры, поднявшие в декабре 1925 г. восстание против самодержавия и крепостничества. Главным образом офицеры, участвовавшие в Отечественной войне 1812 г. В их программу входили требования отмены крепостного права, установление унитарной республики или конституционной монархии с федеративным устройством. 14 декабря 1825 г. началось восстание в Петербурге, позднее на Украине. Восстание было подавлено. Пятеро руководителей казнены. Движение декабристов было первым вооруженным выступлением революционеров в России и оказало большое влияние на последующее революционное движение.— *155.*

[45] Герцен был арестован 21 июля (2 августа) 1834 г.— *155.*

[46] Весной 1835 г. Герцен был сослан в Вятку, где служил в канцелярии губернатора Тюфяева до конца 1837 г. Следующие полтора года Герцен отбывал ссылку во Владимире-на-Клязьме.— *156.*

[47] Переписка между А. И. Герценом и Н. А. Захарьиной вошла в 7-й том Сочинений А. И. Герцена в издании Ф. Павленкова. Спб., 1905.— *156.*

[48] Запись Герцена в дневнике от 10 июня 1842 г. (ср.: *Герцен.* Т. 2. С. 213).— *156.*

[49] Речь идет о либеральных иллюзиях А. И. Герцена. Отмечая колебания Герцена, В. И. Ленин писал в статье «Памяти Герцена»: «Однако справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 259).— *158.*

[50] *Гуситы* — название сторонников Реформации в Чехии (отчасти в Словакии) в первой половине XV в.— участников Гуситского революционного движения, последователей учения Я. Гуса.— *158.*

[51] Цитата из «Писем из Франции и Италии» (ср.: *Герцен.* Т. 5. С. 215—216).— *158.*

[52] Там же. С. 216—217.— *159.*

[53] *Геркуланум* и *Помпеи* — города в Италии, разрушенные и засыпанные вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 г. н. э.— *159.*

[54] Ср.: *Герцен.* Т. 6. С. 58—59.— *159.*

[55] Слова Роберта Оуэна, сказанные при встрече его с Герценом (*Герцен.* Т. 11. С. 207).— *159.*

[56] Цитата из работы «К старому товарищу» (ср.: *Герцен.* Т. 20. Кн. 2. С. 581).— *160.*

[57] Имеется в виду доклад В. И. Ленина на VII Всероссийском съезде Советов, проходившем в Москве 5—9 декабря 1919 г. А. В. Луначарский цитирует неточно (ср.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 39. С. 388).— *161.*

[58] Близкие к приведенному положению мысли высказаны Марксом в работе «К критике гегелевской философии права» и в шестом тезисе о Фейербахе (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 414, 422; Т. 3. С. 3).— *162.*

Л. Троцкий. Герцен и Запад.
К 100-летию со дня рождения

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1912, № 87, 29 марта. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М.; Л., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *Кобленцская эмиграция* — французская феодально-монархическая эмиграция в период Великой французской революции с центром в г. Кобленц. В 1794 г. французские республиканские войска заняли Кобленц, положив конец Кобленцской эмиграции.— *162.*

[2] Цитата из книги «Былое и думы» А. И. Герцена (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч. Изд. Павленкова, 1905. Т. 3. Гл. XXXVIII. С. 48).— *162.*

[3] *Европейский Центральный Комитет* (полное название — Центральный демократический европейский комитет единения партий без различия национальностей) основан в Лондоне в 1849 г. политическими эмигрантами различных государств. Целью Комитета было освобождение угнетенных национальностей европейских стран. Руководителями его были Мадзини (Италия), Ледрю-Роллен (Франция) и др. К участию в Комитете в качестве представителя от России был приглашен А. И. Герцен.— *162.*

[4] *Славянофилы* — представители одного из направлений русской общественной мысли середины XIX в.; выступали за принципиально отличный от западноевропейского путь исторического развития России; идеализировали общественный строй Древней Руси, крестьянскую общину, развивали религиозно-идеалистическую философию. Сыграли большую роль в развитии славяноведения. В процессе подготовки крестьянской реформы 1861 г. многие славянофилы сблизились с западниками (выступавшими с критикой крепостничества и самодержавия, за развитие России по западноевропейскому пути) на почве либерализма.— *165.*

[5] *Мессианство* — в иудаизме и христианстве вера в пришествие мессии, якобы ниспосланного богом, спасителя, долженствующего навечно установить свое царство.— *165.*

[6] Неточное цитирование (ср.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 22. С. 448).— *166.*

[7] Неточное цитирование (ср.: Там же. С. 438).— *166.*

[8] *Панславизм* — идея объединения славянских народов под главенством русского царя. Возник в конце XIX — начале XX в. из стремления к независимости славян, порабощенных Турцией и Австро-Венгрией. С середины XIX в. панславизм в России представлял собой националистическую идеологию, отражал завоевательные стремления русской буржуазии.— *167.*

[9] Об отношении К. Маркса к панславизму см., например: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 16. С. 206—207; Т. 18. С. 430—432 и др.— *167.*

[10] См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 16. С. 440—441.
Имеются в виду деньги, переданные Герцену в 1858 г. русским помещиком П. А. Бахметьевым для пропаганды (так называемый бахметьевский фонд).— *167.*

А. Луначарский.
Николай Алексеевич Некрасов

Впервые напечатано в журнале «Коммунистический Интернационал», 1921, № 19.

. Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

[1] *«Распутинщина»* — выражение крайнего разложения правящей верхушки России, по имени Распутина.— *168.*

[2] Эта мысль высказана Д. И. Писаревым в его статье «Реалисты» (см.: *Писарев Д. И.* Сочинения: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 90—92, 104, 105).— *170.*

[3] *«Отечественные записки»* — ежемесячный журнал, издавался в 1839—1884 гг. в Петербурге (до 1868 г. издавался А. А. Краевским, затем Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. З. Елисеевым). В 1839—1846 гг. отделом критики руководил В. Г. Белинский. В 1868—1877 гг. журнал во главе с Н. А. Некрасовым продолжал традиции «Современника».— *170.*

[4] *«Народная воля»* («Народное просвещение») — революционная народническая организация. Возникла в Петербурге в 1879 г. В ее программе выдвигались задачи уничтожения самодержавия, созыв Учредительного собрания, демократические свободы, передача земли крестьянам. Во главе стоял Исполнительный комитет, куда входили А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская и др. В своей деятельности основное значение придавали террору. Члены «Народной воли» совершили 8 покушений на Александра II (убит 1 марта 1881 г.).— *171.*

[5] Очерка под названием «Голод» у Некрасова нет. Упоминая об очерке «Физиология Петербурга», Луначарский, вероятно, имеет в виду сборник «Физиология Петербурга», составленный «из трудов русских литераторов». В этой книге, вышедшей под редакцией Н. А. Некрасова в Петербурге в 1845 г., содержится и его собственный очерк «Петербургские углы».— *171.*

[6] Речь идет о стихотворении Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867 г.).— *172.*

[7] Имеется в виду теория «неоплатного долга» интеллигенции перед народом, выдвинутая П. Л. Лавровым (Миртовым) (1823—1900) — теоретиком русского революционного народничества.— *172.*

[8] В стихотворении «Праздник жизни — молодости годы...» (1855 г.) Н. А. Некрасов писал:

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих! — *172.*

[9] А. В. Луначарский неточно цитирует письмо Н. Г. Чернышевского А. Н. Пыпину от 14 августа 1877 г. (ср.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. [16 т.]. М., 1950. Т. 15. С. 88).— *173.*

[10] Эти мысли высказаны Л. Н. Толстым в трактате «Что такое искусство», раздел XV (1897—1898 гг.).— *173.*

[11] Здесь и ниже А. В. Луначарский неточно цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Поэт».— *173.*

[12] Строка из стихотворения Тютчева «Silentium!» («Молчание!» — «Молчи, скрывайся и таи...»).— *174.*

[13] Строка из стихотворения Некрасова «Зине» («Ты еще на жизнь имеешь право...»).— *175.*

А. Луначарский.
М. Е. Салтыков-Щедрин

Впервые под названием «Щедрин» напечатано в журнале «Красная нива», 1925, № 19, 3 мая. В переработанном и дополненном виде под названием «М. Е. Салтыков-Щедрин» напечатано в газете «Правда», 1926, № 22, 28 января, когда отмечалось 100-летие со дня рождения писателя. Печатается по: *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 1.

[1] Имеется в виду «Щедринский словарь» М. С. Ольминского, изданный после смерти автора Государственным издательством «Художественная литература» в 1937 г.— *176.*

[2] Впервые М. Е. Салтыков-Щедрин выступил в печати в 1841 г. со стихотворением «Лира». В 1843 и 1844 гг. довольно много его стихотворений печатал журнал «Современник» Плетнева. В дальнейшем Салтыков не любил вспоминать о своих юношеских стихотворных опытах и в автобиографических набросках неоднократно указывал, что после выхода из лицея стихов не писал.— *178.*

[3] *Петрашевцы* — общество разночинной молодежи, существовавшее в Петербурге в 1844—1849 гг., объединяло утопических социалистов и демократов. На «пятницах» у М. В. Петрашевского в кружках занимались самообразованием, обсуждали вопросы об организации тайного общества, о подготовке крестьянского восстания, о создании подпольной типографии и др., готовили агитационную литературу для народа. В апреле 1849 г. были арестованы. Под следствием находилось 123 человека. Военный суд судил 22 человека, из них 21 был приговорен к смертной казни, которая была заменена различными сроками каторги и арестантских рот. В 1856 г. амнистированы.— *178.*

[4] М. Е. Салтыков-Щедрин в 1848 г. был сослан в Вятку, затем в Тверь, где пробыл до 1855 г.— *178.*

[5] В своих литературно-критических работах о М. Е. Салтыкове-Щедрине А. В. Луначарский, видимо, пользовался Полным собранием сочинений Щедрина, изданным Комиссариатом народного просвещения в 1918—1919 гг. Отсылки даются к: *Щедрин Н.* (*Салтыков М. Е.*). Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1932—1939. (Далее по этому изданию — *Н. Щедрин.*)

А. В. Луначарский приводит цитату из «Мелочей жизни» (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 16. С. 448).— *178.*

[6] *Аракчеевщина* — политика крайней реакции, полицейского деспотизма, палочной дисциплины в армии, жестокого подавления общественного недовольства, проводившаяся А. А. Аракчеевым.

Вероятно, А. В. Луначарский имеет в виду ироническое замечание Щедрина в цикле произведений «Итоги» об отношении различных слоев русского общества к крепостному праву, вызвавшему, по словам Щедрина, период «обеспеченной необеспеченности».— *179.*

[7] В 14 письме цикла «Письма к тетеньке» Салтыков писал: «Неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д.» (*Н. Щедрин.* Т. 14. С. 494).— *179.*

[8] В 1858—1862 гг. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором в Рязани, затем в Твери.— *179.*

[9] А. В. Луначарский, видимо, имеет в виду следующее место из статьи Н. Г. Чернышевского «Губернские очерки»: «Дурные поступки и привычки их (людей.— *Ред.*) извиняются обстоятельствами их жизни и нравственною близорукостью, навеянною на них туманной средой, в которой развились и живут они» (*Чернышевский.* Т. 4. С. 267).— *179.*

[10] Не совсем точная цитата из той же статьи Чернышевского (ср. там же. С. 266—267).— *179.*

[11] *Базаров* — литературный герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», олицетворявший, по мнению автора, российский нигилизм (базаровщина).— *179.*

[12] Неточное цитирование очерка «Сенечкин яд» (ср.: *Щедрин Н.* Т. 7. С. 106).— *179.*

[13] Имеется в виду сборник «*М. Е. Салтыков-Щедрин.* Письма, 1845—1889. С приложением писем к нему и других материалов. Под редакцией Н. В. Яковлева, при участии Б. Л. Модзалевского». Л., 1924.— *179.*

[14] Луначарский неточно цитирует письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина П. В. Анненкову от 2 декабря 1875 г. (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 18. С. 323—324).— *180.*

[15] *Баратынско-Колошинский кружок* — литературный кружок, группировавшийся вокруг Анны Давыдовны Баратынской, жены русского посланника в Бадене Ивана Петровича Колошина.— *180.*

[16] Цитата из письма М. Е. Салтыкова-Щедрина П. В. Анненкову от 18 октября 1875 г. (*Н. Щедрин.* Т. 18. С. 313).— *180.*

[17] См.: *Пантелеев Л. Ф.* Из воспоминаний прошлого. Спб., 1908. Кн. 2. С. 157—158.— *180.*

[18] *«Процесс 50-ти»* проходил с 21 февраля по 14 марта 1877 г. над членами группы «москвичей» — революционной народнической группы интеллигентов и рабочих, действовавшей в Москве в 1874—1875 гг. Все члены группы были приговорены к различным срокам каторги, сибирской ссылки и тюремному заключению.— *180.*

[19] Цитата из письма М. Е. Салтыкова-Щедрина П. В. Анненкову от 15 марта 1877 г. (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 19. С. 91).— *180.*

[20] *Земство* (земские учреждения) — выборные органы местного самоуправления (земские собрания, земские управы) в России. Введены земской реформой 1864 г. Ведали просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. д. Контролировались Министерством внутренних дел и губернаторами. Земство было упразднено в 1918 г. декретом Советского правительства.— *181.*

[21] Цитата из «Благонамеренных речей» (глава «Кузина Машенька») (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 11. С. 379).— *181.*

[22] *Лопахин* — персонаж драмы А. П. Чехова «Вишневый сад».— *181.*

[23] Цитата из «Пошехонских рассказов» (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 15. С. 538).— *181.*

[24] Неточное цитирование из «Мелочей жизни» (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 16. С. 441).— *181.*

[25] Цитата из «Круглого года» (ср.: *Н. Щедрин.* Т. 12. С. 199). В ранней редакции статьи этой цитате предшествовала фраза из письма М. Е. Салтыкова-Щедрина своему сыну: «...паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому». А затем шла вторая цитата — из произведения «Круглый год». Вычеркнув первую цитату, Луначарский не исправил предшествующую ей фразу.— *182.*

[26] Цитата из статьи Н. А. Добролюбова «Губернские очерки» (*Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч. М., 1934. Т. 1. С. 200).— *182.*

[27] Видимо, А. В. Луначарский имел в виду портрет Салтыкова-Щедрина работы художника И. Н. Крамского.— *182.*

[28] В письме к Л. Н. Толстому от 20 декабря 1883 г. Салтыков-Щедрин писал: «Кроме коренных болезней, которые гложут меня десять лет сряду, я в последнее время сподобился нескольких новых фасонов, которых не ожидал» (*Н. Щедрин.* Т. 19. С. 376).— *182.*

А. Луначарский.
К юбилею Л. Н. Толстого

Впервые напечатано в журнале «Народное просвещение», 1928, № 3, сентябрь, с подстрочным примечанием: «Речь А. В. Луначарского на диспуте, посвященном столетию со дня рождения Л. Н. Толстого».

Луначарский выступил с речью 17 сентября 1928 г. в Москве на вечере работников народного образования. Печатается по: *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 1.

[1] Подразумевается, в частности, вызвавшая критику статья М. Ольминского «Ленин или Лев Толстой», опубликованная в «Правде» 4 февраля 1928 г.— *183.*

[2] К 80-летию Л. Н. Толстого В. И. Лениным была написана статья «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908 г.); по поводу его смерти — статьи «Л. Н. Толстой» (1910 г.), «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» (1910 г.), «Толстой и пролетарская борьба» (1910 г.), «Л. Н. Толстой и его эпоха» (1911 г.); в ответ на попытки некоторых поклонников Толстого выдвинуть его как спасительный маяк для человечества — статья «Герои «оговорочки».— *185.*

[3] *Ленин В. И.* Лев Толстой, как зеркало русской революции (см.: Полн. собр. соч. Т. 17. С. 209).— *186.*

[4] *Янус* — в римской мифологии божество дверей, входа и выхода, затем — всякого начала. Изображался с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое — в будущее). В переносном смысле «двуликий Янус» — это лицемерный человек.— *186.*

[5] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 17. С. 210.— *186.*

[6] Там же. С. 210—211.— *187.*

[7] *Левеллеры* — радикальная политическая партия в период Английской буржуазной революции XVII в.; объединяла главным образом мелкобуржуазные городские слои. Левеллеры выступали за республику, против ликвидации частной собственности.— *187.*

[8] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 17. С. 211.— *187.*

[9] Там же. С. 212.— *187.*

[10] А. В. Луначарский имеет в виду статью В. И. Ленина «Л. Н. Толстой», написанную в 1910 г. (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20).— *188.*

[11] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 19.— *188.*

[12] Там же. С. 20.— *188.*

[13] *Тюлин* — персонаж рассказа В. Г. Короленко «Река играет» (1891 г.).— *189.*

[14] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 23.— *189.*

[15] Там же. С. 23—24.— *190.*

[16] *Ленин В. И.* Л. Н. Толстой и его эпоха (см.: Полн. собр. соч. Т. 20. С. 103).— *190.*

[17] Там же. С. 104.— *191.*

[18] Там же. С. 19.— *191.*

[19] Там же. С. 20.— *191.*

[20] Выражение из басни И. А. Крылова «Ворона и лисица» (1808 г.).— *191.*

[21] Речь, о которой говорит А. В. Луначарский, была произнесена Горбуновым-Посадовым на торжественном вечере памяти Л. Н. Толстого, состоявшемся 14 сентября 1928 г. в Политехническом музее в Москве. На вечере 17 сентября 1928 г. Горбунов-Посадов повторил основные положения своей речи.— *192.*

[22] Намек на сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист».— *193.*

[23] Перефразировка известного выражения из басни И. А. Крылова «Кот и повар» (1813 г.):

...там речей не тратить по-пустому,
где нужно власть употребить.— *193.*

[24] *Каин* — в библейской мифологии старший сын Адама и Евы, земледелец. Убил из зависти брата Авеля — «пастыря овец». Проклят богом за братоубийство и отмечен особым знаком («Каинова печать»).— *193.*

А. Луначарский.
Смерть Толстого и молодая Европа

Написано за границей непосредственно после смерти великого писателя. Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

[1] *Государственная дума* — законосовещательное, представительное учреждение Российской империи в 1906—1917 гг.— *196.*

[2] А. В. Луначарский имеет в виду свою статью «В. Г. Белинский» (см.: Литературные силуэты. М.; Л., 1925. С. 80—88).— *199.*

[3] *Будда* (букв.—просветленный) — 1) имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.); 2) в религии буддизма существо, достигшее состояния высшего совершенства (просветления).— *199.*

[4] *Зевс* — в греческой мифологии верховный бог, местопребыванием считался Олимп (Зевс-Олимпиец). Ему соответствует римский Юпитер.— *199.*

[5] *Майя* (греч.) — нимфа гор, дочь Атланты и Плейоны, мать Гермеса. Римляне отождествляли с Майей древнеиталийскую богиню земли Майю (Майесту), праздники которой приходились на май (1 мая ей приносились жертвы).— *200.*

[6] *Нирвана* — центральное понятие буддизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений. Это психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, абсолютной отрешенности от внешнего мира.— *200.*

[7] Слова А. В. Луначарского относятся к драме А. Андреева «Жизнь человека», написанной в 1907 г.— *202.*

[8] *«Молодая Италия»* — нелегальный журнал одноименной подпольной революционной организации, издавался в Марселе в 30—40-х гг. XIX в.— *202.*

А. Луначарский.
Владимир Галактионович Короленко

Под таким названием А. В. Луначарский объединил вначале две (в первом издании сборника «Литературные силуэты»), а затем три (во втором издании того же сборника) самостоятельные статьи. Во втором издании третья статья имела подзаголовок «Праведник». Первая статья впервые напечатана одновременно в журнале «Пламя», 1918, № 15, 11 августа и в газете «Петроградская правда», 1918, № 172, 11 августа. Статья написана в связи с отмечавшимся летом 1918 г. 63-летием В. Г. Короленко.

Вторая статья впервые напечатана в газете «Правда», 1921, № 294, 29 декабря. Она является откликом на смерть Короленко, скончавшегося 25 декабря 1921 г. в Полтаве.

Статья «Праведник» впервые напечатана в журнале «Красная нива», 1924, № 1, январь.

Печатается по: *Луначарский А. В.* Литературные силуэты. М.; Л., 1925.

[1] Имеется в виду статья «Торжество победителей (Открытое письмо Луначарскому)», опубликованная В. Г. Короленко в газете «Русские ведомости», 1917, № 265, 3 декабря и затем перепечатанная другими газетами.— *205.*

[2] Всего В. Г. Короленко написал А. В. Луначарскому шесть писем летом и осенью 1920 г. Позднее все его письма к Луначарскому были опубликованы отдельной брошюрой в Париже издательством «Задруга». В СССР письма В. Г. Короленко опубликованы в журнале «Новый мир», 1988, № 10.— *205.*

[3] А. В. Луначарский имеет в виду произведение В. Г. Короленко «История моего современника», третий том которого вышел в свет в 1921 г.— *206.*

[4] Последнее свидание Луначарского и Короленко состоялось в 1920 г. в Полтаве.— *206.*

[5] Центральные персонажи рассказов В. Г. Короленко «Сон Макара» (1883 г.) и «Река играет» (1891 г.).— *206.*

[6] А. В. Луначарский имеет в виду брошюру В. Г. Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной казни)». Брошюра была переведена на многие

иностранные языки; одному из зарубежных изданий было предпослано предисловие Л. Н. Толстого.— *207*.

[7] А. В. Луначарский имеет в виду упомянутое выше выступление В. Г. Короленко в газете «Русские ведомости» и свою ответную статью, опубликованную в журнале «Пламя» от 11 августа 1918 г. № 15 (и одновременно в газете «Петроградская правда», 1918, № 172, 11 августа), которую он цитирует по памяти, стараясь лишь передать ее смысл.— *208*.

[8] Имеется в виду статья «Чему учит В. Г. Короленко» (1903 г.) (см.: *Луначарский А. В.* Этюды: Сборник статей. М.; Пг., 1922).— *208*.

[9] *Троцкий Л.* Терроризм и коммунизм. Пг., 1920.— *209*.

[10] Съезд работников науки, о котором упоминает А. В. Луначарский, проходил в Москве 23—27 ноября 1923 г., а статья «Праведник» была написана им в октябре 1923 г. Возможно, что Луначарский внес дополнение об этом съезде, подготавливая статью для журнала «Красная нива», первый номер которого вышел в январе 1924 г.— *209*.

[11] *Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1923.— *210*.

[12] В речи на I Всероссийском съезде по просвещению 28 августа 1918 г. В. И. Ленин говорил: «Что такое был саботаж, объявленный наиболее образованными представителями старой буржуазной культуры? Саботаж показал нагляднее, чем любой агитатор, чем все наши речи и тысячи брошюр, что эти люди считают знание своей монополией, превращая его в орудие своего господства над так называемыми «низами». Они воспользовались своим образованием для того, чтобы сорвать дело социалистического строительства, открыто выступили против трудящихся масс» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 77).— *211*.

[13] *Эолова арфа* (Эол — бог ветров) — древний музыкальный инструмент, в котором струны приводятся в колебание движением воздуха.— *213*.

[14] *«Серапионовы братья»* — литературная группа, возникшая в Петрограде в 1921 г. при издательстве «Всемирная литература». Поиски новых реалистических приемов письма, неприятие примитивизма и «плакатности» в литературе принимали в заявлениях членов группы вид подчеркнутой аполитичности, которая, однако, гораздо меньше сказывалась в их художественном творчестве. Многие участники, преодолев формалистические тенденции «Серапионовых братьев», стали крупными мастерами советской литературы.— *214*.

[15] А. В. Луначарский излагает мысль В. И. Ленина неточно (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 34. С. 315).— *216*.

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТАХ И ПРОТИВНИКАХ

Л. Троцкий. Господин Петр Струве.

Попытка объяснения

Впервые опубликовано в газете «Киевская мысль», 1909, № 109, 21 апреля. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] В июле 1903 г. на очередных выборах в рейхстаг за германскую социал-демократическую партию отдали свои голоса около трети всех принявших участие в выборах.— *220.*

[2] Имеется в виду манифест Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». В нем были обещания «даровать» неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов; привлечь к выборам в Государственную думу более широкие слои населения и признать Думу законодательным органом.— *221.*

[3] Имеется в виду еврейский погром в Кишиневе в октябре 1903 г.— *221.*

[4] Имеется в виду период после поражения первой русской революции до нового революционного подъема (1908—1912 гг.).— *221.*

[5] «Энциклопедический словарь» под редакцией И. Е. Андреевского, а с т. 5 — К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Спб., 1890—1907. Т. 1—41 (1—82). Доп. 1—2 (1—4).— *221.*

[6] В 1894 г. при вступлении на престол Николая II П. Б. Струве пишет «Открытое письмо Николаю II». Толчком к написанию письма послужило прошение Тверского земства о созыве собора.— *222.*

[7] Имеется в виду написанный П. Б. Струве в марте 1898 г. по решению I съезда партии «Манифест РСДРП».— *222.*

[8] *Струве П. Б.* Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Спб., 1894.— *223.*

[9] *Варфоломеевская ночь* — массовое убийство гугенотов католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея).— *223.*

[10] *Дон-Гусман Бридуазон* — действующее лицо в комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», тип тупого и ограниченного деревенского судьи.— *223.*

[11] *Аннибалова клятва* — твердая решимость быть непримиримым в отношении кого-либо или чего-либо, бороться с кем-либо до конца. От имени карфагенского полководца Аннибала (или Ганнибала, 247 или 246—183 до н. э.), который, по преданию, еще мальчиком поклялся всю жизнь быть непримиримым врагом Рима и сдержал свою клятву.— *224.*

Л. Троцкий.
Евно Азеф

Впервые опубликовано в газете «Киевская мысль», 1911, № 126, 8 мая. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] «Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа». Париж, 1909.— *227.*

[2] *Дилювиальная эпоха* (букв. потоп, наводнение) — устаревший термин, употреблявшийся в геологии. Предложен Баклендом (1923 г.), который считал, что четвертичные осадки связаны с библейским всемирным потопом.— *228.*

[3] *«Начало»* — ежемесячный научно-политический и литературный журнал, орган «легальных марксистов». Выходил в Петербурге в январе — июне 1899 г. под редакцией П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и А. Н. Калмыкова.— *228.*

[4] Имеется в виду письмо, полученное осенью 1907 г. ЦК партии эсеров из Саратова от местных эсеровских работников, в котором разоблачалась провокаторская роль Азефа.— *232.*

Л. Троцкий.
Милюков

Впервые опубликовано в газете «Луч», 1912, № 6—7. 22—23 сентября. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *«Речь»* — ежедневная газета, центральный орган партии кадетов, выходила в Петербурге с начала 1906 г. под фактической редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена. 26 октября (8 ноября) 1917 г. была закрыта Петроградским ВРК, но до августа 1918 г. выходила под разными названиями: «Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век».— *235.*

[2] Имеется в виду быстрая эволюция партии кадетов. В Выборге кадеты после роспуска I Думы опубликовали так называемое «Выборгское воззвание», призывавшее русский народ не давать ни одной копейки в царскую казну, ни одного солдата в царскую армию. Однако уже во II Думе они голосуют за утверждение бюджета и за увеличение расходов на армию. После же разгона II Думы Милюков, возглавлявший кадетскую делегацию, которая вместе с октябристами совершала поездку в Лондон, сделал заявление, означавшее полный отказ его партии от антиправительственных выступлений.— *235.*

[3] *Фригийский колпак* — головной убор древних фригийцев, послуживший моделью для шапок участников Великой французской революции, является одним из символов Французской революции.— *235.*

[4] *«Россия»* — ежедневная газета реакционного, черносотенного характера, выходила в Петербурге с ноября 1905 г. по апрель 1914 г., с 1906 г.— орган Министерства внутренних дел.— *235.*

[5] *«Русское знамя»* — ежедневная черносотенная газета, орган «Союза русского народа», выходила в Петербурге с конца 1905 г. по март 1917 г.— *235.*

[6] Имеется в виду расстрел 4 (17) апреля 1912 г. бастовавших рабочих золотых приисков Ленского золотопромышленного товарищества. Но это не только не остановило забастовку, которая продолжалась до августа, но и послужило толчком к перерастанию революционных настроений масс в массовый подъем революционного движения. В 1912 г. после Ленского расстрела в майские дни бастовало около 300 тыс. рабочих под лозунгами 8-часового рабочего дня, конфискации помещичьих земель, свержения самодержавия.— *236.*

[7] С 22 апреля (5 мая) 1912 г. стала выходить ежедневная легальная большевистская газета «Правда». В 1912 г. были созданы рабочие газеты и других политических направлений.— *236.*

[8] *«Вехи»* — «Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909), выпущен группой близких к кадетам публицистов и философов религиозно-идеалистического направления.— *236.*

[9] *Хавронья Прыщова* — персонаж романа И. С. Тургенева «Новь».— *236*.

[10] *III Государственная дума* — единственная из всех четырех Дум просуществовала весь положенный 5-летний срок с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г. Председателем Думы был сначала октябрист Н. А. Хомяков, а с марта 1910 г.— октябрист А. И. Гучков.— *237*.

[11] Предприятия Тагиева отличались жестокой эксплуатацией рабочих. В 1912 г. Тагиев привлекался к суду по обвинению в зверском обращении со своим служащим — инженером Бебутовым.— *237*.

Л. Троцкий.
Гучков и гучковщина

Впервые опубликовано в газете «Киевская мысль», № 276, 6 октября 1913 г. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] В сентябре 1913 г. в Киеве на Всероссийском съезде представителей городов и земств А. И. Гучков предложил принять резолюцию, в которой говорилось, что «дальнейшее промедление в осуществлении необходимых реформ и уклонение от начал, возвещенных в манифесте 17 октября, грозят стране тяжкими потрясениями и гибельными последствиями». Присутствовавший на съезде представитель полиции запретил поставить резолюцию на голосование и немедленно закрыл съезд. Все либеральное общество с восторгом приветствовало такое оппозиционное выступление А. И. Гучкова.— *239*.

[2] *Галльский петух* — один из национальных символов Франции.— *239*.

[3] *Кантианство* — система философских взглядов немецкого философа Иммануила Канта, развитая в его работах «Критика чистого разума» (1781 г.), «Критика практического разума» (1788 г.) и «Критика способности суждения» (1790 г.).— *239*.

К. Радек.
Борис Савинков

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] Речь идет о вооруженном восстании в Москве в декабре 1905 г.— *245*.

[2] Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг.— *246*.

[3] Мятеж в Ярославле был 6—21 июля 1918 г. Подготовленный «Союзом защиты родины и свободы», он являлся частью общего плана антисоветских мятежей в Москве, Рыбинске, Муроме, Владимире, Ростове и других городах Верхнего Поволжья.— *247*.

[4] *Савинков Б.* Конь вороной. Л.; М., 1924.— *247*.

К. Радек.
Парвус

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] Парвус не был председателем Петроградского Совета.— *251*.

[2] *Парвус.* Национализация банков и социализм. Берлин, 1918.— *251*.

[3] *Младотурецкая революция 1908 г.*— первая турецкая буржуазная революция, имевшая целью свержение деспотического режима султана Абдул-Хамида II и введение конституционного строя в Османской империи.— *251*.

[4] Имеется в виду Синьхайская революция (1911—1913 гг.) в Китае, приведшая к низвержению маньчжурской Цинской монархии и провозглашению Китайской республики.— *251*.

Л. Троцкий.
Памяти Плеханова

Речь на 17-м объединенном заседании Всероссийского Исполнительного Комитета 4-го созыва, Московского Совета рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского и Московского Центральных Советов профессиональных союзов, представителей всех профессиональных союзов Москвы, фабрично-заводских комитетов и других рабочих организаций, состоявшемся 4 июня 1918 г.

Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М.; Л., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *«Земля и воля»* — революционная народническая организация, основана в Петербурге в 1876 г.; имела филиалы в Киеве, Одессе, Харькове и других городах. В программу «Земли и воли» входили требования крестьянской революции, национализации земли, замены государства федерацией общин и др. Землевольцы вели революционную пропаганду среди рабочих и интеллигенции, издавали газету «Земля и воля». Разногласия в организации между «деревенщиками» и «политиками» — сторонниками применения в политической борьбе террористических методов привели к распаду организации на «Народную волю» и «Черный передел».— *253*.

[2] *«Черный передел»* — революционная народническая организация в Петербурге, одна из двух организаций, на которых в 1879 г. распалась «Земля и воля». В «Черный передел» входили многие землевольцы (Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч и др.). Организация сохранила программу «Земли и воли»; своей ближайшей задачей ставила создание широкой народной боевой партии; отрицала политическую борьбу и террор, занималась пропагандой в массах. Издавала газеты «Черный передел» и «Зерно». В 1880 г. лидеры «Черного передела» эмигрировали; в 1883 г. в Женеве создали группу «Освобождение труда». К 1881 г. «Черный передел» как организация перестала существовать.— *253*.

Л. Троцкий.
Беглые мысли о Г. В. Плеханове

Впервые опубликовано в книге Л. Троцкого «Война и революция. Крушение Второго Интернационала и подготовка Третьего». Петроград, 1922. Т. 1.

Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М.; Л., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *«Рабочее дело»* — непериодический журнал, орган «Союза русской социал-демократии за границей». Выходил в Женеве в 1899 г.— феврале 1902 г. Журнал фактически являлся заграничным центром экономизма.— *258*.

[2] *Бунд* («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России») — оппортунистическая мелкобуржуазная националистическая партия. Основан в Вильно в 1897 г. В 1898 г. вошел в состав РСДРП. В 1903 г. вышел из партии и вторично вошел в нее в 1906 г. в качестве автономной организации РСДРП. В годы

первой мировой войны стоял на позициях социал-шовинизма. В 1917 г. поддерживал буржуазное Временное правительство. После Октября 1917 г. руководство Бунда примкнуло к контрреволюции. В 1920 г. Бунд отказался от борьбы с Советской властью, в 1921 г. самоликвидировался; часть членов Бунда была принята в РКП(б).— *258.*

[3] Цюрихский международный конгресс II Интернационала состоялся в 1893 г. Последнее заседание Конгресса 12 августа происходило под почетным председательством Ф. Энгельса.— *259.*

А. Луначарский.
Георгий Валентинович Плеханов

Несколько встреч с Георгием Валентиновичем Плехановым

Печатается по: *Луначарский А. В.* Революционные силуэты. Харьков, 1924.

[1] Вероятно, А. В. Луначарский имеет в виду приезд Г. В. Плеханова в Цюрих к Аксельроду летом 1895 г.— *260.*

[2] Имеются в виду разногласия между редакцией «Искры» и польскими социал-демократами по вопросам о праве наций на самоопределение (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 25. С. 255—320).— *260.*

[3] *Авраам (Абрам)* — мифический родоначальник евреев, в библейской мифологии отец Исаака. По велению Яхве (бог в иудаизме) Авраам должен был принести сына в жертву богу, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом.— *261.*

[4] В начале 1882 г. Г. В. Плеханов работал над переводом «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и предисловием к нему. «Манифест» вышел в Женеве в 1882 г. и тогда же Г. В. Плеханов переехал в Женеву.— *263.*

[5] *Рококо* — стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины XVIII в. В искусстве рококо господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Декоративное искусство принадлежит к высшим достижениям искусства XVIII в. по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и внимания к личному удобству.— *264.*

[6] Имеется в виду X съезд РКП(б), состоявшийся в Москве 8—16 марта 1921 г., который принял решение о переходе к новой экономической политике, о замене разверстки натуральным налогом (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 205—245).— *266.*

[7] Речь идет о брошюре К. Каутского «Движущие силы и перспективы русской революции» (1906—1907 гг.; русский перевод 1907 г., под редакцией и с предисловием В. И. Ленина).— *267.*

[8] 8-й конгресс II Интернационала состоялся в Копенгагене 28 августа — 3 сентября 1910 г.— *267.*

Л. Троцкий.
Мартов

Впервые опубликовано в книге «Война и революция» (М., 1922. Т. 1). Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

А. Луначарский.
Юлий Осипович Мартов (Цедербаум)

Печатается по тексту первой публикации: *Луначарский А.* Великий переворот: (Октябрьская революция). Пб., 1919. Ч. 1.

[1] *Либерданы* — ироническая кличка, укрепившаяся за меньшевистскими лидерами — М. И. Либером и Ф. И. Даном и их сторонниками после публикации фельетона Д. Бедного под названием «Либердан» (Социал-демократ. 1917. 25 августа (7 сентября).— *273*.

[2] *Ликвидаторство* — оппортунистическое направление в РСДРП, возникшее в 1907 г. Выступало за ликвидацию нелегальной революционной пролетарской партии и за создание легальной реформистской партии.— *274*.

О ТОВАРИЩАХ ПО ПАРТИИ

А. Луначарский.
Володарский

Печатается по: *Луначарский А. В.* Революционные силуэты. Харьков, 1924.

[1] Вероятно, эта встреча состоялась весной или в начале лета 1917 г. А. В. Луначарский вернулся из эмиграции в апреле 1917 г., а В. Володарский — в мае.— *278*.

[2] «*Красная газета*» — основана В. Володарским в 1918 г. в Петрограде. Орган Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Выходила до 1939 г., затем влита в газету «Ленинградская правда». В 1918—1919 и в 1926—1936 гг. выходили также вечерние выпуски.— *279*.

[3] Имеется в виду французский социалист-реформист А. Мильеран, вошедший в 1899 г. в состав буржуазного правительства (первый в истории случай участия социалиста в буржуазном правительстве — так называемый казус Мильерана).— *281*.

К. Радек.
Дзержинский

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] «*Пролетариат*» — название польских политических партий: Первый «Пролетариат» действовал в 1882—1886 гг. Второй «Пролетариат» — в 1888—1891 гг. Третий «Пролетариат» — в 1900—1909 гг.— *283*.

[2] В июле 1893 г. в результате объединения Союза польских рабочих и левых элементов разгромленной партии «Пролетариат»-2 была образована Социал-демократия Королевства Польского (СДКП) — польская революционная пролетарская партия. Основателями ее были Р. Люксембург, Я. Тышка, Б. Весоловский и др. В 1894—1896 гг. аресты значительно ослабили деятельность партии. В 1899 г. организации СДКП были восстановлены в Варшаве, Ченстохове, Лодзи. По инициативе Ф. Э. Дзержинского в 1900 г. на II съезде партии состоялось объединение с интернационалистскими элементами литовского рабочего движения в единую Социал-демократию Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Во главе ее стояло Главное правление. В апреле 1906 г. она вступила в РСДРП, сохранив органи-

зационную самостоятельность. В 1918 г. СДКПиЛ объединилась с ППС-левицей в Коммунистическую партию Польши.— *284*.

[3] Имеется в виду Польское восстание 1863—1864 гг. против царизма, вспыхнувшее в Королевстве Польском, Литве, части Белоруссии, на Правобережной Украине.— *284*.

[4] *«Рабочее дело»* — газета, печатный орган СДКПиЛ, издававшийся за границей.— *285*.

[5] На II съезде РСДРП, проходившем летом 1903 г., шла острая борьба вокруг вопроса о праве наций на самоопределение. Против этого пункта программы выступили польские социал-демократы и бундовцы. Когда большинство делегатов не согласилось с их мнением, польские социал-демократы покинули съезд.— *287*.

[6] Имеется в виду заметное оживление деятельности либеральной оппозиции — земцев во второй половине 1904 г. Осенью этого года земцы провели несколько съездов, разработавших программу политических реформ. Однако в декабре 1904 г. Николай II опубликовал указ, запрещавший земствам «касаться тех вопросов, на обсуждение которых они не имеют законного полномочия». Земское движение пошло на убыль.— *287*.

[7] Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была создана постановлением СНК РСФСР от 7(20) декабря 1917 г. Председателем ВЧК назначен Ф. Э. Дзержинский. 6 февраля 1922 г. постановлением ВЦИК ВЧК была упразднена и вместо нее создано Государственное политическое управление (ГПУ).— *288*.

[8] Ф. Э. Дзержинский был назначен наркомом путей сообщения 14 апреля 1921 г.— *290*.

Л. Троцкий.
Ф. Дзержинский

Печатается по: Феликс Дзержинский: Биографические материалы. Статьи и речи. Фотоиллюстрации. М., 1926.

[1] Л. Д. Троцкий ошибается. В первый раз Ф. Э. Дзержинский был сослан на 3 года в Вятскую губернию в 1898 г., откуда бежал. В 1900 г. вновь был арестован и в 1902 г. выслан на 5 лет в Восточную Сибирь. По дороге в Вилюйск бежал, возвратился в Варшаву, а затем уехал в Берлин.— *292*.

А. Луначарский.
Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский)

Печатается по: *Луначарский А. В.* Великий переворот: (Октябрьская революция). Пб., 1919. Ч. 1.

[1] Имеется в виду IV (Объединительный) съезд РСДРП, состоявшийся в Стокгольме 10—25 апреля 1906 г.— *295*.

[2] *Северная коммуна, Союз коммун Северной области* — объединение северных и северо-западных губерний в 1918—1919 гг. В Северную коммуну входили: Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская губернии; позднее — Северодвинская и Череповецкая. Исполнительным органом влас-

ти являлся Совет комиссаров Северной коммуны, во главе которого стоял Г. Е. Зиновьев.— *296*.

[3] А. В. Луначарский занимал пост наркома просвещения с октября 1917 по 1929 год.— *296*.

А. Луначарский.
Лев Борисович Каменев (Розенфельд)

Печатается по: *Луначарский А. В.* Великий переворот: (Октябрьская революция). Пб., 1919. Ч. 1.

[1] Имеется в виду глава «Мое партийное прошлое» в книге А. В. Луначарского «Великий переворот: (Октябрьская революция)».— *299*.

[2] А. В. Луначарский, вероятно, имеет в виду время до II съезда РСДРП (1903 г.), на котором произошло размежевание на революционную и оппортунистическую части, что привело при выборах центральных органов партии к расколу на большевиков и меньшевиков. Главным итогом съезда стало рождение большевизма как течения политической мысли и политической партии.— *299*.

[3] III съезд РСДРП проходил в Лондоне 12—27 апреля (25 апреля — 10 мая) 1905 г.— *300*.

[4] Книга А. В. Луначарского «Религия и социализм» в двух томах вышла в 1908—1911 гг. В ней Луначарский развил идеи богостроительства.— *300*.

[5] В ноябре 1914 г. Л. Б. Каменев проводил совещание фракции большевиков в IV Государственной думе в деревне Озерки под Петербургом. Все участники этого совещания были арестованы. В мае 1915 г. по процессу большевиков — депутатов IV Государственной думы Л. Б. Каменев приговорен к ссылке в Сибирь.— *301*.

Троцкий.
Памяти Е. А. Литкенса

Впервые опубликовано в газете «Правда», 1922, № 92, 27 апреля. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

К. Радек.
Памяти Юрия Лутовинова

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

Л. Троцкий.
Памяти Н. Г. Маркина

Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *«Солдатская правда»* («Рабочий и солдат», «Солдат») — большевистская газета, издавалась в Петрограде в 1917—1918 гг.: с 15(28) апреля 1917 г.— орган Военной организации при Петербургском комитете РСДРП(б), с 19 мая (1 июня) 1917 г.— орган Военной организации при ЦК РСДРП(б).— *307*.

[2] *«Ваня»* — речной колесный буксир, переоборудованный во время гражданской войны в канонерскую лодку. В августе 1918 г. вошел в состав Волжской военной флотилии в качестве боевого корабля № 5. Участвовал в боевых действиях против белогвардейцев в районе Средней Волги и на Каме. 1 октября 1918 г. во время боя затонул. В память «Вани» один из вооруженных пароходов Волжской военной флотилии был назван «Ваня-коммунист».— *307*.

Л. Троцкий.
В. П. Ногин
Речь на похоронах

Впервые опубликовано в газете «Правда», 1924, № 118, 27 мая. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

Л. Троцкий.
Х. Раковский

Впервые под названием «Х. Раковский и В. Коларов» опубликовано в газете «Киевская мысль», 1915, 23 октября.

Часть очерка, относящаяся к Х. Раковскому, печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] Имеется в виду международная социалистическая конференция, проходившая в Циммервальде (Швейцария) в сентябре 1915 г. Конференция выступила против развязывания империалистами первой мировой войны. В. И. Ленин организовал на конференции Циммервальдскую левую, которой противостоял так называемый циммервальдский центр — центристское и полуцентристское большинство. Конференция приняла компромиссный манифест, который указывал на империалистический характер войны, но не содержал четких политических лозунгов.— *309*.

К. Радек.
Лариса Рейснер

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М., 1933. Кн. 1.

[1] Письмо В. И. Ленина М. А. Рейснеру см.: Полн. собр. соч. Т. 47. С. 81—82.— *312*.

[2] *«Пер Гюнт»* — пьеса норвежского драматурга Г. Ибсена (1867 г.).— *313*.

[3] В 1915—1916 гг. М. А. Рейснер вместе с дочерью Л. Рейснер издавал в Петрограде журнал «Рудин». Л. М. Рейснер выступала на его страницах со своими публицистическими и критическими статьями.— *313*.

[4] *«Летопись»* — русский ежемесячный литературный и научно-политический журнал, издавался в Петрограде в 1915—1917 гг. Основан А. М. Горьким, сгруппировавшим вокруг журнала писателей, выступавших против империалистической войны, национализма и шовинизма.— *313*.

[5] *«Новая жизнь»* — ежедневная газета меньшевиков-интернационалистов и писателей, объединившихся вокруг журнала «Летопись». Одним из редакторов был А. М. Горький. Выходила с 18 апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918 г. в Петрограде. Параллельно издавалась в Москве (июнь — июль 1918 г.).— *314*.

[6] *«Красная звезда»* — ежедневная военная и общеполитическая газета, центральный орган Министерства обороны СССР. Издается в Москве с 1 января 1924 г.— *314*.

[7] Реввоенсовет Республики (РВСР, Революционный военный совет Республики) (с 23 августа 1923 г.— Реввоенсовет СССР) — коллегиальный орган высшей военной власти в 1918—1934 гг. Председатель РВСР являлся наркомом по военным и морским делам.— *314*.

[8] Муж Л. М. Рейснер — Ф. Ф. Раскольников был назначен полпредом в Афганистан в июле 1921 г.— *315*.

[9] Имеется в виду вооруженное выступление гамбургского пролетариата под руководством коммунистов 23—25 октября 1923 г.— *316*.

[10] Компартия Германии была запрещена президентом страны Ф. Эбертом в ноябре 1923 г. Находилась в подполье до весны 1924 г.— *317*.

[11] *«Эпос пшеницы»* — незаконченная трилогия Ф. Норриса (романы «Спрут», 1901 г., «Омут», 1903 г.). В своем произведении он дал широкую социально-критическую картину американского общества.— *319*.

[12] *«Крупп»* — металлургический и машиностроительный концерн ФРГ, основан в 1811 г. Концерн активно участвовал в создании военного потенциала германского империализма до и во время первой мировой войны 1914—1918 гг. Во время второй мировой войны 1939—1945 гг. был одним из ведущих поставщиков вооружения фашистской Германии.— *319*.

[13] *«Юнкерс»* — название германской самолетостроительной и двигателестроительной фирмы, существовавшей в 1919—1945 гг. Основателем ее был Г. Юнкерс.— *319*.

[14] Крестьянская война 1773—1775 гг. в России под предводительством Е. И. Пугачева.— *319*.

А. Луначарский.
Яков Михайлович Свердлов

Печатается по: *Луначарский А. В.* Революционные силуэты. Харьков, 1924.

[1] 6 июля 1917 г. Временное правительство отдало распоряжение об аресте В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева.— *321*.

К. Радек.
Я. М. Свердлов

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] Имеется в виду Ноябрьская революция в Германии в 1918 г., которая привела к свержению монархии и установлению республики (так называемая Веймарская республика).— *327*.

[2] Имеется в виду нота народного комиссара иностранных дел президенту США Вильсону от 24 октября 1918 г. (см.: Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 531—539).— *328*.

[3] Первый Всегерманский съезд Советов состоялся в декабре 1918 г. в Берлине.— *328*.

[4] Радек К. Б. содержался в берлинской тюрьме с февраля по декабрь 1919 г.— *329*.

[5] Имеется в виду VIII съезд РКП(б), состоявшийся 18—23 марта 1919 г. Я. М. Свердлов умер 16 марта 1919 г.— *329*.

Л. Троцкий.
Памяти Свердлова

Впервые напечатано в книге: Яков Михайлович Свердлов. Сборник воспоминаний и статей. М., 1926. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов проходил с 3 по 24 июня 1917 г. в Петрограде.— *329*.

[2] *«Известия Советов народных депутатов СССР»* — ежедневная общеполитическая газета, издание Президиума Верховного Совета СССР. Первый номер вышел 28 февраля (13 марта) 1917 г. в Петрограде. С 12 марта 1918 г. выходит в Москве (название менялось, нынешнее — с 1977 г.).— *330*.

Л. Троцкий.
Склянский погиб

Впервые опубликовано в газете «Правда», № 196, 29 августа 1925 г. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

Л. Троцкий.
Памяти Э. М. Склянского

Речь в клубе Красных директоров 11 сентября 1925 года

Впервые опубликовано в газете «Правда», № 217, 23 сентября 1925 г. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 50—54.— *340*.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 50. С. 289.— *341*.

[3] Обмен записками между В. И. Лениным и Э. М. Склянским 26 апреля 1919 г. частично опубликован: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 50. С. 292. Причем ошибочно вместо слов «и 6-ю армию» напечатано «и в армию». Полностью записки опубликованы в книге: *Ленин В. И.* Военная переписка (1917—1920). М., 1957. С. 114.— *341*.

[4] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 50. С. 332.— *341*.

[5] В записке В. И. Ленина подчеркнуты два слова «подтянуть сугубо». См.: Полн. собр. соч. Т. 50. С. 332.— *341*.

А. В. Луначарский.
Лев Давидович Троцкий

Печатается по тексту первой публикации: *Луначарский А. В.* Великий переворот: (Октябрьская революция). Пб., 1919. Ч. 1.

[1] Имеется в виду расстрел 9(22) января 1905 г. царским правительством мирного шествия петербургских рабочих и последовавшая за этим волна забастовок по всей стране.— *344*.

[2] Установить, о какой комиссии идет речь, не удалось.— *344*.

[3] Имеется в виду «Русская газета», издававшаяся в Петербурге в 1904—1906 гг.— *344*.

[4] *«Правда»* (венская) — газета, издававшаяся под редакцией Л. Д. Троцкого в 1908—1912 гг. сначала во Львове (первые три номера), затем в Вене. Всего вышло 25 номеров.— *345*.

[5] *«Вперед»* — ежедневная газета, центральный орган Германской социал-демократической партии, выходила с 1891 по 1933 г.— *345*.

[6] *Вторая партийная школа* была организована в Болонье осенью 1910 г.— *346*.

[7] *«Наше слово»* — меньшевистская газета, выходившая в Париже с января 1915 г. по сентябрь 1916 г. Одним из редакторов был Л. Д. Троцкий.— *346*.

[8] *Оборонцы* — деятели социал-демократического движения, которые с началом первой мировой войны отказались от решений II Интернационала и выступили в поддержку правительств своих стран.— *346*.

[9] Сам Л. Д. Троцкий иначе оценивал роль В. И. Ленина в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции (см., напр.: очерк Л. Д. Троцкого «Вокруг Октября», с. 56—110 настоящего сборника).— *347*.

[10] В мае — июне 1917 г. В. И. Ленин неоднократно выступал на различных митингах и собраниях (в том числе на I Всероссийском съезде Советов, 1-й Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов, перед рабочими Путиловского завода и фабрики «Скороход»), его статьи появлялись практически в каждом номере газеты «Правда». На оценке А. В. Луначарского, видимо, сказалось то, что с 29 июня по 4 июля (12—17 июля) В. И. Ленин из-за болезни жил на даче В. Д. Бонч-Бруевича в деревне Нейвола, а с 5(18) июля он был вынужден перейти на нелегальное положение (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32).— *348*.

К. Радек.
Лев Троцкий

Печатается по: *Радек К.* Портреты и памфлеты. М.; Л., 1927.

[1] Имеется в виду вышедшая в 1893 г. книга Франца Меринга «Легенда о Лессинге».— *352*.

[2] *Бебель А.* Постоянная армия и народная милиция. Пер. с нем. Под ред. П. Орловского. Спб., 1906.— *352*.

[3] *Мокк Г.* Армия в демократическом государстве. Киев, 1906.— *352*.

[4] *Жорес Ж.* Новая армия. Пг., 1919.— *352*.

[5] *Первая Балканская война* (9 октября 1912 г.— 30 мая 1913 г.) — война государств Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Турции. Окончилась поражением Турции и подписанием Лондонского мирного договора 1913 г.

Вторая Балканская война (29 июня — 10 августа 1913 г.) — война Болгарии против Сербии, Греции, Черногории, Румынии и Турции. Окончилась поражением

Болгарии, подписанием Бухарестского мирного договора 1913 г. и Константинопольского мирного договора 1913 г.— *352*.

[6] *Клаузевиц К.* О войне. Пер. с нем. М., 1941. Т. 1—2.— *353*.

[7] *«Военное дело»* — еженедельный военно-научный журнал, издававшийся с июня 1918 г. по июнь 1920 г. Народным комиссариатом по военным делам.— *354*.

[8] Имеется в виду доклад В. И. Ленина об очередных задачах Советской власти на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г. (Полн. собр. соч. Т. 36. С. 241—267).— *354*.

[9] *«Коммунист»* — журнал, издававшийся в Москве в апреле — июне 1918 г. сначала как орган Московского областного бюро РКП(б), затем как орган группы «левых коммунистов». Всего вышло 4 номера.— *354*.

[10] Имеются в виду следующие слова Л. Д. Троцкого из его выступления на IX съезде РКП(б): «Я полагаю, что если бы наша армия и гражданская война не ограбили бы наши хозяйственные органы, забравши оттуда все наиболее крепкое, инициативное, самостоятельное, то несомненно, что вступление на путь единоличия наступило бы раньше, вопреки тому, что говорят т. Осинский и другие». (Девятый съезд Российской коммунистической партии. Стенографический отчет. М., 1920. С. 93—94).— *356*.

А. Луначарский.
Моисей Соломонович Урицкий

Печатается по: *Луначарский А. В.* Революционные силуэты. Харьков, 1924.

[1] После ареста А. В. Луначарского в 1901 г. отпускают на поруки к отцу в Полтавскую губернию, откуда он переезжает в Киев. Здесь во время чтения реферата на благотворительном вечере в пользу студентов он был арестован вместе со всеми присутствовавшими. Последовало двухмесячное заключение в Лукьяновской тюрьме, где он подружился с М. С. Урицким.— *357*.

Л. Троцкий.
Памяти М. В. Фрунзе

Речь на траурном заседании, посвященном памяти Михаила Васильевича Фрунзе, в г. Кисловодске 2 ноября 1925 года

Впервые опубликовано в газете «Известия», 1925, № 259, 13 ноября. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] Аналогичными причинами Л. Д. Троцкий объяснял невозможность своего присутствия на похоронах В. И. Ленина.— *361*.

А. Луначарский.
Фурманов

Впервые опубликовано в журнале «30 дней» (1926. № 4. Апрель) и перепечатано с некоторыми исправлениями в качестве предисловия к книге «Дмитрий Фурманов. Незабываемые дни. Очерки и рассказы». М.; Л., 1926. Печатается по тексту книги.

Л. Троцкий.
Г. И. Чудновский

Впервые опубликовано в книге «Война и революция». М.; Пг., 1922. Т. 1. Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.

[1] *Центральная рада* — контрреволюционный объединенный орган буржуазных и мелкобуржуазных националистических партий и организаций на Украине. Создана в марте 1917 г. В январе 1918 г. была изгнана украинской и русской Красной гвардией. Заключила кабальное соглашение с австро-германскими войсками, возвратилась с ними в Киев. 29 апреля 1918 г. была разогнана австро-германскими оккупантами и заменена марионеточным правительством украинского помещика-монархиста П. П. Скоропадского.— *367*.

Л. Троцкий.
Анатолий Васильевич Луначарский

Печатается по первой публикации в журнале «Бюллетень оппозиции». Париж, 1934, № 38—39.

[1] Речь идет о группе «Вперед», оформившейся в 1909 г. за границей внутри РСДРП по инициативе А. А. Богданова и Г. А. Алексинского. В эту группу входил и А. В. Луначарский. В 1912 г. он отошел от «впередовцев».— *369*.

[2] Л. Д. Троцкий утверждает это, очевидно, не зная о втором издании «Революционных силуэтов», вышедших в Харькове в 1924 г. В очерке о Я. М. Свердлове (см. с. 321 настоящего издания) Сталин упоминается в числе руководителей революции.— *370*.

[3] А. В. Луначарский с 1927 г. находился на дипломатической работе. В 1933 г. он был назначен полпредом в Испании.— *370*.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

войны командовал Петроградским военным округом, рядом армий, групп войск и фронтами. С 1920 г.— на советской, военной и дипломатической работе. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *57*, *71*, *354*.

Аристова Вера Гавриловна — жена А. А. Литкенса.— *302*.

Аронсон Наум Львович (род. 1842) — скульптор, с 1896 г. постоянно жил в Париже.— *39—40*.

Аросев Александр Яковлевич (1890—1938) — советский государственный, партийный деятель, писатель. Член компартии с 1907 г. Участник революции 1905—1907 гг. До 1907 г. примыкал к эсерам. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1909—1911 гг.— в эмиграции. В 1917 г.— член Тверского совета, член Всероссийского бюро военных организаций РСДРП(б). Во время Октябрьской революции — кандидат в члены Московского ВРК, командующий войсками военного округа. С 1926 г. на дипломатической работе. С 1934 г.— председатель ВОКС. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *304*.

Асквит, граф Оксфорд и Асквит, Герберт Генри (1852—1928) — английский политический деятель, в 1892—1895 гг.— министр внутренних дел, в 1908—1916 гг.— премьер-министр Великобритании, лидер Либеральной партии.— *237*.

Аскью Джон Б.— английский социалист.— *14*.

Бабеф Гракх (1760—1797) — французский коммунист-утопист. В 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание. Казнен.— *319*.

Бабурин — *179*.

Бакай Михаил Ефимович — чиновник особых поручений при охранном отделении. Начал службу после ареста в 1902 г. в Варшаве. В 1906 г. дал Бурцеву сведения о некоторых провокаторах. В январе 1907 г. вышел в отставку, готовил записку о провокаторах для депутатов II Государственной думы, но был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, а затем выслан в Сибирь. Вскоре бежал во Францию, где опубликовал в журнале «Былое» и газете «Революционная мысль» все, что знал о деятельности охранного отделения, в том числе список шпиков и провокаторов (свыше 130 имен).— *232*.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. С 1864 г. член I Интернационала, откуда в 1872 г. был исключен за раскольническую деятельность.— *156*, *167*.

Бальфур Артур Джеймс (1848—1930) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1902—1905 гг. Неоднократно входил в состав правительства, в 1916—1919 гг.— министр иностранных дел.— *105*.

Бардина Софья Илларионовна (1852—1883) — революционерка, народница, член народнического кружка «москвичей». На «процессе 50-ти» выступила с революционной речью. Сослана в Сибирь, откуда бежала в 1880 г.— *180*.

Бауэр Константин Константинович (1867—1906?) — деятель социал-демократического движения. В 1896 г. вошел в Петербургский «Союз борьбы», в том же году арестован и выслан на 4 года в Верхоленск Иркутской губернии. С апреля

1902 г. подчинен надзору полиции в Самаре. Выполнял отдельные поручения Бюро Русской организации «Искры».— *15—16, 269.*

Бах Алексей Николаевич (1857—1946) — советский ученый, академик АН СССР. Участник революционного движения, народоволец. В 1885—1917 гг. жил в эмиграции. После Октябрьской революции находился на научной работе, основатель советской школы биохимиков. Организатор Физико-химического института и Института биохимии АН СССР. Член ВЦИК, ЦИК СССР.— *227.*

Бебель Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала.— *32, 45, 114, 237, 268, 312, 348, 352.*

Бедный Демьян (наст. фам. и имя — *Придворов Ефим Алексеевич*) (1883 — 1945) — русский, советский писатель. Член Компартии с 1912 г.— *182, 356.*

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литературный критик, публицист, революционный демократ. В 1839—1846 гг. сотрудничал в журнале «Отечественные записки», сблизился с А. И. Герценом, И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым. Вскоре возглавил реалистическое направление русской литературы. В 1847—1848 гг. руководил критическим отделом журнала «Современник». В «Письме к Н. В. Гоголю» он сформулировал свое «политическое завещание» и призвал великого писателя вернуться на путь реализма и сатиры. После революции во Франции (1848 г.) в России усилился цензурно-полицейский террор. Белинского неоднократно вызывали в Третье отделение; только смерть спасла его от ареста и заключения в Петропавловскую крепость.

В. Г. Белинский еще при крепостном праве стал, по словам В. И. Ленина, «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении...» (Полн. собр. соч. Т. 25. С. 94). Белинский — основоположник русской эстетики и литературной критики. Свое творчество В. Г. Белинский подчинял задачам борьбы против крепостничества, за развитие общественного сознания и русской реалистической литературы. Традиции его критики продолжены Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым.— *128—135, 141, 143, 145, 165, 172, 226, 256.*

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — русский общественный деятель, врач. С 1861 г. корреспондент «Колокола». В 1883—1891 гг. был фактически издателем-редактором газеты «Общее дело».— *173.*

Бер Макс (род. 1864) — немецкий историк социализма, в 80-х гг. принадлежал к левому крылу немецких социал-демократов. В 1901—1915 гг. жил в Лондоне, работал корреспондентом газеты «Вперед».— *14.*

Беренс Евгений Андреевич (1876—1928) — советский военачальник. В 1917—1919 гг.— начальник Морского генштаба. В 1919—1920 гг.— командующий морскими силами Республики. Впоследствии состоял при Реввоенсовете Республики для особо важных поручений, был военно-морским атташе СССР в Англии и Франции.— *315.*

Бернштейн Эдуард (1850—1932) — немецкий социал-демократ, родоначальник ревизионизма, один из лидеров оппортунистического крыла германской социал-демократии и II Интернационала.— *10—11.*

Бетман-Гольвег Теобальд (1856—1921) — германский государственный деятель. В 1905—1907 гг.— министр внутренних дел Пруссии, в 1907—1909 гг.—

империский министр внутренних дел и заместитель рейхсканцлера. В 1909—1917 гг.— германский рейхсканцлер. Сыграл активную роль в подготовке и развязывании первой мировой войны.— *325*.

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—1898) — князь, первый рейхсканцлер германской империи в 1871—1890 гг. Осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе.— *54*.

Блан Луи (1811—1882) — французский утопический социалист. Утверждал, что ликвидация капиталистических отношений и социального гнета возможна без революционной борьбы, путем создания общественных мастерских и введения всеобщего избирательного права. В период революции 1848 г. входил во Временное правительство; вел соглашательскую политику. К Парижской коммуне 1871 г. отнесся отрицательно. Луи Блан считается одним из родоначальников оппортунизма и реформизма в рабочем движении.— *163, 165*.

Бланки Луи Огюст (1805—1881) — французский коммунист-утопист, участник революций 1830 и 1848 гг.— *319*.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — русский поэт. Усиление социальных тенденций в его творчестве связано с первой российской революцией 1905—1907 гг. В статье «Интеллигенция и Революция» приветствовал Октябрьскую революцию 1917 г. Его поэма «Двенадцать» — первая советская поэма о революции.— *214*.

Блос Вильгельм (1849—1927) — немецкий публицист и историк. Социал-демократ. Автор трудов о Революции 1848—1849 гг. в Германии.— *294*.

Блюменфельд Иосиф Соломонович (Блюм) (1865—1941) — социал-демократ, заведовал типографией и транспортной частью в группе «Освобождение труда» и редакции «Искры». После II съезда — меньшевик. После Октябрьской революции от политической деятельности отошел.— *12, 27*.

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928) — деятель российского революционного движения, врач, философ, экономист. Член РСДРП в 1896—1909 гг., с 1905 г.— член ЦК, входил в редакции большевистских органов «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь». С 1908 г.— отзовист, руководил группой «Вперед». С 1911 г. отошел от активной революционной деятельности. С 1918 г.— один из идеологов «Пролеткульта», с 1926 г.— организатор и директор Института переливания крови. Погиб, производя опыт на себе.— *11, 37—38, 45—46, 299, 369*.

Бомарше Пьер Огюстен (1732—1799) — французский драматург.— *223*.

Борисов — военный писатель.— *354*.

Боттичелли Сандро (наст. имя и фамилия — *Алессандро Филипепи*) (1445—1510) — итальянский живописец флорентийской школы. Представитель раннего Возрождения. Был близок двору Медичи и гуманистическим кругам Флоренции.— *200*.

Брат — немецкий демократ.— *312*.

Брентано Франц (1838—1917) — немецкий философ-идеалист, развил учение об интенциональности (предметности сознания) как родовом признаке психических феноменов.— *257*.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) — одна из организаторов и лидер партии эсеров. Участница народнического движения с 1870-х гг.

Валь Виктор Вильгельмович (1840—1913) — царский чиновник, генерал. Участник подавления польского восстания 1863 г. В 1892—1895 гг.— петербургский градоначальник. С 1901 г.— виленский губернатор, затем товарищ министра внутренних дел, командующий отдельным корпусом жандармов. В 1904 г.— член Государственного совета.— *16*.

Вальден П. Б.— полковник армии. Назначен начальником штаба революционных частей под Петроградом во время разгрома мятежа Керенского — Краснова 26—31 октября (8—13 ноября) 1917 г.— *89*.

Вандервельде Эмиль (1866—1938) — бельгийский социалист, реформист. С середины 90-х гг. руководитель Бельгийской рабочей партии, с 1900 г.— председатель международного социалистического бюро II Интернационала. Член парламента с 1894 г., в 1914 г. вошел в буржуазное правительство и до 1937 г. неоднократно был министром.— *23, 268*.

Ванновский В. А. (1867—1934) — деятель социал-демократического движения. В 1897 г.— один из организаторов Московского рабочего союза, в 1893 г. арестован и сослан на 6 лет, в октябре 1902 г. бежал из Омска, вошел в социал-демократическую группу «Воля», а затем в Северный союз. После Октябрьской революции работал юристом.— *17*.

Варский Адольф Ежи (1868—1937) — деятель польского и международного коммунистического движения, публицист. В 1889 г.— один из организаторов Союза польских рабочих, в 1893 г.— Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), член ее Главного правления. Участник революционных событий 1905—1907 гг. в Польше. В 1906 г.— член ЦК РСДРП. Неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1918 г.— один из организаторов Коммунистической партии Польши (КПП), в 1919—1929 гг.— член ее ЦК, в 1923—1929 гг.— член Политбюро ЦК КПП. Участник 3—6-го конгрессов Коминтерна. В 1929 г. вынужден эмигрировать. Жил в СССР. Работал в Институте Маркса — Энгельса — Ленина. В 1937 г. необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно в 1955 г.— *284*.

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.— *40*.

Верховский Александр Иванович (1886—1938) — советский военный историк, комбриг (1936 г.). В сентябре — октябре 1917 г.— военный министр Временного правительства, генерал-майор. С 1919 г.— в Красной Армии, с 1921 г.— на преподавательской работе в Военной Академии РККА, Академии Генерального штаба РККА. Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно.— *353*.

Весоловский Бронислав (1870—1919) — деятель польского революционного рабочего движения, один из организаторов и руководителей Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). В 1906—1908 гг. возглавлял Варшавскую организацию СДКПиЛ. Участвовал в работе V съезда РСДРП в 1907 г. Неоднократно арестовывался, ссылался. После Февральской революции в 1917 г. работал в Петрограде: в Секретариате ЦК РСДРП(б), во ВЦИК, в Верховном трибунале РСФСР. В декабре 1918 г. выехал в Польшу во главе делегации Красного Креста, был злодейски убит вместе со всей делегацией по указанию польских буржуазно-помещичьих властей.— *283*.

Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — государственный деятель США. В 1913—1921 гг. президент США от Демократической партии. Инициатор вступления США в первую мировую войну. В январе 1918 г. выдвинул империалистическую программу мира — так называемые «14 пунктов», целью которой было утверждение американского господства в международных делах. Участвовал в организации антисоветской интервенции. После окончания срока президентства в 1921 г. отошел от политической деятельности.— *328*.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — русский государственный деятель. Министр путей сообщения в 1892 г., финансов с 1892, председатель Комитета министров с 1903, Совета Министров в 1905—1906 гг. Разработал основные положения столыпинской аграрной реформы, автор Манифеста 17 октября 1905 г.— *224—225, 228, 237*.

Владимиров Мирон Константинович (1879—1925) — советский государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1903 г. Делегат III съезда. Участник революции 1905—1907 гг. После Февральской революции вернулся в Россию, был межрайонцем, на VI съезде принят в партию большевиков. После Октябрьской революции — на советской работе: в 1921 г.— нарком продовольствия, нарком земледелия УССР, в 1922—1924 гг.— нарком финансов РСФСР и заместитель наркома финансов СССР, с 1924 г.— заместитель председателя ВСНХ СССР. Кандидат в члены ЦК партии с 1924 г. Член ВЦИК, ЦИК СССР.— *57*.

Водовозов Василий Васильевич (1864—1933) — русский публицист, юрист, экономист, народник. В 1906 г.— один из видных членов партии трудовиков. С 1911 г. входил в состав редакции журнала «Современник», в 1917 г.— журнала «Былое», сотрудничал в газете «День». К Октябрьской революции отнесся враждебно. В 1926 г. эмигрировал.— *357*.

Володарский В. (наст. фам. и имя *Гольдштейн Моисей Маркович*) (1891—1918) — деятель российского революционного движения. Член партии с 1917 г. В 1905 г. входил в Бунд. В 1908—1911 гг. вел революционную работу в Волынской и Подольской губерниях. Неоднократно подвергался арестам, был в ссылке. В 1913 г. эмигрировал в США, где вступил в Американскую социалистическую партию и в Интернациональный профсоюз портных. Во время первой мировой войны — интернационалист.

В мае 1917 г. вернулся в Петроград, некоторое время состоял в организации межрайонцев, затем вступил в большевистскую партию; был избран членом Петроградского комитета РСДРП(б), являлся одним из популярнейших агитаторов. В сентябре 1917 г. избран в Президиум Петроградского Совета. После Октябрьской революции — комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, член Президиума ВЦИК, редактор петроградской «Красной газеты». 20 июня 1918 г. по дороге на митинг убит эсером.— *278—283*.

Вольтер (наст. имя *Мари Франсуа Аруэ*) (1694—1778) — французский писатель и философ-просветитель, деист. Сыграл огромную роль в идейной подготовке Великой французской революции, в развитии мировой, в том числе русской, общественно-философской мысли.— *155*.

Ворцель Станислав Габриель (1799—1857) — социалист-утопист; участник Польского восстания 1830—1831 гг., в эмиграции состоял в Польском демократическом обществе и был членом его руководящего органа «Централизация». В 1835 г.— организатор и идеолог «Люда польского» — политической организации левого крыла польской эмиграции в Великобритании; член Европейского Центрального Комитета.— *163*.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — один из главных организаторов контрреволюции в период гражданской войны, барон, генерал. В 1918—1919 гг.— в Добровольческой армии, в 1920 г.— главнокомандующий т. н. Русской армии. С 1920 г.— эмигрант. В 1924—1928 гг.— организатор и председатель «Русского общевоинского союза» (РОВС).— *362—363*.

Гакстгаузен Август (1792—1886) — немецкий экономист. В 1843 г. приехал в Россию с целью изучения русского аграрного строя и в 1847 г. выпустил «Этюды о

внутренних отношениях народной жизни и в особенности о земельных порядках России», где подробно остановился на вопросе о крестьянской общине.— *166*.

Гамбаров.— *21*.

Ганецкий Яков Станиславович (1879—1937) — деятель российского и международного революционного движения. Член партии с 1896 г. В 1903—1909 гг.— член Главного правления Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Участник революции 1905—1907 гг. (в Варшаве). Неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1907 г.— член ЦК РСДРП. В 1917 г.— член Заграничного бюро ЦК РСДРП(б). С 1917 г.— в Наркомфине, Внешторге, НКИД. В 1930—1932 гг.— член Президиума ВСНХ РСФСР. С 1935 г.— директор Музея Революции СССР. В 1937 г. необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно в 1955 г.— *286*.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей революционно-демократического крыла национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии. Участник Итальянской революции 1848—1849 гг. В 1860 г. возглавил поход «Тысячи», освободившей Юг Италии, что обеспечило победу революции 1859—1860 гг. Был сторонником I Интернационала, приветствовал Парижскую коммуну 1871 г.— *151*.

Гарт — октябрист-литератор. Был постоянным сотрудником правых газет «Русский голос», «Русский Дневник», «Национальная Русь» и др.— *239*.

Гаузенштейн Вильгельм (1882—1957) — немецкий историк искусств и публицист.— *264*.

Гауптман Герхарт (1862—1946) — немецкий писатель, глава немецкого натурализма. В творчестве писателя социальный критицизм соседствует с символистскими и мистическими тенденциями.— *199*, *201*.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики.— *132*, *134*, *144*, *202*, *262*.

Гед (наст. фам. *Базиль Жюль*) (1845—1922) — один из организаторов и руководителей французского социалистического движения и II Интернационала, пропагандист марксизма. Один из лидеров Французской социалистической партии. В предвоенные годы — центрист, в первую мировую войну — социал-шовинист. В 1914—1915 гг. входил в буржуазное правительство (государственный министр).— *32*, *237*, *265*, *268—269*, *310—311*.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист, выдающийся мастер лирической и политической поэзии.— *137*.

Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии. Выдвигал требование полной ликвидации феодальных отношений и феодальной собственности; был сторонником просвещенного абсолютизма, в понятие которого вкладывал буржуазно-демократическое содержание.— *124*, *263*.

Гервег (Хервег) Георг (1817—1875) — немецкий революционный демократ, поэт и публицист. В 40-х гг. был близок к К. Марксу и Ф. Энгельсу, связан дружбой с М. А. Бакуниным и А. И. Герценом. После революции 1848—1849 гг. в Германии эмигрировал. В статьях и стихах Гервег обличал европейскую реакцию, поддерживал Гарибальди, выступал против политики О. Бисмарка. Оставаясь на

позициях мелкобуржуазного революционера-демократа, Гервег выступал в защиту интересов рабочих.— *165.*

Гёргей Артур (1818—1916) — в период революции 1848—1849 гг. в Венгрии — главком венгерской национальной армии, затем военный министр, диктатор. Стремился к соглашению с Габсбургами. У крепости Вилагош капитулировал перед интервенционистскими царскими войсками под командованием И. Ф. Паскевича.— *162.*

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский революционер, писатель, философ. Печатался с 1836 г. под псевдонимом Искандер. В 1834 г. за революционную деятельность был арестован, шесть лет провел в ссылке. С 1842 г. в Москве возглавлял левое крыло западников. С 1847 г. в эмиграции. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую типографию, издавал газету «Колокол». Разработал теорию «русского социализма», один из основоположников народничества. В последние годы жизни Герцена привлекла деятельность I Интернационала и борьба рабочего класса. Умер в Париже.— *83, 133, 139—168, 224, 256, 261, 268, 367.*

Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908) — один из организаторов и лидеров партии эсеров, глава «боевой организации», руководитель ряда террористических актов. В 1903 г. был арестован, в 1904 г.— приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Осенью 1906 г. бежал с каторги за границу.— *230, 233.*

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — русский буржуазный публицист и политический деятель. Один из основателей и лидеров кадетской партии, бессменный член ее ЦК, редактор печатных органов кадетской партии. Член II Государственной думы. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.— *51, 223, 237.*

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель, основоположник немецкой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской Академии наук.— *155, 176, 202, 211.*

Гильфердинг (Хильфердинг) Рудольф (1877—1941) — один из лидеров австрийской и германской социал-демократии и II Интернационала. Во время первой мировой войны — центрист. С 1917 г.— лидер «Независимой социал-демократической партии Германии». В 1923 и 1928—1929 гг.— министр финансов в буржуазном правительстве Веймарской республики.— *269.*

Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — германский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В первую мировую войну командовал с ноября 1914 г. войсками Восточного фронта, с августа 1916 г. был начальником Генштаба, фактически главнокомандующим германскими вооруженными силами. С 1925 г.— президент Германии.— *252.*

Гирш.— 337.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — русский драматург, переводчик, историк искусств. В 1829 г. опубликовал перевод «Илиады» Гомера.— *12.*

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель. Оказал решающее влияние на развитие критического реализма, становление сатирических жанров и утверждение гуманистических и демократических принципов в русской литературе.— *134.*

Гольбах Поль Анри (1723—1789) — французский философ-материалист, атеист, идеолог революционной буржуазии.— *263.*

Гомер — легендарный древнегреческий эпический поэт, которому со времен античной традиции приписывают авторство «Илиады», «Одиссеи» и др. произведений.— *199—201*.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН. Как писатель-реалист, правдиво изображал картины крепостного уклада русского общества, распад этого уклада под напором новых буржуазных капиталистических отношений. В романе «Обломов» показана история духовной гибели человека, незаурядные способности которого подавлены рабовладельческим укладом русской жизни.— *189.*

Горбунов-Посадов Иван Иванович (наст. фам. *Горбунов*) (1864—1940) — русский педагог, публицист, издатель книг для народного и детского чтения, редактор педагогического журнала «Свободное воспитание». Убежденный сторонник религиозно-нравственных идей Л. Н. Толстого.— *192—193.*

Горький Максим (наст. имя и фам. *Алексей Максимович Пешков*) (1868—1936) — русский советский писатель и общественный деятель, родоначальник советской литературы, критик и публицист, инициатор создания и первый председатель правления Союза писателей СССР.— *42, 140, 314, 369.*

Гофман Макс (1869—1927) — германский генерал. С сентября 1916 г.— начальник штаба главнокомандующего Восточным фронтом. В 1917—1918 гг. был фактически главой во время мирных переговоров с Советской Россией в Бресте.— *72—73, 76, 327.*

Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940) — эсер, с 1906 г.— член «боевой организации», в 1907—1917 гг. находился на каторге и в ссылке. В 1917 г.— член Петроградского Совета, с июня — заместитель председателя ВЦИК. После Октябрьской революции — председатель «Комитета спасения родины и революции», организатор антисоветских мятежей. В 1922 г. осужден по процессу правых эсеров, амнистирован; находился на хозяйственной работе.— *229.*

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский историк и общественный деятель, глава московских западников. С 1839 г.— профессор всеобщей истории Московского университета. Заложил основы русской медиевистики. Выступал против крепостничества и деспотизма, национализма и расизма.— *133.*

Грейлих Герман (1842—1925) — лидер правого крыла Швейцарской социал-демократической партии, один из основателей швейцарской секции I Интернационала в Цюрихе. С 1902 г. неоднократно избирался депутатом общешвейцарского парламента. В 1919 и 1922 гг.— председатель Национального совета. В годы первой мировой войны — социал-шовинист. Боролся против присоединения левого крыла Швейцарской социал-демократической партии к Коммунистическому Интернационалу.— *261*.

Гримм Роберт (1881—1956) — один из лидеров Социал-демократической партии Швейцарии и II Интернационала. С 1911 г.— депутат Швейцарского парламента. Председатель Циммервальдской и Кинтальской конференций. Один из организаторов $2^1/_2$ Интернационала.— *272.*

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — русский поэт. В 1910-е гг.— глава акмеизма. С 1914 г.— на фронте. Во время Октябрьской революции

1917 г.— в русском экспедиционном корпусе во Франции. В 1918 г. вернулся в Петроград; принимал участие в работе издательства «Всемирная литература». Расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.— *313*.

Гурович М. И. (1862—1915) — провокатор, секретный агент охранного отделения, проникший в социал-демократическое движение. В 1902 г. разоблачен Петербургским комитетом. После этого открыто перешел на службу в Петербургский департамент полиции. Позднее возглавил особую канцелярию при помощнике по полицейской части Кавказского наместника.— *228*.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — русский капиталист, организатор и лидер партии октябристов («Союз 17 октября»). Депутат и с марта 1910 г. председатель III Государственной думы. В 1915—1917 гг.— председатель Центрального военно-промышленного комитета и член Особого совещания по обороне. После Февральской революции — военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов корниловского мятежа. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.— *224, 239—242*.

Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель, драматург, глава и теоретик французского демократического романтизма. Гюго был любимым писателем А. Н. Толстого.— *202*.

Давид Эдуард (1863—1930) — деятель германской социал-демократии. Не приняв ряда выводов марксизма по аграрному вопросу, доказывал «устойчивость» мелкого крестьянского хозяйства при капитализме. Критика его взглядов дана в трудах В. И. Ленина.— *21*.

Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871—1947) — один из лидеров меньшевизма, социал-демократ с 1894 г. Участник IV (объединительного), V (Лондонского) съездов и ряда конференций РСДРП. После Февральской революции — член Исполкома Петросовета и Президиума ЦИК 1-го созыва. В 1922 г. выслан за границу за антисоветскую деятельность.— *43—44, 71, 274, 297*.

Дантон Жорж Жак (1759—1794) — один из видных деятелей французской буржуазной революции конца XVIII в.— *44—45, 111*.

Деборин (наст. фам.— *Иоффе*) *Абрам Моисеевич* (1881—1963) — советский философ, академик АН СССР. В 1907—1917 гг.— меньшевик. Член компартии с 1928 г. Вел борьбу с махизмом. Основные труды по диалектическому материализму и истории философии.— *268*.

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941) — участник народнического, а затем социал-демократического движения в России с 1874 г. Член организации «Земля и воля», а после ее раскола — «Черного передела». Неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению. В 1883 г.— один из основателей группы «Освобождение труда». С 1903 г. один из лидеров меньшевизма. После Февральской революции примыкал к группе правых меньшевиков «Единство», был одним из редакторов газеты «Единство». После Октябрьской революции от политической деятельности отошел, работал над изданием литературного наследия Г. В. Плеханова.— *20—21, 24—25, 27, 29, 32, 258*.

Делэзи Франсис (1873 — ?) — французский мелкобуржуазный экономист, синдикалист, пацифист. Проповедовал теорию «социальной солидарности», выдвигал утопическую программу классового сотрудничества между синдикатами рабочих и синдикатами капиталистов и создания на его основе «Соединенных штатов мира»

как гарантии от конкуренции, кризисов и войн. В 30-х гг. выступал против фашизма и подготовки империалистами второй мировой войны.— *319*.

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — афинский оратор, вождь демократической антимакедонской группировки. Призывал греков к борьбе против захватнической политики македонского царя Филиппа II. После подчинения Греции Македонией отравился.— *268*.

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — один из главных организаторов контрреволюции в гражданскую войну, генерал-лейтенант царской армии. С апреля 1918 г. командующий, с октября — главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г.— главнокомандующий «Вооруженными силами Юга России». В 1920 г. эмигрировал за границу.— *356*.

Дербышев Николай Иванович (1879—1955) — участник российского революционного движения. Член партии с 1896 г. После Февральской революции 1917 г.— член, председатель Центрального совета фабзавкомов Петрограда. Делегат VI съезда РСДРП(б). В Октябрьские дни — комиссар Петроградского ВРК по печати. В ноябре 1917 г. вышел из состава СНК из-за несогласия с линией ЦК РСДРП(б). В 1921—1926 гг.— председатель ЦК профсоюза печатников. В 1922—1924 гг.— член ВЦИК и ЦИК СССР. С 1927 г. на хозяйственной работе.— *278*.

Джордж Генри (1839—1897) — американский мелкобуржуазный экономист и публицист. Выступал за национализацию всей земли буржуазным государством.— *198*.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — советский партийный, государственный деятель, участник польского и российского революционного движения. Член партии с 1895 г. В 1899 г. в Варшаве — один из организаторов объединенной партии Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), член ее Главного правления. Один из руководителей революции 1905—1907 гг. в Варшаве. В 1907 г.— член ЦК РСДРП. Более 11 лет провел в тюрьмах и ссылке. Делегат VII (Апрельской) конференции и VI съезда партии. Один из организаторов Октябрьского вооруженного восстания; член ВЦИК и его Президиума. С декабря 1917 г.— председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК, с 1922 г.— ГПУ, ОГПУ); с 1919 по 1923 г. одновременно нарком внутренних дел, а с 1921 г.— нарком путей сообщения. С февраля 1924 г.— председатель ВСНХ СССР. С 1917 г.— член ЦК партии, с 1921 г.— член Оргбюро (в 1920 г.— кандидат) ЦК партии, с 1924 г.— кандидат в члены Политбюро ЦК.— *248*, *283—293*.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — русский литературный критик и публицист, революционный демократ. Уже в первые годы жизни в Петербурге проявились демократические настроения Добролюбова, его резко враждебное отношение к самодержавию и крепостничеству. С 1857 г. он постоянный сотрудник журнала «Современник». Выступал против дворянско-буржуазного либерализма, пропагандировал идеи крестьянской революции, предсказывая появление нового героя — деятеля и борца — в русской жизни и литературе. Добролюбов развил эстетические взгляды Н. Г. Чернышевского и В. Г. Белинского. В статьях «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?» отстаивал реализм и народность литературы, ее высокое гражданственное значение. Свой метод художественного анализа Добролюбов называл «реальной критикой». Общественное служение было для него высшим критерием деятельности художника. Добролюбов был социалистом-утопистом и просветителем, но его утопизм соединялся со стремлением к практическим действиям.— *135—138*, *170*, *172*, *182*.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель. Участник кружка М. В. Петрашевского. В 1849 г. был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторгой (1850—1854 гг.) с последующей службой рядовым. В своих произведениях дал реалистическую картину социальных контрастов, обличал крепостничество. Все его творчество проникнуто тончайшим психологизмом и гуманизмом. Оказал глубокое влияние на русскую и мировую литературу.— *164, 207, 212—214.*

Дубровинский Иосиф Федорович (1877—1913) — участник революционного движения с 1893 г., большевик. Один из руководителей Московского «Рабочего союза», агент «Искры». Участник революции 1905—1907 гг. в Петербурге и Кронштадте, один из организаторов и руководителей московского вооруженного восстания. Член ЦК партии в 1903—1905 гг., в 1908—1910 гг. В 1908 г.— член редакции газеты «Пролетарий». Погиб в 1913 г. в Туруханской ссылке.— *274.*

Дюма Шарль (1883—?) — журналист и публицист, член Социалистической партии Франции, депутат парламента. В годы первой мировой войны — социал-шовинист.— *310.*

Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — российская императрица с 1762 г., немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. Пришла к власти, свергнув при помощи гвардии своего мужа Петра III. Оформила сословные привилегии дворян. При Екатерине II значительно окрепло русское абсолютистское государство, усилилось угнетение крестьян, произошла крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева (1773—1775 гг.). В 90-х гг. Екатерина II заигрывала с французскими просветителями и в то же время преследовала свободомыслие и активно участвовала в борьбе против Французской революции.— *124—125.*

Железняков Анатолий Григорьевич (1895—1919) — участник Октябрьской революции в Петрограде и Москве, гражданской войны на Украине. Матрос Балтийского флота. Анархист, примкнул к большевикам. В январе 1918 г.— начальник караула в Таврическом дворце, по приказу СНК участвовал в роспуске Учредительного собрания. Погиб в бою.— *322.*

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779—1869) — военный теоретик и историк, русский генерал от инфантерии. Обобщил опыт наполеоновских войн.— *50.*

Жорес Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, реформист. В 1904 г. основал газету «Юманите». Активно боролся против колониализма, милитаризма и войны. В июле 1914 г., в канун первой мировой войны, убит французским шовинистом.— *28, 196, 237, 257, 348, 352.*

Завадовский, граф.— *126.*

Закревская Елена Андреевна — мать Н. А. Некрасова.— *171.*

Закс Григорий Давыдович (1882—1937) — один из организаторов партии левых эсеров в 1917 г. Во время Октябрьской революции — член ВРК и заместитель председателя Петроградской городской думы. С декабря 1917 г.— заместитель наркома просвещения, заместитель председателя ВЧК. После левоэсеровского мятежа в июле 1918 г. и раскола партии левых эсеров — один из организаторов партии «народников-коммунистов». В 1918 г. вступил в большевистскую партию. Участник гражданской войны, позднее — на военной и советской работе.— *278.*

Залкинд Иван Абрамович (1885—1928) — член партии с 1903 г. Участник революции 1905—1907 гг. С 1908 по 1917 г. находился в эмиграции. С конца ноября 1917 г. по июль 1918 г. работал в Наркомате иностранных дел РСФСР, затем — на партийной, советской и дипломатической работе.— *87*.

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — деятель российского революционного движения. С 1868 г.— народница, член организаций «Земля и воля», «Черный передел». В 1878 г. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, была оправдана судом присяжных. В 1883 г. один из организаторов группы «Освобождение труда». С 1900 г. член редакций «Искры» и «Зари». С 1903 г.— меньшевик. Октябрьскую революцию не приняла.— *11—17*, *20—21*, *23—33*, *37*, *254*, *258*, *343*, *368*.

Захарьина Наталья Александровна (1817—1852) — жена А. И. Герцена.— *156*.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — советский партийный и государственный деятель. Член компартии с 1901 г. Участник революции 1905—1907 гг. Делегат IV и V съездов РСДРП. С 1908 по 1917 г. находился в эмиграции. Участник конгрессов и конференций II Интернационала. В апреле 1917 г. вместе с В. И. Лениным вернулся в Россию, входил в состав Петроградского Совета. В июне 1917 г. избран в ЦИК от большевиков. В октябре 1917 г. выступал против вооруженного восстания, в ноябре — за создание коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. С декабря 1917 г. по 1925 г.— председатель Петроградского Совета. В 1919—1926 гг.— председатель Исполкома Коминтерна.

В 1912—1927 гг.— член ЦК партии, в 1921—1926 гг.— член Политбюро ЦК (в 1919—1921 гг.— кандидат). Член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1927 и 1932 гг. исключался из партии по обвинению во фракционной деятельности, был восстановлен в ее рядах. Дважды осужден: сначала по делу так называемого «Московского центра» (январь 1935 г.), затем по так называемому делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (август 1936 г.). Расстрелян. В июне 1988 г. пленум Верховного суда СССР приговор по делу Г. Е. Зиновьева отменил, признав все обвинения, выдвигавшиеся против него, необоснованными.— *42*, *61*, *272*, *275*, *279*, *280—282*, *294—299*, *321*, *359*.

Зомбарт Вернер (1863—1941) — немецкий экономист, историк и социолог, философ-неокантианец. Вначале находился под влиянием идей К. Маркса, в дальнейшем выступал с критикой марксизма. Развитие капитализма связывал с раскрытием «духа капитализма» (стремление к наживе, деньгам), якобы свойственного человеку. Зомбарт один из авторов реформистской теории «организованного капитализма».— *257*.

Зюдекум Альберт (1871—1944) — один из оппортунистических лидеров германской социал-демократии, ревизионист. В 1900—1918 гг.— депутат рейхстага. В годы первой мировой войны — социал-шовинист. В ноябре 1918 г.— марте 1920 г.— министр финансов Пруссии. В. И. Ленин в ряде своих работ резко выступал против проводимой Зюдекумом политики. Слово «Зюдекум» приобрело нарицательное значение, характеризуя тип крайнего оппортунизма и социал-шовинизма.— *310*.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург.— *54*.

Иванов-Разумник (наст. фам. и имя — *Иванов Разумник Васильевич*) (1878—1946) — русский литературовед и социолог. В работах по истории русской общественной мысли, в книгах о В. Г. Белинском и А. И. Герцене с позиций субъек-

тивного идеализма изложил историю русской литературы XIX в., рассматривая ее как историю русской интеллигенции — «внесословной», «внеклассовой» группы, борющейся с мещанством. История русской общественной мысли для него — это история героических личностей. После Октября 1917 г. примкнул к левым эсерам. В 1941 г. оказался на территории, оккупированной гитлеровскими войсками, затем жил в Германии, где и умер.— *146*.

Игнатов Ефим Никитович (1890—1937) — член партии с 1912 г. В 1917 г.— член исполкома и президиума Моссовета. В октябре 1917 г.— член Московского ВРК, затем — член Московского комитета партии. В период профсоюзной дискуссии 1920—1921 гг. возглавил группу московских работников, т. н. «игнатовцев», примкнувшую к «рабочей оппозиции». Делегат X съезда РКП(б). После 1921 г. отошел от оппозиции, работал в Витебском губкоме партии, был председателем Витебского губисполкома. С 1929 г.— директор Высших курсов советского строительства при ВЦИК. В 1938 г. расстрелян; реабилитирован посмертно.— *328*.

Извольский Александр Петрович (1856—1919) — русский дипломат. В 1906—1910 гг.— министр иностранных дел России, с 1910 г. по май 1917 г.— посол в Париже. После Октябрьской революции остался во Франции, поддерживал иностранную военную интервенцию против Советской России.— *238*.

Изгоев А. (*Ланде Александр Соломонович*) (1872—?) — буржуазный публицист, один из идеологов партии кадетов. Первоначально — «легальный марксист», затем — социал-демократ, в 1905 г. вошел в партию кадетов. В 1922 г. за контрреволюционную публицистическую деятельность был выслан за границу.— *237*.

Иннокентий — см. *Дубровинский И. Ф.*

Иодко —социалист.— *260*.

Иоффе Адольф Абрамович (1883—1927) — советский государственный, партийный деятель и дипломат. Член партии с 1917 г. В революционном движении с 90-х гг. Участник Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. в Петрограде, член ВРК. В 1918 г.— председатель, член советской делегации, консультант на переговорах о Брестском мире, полпред в Берлине. В 1922—1924 гг.— полпред в Китае, в 1924—1925 гг.— в Австрии. С 1925 г.— заместитель председателя Главного концессионного комитета СССР. В 1917—1919 гг.— кандидат в члены ЦК партии. В 1925—1927 гг. участник «новой оппозиции». Член ВЦИК, ЦИК СССР. Покончил жизнь самоубийством.— *57*, *278*, *328*, *358*.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский историк, либеральный общественный деятель, публицист. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., автор одного из первых проектов отмены крепостного права. Сторонник умеренных буржуазных преобразований при сохранении неограниченной монархии и помещичьего землевладения.— *134*.

Казаков (*Свиягин*) — см. *Попов А. В.*

Калафати Дмитрий Павлович (*Махов*) (1871—1940) — участник социал-демократического движения с 1891 г. Делегат II съезда партии от Николаевского комитета РСДРП. После съезда — меньшевик. С 1913 г.— отошел от политической деятельности.— *25*.

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — советский государственный, партийный деятель. Член компартии с 1898 г. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Агент «Искры». Участник революции 1905—

1907 гг. В 1912 г.— член Русского бюро ЦК РСДРП. Один из организаторов «Правды». Участник Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в Петрограде. С 1919 г.— председатель ВЦИК, с 1922 г.— председатель ЦИК СССР, с 1938 г.— председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК партии с 1919 г., член Политбюро ЦК с 1926 г. (кандидат с 1919 г.).— *62, 278*.

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — советский партийный, государственный деятель. Член партии с 1901 г. Входил в редакции газет «Пролетарий» и «Правда». Участник революции 1905—1907 гг. Делегат III и V съездов РСДРП. После Февральской революции 1917 г.— один из редакторов «Правды», член Исполкома Петроградского Совета и ВЦИК, делегат VII (Апрельской) конференции и VI съезда партии. В октябре 1917 г. высказывался против вооруженного восстания, а в ноябре — за создание коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. В ноябре 1917 г. избран председателем ВЦИК. С 1918 по 1924 г.— председатель Московского Совета, с 1922 по 1926 г.— заместитель и первый заместитель Председателя Совнаркома РСФСР, СССР, заместитель председателя и председатель Совета Труда и Обороны (СТО). В 1923—1926 гг.— директор Института В. И. Ленина; с января 1926 г.— нарком торговли; в 1926—1927 гг.— полпред СССР в Италии; с 1929 г.— председатель Главконцескома. В 1933—1934 гг.— заведующий издательством «Академия», возглавлял Институт мировой литературы им. Горького.

Член ЦК партии в 1917—1927 гг., член Политбюро ЦК в 1919—1926 гг. (в 1926 г.— кандидат). Член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1927 и 1932 гг. исключался из партии по обвинению во фракционной деятельности, был восстановлен в ее рядах. В 1934 г. вновь исключен из партии и осужден по делу так называемого «Московского центра». Был еще дважды осужден по сфабрикованным делам: в июле 1935 г. по так называемому «Кремлевскому делу» и в августе 1936 г. по делу о так называемом «Антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». Расстрелян. Решением пленума Верховного суда СССР в июне 1988 г. Л. Б. Каменев реабилитирован, все обвинения против него признаны необоснованными.— *56, 59—60, 85—86, 96, 299—301, 345*.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, иностранный почетный член Петербугской АН.— *239—240, 262*.

Каплан Фанни Ефимовна (1890—1918) — состояла в партии правых эсеров, до 1906 г.— анархистка. Была приговорена к вечной каторге. После Февральской революции 1917 г. была освобождена. 30 августа 1918 г. совершила покушение на В. И. Ленина. 3 сентября 1918 г. расстреляна.— *283*.

Карахан (Караханян) Лев Михайлович (1889—1937) — советский государственный деятель. В революционном движении с 1904 г. Член компартии с 1917 г. После Октябрьской революции — секретарь Петросовета, член ВРК. Был секретарем и членом советской делегации в Брест-Литовске. С 1918 г. на дипломатической работе. Необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.— *57*.

Карелин Владимир Александрович (1891—1938) — один из организаторов партии левых эсеров и член ее ЦК. В декабре 1917— марте 1918 г.— нарком государственных имуществ РСФСР, член советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. Один из руководителей левоэсеровского мятежа в июле 1918 г. В 1919 г. эмигрировал.— *76*.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ. Выдвинул идеалистическую концепцию «культа героев», которые якобы являются единственными творцами истории.— *198*.

Карьер.— *40*.

Каспшак Марцин (1860—1905) — деятель польского рабочего движения. В 1888 г.— один из организаторов и руководителей партии «Пролетариат» 2-й. С 1904 г.— член СДКПиЛ. В 1904 г. при нападении жандармов на подпольную типографию оказал вооруженное сопротивление, был схвачен и казнен по приговору царского военного суда.— *286*.

Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — крупный помещик, профессор Харьковского, а затем Московского университета. С 1910 по 1914 г.— министр народного просвещения, преследовал прогрессивную профессуру и революционное студенчество.— *238*, *240*, *242*.

Каутский Карл (1854—1938) — крупный теоретик-марксист, один из лидеров германской социал-демократии и II Интернационала, центрист. В годы первой мировой войны выдвинул теорию ультраимпериализма, не видя, по существу, неизбежности пролетарской революции, выступал против диктатуры пролетариата. Октябрьскую революцию 1917 г. не принял.— *10—12*, *32*, *196*, *249*, *267—269*, *272*, *311*.

Каховский Петр Григорьевич (1797—1826) — декабрист. Член Северного общества. Участник восстания 14 декабря 1825 г. Смертельно ранил М. А. Милорадовича — военного губернатора Петербурга. Казнен.— *319*.

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — русский политический деятель. Адвокат. В 1912—1917 гг.— лидер фракции трудовиков в IV Государственной думе. В годы первой мировой войны — социал-шовинист. С марта 1917 г.— эсер. В 1917 г. во Временном правительстве министр юстиции (март — май), военный и морской министр (май — сентябрь); с 8(21) июля — министр-председатель (премьер), с 30 августа (12 сентября) — верховный главнокомандующий. После Октябрьского вооруженного восстания вместе с генералом П. Н. Красновым возглавил антисоветский мятеж. В 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. жил в США.— *66*, *85—86*, *306*, *314*, *338*, *353*, *366—367*.

Клаузевиц Карл фон (1780—1831) — немецкий военный теоретик и историк, генерал-майор прусской армии.— *50*, *353*.

Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический деятель, в 80—90-х гг.— лидер радикалов. Неоднократно был министром, а в 1906—1909 и 1917—1920 гг.— премьер-министром Франции. Один из организаторов антисоветской интервенции.— *237*.

Клеопатра (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта с 51 до н. э., из династии Птолемеев, с 37 до н. э.— жена Марка Антония. Образ Клеопатры, умной и образованной женщины, получил отражение в литературе (У. Шекспир, Б. Шоу) и искусстве (Дж. Тьеполо, П. Рубенс и др.).— *147*.

Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943) — российский государственный деятель. В 1904—1914 гг. (с перерывом в 1905—1906 гг.) — министр финансов, в 1911—1914 гг.— председатель Совета Министров. Крупный банковский деятель. После Октябрьской революции эмигрировал.— *242*.

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — советский партийный деятель, дипломат, публицист. Член партии с 1915 г. Участница революции 1905—1907 гг. С 1908 по 1917 г.— в эмиграции. С марта 1917 г.— член Исполкома Петроградского Совета; делегат VII (Апрельской) конференции РСДРП(б), I съезда Советов. Участница Октябрьской революции (в Петрограде), член ЦК партии. В 1917—1918 гг.— нарком государственного призрения. С 1920 г.— заве-

дующая женотделом ЦК. В 1918 г. примыкала к «левым коммунистам», в 1920—1922 гг.— к «рабочей оппозиции». С 1923 г.— полпред и торгпред в Норвегии, в 1926 г.— в Мексике, с 1927 г.— полпред в Норвегии, в 1930—1945 гг.— посланник, затем посол СССР в Швеции.— *266*.

Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — один из главных организаторов контрреволюции в период гражданской войны, адмирал. В 1916—1917 гг.— командующий Черноморским флотом. В 1918—1920 гг.— «верховный правитель российского государства». Расстрелян по постановлению Иркутского ВРК.— *362*.

Коноплева Л. В.— сельская учительница. С 1917 г. состояла в партии правых эсеров, член бюро военной комиссии этой партии. Принимала участие в покушении на Володарского, Урицкого и Ленина. В 1921 г. выступила в печати с разоблачением террористической деятельности правых эсеров.— *283*.

Консидеран Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист. Выступал с идеей «примирения классов» путем создания ассоциации производителей.— *170*.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель, публицист. В 1879 г. арестован по подозрению в связях с революционными деятелями и сослан в Вятку, затем в Пермь. За отказ от присяги Александру III в 1881 г. сослан в Якутию на три года. Вернувшись в Петербург в 1896 г., Короленко становится редактором народнического журнала «Русское богатство». С 1900 г. жил в Полтаве. Общественно-публицистические выступления Короленко были направлены против великодержавного шовинизма, антисемитизма, неправосудия, полицейского произвола, административного насилия. Называя себя беспартийным социалистом, оценивая гражданскую войну с точки зрения нравственности и гуманизма, Короленко выступал против диктатуры пролетариата, против красного и белого террора.— *189*, *203—217*.

Красин Леонид Борисович (1870—1926) — советский партийный и государственный деятель. Участник социал-демократического движения с 90-х гг. Член Компартии с 1890 г. Агент «Искры». В 1903—1907 гг. член ЦК РСДРП. Участник революции 1905—1907 гг. Руководитель боевой технической группы при ЦК партии. В 1908 г. эмигрировал за границу, временно отошел от революционной деятельности и работал инженером. После Октябрьской революции возвратился в Россию и находился на хозяйственной и дипломатической работе: в 1918 г.— член Президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности, в 1919 г.— нарком путей сообщения, член РВС Республики. С 1920 г.— нарком внешней торговли, одновременно в 1921—1923 гг.— полпред и торгпред в Великобритании, с 1924 г.— полпред во Франции. Член ЦК партии с 1924 г. Член ВЦИК и ЦИК СССР.— *266*, *301—302*.

Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал-лейтенант царской армии, участник корниловского (август 1917 г.) и Керенского — Краснова (октябрь 1917 г.) мятежей. В 1918 г.— атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. В 1919 г. эмигрировал в Германию. Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами, захвачен в плен и по приговору Верховного суда СССР казнен.— *89*, *367*.

Кремлев А.— матрос, участник гражданской войны.— *314*.

Крестовников Григорий Александрович (1855—1918) — русский капиталист. Председатель Московского купеческого банка и Московского биржевого комитета. В 1906 г. избран членом Государственного совета от торгово-промышленной буржуазии. Член ЦК партии октябристов.— *222*, *225*.

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959) — советский и государственный деятель. Академик АН СССР. Член партии с 1893 г. Один из организаторов Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», агент «Искры». В 1903—1904 гг.— член ЦК РСДРП. Участник трех российских революций. После 1917 г. находился на партийной, советской и научной работе. В 1920 г.— председатель комиссии ГОЭЛРО. С 1930 г.— руководитель энергетического института АН СССР. Член ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР.— *9—10, 20, 38.*

Кристи Михаил Петрович и Надежда Самойловна — близкие друзья Л. Мартова и семьи Луначарских. М. П. Кристи в 1917 г. примыкал к меньшевикам-интернационалистам.— *275.*

Кромвель Оливер (1599—1658) — деятель Английской буржуазной революции XVII в. В 1653 г. установил режим единоличной военной диктатуры — протекторат.— *44—45.*

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — советский государственный, партийный деятель, почетный член АН СССР. Жена В. И. Ленина. Член партии с 1898 г. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», секретарь редакций газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Социал-демократ». Участница революции 1905—1907 гг. и Октябрьской революции. После 1917 г. работала в Наркомате просвещения. Участница всех партийных съездов (кроме I и V), с 1924 г.— член ЦКК, с 1927 г.— член ЦК ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК СССР всех созывов, депутат и член Президиума Верховного Совета СССР 1-го созыва.— *9—11, 20—21, 23, 29, 31, 139.*

Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н. э.) — древнегреческий писатель и историк.— *40.*

Куинджи Архип Иванович (1841—1910) — русский живописец-пейзажист. Член Товарищества передвижных художественных выставок. В 1909 г. выступил с инициативой создания Общества художников, которому позже было присвоено имя А. И. Куинджи.— *213.*

Кун Бела (1886—1939) — деятель венгерского и международного рабочего движения. С 1902 г.— член Социал-демократической партии Венгрии. В 1916 г. попал в Россию как военнопленный. В 1916 г. вступил в РСДРП(б). В 1918 г. организатор и председатель венгерской группы РКП(б), председатель федерации иностранных групп РКП(б). Участвовал в обороне Петрограда, в подавлении левоэсеровского мятежа в Москве.

В ноябре 1918 г.— один из основателей и руководителей КП Венгрии; в 1919 г.— нарком иностранных дел и нарком военных дел Венгерской советской республики. После падения Венгерской советской республики снова в России. В 1920 г.— член Реввоенсовета Южного фронта, председатель Крымского ревкома. В 1921—1923 гг.— на партийной работе на Урале. Член ВЦИК; с 1921 г.— член ИККИ. Одновременно руководил работой нелегальной КП Венгрии. В 1937 г. необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.— *326—327.*

Куно Вильгельм (1876—1933) — германский капиталист и политический деятель. В ноябре 1922 г. сформировал правительство. Бурный подъем массового революционного движения вызвал в августе 1923 г. падение правительства Куно. В конце 20-х — начале 30-х гг.— активный участник подготовки передачи власти фашистам.— *316.*

Кутлер Николай Николаевич (1859—1924) — русский политический деятель, юрист. В 1906—1917 гг.— один из лидеров кадетов, директор департамента окладных сборов Министерства финансов, министр земледелия и землеустройства.

Автор либерального проекта по земельному вопросу. После Октябрьской революции на хозяйственной работе.— *237.*

Кюльман Рихард (1873—1948) — в августе 1917 г.— июле 1918 г. статс-секретарь иностранных дел Германии, возглавлял германскую делегацию на мирных переговорах в Брест-Литовске.— *72—73, 120.*

Ларин Ю. (Лурье Михаил Зальманович) (1882—1932) — советский государственный деятель, экономист. В социал-демократическом движении с 1900 г. После II съезда партии — меньшевик. Член партии большевиков с 1917 г. После 1917 г.— член Президиума ВСНХ, член ВЦИК и ЦИК СССР.— *61.*

Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист, родоначальник одной из разновидностей оппортунизма — лассальянства.— *305, 356.*

Лауфенберг Генрих (Эрлер Карл) (1872—1932) — немецкий левый социал-демократ, публицист. Во время первой мировой войны — интернационалист. После Ноябрьской революции 1918 г. вступил в Коммунистическую партию Германии, где возглавил «левую оппозицию», проповедовавшую анархо-синдикалистские взгляды. После того, как в октябре 1919 г. «левая оппозиция» была исключена из КПГ, принял участие в основании Коммунистической рабочей партии Германии. В конце 1920 г. был исключен из КРПГ. Позднее отошел от рабочего движения, сотрудничал в анархистских журналах, выступал по вопросам культуры.— *317.*

Лафарг Поль (1842—1911) — один из основателей французской Рабочей партии, член I Интернационала.— *32, 268—269.*

Левин Ш. X. (1867—?) — кадет, депутат I Государственной думы, сотрудничал в ряде буржуазных печатных органов. В 1918 г. эмигрировал за границу.— *237.*

Ледебур Георг (1850—1947) — один из основателей и лидеров Независимой социал-демократической партии Германии в 1917 г. (НСДПГ), участник Ноябрьской революции 1918 г. В 30-х гг. выступал за единый фронт социал-демократов и коммунистов против фашизма.— *196.*

Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807—1874)— французский мелкобуржуазный демократ; после Февральской революции 1848 г. министр внутренних дел Временного правительства. Участник подавления июньского восстания 1848 г. В 1871 г. депутат Национального собрания. Выступал против Парижской коммуны 1871 г.— *162—163, 165.*

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924).— *8—66, 122, 127, 135, 139, 161, 182, 184—191, 195, 211, 216, 249—252, 266—268, 270—272, 274—276, 287, 291—292, 295—297, 299—301, 308, 312, 319, 321, 323—330, 332—336, 340—342, 344—352, 354, 360, 367—369.*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — русский поэт. В 1837 г. за стихотворение «Смерть поэта» (о гибели А. С. Пушкина) был сослан в армию на Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске.— *175.*

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писатель. В 60-х — начале 70-х гг. опубликовал рассказы из народного быта и антинигилистические романы «Некуда» и «На ножах». В 70—80-х гг. вышли его произведения о трагических судьбах талантливых людей из народа («Очарованный странник», «Левша»,

«Тупейный художник» и др.). Во многих произведениях Н. С. Лескова присутствуют элементы социальной сатиры.— *213*.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения, основоположник немецкой классической литературы.— *352*.

Либер (Гольдман) Михаил Исаакович (1880—1937) — один из лидеров Бунда и меньшевизма. В социал-демократическом движении с 1898 г. В 1907—1912 гг. являлся членом ЦК РСДРП. После Февральской революции 1917 г.— член Исполкома Петросовета, член Президиума ЦИК 1-го созыва. После Октябрьской революции отошел от политической деятельности, находился на хозяйственной работе. В 1937 г. был необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.— *258*.

Либкнехт Карл (1871—1919) — деятель германского и международного рабочего движения. С 1900 г.— член Социал-демократической партии Германии, в 1912—1916 гг.— депутат германского рейхстага. Один из основателей Коммунистической партии Германии (1918 г.). Зверски убит контрреволюционерами в январе 1919 г.— *56*, *61*, *269*, *312*, *328*, *358*.

Линдфорс — друзья А. В. Луначарского.— *260*.

Литвин-Седой Зиновий Яковлевич (1879—1947) — деятель российского революционного движения. Член партии с 1897 г. В 1905 г.— один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в Москве, начальник штаба боевых дружин на Пресне. Участник восстания моряков в Свеаборге в 1906 г. С 1906 по 1917 г.— в эмиграции. Участник Октябрьской революции и гражданской войны. С 1919 г.— в системе Наркомата путей сообщения. В 1921—1939 гг.— директор Московского хлопчатобумажного техникума. В 1921—1922 гг.— член ЦКК партии. С 1939 г.— персональный пенсионер.— *267*.

Литкенс А. А.— отец Е. А. Литкенса.— *301—302*.

Литкенс Евграф Александрович (1888—1922) — деятель российского революционного движения, член партии с 1904 г. После Февральской революции — член исполкома Московского губернского Совета. В 1918 г.— заведующий отделом народного образования Московского губернского Совета. С 1919 г.— в Красной Армии. В 1920 г.— зам. заведующего Главполитпросветом, затем заместитель наркома просвещения РСФСР.— *57*, *301—304*.

Ломов (Оппоков) Георгий Ипполитович (1888—1938) — советский партийный, государственный деятель. Член партии с 1903 г. Участник Октябрьской революции, член Московского ВРК, товарищ председателя Московского Совета. Нарком юстиции 1-го СНК. В 1918 г.— «левый коммунист». В 1918—1931 гг.— на партийной и хозяйственной работе: член президиума и заместитель председателя ВСНХ, заместитель председателя Госплана СССР, член бюро Комиссии Советского Контроля при СНК СССР. Член ЦК партии в 1927—1934 гг., кандидат в члены в 1917—1919, 1925—1927 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *354*.

Лонге Жан (1876—1938) — деятель Французской социалистической партии и II Интернационала. Во время первой мировой войны — руководитель центристско-пацифистского меньшинства французской Социалистической партии. Осуждал иностранную военную интервенцию против Советской России. В 30-е гг.— участник международных антифашистских организаций, сторонник сближения с коммунистами.— *270*.

Лопухин Алексей Александрович (1864—1928) — директор департамента полиции в 1902—1905 гг. Разоблачил перед ЦК партии эсеров провокатора Азефа, за что в январе 1909 г. был арестован и осужден на поселение в Сибирь. В 1911 г. был помилован и восстановлен в правах. С 1913 г.— вице-директор торгового банка в Москве.— *232.*

Луначарская Анна Александровна (1883—1959) — жена А. В. Луначарского. Вернувшись в 1917 г. из эмиграции, работала в управлении цирков, редактор журнала «Цирк», в 20-е гг. руководила детскими колониями в Москве.— *270.*

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — советский государственный, партийный деятель, писатель, критик, академик АН СССР. Член партии с 1895 г. В 1895—1898 гг. изучал курс философии и естествознания в Цюрихском университете. В 1897 г., вернувшись в Россию, вел революционную работу, состоял членом МК РСДРП. В 1898 г. арестован и по 1904 г. отбывал ссылку сначала в Калуге, затем в Вологде и Тотьме. После II съезда РСДРП — большевик. В 1904 г.— член редакций большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». Вел пропагандистскую работу в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Бельгии. В 1907 г. участвовал в работе Штутгартского, в 1910 г.— Копенгагенского конгрессов II Интернационала. В 1908—1910 гг.— сторонник богостроительства, входил в группу «Вперед». В годы первой мировой войны — интернационалист. В мае 1917 г. вернулся в Россию. В Октябрьские дни 1917 г. выполнял ответственные поручения Петроградского ВРК. С октября 1917 по 1929 г.— нарком просвещения. С 1929 г.— председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. С 1927 г.— заместитель главы советской делегации на конференции по разоружению при Лиге Наций. В 1933 г. назначен полпредом СССР в Испании, но вскоре тяжело заболел и умер. А. В. Луначарский оставил большое творческое наследие. Ему принадлежат труды по истории революции, философской мысли, проблемам культуры, литературно-критические работы, воспоминания, пьесы.— *57, 367—370.*

Лутовинов Юрий Хрисанфович (1887—1924) — деятель российского революционного движения. Член компартии с 1904 г. Партийную работу вел в Луганске, Александровске, Петербурге и других городах. Активно занимался профсоюзным движением. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Участник Февральской и Октябрьской революций, гражданской войны на Дону и Украине, был членом подпольного ЦК КП(б) Украины. Затем находился на советской и профсоюзной работе: с 1920 г.— член ЦК союза металлистов, член Президиума ВЦИК и ВЦСПС, заместитель торгпреда в Берлине. В период профсоюзной дискуссии 1920—1921 гг. был в рядах «рабочей оппозиции». В мае 1924 г. покончил жизнь самоубийством.— *304—306.*

Люксембург Роза (1871—1919) — деятель германского, польского и международного рабочего движения, одна из руководителей и теоретиков польской социал-демократии и левого крыла II Интернационала. Одна из основателей Коммунистической партии Германии в 1918 г. Зверски убита контрреволюционерами.— *46, 50, 61, 252, 260—262, 284, 328.*

Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства.— *111, 226.*

Лядов (Мандельштам) Мартын Николаевич (1872—1947) — деятель российского революционного движения. Член компартии с 1893 г. Один из организаторов Московского «Рабочего союза». Участник революции 1905—1907 гг. С 1909 г.— отзовист, меньшевик. Один из организаторов партийных школ на Капри и в Болонье. Во время Февральской революции — товарищ председателя Бакинского Совета рабочих депутатов. В 1920 г. восстановлен в рядах РКП(б), находился на научно-преподавательской работе. В 1927—1930 гг.— член ЦРК ВКП(б).— *270.*

Мабли Габриель Бонно де (1709—1785) — французский политический мыслитель, утопический коммунист. Произведения Мабли, пропагандирующие идеи народного суверенитета, способствовали идеологической подготовке Великой французской революции. Одно из его произведений было переведено на русский язык А. Н. Радищевым («Размышления о греческой истории, или О причинах благоденствия и несчастия греков» (1773 г.).— *124*.

Мадзини Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер, буржуазный демократ, один из вождей итальянского национально-освободительного движения. В 1831 г. основал в Марселе тайную патриотическую организацию «Молодая Италия», ставившую целью создание независимой итальянской республики. Призывая к национальному освобождению Италии и ее объединению революционно-демократическим путем, Мадзини считал участие в освободительной борьбе религиозным долгом каждого итальянца.— *162—165*.

Макдональд Джеймс Рамсей (1866—1937) — один из основателей и лидеров Лейбористской партии Великобритании. В 1924 г. возглавляемое им правительство установило дипломатические отношения с СССР.— *109*.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — один из лидеров кадетов, адвокат, депутат II—IV Государственных дум. С июля 1917 г.— посол Временного правительства в Париже, затем эмигрировал.— *59*, *237*, *240—242*.

Малиновская Екатерина Константиновна (1875—1945) — участница социал-демократического движения с начала XX в. Член партии с 1905 г. В октябре 1917 г.— комиссар московских театров, в 1918 г.— управляющая московскими театрами. В 1919—1920 гг.— член дирекции, в 1920—1924 и 1930—1935 гг.— директор Большого театра, с 1935 г.— на пенсии.— *46*.

Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959) — советский партийный и государственный деятель. Член партии с 1903 г. Участник революции 1905—1907 гг.; один из организаторов Кронштадтского и Свеаборгского восстаний в 1906 г. Участник Октябрьской революции, комиссар Петроградского ВРК, после 1917 г.— на ответственной партийной и советской работе: член ЦК партии в 1923—1952 гг., с 1924 г.— член Президиума, с 1928 г.— секретарь Исполкома Коминтерна. Член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР.— *57*, *347*.

Марат Жан Поль (1743—1793) — деятель Великой французской революции, ученый, публицист. С 1789 г. издавал газету «Друг народа». В 1792 г. избран в Конвент. Вместе с М. Робеспьером руководил подготовкой народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г., отнявшего власть у жирондистов. Убит Ш. Корде.— *280*.

Маркин Николай Григорьевич (1893—1918) — участник Октябрьской революции и гражданской войны. Член компартии с 1916 г. Революционную работу вел среди матросов Балтийского флота. В 1917 г.— член Петроградского Совета, делегат II съезда Советов от Балтийского флота, член ВЦИК. В 1917—1918 гг.— секретарь Наркоминдела. Участвовал в публикации секретных документов царского и Временного правительств. В 1918 г.— комиссар особых поручений при коллегии Наркомвоенмора. Участвовал в организации Волжской военной флотилии, был комиссаром и помощником командующего флотилией. Погиб в бою.— *87*, *306—308*.

Маркс Карл (1818—1883).— *109—112*, *115*, *118—119*, *133*, *135*, *137—138*, *140*, *144*, *147*, *149—151*, *158*, *162*, *166—167*, *170*, *190*, *193*, *196*, *198*, *248*, *257*, *269*, *272*, *297*, *308*, *367*.

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873—1923) — участник революционного движения с первой половины 90-х гг. В 1895 г. участвовал в организации

Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. арестован и сослан на 3 года в Туруханский край. В 1900 г. принимал участие в подготовке издания «Искры», член ее редакции. С 1903 г.— один из лидеров меньшевистского крыла РСДРП, ее центральных учреждений и редактор ее изданий. С 1917 г.— руководитель левого крыла меньшевистской партии. После Октябрьской революции член ВЦИК, выступал против Советской власти. Один из организаторов $2^1/_2$ Интернационала. В 1920 г. эмигрировал в Германию, где издавал «Социалистический вестник».— *11—14, 16—23, 25—29, 32, 33, 36—37, 43—44, 50, 57, 269—276, 344, 346—347, 349, 358, 368.*

Мартынов (Пиккер) Александр Самойлович (1865—1935) — участник российского революционного движения; с 1884 г. народник, с 90-х гг. социал-демократ. С 1900 г.— один из идеологов экономизма, с 1903 г.— меньшевизма. В 1907—1912 гг. член ЦК РСДРП. С 1923 г.— член РКП(б), на журналистской работе.— *258.*

Мархлевский Юлиан Юзефович (1866—1925) — деятель российского и международного революционного движения. В 1889 г.— один из организаторов «Союза польских рабочих», в 1893 г.— Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), с 1906 г.— член ее Главного правления. Участник революции 1905—1907 гг. (в Варшаве). В 1907 г.— кандидат в члены ЦК РСДРП. Участник создания группы «Спартак» в Германии, в 1919 г.— член ЦК КПГ; член Исполнительного бюро КП Польши в России; в 1920 г.— член Польского бюро при ЦК РКП(б), председатель Временного революционного комитета Польши. В 1921—1922 гг.— на дипломатической работе. С 1922 г.— ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. В 1923 г.— председатель ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР).— *284, 328.*

Массне Жюль (1842—1912) — французский композитор.— *22.*

Махайский Ян Вацлавович (1866—1926) — участник революционного движения с 90-х гг. XIX в., идеолог анархического течения — махаевщины. В 1892 г. был арестован, приговорен к трехлетнему тюремному заключению и ссылке. В Сибири написал I и II части книги «Умственный рабочий», которые были отпечатаны там на гектографе. В 1903 г. бежал из ссылки за границу. В 1904—1905 гг. в Женеве опубликовал под псевдонимом А. Вольский полностью книгу «Умственный рабочий». Во время первой русской революции вернулся в Россию, где пытался создать организации своих последователей и выпустил единственный номер газеты «Рабочий заговор». В 1911 г. был вновь арестован, а затем эмигрировал за границу. В 1917 г. вернулся в Россию и в 1918 г. выпустил единственный номер газеты «Рабочая революция». В дальнейшем отошел от политической деятельности и работал журналистом в техническом журнале.— *11.*

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) — русский советский поэт.— *279.*

Меньщиков Л. П. (1870—?) — участник народовольческих кружков в 1885—1887 гг. В феврале 1887 г. был арестован и дал откровенные показания. Был принят на службу в охранное отделение, где проработал 20 лет. В 1909 г. уехал за границу и разоблачил ряд провокаторов и секретных агентов царской полиции.— *232.*

Мергейм Альфонс (1881—1925) — деятель французского профдвижения. С 1905 г.— один из лидеров федерации металлистов и Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Участник Циммервальдской конференции (1915 г.). Во время первой мировой войны — в руководстве левого крыла синдикалистского движения. Впоследствии перешел на позиции социал-шовинизма. В 1918 г. окончательно порвал с лево-синдикалистскими кругами.— *309.*

Меринг Франц (1846—1919) — один из руководителей левого революционного крыла германской социал-демократии и основателей КП Германии, философ, историк, литературный критик. Один из организаторов «Союза Спартака».— *49, 328, 352.*

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Высокого и Позднего Возрождения.— *200, 202.*

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, идеолог русской либеральной буржуазии, историк, публицист. С 1902 г. сотрудничал в издававшемся за границей журнале «Освобождение». Один из организаторов партии кадетов в октябре 1905 г., с 1907 г.— председатель ее ЦК, редактор центрального органа — газеты «Речь». Депутат III и IV Государственных дум. В 1917 г.— министр иностранных дел Временного правительства. После Октябрьской революции — один из идейных вождей белого движения, активный политический деятель в эмиграции.— *59, 235—239.*

Милютин Владимир Павлович (1884—1937) — советский государственный и партийный деятель. Член компартии с 1910 г. В социал-демократическом движении с 1903 г. В 1917 г.— нарком земледелия, в 1918—1921 гг.— заместитель председателя ВСНХ, затем находился на другой советской и хозяйственной работе. Член ЦК в 1917—1918 гг., кандидат в члены ЦК в 1920—1922 гг., член ЦКК в 1924—1934 гг., член ВЦИК, ЦИК СССР.— *85.*

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791) — граф, деятель Великой французской революции.— *111, 237.*

Мирбах Вильгельм (1871—1918) — германский дипломат, граф. С апреля 1918 г.— посол в Москве при правительстве РСФСР. Убит левыми эсерами, что послужило сигналом к левоэсеровскому мятежу.— *95—96, 327.*

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский социолог, публицист, литературный критик. Один из редакторов журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство». В социологии являлся сторонником «субъективного метода». В конце 1870-х гг. сблизился с «Народной волей». В конце 90-х гг. с позиций крестьянского социализма выступал против марксизма.— *84, 229, 255—256.*

Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк романтического направления, идеолог мелкой буржуазии. Главные произведения: «История Франции», «История Французской революции».— *151—152, 164—165.*

Мокк Гастон.— 352.

Мольтке (Старший) Хельмут Карл (1800—1891) — граф, германский генерал-фельдмаршал, военный теоретик.— *50, 352.*

Моней.— 107.

Монтескьё Шарль Луи (1689—1755) — французский просветитель, правовед, философ. Выступал против абсолютизма. Анализировал различные формы государства, утверждал, что законодательство страны зависит от формы правления. Средством обеспечения законности считал принцип «разделения властей». Основные сочинения: «Персидские письма», «О духе законов».— *124.*

Моор (Орлов) Дмитрий Стахиевич (1883—1946) — советский график, заслуженный деятель искусств РСФСР. Один из родоначальников советского агитационного политического плаката, автор плаката «Ты записался добровольцем?» (1920 г.).— *356.*

Мор Томас (1478—1535) — английский государственный деятель и писатель; один из основоположников утопического социализма.— *319*.

Моргари Одино (1865—1929) — итальянский социалист, журналист. Один из создателей и деятелей Итальянской социалистической партии. Участвовал в Циммервальдской конференции (1915 г.), где занимал центристскую позицию. В 1919—1921 гг.— секретарь парламентской социалистической фракции.— *309*.

Мун Алоиз (1886—1943) — деятель чехословацкого рабочего движения. До 1914 г.— один из активных деятелей социал-демократического движения. В годы первой мировой войны попал в плен в России, участвовал в издании еженедельной газеты «Свобода», один из основателей чехословацкой коммунистической секции при РКП(б). После возвращения в Чехословакию в 1918 г. состоял в рядах марксистской левицы (левое крыло социал-демократической партии Чехословакии). В 1921—1929 гг.— член ЦК Коммунистической партии Чехословакии. За ликвидаторство исключен из КПЧ в мае 1929 г.— *326*.

Муравьев Михаил Артемьевич (1880—1918) — политический авантюрист, подполковник царской армии. После Октябрьской революции — левый эсер. В 1917 г. во время мятежа Керенского — Краснова — начальник обороны Петрограда. В 1918 г.— главнокомандующий войсками Восточного фронта, в июле 1918 г. изменил Советской власти и поднял мятеж в Симбирске, убит при аресте.— *89, 97, 332*.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, русский государственный деятель. В 1857—1861 гг.— министр государственных имуществ, противник проведения крестьянской реформы. В 1863—1865 гг.— генерал-губернатор Северо-Западного края; за жестокость при подавлении Польского восстания 1863—1864 гг. прозван «вешателем».— *284*.

Муралов Николай Иванович (1877—1937) — в социал-демократическом движении с начала XX в., член партии с 1903 г. Участник трех российских революций. В 1917 г.— член Московского ВРК и Революционного штаба, затем — командующий войсками Московского военного округа. Находился на различной военной, хозяйственной и научной работе. Необоснованно репрессирован: в 1937 г. по делу т. н. «Параллельного антисоветского троцкистского центра» был приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно.— *119*.

Мухаммед (Мохаммед; в европейской литературе часто *Магомет, Магомед)* (ок. 570—632) — основатель ислама, с 630—631 — глава первого мусульманского теократического государства (в Аравии); почитается как пророк.— *135*.

Мюллер — немецкий генерал.— *316*.

Мюнстер Фома.— *111*.

Мюнцер Томас (ок. 1490—1525) — немецкий революционер, вождь и идеолог крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне 1524—1526 гг. в Германии. В религиозной форме проповедовал идеи насильственного ниспровержения феодального строя, передачи власти народу и установления общества без эксплуатации и частной собственности.— *187, 319*.

Надеждин Л. (Зеленский Евгений Осипович) (1877—1905) — деятель революционного движения, с 1898 г.— социал-демократ (до этого был народником). В 1900 г. эмигрировал в Швейцарию, поддерживал «экономистов» и вместе с тем проповедовал террор как действенное средство «возбуждения масс». После II съезда РСДРП сотрудничал в меньшевистских изданиях.— *18*.

Натансон Марк Андреевич (1850 / 51 — 1919) — революционный народник, в революционном движении с 1869 г., один из основателей организации «Земля и воля», партии «Народное право». С начала 900-х гг.— эсер. Один из организаторов и лидеров партии левых эсеров, в 1918 г.— организатор партии «революционных коммунистов», член Президиума ВЦИК.— *80*.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877 / 78) — русский поэт. В 1847—1866 гг.— редактор-издатель журнала «Современник», а с 1868 г. редактор (совместно с М. Е. Салтыковым-Щедриным) журнала «Отечественные записки».

В поэзии Некрасова отразился революционно-демократический этап русского освободительного движения. Идейное общение с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым помогло окончательно сложиться убеждениям Н. А. Некрасова, создать произведения, насыщенные революционной мыслью. Изображая народную жизнь — повседневный быт городских низов, крестьянские будни, женскую долю,— он осмысливал ее с революционно-демократических позиций. Гражданственная, тесно связанная с песенным фольклором поэзия Н. А. Некрасова существенно повлияла на развитие русской литературы.— *139, 168—175, 178, 181*.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, один из основателей «философии жизни». Профессор Базельского университета. Реакционные тенденции учения Ницше использовали идеологи немецкого фашизма.— *367*.

Ногин Виктор Павлович (1878—1924) — советский государственный и партийный деятель. Участник революционного движения, член компартии с 1898 г. Агент «Искры». В 1907 г. избран в ЦК партии. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Участник трех российских революций. В 1917 г.— член ЦК РСДРП(б), один из руководителей Моссовета. После Октябрьской революции — нарком по делам торговли и промышленности. В ноябре 1917 г. отстаивал необходимость создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. С 1918 г. находился на советской и хозяйственной работе: заместитель наркома труда, член президиума Центротекстиля, председатель правления Всероссийского текстильного синдиката, член Туркомиссии ВЦИК. С 1921 г.— председатель ЦРК РКП(б), член ЦИК СССР.— *308—309*.

Норрис Фрэнк (1870—1902) — американский писатель, критик.— *319*.

Носке Густав (1868—1946) — германский правый социал-демократ. Во время Ноябрьской революции 1918 г.— член Совета народных уполномоченных. В феврале 1919 — марте 1920 г.— военный министр. Подавил всеобщую политическую забастовку берлинских рабочих в январе 1919 г. Один из главных организаторов белого террора в январе — марте 1919 г. и убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург.— *273*.

Овсянников.— *77*.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — русский революционер, поэт, публицист. Друг и соратник А. И. Герцена. В 1831 г.— один из организаторов революционного кружка в Московском университете. В 1834—1839 гг. находился в ссылке. В 1856 г. эмигрировал в Англию; в Лондоне был одним из руководителей Вольной русской типографии, инициатор и соредактор «Колокола». Участвовал в подготовке и создании революционного общества «Земля и воля» (1861—1862 гг.). Умер в Гринвиче близ Лондона, в 1966 г. прах перевезен в Москву на Новодевичье кладбище.— *143*.

Ольминский (Александров) Михаил Степанович (1863—1933) — деятель российского революционного движения, публицист, критик, историк литературы. Член партии с 1898 г. (с 1883 г. народоволец). Участник Октябрьской революции 1917 г. С 1918 г.— член редколлегии газеты «Правда». В 1920—1924 гг. возглавлял Истпарт, был председателем Общества старых большевиков, одним из руководителей Института В. И. Ленина. Специально занимался исследованием творчества Салтыкова-Щедрина.— *176.*

Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (1887—1938) — советский государственный, партийный деятель, экономист. Академик АН СССР. Член Коммунистической партии с 1907 г. После Февральской революции 1917 г.— член Московского областного бюро ЦК РСДРП(б), редакции большевистской газеты «Социал-демократ». В 1917—1918 гг.— председатель ВСНХ РСФСР, в 1921—1923 гг.— заместитель наркома земледелия. В 1918 г.— участник группы «левых коммунистов», в 1920—1921 гг.— один из лидеров группы «децистов». С 1926 г.— управляющий ЦСУ, с 1929 г.— зам. председателя ВСНХ. Кандидат в члены ЦК партии в 1921—1922 гг. и с 1925 г. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *354.*

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — русский драматург. Его драматургия имела решающее значение в становлении русского реалистического театра.— *239.*

Оуэн Роберт (1771—1858) — английский социалист-утопист. В 1817 г. выдвинул программу радикальной перестройки общества путем создания самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества», лишенных частной собственности, классов, эксплуатации, противоречий между умственным и физическим трудом и т. д. Основанные Оуэном опытные коммунистические колонии в США и Великобритании потерпели неудачу. Утопический социализм Оуэна оказал влияние на формирование социалистической мысли.— *170.*

Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии — прусские порядки, ограничил дворянские привилегии, проявлял самодурство. Напуганный Великой французской революцией и крестьянскими выступлениями в России, проводил политику крайней реакции. Принял участие в коалиционных войнах против Франции. Однако надежды на то, что завоевания Французской революции будут сведены на нет самим Наполеоном, привели к сближению с Францией. Убит заговорщиками-дворянами.— *126.*

Паннекук Антон (1873—1960) — нидерландский деятель рабочего движения, один из основателей газеты «Трибуна». С 1910 г. был тесно связан с германскими левыми социал-демократами. В годы первой мировой войны — интернационалист. В 1918—1921 гг.— член Компартии Нидерландов, принимал участие в работе Коминтерна. В начале 20-х гг.— один из лидеров ультралевой Компартии Германии. В 1921 г. вышел из компартии, вскоре отошел от политической деятельности.— *304, 305.*

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919) — русский общественный деятель. В 1862—1863 гг.— член «Земли и воли», с 1866 г. находился в ссылке. В 1877—1907 гг.— прогрессивный издатель научной литературы в Петербурге. Автор воспоминаний о 1860-х гг., Н. Г. Чернышевском, М. Е. Салтыкове-Щедрине.— *180.*

Папини Джованни (1881—1956) — итальянский писатель и журналист. Прошел путь от анархистского бунтарства к католицизму.— *201—202.*

Парвус (Гельфанд Александр Львович) (1869—1924) — участник российского и германского социал-демократического движения с конца 90-х гг. XIX в., примыкал

к левому крылу Социал-демократической партии Германии. После II съезда РСДРП — меньшевик. Проповедовал теорию перманентной революции. Во время первой мировой войны жил в Германии, стоял на социал-шовинистических позициях. С 1915 г. издавал журнал «Колокол». С 1918 г. от политической деятельности отошел.— *17*, *248—253*, *344*.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, русский генерал-фельдмаршал. Был близок к императору Николаю I. Руководил подавлением Польского восстания 1830—1831 гг. и Венгерской революции 1848—1849 гг.— *162*.

Пёльман Роберт (1852—1914) — немецкий историк античности.— *313*.

Перовская Софья Львовна (1853—1881) — революционная народница, участница «хождения в народ», кружка «чайковцев», член организации «Земля и воля», Исполкома «Народной воли», организатор и участница покушений на Александра II. Повешена в Петербурге 3 апреля 1881 г.— *83*.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, полковник, командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», основатель Южного общества декабристов. Республиканец. Автор «Русской правды». Арестован 13 декабря 1825 г. Казнен 13(25) июля 1826 г.— *169*.

Петр I Великий (1672—1725) — русский царь с 1682 г. (правил с 1689 г.), первый российский император (с 1721 г.). Провел реформы государственного управления. Проводил политику меркантилизма в области промышленности и торговли. Будучи крупнейшим идеологом абсолютизма, способствовал упрочению экономического и политического положения дворянства. По инициативе Петра I открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская азбука и т. д. Реформы Петра I проводились путем крайнего напряжения материальных и людских сил, угнетения народных масс, что влекло за собой восстания, беспощадно подавлявшиеся правительством.— *133*.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — русский революционер, утопический социалист. Кандидат прав. Руководитель общества петрашевцев. Выступал за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 1849 г. арестован и приговорен к вечной каторге. После амнистии в 1856 г. жил на поселении в Иркутске.— *179*.

Пилсудский Юзеф (1867—1935) — фактический диктатор Польши после организованного им в мае 1926 г. военного переворота, глава «санационного» режима, маршал. Деятель правого крыла Польской социалистической партии (ППС), с 1906 г.— руководитель ППС-революционной фракции. Во время первой мировой войны командовал польскими военными формированиями, действовавшими на стороне Австро-Венгрии. В 1919—1922 гг. стоял во главе государства, беспощадно расправлялся с революционным движением. В 1920 г. руководил военными действиями против Советской России. В 1926—1928, 1930 гг.— премьер-министр.— *243*, *284*.

Пильняк (наст. фам.— *Вочау*) *Борис Андреевич* (1894—1941) — русский советский писатель. Наиболее характерной чертой его прозы является изображение, подчас натуралистическое, жизни и быта города 20-х гг., особый быт голодного и исполненного смертельной опасности времени. Репрессирован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.— *214*, *365*.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский публицист и литературный критик, философ-материалист и утопический социалист, революционный демократ. В 1862—1866 гг. был заключен в Петропавловскую крепость за револю-

ционную пропаганду. Выдвигал идею о достижении социализма через индустриальное развитие страны («теория реализма»).— *170, 179.*

Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.— *40.*

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — государственный деятель царской России. В 1881—1884 гг.— директор департамента полиции, в 1902—1904 гг.— министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов. 15(28) июля 1904 г. убит эсером Е. С. Созоновым.— *221, 224, 230—231.*

Плеханов Георгий Валентинович (псевдоним — *Н. Бельтов*) (1856—1918) — выдающийся деятель российского и международного социал-демократического движения, теоретик и первый пропагандист марксизма в России. С 1875 г. народник, один из руководителей «Земли и воли», «Черного передела». С 1880 по 1917 г. в эмиграции. В 1883 г. в Женеве создал первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда»; один из основателей РСДРП, газеты «Искра», входил в редакцию журнала «Заря». С 1883 по 1903 г. написал ряд работ, сыгравших большую роль в пропагандировании марксистского материалистического мировоззрения. После II съезда РСДРП — один из лидеров меньшевизма. Во время первой мировой войны — оборонец. Вернувшись в Россию после Февраля 1917 г., возглавил группу правых меньшевиков «Единство». К Октябрьской революции 1917 г. отнесся отрицательно, но не поддерживал контрреволюцию.

В. И. Ленин высоко оценивал философские работы Г. В. Плеханова и его роль в распространении марксизма в России; в то же время он резко критиковал его за крупные ошибки в политической деятельности.— *11—14, 16, 18, 23—24, 26—35, 37—38, 46, 49, 58, 128, 135, 138, 140, 253—269, 271, 274, 311, 313, 343—346, 368—369.*

Подвойский Николай Ильич (1880—1948) — советский партийный, военный деятель. Член партии с 1901 г. Партийную работу вел на Украине, в Иваново-Вознесенске, Ярославле, Костроме, Баку, Петербурге. В 1917 г.— председатель Всероссийского бюро военных организаций при ЦК партии, председатель Петроградского ВРК, один из руководителей штурма Зимнего дворца. После Октябрьской революции — член Комитета по военным и морским делам, командующий Петроградским военным округом, нарком по военным и морским делам УССР, в 1919—1927 гг.— начальник Всевобуча и ЧОН, председатель Спортинтерна. В 1924—1930 гг.— член ЦКК партии. Член ВЦИК.— *353.*

Позерн Борис Павлович (1882—1939) — советский партийный и государственный деятель, член партии с 1902 г. Участник трех российских революций. Делегат I Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. В 1918—1919 гг.— комиссар штаба Петроградского военного округа, затем член РВС Западного, Восточного фронтов и 5-й армии. В 1922—1923 гг.— секретарь Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), в 1924—1926 гг.— Юго-Восточного крайкома, в 1929—1933 гг.— Ленинградского обкома партии. Член ЦКК партии в 1923—1930 гг., кандидат в члены ЦК с 1930 г. После гражданской войны — на партийной и советской работе. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *57, 60.*

Попов (Бритман) А. В. (? — 1914) — участник российского революционного движения, социал-демократ. После II съезда РСДРП примыкал к большевикам. Участник революции 1905—1907 гг. в Петербурге и Кронштадте. В 1908 г. бежал с каторги за границу, входил в Парижскую секцию РСДРП и в состав Комитета Заграничных организаций партии. С начала первой мировой войны вступил добровольцем во французскую армию. Погиб на фронте в ноябре 1914 г.— *294.*

Потресов Александр Николаевич (1869—1934) — участник российского революционного движения. В 1896 г.— член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1900 г.— член редакции «Искры». После II съезда

РСДРП — один из лидеров меньшевизма, идеолог ликвидаторства, социал-шовинист. После Октябрьской революции эмигрировал из России.— *13, 17, 29, 36—37, 270, 368.*

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — идеолог «экономизма», деятель «Союза освобождения». В 1906 г.— член ЦК партии кадетов, в 1917 г.— министр продовольствия Временного правительства. В 1922 г. выслан за границу по обвинению в антисоветской деятельности.— *17.*

Протопопов.— 155.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Выступал против революционного преобразования общества. В период революции 1848 г. выдвигал проекты экономического сотрудничества классов и анархистскую теорию «ликвидации государства».— *159, 164—165, 198.*

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913 — январе 1920 г., премьер-министр в 1912 — январе 1913 г., 1922—1924 гг. и в 1926—1929 гг., неоднократно министр. Проводил реакционную милитаристскую политику. В 20-е гг. стремился к установлению гегемонии Франции в Европе. В период гражданской войны в Советской России — один из инициаторов антисоветской интервенции.— *193, 237, 316.*

Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742—1775) — предводитель Крестьянской войны 1773—1775 гг., донской казак. Казнен в Москве на Болотной площади.— *319.*

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — русский писатель, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка. Был близок к декабристам. Дважды подвергался ссылке.— *126, 129, 137, 175, 207, 214.*

Радек Карл Бернгардович (1885—1939) — деятель международного социал-демократического движения с конца XIX в., партийный публицист. Член РСДРП с 1903 г. С 1902 г. состоял в Социал-демократической партии Польши, с 1904 — в Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). С 1908 г.— активный деятель левого крыла немецкого социал-демократического движения. Участник международных социалистических конференций в Циммервальде, Кинтале, Стокгольме. С ноября 1917 г.— ответственный работник Наркомата иностранных дел РСФСР. В 1918 г.— один из лидеров группы «левых коммунистов». В 1918 г., после начала германской революции, выезжал нелегально в Германию в составе советской делегации на съезд Советов. Участвовал в организации I съезда КП Германии, был арестован. С февраля по декабрь 1919 г. находился в берлинской тюрьме. После освобождения вернулся в Россию. В 1919—1924 гг.— член ЦК РКП(б); в 1920—1924 гг.— член Исполкома Коминтерна (в 1920 г.— секретарь). С 1925 г.— ректор университета народов Востока имени Сунь Ятсена; член редакции Большой Советской Энциклопедии. Сотрудник редакций газет «Правда» и «Известия», ряда журналов. С 1932 по 1936 г.— заведующий бюро международной информации ЦК ВКП(б).

XV съездом ВКП(б) (в 1927 г.) исключен из партии как активный сторонник Троцкого, в 1930 г.— восстановлен. В 1936 г. вновь исключен из партии и арестован по делу так называемого «Параллельного антисоветского троцкистского центра». В январе 1937 г. осужден к 10 годам тюремного заключения. В мае 1939 г. убит сокамерниками в тюрьме. В июне 1988 г. Верховный суд СССР реабилитировал К. Б. Радека в судебном порядке.— *77—78, 96.*

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — русский революционный мыслитель, писатель. В формировании его мировоззрения важную роль сыграли сочинения французских просветителей, особенно К. А. Гельвеция.

В 1783 г. написал оду «Вольность» — первое революционное стихотворение в России, в котором пророчески звучали слова о грядущей победе революции в России. Главным его произведением стала книга «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой он дал реалистическую картину русской жизни, показал беззаконие и бесправие, царящие в России, и резко обличал самодержавие и крепостничество. Книга вышла в 1790 г. и тут же была конфискована. В 1790 г. Радищев был сослан в Сибирь. В 1797 г. по возвращении из ссылки он вновь выступил за уничтожение крепостного права и сословных привилегий. Угроза новых репрессий привела его к самоубийству.

Идеи А. Н. Радищева оказали значительное влияние на А. С. Пушкина, декабристов, А. И. Герцена, на все последующие поколения русских революционеров.— *124—128, 168.*

Раковский Христиан Георгиевич (1873—1941) — советский государственный и партийный деятель, дипломат. Родился в Болгарии, по профессии врач. С 1889 г. в социал-демократическом движении Болгарии, Швейцарии, Германии, Франции, Румынии, России. Неоднократно арестовывался. Член большевистской партии с 1917 г. После Февральской революции 1917 г. был освобожден из Ясской тюрьмы, вел революционную работу в Одессе и Петрограде. Участник гражданской войны. В январе — марте 1918 г.— председатель Верховной коллегии по борьбе с контрреволюцией на Украине; в 1918—1923 гг.— председатель Совнаркома Украины. С 1923 г.— на дипломатической работе: полпред СССР в Англии, Франции.

В 1919—1927 гг.— член ЦК партии; делегат ряда конгрессов Коминтерна. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1927 г. XV съезд ВКП(б) исключил Раковского из партии как активного сторонника Троцкого. В 1928 г. он был сослан в Астрахань, затем в Барнаул. С 1934 г.— начальник управления учебных заведений Наркомата здравоохранения РСФСР. В 1935 г. восстановлен в партии, назначен председателем Всесоюзного Общества Красного Креста.

27 января 1937 г. арестован и 13 марта 1938 г. в связи с делом о так называемом «антисоветском правотроцкистском блоке» осужден на 20 лет тюремного заключения, а 11 сентября 1941 г. по заочному приговору расстрелян.

В 1988 г. реабилитирован в судебном порядке и восстановлен в партии.— *209, 309—310, 328.*

Раскольников (наст. фам.— *Ильин*) *Федор Федорович* (1892—1939) — советский государственный и военный деятель, дипломат, литератор. Член партии с 1910 г. В 1912 г.— первый секретарь газеты «Правда». В марте 1917 г.— редактор кронштадтской газеты «Голос правды», товарищ председателя Кронштадтского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, председатель Кронштадтского комитета РСДРП. Участник Октябрьской революции 1917 г.; в ноябре — комиссар Морского генерального штаба в Петрограде. С 1918 г.— заместитель наркома по морским делам, член Реввоенсовета Восточного фронта, в 1919—1920 гг.— командующий Волжско-Каспийской военной флотилией, член Реввоенсовета Республики. В 1920—1921 гг.— командующий Балтийским флотом. В 1921—1923 гг.— полпред в Афганистане. В 1924—1928 гг.— заведующий отделом в Исполкоме Коминтерна, редактор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь». В 1928—1929 гг.— председатель Главреперткома, начальник Главискусства. С 1930 г.— на дипломатической работе: полпред СССР в Эстонии, Дании, а с 1934 г.— в Болгарии. В 1938 г. был отозван. Ввиду угрозы ареста отказался вернуться в СССР, был оклеветан и объявлен Верховным судом СССР вне закона. Умер в Ницце. В 1963 г. полностью реабилитирован.

Автор известного «Открытого письма Сталину».— *282, 307, 315.*

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872—1916) — фаворит царя Николая II и его жены Александры Федоровны. Из крестьян Тобольской губернии. В качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на царя, царицу и их окружение. Вмешивался в государственные дела. Убит монархистами.— *168*.

Ратинский — польский социал-демократ.— *283*.

Рафаэль Санти (1483—1520) — итальянский живописец и архитектор. Представитель Высокого Возрождения.— *174*.

Рахья Эйно Абрамович (1885—1936) — деятель российского и финского революционного движения. Член компартии с 1903 г. Участник трех российских революций. После июльских дней 1917 г. обеспечивал переход В. И. Ленина в Финляндию и обратно, связной между ЦК и В. И. Лениным. В 1918 г. командовал отрядами Красной Гвардии во время революции в Финляндии. Один из основателей Компартии Финляндии, член ее ЦК, с 1919 г.— на военно-политической работе в Красной Армии.— *62*.

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — русская советская писательница. Член партии с 1918 г. В 1916—1917 гг. сотрудничала в журнале «Летопись», основанном М. Горьким, и в газете «Новая жизнь». В годы гражданской войны — боец и политработник Красной Армии: в 1918—1919 гг.— комиссар Генерального морского штаба, затем Волжско-Каспийской военной флотилии. В 1921—1923 гг. вместе с мужем Ф. Ф. Раскольниковым находилась в Афганистане. В 1923 г. жила в Германии. Умерла от тифа. В 1928 г. вышло собрание сочинений Л. Рейснер в двух томах, куда вошли произведения «Фронт», «Афганистан», «Гамбург на баррикадах» и др.— *310—320*.

Рейснер Михаил Андреевич (1868—1928) — профессор права. До 1905 г.— народник. Член партии с 1917 г. В 1903—1905 гг. находился в эмиграции. В 1904 г. выступал в качестве ученого эксперта в кенигсбергском процессе по делу русских социал-демократов о транспортировке нелегальной литературы. В 1905 г. примкнул к большевикам. После Октябрьской революции 1917 г.— заведующий отделом законодательных предположений в Наркомате юстиции, участвовал в комиссии по составлению первой конституции. Работал в Наркомпросе; вел педагогическую работу в Военной академии Красной Армии.— *312*.

Реннер Карл (1870—1950) — один из лидеров австрийской социал-демократии и II Интернационала, глава правого крыла, идеолог австромарксизма. В начале XX в. вместе с О. Бауэром выдвинул реформистско-националистическую программу культурно-национальной автономии. В 1918—1920 гг.— федеральный канцлер Австрии. После освобождения Австрии в 1945 г.— глава Временного правительства, в декабре 1945—1950 гг.— президент Австрии.— *269*.

Рескин (Раскин) Джон (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства.— *198*.

Робеспьер Максимильен (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев.— *111*, *133*.

Родичев Федор Измаилович (1853—1932) — один из лидеров кадетов, член ее ЦК. Депутат I—IV Государственных дум. В марте — мае 1917 г.— министр Временного правительства по делам Финляндии. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.— *236—237*.

Ротштейн Федор Аронович (1871—1953) — советский историк, дипломат. Член партии с 1901 г. В 1890—1920 гг.— в эмиграции в Великобритании, в 1895—1911 гг.— член английской социал-демократической федерации. С 1911 г.— один из лидеров левого крыла Британской социалистической партии, участвовал в со-

здании Компартии Великобритании (1920 г.). В 1921—1930 гг.— на советской дипломатической работе. Затем на научной работе. Академик АН СССР с 1939 г.— *105*.

Руге Арнольд (1802—1880) — немецкий философ, публицист, политический деятель. В 1884 г. совместно с К. Марксом издавал в Париже «Немецко-французский ежегодник», однако к коммунистическим взглядам Маркса относился резко отрицательно. Во время революции 1848—1849 гг.— депутат франкфуртского Национального собрания (его левое крыло). В 1849 г. эмигрировал в Лондон. Здесь Руге вместе с Мадзинни, Ледрю-Ролленом и др. основал «Европейский Центральный Комитет». В последние годы жизни стал сторонником О. Бисмарка, поборником политики национал-либералов.— *165*.

Рудзутак Ян Эрнестович (1887—1938) — советский партийный, государственный деятель. Член Компартии с 1905 г. Участник первой русской революции в Риге. В 1907 г. был арестован и приговорен к 10 годам каторги. Освобожден Февральской революцией. Участник Октябрьской революции. После 1917 г. находился на советской, партийной и профсоюзной работе: член президиума ВСНХ, председатель ЦК Союза железнодорожников, генеральный секретарь ВЦСПС, председатель Турккомиссии ВЦИК, Туркбюро ЦК РКП(б), Средазбюро ЦК РКП(б), нарком путей сообщения, заместитель председателя СНК и СТО, председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ. Член ЦК партии с 1920 г.: в 1923—1924 гг.— секретарь ЦК, член Политбюро ЦК в 1926—1932 гг. (кандидат в 1923—1926 гг. и с 1934 г.). Член Президиумов ВЦИК и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован. Реабилитирован и восстановлен в партии в 1956 г.— *341*.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель. С позиций деизма осуждал официальную церковь и религиозную нетерпимость. В сочинении «Рассуждение о начале и основаниях неравенства...» трактовал частную собственность как причину социального неравенства. В трактате «Об общественном договоре» (1762 г.) обосновал право народа на свержение абсолютизма, отстаивал идею народовластия, народного суверенитета и выступал за принцип прямой демократии.— *124*.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — русский поэт-декабрист. Член Северного общества и руководитель восстания 14 декабря 1825 г. Казнен 13(25) июля 1826 г.— *169*.

Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) — участник российского революционного движения с 1889 г. В 1917 г.— межрайонец. В 1917—1931 гг.— член большевистской партии. После Октябрьской революции занимался профсоюзной и научной работой. В 1921—1931 гг.— директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Академик АН СССР с 1929 г. Необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.— *49*, *296*, *346*.

Савинков Борис Викторович (1879—1925) — видный деятель партии эсеров, один из руководителей ее «боевой организации», организатор многочисленных террористических актов. После Февральской революции — товарищ военного министра Временного правительства, военный генерал-губернатор Петрограда. После Октябрьской революции — организатор и руководитель ряда антисоветских заговоров и контрреволюционных мятежей. Эмигрировал за границу. Выступал под псевдонимом В. Ропшин как автор стихотворных и прозаических произведений. В 1924 г. при нелегальном переходе границы был арестован и приговорен Военной комиссией Верховного суда СССР к расстрелу. Решением ЦИК СССР расстрел был заменен десятилетним тюремным заключением. В 1925 г., находясь в тюрьме, покончил с собой.— *242—248*.

Савонарола Джироламо (1452—1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру. После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. способствовал установлению республиканского строя. В 1497 г. был отлучен от церкви, по приговору приората казнен.— *199—201*.

Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (псевд. *Н. Щедрин*) (1826—1889) — русский писатель-сатирик, публицист. Демократ-просветитель. После окончания Царскосельского лицея в 1844 г. поступил на службу в Военное министерство, в 1858—1862 гг. занимал должность вице-губернатора в Рязани, затем в Твери. В 1862—1864 гг. входил в редакцию «Современника», в 1868—1884 гг. был редактором (до 1878 г. совместно с Н. А. Некрасовым) журнала «Отечественные записки».

Уже первые повести Салтыкова, наполненные острой социальной проблематикой, вызвали недовольство властей. За «вредный образ мыслей» он был арестован в 1848 г. и сослан в Вятку, затем в Тверь. В конце 1855 г. Салтыков получил свободу и вернулся в Петербург.

Творчество Салтыкова-Щедрина направлено против самодержавно-крепостнического строя («Губернские очерки», «Пошехонская старина», «Сказки» и др.). В «Истории одного города» он создал гротескно-сатирическую галерею образов градоправителей. В социально-психологическом романе «Господа Головлевы» показал духовный и физический распад дворянства. Сатирические образы, созданные им, прочно вошли в общественное сознание народа.— *176—183*.

Самойло Александр Александрович (1869—1963) — советский военачальник. Член Компартии с 1944 г. В первую мировую войну — начальник штаба армии. В гражданскую войну командовал армией и Восточным фронтом, в 1920—1921 гг.— начальник Всероглавштаба.— *76*.

Самуэли Тибор (1890—1919) — видный деятель венгерского рабочего движения, один из организаторов в 1918 г. Коммунистической партии Венгрии; в 1919 г.— заместитель наркома обороны и нарком просвещения Венгерской советской республики. С 1915 г. находился в России как военнопленный, в 1918 г.— один из основателей венгерской группы РКП(б). С января 1919 г.— в Венгрии. После подавления Советской власти в Венгрии убит контрреволюционерами при переходе австрийской границы.— *326*.

Санд Жорж (наст. имя *Аврора Дюпен*) (1804—1876) — французская писательница, увлекалась идеями сенсимонистов. Участвовала в Февральской революции 1848 г., была близка к радикальным кругам левых республиканцев. В многочисленных романах идеи освобождения личности, демократизм и реализм сочетались с социально-утопическими иллюзиями. С 40-х гг. XIX в. Ж. Санд была популярна в России.— *178*.

Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — советский государственный, партийный деятель. Член партии с 1901 г. Участник революции 1905—1907 гг. на Урале. В 1912 г. кооптирован в члены ЦК РСДРП, член Русского бюро ЦК. Один из организаторов и руководителей газеты «Звезда» и руководитель «Правды». Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В апреле 1917 г. возглавил Уральскую партийную организацию. После VII (Апрельской) конференции РСДРП(б) — секретарь ЦК партии. Руководил Оргбюро по созыву VI съезда РСДРП(б). Участник подготовки и проведения Октябрьской революции в Петрограде, член партийного центра по руководству вооруженным восстанием, член ВРК. Председатель большевистской фракции II Всероссийского съезда Советов. С 8(21) ноября 1917 г.— председатель ВЦИК (оставался секретарем ЦК партии). В 1918 г.— председатель Комиссии по выработке советской Конституции. В 1919 г.— член

Оргбюро ЦК РКП(б). Умер от гриппа.— *60, 62, 80—81, 88, 93, 96, 98, 278, 300, 320—335.*

Седова Наталья Ивановна (1882—1962) — жена Троцкого.— *22.*

Сект Ханс (1866—1936) — немецкий военно-политический деятель, генерал-полковник. В 1920—1926 гг.— начальник управления сухопутных сил рейхсвера. Осенью 1923 г. жестоко подавил революционное выступление рабочих. В 1930—1932 гг.— депутат рейхстага. В 1934—1935 гг.— главный военный советник при Чан Кайши.— *317.*

Семковский С. (Бронштейн Семен Юльевич) (1882—?) — участник социал-демократического движения, меньшевик. Входил в редакцию венской «Правды». Во время первой мировой войны — центрист. Член Заграничного секретариата ОК меньшевиков. В 1917 г. возвратился из эмиграции в Россию, вошел в ЦК партии меньшевиков. В 1920 г. порвал с меньшевиками, вел научно-преподавательскую и литературную работу.— *345.*

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — граф, французский мыслитель, социалист-утопист. Движущими силами исторического развития считал прогресс научных знаний, морали и религии. Учение Сен-Симона — один из идейных источников научного социализма.— *155, 178.*

Сисмонди Жан Шарль Леонар Сисмонд де (1773—1842) — швейцарский экономист и историк. Критиковал капитализм с мелкобуржуазных позиций.— *198.*

Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870—1928) — советский государственный и партийный деятель, публицист. Автор многих экономических, исторических, антирелигиозных работ, переводчик «Капитала» К. Маркса. В революционном движении с 1892 г., в РСДРП — с 1896 г., с 1904 г.— большевик. Участник первой русской и Октябрьской революций. В 1917 г.— член Московского ВРК, первый нарком финансов РСФСР, с 1925 г.— редактор «Известий», зам. редактора «Правды», редактор «Ленинградской правды». Член ЦРК с 1921 г., член ЦК с 1925 г., член ВЦИК и ЦИК СССР.— *54.*

Склянский Эфраим Маркович (1892—1925) — советский государственный, партийный и военный деятель. Член компартии с 1913 г. В 1917 г. избран председателем армейского комитета 5-й армии в Двинске. Участник Октябрьской революции, член Петроградского ВРК. После Октябрьской революции был членом коллегии и зам. наркома по военным и морским делам. В 1918—1924 гг.— зам. председателя РВС Республики. В 1920—1921 гг.— член СТО. С 1924 г.— председатель «Моссукно». Член ВЦИК, ЦИК СССР. В 1925 г. утонул в озере близ Нью-Йорка, находясь в Америке в командировке.— *335—343.*

Скобелев Матвей Иванович (1885—1938) — член РСДРП с 1903 г., один из лидеров меньшевиков. Участник Февральской революции, заместитель председателя Петросовета, заместитель председателя ЦИК 1-го созыва. С мая 1917 г.— министр труда Временного правительства, из которого вышел в период корниловщины. Участник Демократического совещания и Предпарламента. После Октябрьской революции отошел от меньшевизма, работал в системе кооперации, затем в Наркомате внешней торговли. В 1922 г. вступил в РКП(б), был на хозяйственной работе. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *56, 345.*

Сноуден.— *107.*

Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888—1939) — член партии большевиков с 1905 г. Партийную работу вел в Москве и за границей. После Фев-

ральской революции — член Московского комитета и Московского областного бюро РСДРП(б), член редакции «Правды». Участник Октябрьской революции и гражданской войны, после которой был на партийной, советской и дипломатической работе. Член ЦК партии в 1917—1919 гг., 1922—1929 гг. (кандидат в члены ЦК в 1930—1936 гг.). В 1924—1925 гг.— кандидат в члены Политбюро ЦК. Необоснованно репрессирован. В 1937 г. по делу так называемого «Параллельного антисоветского троцкистского центра» приговорен к 10 годам тюрьмы. Реабилитирован посмертно.— *57*.

Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики.— *40*.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский писатель. Его рассказы и повести отличаются меткими зарисовками провинциального быта, светской жизни; писал водевили, комедии.— *180*.

Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, один из великих представителей античной трагедии.— *367*.

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ-материалист. Оказал большое влияние на развитие атеизма и материализма.— *32*.

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — русский политический деятель, один из лидеров эсеров. В 1906 г. убила «усмирителя» крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Г. Н. Луженовского, за что была приговорена к вечной каторге. После Февральской революции — один из организаторов партии левых эсеров, член ЦК партии с декабря 1917 г. После Октябрьской революции — член ВЦИК, делегат III—V Всероссийских съездов Советов. Выступала против заключения Брестского мира. Активный участник левоэсеровского мятежа, приговорена Ревтрибуналом к одному году заключения, амнистирована. В 1919 г. была вновь осуждена на один год, бежала, скрывалась в Москве под фамилией Онуфриевой. В 1923 г. была сослана на три года в Среднюю Азию. В 1930 г. была арестована, сослана в Уфу. В 1937 г. по обвинению в том, что она до дня ареста входила в состав объединенного эсеровского центра и организовывала контрреволюционные и террористические группы, руководила контрреволюционной террористическо-вредительской организацией эсеров в Башкирии, была осуждена на 25 лет лишения свободы. 11 сентября 1941 г. вместе с группой заключенных орловской тюрьмы была расстреляна.— *75*.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953) — член партии с 1898 г. Участник революции 1905—1907 гг. в Закавказье. В 1912—1913 гг.— член русского бюро ЦК, сотрудник газет «Звезда», «Правда». Участник Октябрьской революции. С октября 1917 г.— нарком по делам национальностей, нарком государственного контроля, РКИ. Член ЦК партии с 1917 г., член Политбюро ЦК в 1919—1952 гг., Президиума ЦК в 1952—1953 гг. С 1922 г.— Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1941 г.— председатель СНК (СМ) СССР и ГКО (до 1945 г.), нарком обороны (до 1947 г.), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. В 1925—1943 гг.— член исполкома Коминтерна.— *69*, *321*, *361*, *370*.

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966) — советский партийный деятель. Член партии с 1898 г. Агент «Искры». Участница революции 1905—1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде. В 1917—1920 гг.— секретарь ЦК партии, в 1921—1926 гг.— в Коминтерне, в 1927—1937 гг.— председатель ЦК МОПР СССР. В 1935—1943 гг.— член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1918—1920 гг.— член ЦК партии (кандидат с 1917 г.), в 1930—1934 гг.— член ЦКК.— *335*.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — русский государственный деятель, крупный помещик. В 1906—1911 гг.— председатель Совета Министров и министр внутренних дел. Организатор третьеиюньского переворота 1907 г. Руководитель аграрной реформы, названной столыпинской. Смертельно ранен агентом охранки эсером Д. Г. Богровым.— *238*.

Стомоняков Борис Спиридонович (1882—1941) — участник социал-демократического движения. Член компартии с 1902 г. В 1904—1906 гг. жил за границей, выполнял поручения заграничного бюро ЦК. В 1906 г. вернулся в Россию, был арестован, но благодаря вмешательству болгарского правительства освобожден и уехал за границу. С 1910 г. от партийной работы отошел. В 1915 г. вернулся в Болгарию, служил в армии. В 1917 г. направлен в Голландию в качестве официального члена болгарского посольства. После окончания первой мировой войны ушел в отставку. В 1920—1925 гг.— торговый уполномоченный Советской России в Берлине, с 1926 г.— член коллегии Наркоминдела, в 1934—1938 гг.— заместитель наркома иностранных дел. В 1938 г. арестован, в 1941 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно.— *304—306*.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — русский экономист, философ, историк и публицист. Виднейший представитель «легального марксизма». Один из теоретиков и организаторов либерально-монархического «Союза освобождения» (1903—1905) и редактор его органа — журнала «Освобождение». С образованием в 1905 г. партии кадетов — один из лидеров и член ее ЦК. Редактор журнала «Русская мысль», участник сборника «Вехи». После Октябрьской революции — последовательный враг Советской власти, член контрреволюционного правительства Врангеля, эмигрировал за границу.— *15*, *28—29*, *36*, *220—229*, *239—240*, *263*, *313*.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский журналист и издатель. С 1876 г.— владелец-издатель реакционной буржуазной газеты «Новое время». Издавал также журнал «Исторический вестник», сочинения русских и иностранных писателей и научную литературу.— *224—225*.

Суханов Н. (наст. фамилия и имя *Гиммер Николай Николаевич*) (1882—1940) — участник российского революционного движения, экономист, публицист. С 1903 г.— эсер, с 1917 г.— меньшевик. После Октябрьской революции работал в советских экономических учреждениях. В 1931 г. осужден как руководитель подпольной организации меньшевиков к 10 годам тюремного заключения, в 1935 г. оставшийся срок был заменен ссылкой в Тобольск. В 1937 г. вновь арестован и в 1940 г. расстрелян.— *57*, *67*, *69*.

Тагиев Гаджи Зейнал Абдин (1838—1925) — крупный азербайджанский капиталист.— *237*.

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — советский историк, академик АН СССР. В 1903—1917 гг.— приват-доцент Петербургского университета, в 1913—1918 гг.— профессор Юрьевского университета. С 1917 г.— профессор Петроградского университета, затем ЛГУ и МГУ. Основные труды: «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» (т. 1—2); «Континентальная блокада», «Наполеон», «Талейран», «Нашествие Наполеона на Россию» и др. Исследовательскую работу Тарле сочетал с большой публицистической и пропагандистской работой.— *357*.

Терещенко Михаил Иванович (1886—1956) — русский капиталист-сахарозаводчик, финансист. Со 2(15) марта 1917 г.— министр финансов Временного правительства, с 5(18) мая по 25 октября (7 ноября) 1917 г.— министр иностранных дел. После Октябрьской революции — эмигрант.— *58*.

Тимашев.— *180*.

Тиртей (2-я пол. 7 в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. По преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту взамен требуемой военной помощи и сумевший своими песнями поднять боевой дух спартанцев. Имя Тиртея стало нарицательным для обозначения представителей гражданственной поэзии.— *313*.

·*Товбин* — межрайонец.— *278*.

Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — граф, русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Крупный поэт-лирик, автор исторических романов. Вместе с братьями Жемчужниковыми создал пародийный образ Козьмы Пруткова.— *175*.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — великий русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук, почетный академик. Тема мучительных поисков нравственного идеала в приобщении к естественной жизни народа, к природе, в попытке разрушить сословную замкнутость проходит через все творчество Л. Н. Толстого. Его творчество, оказавшее огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречия целой эпохи русского общества (1861—1905 гг.) и названо В. И. Лениным «зеркалом русской революции».— *141, 152, 169, 173, 183—203, 207, 215*.

Трепов Федор Федорович (1812—1889) — петербургский градоначальник. В 1878 г. за жестокое обращение с политзаключенными В. И. Засулич совершила на него покушение и ранила его.— *16*.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — в социал-демократическом движении с 1897 г. В 1898 г. арестован и сослан на 4 года в Восточную Сибирь, бежал из ссылки и приехал в Лондон, где сотрудничал с редакцией газеты «Искра». Участник II съезда РСДРП, примкнул к меньшевикам. В 1904 г. отошел от меньшевиков. В 1905 г. вернулся в Россию, входил в Петроградский Совет, избирался его председателем. В декабре 1905 г. арестован и в 1906 г. сослан на поселение в Сибирь, бежал, уехал за границу. Участник Лондонского съезда РСДРП, возглавлял группу «центра». В годы реакции и нового революционного подъема жил в эмиграции, вел публицистическую деятельность, работал в редакциях газет «Правда» (Венская), «Наше слово», журнала «Борьба» и других изданий. Участник международных социалистических конференций. В 1916 г. выслан из Франции в Испанию, затем эмигрировал в Америку. После Февральской революции при попытке выехать в Россию из Америки арестован английскими военными властями в Канаде и помещен в концентрационный лагерь. По требованию Временного правительства освобожден и в мае 1917 г. вернулся в Россию, где возглавил группу «межрайонцев». С VI съезда партии (июль 1917 г.) — большевик, избран в ЦК. В сентябре 1917 г. председатель Петроградского Совета, участник подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции.

После Октябрьской революции — нарком иностранных дел, нарком по военным и морским делам, нарком путей сообщения, председатель Реввоенсовета Республики, член Президиума ВСНХ. С 1917 г.— член ЦК, с 1919 г.— член Политбюро ЦК партии. В 1927 г. исключен из партии, в 1929 г. по обвинению в антисоветской деятельности выслан из СССР, в 1932 г. лишен советского гражданства. В 1940 г. убит в Мексике.— *16, 27, 42, 44, 46, 208—210, 214, 265, 272, 274—275, 279, 295, 297, 299—300, 333, 343—356, 358*.

Трошю Луи (1815—1896) — французский генерал. В 1870 г.— январе 1871 г.— глава «Правительства национальной обороны», проводил антинародную пораженческую политику.— *237*.

Трэгер — немецкий демократ.— *312*.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — русский экономист, историк, в 90-х гг. XIX в.— один из представителей «легального марксизма». В период революции 1905—1907 гг.— член партии кадетов. После Октябрьской революции был министром финансов буржуазной Украинской центральной рады (1917 г.— январь 1918 г.).— *36*.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Реалист, мастер психологического анализа. Оказал существенное влияние на развитие русской и мировой литературы.— *125, 136, 169, 178, 180, 182, 203, 207*.

Тышка Ян (наст. фам. и имя *Иогихес Лео*) (1867—1919) — деятель польского и немецкого рабочего движения. В 1893 г.— один из организаторов и руководителей Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), с 1903 г.— член ее Главного правления. Участник революционных событий 1905—1907 гг. в Польше. Неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1907 г.— член ЦК РСДРП. В 1916 г.— один из организаторов «Союза Спартака» и Коммунистической партии Германии (КПГ), с 1918 г.— член ЦК КПГ. В марте 1919 г. арестован, убит в берлинской тюрьме.— *284*.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — русский поэт, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Крупнейший представитель русской философской лирики.— *174—175*.

Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — деятель российского революционного движения. Юрист. Член партии с 1917 г. В революционном движении с 90-х гг. XIX в. После II съезда РСДРП (1903 г.) примкнул к меньшевикам. Участник революции 1905—1907 гг. в Петербурге и Красноярске. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1914 г. эмигрировал. В годы первой мировой войны — интернационалист. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, вошел в группу «межрайонцев» и вместе с ними был принят в партию большевиков. С июля 1917 г.— член ЦК. В октябрьские дни 1917 г.— член Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием и Петроградского ВРК, член ВЦИК. Был комиссаром Всероссийской комиссии по делам созыва Учредительного собрания. В вопросе о Брестском мире стоял на позиции «левых коммунистов». С марта 1918 г.— председатель Петроградской ЧК, кандидат в члены ЦК РКП(б). Убит 30 августа 1918 г. эсером, студентом А. Канегиссером.— *57, 98, 281, 322, 347, 357—360, 366*.

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель. Реалистически показал нужду и угнетение городской бедноты, развитие капиталистических отношений в деревне («Нравы Растеряевой улицы», «Разорение» и др.). Творчество Г. И. Успенского проникнуто демократическими, революционно-народническими идеями.— *212, 365*.

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель, классик научно-фантастической литературы. В 1920 г. и 1934 г. посещал СССР, беседовал с В. И. Лениным (кн. «Россия во мгле», 1920 г.).— *103—110*.

Фабий Максим Кунктатор (275—203 до н. э.) — римский полководец. Во время 2-й Пунической войны применял в 217 г. тактику постепенного истощения армии Ганнибала, уклоняясь от решительного сражения.— *104*.

Фази Жан Жакоб (1794—1878) — швейцарский демократ-республиканец, журналист. В 1846 г. руководил вооруженным восстанием, приведшим к буржуазно-

демократическим преобразованиям в кантоне Женева. Участвовал в выработке Конституции 1848 г.— *164*.

Фалькенхайн Эрих фон (1861—1922) — германский генерал пехоты. В 1913—1914 гг.— военный министр Германии, в 1914—1916 гг. начальник Генерального штаба. С марта 1918 г.— командующий 10-й армией на оккупированной территории Советской России.— *328*.

Фейербах Людвиг (1804—1874) — немецкий философ-материалист. Оказал большое влияние на формирование материалистических взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса.— *49, 134, 144*.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт, член-корреспондент Петербургской Академии наук. С 50-х гг. сотрудничал в «Современнике». Известен как переводчик Горация, Овидия, И. В. Гёте, Г. Гейне и др.— *175*.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. В «Речах к немецкой нации» призывал немецкий народ к моральному возрождению и объединению. Начиная с 1800 г. для Фихте характерна тенденция к объективному идеализму.— *144, 262—263*.

Франс Анатоль (наст. имя *Анатоль Франсуа Тибо*) (1844—1924) — французский писатель, член Французской академии наук. С 1905 г.— основатель и председатель Общества друзей русского народа и присоединенных к России народов. Франс — один из первых друзей и защитников молодой Советской республики.— *199, 201*.

Фридрих II (1712—1786) — прусский король (с 1740 г.) из династии Гогенцоллернов, крупный полководец. В результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.— *352*.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925) — советский государственный, партийный и военный деятель. Член Компартии с 1904 г. Участник революции 1905—1907 гг. В 1909—1910 гг. был дважды приговорен к смертной казни. В 1910—1915 гг.— на каторге, бежал. Участник Февральской и Октябрьской революций. В 1917 г.— председатель Иваново-Вознесенского губисполкома и губкома РКП(б). Во время гражданской войны — командующий армией, Южной группой Восточного фронта, войсками Восточного, Туркестанского и Южного фронтов. В 1920 г.— командующий войсками Украины и Крыма, уполномоченный РВС республики в УССР. В 1924—1925 гг.— заместитель председателя и председатель РВС СССР, заместитель наркома и нарком по военным и морским делам, одновременно — начальник Штаба РККА, член СТО. С 1921 г.— член ЦК РКП(б), с 1924 г.— кандидат в члены Политбюро ЦК. Член ВЦИК и Президиума ЦИК СССР.— *301, 360—364*.

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926) — русский советский писатель. Член Компартии с 1918 г. Учился в Московском университете. В годы первой мировой войны — брат милосердия. Участник Октябрьской революции. В 1917—1918 гг.— эсер-максималист, затем анархист. В 1919—1921 гг.— в Красной Армии: комиссар Чапаевской дивизии, начальник политуправления Туркестанского фронта. С 1921 г. жил в Москве, занимался литературной деятельностью. В 1924 г. окончил факультет общественных наук 1-го МГУ. В 1924—1925 гг.— секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей.— *364—366*.

Фурье Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист. Подверг критике буржуазный строй и разработал план будущего общества, в котором должны развернуться все человеческие способности. Первичной ячейкой государства считал «фалангу», в которой сочетается промышленное и сельскохозяйственное производство. Высказал важные соображения о коммунистическом

обществе. По Фурье, новое общество утвердится мирным путем, путем пропаганды социалистических идей. Последователями Фурье были петрашевцы и др.— *178.*

Харди (Гарди) Джеймс Кейр (1856—1915) — основатель и лидер Шотландской рабочей партии (1888), Независимой рабочей партии в Великобритании (1893). Официальный лидер Лейбористской партии с момента ее основания в 1900 г.— *237.*

Хрусталев Петр Алексеевич (наст. фам. и имя *Носарь Георгий Степанович*) (1877—1918) — русский политический деятель, меньшевик. В 1905 г.— председатель Петербургского Совета рабочих депутатов. Склонный к авантюризму, на посту председателя Совета оказался случайной фигурой. В 1906 г. осужден, сослан в Сибирь, откуда бежал. Делегат V съезда РСДРП от меньшевиков, в 1909 г. вышел из партии. В 1918 г. сотрудничал с С. В. Петлюрой и П. П. Скоропадским. Расстрелян за контрреволюционную деятельность.— *44, 251, 344.*

Хургин И. Я. (1887—1925) — участник революционного движения с 1905 г. После Октябрьской революции вступил в «Бунд» и вместе с ним вошел в РКП(б). В 1918 г.— член исполкома Киевского Совета. В 1920 г.— представитель Украины в полпредстве в Варшаве, затем представитель правления акционерного общества «Амторг». Утонул 27 августа 1925 г. вместе с Э. М. Склянским в озере близ Нью-Йорка.— *335.*

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — один из лидеров меньшевизма. Депутат II Государственной думы, после Февральской революции — член Исполкома Петросовета, член ЦИК Советов первого созыва. С июля 1917 г.— министр почт и телеграфа, с июня — министр внутренних дел Временного правительства. После Октябрьской революции — один из руководителей меньшевистского правительства Грузии. В 1921 г. эмигрировал за границу.— *56, 60, 63, 66, 272, 281.*

Чайковский Николай Васильевич (1850/51—1926) — русский политический деятель, участник народнического движения. В 1904 — 1910 гг.— эсер, с февраля 1917 г.— трудовик, член Исполкома Петросовета и Всероссийского Совета крестьянских депутатов. После Октябрьской революции — активный противник Советской власти, глава и член ряда контрреволюционных правительств.— *12.*

Чапаев Василий Иванович (1887—1919) — герой гражданской войны. Член партии с 1917 г. Участник первой мировой войны, награжден за отвагу тремя георгиевскими крестами и медалью. В конце 1917 г. избран командиром 138-го запасного пехотного полка, с января 1918 г.— комиссар гарнизона г. Николаевска. В начале 1918 г. сформировал красногвардейский отряд, с мая 1918 г.— командир бригады, с осени 1918 г.— начальник 2-й Николаевской дивизии, в ноябре 1918 — январе 1919 г. учился в Академии Генштаба, с апреля 1919 г.— командир 25-й стрелковой дивизии. Погиб в бою.— *365.*

Черкезов — анархист.— *12.*

Чернин Оттокар (1872—1932) — граф, австрийский министр иностранных дел в декабре 1916 — апреле 1918 г.— *120.*

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей партии эсеров, ее лидер и теоретик. В революционном движении с конца 80-х гг. Участник Циммервальдской и Кинтальской конференций. В мае — августе 1917 г.— министр

земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания. После Октябрьской революции — член контрреволюционных правительств. В 1920 г. эмигрировал за границу. Во время второй мировой войны — участник движения Сопротивления во Франции.— *21, 59, 82—83, 270, 281, 349—350, 359.*

Черносвитова Ольга Николаевна — родная сестра Софьи Николаевны Смидович, деятеля российского революционного движения.— *270.*

Чернышевская Ольга Сократовна (1833—1918) — жена Н. Г. Чернышевского.— *138.*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — русский революционер-демократ и мыслитель, ученый, писатель, литературный критик. В 1856—1862 гг.— один из руководителей журнала «Современник», развивал традиции В. Г. Белинского, последовательно защищал реализм. Вождь революционного движения 60-х гг. в России, идейный вдохновитель «Земли и воли». Автор прокламации «Барским крестьянам...». В 1862 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где написал роман «Что делать?». В 1864 г. подвергнут гражданской казни и отправлен на каторгу в Сибирь; в 1883 г. переведен в Астрахань, затем в Саратов.

Чернышевский разрабатывал вопросы философии, социологии, этики, эстетики. Стоял на позициях антропологического материализма. Дал глубокую критику капитализма, считал социализм обусловленным всем развитием человечества, полагал возможным для России переход к социализму через крестьянскую общину. Романы Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и «Пролог», в которых излагаются социалистические идеалы и созданы образы профессиональных революционеров, сыграли большую роль в воспитании многих поколений русских революционеров. Деятельность Н. Г. Чернышевского высоко ценили К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин.— *84, 133, 136—139, 170, 172, 179, 256.*

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — английский политический деятель, один из лидеров Консервативной партии. Премьер-министр Великобритании в 1940—1945, 1951—1955 гг. С 1908 г. занимал различные министерские посты. В 1919—1921 гг., будучи военным министром, был одним из организаторов антисоветской военной интервенции. В годы второй мировой войны правительство Черчилля заключило с СССР союз в рамках антигитлеровской коалиции. После войны — один из инициаторов «холодной войны».— *247.*

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — русский писатель, драматург. Почетный член Петербургской Академии наук. Выступал как преемник и продолжатель лучших реалистических традиций русской литературы.— *211—213.*

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — советский государственный, партийный деятель и дипломат. Член РСДРП с 1905 г., меньшевик, с 1918 г.— большевик. С 1904 по 1918 г. участвовал в революционном движении за границей. С 1918 по 1930 г.— заместитель наркома, затем нарком иностранных дел РСФСР, СССР. 3 марта 1918 г. подписал Брестский мирный договор с Германией. Руководил советскими делегациями на Генуэзской (1922 г.) и Лозаннской (1922—1923 гг.) конференциях. В 1925—1930 гг.— член ЦК партии. Член ВЦИК и ЦИК СССР. С 1930 г. персональный пенсионер.— *96, 328, 351, 358.*

Чудновский Григорий Исаакович (1890—1918) — участник социал-демократического движения с 1905 г., меньшевик. В 1910 г. за революционную деятельность сослан в Сибирь, в 1913 г. бежал за границу. В мае 1917 г. вернулся в Россию. На VI съезде партии в числе «межрайонцев» принят в большевистскую партию. Член корпусного комитета Юго-Западного фронта. Участник Октябрьской революции — член Всероссийского бюро Военной организации при ЦК РСДРП(б),

член Петроградского ВРК и комиссар ВРК в Преображенском полку. Делегат II Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК. Участник разгрома мятежа Керенского — Краснова. В 1918 г.— чрезвычайный комиссар Юго-Западного фронта, участвовал в борьбе против контрреволюционной Украинской Центральной рады. После освобождения Киева — военный комиссар города. Погиб в бою на Украинском фронте.— *366—367*.

Шекспир Уильям (1564—1616) — английский драматург и поэт. Крупнейший гуманист эпохи Позднего Возрождения. В его творчестве нашли выражение социальные противоречия, предшествовавшие Английской революции XVII в.— *203, 367*.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.— *262—263*.

Шервуд Леонид Владимирович (1871—1954) — советский скульптор. Автор памятника «Радищев» (1918 г.).— *127*.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения.— *155*.

Шляпников Александр Гаврилович (1885—1937) — советский партийный, государственный деятель. Участник трех российских революций. Член партии с 1901 г. В 1907 г.— член Петербургского комитета РСДРП. После Февральской революции 1917 г.— член Петроградского комитета РСДРП(б), исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов, председатель Петроградского союза рабочих-металлистов. Во время Октябрьского вооруженного восстания — член Петроградского ВРК. В первом советском правительстве — нарком труда. В годы гражданской войны — член Реввоенсоветов Южного, Западного фронтов, председатель Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта. В 1920—1922 гг.— председатель ЦК профсоюза металлистов; член Президиума ВЦСПС. В 1920—1922 гг.— один из лидеров «рабочей оппозиции». В 1923—1932 гг.— член редколлегии Госиздата, советник полпредства СССР во Франции, с 1932 г.— член Президиума Госплана РСФСР. Кандидат в члены ЦК партии в 1918—1919, член ЦК в 1921—1922 гг. В 1933 г. исключен из партии. В 1935 г. арестован по делу так называемой «Московской контрреволюционной организации — группы «рабочей оппозиции», в 1937 г. расстрелян. В 1963 г. реабилитирован в судебном порядке, в 1988 г. восстановлен в партии (посмертно).— *266*.

Шотман Александр Васильевич (1880—1937) — советский государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1899 г., делегат II съезда партии, большевик. Участник трех российских революций. В 1913 г. кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. С июля 1917 г.— связной ЦК партии с В. И. Лениным в Разливе. После Октябрьской революции — на партийной, советской и хозяйственной работе. Член ЦКК в 1924—1934 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР.— *25*.

Штейнберг Исаак Захарович — один из лидеров партии левых эсеров, адвокат. С 12(25) декабря 1917 г. по 18 марта 1918 г.— нарком юстиции РСФСР. Вышел из СНК после ратификации Брестского мира. После разгрома левых эсеров эмигрировал за границу.— *87*.

Шувалов.— *180*.

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — русский политический деятель, монархист. Один из лидеров правого крыла II—IV Государственных дум, член Временного комитета Государственной думы. После Октябрьской революции — один из организаторов борьбы против Советской власти. Эмигрировал за границу.

В 1944 г. был препровожден из Югославии в СССР. В 1944—1956 гг. находился в заключении по приговору советского суда за контрреволюционную деятельность. В 1960-х гг. призвал русскую эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР. Автор воспоминаний «Дни», «1920-й год» и других литературных произведений.— *244*.

Шульц Карл Густав (1856 —?) — прусский полковник, военный историк.— *352*.

Щастный Алексей Михайлович (1881—1918) — морской офицер Балтийского флота, капитан I ранга. В апреле — мае 1918 г.— командующий Красным Балтийским флотом. За государственную измену Верховным революционным трибуналом при ВЦИК был приговорен к расстрелу в июне 1918 г.— *282*.

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — крупный помещик, российский политический деятель. В 1906—1915 гг.— министр юстиции. Инициатор введения военно-полевых судов и телесных наказаний для политических заключенных. В 1917 г.— председатель Государственного совета России. Расстрелян ВЧК по постановлению СНК от 5 сентября 1918 г.— *242*.

Эберт Фридрих (1871—1925) — один из лидеров правого крыла германской социал-демократии. С 1905 г.— член правления партии, а с 1913 г.— один из его председателей. С 1912 г.— депутат рейхстага. В годы первой мировой войны — социал-шовинист. Во время Ноябрьской революции 1918 г. принял пост рейхсканцлера (9 ноября) и 10 ноября стал председателем так называемого Совета народных уполномоченных. С февраля 1919 г.— президент Германии.— *253*.

Энгельс Фридрих (1820—1895).— *30, 95, 140, 166—167, 248, 269, 352*.

Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — генерал от инфантерии царской армии, главнокомандующий белогвардейской Северо-Западной армией во время гражданской войны 1918—1920 гг. После провала похода на Петроград в октябре — ноябре 1919 г. эмигрировал.— *283, 288*.

Юренев (Кротовский) Константин Константинович (1888—1938) — деятель российского революционного движения, советский дипломат. Член РСДРП с 1905 г., большевик с 1917 г. Участник трех российских революций. В 1913—1917 гг.— один из руководителей межрайонной организации в Петрограде. После Февральской революции — член Исполкома Петросовета и ЦИК. В 1917 г.— председатель Бюро Главного штаба Красной гвардии. Во время гражданской войны — член коллегии Наркомвоена РВС Восточного и Западного фронтов. С 1921 г.— на дипломатической работе. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.— *57*.

Яковлева Варвара Николаевна (1884—1941) — советский государственный, партийный деятель. Член партии с 1904 г., участница трех российских революций. В 1916—1918 гг.— секретарь Московского областного бюро РСДРП(б). После Октябрьской революции находилась на советской и партийной работе: член коллегии НКВД и Наркомпрода, управляющий делами ВСНХ, секретарь МК РКП(б), секретарь Сиббюро ЦК РКП(б), зам. наркома просвещения РСФСР, нарком финансов РСФСР. С 1917 г.— кандидат в члены ЦК партии. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Необоснованно репрессирована, реабилитирована посмертно.— *354*.

СОДЕРЖАНИЕ

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТАХ И ПРОТИВНИКАХ

О ТОВАРИЩАХ ПО ПАРТИИ

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУНАЧАРСКИЙ,
КАРЛ БЕРНГАРДОВИЧ РАДЕК,
ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ТРОЦКИЙ

Силуэты: политические портреты

Редактор *Л. Н. Барыкина*
Младшие редакторы *Л. А. Жукова, Л. Ю. Ялтанцева*
Художник *В. И. Харламов*
Художественный редактор *П. В. Меркулов*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 8793

Сдано в набор 18.09.90. Подписано в печать 28.01.91.
Формат 60 × 84 1/16. Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Академическая».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,97. Уч.-изд. л. 32,48. Тираж 100 тыс. экз.
Заказ № 1206. Цена 2 р. 80 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

Л. Д. ТРОЦКИЙ

О ЛЕНИНЕ

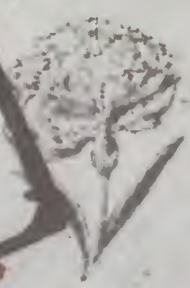
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФА

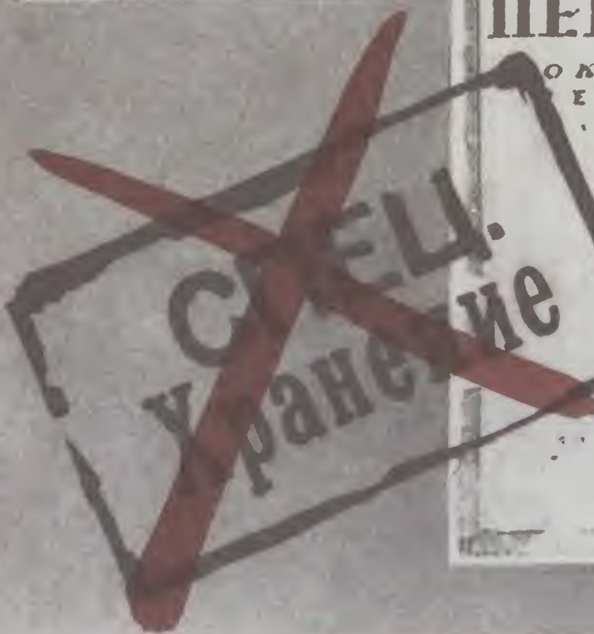


А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВОРОТ

(ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ)





КАРЛ РАДЕК

ПОРТРЕТЫ
и
ПАМФЛЕТЫ

Карл Радек

ПОРТРЕТЫ
и
ПАМФЛЕТЫ

Книга вторая

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ



Л. ТРОЦКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СИЛУЭТЫ

Карл Радек.



2 р. 80 к.



А. ЛУНАЧАРСКИЙ, К. РАДЕК, Л. ТРОЦКИЙ

ПОЛИТИЗДАТ